

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



*ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ*

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



ТОМ ВОСЬМОЙ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЛЕГЕНДЫ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

1870 – 1912



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Подготовка текста и примечания:
Л. И. НАУМОВОЙ (легенды), Б. А. ПИСКУН (рассказы, очерки, путевые заметки, статьи, воспоминания),
Б. Д. УДИНЦЕВА (избранные письма)

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЛЕГЕНДЫ

РАЗБОЙНИКИ

Очерки

I

АВЕРКО

1

Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор, захватив последние годы сурового крепостного режима, окрашенного специально заводской жестокостью. Небольшой горный завод с пестрым населением, согнанным сюда из разных концов России, точно был вставлен в зубчатую раму вечно зеленых гор. Эта горная панорама являлась первым сильным впечатлением, а с ней неразрывно связывалось представление воли, дикого простора и какого-то размаха. Правда, что и осевшее в горах волей и неволей население резко отличалось от крепостного расейского брата, отличалось именно неумиравшим духом протеста, глухой борьбой и взрывами дикой воли. Одним из самых ярких воспоминаний моего детства является именно разбойник, как нечто необходимо-роковое, как своего рода судьба и кара, как выражение чего-то такого, что сплеча ломило и разносило вдребезги все установившиеся нормы, до дна возмущая мирное течение жизни и оставляя после себя широкий след.

В репертуаре действующих лиц этого детства разбойник являлся самым ярким героем. Даже сейчас я как-то не могу себе представить родных гор без того, чтобы в них где-нибудь не притаился разбойник. Да, настоящий разбойник, так сказать, не умирающий, потому что, когда ловили одного, на смену ему являлся сейчас же другой. Если есть какая-то законность в известном числе писем, ежегодно отправляемых без адреса, то и здесь была тоже своя законность, только уже формулируемая совсем иначе. Разбойник являлся необходимым действующим лицом, как производивший известное брожение фермент. Он служил неистощимой темой для рассказов, сказок и легенд, которые без конца рассказывались в задумчивые летние сумерки и бесконечные зимние вечера. Няня, кухарка, кучер, разные старушки, бродившие из дома в дом, — все знали тысячи разбойничьих историй, которыми охотно делились с нами, детьми. Делалось это, конечно, под сурдинку, когда дома не было отца и матери или когда они не могли слышать. Некоторые рассказы отливались уже в стереотипную форму и повторялись сотни раз, но все-таки вызывали дрожь. Получалось какое-то тяготение к «страшному», которое вот сейчас тут, за стеной, где с воем и стоном гуляет зимняя метель. Начинало казаться, что что-то такое неугомонное и роковое бродит у самой стены и ищет удобного случая, чтобы ворваться в дом и разом нарушить наше скромное существование. Делалось страшно до слез и вместе с тем было кого-то жаль, даже вот это мятущееся «неприкаянное» зло.

Один рассказ особенно волновал нас, и мы приставали к старушке Филимоновне, остававшейся иногда домовничать с нами:

— Баушка, расскажи про репку...

— Будет вам, пострелы!.. Намедни рассказывала...

— Баушка, миленькая...

Баушка Филимоновна жила бобылкой и существовала тем, что кое-чем приторговывала у себя на дому — мукой, медом, крупой, сальными свечами, китайской выбойкой, холстом и проч. Она появлялась

в доме при каждом необыкновенном случае, как родины, крестины, именины, похороны, и была всегда желанной гостьей. Между прочим, она обладала талантом рассказывать «страшное».

— Баушка, расскажи про репку...

Старушка, поломавшись «для прилику», начинала рассказ каким-то особенным, былинным речитативом, причем у слушателей уже вперед захватывало дыхание со страху.

— Жила я еще в девушках тогда, — начинался рассказ о репке стереотипной фразой. — Годов, значит, с сорок тому назад. Ну вот, летней порой, как-то утром, народ и бежит по улице... «Корнило беглого убил». Я-то еще глупая была, по шестнадцатому году, и тоже за другими бегу, а Корнило жил в Пеньковке. Кержак[1] был и злой-презлой. Еще один глаз у него был кривой... Народ бежит, я бегу, ну, прибежали в Пеньковку — все в огород, а там в борозде и лежит бегляк-то. Так, мужчина на возрасте, с бородой, в красной рубахе... А кровь из него так и хлещет. Застрелил его Корнило, значит, в бок жеребьем. А всего-то дела было, что покорыстовался бегляк репкой. Отощал, значит, да ночью и забрался в огород к Корниле, а у того собака. Ну, значит, собака заурчала, а Корнило сейчас снял ружье со стены, посмотрел в огород из окошка, ну, видит, что кто-то шевелится в борозде, — он и пальнул. Злой был... Целые сутки промаялся сердяга.

Получалось страшное несоответствие между преступлением и наказанием, — в этом и заключалась вся суть трагического начала. Старушка делала драматическую паузу и уж потом разрешала взволнованную совесть.

— Ну, народ-то сбежался, все смотрят на бегляка... Женщины которые плачут, потому хоть и бегляк, а душа-то человечья. А он мается, сердечный, и все только пить просит, потому как в нутре у него горит все. Потом уж затихать стал — раньше-то стонал, ну, у смерти конец. Тогда он и говорит: «Прости, народ

---

[1] Кержак — раскольник. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

православный... Это я в Невьянском заводе вдову с мальчиком зарезал». Сказал и сейчас же помер. Оно и вышло, что Корнило-то его не за репку застрелил, а так, бог злодея нашел. Дело-то такое было... Жила вдова в Невьянске, сын у ней по седьмому годочку. Ну, значит, этот бегляк и заберись к ней ночью в избу и сейчас насел на вдову: «Подавай деньги...» Душил ее, тиранил, ну, баба и придумала: «В голбце у меня деньги спрятаны...» Значит, в подполье. Повела она его туда. А потом как закроет западню да на щеколду. И как уж это случилось, а мальчоночко-то с бегляком в голбце и попал. Бегляк кричит: «Пусти, а ежели не пустишь, мальчика зарежу...» Вот и взметалась вдова: и разбойника выпустить невозможно и мальчоночка жаль. А мальчоночко-то из голбца кричит: «Мамынька родимая, бегляк мне пальчик режет ножом... Мамынька родимая, на ножке пальчик отрезал...» Легко это материнскому сердцу!.. И молилась она и плакала... А разбойник-то уж на одной ручке все пальчики обрезал мальчику. Ну, тогда она не стерпела и выпустила его, а он совсем расстервенился и ее затиранил до смерти... А потом ограбил все и убежал. Мальчоночко-то жив остался, только пальчиков на одной руке не осталось. Так и ушел бегляк и все бегал, пока Корнило его не застрелил за репку. Как ни бегал, значит, а бог-то все-таки нашел...

2

Нам как-то особенно хотелось слушать этот рассказ о репке, вероятно потому, что в нем разбойничья психология была мотивирована и разбойничья жестокость несла высшую кару. Слушатель успокаивался, потому что порок наказывался. Стихийное зло покрывалось возмездием и отмщением.

Текущая действительность иллюстрировалась подвигами «природных» заводских разбойников. Они не переводились. Савка, Федька Детков, Чеботка — всё это были свои люди. Их ловили, сажали в острог, по-

том они убегали и их опять ловили. Разбойник всегда был тут, под рукой. Случаи убийства повторялись довольно часто: убили вязниковца Илью, который накануне у нас пил чай, потом на дороге застрелили поверенного, который вез деньги, потом Чеботка бросился с ножом на заводского приказчика Павла Зотеича, потом насмерть избили целовальника Мишку, потом насмерть самым зверским образом замучили гулящую солдатку и т. д. Уголовщина не прекращалась, но случайные примеры еще ничего не доказывали и скоро забывались, а на первом плане оставался все-таки настоящий разбойник, в своем роде специалист и профессиональный человек. Он являлся чем-то обреченным, роковым и неизбежным.

Как теперь помню ноябрьское серенькое утро. Снег только выпал и не успел еще потерять присвоенной первому снегу девственной белизны. Для нас, мальчишек, это был праздник. В саду, сейчас под окнами, мы уже устраивали катушку, то есть гору, как говорят здесь. Эта катушка занимала все наше внимание, и с мыслью о ней мы просыпались каждое утро. Итак, в одно прекрасное утро, когда по установившемуся порядку мы должны были готовить уроки, я не утерпел и незаметно ускользнул из классной, чтобы хоть посмотреть на предмет наших вожделений. Шел мягкий снежок, обещавший новые наслаждения. Выбегаю стремглав в сад и останавливаюсь как вкопанный. По нашей катушке ходил какой-то мужик с метлой и волочил зловеще звонившую цепь, — он был в ножных кандалах.

«Разбойник...» — мелькнуло у меня в голове, и я прянул назад.

Детское любопытство неудержимо. Следующую вылазку мы сделали уже совместно с братом. Сначала посмотрели в щель — разбойник с самым мирным видом разметал снег с нашей катушки. А цепи так и звенят... Мы выглянули в приотворенные ворота, потом долго стояли в воротах и, наконец, подталкивая друг друга, подошли на «приличное расстояние» к самому разбойнику.

— Ты это что делаешь, дядя?

— Снег подметаю...
— А ты кто такой?
— Кузнец...
— А тебя как зовут?
— Аверкием звали...
— А зачем у тебя кандалы на ногах?
— А уж, видно, так случилось...

Страшного в этом разбойнике решительно ничего не было. Самый обыкновенный мужик. Небольшого роста, широкоплечий, с добродушным бородатым лицом и веселыми серыми глазами. Говорил он с какой-то мягкой ласковостью. И эта мужицкая обыкновенность как-то уже совсем не вязалась с лязганьем кандалов.

— А ты как к нам попал, Аверкий?
— Да я в школе сижу... В машинной места не хватает.

Крепостное зверство иногда отличалось самыми наивными формами. Кузнец Аверкий попался с поличным, как фальшивый монетчик, — преступление, за которое предусматривалась каторга и даже, кажется, предварительное наказание плетьми. Человека схватили, заковали в кандалы и посадили в пустую школу, где он должен был стеречь себя уже сам. Мы жили в казенном заводском доме, а пустая школа стояла рядом. Аверкию наскучило сидеть в ней без дела, он вышел в сад и сейчас же нашел себе работу. Как видите, все так просто и наивно.

Сначала появление Аверкия произвело сенсацию в нашем доме, то есть его кандалы, а потом все успокоились. Страх уступил место совершенно другому чувству: все прониклись сожалением к несчастному. В самом деле, Аверкий смастерил из олова несколько очень скверных двугривенных, сейчас же попался с ними и теперь сидел в школе, ожидая с каким-то фатальным терпением, когда «выйдут» плети и каторга. Преступление было такое наивное, а наказание такое страшное, что Аверкия нельзя было не жалеть. Притом это был свой человек, и его знал весь завод как кузнеца. А там где-то уже по всем правилам

искусства приготовлялась каторга, чей-то мозг подводил все под закон, чья-то воля должна была осуществиться...

— Эх, пропала твоя голова ни за грош, — в глаза жалел наш кучер Яков будущего каторжника.

— И то пропала...

— Дернуло тебя, Аверкий!.. Хоть бы по настоящему какому уголовству попался, а то...

Аверкию и самому себя, видимо, было тоже жаль, именно с прибавлением этих комментариев. Он встряхивал головой и как-то застенчиво улыбался. С другой стороны, как мне кажется, он никак не мог поверить в свое грозное будущее. Как-то уж все очень быстро случилось...

Мы с ним познакомились в несколько дней и постоянно бегали в школу, куда с нами отправлялась разная еда. В благодарность Аверкий мастерил нам свои мужицкие игрушки. Его тяготило больше всего вынужденное безделье, оставлявшее слишком много времени для тяжелого раздумья.

— А ты не боишься? — допытывали мы с детской бестактностью.

— Чего бояться: и там люди живут. Значит, уж богу угодно...

Я помню, что по вечерам, когда зажигали огонь, я постоянно думал об Аверкии, и мне делалось за него страшно. За разрешением этого вопроса мы постоянно приставали к отцу, так что надоели ему.

— Отстаньте вы от меня, — ворчал он. — Я сам ничего не понимаю...

Большие тоже волновались и по-своему выражали разные мелкие знаки внимания несчастному узнику. Мать посылала ему разную еду, а отец нарочно ходил похлопотать к заводской власти. Но дело уже переходило из инстанции в инстанцию, и остановить его никто не мог. Заводский приказчик тоже от души жалел глупого кузнеца, хотя и поймал его сам. Вообще получалась неразрешимая путаница, которую могла порвать только рука заплечного мастера.

3

Днем никто не приходил навестить Аверкия. Может быть, мешали свои домашние дела, а может быть, удерживал спасительный страх. Чаще других приходила его жена, забитая и молчаливая баба. Она приводила с собой мальчика лет шести, который тоже молчал и пугливо прятался за мать. Помолчав с полчаса, она говорила:

— Ну, я пойду...

— Ступай, — сурово отвечал Аверкий.

Почему-то присутствие жены его раздражало каждый раз. Впрочем, под этой формой могло скрываться другое чувство, которое он боялся обнаружить, как проявление немужской слабости.

Совсем другое настроение являлось у него, когда приходил его проведать солдат-кузнец. Это был совсем подозрительный субъект с слезившимися глазками и медной серьгой в ухе. Он всегда был под хмельком и всегда ругался.

— Ироды, вот што! Да... Другие-то похуже в тыщу разов, да живут. Прямые душегубы, которые бывают... да. А тут нà тебе... Здорово живешь... Тьфу, дьяволы...

— Ты это кого, солдат, ругаешь? — спросил я однажды.

— А вот вырастешь большой, так сам узнаешь... Право, дьяволы!.. Да я, кажется, своими бы руками всех растерзал... Не тронь! Не моги трогать... Закон — да я тебе такой закон напишу, что ни взад ни вперед.

Раз солдат явился в сопровождении собственной жены, красивой женщины с зелеными глазами и зелеными серьгами. Она была одета совсем не по-заводски, то есть не в сарафан, а в ситцевое платье. Удивительное было у ней лицо — дерзкое, нахальное, с тяжелым взглядом. Я окончательно стал ее бояться, когда узнал, что солдат взял ее в жены «с эшафота», как объяснил нам кучер Яков. Этот Яков знал все и отличался большими наклонностями к философии.

— Она, значит, мужа стравила, ну, ее на эшафот...

А ты не трави!.. Ну, а тут солдат и подвернись... Так и так, желаю жениться на этой самой отраве. Ну, по закону вместо плетей да каторги ее за солдата замуж выдали... Теперь она его уже три раза зачинала травить, да живуч солдат. Отлежится и насмерть ее изобьет, а она отлежится — опять его травить...

Аверкий прожил в школе месяца два, а потом вдруг исчез. Как его увезли и когда — мы не видали.

— В Верхотурье повезли, — сурово объяснил Яков на все наши вопросы и выругался в пространство. — Там рассудят...

Не прошло и полугода, как разнеслась весть, что Аверкий бежал из верхотурского острога. Почему он не бежал, когда сидел в школе один, что было в тысячу раз легче сделать, почему не бежал с дороги, что тоже сравнительно легче, — трудно сказать. Может быть, его ошеломила острожная обстановка, может быть, проснулась смертная тоска по воле, может быть, он убедился, что все равно, как ни пропадать и где ни пропадать. И ушел Аверкий с большой дерзостью, как не могли уйти опытные и бывалые острожные сидельцы. В нем как-то разом проснулся настоящий разбойник, а не глупый фальшивый монетчик. Думал-думал, прикидывал умом и так и этак и, наконец, придумал. Ведь это наша русская историческая панацея — спасаться от всякой беды бегством. Аверкий являлся только ничтожной единицей в общей арифметике всяческого бегства.

— Молодец, — угрюмо похвалил Яков бежавшего Аверкия. — Давно было нужно так-то сделать...

— А если его поймают?

— Ну, еще это надо пообедать... Такого-то зверя не скоро взловишь, потому как человек он свежий и весь расстервенился.

Предсказания Якова скоро сбылись. Аверкия пытались где-то ловить, и он для первого раза зарезал полесовщика, — это было уже настоящее вступление на разбойничий путь, и возврата не было.

Через полгода дошли слухи, что Аверко (уже не Аверкий) показался в окрестностях нашего завода и что-то замышляет. Два раза сгоняли народ его ловить,

но он уходил из-под носу. Дальше уже начались прямо дерзости: он ночевал у себя в собственной избе. Вероятно, это было его мечтой и заветной целью, именно, хотя одну ночь чувствовать себя человеком, а не лесным зверем. Сказалась мучительная тяга к родному пепелищу... Заводская администрация поднялась на ноги, потому что Аверко, видимо, не желал уходить от родных мест и спасался по покосным избушкам, промысловым балаганам и куреням. Его встречали там и сям. Кто-то донес, что он в такой-то день опять придет ночевать к жене. Но Аверко предпочел провести эту ночь в нашей бане.

Последнее всех переполошило. Смелость Аверки начинала переходить даже границы, дозволенные «прямым разбойникам».

— Пустяки, — уверял один Яков. — С чего он нас-то будет трогать? Мы ему вреда не делали... И разбойник чужую хлеб-соль не забывает.

Яков был прав. Аверко больше не показывался и не тревожил никого.

Закончилась эта разбойничья карьера тем, что Аверко, подобрав партию из других шляющих людей, ограбил почту и убил почтальона. Шляющие были скоро переловлены, а Аверко еще раз ушел, вернее, не ушел, а только скрылся на время. Поднята была на ноги вся заводская полиция, и Аверку, наконец, поймали где-то в горах. Это был уже совсем другой человек, нисколько не походивший на прежнего Аверкия. Наряжен был чрезвычайный военный суд, который и порешил наказать преступников шпицрутенами по месту жительства. К счастию, экзекуция совершалась не на нашем заводе, а в соседнем. Аверко не вынес своих четырех тысяч.

— Напоили его водой — вот и помер, — объяснил Яков. — Другим-то не дали пить во время наказания, ну, они и остались живы.

Тряхнув головой, Яков прибавил:

— И чего, подумаешь, пропал человек... И двугривенные-то делал не он, а солдат с женой. Ну, а улики на него выпали... Эх, жисть!.. Он мне сам сказывал...

II

САВКА

1

Заводское крепостное право отличалось особенной жестокостью, и благодаря этому, как я уже говорил выше, создался целый цикл крепостных заводских разбойников. Это был глухой протест всей массы заводского населения, а отдельные единицы явились только его выразителями, более или менее яркими. Такой свой заводский разбойник пользовался всеми симпатиями массы и превращался в героя. Он шел за общее дело, и масса глухо его отстаивала.

Последним и самым ярким выразителем этого разбойничьего типа явился знаменитый Савка.

От нас через площадь виднелось деревянное здание заводской конторы, выстроенное в стиле аракчеевского ренессанса, то есть греческий фронтон с колоннами прикрывал кордегардию. Эта контора была страшным местом для населения, и, проходя мимо, можно было слышать вопли наказуемых отеческой крепостной рукой. Во дворе конторы стояло специальное здание, известное под именем «машинной», где хранились пожарные машины и происходили все внушения и порки, а также содержались узники. Кстати, в самом названии этого застенка слышалась злая ирония, — именно машинная, потому что роль всех машин и коварных ухищрений европейской техники здесь заменял заводский кнут и розги. Просто, коротко и для всех понятно... «Машинная» никогда не стояла пустой, и здесь получали высшее образование будущие знаменитости по разбойничьей части. В числе других довершил здесь свой курс и Савка, посаженный в «машинную» за какую-то продерзость. Из «машинной» были две дороги: в верхотурский острог или в лес. Самые энергичные люди предпочитали последний путь, а в том числе и Савка.

Савка «бегал» больше десяти лет. Его несколько раз ловили, сажали в «машинную», препровождали

в верхотурский острог, а из последнего он уходил уже сам. Легенда говорила, что Савка знает «такое слово», которого не выдерживают никакие тюремные стены. Так и велась борьба между заводской «машинной» и «таким словом» Савки с переменным успехом. В качестве отпетого человека Савка пользовался известной популярностью даже у заводского начальства, и к нему относились совершенно иначе, чем к рядовым разбойникам. Впрочем, среди всяких правонарушителей есть всегда своя аристократия, блюдущая свои прерогативы гораздо лучше всякой другой аристократии. И заводский приказчик и заводский исправник были, кажется, убеждены, что провиденциальное назначение Савки выражается одним словом — бегать, и мирились с этим, как с логической необходимостью. Кстати, говоря о заводских египетских работах, должен оговориться, именно, что люди, осуществлявшие жестокие способы, меры, приемы и формы, сами по себе совсем не были ни злыми, ни жестокими людьми, а только более или менее добросовестно «творили волю пославшего». Это уж такая черта русского характера, что по приказанию самые добрые люди могут превратиться во что угодно.

Именно таким человеком был дореформенный следователь Николай Иваныч, который после обедни в воскресенье завернул к нам напиться чаю. К числу резких внешних признаков этой страшной власти принадлежал необыкновенно маленький рост, так что как-то странно было видеть на нем военный мундир. Между прочим, мой брат, отличавшийся большой наивностью, долго присматривался к этому гостю и кончил тем, что подошел к нему с какой-то игрушкой и серьезно предложил:

— Пойдем поиграем...

А этот Николай Иваныч явился к нам на завод во главе полусотни оренбургских казаков с специальной целью во что бы то ни стало поймать знаменитого Савку. Этого требовал новый главный заводский управляющий, поклявшийся подтянуть все заводы, а главное — уничтожить институт специально заводских разбойников. На первой очереди стоял Савка. Нас

всех страшно занимал вопрос, как такой маленький Николай Иваныч поймает такого страшного разбойника, как Савка.

Итак, обедня кончилась, и Николай Иваныч, выпив два стакана чаю, только что направился к закуске, так аппетитно расставленной на особом столике. В открытые окна глядел жаркий летний день, располагавший к самым мирным мыслям.

— Как же это ты поймаешь Савку? — спрашивал отец грозное начальство, — они учились вместе.

— А вот и поймаю, — спокойно отвечал Николай Иваныч, выпивая рюмку водки. — Да... Я, брат, шутить не люблю. У меня: раз, два — и готово...

— Ну, гусей по осени считают.

Николай Иваныч уже прицелился к какому-то соленому груздю, как к самому окну подскакал верховой казак:

— Ваше скородие, Савка...

— Где Савка?..

— Ён, ваше скородие... ён побег в гору.

— Да говори толком, дурак!

— Слушаю-с... Вон по горе, ваше скородие, бежит.

Казак указал на гору Кокурникову, которую отлично было видно от нас из окна, а по дороге забирала в гору какая-то точка.

— Где сотник?!. — заорал Николай Иваныч, преисполняясь административной энергией. — Отрядить в погоню пятерых казаков.

— Слушаю-с...

— Да скажи сотнику, что он дурак... Вместо того чтобы послать погоню, он меня посылает спрашивать.

— Слушаю-с.

— Живо! Одна нога здесь, другая там...

— Точно так-с, ваше...

Через какую-нибудь минуту мимо нашего дома, припав к седельным лукам, вихрем пронеслась казачья пятерка, точно спущенная свора борзых. Наступил томительный момент ожидания... Вот они уже проскакали заводскую плотину, потом миновали узкую поперечную уличку и марш-маршем понеслись в гору. К нашему удивлению, черная точка, служившая вопло-

щением Савки, остановилась, точно делала рассчитанную паузу, чтобы подразнить казаков.

— Ах, мерзавец! — задыхался Николай Иваныч, сжимая маленькие кулачки. — Валяй его!.. Бери... бей...

Мы все наблюдали за движением казачьей пятерки затаив дыхание. Вот она уже совсем близко... вот она и совсем насела... Но тут случилось что-то необыкновенное: черная точка — Савка — оказалась ниже казаков, а потом она пошла вправо от дороги, к небольшому леску, который зеленым гребнем венчал Кокурникову.

— Ах, мерзавец... — как-то застонал Николай Иваныч, топая в отчаянии ногами. — Держи его... валяй!..

Все облегченно вздохнули, когда черная точка благополучно исчезла в лесу. О, как это страшно, когда на глазах травят живого человека!.. Я помню, как наша кухарка Агафья благочестиво крестилась все время, пока Савка бежал в гору, — она выбежала за ворота вместе с другими и с замиравшим сердцем наблюдала происходившую сцену. Много еще таких же простых баб провожали глазами бежавшего Савку, покрывая его своей хорошей бабьей жалостью.

Трудно описать неистовство Николая Иваныча, когда пятерка вернулась и давешний казак донес о случившемся конфузе.

— Мы его достигли совсем, ваше скородие... А ён стоит посередь дороги. Ну, а потом на нас... «Кланяйтесь, грит, вашему следователю, а мне некогда». Как стрелит между нами... Я его одинова зацепил нагайкой... А потом ён в сторону и в лес.

— Он смеялся над вами, дураками!..

Смелый маневр Савки, бросившегося на казаков, чего они уже никак не ожидали, произвел на всех ошеломляющее впечатление, как новое проявление Савкиной удали и находчивости. Он бравировал у всех на глазах, точно ответственный первый артист какой-то труппы.

Цель стратегического маневра Савки была ясна для всех. Николай Иваныч привел с собой полусотню казаков и расставил их постоем по раскольничьим домам, потому что Савка был раскольник и находил постоянную поддержку и сочувствие главным образом

среди раскольничьего населения. Можно представить себе ужас строгой и чистоплотной староверческой семьи, когда в ней поселялся казак, табашник и скобленое рыло. Эта драгоннада должна была довести раскольников до повинной. Так соображал Николай Иваныч. Бегство Савки у всех на глазах было ему ответом.

— Нет, брат, шалишь!.. — хвастался Николай Иваныч. — Не мытьем, так будем брать катаньем... Видишь, что придумали!.. Заморю постоем, пока не выдадут Савку головой... Ха-ха! Будут поминать Николая Иваныча...

К неумолимому начальству являлась целая раскольничья депутация с умильным словом, но Николай Иваныч ничего и слышать не хотел.

— Я вас всех выкурю табаком, как тараканов... да!.. — кричал Николай Иваныч, топая маленькими ножками. — Вы будете меня помнить. А без Савки не уеду. Так и знайте!...

2

Началось тяжелое отсиживанье от неумолимого властодержца. Николай Иваныч пил чай, гулял, купался, по вечерам играл у приказчика в преферанс и выдерживал характер.

— Еще старуха надвое сказала, — повторял он, подмигивая. — Хе-хе... Посмотрим, чья возьмет.

Раскольники крепились укрепой богатырской и не сдавались. Да и Савки не было уже в заводе, — он ушел в горы.

— Э, стара штука! — смеялся Николай Иваныч. — Я уеду, а он вернется... Не согласен! Да-с...

День проходил за днем в томительном ожидании. А тут еще близился Петров день, когда работы на фабрике прекращались и все отпускались на страду до успенья. Какая же тут могла быть страда, когда в заводе останутся домовничать казаки. Одним словом, дело начинало усложняться с каждым днем. Получалась такая альтернатива: или должны были раскольники предать Савку, или сам Савка должен был явиться с повинной.

Выручило всех случайное обстоятельство. Прошел слух, что Савка болен и лежит где-то в горах, в пещере. Кто пустил этот слух — осталось неизвестным. Может быть, даже сам Савка, которому было все равно, где ни помирать. Впоследствии передавали, что его выдали какие-то скитские старцы, пожалевшие измученную казачьим постоем свою раскольничью паству. Расчет был чисто арифметический: лучше уж одному Савке пострадать, чем всем мучиться за него.

— Я сам его поймаю, — решил Николай Иваныч. — А то казаки одни опять упустят...

В горы была снаряжена целая экспедиция с Николаем Иванычем во главе. К казакам были присоединены свои заводские лесообъездчики и конюхи из «машинной». Конечно, приготовления делались в страшной тайне, такой, что все знали о ней за несколько дней вперед.

Опять наступали дни томительного ожидания, и опять все волновались, от мала до велика. Наша кухарка Агафья громко молилась по вечерам за татя и душегубца раба божия Савелия. Кучер Яков принял какой-то особенно таинственный вид и постоянно бегал в кабак, где сосредоточивались все политические известия и последние новости.

Прошел день, другой, третий — об экспедиции ни слуху ни духу.

— Он им глаза отведет, — уверяла Агафья.

— Тут не в глазах дело, — с достаточным презрением отвечал Яков. — Ежели который человек знает такое слово... А ты все равно ничего не поймешь. В прошлый-то раз никому глаз не отводил, а ушел. Они на него всей пятеркой, а он свое слово сказал и только всего. Мне один казак сам рассказывал...

Ожидания решились сами собой, когда на четвертый день Савка был привезен ночью и водворен в «машинную» под строжайший караул. Его нашли действительно в пещере, далеко в горах. Савка лежал больной и не оказал ни малейшего сопротивления.

Николай Иваныч торжествовал и ходил петушком.

— Э, брат, со мной, брат, шутки плохие!.. Да я и один бы поймал такого гуся. Савка, Савка — нашли

какого Александра Македонского... Теперь, брат, никуда не уйдет.

Успех вскружил голову Николая Иваныча, и он для важности стал ходить на цыпочках.

Савка лежал в «машинной» больной целую неделю. Мы, дети, потихоньку бегали его навестить. Ведь настоящий живой разбойник, которого все боялись... Правда, было очень страшно, но любопытство превозмогало все. Конечно, все устроилось только при благосклонном содействии кучера Якова, у которого в «машинной» была рука в лице конюха Паньши, молодого, но очень угрюмого мужика.

— Што его смотреть? — угрюмо заявлял Паньша. — Не зверь какой...

Стража из двух казаков была подкуплена, кажется, гривенником. Савка лежал в узенькой каморке, скупо освещенной маленьким оконцем. Он для безопасности был в ручных и ножных кандалах. Мы смотрели на знаменитого разбойника в маленькое оконце в толстой двери. Я был даже огорчен, что Савка, кроме простой кумачной рубахи и плисовых шаровар, ничем не отличался от других мужиков. Ему было лет сорок. Лицо самое обыкновенное, с самой обыкновенной русой бородкой. Мы, кажется, его разбудили, и Савка сел на своей лавке, гремя кандалами.

— Што вам надо? — глухо спросил он, глядя исподлобья.

Нам почему-то сделалось страшно, и мы бежали самым позорным образом. Самым ужасным были, конечно, кандалы.

Следователь выждал воскресенья, когда фабрика не работала, чтобы отправить Савку с большой помпой. День был солнечный, горячий. Вся площадь перед конторой покрылась народом. Казачья полусотня выстроилась перед воротами, откуда должны были вывезти Савку. Для пущего эффекта Николай Иваныч нарочно затянул момент отправки. Все видели, как он сидел в господском доме у окна и преспокойно пил чай стакан за стаканом.

Собравшийся на площади народ вел себя очень

сдержанно. Ни громкого галденья, ни движения, ни смеха.

Наконец, следователь махнул в окне белым платком, что служило сигналом к выступлению. Казаки выстроились в две шеренги, ворота растворились, и в них выехала простая крестьянская телега, на которой сидел Савка. Руки у него были прикованы к грядкам телеги. Он был без шапки и низко раскланивался на обе стороны. Он был страшно бледен.

— Братцы, простите...

Толпа замерла. И только один голос крикнул точно из-под земли:

— Бог тебя простит, Савелий Тарасыч!..

На площади телега остановилась, поджидая, когда выедет из господского дома следовательский экипаж. Казаки раздвинули толпу, и, когда показался экипаж, началась джигитовка. Казаки были рады оставить это раскольничье гнездо и выделывали на своих низеньких лошаденках чудеса эквилибристики. Появление самого Николая Иваныча было встречено залпом.

Я помню, как вся процессия тронулась вперед, а над толпой точно плыла красным пятном кланявшаяся фигура Савки. Картина получилась самая импонирующая... Задние ряды зрителей глухо роптали. Где-то слышалось подавленное бабье причитанье.

— Ничего, уйдет, — решительно заявлял какой-то седой старик с длинной палкой в руках.

— Вот ужо Савелий Тарасыч скажет им свое словечко.

Лет через двадцать мне пришлось заглянуть в родное гнездо. Те же зеленые горы кругом, та же фабрика, те же заводские улицы... Только заводская контора представляла уже развалину. Я зашел во двор. «Машинная» еще сохранилась, но была заколочена наглухо. В ней никто не нуждался больше.

Крепостные заводские разбойники покончили свое существование вместе с открытием «воли». Савка в числе других принес повинную, где-то отсидел назначенный срок и жил в заводе, как мирный обыватель.

III

ПОСЛЕДНИЕ КЛЕЙМА

1

Яркий солнечный день. Короткое сибирское лето точно выбивалось из сил, чтобы прогреть хорошенько холодную сибирскую землю. Именно чувствовалось какое-то напряженное усилие со стороны солнца, та деланая ласковость, с которой целуют нелюбимых детей. А в ответ на эти обидные ласки так хорошо зеленела густая и сочная трава, так мило прятались в ее живом шелку скромные сибирские цветочки, так солидно шептал дремучий сибирский лес какую-то бесконечную сказку... Да, и солнце, и зелень, и застоявшийся аромат громадного бора, — недоставало только птичьего гама. Сибирский лес молчалив, точно он затаил в себе какую-то свою домашнюю скорбную думу, ту думу, которую раздумывают про себя, а не выносят в люди. Мне лично нравится эта молитвенная тишина кондового сибирского леса, хотя подчас от нее и делается жутко на душе, точно сам виноват в чем-то и виноват по-хорошему, с тем назревающим покаянным настроением, которое так понятно русскому человеку.

— Эй вы, залетные! — покрикивает сибирский ямщик, который сидит на облучке «этаким чертом».

Мне кажется, что в его голосе звучит какая-то смутная ласковость, вызванная хорошим летним днем. С своей стороны я инстинктивно стараюсь попасть в тон этому настроению и завожу один из тех бесконечных разговоров, которые ведутся только доро̀гой.

— Ты из Успенского завода, ямщик?

— Так точно...

— У тебя там дом есть, то есть свой дом?

— А то как же? — удивляется ямщик несообразному вопросу. — И дом и обзаведенье...

Это говорится таким тоном, точно все люди должны иметь свои собственные дома и свое обзаведенье.

— Так есть дом и обзаведенье? Что же, хорошо...

— Какой же я буду мужик, барин, ежели, напри-

мерно, ни кола ни двора? Которые правильные мужики, так те никак не могут, чтобы, значит, ни на дворе, ни на улице...

— Так-то оно так, да ведь у вас на заводе того... гм...

Ямщик оборачивает ко мне свое лицо, улыбается и одним словом разрешает застрявшую фразу:

— Варнаки мы, барин... Это точно. Уж такое место... да. Каторга, значит, была... Оставили ее, каторгу-то, когда, значит, волю дали. Ну, а мы-то остались, как и были, варнаками. Все под одну масть... Так все и зовут нас: успенские варнаки.

Все это говорилось таким добродушным тоном, что делалось жутко. Я только теперь рассмотрел своего ямщика. Это был еще крепкий старик с удивительно добрым лицом. На мой пристальный взгляд он снял шапку, откинул на виске волосы и проговорил:

— Из клейменых, барин...

На виске были вытравлены каким-то черным составом буквы С и П, что в переводе с каторжного языка значило: ссыльно-поселенец.

— С тавром хожу, чтобы не потерялся...

— Ты, значит, тоже на каторге был?

— Коренной варнак... Уж нас немного осталось, настоящих-то, а то все молодь пошла. Значит, варначата...

— Из какой губернии?

— Мы рязанские были...

Старик совсем повернулся ко мне и заговорил както скороговоркой, точно боялся забыть что-то:

— Значит, мы княжеские были... Именье-то было огромадное, а княжиха, значит, старуха была, ох! какая лютая. Сыновья у ней в Питере служили, офицеры, а она управлялась в усадьбе. Здоровущая была старуха и с палкой ходила... Ка-ак саданет палкой, так держись. Лютая была... Ну, из-за нее и я в каторгу ушел. Только и сама она недолго покрасовалась... Повар у ней был, ну, так она каждое утро его полировала первого. Терпел он, терпел, ну, раз вот этак утром-то как ударит ее ножом прямо в брюхо. Так нож и остался там... К вечеру померла... Ох, лютая была!..

Повара-то засудили тут же... Четыре тыщи палок прошел. Могутный был человек, а не стерпел — на четвертой тыще кончился.

Старик сделал паузу, тряхнул головой и опять любовно и весело прикрикнул на лошадей:

— Да эх! вы, залетные!..

Лошади дружно рванулись и полетели вперед, чуя близость жилья. Лес поредел, точно он расступался сознательно, давая дорогу. Показались покосы, росчисти, просто поляны и лужайки. Мелькнула прятавшаяся в зелени полоска воды, прогремел под колесами деревянный мостик, шарахнулась в сторону стреноженная лошадь, побиравшаяся около дороги, а там впереди уже сквозь редевшую сетку деревьев смутно обрисовался силуэт высокой колокольни. Через несколько минут раскрылась вся картина каторжного пепелища в отставке... Как-то странно было видеть это солнце, всевидящим оком радостно сиявшее над местом недавнего позора, каторжных воплей и кровавого возмездия. Ведь оно и тогда так же сияло, как сейчас, оставаясь немым свидетелем каторжных ужасов.

Что-то вроде предместья, грязная улица, целые ряды горбившихся крыш, точно чешуя гигантского пресмыкающегося, вдали до краев налитый заводский пруд, у плотины новое громадное здание строившейся первой в Сибири писчебумажной фабрики, выходившей главным фасадом на заводскую площадь с какими-то развалинами.

— Вот тут была каторжная пьяная фабрика, — объяснил мой возница, указывая на эти развалины.

Да, не винокуренный завод, а именно пьяная фабрика.

2

Цель моей поездки в Успенский завод (Тобольской губернии) была довольно неопределенная — посмотреть первую писчебумажную фабрику, погостить у знакомого человека, заняться немножко археологией и т. д. Мой знакомый, инженер Аполлон Иваныч, строил фабрику и обещал показать все достопримечательности

бывшей каторги. Кстати, он занимал квартиру в помещении бывшей каторжной конторы, имевшей самый мирный вид запущенной помещичьей усадьбы. Через полчаса мы пили чай в комнате, где производились когда-то дознания, следовательские допросы и всяческий иной сыск.

Прислуживавшая за столом горничная была из коренных варначек. Чистое русское лицо, без сибирской скуластости и узкоглазия. Великорусский тип сказывался во всем.

— У нас тут все каторжные, — коротко объяснил Аполлон Иваныч, отвечая на мой немой вопрос.

— И что же, есть какая-нибудь разница с другими селениями?

— Никакой... Такие же люди, как и все другие. Даже повышенной преступности никакой не замечается. Ни краж, ни разбоев, ни убийств... Вообще все тихо и мирно. А между тем сейчас еще есть человек двадцать старух из каторжанок... Совсем хорошие женщины и все до одной семейные. Клейменых стариков, кажется, человек шесть наберется. Кстати, последний каторжанин с рваными ноздрями умер лет пятнадцать тому назад, — я сам его не видал, а передаю, что слышал от других.

По этому отзыву можно было сделать совершенно неожиданный вывод, именно, что старая каторга имела самое благодетельное влияние, в корне истребляя зло и совершенствуя преступную волю. Но, как увидим ниже, тут были совсем другие причины и основания.

После чая мы отправились осматривать новую фабрику, что заняло около двух часов. Первая сибирская фабрика была выстроена по последнему слову науки, которое именно здесь, на месте бывшей каторжной «пьяной фабрики», имело особенное значение. Там, где каторжными руками гналось зелено вино для царева кабака, теперь труд вольного человека нашел приложение к совершенно другому делу, — бумага уже сама по себе являлась величайшим культурным признаком... Кто знает, может быть, на этой фабрике выделается та бумага, на которой новые последние слова науки, знания и гуманизма рассеют историческую тьму, висящую

над Сибирью тяжелою тучей. Впрочем, это, кажется, уже область исторического сентиментализма и еще далеких иллюзий.

Самой фабрики я не буду описывать, — для меня она являлась только культурным фактором, характерным именно в этом разоренном царстве кнута, шпицрутенов и плетей.

— А как здесь жили прежде! — рассказывал Аполлон Иваныч, когда мы выходили из новой фабрики. — Каторжный винокуренный завод сдавался в аренду, и откупщики наживали громадные деньги. Настоящее разливанное море было... Шампанское лилось рекой, и в Успенский завод часто гости ехали со всех сторон целыми обозами. Еще и сейчас старожилы помнят это неистовое веселье. Тут каторга, и тут же веселье. Да, какое-то нелепое время было... Сейчас даже и приблизительно трудно себе представить, что здесь творилось. Кстати, вон на плотине стоит скамейка — на ней отдыхал знаменитый откупщик П-ский. Выйдет на бережок и дышит свежим воздухом... Про него рассказывают чудеса. Однажды он приходит в каторжную контору, а там идет следствие: убили арестанта, и убийцу никак не могли открыть. Каторжные его не выдавали, и следователь ничего не мог поделать. Тогда П-ский и говорит: «Позвольте, я его сейчас узна́ю». Подходит к выстроенным в шеренгу каторжанам, пристально вглядываясь в лица, а потом как ударит одного по лицу: «Ты, такой-сякой, убил?» Тот свалился с ног и во всем признался. Удивительно все просто было...

Деревянное здание упраздненной каторги еще сохранилось. Оно стояло с заколоченными окнами, как ослепший призрак.

Вечером мы долго гуляли по заводским улицам. Стройка здесь отличалась от обычной сибирской архитектуры тем, что около домиков там и сям зеленели садики на великорусский манер. Очевидно, здесь жили невольные выходцы откуда-нибудь из коренной России. Сибиряк не выносит подобных нежностей, что и понятно — и без садика достаточно кругом леса. Попадавшиеся варнаки и варначки заметно выделялись красотой какого-то смешанного типа, особенно женщины.

В Сибири вообще так мало красивых лиц, благодаря слишком большой примеси всевозможной инородческой крови.

— Кого-кого только тут нет, — объяснил Аполлон Иваныч.— И великоруссы, и хохлы, и остзейские немцы, и черкесы — настоящая каторжная мозаика. Потом все это слилось, выработался свой смешанный тип, то есть совсем новый этнографически человек. Кстати, завтра воскресенье, так сами увидите нашу публику.

— Скажите, отбывшие каторгу и переведенные в разряд ссыльно-поселенцев делались семейными людьми?

— Обязательно... Невест доставляли со всех концов России на каторгу в достаточном количестве — выбирай любую. И из всех этих каторжанок вышли прекрасные жены, матери и хозяйки. Я не знаю ни одного случая, чтобы баба отбилась от дому и разрушила семью. Оно и понятно: каждая прошла такую ужасную школу, что свой угол являлся раем. Замечательно, что все эти каторжанки были совсем молодые и почти поголовно дворовые. Я как-то просматривал списки и нашел всего двух в бальзаковском возрасте. Кстати, у нашего батюшки есть списки, и вы сами просмотрите...

В течение целого дня все наши разговоры обязательно сводились на каторгу. Да иначе, конечно, и быть не могло. Самый воздух здесь был насыщен этими каторжными мыслями...

3

В Успенском заводе мне пришлось прожить дня три, и самое интересное, что я видел, это — подробный список каторжан за несколько лет. В моих руках был исторический документ громадной важности, в своем роде синодик крепостного права и его резюме. Раньше я говорил о заводских крепостных разбойниках, являвшихся единицами, а тут получалась уже полная картина. Список был красноречиво-краток: имя, звание, состав преступления и форма наказания.

Рассматривая этот список и делая из него выписки, я осязательно убедился прежде всего в том, что глав-

ный контингент преступников создавался именно крепостным правом. Некоторые преступления носили почти сказочный характер: один крепостной крестьянин был приговорен к четырем годам каторги за кражу сахара у своей помещицы, другой к такому же наказанию за кражу меда и тоже у помещицы. Что это такое — ирония, насмешка, глумление?.. Логика отказывалась здесь работать, да и какая могла быть логика в этом царстве произвола и всяческого насилия? Еще характернее была группа женщин-преступниц. Все это были молодые девушки и поголовно из дворовых, в возрасте от семнадцати до двадцати пяти лет. Главное преступление — поджог. Очевидно, мы тут имели дело с тем протестующим возрастом, который никак не мог согласиться с существующим порядком. Женщина служила здесь тонким реактивом всеразъедавшего яда. В числе этих преступниц только одна приговорена была за детоубийство, и та была солдатка, а затем другая за сорок лет, польского звания, «по особым причинам». Читая этот мартиролог, приходилось переживать гнетущее чувство... Ведь под этими именами, датами, номенклатурой несложных преступлений и лаконическими отметками наказаний похоронено целое море никому не высказанных страданий, зол, бед и стихийного бессмысленного зла. А главное, читателю было ясно, что все эти преступления и наказания сделались немыслимыми после 19 февраля. Только читая этот мартиролог, понимаешь во всем объеме всю величину того зла, которое уже отошло в область преданий.

В мужской группе каторжан после преступлений против помещичьей власти выступали нарушения воинского устава. Палочная солдатчина поставляла громадный запас каторжного мяса. И какие наказания... Строевой солдат шестидесяти лет, — заметьте: строевой, — приговорен был к четырем тысячам шпицрутенов. Вообще что-то совершенно невероятное, подавляющее, колоссальное. И что всего замечательнее, что все эти правонарушители, «отбыв каторгу», то есть шпицрутены, плети, кнут и пьяную фабрику, сейчас же превращались в самых мирных обывателей, делались семейными людьми и не обнаруживали

какого-нибудь особенного тяготения к преступлениям. Каторга не исправляла их, а только снимала с них крепостное ярмо, невыносимую солдатчину и прочее зло доброго старого времени. Пример в высшей степени поучительный...

Из Успенского завода мне пришлось возвращаться с тем же клейменым ямщиком.

— Что, дедушка, тяжело было на каторге?

— Несладко, барин... А только, ежели сказать правду, так ведь мы здесь в Сибири свет увидели. Поселенец, и все тут. Теперь-то все стали вольные, так и не поймут этих самых делов. Дома-то у себя в Расее похуже каторги случалось... Особливо бабам эта самая каторга была на руку: отбыла года и вся своя.

— Бабам легче было?

— Ну, у них своя причина... Конешно, на пьяной фабрике они не работали и по зеленой улице их не гоняли, опять же не клеймили, ну, а только очень уж обижали смотрителя, особливо которая из лица получше. Навязался тут один старичонка смотритель, ласковый такой да богомольный, так он, кажется, ни одной не пропустил... Как новую партию пригонят, так он только ручки себе потирает. Одним словом, озорник...

— А наказывали страшно?

— Случалось... Палач был Филька, ну, так его привозили к нам из Тобольска. Здоровущий черт был... Ну, как его привезут, сейчас у нас сборка денег ему, чтобы, значит, не лютовал. Ведь ежели бы он все по закону достигал, так и в живых никто не остался бы.

— А шпицрутены?

— Ну, это почище плетей в тыщу разов... И рассказывать-то, барин, страшно. Одного тут у нас наказывали... Ермилой Кожиным звали. Он целую семью загубил. Ну, так его и повели по зеленой улице... Нас всех для острастки в две роты выстроили. Ну, раздели его — могутный мужик, тело белое. Этакому-то труднее... На первой тысяче свалился... Положили его на тележку и везут. Все-таки второй тысячи не дотерпел... Дохтур уж его пожалел. «Дайте, говорит, водицы испить». А уж это известно: как на наказании напился

воды — тут тебе и конец. Ну, с двух тысяч Кожин-то и кончился... Все одно, от начальства был приказ забить его насмерть, и солдат расставили поширше, штобы замах делали больше. Ох, и вспоминать-то это самое дело нехорошо...

Опять был солнечный день. Опять по сторонам дороги сплошным войском тянулся лес. Опять стояла тишина знойного дня, и невольно казалось, что это та зловещая тишина, которая наступает в доме, где покойник: за нами оставался громадный покойник — каторга. Кстати, есть характерная русская поговорка: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет.

IV

РАЗБОЙНИК И ПРЕСТУПНИК

1

Наступивший школьный возраст надолго разлучил меня с родным гнездом, а вместе с тем прервались непосредственные отношения к разбойничьему репертуару. Раньше разбойник являлся живым человеком, вполне реальной величиной, органически связанной со всем укладом создававшей его жизни, а теперь он расплылся в общее отвлеченное представление преступника. Живя в городе, трудно понять эту разбойничью психологию в ее захватывающей полноте. Дышавший жизнью образ потускнел и разбился в ничем не связанные между собой подробности. Зачем вот этот городской «преступник» убивает, грабит и производит всяческие насилия? Когда его ловят и начинают судить, он нервничает и плачет на скамье подсудимых, как все эти темные дельцы, которые попадаются с подлогами, хищениями и разными некрасивыми плутнями. Прежде всего здесь недостает эпического спокойствия.

Такой преступник, попавший в руки правосудия, не испытывает жгучего порыва покаяться и выкупить свои разбойничьи вины тяжким наказанием, которое прини-

малось за какую-то стихийную форму возмездия. Настоящий разбойник выходил на высокое место лобное, кланялся на все на четыре стороны и повторял стереотипную формулу всенародного покаяния: «Прости, народ православный...» Так делали и Стенька Разин и Емелька Пугачев. «Преступник» поступает совсем наоборот — нервничает, плачет, старается всячески увильнуть, свалить свою вину на другого и, осужденный по всем пунктам, уносит из суда озлобленное убеждение в собственной невинности. Ну, чем же он виноват, что считал убитого богатым человеком, а у него, подлеца, оказалось всего полтора рубля? Разбойник нес в себе какое-то обаяние как трагическая сила, и, как всякая крупная сила, он вне своей профессиональной деятельности являлся и добрым и любящим, а преступник — весь дрянной и дрянной по-маленькому, как бывают дрянные насекомые. Исторический «вор» удал-добрый молодец окружен известным поэтическим ореолом в сознании народной массы именно потому, что являлся настоящей крупной силой, а преступник является чем-то вроде фабричных отбросов и в большинстве случаев относится уже к области ассенизации. Преступника создала обезличивающая городская жизнь, тот индивидуализм, который не имеет оправдания даже в остроге, и такой преступник не вызывает спасительного чувства страха, а только презрение. Народная масса может все понять и простить, кроме ничтожества.

Настоящий разбойник еще продолжал жить только по глухим углам, где и проявлял себя время от времени в той или другой форме. В город он попадал только поневоле, как подсудимый, чтобы получить заслуженное воздаяние.

Помню зимний день с легким снежком. Это было воскресенье. Когда мы, школяры, выходили из церкви от обедни, пронесся общий крик:

— Грешника будут наказывать... грешника!..

Народ бежал по улице к хлебному рынку, где по воскресеньям бывал торжок. Мы, конечно, понеслись туда же, увлекаемые живой волной. Все бежали к роковому пункту по молчаливому соглашению, как бежали и другие — деревенские мужики, городские ме-

щане, мастеровые, какие-то безыменные бабы, а главным образом детвора, задыхавшаяся от волнения. Вероятно, так же сбегался на казнь народ и в Москве, и в древнем Новгороде, и в новом Петербурге. Жажда видеть своими глазами эту публичную «торговую» казнь превозмогала все остальные добрые инстинкты, известную совестливость и прямое физическое отвращение при виде чужих страданий. Может быть, психологической подкладкой здесь являлся необъяснимейший факт массовой жестокости, когда люди превращаются в диких зверей. Особенно характерно это проявляется на женщинах, достигающих последней степени неистовства.

Мне особенно запомнилась одна благочестивая старушка, которая бежала прямо из церкви к площади и на ходу крестилась. В левой руке она держала заздравную просфору, завернутую в платок.

— Помяни, господи, царя Давида и кротость его... — бормотала старушка, изнемогая от старческого бессилия.

Площадь уже была залита народом, так что нам стоило большого труда пробиться поближе к черному квадрату эшафота. Пощады не было — мы толкали всех, и нас все толкали. Затрещины и подзатыльники в счет не шли. У меня перед глазами стояла красным пятном рослая фигура палача Афоньки. Издали казалось, что этот заплечный мастер ходит по головам сбившейся в одну стену публики. Афонька являлся героем дня, и на нем сосредоточилось жадное внимание трехтысячной толпы.

— Вот он, Афоня, каким орлом похаживает! — с восторгом говорит молоденький купеческий приказчик в бараньей шубе.

— Ох, господи, батюшка... — вздыхает благочестивая старушка с просфорой, каким-то чудом пробившаяся прямо к эшафоту. — И што только будет?.. Никола милосливый...

— Не дребезжи! — сурово оговаривает ее мещанин с красным носом. — Нашла о чем вздыхать... В четырех душах грешник-то, а она — Никола милосливый. Отпетый человек...

Заплечный мастер — исторический герой. О нем складываются целые легенды. Он — живое олицетворение наказующей руки. Да, он тут, высокий, широкоплечий, с окладистою рыжею бородой, с подстриженными в казацкую скобку волосами и с голыми по локоть руками. В одной руке у него плеть, а в другой — стакан с водкой. В качестве премьера готовящегося представления он рисуется, принимает театральные позы и с изысканною небрежностью оглядывает толпу налитыми кровью глазами.

— Палач... палач!.. — слышится сдержанный шепот толпы и сейчас же смолкает, когда заплечный мастер оглядывается.

2

Я видел наказание грешника уже во второй раз, видел того же Афоньку и все-таки сильно волновался.

— Везут! везут!.. — пронесся ропот по толпе.

Да, эта толпа ахнула и замерла, как один человек. Страшным контрастом явился звон медных пятаков, редким дождем посыпавшихся на эшафот. Это была традиционная умилостивительная жертва заплечному мастеру.

Издали уже показались высокие сиденья позорных колесниц, а на них, спиной к публике, мотались жертвы карающего правосудия. Эти страшные преступники казались такими маленькими и жалкими, что зависело и от позорной высоты, на которой они сидели, и от арестантских серых халатов, облегавших грешные тела такими тощими складками.

— Вон на второй колеснице Голоухова везут, — объяснял купеческому молодцу стоявший рядом мещанин, от которого пахло сыромятной кожей. — Значит, в четырех душах повинился... С каторги бежал два раза. А сколько еще несчитанных у него душ, в которых и виниться некому... Его, Голоухова, три года ловили.

Страшные колесницы уже совсем близко. На эшафоте появляется толстенький священник, который волнуется и растерянно разглаживает окладистую бороду.

Афонька торопливо собирает валяющиеся на эшафоте пятаки. Точно из земли вырастает полиция и занимает свои места. В толпе народа уже пробита целая улица, но колесницы двигаются с расчетливою медленностью, и за ними улица смыкается живою стеной.

— А за Голоуховым бабенку везут, — сообщает мещанин. — Она трех мужей стравила... Афонька-то, гли, как насторожился... Я его как-то в кабаке видел — водку так агроматным стаканом и хлещет.

— О, господи милосливый... — молится вслух старушка с просфоркой, вынимает копеечку и неловко бросает ее прямо в священника.

— Молчи ты, старая кожа!.. — ворчит неизвестный голос. — И к чему только подобных старушонок пущают... Сидела бы на печи да грехи свои замаливала. Туда же лезет...

— А ты бы помолчал, так в ту же пору, — огрызается озлившаяся старушка. —Ох, угодники-бессребренники... Парасковея-пятница...

Меня толпа притиснула почти к самому эшафоту. Когда колесницы остановились, Афонька встряхивает жирно смазанными волосами и каким-то театральным шагом спускается с эшафота. Так ходят только знаменитые тенора, которые уверены в своей благосклонной публике. Он привычной рукой отвязывает с первой колесницы какого-то тщедушного и малорослого старика и ведет его под руку на эшафот. Преступник заплетает ногами в халате и неловко кланяется на обе стороны.

— Простите, православные... — шепчут белые губы. — Простите...

Он с трудом поднимается на эшафот, каким-то испуганным взглядом окидывает толпу и опять начинает кланяться. Афонька сдергивает арестантскую серую шапку, и все смотрят на эту обритую наполовину арестантскую голову.

— Этот в двух душах... — слышится шепот. — Тоже из каторги бегал... Жену родную зарезал... Настоящий, природный разбойник, хоть и глядеть не на кого.

На эшафоте столпилось какое-то начальство, заслоняющее от нас преступника. Все обнажили головы —

значит, священник совершает напутствие. Потом начальство раздается, и Афонька с каким-то азартом схватывает свою жертву, ведет по ступенькам и привязывает к позорному столбу. На груди у преступника висит черная дощечка с белой надписью: «убийца». Он теперь на виду у всех. Бритая голова как-то бессильно склонилась к левому плечу, побелевшие губы судорожно шевелятся, а серые большие остановившиеся глаза смотрят и ничего не видят. Он бесконечно жалок сейчас, этот душегуб, и толпа впивается в него тысячью жадных глаз, та обезумевшая от этого зрелища толпа, которая всегда и везде одинакова.

Выступает вперед какое-то начальство и неверным голосом читает приговор дореформенного суда. Слышатся обрывки каких-то деревянных казенных фраз, жестких и безжалостных, как те веревки, которыми привязан сейчас преступник к столбу. Снег продолжает падать мягкими хлопьями и своей невинной белизной покрывает черное пятно эшафота. Это придает всей картине какую-то трагическую простоту. Голова преступника склоняется совсем на грудь к концу чтения приговора, и только потом, когда Афонька подходит к столбу, она поднимается и смотрит своими остановившимися глазами. Афонька театральным жестом отвязывает его, на ходу срывает арестантский халат и как-то бросает на черную деревянную доску, приподнятую одним концом — это знаменитая «кобыла». Афонька с артистической ловкостью захлестывает какие-то ремни, и над кобылой виднеется только одна бритая голова.

— Берегись, соловья спущу, — вскрикивает Афонька, замахиваясь плетью.

Я не буду описывать ужасной экзекуции, продолжавшейся всего с четверть часа, но эти четверть часа были целым годом. В воздухе висела только одна дребезжавшая нота: а-а-а-а-а!.. Это был не человеческий голос, а вопль — кричало все тело... Впрочем, Афонька, как объяснил потом всеведущий мещанин с запахом сыромятной кожи, не наказывал, а только «мазал», сберегая силы для следующего номера, составлявшего гвоздь всего представления.

Выведенный на эшафот Голоухов держал себя с отчаянной смелостью и, привязанный к столбу, смотрел на толпу смелыми темными глазами, чем сразу подкупил всех. Он красиво раскланялся на все четыре стороны, прежде чем лечь на «кобылу», и вообще «форсил» до последней минуты. Это был здоровенный и рослый детина средних лет.

Опять предупреждающий окрик палача, страшный свист плети и ни звука в ответ...

— Молодец! — крикнул какой-то голос из толпы.

Но довольно...

3

«Наказание грешников» послужило темой для разговоров на целую неделю. Особенно волновался хозяин того дома, в котором мы квартировали школьниками. Это был типичный мещанин, по фамилии Затыкин. Чем он существовал — трудно сказать, и всего меньше, вероятно, мог бы объяснить он сам. По временам он пропадал, потом таинственно возвращался с подбитым глазом или подвязанной щекой. Иногда являлась полиция и уводила его, но через некоторое время Затыкин неизменно возвращался на свое пепелище и почему-то считал необходимым, в виде очистительной жертвы, исколотить жену. Он чем-то приторговывал, комиссионерствовал, пел по воскресеньям на клиросе, принимался за все в качестве специалиста и, между прочим, принимал ближе всего к своему сердцу кровавую работу палача Афоньки. Для Затыкина этот заплечный мастер был идеалом всяческого геройства и неистощимой темой для разговоров. Конечно, Затыкин бегал на каждое наказание «грешника» и глазом спортсмена следил за каждым движением своего идола. Он по первому взгляду определял приблизительный исход экзекуции, что зависело прежде всего от настроения Афанасия Иваныча.

— Как левую руку заложил за спину — шабаш. Пиши вперед поминанье... А ежели, напримерно, потряхивает Афанасий Иваныч головкой — ну, тогда счастье грешнику. Ведь он што угодно может сделать плетью:

положи лист почтовой бумаги на спину грешника, размахнется со всего плеча, ударит — и лист целешенек останется, а в другой раз пополам может расшибить, ежели растравится. Он плетью-то как на скрипке играет. Сам Афанасий-то Иваныч из настоящих природных разбойников. Любовницу зарезал...

Случай с Голоуховым, который не издал ни звука под плетью Афанасия Иваныча, произвел в душе Затыкина самое горестное раздвоение. Звезда Афанасия Иваныча как будто померкла... Это был еще первый случай, что грешник всенародно осрамил чистую работу знаменитого заплечного мастера. И в самом деле обидно: Афанасий Иваныч полысает плетью со всего плеча, а грешник молчит. С другой стороны, геройство грешника сильно подкупало Затыкина и подкупало против его воли, так что он целый день скреб у себя в затылке и ругался в пространство.

— Да, вышла ошибочка... — бормотал Затыкин.

Затыкин принимался для успокоения за целый ряд дел — что-то строгал, таскал какие-то веревки, приволок откуда-то жердь и кончил тем, что совсем рассердился, плюнул на все, вышел за ворота, сел на скамеечку и стал выжидать, на ком бы сорвать сердце.

По нашей улице делал ежедневную прогулку седой старичок доктор из ссыльных поляков. Он ходил зиму и лето, держа шляпу в руке, повторял каждую фразу и слыл за человека тронутого. Уличные мальчишки дразнили его одним словом: «Палочки! палочки!..» Молва говорила, что несчастный помешался, присутствуя по обязанности в качестве врача при наказании шпицрутенами. Он частенько останавливался у наших ворот и разговаривал с Затыкиным. Старик впадал в старческую болтливость. Завидев доктора, Затыкин встрепенулся.

— Вашему высокоблагородию сорок одно.

— А, здравствуй... — добродушно здоровался доктор. — Да, здравствуй.

Потом он достал из кармана старинную черепаховую табакерку с портретом какой-то дамы и любезно предложил Затыкину, который с ожесточением курил, нюхал и даже жевал табак. Сделав самую отчаянную

понюшку, точно у него в носу была спрятана пожарная машина, Затыкин сейчас же начал коварный разговор.

— Афанасий-то Иваныч, ваше благородие, как сегодня осрамился... дда-а!..

— Какой Афанасий Иваныч? Какой Афанасий Иваныч?

— А палач наш.

Доктор только хотел присесть на лавочку рядом с Затыкиным, как одно слово «палач» заставило его вскочить, и добродушное лицо доктора приняло такое жалкое и испуганное выражение.

— Палач? Да, палач...— растерянно бормотал он. — Нет, не нужно... Пожалуйста, не нужно.

Но Затыкин был неумолим. Он взял старика за борт его ветхого осеннего пальто и заставил выслушать всю историю сегодняшнего наказания грешников, услащенную спортсменскими комментариями. Доктор весь съежился и даже закрыл глаза.

— Не нужно, не нужно.

— Нет, вы мне объясните, ваше благородие, как это самое дело могло случиться? Ведь у Афанасия Иваныча ручка-то... дда! А Голоухов даже не пикнул. Я так полагаю, что не иначе это дело, что Голоухов слово такое знает: Афанасий Иваныч его полосует, а Голоухов свое слово говорит. Опять же и то, что настоящий природный разбойник, а не дрянь какая-нибудь, слякоть.

— Оставьте меня, оставьте меня... — умолял доктор.

Доктор кое-как вырвался от Затыкина и торопливо зашагал по деревянному тротуару, на ходу отмахиваясь рукой, точно старался кого-то отогнать от себя.

— Ваше благородие, ведь вы еще при зеленой улице состояли дохтуром и можете вполне соответствовать! — крикнул вдогонку Затыкин.

Старик остановился, весь затрясся и начал браниться. В этот момент мы окружили его целой гурьбой и с мальчишеской жестокостью затянули хором:

— Палочки!.. палочки!.. палочки!..

Мы были свидетелями предшествовавшей сцены, и все наши симпатии вперед были на стороне Затыкина.

Мы уже давно прониклись философией настоящего разбойника и настоящего заплечного мастера.

— Палочки!.. палочки!..

Нужно было видеть, что делалось с сморщенным и желтым лицом старика. Недавний гнев сменился опять страхом, потом страх перешел в сожаление, потом... потом случилось то, чего мы никак не ожидали.

— Подойдите ко мне, детки... — с глухими слезами в голосе заговорил он. — Сюда, ближе... Были вы *там*... да?.. Видели палача, и разбойника, и плети?..

У него перехватило дух, но он собрал последние силы и задыхавшимся голосом проговорил:

— Дети, вы видели величайшее зло и позор... да... Но ваши дети уже этого не увидят... Может быть, будет хуже... очень может быть... Но свою жестокость люди не будут выносить на площадь, а будут ее творить тайно... И это великое дело, когда люди уже стыдятся явной жестокости... Да, великое... Вот вы уже не увидите того, что я видел, а ваши детки не увидят того, что вы видели, а дети ваших детей, быть может...

Доктор махнул своей шапкой и зашагал от нас, не досказав, что могут увидеть дети наших детей.

ВОР

Рассказ

I

Соборование подходило к концу. В маленькой комнате негде было яблоку упасть. Свободное пространство оставалось только между больной и столиком, на котором горели церковные свечи и стояла чашка с деревянными палочками, обмотанными ватой. Тихо и певуче читал молодой священник молитвы по требнику, и это чтение прерывалось только глухими рыданиями больной. Она сидела на кровати, выдвинутой на средину комнаты, вся в белом, и молилась вслух с каким-то раздиравшим душу отчаянием. На меня, ребенка десяти лет, эта картина произвела потрясающее впечатление. Совершалось что-то такое большое, необыкновенное, трагическое и ужасное, тем более что все действующие лица были знакомые люди между собой, очень близкие, как это бывает только в глухой провинции. Больная старушка Филимоновна была из мелких торговок, но пользовалась общим уважением. Она везде бывала, и везде ей были рады. По вечерам она часто приходила к нам в дом, обыкновенно к чаю, и непременно приносила с собой какую-нибудь новость. Это была такая чистенькая, ласковая и добрая старушка. Она, кажется, знала все на свете, все умела делать, и молодые хозяйки постоянно советовались с ней,

особенно когда дело касалось детей. Родня у Филимоновны как-то вся вымерла, и она на старости лет принуждена была греться у чужого огня. Сколько раз и мне случалось проводить в ее обществе длинные зимние вечера, когда отец с матерью уезжали куда-нибудь в гости. Старушка знала такие страшные сказки, пела дребезжавшим старческим голосом какие-то старинные песни, каких уже никто больше не пел, и вообще умела занять нас, больших шалунов. Не один раз мы огорчали ее самым безжалостным образом и доводили до страшных угроз, что вот приедут папа с мамой и все ужасные преступления будут раскрыты. Вообще Филимоновна была такая хорошая и милая старушка, и мне ее было ужасно жаль. Она теперь сделалась неузнаваемой: лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, — совсем не та Филимоновна, какую мы все знали. И комната была не та, как раньше, все было перевернуто вверх дном, точно здесь только что пронесся ураган.

Да, происходило что-то непонятно-ужасное, и являлся невольно вопрос, почему же это ужасное должно было случиться именно с доброй старушкой Филимоновной?.. Все говорили, что она непременно умрет, и это тоже было непонятно. Кто же будет «домовничать»? Кто будет рассказывать сказки? Кто будет прикрывать маленькие детские грехи? Нужно сказать, что Филимоновне, между прочим, принадлежала всякая дипломатия: мирить мужей с женами, испрашивать прощения виноватой детворе, вообще ходатайствовать при самых разнообразных случаях того или другого правонарушения.

— О господи, помилуй нас, грешных! — угнетенно повторял стоявший около меня прасол Иван Федотыч, коренастый и рыжий мужчина с окладистой бородой.

Собравшаяся публика вообще была проникнута настроением торжественной минуты. Все лица были сосредоточенно-серьезны, слышались глубокие вздохи, а женщины усиленно вытирали глаза платками и сморкались. Рядом с Иваном Федотычем стоял седенький, худенький старичок с козлиной бородкой, Миныч, тоже из прасолов. Он с каким-то ожесточением откладывал

широкие кресты и пугливо оглядывался кругом, точно боялся, что кто-нибудь подслушает его тайную молитву. Миныч был очень богомолен и по воскресеньям пел в церкви на левом клиросе каким-то удивительным козлиным дребезжащим тенорком, который необыкновенно шел к его седенькой козлиной бородке. Время от времени Миныч толкал локтем Ивана Федотыча и сокрушенно повторял:

— Вот наша жисть, Иван Федотыч... Сколько ни живи, а помирать все равно придется.

Потом благочестивый старичок прибавлял совсем другим тоном:

— Ох, народу-то больно много набилось, Иван Федотыч... Того гляди, еще что-нибудь украдут. Известно, какой ноне народ...

Иван Федотыч сердито оглядывал набившуюся в комнату толпу и еще ожесточеннее принимался молиться:

— О господи, помилуй нас, грешных...

— Бабешек-то надо бы того... — шептал Миныч. — Что им тут делать? Все помрем...

Мне очень нравилась манера Миныча молиться, и я по-детски старался подражать ему, откладывая такие же широкие кресты, и читал про себя молитвы, какие учил еще недавно под руководством Филимоновны.

Торжественность минуты увеличивалась еще зимним темным вечером, глядевшим в маленькие оконца. Время от времени ветер принимался глухо завывать в трубе, и все невольно вздрагивали. В комнате было и светло и тепло, а там, за стеной, бушевала снежная метель. Мне делалось страшно при одной мысли, что живой человек может умереть именно в такую погоду, точно его выхватит из круга живых людей какая-то холодная рука. Я так и смотрел на Филимоновну. Вот кончится служба, потушат свечи, и ее вынесут куда-то на холод, в темноту. Ведь эта мертвая темнота подступала к ней все ближе и ближе, и мертвый холод уже разливался по ее жилам. Делалось и жутко и страшно.

II

В самый разгар охватившего меня торжественного настроения случилось нечто, что сразу вышибло меня из ряда благочестивых мыслей и чувств. Я стоял как раз за спиной Миныча. Набравшаяся в комнате толпа притиснула, наконец, нас к самой стене, у которой стоял небольшой столик с лекарствами. Благочестивый старичок несколько раз оглядывался с недовольным видом, тайно негодуя на тех «бабешек», которые мешали ему молиться. Потом... Это был всего один момент, но именно такие моменты никогда не забываются. Я видел, как Миныч быстро схватил серебряную чайную ложечку со столика с лекарствами и торопливо сунул ее к себе в карман. Все случилось так быстро, что я в первую минуту даже усомнился в собственных своих глазах. Может быть, мне просто показалось... Но я отлично помнил, что ложечка была на столе, а теперь ее не было. У меня как-то все завертелось перед глазами: и больная Филимоновна, и наклонившийся над ней священник, и красные огоньки свеч, и десятки молившихся голов. В голове стучала, как маятник, одна мысль: вор... вор... вор! А Миныч продолжал молиться, как ни в чем не бывало, и даже подпевал что-то дьячку. Я опять сомневался, и мне делалось как-то обидно и больно за все и за всех. Потом у меня сложился план: выждать конца службы, подойти и сказать Минычу, чтобы он возвратил чужую ложку. Но этому плану не суждено было осуществиться. Служба не успела кончиться, как на дворе послышался глухой шум, чей-то крик, и комната сразу опустела. Я бросился, конечно, вслед за другими, точно меня выкинула какая-то сила.

— Бей его! Лови... Держи!.. — орали в темноте свирепые голоса.

Послышалась возня, топот десятка ног, а потом чей-то умоляющий стон:

— Батюшки... а-а... ба-тюшки!..

Миныч выбежал из комнаты вместе со мной, протискался вперед, где шевелилась на земле живая куча, и я слышал крик его козлиного голоса:

— Бе-ей вора!..

Сбившаяся у ворот толпа в сущности ничего не знала, кроме того, что кто-то и что-то украл, что кого-то нужно не «пущать» и бить. Этот таинственный вор лежал на земле и слабо стонал. Слышно было в темноте, как чья-то тяжелая рука била по чему-то мягкому, и это мягкое отзывалось каждый раз стонущей нотой. Наконец, на крыльце показалась колеблющаяся светлая точка, — несли фонарь.

— Давай сюды огня! — орал Миныч хриплым голосом. — Братцы, держите!.. Ой, вывернется из рук, как налим.

Когда принесли фонарь и толпа расступилась, получилась такая картина: на снегу лежал окровавленный мужик Антип, «ходивший на базаре сторожем», а на нем верхом сидел Иван Федотыч, бледный, с блуждающим взглядом, и отчаянно колотил его обоими кулаками в грудь, в лицо, куда попало. Я видел это распухшее, посинелое лицо, эти остановившиеся в ужасе глаза и видел, как Миныч протискался с фонарем вперед, схватил что-то и начал тыкать в лицо.

— Вор, вор, вор! — голосил он неистово.

Переход от молитвы к мордобитию был так быстр и неожидан, точно все превратились в диких зверей. Умильно сокрушавшийся о своих грехах Иван Федотыч превратился сразу в зверя, и все другие тоже. Только когда все устали колотить несчастного Антипа, кто-то крикнул в толпе:

— Братцы, да ведь он не дышит...

— Вре-ет! Притворяется... Ну-ко, Иван Федотыч, садани по самой скуле.

Иван Федотыч саданул, но результат был тот же: Антип действительно не дышал. Кто-то схватил вора за волосы и вытащил за ворота. Там его и бросили, — ничего, отлежится на снегу.

— Поделом вору и мука...

Все гурьбой повалили обратно в комнату.

— Ведь вот, подумаешь, какой вредный человек... — роптал в толпе встревоженный голос. — Тут соборуют, а он башмаки уволок... Убить его мало, варнака!..

Вещественное доказательство было в руках у Миныча, и он торжественно принес башмаки в комнату,

где все принялись их рассматривать с таким вниманием, точно в первый раз видели такую удивительную вещь.

— Ведь совсем новенькие... — возмущался Миныч. — Этак-то можно целый дом растащить.

Больше всех волновалась старушка, которая первой увидала, как Антип потихоньку взял башмаки и спрятал их под полу. Она в десятый раз рассказывала все по порядку, и публика в десятый раз принималась негодовать.

— Башмаки-то, значит, стояли в уголке, а он к ним все и подкрадывался... Потом, гляжу, как сцапает и сейчас под полу, а потом потихоньку из избы и хотел уйти...

Служба кончилась, больная стонала, но никто теперь не желал ее замечать, несмотря даже на увещания батюшки. Я так был напуган картиной избиения вора, что совсем позабыл о своем плане относительно Миныча. Бог с ней, с какой-то несчастной ложечкой... Переход от молитвы к зверству навсегда остался в моей памяти, как и то, что в толпе непременно присутствует вор. Да, этот вор везде, как и зверство, — все зависит только от обстоятельств, способствующих к их реализации.

ЗАБЫТЫЙ АЛЬБОМ

Очерк

I

Арсений Павлович Елтухов умирал. В этом не могло быть никакого сомнения. «Интеллигентная» болезнь подтачивала его с аккуратностью часового мастера. Мысли о спасении не было уже места. В первый момент мысль о неизбежной смерти точно заморозила всю кровь в жилах. Это был даже не страх, не отчаяние и не малодушие, а что-то совсем новое, еще не испытанное и роковое. Говоря сравнением, больной точно переправлялся на какой-то таинственный, не исследованный еще материк, пока достиг некоторого совершенства, именно, научился смотреть на себя со стороны, как смотрят на чужого человека. Это был очень мучительный психический процесс, — процесс самоотречения и потери всех личных и особенных прав и преимуществ. Что-то такое отпадало, что-то такое делалось лишним и ненужным, что-то такое забывалось, как забываются при пробуждении самые яркие сны, что-то такое уходило все дальше и дальше, и Арсений Павлович постепенно переставал чувствовать себя Арсением Павловичем.

Через день, ровно в одиннадцать часов утра, являлся доктор Зимин, восходящее медицинское светило.

Это был типичный ставленник дам-патронесс. «Вы не знаете доктора Зимина? Представьте, какой недавно был у него удивительный случай... да. Это наш Шарко»... и т. д. Доктор Зимин, цветущий, видный мужчина с глазами навыкате и атласными руками, сам охотно верил, что он немножко Шарко. Итак, «каждый через день» доктор Зимин входил в богатый кабинет Елтухова и говорил жирным баском:

— Ну-с, как мы себя ведем?

— Все то же, доктор, — с унылым озлоблением отвечал пациент.

— Не одобряю, батенька...

Доктор присаживался на одну минуту в кресло и сообщал какую-нибудь текущую новость, приготовленную за утренним кофе. Он ее развозил потом по всем своим влиятельным пациенткам, — других у него не было. К Елтухову он являлся с таким видом, как будто делал одолжение, хотя получал за каждый визит двадцать пять рублей. Елтухов пригласил его в минуту отчаяния, повинуясь инерции, и теперь ненавидел его, как безнадежно глупого человека. Увы! «немножко Шарко» был действительно глуп...

— Ну-с, как наше сердце? — спрашивал он по обязанности. — Продолжает шалить?

— Весьма продолжает...

— А мы устроим маленькую перкуссию...

Доктор не хотел брать даром денег за визит и добросовестно мучил пациента выстукиваниями и выслушиваниями, причем Елтухов убеждался только в том, что доктор продолжает курить дорогие сигары и моется английским мылом. Этот запах дорогой сигары оставался еще несколько времени по уходе доктора и раздражал больного. Елтухов так любил курить дорогие сигары, а сейчас ему это было строго запрещено.

— Да, батенька, это баловство нужно оставить, — внушительно советовал доктор. — Сигары в большом количестве — яд... Я это отлично знаю по самому себе. У меня сердце тоже немножко того...

Одним из секретов быстрого успеха доктора Зимина было то, что у него были решительно все те

болезни, которыми страдали его пациенты, исключая только некоторые, слишком специальные женские страдания.

— Доктор, ведь все равно я скоро кончу, — говорил Елтухов, припоминая запах докторских сигар. — Отчего вы запрещаете мне курить? Это только ускорило бы развязку... Я не маленький и понимаю свое положение.

— Вот все больные так рассуждают... Я могу только удивляться, зачем они в таком случае обращаются к совету врачей, когда так отлично понимают свое положение?

Доктор умел быть строгим, когда это требовалось, и не веривший ему ни на грош Елтухов подчинялся не смыслу его слов, а скорее тону, каким они были произнесены. С постепенным развитием болезни у него все усиливалось желание подчиниться какой-нибудь другой, более сильной воле и этим как бы сложить с себя обязанности поступать вполне самостоятельно, как было раньше.

В сущности все эти визиты знаменитого доктора были только жалкою комедией, не имевшей ни малейшего смысла, и по-настоящему давно следовало ему отказать; Елтухов даже несколько раз решался это сделать, по возможности в безобидной форме, и не имел силы. Его с каждым днем все сильнее и сильнее захватывала та роковая инерция, с какой человек катится по наклонной плоскости. Когда доктор уходил, Елтухов любил думать с каким-то особенным озлоблением, как он при встрече с общими добрыми знакомыми говорит, придавая лицу «печаль мудреца»:

— Наш общий друг Арсений Павлович мне положительно не нравится... Одним словом, я не желал бы быть на его месте, хотя и сам немножко того; иногда является такая особенная сосущая боль в области сердца... да.

Елтухов ненавидел и эту печаль мудреца, и запах докторских сигар, и английское мыло, и жирный докторский басок, и его атласные руки, и слова дружеского участия.

Правда, что за доктора Зимина были все знакомые Елтухова, которые считали своим христианским долгом время от времени навещать его и сидели у него в кабинете, считая драгоценные минуты собственного бытия. Это было похуже даже докторских визитов, и у Елтухова являлось желание выгнать их всех раз навсегда. Он, просвещенный своею болезнью, как-то лучше понимал людей и видел то, что раньше совершенно ускользало из общего поля зрения. Ведь мозг тоже был болен и как всякое больное место реагировал с особенною яркостью на каждое внешнее раздражение. О, как он отлично теперь видел всех, видел насквозь и мучился собственною проницательностью.

А этих добрых знакомых у Елтухова было достаточно. Были тут люди сановные, о прибытии и отбытии которых из каждой столицы оповещается в газетах, и не менее известные дельцы, о прибытии и отбытии которых публика знала без газетных аншлагов, а больше всего было людей богатых, составлявших свой замкнутый круг, к которому, между прочим, принадлежал и Елтухов. Все они были страшно заняты, вечно жили по минутам (у доктора Зимина часы были нацеплены даже на спину кучеру) и вечно торопились. Это последнее для Елтухова являлось единственным спасением. Да, он выходил из состава этого заколдованного кружка и вперед чувствовал себя мертвым. В сущности его существование совершенно было никому не нужно, за исключением двух-трех человек, которые еще нуждались в его поддержке и, вероятно, жалели не его, а самих себя. Правда, было одно исключение... Каждый вечер аккуратно, как на службу, являлся высокий, плотный седой старик, усаживался плотно в кресло и принимался его изводить. Это был типичный мучитель. Когда-то они вместе и дружно работали, считались даже друзьями и фамилии Елтухова и Мушенко произносились даже вместе, как представителей одной фирмы. Когда-то они оказывали друг другу некоторые чувствительные услуги, а теперь каждый считал себя обворованным другим и от души ненавидел этого другого. Даже для самых близких людей

это составляло тайну. Елтухов ненавидел Мушенко, если можно так выразиться, колоритнее, потому что знал его как никто другой. Мушенко являлся типичным предателем, что было у него написано на лице, в каждом движении, даже в каждой ноте немного слащавого старческого тенорка. Елтухову казалось, что он лжет и кого-то предает, когда просто идет по комнате. Каждый шаг — лишняя ложь.

— Я тебе не мешаю? — спрашивал обыкновенно Мушенко, усаживаясь в кресло и вытягивая свои длинные ноги.

— Нет... Я очень рад.

— Если надоем, скажи откровенно. Здоровые люди эгоисты...

Елтухов смотрел на друга тревожными глазами, и у него все время из головы не выходила мысль о том, скажет или не скажет вот этот друг Мушенко несколько теплых слов на его могиле. Ведь слова этой дружеской речи будут теми гвоздями, которыми заколачивают гроб... Больной испытывал даже ощущение какой-то физической боли и закрывал от усталости глаза.

Мушенко имел дьявольское терпение просиживать целые часы. Он умышленно говорил о разных делах, которые для Елтухова более уже не существовали, строил планы, делал предположения и умышленно забывал, что говорит с умирающим человеком. Иногда Мушенко спохватывался и прибавлял:

— Вот, как только ты поправишься... Доктор Зимин говорит, что все зависит от настроения... Да, как только ты поправишься...

Больной только закрывал глаза от охватывавшей его истомы. Боже мой, если бы только он поправился, то счел бы первым своим долгом выгнать в шею этого негодяя. Хорошие люди все походят друг на друга, а негодяи бесконечно разнообразны и в этом разнообразии, конечно, первое место принадлежало Мушенко, потому что он умел наслаждаться собственным негодяйством и в данном случае тянул жилы еще из живого человека с рассчитанным наслаждением. О, как ненавидел его сейчас Елтухов и чувствовал себя совершенно бессильным...

II

Каждую болезнь, особенно из «интересных», столько раз описывали, за каждой стоит целая медицинская литература, и все-таки, в каждом отдельном случае, она является новостью, особенно для больного, которому начинает казаться, что именно к его болезни нужно пристроить специальную медицинскую академию. Мало того, целый мир, вся вселенная как будто сосредоточивается в какой-нибудь несчастной зубной боли. Елтухов испытывал и переживал то же самое, что миллионы его предшественников, хотя ему казалось, что он один так мучится и страдает, и не только один, но самый первый. Есть своя больная психология, и по этой психологии он в конце концов дошел до того состояния, когда больной точно начинает оправдываться перед собственной болезнью и приводит тысячи самых убедительных доказательств собственной невинности. Конечно, другие умирают от порока сердца, потому что слишком много курили дорогих сигар, но Арсений Павлыч Елтухов и т. д. Елтухов с мучительным вниманием подбирал мельчайшие признаки, которые говорили в пользу его пошатнувшегося здоровья, и страстно старался убедить самого себя, что они в общем перевешивают тот минус, который увеличивался с каждым новым ударом сердца. Всего страшнее были моменты утреннего пробуждения, — собственно сна, как спят здоровые люди, не было, а его заменяло тяжелое забытье. Он просыпался и подводил итог самому себе и еще раз убеждался, что он конченный человек и что ждать и надеяться на что-нибудь неловко и смешно, но эта простая и ясная мысль в течение дня как-то тускнела, расплывалась, и он засыпал в своем кресле с чем-то вроде надежды, что завтра вдруг проснется здоровым.

Насколько Елтухов понимал сбивчивые и противоречивые объяснения докторов, у него отчасти было ожирение сердца, отчасти неисправно действовала какая-то сердечная заслонка, потом что-то такое было неладное в сосудах, а в результате он не мог ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Единственной удобной позой остава-

лось полулежать в кресле с колесами. Каждое движение выкупалось обмороками, сердцебиением, удушьем. В конце концов дело сводилось на то, что Елтухов был стар, то есть стар по-интеллигентному, — ему всего было «под шестьдесят с небольшим». Болезнь была вполне благоприобретенная и ее можно было бы предупредить, если бы сделать то-то и то-то и, главное, не делать того-то и того-то, в свое время, конечно. Это была опять мука — каяться самому себе в содеянном и обвинять в несодеянном. Какой-то плюс оставался без исполнения...

Ах, какие были ужасные ночи! Весь мир спит, и только один Елтухов не может заснуть... Раньше он спал в спальне, но в последнее время предпочитал оставаться на ночь в кабинете, где уже самая обстановка напоминала еще о недавней жизни и больной мог думать теми предметами, которые видел глаз. Вот к чему в конце концов сводится жизнь: давно ли Елтухову принадлежал весь мир (он даже собирался съездить в Америку на выставку), а потом горизонт быстро начал суживаться, пока не заключился в четырех стенах своей комнаты. Это была та точка, которую автор ставит в конце своей книги. Все, что было за пределами этой комнаты, точно отпало от Елтухова и сделалось чужим, как книга, написанная на неизвестном языке. Появлявшиеся из этого чужого мира люди только усиливали это чувство.

— К чему все это? — спрашивал Елтухов самого себя, рассматривая свой собственный кабинет. — Какой-то дурацкий письменный стол, который походит на биллиард, потом шкафы с книгами для кабинетной декорации, потом... Решительно ничего не нужно!..

Кабинет был большой и обставлен был по последнему слову кабинетной роскоши. Каждая вещь говорила за себя, и входивший в кабинет в первый раз не мог не чувствовать, что здесь пахло тысячами, настоящими тысячами. Все было так солидно, дорого и серьезно, до старинных редких офортов на стенах включительно. Кому это нужно? Теперь никому, тем более что точно такой же кабинет и у Мушенко, и у доктора Зимина, и у всех других.

Занятый только собой и своею болезнью, Елтухов как-то совсем не думал о других. Да ему, собственно говоря, и не о ком было думать: с первою женой он развелся, вторая убежала от него сама, два старших сына от первого брака были на стороне матери и где-то служили. Вообще получалось «немножко семьи», семьи по воспоминаниям. Но в богатой квартире Елтухова было еще одно маленькое существо, о котором он как-то не привык думать. Это была маленькая болезненная девочка Шура, дочь от второго брака. Елтухов сильно сомневался, что это именно его дочь, но жене ребенка не отдавал.

— По закону ребенок принадлежит отцу, — отвечал он на все просьбы преступной матери. — Да-с, по закону... Представьте себе, есть такой глупый закон-с.

В богатой квартире Елтухова Шура существовала в роли какого-то придатка, как позволяется существовать шестому пальцу. Отец ее не замечал, и девочка инстинктивно его боялась. Их отношения ограничивались тем, что девочка приходила утром здороваться. Елтухов очень редко завтракал и обедал дома. Но когда бывали гости, Шура обязана была выходить. Отец считал своим долгом рекомендовать ее:

— Моя дочь...

Это делалось в пику отсутствовавшей матери. Все знакомые, конечно, знали историю неудачного второго брака, и маленькая Шура появлялась в качестве вещественного доказательства, что ее отец совсем не намерен отказываться от своих законных прав.

При девочке находилась бонна, строгая и добрая старушка англичанка. Она по-своему любила болезненную девочку, но вместе с тем старалась сделать ее совершенно незаметной. Англичанка преклонялась чисто по-английски пред авторитетом хозяина дома. Самый скверный английский дом все-таки святыня, и бонна внушила Шуре мысль об отце как о чем-то необыкновенном, недоступном и «вне конкурса».

— Так желает ваш отец, — повторяла она в критических случаях детской жизни.

Маленькая Шура долго не могла примирить таких слов, как этот таинственный и всемогущий «ваш отец»

и просто «мой отец». Последнее было чем-то вроде маленького святотатства, хотя и допускалось при утренней церемонии здорованья.

Девочка собственно не жила у отца, а точно пряталась в своей детской и появлялась, как те детские куколки, которые выскакивают, когда подавят пружинку. У нее и на личике являлось в этих случаях какое-то кукольное выражение. Когда отец заболел, девочка окончательно была забыта и являлась здороваться с отцом только по специальному приглашению. Ее присутствие волновало «вашего отца», а ему запрещено было доктором всякое волнение.

Но детская натура живуча. У детей, как у всех беззащитных животных, есть темные инстинкты, которые приводят их к цели, как достигает ее живая вода, пробивает себе путь через горы, леса и всевозможные, повидимому, непреодолимые преграды. Так было и тут. «Ваш отец» сидел безвыходно в своем кабинете, и этот кабинет являлся для Шуры заколдованным царством, к которому она не смела приближаться. Но зато она постепенно завоевала все другие комнаты, которые раньше являлись запретным плодом. Шура теперь знала отлично всю гостиную, залу, столовую, приемную, второй кабинет, где раньше работали два секретаря, угловую комнату, без всякого определенного названия и назначения. Квартира была громадная и обставлена с показной роскошью. Эти исследования в конце концов привели маленькую Еву все-таки к запретному плоду, то есть к кабинету «вашего отца». Ее тянула туда какая-то непреодолимая сила. Когда дверь была полуоткрыта, девочка заглядывала в нее издали, замирая от волнения. Отец никогда не сказал ей ни одного строгого слова, но она боялась его, потому что не слыхала ни одной отцовской ласки. Ей казалось, что вот-вот он выйдет, строго на нее взглянет и молча пройдет мимо, а она целый день будет чувствовать себя виноватой, и бонна будет делать выговор.

Шура начала с опытов. Сначала она проходила издали, как охотник, который с осторожностью подходит к медвежьей берлоге. Ее точно толкала какая-то сила к открытой двери. С каждым днем расстояние

делалось все меньше, пока не наступил роковой момент, когда девочка решилась заглянуть в самую дверь. Отец сидел в своем кресле и смотрел на нее с таким удивлением, точно она пришла с того света. Произошла красноречивая немая сцена, которая говорила выразительнее всяких слов.

— Тебе что нужно? — сурово спросил больной.

Девочка смутилась и убежала. Елтухова поразило прежде всего то, что она страшно походит именно на него, чего он раньше совсем не замечал. Да, вылитый его портрет, никаких сомнений не могло быть. Это его сильно взволновало, и он никак не мог понять, что девочке было нужно. Однако он выдержал характер и не позвал ее, потому что был уверен, что она придет во второй раз. И она пришла, остановилась опять в дверях и посмотрела на него с какою-то больною улыбкой.

— Иди сюда...

Девочка подошла и стала смотреть на него исподлобья, как плохо прирученный зверек.

— Что тебе нужно? — тихо спросил он, притягивая ее к себе.

— Ничего... Горничная говорит, что ты скоро умрешь.

— Горничная глупа, но я действительно скоро умру... да... Тебе будет жаль меня, когда я умру?

Девочка посмотрела на него, покачала головой и твердо заявила:

— Нет...

III

Девочка держала себя с большим тактом. На другой день она не пришла в кабинет, точно хотела показать, что не желает пользоваться случайной любезностью «вашего отца». Елтухов желал ее видеть, но не высказывал этого, точно боялся уронить свой отцовский авторитет. Он был уверен, что Шура придет, и терпеливо ждал. Сейчас терпение для него составляло все. А девочка все не выходила из его головы, и он думал о ней упорно и настойчиво, точно разрешал какую-то неразрешимую задачу. Он в последнее время делал вообще массу открытий, и появление забытой дочери осветило

для него целую полосу жизни. Да, в нем что-то проснулось и защемило... Где эта беглая жена, мать Шуры? Ему стоило закрыть глаза, как сейчас же видел ее такой, какой она была девушкой. Высокая, стройная, с некрасивым, но умным и пикантным лицом. У нее были какие-то кошачьи глаза, да и во всем было что-то кошачье. Она так мило картавила, еще лучше смеялась, вызывающе и дерзко показывая два ряда мелких кошачьих зубов. В обществе она производила впечатление, оставляя в тени патентованных красавиц. За Елтухова она вышла замуж по расчету. Он был богат, имел выдающееся общественное положение и вообще гремел. О нем все говорили, его знали, ему завидовали. Правда, что он был старше ее на тридцать лет, но в кошачьей арифметике это не имело особенного значения.

— Я вас совсем не люблю... — заявила она смело и откровенно, когда он делал ей предложение. — Так и знайте...

— Так и запишем, Татьяна Сергеевна... Любовь придумали взбалмошные поэты, а я человек серьезный. Надеюсь по крайней мере заслужить ваше уважение...

В свое время Елтухов пользовался успехом у женщин, и откровенность невесты задела немного его гордость. Но он сдержал себя и затаил к ней недружелюбное чувство. По его глубокому убеждению, женщина была существом низшего порядка, на которое нельзя было даже сердиться, не теряя уважения к самому себе. Ее можно было только тренировать... Но этот опыт тренировки оказался неудачным. Елтухов как-то размяк, потерял всякий авторитет в глазах жены и почувствовал, что их разделяет непроходимая пропасть. Целых два года продолжался домашний ад, о котором даже сейчас Елтухов не мог вспомнить без стыда. Он унижался, вымаливал каждый ласковый взгляд и даже плакал, когда она упорно отталкивала его. Боже мой, сколько было проделано позорных сцен.

— Я вас ненавижу не просто, а всем своим телом,— заявляла Татьяна Сергеевна. — У меня непреодолимое физическое отвращение к вам.

Родившийся ребенок явился какой-то насмешкой и не принес с собой ни теплоты, ни радости, как холод-

ное зимнее солнце. Мать даже не любила ребенка и бежала из проклятого дома без сожалений. Потом она опомнилась и начала просить ребенка себе, но Елтухов был неумолим. Он хоть этим путем мог отомстить за свой двухлетний позор. Раздумывая теперь об этом, Елтухов все-таки не мог решить коренного вопроса, именно, кто из них был хуже. Вернее всего, что оба были хуже. Он это даже прочитал на личике Шуры, бледненьком, подернутом старческими тенями детском личике, смотревшем на него с немым укором. Это был истинный плод их нелепого союза, вещественное доказательство их преступления, по закону называвшегося браком.

Шура через день пришла в кабинет. На этот раз она держалась уже гораздо смелее.

— Тебе нравится мой кабинет? — спрашивал Елтухов, напрасно стараясь придать голосу ласковое выражение.

— Не знаю...

Как у всех заброшенных детей, у Шуры часто встречались совершенно нелепые ответы, которые в первое время раздражали Елтухова... Это какая-то идиотка, а не его дочь. Разве у него, Елтухова, могла быть такая дочь? Но чем больше он вглядывался в ребенка, тем сильнее убеждался, что это именно его дочь. Ему делалось как-то неловко и совестно.

А девочка все больше и больше завоевывала кабинет «вашего отца». Делала она это не торопясь, но основательно. Ни одна мелочь не ускользнула от пристального детского внимания. Шура точно выучила каждую вещь и делала довольно обстоятельные вопросы.

— Папа, а почему вон на той картине все женщины голые?

Этот невинный вопрос заставлял Елтухова ежиться, и он отвечал совсем уж глупо:

— Так... то есть ты сейчас еще мала и не поймешь...

— Они, папа, были бедные? — не отставала девочка. — У них не было платья?

— Да, совсем бедные... — врал «ваш отец».

Почти все картины имели своим сюжетом этих «со-

всем бедных» голых женщин, что заметил Елтухов только сейчас. Когда-то давно в его кабинете были другие картины, а потом их заменила эта совсем голая бедность. После убега жены Елтухов считал себя вправе пользоваться радостями жизни, бросал массу денег по привилегированным притонам и здесь окончательно подорвал свое здоровье. Бедные женщины сделали свое дело.

Вопросы девочки делались все настойчивей. Она походила на того счастливого завоевателя, который забрался в крепость и забирает все, что попадет под руку.

— А где моя мама? — спросила она однажды.

— Мамы нет...

Девочка недоверчиво посмотрела на отца и убежденно проговорила:

— Ты ее спрятал в письменный стол.

Живой мамы Шура не помнила, а говорила о ее портрете. Эти расспросы опять коробили Елтухова, и он старался отвлечь внимание девочки в другую сторону. В несколько сеансов кабинет был уже выучен, причем все книги оказались совершенно неинтересными, потому что были без картинок. Все внимание в конце концов сосредоточилось на закрытых ящиках громадного письменного стола.

— Папа, что там лежит?

— Бумаги.

— Неужели у тебя нет ни одной игрушки?

— Ни одной.

— И тебе не скучно?

— Нет.

Девочка не поверила. Очевидно, «ваш отец» играет в свои игрушки потихоньку от нее. Для чего же тогда запирать стол на ключ? Елтухов понимал эти мысли, и его забавляла детская логика, не знавшая противоречий.

— Виноват, одна игрушка есть... Вот возьми ключ и отвори в левой тумбе нижний ящик. Там лежит альбом в красной обложке. Ты его достань...

Это был старый, совсем забытый альбом. Он давно был приговорен к уничтожению, но как-то завалялся...

Сейчас Елтухов вспомнил о нем только потому, что в этом альбоме были вложены его детские фотографии. Ему хотелось сравнить их с Шурой, чтобы проверить фамильное сходство. Девочка с серьезным лицом долго трудилась над заветным ящиком, пока, наконец, достала альбом и подала его с торжеством «вашему отцу». Это был очень почтенный альбом из дешевой кожи, купленный еще в ту пору, когда Елтухов не имел ничего, кроме головы на плечах. С течением времени дешевая кожа выцвела, растрескалась и проявляла все признаки начинавшегося разрушения.

— Вот это твой папа, когда ему было всего два года, — объяснял он, показывая порыжевшую старую фотографию.

— Разве ты был маленьким?

— Как все люди...

Дальше следовали фотографии, когда «вашему отцу» было четыре года, потом восемь, потом двенадцать и т. д. Елтухов по этим портретам невольно проходил все свое прошлое, позабыв о первоначальной цели, для которой доставался альбом. Да, вот каким был он, когда учился в университете, потом когда был начинающим молодым человеком, женихом, счастливым отцом первого ребенка. Пред его глазами проходили точно какие-то тени далекого прошлого. Каждая фотография отмечала какую-нибудь эпоху в его жизни. Они заканчивались моментом, когда Елтухов порвал все связи с этим прошлым и ушел навсегда в другую сферу. Его что-то кольнуло, когда он рассматривал самого себя в этом прошлом. Такое худое лицо и такое серьезное выражение, а внутри вечная тревога и неутолимая жажда идти вперед.

Шуру мало интересовало постепенное развитие «вашего отца» до его настоящей совершенной формы, и она с детским нетерпением перелистывала альбом. Он понял, что девочка отыскивает портрет матери.

— Папа, отчего тут все чужие? — спросила она.

— Не чужие, а мои знакомые.

— Отчего я их не видала? Они не бывают у нас?

— Нет.

— Они нехорошие, папа?

— Как тебе сказать... гм... есть и хорошие.

— А вот этот дядя в очках? Он добрый? Его как зовут?

— Профессор Лагутин...

— А это?

— Это? Это тоже ученый... Чередин...

— А это тоже ученый, папа?

Шура указала своим пальчиком на худенького бритого господина, походившего на высушенное для гербария растение.

— Нет, это так...

— Папа, он хороший...

— Почему ты думаешь?

— Я вижу...

Худенький господин когда-то был лучшим другом Елтухова, в первую полосу его жизни, а потом сделался злейшим врагом. Елтухов только вздохнул.

— Ну, довольно, Шура. Я устал... Можешь идти к себе.

IV

Мучительная бессонная ночь... Елтухов это предчувствовал и нарочно ничего не читал днем, чтобы оставить это чтение на ночь. Кроме газет, он ничего не мог читать. А тут прочитаешь громадный печатный лист, и голова совершенно свободна от всяких мыслей. Но сегодня и газеты его раздражали. Печатные строки были испещрены знакомыми фамилиями. Тут были и свои, и чужие, и друзья, и враги, и несколько новых, еще никому не знакомых имен. Эти новые имена только еще выбивались из тьмы неизвестности, расчищая себе дорогу. Шла отчаянная борьба за существование, и его имя так же в свое время появилось на этих столбцах, пока сделалось известным. Он отлично помнил этот период своей жизни, когда плечом пробивался в заколдованный круг излюбленных людей. А вот теперь идут на смену ему другие, неизвестные люди, голодные и жадные, готовые на подвиг и на преступление, с волчьим аппетитом. Ему казалось, что они уже оттерли его, эти жадные новые люди, что *своя* газета

уже намеренно игнорирует его, что о нем уже забыли, как забывают покойника. Это была смерть прежде смерти, и его охватило ужасное чувство заживо похороненного человека.

— У, негодяи!.. — проговорил он, швыряя скомканную газету. — Вы рады, что Елтухов умирает... Вы все рады и думаете, как еще недавно думал Елтухов, что он нужен и что без него остановится самое движение земли. Никому вы не нужны... слышите? Вы больше всего обманываете самих себя...

На письменном столе только тикали столовые дорогие часы. С улицы доносился изредка грохот проезжавшей кареты. Где-то, точно под землей, лаяла заблудившаяся уличная собака. В окно чуть пробивался желтый свет газового фонаря. Все это было вчера и будет то же самое завтра, до заблудившейся собаки включительно. Громадный город точно не мог заснуть сразу и успокаивался слоями. Спали подвалы, чердаки, третьи, четвертые и пятые этажи, а бодрствовали еще только бель-этажи, превращавшие ночь в день и день в ночь. Чего бы он, Елтухов, ни дал, чтобы заснуть, но сон не шел... Он чувствовал только, как все тело точно наливается тяжелой истомой, голова полна какого-то тумана, а сердце работает с таким трудом, точно там что-то с каждым ударом обрывается. Елтухов знал, что скоро ему сделается страшно, безотчетно страшно, когда хочется крикнуть и бежать. Но он не мог ни бежать, ни крикнуть. Вот и голова делается холодною, скоро появится холодный пот... Он знал, что к утру все это пройдет, что это только припадок, и все-таки вперед переживал это ужасное чувство панического страха. Уж ему-то, кажется, нечего было бояться, и все-таки страшно. Чтобы отвлечь внимание, он принимался считать, повторял до десяти раз всю таблицу умножения, прочитал мысленно несколько басен и стихотворений, которые учил еще в гимназии и которые оставались в голове, как остаются щепы и всякий мусор после постройки. Сон не шел...

— За что... а? За что? — шептал Елтухов, сжимая кулаки.

Ему хотелось сделать кому-то зло, чтобы и этот

кто-то так же мучился, как мучится сейчас он. В голове против желания мелькали богохульные слова, недостойные образы, картины поругания тех святынь, которым служит и поклоняется все человечество. Вот вам всем...

Сколько прошло времени — он не интересовался. Не все ли равно. Мучиться придется до самого утра, когда займется дневной свет. Днем не будет страшно. Солнечный свет производил успокаивающее впечатление. Ах, да, нужно думать о еще больших мучениях, чтобы парализовать свою сосущую боль. Например, что испытывали все те, которые подвергались мукам святой инквизиции? Ведь в одной Испании было сожжено больше трех с половиною миллионов еретиков... Предварительно их пытали: рвали живое тело железными клещами, наливали в раны кипящего масла, стругали тело, дробили кости, вывертывали суставы и потом уже в виде милости сжигали. А чего стоит каждая европейская война, когда на одном перевязочном пункте скопляется до пяти тысяч раненых, когда нет человека, который подал бы воды умирающему и когда врачи стреляются из отчаяния от всех этих ужасов! Сотни тысяч жертв, миллионы... А казни доброго старого времени? Когда Артемию Волынскому вырезали язык и везли на казнь и он увидел на эшафоте приготовленные орудия для четвертования, то он задрожал от ужаса — дрожал от ужаса человек, у которого только что вырезали язык. Несчастный Паткуль ползал с отрубленными членами несколько часов и молил о смерти, как о милости. А что испытывали те люди, которые были посажены на кол и мучились по три дня? Ужас, ужас, ужас — вот что называется историей цивилизации. Кроткое учение любви зажигало костры для еретиков, святая наука затрачивает главные усилия на изобретение новых способов, средств и орудий для истребления человечества. Что же значит, по сравнению с этим неизмеримым и неисчислимым злом, какой-нибудь порок сердца? Это — милость неба, величайшее счастье...

А нравственные пытки и муки, от которых люди топятся, режутся и стреляются?

Елтухов, раздумавшись на эти жестокие темы, почувствовал даже облегчение и вместе с тем думал, что для такого облегчения нужны муки других. В самой природе человека коренится какое-то органическое зло, как в змее яд. И он, Елтухов, делал зло, много зла... Почему-то ему припомнилось старческое личико Шуры, как яркое доказательство этой мысли. Бедная девочка... Ей в тысячу раз лучше бы родиться где-нибудь в подвале или на чердаке.

Сон не шел.

Елтухов машинально протянул руку к ночному столику, и ему попался давешний альбом. Сначала он отодвинул его, а потом взял и начал перелистывать. С пожелтевших страниц глядели на него точно с укоризной десятки знакомых лиц, когда-то дорогих и близких. Ах, как все это было давно. В душе Елтухова поднялась старая боль, которую не могло стереть никакое время.

— Все отпустится, всякое преступление, кроме предательства, — говорил вот этот старый друг с громадною шевелюрой и строгим лицом.

Он говорил это про Елтухова, когда последний перешел в другой лагерь. Да, он сделался ренегатом и повел отчаянную войну со всем прежним. Ведь он был и умен, и силен, а главное, талантлив. Правда, что его обидели, не оценили по достоинству *там,* и он со злобой бросил все и всех и с еще большею злобой начал служить новым богам. Своим он все-таки не сделался в этом новом кругу, а им только пользовались для своих целей. Эта служебная роль лежала на нем тяжелым гнетом, но возврата уже не было.

Если бы ему даже простили все, он все равно не вернулся бы из гордости, как не мог вернуться падший ангел. На нем лежало несмываемое пятно отверженности. Новое положение дало ему и почет, и деньги, и даже уважение таких людей, которых в душе он глубоко презирал, как друг Мушенко. Елтухов плыл по течению, заглушая совесть новыми подвигами против недавних друзей. Но что он ни делал, на него все-таки смотрели, как на перебежчика, и втайне не доверяли, как не верят человеку, который в жизни украл всего

один раз. О, как отлично он все это чувствовал и проникался затаенной злобой против всех. Чечевичная похлебка оказывалась несладкой. И находились еще люди, которые завидовали ему, те несчастные и ничтожные людишки, которые готовы были заплатить, чтобы повыгоднее продать себя.

И вот теперь наступил день итога. Не нужно было ни лгать, ни обманывать, ни притворяться — Елтухов был больше не нужен, и его место заступил другой Елтухов. Он даже знал этого alter ego [1] и не завидовал ему.

Голова Елтухова слегка кружилась, а он все продолжал рассматривать забытый альбом, вызывая в памяти давно минувшие сцены и забытые слова. Да, там были все хорошие, честные, убежденные люди, просто и смело служившие великому делу. Часть их уже сошла со сцены, а некоторые еще оставались, хотя и на обломках своего разбитого корабля. Они смело боролись со стихией и умирали на своем посту, как и следует солдату. Даже их смерть являлась возбуждающим моментом для остававшихся в живых, вызывая боевую команду: «Сомкнись!» А его смерть ничего не оставит после себя, кроме нескольких горьких улыбок и сомнительных сожалений.

Муки совести — какая это ужасная вещь, особенно когда это бессильные муки! Эта внутренняя пытка в тысячу раз хуже физических страданий, и Елтухов теперь уже не чувствовал своей привычной боли, с которою почти сроднился. Его поразила мысль, что этот забытый альбом принесла ему его забытая дочь, которая вырастет большой и, может быть, будет краснеть за него... Да, это будет непременно. Ах, если бы он мог выздороветь только для нее. Он сейчас же уехал бы куда-нибудь в глухой европейский уголок и там посвятил бы себя дочери. Ребенок забыл бы свой родной язык, и на новой родине ее не преследовали бы тени прошлого.

Елтухов почувствовал странное облегчение. Боли не существовало, точно какая-то невидимая рука сняла

---

[1] другого я (*лат.*).

с него страшную тяжесть, давившую его несколько лет.

— Завтра же еду... — решил Елтухов, закрывая глаза и чувствуя, как его охватывает страстно-желанная дремота. — Да, уеду... непременно...

Когда Шура на другой день вошла в кабинет поздороваться, «ваш отец» лежал в своем кресле мертвый. Свеча догорела, а на полу валялся старый забытый альбом.

ОЗОРНИК

Рассказ

I

Спирька сидел у окна своей избушки, смотрел в сторону башкирской деревни Кульмяковой и думал вслух:

— И отчего бы это дыму идти у башкир, а?.. Вот так штука... Не иначе, што где-нибудь барана скрали, а то и цельную лошадь. Верно!.. Ах, неумытые рыла!

Он заслонил рукой глаза от весеннего горячего солнца и еще раз убедился, что действительно над Кульмяковой, засевшей под горкой на берегу озера Карагай-Куль, тоненькою струйкой поднимается синий дымок. В следующий момент Спирька выругался, — выругался вообще, в пространство. Ему почему-то показалось обидным, что башкиры могут есть, а он должен смотреть, как у них дым идет.

— Ах, черти немаканые [1], удумали какую штуку!

По веснам Спирька испытывал какое-то озлобленное настроение. Им овладевала смутная тоска и неопределенное желание выкинуть какую-нибудь такую штуку, чтобы чертям было тошно. «А ты чувствуй, ежели на то пошло... да. Понимай своей башкой, каков есть человек Спирька... да». Мысли Спирьки перекатывались в его голове, как тяжелые камни, когда

---

[1] Немаканые — некрещеные. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

заиграет по косогорам вешняя полая вода. Озлобленное настроение объяснялось, может быть, тем, что Спирька после смерти жены жил бобылем. Он давно разорил все хозяйство, — какое же хозяйство без бабы? — и не принимал весной никакого участия в трудовой и радостной суете своей деревни Расстани. Другие пахали и сеяли, бабы готовили свои огороды, старики налаживали всякую снасть к страде; а Спирька сидел в своей избушке и ничего не хотел знать. Из всей скотины у него была одна гнедая лошадь, происхождение которой терялось во мраке неизвестности, — другими словами, все были уверены, что она краденая. Лошадь была бы совсем хорошая, если б ее кормить, но Спирька к последнему относился совершенно равнодушно. Вон башкиры тоже не кормят лошадей, а живут... В свое оправдание, впрочем, он мог сказать то, что решительно не знал, чем бывал сыт сам. Будет день — будет хлеб. А без лошади какой же мужик? Это было последнее воспоминание о хозяйственном существовании, как когда-то жил Спирька женатым и когда у него все было. Не хуже других-прочих жил, а с женой ушло и все крестьянское хозяйство, и Спирька попал в разряд лишних деревенских людей, которых на Руси достаточно. Вот и скучно делалось непутевому человеку, когда занималась весна.

— Беспременно башкиры собираются есть, — повторял Спирька с нараставшим озлоблением. — Ну и народец!

Окончательно Спирька был выведен из себя, когда в конце грязной, еще не просохшей улицы показалась Дунька. Он ее узнал сразу еще издали. Некому быть, кроме Дуньки... Вон как выступает, точно корова холмогорская.

— Куда бы ей идти утром? — соображал вслух Спирька. — Гладкая баба, нечего сказать.

Спирька еще раз выругался, теперь уже по адресу Дуньки.

— Ну куда ее черт несет? Ишь как по грязи-то вышлепывает.

А Дунька себе шла и, кажется, не желала ничего знать. По костюму в ней сразу можно было узнать ра-

сейскую бабу-переселенку. Белая рубаха с широко вырезанным воротом, домашней работы черная юбка, на плечи накинута белая свитка из домашнего сукна, платок на голове намотан тоже по-расейски, — одним словом, все по-своему. Красивое женское лицо было полно какого-то подкупающего спокойствия. Ни одного суетливого движения, ни одного лишнего взгляда.

— Куда это тебя понесло, Дунька? — окликнул ее Спирька.

Дунька вздрогнула и остановилась. На Спирьку посмотрели чудные серые большие глаза.

— А иду... — ответила она спокойно.

— Да куда идешь-то, глупая?

— А телушку искать.

— Ужо вот тебя волки задерут в лесу-то.

— Пущай дерут.

Дунька говорила певучим расейским говором, растягивая слова.

— А ты все отдыхаешь, Спирька? — проговорила она, подбирая юбку, чтобы перешагнуть через лужу. — Замаялся, лежавши на печи...

— А тебе какая печаль?

— Пожалела тебя... Другие мужики на пашне, а ты дома маешься. Пожалел бы хоть подоконник-то, лежебок.

Спирька обругал Дуньку и даже погрозил ей кулаком. Она спокойно пошла дальше, и Спирька долго следил за ее белыми босыми ногами, месившими грязь.

— Тьфу, окаянная душа!.. — ругался Спирька. — Бить вас некому, бабенок... За телушкой пошла?!. Тьфу! Я бы тебе показал телушку... Я бы тебя разуважил, гладкую!.. Тоже разговаривает... Лежебок! Ну и буду лежать... Не укажешь. Кто может Спирьке препятствовать? Ни в жисть...

В результате этого монолога Спирька схватил подвернувшийся под руку топор и швырнул его в угол.

А дым над башкирской деревней продолжал подниматься тоненькою синею струйкой, точно кто курил трубку. Спирька опять занялся вопросом, что это могло значить. Во всяком случае нужно было идти и обследовать все дело на месте. Спирьке даже начинало

казаться, что как будто запахло вкусною маханиной[1]. Потихоньку от своих Спирька любил поесть кобылятины с башкирами. Что же, такие же люди, хоть и живут по своему закону. Другой башкир получше будет русского, даром что кобылятник.

— Нечего делать, надо будет идти... — решил, наконец, Спирька.

Он накинул на одно плечо рваный татарский бешмет и вышел. До Кульмяковой было битых версты три, но расстояние для Спирьки не служило препятствием. Впрочем, выходя, он посмотрел на пустой двор, напрасно отыскивая своего «живота», — способнее бы верхом в Кульмякову-то прокатить! — но умудренный голодом конь «воспитывался» где-то на весенних зеленях. Обругав лукавого «живота», Спирька побрел пешком. Ему пришлось идти по той же дороге, по которой только что прошла Дунька, и это казалось Спирьке обидным. Чего уж хорошего, когда баба дорогу перешла.

— Ах, ты... — ругался Спирька. — Не стало ей время.

Он шагал по грязи, закинув бешмет на спину. Небольшого роста, плечистый и жилистый, Спирька был в самой поре. Кудлатая голова глядела суровыми темными глазами. Обличье у Спирьки было уже не расейское, а с явными признаками сибирской помеси: борода была маловата, скулы приподняты, лицо как будто сплюснутое. И ходил он не по-расейски на своих выгнутых ногах, как настоящий кавалерист. На Южном Урале попадаются часто такие типы, как результат далекого умыканья первыми русскими насельниками татарских «женок» из недалекой степи. Народ собрался сюда со всех сторон, и недостаток в своей бабе чувствовался долго.

Весеннее солнце так и пригревало, несмотря на раннее утро. «Зелени» взялись необыкновенно дружно, и только березы стояли еще голыми. По низинам пушилась верба. Открытые места, где шли пашни и покосы,

---

[1] Маханина — вареное лошадиное мясо. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

тянулись по долине реки Чигодой, делавшей расширение у озера Карагай-Куль. Горизонт замыкала разорванная линия перепутавшихся между собой отрогов Южного Урала. Башкирская деревушка Кульмякова засела на берегу озера, прикрытая со стороны Расстани березовым лесом. Русская стройка была плотная, и ряды изб стояли, как новые зубы. За Расстанью, в полуверсте, раскинулась Ольховка, где лет пять тому назад устроились переселенцы, выходцы из Рязанской и Тамбовской губерний. Тут наполовину новые избы стояли еще без крыш, надворные постройки были еще в зародыше, а кое-где сохранялись еще переселенческие землянки, напоминавшие кротовые норы. Дунька была из Ольховки.

Дорога из Расстани в Кульмякову огибала березовый лес, и Спирька не пошел по ней, не желая вязнуть в грязи. Он не торопясь брел по меже прямо к лесу, — так было прямее. Тут ему вышла неприятность: попались два расстанских мужика, ехавших с сохами.

— Бог на помочь, Спирька! — крикнул один. — Куда наклался спозаранку?.. Смотри, вывихнешь ноги-то.

Односельчане относились к Спирьке свысока, как к замотавшемуся, непутевому мужику, и это его злило.

— Челдоны желторылые... — ворчал он.

II

Главная неприятность ожидала Спирьку именно в лесу. Не успел он сделать несколько шагов, как увидел Дуньку. Она шла прямо на него, помахивая длинной хворостиной. Спирька остановился, посмотрел на нее и плюнул.

— Тьфу, окаянная!..

Дунька тоже остановилась. Эта неожиданная встреча тоже поразила ее не особенно приятно. Беспутный Спирька и без того не давал ей проходу и при каждой встрече считал своим долгом обругать. А тут, в лесу, с глазу на глаз — кто знает, что у него на уме, у шалого. Еще как раз наозорничает... Ей хотелось убе-

жать, но было как-то совестно. Он тоже совестился свернуть в сторону. Какой же мужик, который бабы испугался. После Дунька же и осмеет при всем народе. Баба бойкая и за словом в карман не полезет.

— Ну чего же ты стоишь, как березовый пень? — сурово проговорил Спирька.

— А тебе какое дело?.. Иди своей дорогой...

— И пойду. Тоже не укажешь...

Он сделал несколько шагов. Дунька продолжала стоять. Спирька опять остановился.

— Послушай, Дунька, кабы я был твой муж, я бы взял орясину да орясиной тебя. Разве теперь по лесу телок ищут? Ах, ты... Скотина вся на зеленях воспитывается.

— А ежели я была на зеленях! Умен тоже....

— Все-таки ты круглая дура, Дунька. Зачем по лесу шляешься?

— Ближе лесом-то... Да што ты пристал ко мне, смола? Сказано: иди своей дорогой.

— И пойду... Думаешь, испугался? Тоже не укажешь, чертова кукла... У! взял бы да так взвеселил...

Он прошел в двух шагах от нее, а потом опять остановился. Дунька шла своей дорогой не оглядываясь.

— Дунька... постой... — крикнул он изменившимся голосом, точно кто сдавил ему горло. — Словечко надо тебе одно сказать...

Дунька, не оглядываясь, вдруг бросилась бежать. Это выражение бабьего страха окончательно вышибло Спирьку из ума. Он догнал ее в несколько прыжков и схватил за руку.

— Не замай... Спирька, да ты в уме ли?

— Постой, говорят... Што ты дуром-то бросилась бежать? Не разбойник ведь....

— Отпусти, говорят!..

— А не пущу...

Он тяжело дышал. Она смотрела на него испуганными глазами и сделалась еще красивее.

— Дунька... Дуня... Зачем ты постоянно сердишься на меня?

— А зачем ты постоянно меня ругаешь? Проходу от тебя нет, от непутевого...

— Я ругаю? — удивился Спирька, выпуская ее руку. — Вот опять ты и вышла круглая дура... Как есть ничего не понимаешь!.. Да я... ах, боже мой!.. Да я, кажется... Што я, зверь я, што ли, лесной? Изверг?

— Известно, каков человек... Недалеко ушел от разбойника-то, коли чужих баб в лесу останавливаешь.

— А ты была у меня на уме, кикимора? А, была?..

Спирька опять озлился, а потом прибавил сдавленным голосом:

— Всех вас взять, новожилов, так вы пальца одного Спирьки не стоите... Поняла? Вот каков есть человек Спирька...

— Уж очень ты дорожишься... Прощай.

Она хотела уйти, но он опять удержал ее.

— Спирька, не замай!.. Вот ужо скажу мужу...

— Мужу? Ха-ха... Испугала до смерти. Да я из твоего мужа и крупы и муки намелю. Слышала? А я к тебе с добром, Дуня...

Она опять со страхом посмотрела на него.

— Ну?

— Ты вот говоришь, што я тебя все ругаю, ну... А што у меня на уме... сердце горит... Кажется, взял бы да пополам и разорвал тебя. На, не доставайся никому... И себя порешить... Ничего, значит, не надо...

Эти несвязные слова окончательно перепугали Дуньку, и она вся затряслась.

— Спирька, шалый, кому ты выговариваешь такие-то слова? Забыл, што я мужняя жена?.. Вот я свекру ужо пожалуюсь, так ён тебя выучит...

— Свекру?

У Спирьки помутилось в голове, точно у быка, которого ударили обухом. Он посмотрел на Дуньку воспаленными дикими глазами и схватил в охапку.

— Свекру, а?.. Мужу, а?.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Я же тебе покажу...

Она как-то жалко пискнула в железных объятиях Спирьки и начала отчаянно защищаться. Борьба происходила с молчаливым ожесточением. У Дуньки свалился платок с головы и рассыпались косы из-под сбившегося повойника. Это ничтожное обстоятельство привело в себя Спирьку. Дунька воспользовалась мгно-

веньем, вырвалась и заорала благим матом. Спирька бросился было за ней, но увидал издали ехавших по пашне деревенских мужиков.

— Дунька!.. — крикнул он вслед, грозя кулаком. — Ведь ты душу из меня вынула, змея подколодная!

Дунька остановилась на опушке, чтобы привести в порядок свой костюм, а главное — волосы. Спирька только сейчас сообразил, как все вышло безобразно. Ехавшие по пашне мужики слышали женский крик, а тут выскочила, как полоумная, Дунька. Нехорошо, главное, было то, что она была простоволосая, что для мужней бабы величайший позор. Но Спирька ошибся. Дунька во-время сообразила все и спряталась за деревьями, так что мужики не могли ее разглядеть.

— Вот тебе и фунт, — проговорил Спирька, окончательно падая духом: на земле валялся в качестве вещественного доказательства Дунькин платок. — Эй, Дунька, воротись! Возьми платок-то, дура...

Она обернулась и только покачала головой. Дело выходило совсем плохо. Простоволосить мужних жен не полагается по строгому деревенскому обычаю.

Спирька долго стоял на одном месте, провожая глазами уходившую Дуньку. Вот она делается все меньше и меньше, вот совсем маленькая, вот и совсем разобрать ничего нельзя, а только белеет одна свитка. Наконец, все пропало. Спирька чувствовал, как тяжело бьется его сердце, слышал, как ласково шумят над его головой еще голые березы, точно что выговаривают, видел, как солнце бродит по сырой земле золотыми пятнами, точно что отыскивает... И опять на его душе закипела обида, и ему хотелось плакать. Да, теперь уж все кончено. Придет Дунька домой без платка и все обскажет мужу, — нет, хуже, нажалуется свекру. Муж-то еще стерпит и не захочет срамить жену, а свекор ухватится обеими руками. Старичонко бедовый, ему это только и нужно. Спирька чувствовал, что вперед краснеет от будущего срама.

— А ежели Дунька не скажет никому? — думал он вслух. — И никто бы ничего не узнал.

Но эта мысль обрывается в самом начале, и Спирька окончательно погружается в бездну отчаяния.

— Дура она круглая... Одним словом, баба.

У Спирьки выступают на глазах слезы, и он сжимает кулаки. Надо было задушить ее, Дуньку. Все одно, семь бед — один ответ. Разве он хотел ее обижать? Да он для нее не знаю что готов сделать... Ах, Дунька, Дунька, ежели бы ты не была дура! Ежели бы она хоть чуточку понимала, что у Спирьки делалось на душе. И опять ему хочется ее убить, чтобы хоть этим путем снять с души каменную гору.

Спирька поднял валявшийся на земле Дунькин платок и спрятал его за пазуху. Вот через этот платок он и погибнет напрасно. Спирька побрел своей дорогой в Кульмякову, но не успел он сделать несколько шагов, как его осенила одна мысль. Теперь ему сделалось ясно все, так ясно, что он даже захохотал.

— Ведьма она, эта самая Дунька — вот и конец делу. Конешно, ведьма вполне... Убить ее мало.

Припомнив разные подробности своего знакомства с Дунькой, Спирька убедился окончательно в своем предположении. Ведь с первого разу она оказала себя ведьмой, еще тогда, когда он встретил ее на дороге. Она и подвела всех.

— Ведьма... Вот как обошла. Конешно, платок у меня, а она все-таки заправская ведьма... Так и скажу: «Было дело действительно, а Дунька — ведьма». Ее надо осиновым колом пришибить, а не то что разговоры разговаривать.

III

Дунька пришла в себя только у околицы. Она решила, что никому и ничего не скажет. Но беда была в том, что ее платок остался у Спирьки. Вернуться домой без платка было невозможно. Первая свекровь заметит и подымет дым коромыслом. В этих расчетах она не пошла Расстанью, где ее видели в платке, а обошла деревню задами и в свою избу прошла огородами. На счастье, ее встретила одна младшая сноха Лукерья, глуповатая и несообразительная бабенка. Свекровь убиралась в избе и ничего не видела. Все вышло хорошо.

«Господь пронес... — думала про себя Дунька. — Этакой озорник этот Спирька. Вот как бы надо его поучить, чтобы не охальничал с мужними женами. Не стало своих девок в Расстани, или вон две солдатки живут».

Вечером ни с того ни с сего накинулся на нее свекор.

— Где телушка? — приставал старик. — Куда она ушла?

— Не знаю, батюшка.

Несмотря на покорство, Дуньке все-таки досталось. Старик побил ее для «прилику», а Дунька для «прилику» голосила, точно ее резали. Все это входило в распорядки строгой расейской семьи. Даже когда потерявшаяся телушка вечером пришла сама домой, старик сердито кинул снохе:

— Вот скотина, а поумнее тебя будет. Свой дом знает.

День прошел, одним словом, как сотни и тысячи других деревенских дней. Все знали отлично, что *так* нужно. Переселенцы только «строились» на новых местах, и требовалась сугубая строгость. Батюшка-свекор постоянно указывал на Расстань, как пример ненастоящего житья зазнавшихся сибиряков. Разве это правильная деревня? Разве это правильные мужики, а тем больше — бабы? На последних старик особенно нападал, потому что бабой дом держится, а сибирская баба не имеет настоящей острастки.

Муж Дуньки вернулся с пашни только вечером и сейчас же завалился после ужина спать. Намаялся человек за день, ну и отдохнуть надо. Дунька убралась и в избе с ребятами и на дворе со скотиной и улеглась спать последней, как и следует снохе-большухе. Она сильно притомилась за день, но заснуть никак не могла. Ее взяло особенное ночное раздумье. Главное, Дуньку начала мучить совесть. Зачем она скрыла от всех давешнее? Ведь она ни в чем не виновата и все-таки скрыла. Раздумавшись, она припомнила, что ее платок остался в руках у Спирьки. А вдруг он где-нибудь напьется и вздумает похвастать. «Вот он, Дунькин-то платок!» Ведь тогда все мужики на нее остре-

бенятся и как дохлую кошку разорвут, потому как это первый случай с расейской бабой, которая не умела себя соблюсти.

Чем больше думала Дунька, тем ей делалось хуже. Ей казалось, что кто-то уж крадется к ихней избе. Вот-вот подойдет и стукнет в окно пьяная рука. «Эй, Дунька, выходи... Вот он, твой-то платок!» Бедная баба тряслась в лихорадке и про себя творила молитву. Наконец, она не вытерпела и разбудила мужа.

— Степан... а Степан!

Спросонья Степан плохо понял, что говорила жена. Буркнул что-то в ответ и снова захрапел, как зарезанный. Так и промаялась Дунька вплоть до белого утра. Батюшка-свекор поднимался чуть свет и бродил по двору, как домовой. Дунька смело подошла к нему и с бабьими причетами кинулась прямо в ноги.

— Батюшка, Антон Максимыч, согрешила... Не вели казнить — прикажи слово вымолвить. Обманула я тебя вечор, раба последняя.

— Ну... говори!

Старик был спокоен и только пнул Дуньку ногой, чтобы не валялась.

— Ну, ну.

С причетами и рыданиями Дунька рассказала все, как вышло дело, и даже прибавила на свою голову. Еще заканчивая эту исповедь, Дунька как-то всем телом почувствовала, какую она сделала глупость, но было уже поздно. Свекор взял ее за руку, поставил к столбу и велел ждать. Через минуту он вынес новенький сыромятный чересседельник, скрутил его жгутом и принялся им бить Дуньку по плечам и по спине. На ее крик выбежала старуха свекровь.

— Ты это что, отец, делаешь-то? — накинулась она на мужа.

— Я-то? А мы разговоры разговариваем.

На шум и крик во дворе скоро собралась вся семья. Степан пробовал было заступиться за жену, но в ответ получил от родителя удар кулаком по лицу. Старуха свекровь тоже впала в неистовство, когда услыхала про исчезнувший платок. Она несколько раз подскакивала к Дуньке с кулаками и шипела беззубым ртом:

— Подавай платок... где платок? Гадина, давай платок... Степка, ты чего смотришь? Учи жену.

Степану было жаль жены, но он в угоду матери ударил ее по лицу несколько раз. Дунька стояла на одном месте и смотрела на всех округлившимися от страха глазами. Она никак не ждала такого исхода своей исповеди.

— По какой такой причине Спирька к тебе приставал? — наступал на нее свекор. — Мало ли баб в Расстани и в Ольховке, — других он не трогает небойсь. Сама виновата, подлая... может, сама подманивала его.

Дунька молчала. Это еще больше злило старика, и он снова принимался ее бить чересседельником, так что на рубашке показалась кровь.

— Бей ее! — приказывал старик сыну, передавая Степану чересседельник. — Муж должон учить жену.

Подогретый науськиваньями матери Степан поусердствовал. Он остервенился до того, что принялся таскать Дуньку за волосы и топтать ее ногами.

— Так... так... — тоном специалиста одобрял свекор, с невозмутимым спокойствием наблюдавший эту сцену. — Пусть чувствует, какой такой муж бывает.

От дальнейших побоев Дуньку спасло только беспамятство, хотя свекровь и уверяла, что «ёна» притворяется порченой. Избитая Дунька очнулась только благодаря снохе Лукерье, которая спрыснула ее холодной водой. Старики ушли, и Лукерья шепотом причитала:

— Ох, смертынька, Дунюшка. Ведь этак-то живого человека и убить можно до смерти.

— Молчи уже лучше, а то и тебе достанется... — посоветовала Дунька, вытирая окровавленное лицо. — Дуры мы, вот што.

— Степан-то как расстервенился. А матушка-свекровушка еще его же науськивает.

Дунька молчала. У нее болело все тело, каждая косточка. В избу она не пошла, а попросила Лукерью принести к ней полугодового ребенка. Это был здоровенький мальчик Тишка, родившийся уже на Урале. Его в семье называли «новиком».

— Этот уж не наш расейский... — с грустью гово-

рил дедушка. — И не узнает, какая такая Расея есть. Желторотым сибиряком будет расти.

Над маленьким Тишкой избитая Дунька и выплакала все свои дешевые бабьи слезы.

Обиднее всего для Дуньки было то, что при всем желании она не могла пожаловаться на свою семью, хотя и выходила замуж круглой сиротой. Семья была настоящая, строгая, мужики работящие, а свекор пользовался особенным почетом в Ольховке, потому что он вывел всех на Урал, на большую башкирскую землю. Около него сплачивались все остальные мужики, и старик стоял всегда в голове новожилов. Проявленное над Дунькой семейное зверство в сущности ничего особенного не представляло, как самое заурядное проявление родительской и мужниной власти. Вот вырастет Тишка большой, женится и тоже будет учить жену. Это было для Дуньки чем-то вроде утешения. Ведь в свое время и она будет лютой свекровью-матушкой.

В следующие дни в семье наступило тяжелое затишье. Степану, очевидно, было совестно, и он молча ухаживал за женой, скрывая последнее от грозного батюшки. Впрочем, старик, кажется, забыл о Дуньке. Он замышлял что-то новое. Дунька со страхом следила за ним. Очевидно, старик подбирался к Спирьке и подбивал других новожилов действовать заодно.

— Растерзают они его... — со страхом говорила Дунька снохе Лукерье.

— Так и надо озорнику! Не балуй... Ты-то што его жалеешь?

— А сама не знаю... Просто дура. Спирька недаром меня дурой-то навеличивает.

IV

Спирька пропадал в Кульмяковой дня два, а потом появился в окне своей избушки. Он по целым часам лежал на подоконнике и смотрел на улицу. По некоторым признакам он имел полное основание догадываться, что дело неладно. Во-первых, мимо его

избушки без всякой цели прошли три бабы и рассчитанно громким голосом говорили:

— Ох, бабоньки, и били же ее, сердечную... Сперва свекор утюжил, а потом муж по тому же месту. В чем душа осталась... Сказывают, пластом лежит.

— Чуть до смерти не заколотили бабенку. А какая такая в ней вина? Все он, змей...

Затем Спирька заметил, что около ворот собираются мужики и о чем-то толкуют между собой. Ему казалось, что несколько раз прямо указывали на его избушку. Наконец, он видел, что приходили ольховские мужики и о чем-то долго толковали с расстанскими. До него долетали только отдельные слова: «ён», «ёна», «озорник» и т. д. Вообще заваривалась каша, и Спирька только крутил головой. На всякий случай он приготовился дать с первого раза сильный отпор.

— А ежели она ведьма, ваша Дунька?.. Ну-ка поговорите теперь со мной... Прямо ведьма. Она и на вас на всех сухоту напустит...

Не раз случалось Спирьке выдерживать напор всего деревенского мира, и он собственно был спокоен. Ведьма — и все тут. Уж ежели кому отвечать, так им же, новожилам, зачем «ведьмов» разводят.

— Ну, ну, идите сюды! — кричал Спирька в окно. — Я вам поккажу... Я вас произведу!..

Правда, эта храбрость Спирьки сильно уменьшилась, когда он раз заметил в толпе мужиков старика Антона. Этот не испугается. Самый вредный старичонко, ежели разобрать, цеплястый, как клещ вопьется.

Дело вышло ранним утром, когда Спирька еще спал. Под окном его избушки показался волостной.

— Эй ты, лежебок, дай отдохнуть печке-то...

Спирька выглянул в окно. Перед избой толпилась целая кучка переминавшихся мужиков.

— Вам чего, галманы? — дерзко спросил Спирька.

— А надо с тобой поговорить, хороший ты человек. Выходи ужо на улицу...

— А думаешь, не выйду? И выйду... Сделай милость. Тоже, подумаешь, испугали...

— И выходи, приятный ты человек...

— Да платок-то Дунькин захвати, — прибавил

голос из толпы. — В дружках не был, штобы чужие платки брать...

В ответ из окна полетел скомканный Дунькин платок. Спирька накинул свой армяк и храбро вышел за ворота, где его сейчас же и подхватил под руку волостной.

— Вот так, Спирька... Честь завсегда лучше бесчестья, приятный ты человек. Чего тут бояться добрых людей... Просто, значит, волостные старички хотят с тобой разговор поговорить.

— Дураки ваши волостные старички, — огрызнулся Спирька.

Спирька понял, что его ожидает, и всю дорогу ругался самым отчаянным образом. Около волости его поджидала уже целая толпа, состоявшая из старожилов и новожилов. Спирька струсил, когда увидел в толпе худенькое лицо старичка Антона.

— Ён самый... озорник... — перешептывались в толпе, когда Спирьку вводили на крыльцо волостного правления.

В волости уже дожидались волостные старички, в руках которых сейчас была судьба Спирьки. Однако он не потерялся (слава богу, не впервой было судиться у старичков!) и довольно развязно проговорил:

— Старичкам поштение...

Старички сидели хмурые, как следует быть ареопагу, и ничего не ответили. Волостной предъявил им Дунькин платок в качестве вещественного доказательства. Изба скоро набилась народом. Слышно было тяжелое дыхание и угнетенные вздохи.

— Спирька, а што ты скажешь насчет Дунькина платка? — предложил вопрос старшина, не прибегая к предисловиям.

— Платок? — замялся Спирька и прибавил уже бойко: — И очень просто, господа старички... Эта самая Дунька просто ведьма. Да... Присушку мне сделала, не иначе.

Старички переглянулись, и старшина ответил за всех:

— Так, так, приятный человек... А мы, значит, эту самую Дунькину присушку тебе отмочим, штобы вперед

не повадно было охальничать. Так я говорю, старички? Ну, Спирька, показывай все на совесть...

— Нечего мне и показывать... Дело известное. Ежели бы я был женатый, так оно тово... поиграл малость с бабенкой, а она себя и оказала ведьмой. Мне бы раньше об этом самом догадаться... А што касается платка, так это самое дело прямо наплевать.

— Прыток ты на словах, приятный человек... Только напрасно путляешь, говори настоящее.

При всем желании сказать что-нибудь настоящее Спирька только развел руками. Старички переглянулись и сделали знак каморнику. Толпа молча расступилась, и пред стариками очутилась Дунька, бледная, испуганная, со свежими синяками на лице. Она комом повалилась в ноги судьям и заголосила:

— Ничего я не знаю, господа старички... Не взыщите на дуре-бабе. Как есть ничего...

— Врет ёна... — послышался спокойный голос свекра. — Дунька, показывай все...

— Твой платок, Дунька?

— Конешно, мой... ён самый и есть.

— Ты телушку пошла искать?

Благодаря этим наводящим вопросам Дунька рассказала по порядку все происшествие. Новожилы были довольны этим показанием, а старожилы были смущены Спирькиным озорством. Тоже не полагается простоволосить мужних-то жен... Спирька слушал, переминаясь с ноги на ногу, и только проворчал, когда Дунька сказала, что он чуть ее не задушил:

— И надо было задавить... Вас, ведьмов, нечего жалеть, ежели вы присушку делаете.

Обстоятельства дела были ясны для всех. Обвиняемый в свое оправдание решительно ничего не мог сказать и только твердил, что Дунька — ведьма.

— А хоша бы и ведьма, — заметил резонно один старичок, — и с ведьмов платки-то не полагается рвать. А ты вот того, озорник, не понимаешь, што всю деревню осрамил... Што теперь новожилы-то про нас будут говорить?

Выдвинулся самый больной вопрос о розни между Расстанью и Ольховкой. Новожилы являлись потерпев-

шей стороной, и требовалось возмездие, чтобы восстановить честь и доброе имя старожилов. Спирька являлся своего рода козлом отпущения. Старожилы на нем как будто делали невольную уступку и косвенно признавали права новожилов. Спирькой замирялись вперед поводы к взаимным недоразумениям, и волостные старички как опытные политики отлично это понимали, как понимал и Спирька, которого выдавали головой. Мир от него отступался.

— Ну, приятный человек, што мы теперь с тобой будем делать? — заговорил старшина. — Своим-то озорством ты вот до чего всех довел...

— Поучить его надо, змея, господа старички, — вступился свекор Дуньки.

— А ты помолчи, дедко... — остановили его судьи, сохраняя собственное достоинство. — Мы дело ведем на совесть... Ну, Спирька, што мы с тобой должны делать теперь?

В судьях было еще некоторое колебание, но Спирька сам себя предал — вместо ответа взял и плюнул. Он до конца остался озорником, и участь его была решена по безмолвному соглашению. Для видимости старички пошептались между собой, а потом старшина проговорил:

— Нечего делать, приятный человек... Довел ты нас донельзя... Дядя Петра и ты, Ларивон...

Когда Спирька возвращался домой, ребятишки показывали ему язык и кричали:

— Драный-сеченый!..

Спирька только встряхивал волосами, но не смущался. Как это господа старички поддались этой самой ведьме, — даже удивительно. Вот до чего их довела Дунька... Дерут живого человека и думают, что сами это придумали. А новожилы-то чему обрадовались?

V

Только вернувшись в свою избушку, Спирька в первый раз почувствовал приступ жгучего стыда. Вот в этих самых стенах жил он исправным мужиком, пока

не померла жена, а теперь... Спирька забрался в темный угол на полатях и пролежал там до ночи, снедаемый немым отчаянием. Он тысячу раз повторял про себя все случившееся и приходил к одному и тому же заключению, что во всем виновата Дунька, и она одна. Как ведь ловко она с первого разу обошла его — никто и не заметил.

Припомнился Спирьке жаркий летний день. Он ехал откуда-то с помочи, пьяный свалился с лошади и тут же заснул в зеленой душистой траве. Лошадь паслась около него. Потом Спирьке показалось, что кто-то тащит у него из-за пояса ременный чумбур, на котором привязана была лошадь.

— Стой!.. Врешь... убью! — заорал Спирька, напрасно стараясь подняться на ноги. — Эй, не подходи!..

— Ну, слава богу, живой, — проговорил над ним участливый женский голос. — А мы думали, што ты расшибся али убитый.

Это и была Дунька. Она шла с свекром впереди переселенческого обоза. Старик Антон спутал какую-то повертку и обратился к Спирьке:

— Мил-друг, как нам проехать на Томск?

— На Томск? Ха-ха... Да ведь до Томска-то тыщи две верстов будет. Ах ты, старый черт... Может, тыщи дорог на Томск идут: любую-лучшую выбирай. Да вы кто такие будете? Переселенцы?

— Около этого, мил-человек... Рязанские, значит, Рязанской губернии вообще, значит, выходит, расейские.

— Та-ак... — соображал Спирька. — А я думал — конокрады.

Пока шел этот разговор, Дунька стояла и с жалостью смотрела на Спирьку. Этакой здоровый мужик, а морда в грязи, рубаха испластана, — она не стерпела и проговорила:

— А ты бы рожу-то себе вымыл, да и рубаху надо починить... Видно, нету жены-то?..

Ах, как она хорошо все это сказала... Спирька и теперь точно слышит этот ласковый бабий голос и видит жалостливые бабьи глаза. Ведь вот поди ты, сразу уга-

дала все... И хорошо Спирьке сделалось и стыдно, а Дунька смотрит на него так прямо и так просто.

Старик еще что-то расспрашивал, а потом подошел переселенческий обоз. Уж только и народ... Притомились все за дорогу-то, обносились, затощали — смотреть жаль. А видно, что народ все хороший, правильный народ, не чета сибирскому. Этакому-то народу дай-ко вольную сибирскую землю, так огнем загорит. И бабы все хорошие, хотя и в лаптях.

Когда обоз уже прошел, Спирька заметил, что Дунька оглянулась на него. Эти большие серые глаза точно позвали его. Спирька сел на лошадь, догнал обоз и обратился к старику:

— Ты, видно, дедко ходоком будешь?

— Ён самый.

— Словечко я тебе одно скажу, дедко... Эх, дорогое словечко, а вся цена — полуштоф водки.

Обоз остановился. Около Спирьки собрались мужики.

— Куда в Томскую губернию тащитесь? — заговорил Спирька, мотаясь в седле. — Экую даль тащиться, да это помереть.

— Нужда, мил-человек, гонит... Не сами идем. Нужда устигла...

— Эх, вы...

Спирька обругался, а потом прибавил:

— Вот што я вам скажу, расейские мужички... Сделаем дельце так: вы мне выставите, напримерно, полуштоф водки, а я, напримерно, отведу вам тыщу десятин вольной земли. На, пользуйся да поминай Спирьку... Все будете благодарить, а у которых ежели есть дети, так и дети будут чувствовать, каков есть человек Спирька.

Переселенцы выслушали и сначала не поверили Спирьке: пьяный человек зря болтает. Да и вид у него совсем шалый. Погалдели расейские лапотники, посмеялись над Спирькой и хотели идти дальше, но остановила всех Дунька:

— Полуштоф с миру пустое, а может, ён и в сам деле может определить...

Началась жестокая ряда. Спирька стоял на своем.

— Да ты скажи наперед, а потом мы тебе бочку этого проклятого вина укупим.

— Не могу, — артачился Спирька. — Самому дороже стоит, и притом у меня свой карахтер... Не хотите своей пользы понимать...

Старик Антон подумал-подумал и решил в свою голову:

— Вот што, мил-человек, так и быть: сделаю тебе уважение. Понимаешь: распоследнее отдаю.

Только теперь Спирька догадался, что такое решение старика Антона было внушено Дунькой. Дело ясно, как день... Она видела всех насквозь.

Водки в обозе, конечно, не оказалось, и пришлось ехать до первой деревни, где был кабак. Измученный жестоким похмельем, Спирька выпил всю бутылку дрянной кабацкой водки чуть не залпом, прямо из горлышка. Потом Спирька крякнул, вытер лицо рукавом рубахи и заявил:

— Ну, дедко, твое счастье... Купил ты меня.

Они отошли в сторону, и Спирька действительно обсказал все на совесть.

— Вы, дедко, вот как сделайте... Тут есть Кульмяцкая башкирская волость, земли видимо-невидимо — понял? У них такое правило: башкиру-вотчиннику полагается тридцать десятин на душу, а башкиру-припущеннику всего пятнадцать...

Голова старика Антона закачалась от удивления: *всего* пятнадцать десятин?..

— А дело не в этом, дедко, — объяснял дальше Спирька. — Башкирскую-то землю пьяный черт мерял после дождичка в четверг... Сколько этой земли — никто не знает. И еще есть причина: мрут эти башкиры, как мухи, а земля-то остается тоже. Понял?

— А ты не омманываешь?

— Ну, вот тоже скажет человек... Што мне тебя обманывать, когда у нас своя деревня стоит на башкирской земле. Пришли и осели... Пятьдесят лет теперь судимся с башкирами, и никакое начальство ничего разобрать не может. По-моему, этой самой земли и вам хватит, да еще от вас останется... Понял? Значит, башкирская деревня Кульмякова — понял? А мы уж

к ней приспособились, ну, а вы к нашей деревне приспособляйтесь.

— Как же это на чужую землю возможно?

— Ах ты, ежовая голова: сказано — земля ничья, божья, значит. Ничего неизвестно, кому и што следствует... Я тебя и научу, дедко, как наших расстанских мужиков обойти, только за это ты мне второй полуштоф потом выставишь. Ты приезжай завтра к нам в волость и сторгуй три десятины травы у волостных старичков, будто лошадей выправить... У нас трава по двугривенному с десятины... Ну, а как вас пустят, вы уж не зевайте: сейчас налаживайте и балаганы и землянки. Понял? А потом будто бы перѐзимовать только хотите... Так? А потом с кульмяцкими башкирами сговоритесь, будто вы у них эту самую землю покупаете... Да тут конца края не будет, и никто ничего не разберет.

— Ну и сказал ты словечко, мил-человек...

— А то как же? У нас, брат, в Сибири добром ничего не возьмешь... Божья земля-то. Понял? Так оно и пойдет год за годом, а там, глядишь, башкиры все вымрут, — ну, тогда с Расстанью и разделите землю пополам. Вот каков есть человек Спирька!

— Так, так...

— Да уж верно сказано.

Переселенцы так и сделали, как научил Спирька, и все вышло как по-писаному. Ходок Антон оказался большим мужицким дипломатом. Дело в том, что русская деревня Расстань не имела никакого права на существование и осела на чужой башкирской земле захватом. Башкиры судились с этими незваными насельниками много лет, но из этого ничего не выходило, потому что собственные права башкир тонули во мраке далекого прошлого. Когда-то, очень давно, они тоже пришли сюда и захватили чужую землю. Оставались права давности, вернее — права первого захвата. Появление новых насельников было на руку башкирам, сдавшим в долгосрочную аренду землю, принадлежавшую Расстани. Отсюда пошли нескончаемые споры и раздоры между русскими деревнями, сопровождаемые настоящими драками и рукопашной. Переселенцы

удерживались только дипломатическим талантом ходока Антона, умевшего заговаривать зубы и рассчитывавшего на время.

Все это припомнил теперь Спирька и мог только удивляться черной неблагодарности переселенцев. Для него было ясно как день только одно, что не встреть он тогда переселенческого обоза, не был бы он драным. Вот до чего довела Дунька своим колдовством и его и других с тою разницей, что он отлично понимал, в чем дело, а все другие точно ослепли.

«Благодетелем для них был, — размышлял Спирька в огорчении. — А они же своего благодетеля и отлупцевали... Нет, ты погоди, не таковский Спирька, чтобы живому мыши голову отъели».

VI

История Спирькиной любви была очень грустная, начиная с того, что он не знал даже самого слова — любовь. По его понятиям, это была присушка. Взяла хитрая баба и заколдовала. Дело тянулось целых пять лет. Спирька часто бывал в Ольховке у переселенцев, но встречал Дуньку очень редко и то мельком. Их разговоры ограничивались взаимной перебранкой.

— Што ты на меня воззрился, как свинья на мертвого воробья? — спросит иногда Дунька.

— У, гладкая!.. — ответит Спирька и обругает.

Дунька жаловалась на озорника мужу, но Степан был смирный мужик и не обращал внимания. Известно, сибиряки отчаянные, удержу в них нет.

А у Спирьки с каждым годом сердце все больше и больше разгоралось. Он не мог дать себе отчета, что с ним делается, а только Дунька не выходила у него из головы. Разве можно было ее применить к другим бабам? Глянет, так точно огнем обожжет. На Спирьку нападала жестокая тоска, и он топил свое горе по кабакам. Пьяный он часто плакал и жаловался кабацким друзьям, что его испортила одна женщина. Прямо он не называл Дуньки, а только намекал, что она из переселенок.

— Как змея проползла... Вот какое дело! И сплю и вижу ее...

Кабацкие приятели от души сочувствовали Спирькиному горю, от искреннего сердца ругали его и советовали бить ведьму, которая такими делами занимается.

Но раньше Спирька еще сомневался, что Дунька была ведьма, и только теперь это сделалось ему ясным как день. И какая ведьма — издали приворожила. Другие ведьмы или накормят чем, или опоят человека, а эта одним глазом только поглядела, и Спирька готов. Даже сейчас, после расправы в волости, он не мог рассердиться на нее по-настоящему. Были мысли довольно жестокого характера, но они падали, как осенний сухой лист с дерева. По возвращении из волости Спирька решил про себя, что спалит двор у старика Антона, и эта мысль ему очень нравилась. Темная ветреная ночь... все спят... и вдруг над Ольховкой зарево, а через два часа хоть шаром покати. Для отвода глаз Спирька хотел притвориться больным и вылежать в избе с неделю. На, потом разбирай да ищи ветра в поле... Кто поджег — руки-ноги не оставил. Нехорошо было то, что расейская стройка дружная, изба к избе, и вся деревня могла сгореть, как хороший костер. Не стоило из-за Дуньки по миру пускать столько народу. Другой способ — изводить Дуньку самому. Приехал к избе верхом, да и давай золотить ведьму всякими словами. Переселенские мужики смирные, все стерпят. Опять нехорошо...

Целых три дня думал Спирька, и ничего не выходило. Виноваты и свои расстанские, зачем выдали головой новоселам. Хорошо бы им красного петуха запустить, чтоб чувствовали вполне.

— Надо вас, варнаков, учить... Простоваты вы, штобы драть человека незнамо за што. Какой же это порядок? Сегодня одного отодрали, а завтра другого будете драть... А еще господа старички называются. От всего общества честь... Одной водки сколько вытрескают на сходах за мирской счет.

Но ни одному из этих жестоких планов Спирьки не суждено было осуществиться.

Раз на самом брезгу Спирька был разбужен стуком в окно.

— Эй ты, приятный человек...

— Кого там черт принес? — откликнулся Спирька с печи.

— А ты выглянь в окошко.

Спирька слез с печи и выглянул. Перед его избой стояла кучка ольховских новоселов с ходоком во главе.

— Чего вас носит, полуношников? — обругал Спирька.

— А ты выдь из избы-то. Разговор маленький есть.

— Знаю я ваши разговоры... Опять, что ли, драть?

— Зачем драть, приятный человек, а так, для разговору слов. Ежели добром не выдешь, так сами в избу придем... Тебе же хуже будет, приятный человек.

Спирька некоторое время соображал, хотя выбирать было не из чего. Потом на него напало озлобление, и он смело пошел из избы. Но его схватили десятки дюжих рук, едва он переступил порог сеней.

— Получай, братцы... — обрадованно загалдели мужики. — Ён самый и есть озорник. Держи его крепче!..

В один момент Спирька был связан.

— А вот увидишь, приятный человек... Ребята, волоките озорника.

— Братцы...

Спирьку потащили посредине улицы, довольно невежливо подталкивая под бока. Он только кряхтел и по обыкновению ругался. Стояло самое раннее утро, так что не топилась еще ни одна изба. Окрестные горы были подернуты туманною дымкой. На топот десятков ног и глухой говор сопровождавшей Спирьку толпы кое-где в окнах показывались головы.

— Братцы, убивают! — кричал Спирька, когда замечал мужицкую голову. — Ох, убивают...

За эти возгласы ему действительно доставались дюжие тумаки, а потом чья-то корявая рука зажала Спирькин рот.

— Молчи, конокрад!

Последнее восклицание сделало все ясным. Спирька понял, зачем его волокут в Ольховку, и ему вперед

представилась ужасная картина мужицкого самосуда. Он сам видал, как насмерть бьют конокрадов, и сам даже участвовал в жестоких расправах. Да, все было ясно как день, и даже Спирька ужаснулся, когда толпа свернула в переулок налево. Очевидно, новоселы не желали вести Спирьку через Расстань, чтобы не поднимать на ноги расстанских мужиков, которые могут заступиться за односельчанина. А у себя в Ольховке сделают, что хотят.

Спирьку потащили полем. Толчки делались сильнее. Кто-то ударил Спирьку по щеке. Дюжие мужицкие руки держали его, как в клещах. У Спирьки начала кружиться голова от страшной боли в левом плече, — очень уж поусердствовали скрутить ему руки за спиной.

Ольховка была вся на ногах, когда привели Спирьку. Его встретили озлобленные лица. Кто-то ругался, какая-то женщина причитала. Старуха, жена ходока Антона, так и вцепилась в Спирьку.

— Ён... ён самый!.. А я ему глаза повытыкаю, озорнику.

Обезумевшую от ярости старуху едва оттащили.

— Ох, разорил ён нас всех!.. — причитала она. — Всю семью по миру пустил... Куды мы без лошадок? Страда наступит скоро, а мы как без рук... Снял с нас голову, озорник!..

— Это ён со злости, что тогда поучили за Дуньку в волости, — объяснил голос в толпе. — И лукав пес...

Спирьку затащили на двор к Антону и положили связанного на земле. Тащившие его мужики запыхались. На всех лицах была написана твердая решимость разделаться с конокрадом по-свойски, чтобы другим-прочим подобным озорникам вперед не было повадно. Спирька был осужден заранее, осужден целым крестьянским миром, и теперь оставались только маленькие формальности. Когда к нему подошел Степан и ткнул тяжелым мужицким сапогом прямо в лицо, так что брызнула кровь, его остановили.

— Не трошь, Степан... Теперь ён никуда не уйдет из наших рук.

Составился полевой суд. Вся задача заключалась в том, чтобы выпытать от Спирьки, куда он угнал лошадей. Степан, задыхаясь от волнения, в сотый раз рассказал, как они втроем караулили лошадей на зеленях и как их украли прямо у них из-под носу. В темноте воров не могли разглядеть.

— Ну, теперь твоя речь, — обратился старик Антон к Спирьке. — Доказывай, куды дел лошадей?

У Спирьки быстро мелькнула тень надежды на спасение. Он ответил с дерзостью:

— Не меня надо бить, а ваших пастухов... Чего они-то глядели? Воров трое — и их трое.

Толпа немного смутилась. Каждое мгновение было дорого, и Спирька решил дорого продать свою грешную душу. Он обругал всех и смело заявил:

— Уж ежели на то пошло, так я один вам выворочу украденных коней... Дураки вы все!.. Где вас надо, так там вас и нет...

Эта смелая ругань произвела известное впечатление. Кругом виноватые люди не будут ругаться, особенно когда смерть на носу.

— Я вам всем покажу, как надо на свете жить! — уже смело заговорил Спирька. — Спросите суседей, никуда я из избы с вечера не выходил... По насердкам [1] вы меня взяли. Говорю: один выворочу всех коней. Мне же в ноги потом будете кланяться, лапотники... Разе такие мужики бывают? Эх, вы... А Степке я сам обе скулы своротчу. Его надо бить-то, шалого.

VII

Неистовое поведение Спирьки сбило новоселов с толку. Ругавшиеся мужики замолчали, озлобление сменилось недоумением. Дунька, спрятавшаяся со страху в задней избе, думала, что уже все кончено. Она все время повторяла про себя:

— Ох, смертынька... Они его убьют!..

---

[1] По насердкам — по злобе, в сердцах. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

А тут вдруг галденье прекратилось. Она выбежала в сени и из-за косяка увидела удивительную картину. Батюшка-свекор своими руками развязал руки Спирьке и даже помог ему подняться на ноги. Вид у Спирьки был ужасный: рубаха разорвана в клочья, лицо в крови, на спине и плечах сине-багровые подтеки от ударов. Спирька постоял, точно оглушенный, повел плечами, точно пробовал, целы ли кости, а потом проговорил хриплым голосом:

— Дайте стаканчик водки...

В данный момент больше всего его смущала разорванная рубаха. В толпе были и бабы и девки, а он совсем голый. Спирька несколько раз тряхнул головой. Да, много раз его бивали и раньше, только рубаху не так рвали.

— На, непутевая голова, — говорил старик Антон, подавая Спирьке стакан водки. — Так лошадушек-то добудешь?

— Сказано: выворочу. Экие собаки, право, как рубаху-то истерзали... Места живого не осталось.

— Ну, рубаху мы тебе другую дадим... Дунька, сыщи-ка ему какую ни на есть! — приказал Антон. — Так лошадок-то, Спирька, вызволишь? Ведь разор всему нашему дому...

Дунька разыскала старенькую мужнину рубаху и вынесла ее на двор. Спирька сурово повернулся к ней спиной. Дунька опять убежала в заднюю избу, чтобы никто не видел ее слез, — ведь из-за нее, дуры, чуть не убили Спирьку. И посмотреть-то теперь на него страшно: в крови весь, как баран, все тело пестрое от синяков, один глаз начал затекать. Поведение Спирьки еще больше убедило ее в собственной виновности, и Дунька не могла удержать слез. А тут еще матушка-свекровушка может увидеть, как она его жалеет, озорника, и может поедом съесть.

К себе в Расстань Спирька не пошел, а послал за своей гнедой лошадью. По пути велел захватить пастуший рог и ременный аркан. Дунька видела, как он, обряженный в чужую рубаху, ястребом сел на свою лошадь, поднялся в седле и попросил еще стаканчик водки.

— Не поминайте лихом Спирьку! — крикнул он, пуская лошадь с места полной рысью.

Оставшиеся у ворот мужики несколько времени сумрачно молчали, а потом какой-то голос проговорил в толпе:

— Омманет Спирька-то... Еще его же и водкой напоили. Теперь ступай, лови его.

Старик Антон ничего не ответил на вызов. Два стакана водки не расчет, когда человек обещает коней воротить. Окромя его, некому и сделать так. Спирька по лошадиной части все знает и с завязанными глазами всю округу обыщет.

Спирька пропадал целых три дня. Время тянулось ужасно медленно. «Двор» старика Антона переживал самый критический момент. Какой «двор» без лошадиной силы, а новых лошадей заводить не на что. Получилось самое безвыходное положение, тем более что дело шло к страде. Мужики угрюмо молчали, а бабы ходили с заплаканными глазами. Теперь все благосостояние семьи зависело единственно от смелости отчаянного человека Спирьки. Но больше всех убивалась Дунька, убивалась молча, одна, затаив в себе целый рой чисто бабьих мыслей. О, она теперь выучилась молчать. С одной стороны, она, припоминая недавние побои, даже не желала, чтобы Спирька вернул назад украденных лошадей, — пусть зорится нелюбимая семья, а с другой — она так боялась за Спирьку. А вдруг он вернется с пустыми руками? Если его и не убьют, так сам навек себя осрамит. Дуньке до слез делалось жаль вот этого отчаянного Спирьку, когда она припоминала его поведение. Как он обругал Степана да и всех других новоселов,— лежит связанный и ругает. Они-то навалились на одного человека всей деревней и убили бы, наверно, ежели бы не отчаянность Спирьки. Эта смелость произвела на Дуньку неотразимое впечатление. Ведь это совсем не то, что бить беззащитную бабу, как ее били батюшка-свекор с мужем Степаном. Что-то такое новое зарождалось в душе Дуньки, что ее и пугало, и радовало, заставляло плакать. Потихоньку она молилась за успех Спирькиной экспедиции.

В Ольховке сильно сомневались относительно Спирьки и потихоньку судачили относительно старика Антона. Правильный старичок, а вот как дал маху... Обошел кругом озорной человек. Но этим пересудам был положен конец, когда на четвертый день ночью объявился Спирька. Он привел на своем аркане всех трех лошадей. Сонная семья выскочила вся на улицу и не верила собственным глазам.

— Да ты ли это, Спирька? — спрашивал Антон.

— Около того...

Когда Спирьке пришлось слезать с лошади, он только тяжело застонал. Правая рука у него висела плеть плетью.

— Ты, Спиря, того, — бормотал старик Антон, помогая ему вылезть из седла. — Эх, брат, того... Што это у тебя рука-то как чужая?

— А так, значит...

Бабы ухватились за лошадей и с причитаньями повели их во двор. Оставалась одна Дунька. Она спряталась за верею и наблюдала, как батюшка-свекор снимал с лошади озорника Спирьку. Дунькино сердце билось, как подстреленная птица, и она чувствовала, как задыхается. По всем признакам Спирька был едва жив и доехал до Ольховки только по инерции. Когда его сняли с седла, Спирька весь распустился, как ребенок, и едва мог пролепетать косневшим языком:

— Водочки... стаканчик...

— Били тебя, Спиря?

— Ох, как били... И я бил, и меня били...

От Спирьки трудно было добиться какого-нибудь толку, да и не любил он расспросов.

— Где был — ничего не осталось, — сурово отвечал он. — Мало ли хороших местов.

— Так, гришь, шибко били? — повторял Антон.

— Очень даже превосходно.

По перепавшим лошадям мужики видели, что Спирька был не близко, а глядя на него — что дело было у него с конокрадами жаркое.

Он оставался гостем у Антона дня три, пока поправился и немного отдохнул. За ним теперь все ухаживали, и пряталась только одна Дунька. Она боялась

поднять глаза, когда входила в избу, где сидел с мужиками Спирька. Он тоже отворачивался от нее и только раз, когда они столкнулись на дворе, спросил:

— Дунь... а Дунь? Ты не серчаешь на меня?

У Дуньки точно что оборвалось внутри от этого виноватого голоса, каким заговорил с ней Спирька. Сердце так и захолонуло, как будто она полетела откуда-то с высоты.

— Так не серчаешь, Дунь?

— Што это и придумаешь, Спиридон Савельич... Посмеяться надо мной хочешь...

— Я?! Эх, Дунюшка...

Он подошел к ней совсем близко и шепнул:

— Для тебя только и коней выворотил, желанная... На, получай и чувствуй, каков есть человек Спирька. Эх, Дуня... Слов вот у меня нет никаких, штобы, значит, обсказать все... Только и умею, что ругаться.

— Ты меня ведьмой считаешь...

Голос Дуньки оборвался, и она закрыла лицо рукавом. Душившие ее все эти дни слезы так и хлынули. Спирька растерялся и не знал, что ему сказать. Да и что скажешь бабе, которая дура дурой ревет? Правда, жаль бабенки... Спирька повернулся к плакавшей Дуньке спиной, постоял с минуту, напрасно отыскивая в своем репертуаре хоть одно ласковое слово, но только тряхнул головой и ушел в избу. Он немного струсил и струсил самого себя: жалость так вот всего и охватила.

Спирька ушел от Антона через какой-нибудь час.

— Ты куда это скоро больно поплелся? — уговаривал его старик Антон. — Поживи, пока рука-то поправится.

— Нет, уж я домой, — угрюмо отвечал Спирька.

Дунька видела потом, как батюшка-свекор совал Спирьке рублевую бумажку, а Спирька ругался:

— Отстань, старый черт! Стал бы я себя увечить из-за твоего рубля... Дураки вы все и ничего не понимаете. А Степану я скулу сворочу, как вот только рука выправится.

Обругал всех и пошел домой, придерживая бессильно мотавшуюся правую руку.

VIII

Вернувшись домой, Спирька сразу слег, точно подломился. Сначала у него болела ушибленная рука. Она была точно чужая и висела плеть плетью. Удар пришелся по плечу, и Спирька чувствовал по ночам страшную боль. Задремлет и видит во сне, как нагоняет конокрадов. Они сидели вокруг огонька, не ожидая опасности. Стреноженные лошади паслись в десяти шагах. Спирька налетел на воров орлом. Завязалась отчаянная драка. Могуч был Спирька и двоих уложил сразу, а третий оказался «жиловатым» и долго дрался со Спирькой. Когда Спирька уложил и этого третьего и «пал» на свою лошадь, он догнал его и ударил бастрыгом по плечу. Хорошо, что Спирька усидел на лошади, а то бы ему несдобровать. Сейчас он повторял про себя тысячу раз эту сцену, и ему казалось, что его все еще бьют. Он просыпался в холодном поту и кричал:

— Эй, всех убью!.. Не подходи.

Спирька думал отлежаться, как бывало раньше. Но чем дальше, тем делалось ему хуже. Спирька послал за старухой Митревной, которая лечила всю Расстань. Митревна пришла, осмотрела Спирьку и только покачала головой.

— Эк тебя угораздило, Спирька.

— А што?

— Места ведь на тебе живого нет... Точно цепами тебя молотили.

— Около того, баушка... Весь не могу. И поясницу ломит, и крыльца болят, и ноги отнимаются.

— Вот, вот... Больно ты лют драться-то, Спирька.

— Дело такое подошло, баушка.

— Да, дело хорошее... Как еще тебе башку не оторвали напрочь.

Баушка Митревна еще раз осмотрела Спирьку, покачала головой и проговорила:

— Умрешь ты, Спирька.

— Раньше смерти не помру.

— Главная причина, што у тебя повреждена становая жила и все болони нарушены.

Мысль о смерти Спирьку не испугала. Что же,

умирать так умирать... Обидным для него было только одно — оставалось неизвестным, от кого он умрет. Били здорово и ольховские мужики и конокрады, — ступай, разбирай, которые били сильнее. Сначала Спирька решил, что его окончательно изувечили конокрады, а потом на него напало сомнение. Хорошо тузили и ольховские новоселы.

Спирька лежал в своей избушке совершенно один. В Расстани, и в Ольховке, и в Кульмяковой было уже известно, что он не жилец на белом свете. Приходили проведовать разные мужики, и все жалели Спирьку.

— Беспременно ты помрешь, Спирька... Уж баушка Митревна знает. Она, брат, скажет, как ножом отрежет. Достаточно перехоронила на своем веку всяких народов.

— Знаю без вас, што помру... От ольховских новоселов в землю уйду. Я их землей наградил, и они меня тоже землей отблагодарили. Мой грех.

— А ты бы, Спирька, штец горяченьких похлебал. Может, и полегчает... По жилам горяченькое-то разойдется.

— Не позывает меня на пищу, братцы.

Особенно тяжело бывало Спирьке по вечерам, когда он лежал в темноте. Тихо кругом, а в Спирькиной голове мысли так и шевелятся. Припоминал он всю свою жизнь и ничего, кроме безобразия, не находил. Если бы ему баушка Митревна предложила прожить жизнь во второй раз, он едва ли бы согласился. Тошно и вспоминать, не то что снова все проделывать. Так, одно безобразие... Другие, конечно, жили и по-хорошему, а он мыкался.

Раз лежал Спирька вечером и особенно мучился. Ему приходилось плохо. Явилось какое-то смутное ожидание чего-то. Вот бы встать теперь, выйти на улицу... Кругом все давно уже зазеленело. И горы стоят зеленые, и поля, и луга. Хорошо везде, кроме его избушки. Спирька, кажется, задремал, когда его разбудил осторожный шорох в сенях. Потом раскрылась дверь, и кто-то вошел в избу.

— Ты жив, Спиридон Савельич? — спросил женский голос.

— Это ты, Дуня?

— Я... Урвалась из дому, штобы с тобой проститься.

Голос у Дуньки оборвался. Спирька слышал ее тяжелое дыхание. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну? — сурово спросил Спирька.

— Больше ничего.

Она присела на лавку, и Спирька только теперь рассмотрел, что Дунька пришла с ребенком.

— Ты это зачем ребенка-то приволокла?

— А так... Сказывали мужики, што ты помираешь, — вот я и пришла.

— Помираю, Дуня...

Голос Спирьки сделался ласковее.

— Наши-то мужики тебя вот как жалеют, потому как понапрасну тогда обидели тебя.

— Ну их совсем! Пусть твой Степан благодарит бога, что я кончусь скоро, а то бы... Не стоит говорить, Дуня.

Дунька тяжело вздохнула.

— А што касаемо того, что я тебя ведьмой повеличивал, так это совсем особь статья, Дуня. Эх, не так все вышло. Ну, да што об этом говорить... Не стоит. Все одно околевать.

Послышались легкие всхлипыванья. Плакала Дунька. Она не вытирала своих слез.

— Тяжко, Спиридон Савельич... Места нигде не найду.

— Ну?

— Вот как тяжко...

— Обижают?

— А мне все одно... Приду домой и скажу, что была у тебя. Пусть бьют... И матушка-свекровушка проходу не дает. Все тобой попрекает... Пусть... Испортил ты меня, Спиридон Савельич. Все думаю, все думаю... С ума ты у меня не идешь. И мужа не люблю. Да и раньше никогда не любила...

— Ну, это уж ты тово... закон принимала, значит, тово... терпи...

— А ежели моего терпенья не стало? Ох, тошно... Вконец вся извелась, Спиридон Савельич. Вот сынка

родила, рощу, а сама все думаю: неужто и он в наших мужиков издастся? Какие это мужики? Всего боятся.

— Это ты правильно, Дуня.

— Себя ущитить не умеют... Духу в них нет... Тошно глядеть. Хуже бабы, а еще мужики... Конями-то ты их застыдил.

— Плевое дело.

Дунька продолжала плакать. Ребенок проснулся и тоже заплакал. Спирьке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое, утешить, приласкать, но у него кружилась голова, и никаких слов не было.

— Ну, мне пора домой, Спиридон Савельич.

Она подошла к нему совсем близко, поднесла ребенка и проговорила:

— Ты, Спиридон Савельич, перекрести младенчика, чтобы он тоже не боялся.

Через несколько дней озорника не стало. Он успокоился на деревенском кладбище.

ХИЩНАЯ ПТИЦА

Рассказ

I

Погоня висела уже на хвосте. Слышен был топот приближавшейся бешеной скачки. По ходу догонявшей лошади старик догадался, что кучером у ревизора сидит Исайко, — так никто не проедет на сто верст...

— Ох, смертынька! — причитала толстая, закутанная в платки женщина, со страхом оборачиваясь назад. — Ох, у смерти конец...

— Молчи! — крикнул на нее старик, посылая лошадь одним движением вожжей. — Поменьше бы ела пирогов, так в жисть не догнать бы Исайке...

Женщина покорно замолчала. Висевшая над головой опасность совершенно сгладила всякую разницу между хозяйкой и кучером. Момент был решительный, и каждая минута могла погубить.

Спасение появилось неожиданно, то есть неожиданно для нее, а не для него. Топот по мерзлой дороге был уже совсем близко, лошадь начинала сдавать, но именно в этот момент попалась «росстань», то есть дорога разделилась, как в сказке, на три, и, как в сказке, старик направил свою кошовку по средней, на которой путнику «не видать ни коня, ни головы». Проехав сажен двести, старик остановил лошадь.

— Ну, Марья Митревна, за родительские молитвы ты ущитилась, — проговорил старик, слезая с облучка.

— И то, Акинтич, душенька вон...

Акинтич, худенький старичок с козлиной бородкой и глубоко посаженными темными глазками, снял шапку, чтобы удобнее прислушаться, пожевал губами и засмеялся.

— Эх, Исайко, Исайко, дал маху! — точно с сожалением проговорил он, надевая шапку. — Уж он ли, пес, не знает дорог в лесу, а ударил налево — думает, мы на Колчеган махнем, к Елисею Иванычу... Хе-хе!

Марья Митревна, охваченная страхом погони, с ужасом оглядывалась все назад, и ей было неприятно, что Акинтич смеется. Нашел тоже время... Старик перепоясался, поправил чересседельник, вытер полой шубы покрытые куржаком ноздри тяжело дышавшей лошади и заворчал на нее:

— Ишь как жир-то тебя донимает, купчиху. На восьми верстах задохлась, толстомордая. Ужо вот я тебя выучу...

Несмотря на пятнадцатиградусный холод, лошадь вся дымилась, точно выскочила из бани. Она действительно была закормлена и едва дышала, раздувая крутые бока и мотая головой. Акинтич потрепал ее по крутой шее, еще раз оправил седелку и начал поворачивать.

— Ты это куда, Акинтич? — воскликнула Марья Митревна.

— А домой... — спокойно ответил старик. — Пусть теперь левизор нас по всем дорогам ищет, а мы домой потихоньку поедем. Как раз к самому чаю выворотимся... Савва Ермилыч, поди, заждался.

Старик опять засмеялся и прибавил:

— Недаром, видно, сказано, что у погони сто дорог, а у вора одна дорога... Хе-хе...

— Перестань молоть, — хозяйским тоном обрезала его Марья Митревна. — Ох, только бы господь пронес... Кажется, уж ничего бы не пожалела...

«Как же, не пожалеешь... Разговаривай! — думал Акинтич, взмащиваясь на облучок. — Тонул — топор сулил, вытащили — топорища жаль».

Теперь опасность миновала, и старик нарочно ехал тише, чтобы позлить хозяйку. Домой-то приедет гроза грозой, а теперь — вся в его руках. Вот уж обрадует Савву Ермилыча, как воротится живехонька...

Дорога шла ельничком. Деревья были точно обложены ватой, — зима была снежная, какой старики не запомнили. Начинало уже смеркаться. На случай встречи с кем — совсем хорошо. Разве лошадь только признает... Потом мягкими хлопьями повалил снег — еще того лучше.

Марья Митревна приободрилась и даже ткнула Акинтича кулаком в спину.

— Ты это што дремлешь-то, разиня?!

Акинтич сразу почувствовал себя старым верным рабом и точно сделался меньше. А как он давеча-то зыкнул на нее, на Марью Митревну. Ох, што только и будет!..

Когда кошовка подъезжала к Октайскому заводу, было уже совсем темно. Издали дома рисовались совсем неясно, и только яркими всполохами светилась фабрика.

— Слава тебе, истинному Христу! — вслух молилась Марья Митревна, когда кошовка быстро полетела по широкой заводской улице.

В избах уже зажигались огни. Навстречу попалась управительская пара, но кучер, видимо, не узнал Акинтича, который, на случай, отвернулся. Переехали плотину, которой перехвачена была река Октай, поднялись немного в гору, где стояли дома заводских служащих, и повернули направо. Лошадь сама повернула к большому полукаменному двухэтажному дому и остановилась у деревянных ворот, выкрашенных в серую краску. Акинтич соскочил горошком, постучался у калитки и крикнул:

— Эй ты, старый глухарь, шевелись!

Послышались торопливые шаги, сопровождаемые старческим кряхтеньем, грянул железный запор, ворота распахнулись, открывая широкий двор, обставленный со всех сторон службами и домовыми пристройками. Огонь был только в кухне да наверху, в

кабинете. С улицы в дом хода не было, и он походил на крепость.

— Ну, слава Христу... — как-то вся охнула Марья Митревна, вылезая из кошовки с большим трудом.

Она огляделась кругом и только потом достала из кошовки зарытый в сене кожаный мешок и с трудом дотащила его к заднему кухонному крыльцу. Акинтич проводил ее глазами до дверей и сердито отплюнулся.

«Эх, надо бы ее было поучить! — думал он, укоризненно качая головой. — Кабы левизор-то накрыл даве, так и по судам бы натаскалась и в остроге бы насиделась. Жадна больно...»

Марья Митревна прошла в кухню, где ее уже ждала стряпка с заспанным лицом. Она не успела выскочить навстречу хозяйке и смущенно ухватилась за кожаный мешок.

— Оставь, дура!.. — обругала ее Марья Митревна, не давая мешка.

Собственно, жили только в нижнем этаже, в маленьких, заставленных мебелью комнатах, а верх служил только для парадных случаев и стоял пустой. Марья Митревна прошла к себе в спальню, сунула свой мешок в угол, разделась при помощи стряпки и приказала:

— Позови сюда Акинтича.

Марья Митревна была еще не стара, но ее портила купеческая брюзглость. Лицо совсем заплыло, хотя еще и сохранились следы недавней красоты в русском стиле. Одевалась она по-купечески, а на голове носила черную шелковую «головку». В манере говорить и держать себя чувствовалась привычка быть деспотом. Это чисто сибирская черта, потому что в Сибири громадные торговые фирмы очень нередко управляются женщиной, особенно в раскольничьих промышленных семьях, а в купечестве наособицу, если у жены свой собственный капитал.

Акинтич торопливо разделся в кухне и, потряхивая своей маленькой головкой, пошел в спальню к «самой». Старик был такой худенький и жалкий, когда остался в одном полукафтане.

— Ну, что скажешь, старый черт! — встретила его

Марья Митревна на пороге. — Я уж думала, ты меня ударишь...

— Дело-то такое, Марья Митревна... Виноват, — бормотал Акинтич, поводя костлявыми плечами. — Значит, надо тоже понимать, а твоя женская часть...

— Ладно, я с тобой еще поговорю...

Она ушла в спальню и вернулась со стаканом водки.

— Вот на, выпей... Тоже, поди, напужался. Да... Выпей да помни, ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

— Ох, матушка, Марья Митревна, да руби меня топором — не пикну. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

Марья Митревна сунула ему за труды гривенник и велела убираться. Не так бы она рассчиталась с ним, ежели бы не нужный человек... Акинтич жил при доме с испокон веку и давно сделался своим человеком, от которого не было тайн. Очень ей хотелось сорвать на нем сердце, но уж дело такое подошло. Собственно, испугалась по-настоящему Марья Митревна только сейчас, и ей живо нарисовалась картина, как ревизор накрывает ее с поличным, — в кожаном мешке она везла ровно полпуда краденой платины, — как потом ее потащили бы к следователю в суд, а там и в острог. У нее пошел мороз по коже от этих мыслей. Марья Митревна присела на кровать и заплакала бессильными бабьими слезами.

II

Марье Митревне сделалось обидно до боли. Что она такое в самом-то деле? Другие мужние жены «сном дела» не знают. Живут себе, как курицы, а она-то какого страху напринималась... А все отчего? Если бы муж был у нее настоящий, правильный человек, так разве бы то было... Ей вдруг захотелось кому-то пожаловаться, поплакать, слушать утешительные слова, чувствовать сильную мужскую ласку, а вместо этого глотай слезы в одиночку. В следующий момент Марью Митревну охватило тяжелое чувство ненависти к мужу,

который без всякого дела забрался наверх и без толку палит стеариновые свечи.

«Рад, что жена уехала, — вот и забрался в горницы! — думала она, вытирая слезы и поправляя перед зеркалом выбившиеся из-под косынки волосы. — Мадеру проклятую, поди, лакает... да. А сам, поди, еще думает, что вот влопается жена с платиной, посадят ее в острог, — так тогда, мол, полная моя волюшка...»

Взвинтив себя этими мыслями, Марья Митревна, не торопясь, направилась наверх, в горницы. Из низу вела узенькая деревянная лесенка со скрипучими ступеньками, В парадной передней было темно и в большой зале тоже. Идти в кабинет приходилось через гостиную, и Марья Митревна издали услышала бормотанье и хриплый смех *самого.*

«Так и есть, успел налакаться!.. — с ожесточением подумала Марья Митревна, сжимая кулаки. — Растерзать его, идола, мало... Ох, погубитель мой!..»

Дверь в кабинет была полуотворена, и из нее падала в гостиную золотая полоса света. Марья Митревна быстро схватилась за ручку, распахнула дверь настежь и остановилась на пороге как вкопанная. Она удивилась бы меньше, если бы в нее выстрелили в упор. В кабинете у письменного стола сидел Савва Ермилыч, небольшого роста худенький мужчина, с красным носом. Савва Ермилыч был пьян, пред ним стояли две пустых бутылки из-под мадеры — все это было в порядке вещей... Но Марью Митревну поразило то, что напротив, на кушетке, развалился сам горный ревизор Степан Иваныч Кульков, от которого она спасалась какой-нибудь час назад.

Неожиданное появление жены смутило хозяина, и он сделал попытку спрятать пустые бутылки, но Степан Иваныч, тоже худенький, длинноносый и черноволосый господин, не смутился, а поднялся самым развязным образом с кушетки (справедливость заставляет заметить, что он при этом заметно покачнулся, но это не может быть поставлено ему в вину, потому что он был пьян вот уже ровно пятнадцать лет) и проговорил:

— А, дорогая хозяйка.., гм... Очень приятно... очень... да.

Марья Митревна не двигалась.

— Ручку-с, сударыня... Хе-хе!..

Он, покачиваясь, подошел к ней, взял за ручку и расцеловал прямо в губы.

— По-родственному... — объяснил он, подмигивая слезившимися глазами. — Ибо, мадам, Петр Великий сказал прямо... да... прямо... что пред господом мы все подлецы и мерзавцы... Значит, и выходим все родственники... Хе-хе!..

Марья Митревна только теперь опомнилась и отплюнулась.

— Тьфу ты, окаянная душа... Разве полагается мужних жен зря целовать? Ежели бы у меня был настоящий муж, так он бы показал тебе... А ты, пьяница, чего смотришь? — накинулась она с деланым азартом на мужа. — Какой ты муж, когда всякий у тебя на глазах может делать с женой, что хочет...

Савва Ермилыч только замахал руками, но на всякий случай выставил кресло впереди себя как баррикаду: Марья Митревна в гневе отличалась большой скоростью на руку. В периоды запоя она сильно колотила мужа чем попало, причем имела дурную привычку орать на весь дом благим матом, так что незнакомый человек мог подумать совершенно наоборот, то есть что пьяный Савва Ермилыч бьет ее, а не она его. Впрочем, сейчас его спас Степан Иваныч, который дрожащими руками налил рюмку мадеры и, расплескивая вино, поднес ее Марье Митревне.

— Ангел, прикушайте...

— Отстань ты, греховодник! — уже смягченно проговорила Марья Митревна, принимая рюмку. — Пьете тут, как дудки...

— Натура такая, Марья Митревна... И неприятно, а пьешь.

Эта короткая сцена сразу успокоила Марью Митревну. Значит, давешняя погоня была пустяки: просто кто-то ехал позади, а ей с Акинтичем показался ревизор. Хорош ревизор, когда его хоть выжми — вон как насосались с благоверным муженьком!.. Она даже улыбнулась и подсела к столу.

— Хоть пригубьте, ангелочек, — упрашивал Кульков, — хотите, на коленях буду просить?..

Марья Митревна сама любила выпить, но делала это потихоньку ото всех, так что об этом не подозревал даже муж. А сейчас она сделала вид, что пьет из вежливости, чтобы не обидеть дорогого гостя.

— Ну, уж так и быть... — жеманилась она, прихлебывая вино маленькими глотками. — Уж только для тебя, Степан Иваныч...

— Ох, мать честная, вот уважила! Еще рюмочку, ангелушка...

Марья Митревна выпила вторую рюмку и раскраснелась. Ей сделалось вдруг так легко-легко, и она смотрела немного осовелыми глазами на топтавшегося на одном месте ревизора. И чего в нем страшного, подумаешь?.. Она его боится, а он к ней целоваться лезет... Уж истинно, что одна бабья глупость. Но эти легкие мысли скоро были нарушены пьяной болтовней ревизора. Положим, он и всегда плел невесть что под пьяную руку, а трезвым не бывал, но Марью Митревну взяло большое сомнение.

— Э, все меня считают пьяным дураком... — бормотал он, причмокивая и подмигивая. — А вдруг я окажусь умным? Хе-хе... Худо будет. Может быть, я и сегодня хотел быть умным? Ха-ха... Ведь хорошо быть умным, Марья Митревна? Ведь вы, душенька моя, приторговываете краденым золотишком...

— Перестань ты молоть, Степан Иваныч... Что только и скажешь!

— Нет, я к слову... А вдруг я умный: сейчас понятых... этак вечерком... обыск... хе-хе!.. А где-нибудь в уголочке и запрятан кожаный мешочек, да не с золотом, а с платиной... Все бывает, душа моя. На людях и смерть красна... Люблю я вас, а ежели говорить правду, так все вы воры... хе-хе! А ты не обижайся, ангелушка. Любя говорится...

Смущение Марьи Митревны увеличивалось еще больше тем, что Савва Ермилыч, вместо того чтобы обидеться, хихикал, как дурачок, закрывая рот рукой. Самые строгие взгляды жены только сильнее разжигали эту веселость.

— Ох, матушка, уморила! — бормотал он, отмахиваясь рукой. — Так все воры, Степан Иваныч? Веселенькая компания, нечего сказать... А тебе выходит семейная радость вполне: получай родственников.

Марья Митревна, наконец, обозлилась. Перед ней были не муж и ревизор, а два пропойца. Она ответила в том же шутливом тоне, как говорил Кульков:

— А ты около себя поближе поищи вора-то, Степан Иваныч... Не тот вор, кто ворует, а кто вора покрывает.

— Правильно. Беру, только беру, душа моя ангельская, натурой: вот сигарок хорошеньких пришлешь — возьму, винца хорошего — тоже, балычка донского, икорки астраханской — все возьму да еще тебе же спасибо скажу. А вот денег, мать моя, не случалось брать... Не случалось, родная. Ни богу, ни черту не грешен... Хе-хе!.. Пьян да умен — два угодья в нем. Так-то, Марья Митревна...

— Чужая душа потемки, Степан Иваныч. Ежели кто и берет, так руки-ноги не оставляет...

— Пустое, мать... А я так буду говорить: ездил я вот сейчас по дороге на Колчедан... так... прокатиться... Кабы снег не пошел, так до Елисея Иваныча бы вплоть доехал. Хорошие у него пельмени жена делает... Еду я, а впереди кошовка... хе-хе! Я за ней, а она от меня... хе-хе!.. Из глаз так и ушла... Кабы я злой человек был, так разве бы выпустил добычу из рук? Начальство к празднику бы награду дало за поимку хищника...

— А может, так кто ехал?

— У меня нюх, сударыня, есть...

— Просто поблазнило тебе, Степан Иваныч...

— Я и сам то же думаю... Ну, да не в этом дело. Люблю я пошутить... хе-хе!.. А в другой раз и пожалеешь...

Кульков хлопнул Марью Митревну по плечу и, наклонившись к уху, шепнул:

— А настоящий, хороший петух никогда курицы не обидит... Вот ты и мотай себе на ус, мать. Хе-хе!

Кульков действительно взяток не брал, что было хорошо известно всем, но под пьяную руку любил

поломаться. Марья Митревна поняла одно, что он ее узнал давеча, но хотел только попугать на всякий случай. А впрочем, кто знает, что у него было на уме...

Скоро Кульков совсем напился и, обнимая Савву Ермилыча, говорил заплетавшимся языком:

— Э, ангел мой, я все понимаю и все вижу... Вы друг у друга с промыслов золото да платину воруете, ну и воруйте. Мое дело сторона. Много будет вам чести, ежели я еще себя буду беспокоить из-за вашего-то воровства.

III

Среди других уральских горных заводов Октайский занимал видное положение — не по своей специальности, как чугуноплавильный и железоделательный завод, а как центр золотопромышленности и платинопромышленности. Золотое дело началось здесь еще «при казне», как говорили старожилы, — в то доброе старое время, когда вся горнозаводская промышленность находилась на военном положении. Но уже в это жестокое время успела проявиться характерная черта всей русской золотопромышленности, каравшаяся «зеленой улицей» и каторгой, это — отчаянное воровство. Проявились и наметились типы будущих золотопромышленников, которые вырастали под давлением мысли о диком счастье и легком обогащении. В числе этих первых золотопромышленников ярко выделился отец Марьи Митревны, старик Мокрушин, который три раза наживал большое состояние, три раза его проживал и кончил самой обидной нищетой разорившегося золотопромышленника.

Марья Митревна выросла именно в этой обидной нищете. Отец лежал разбитый параличом, приходилось воспитывать маленьких сестер и братьев в самой ужасной обстановке. От прежнего великолепия единственным воспоминанием оставался старик Акинтич, не изменивший Мокрушину и в дни его падения. Это был типичный верный слуга, составлявший органическую часть «самого» Дмитрия Поликарпыча Мокрушина. Он носил еще на руках маленькую Маню, а потом служил

ей, когда она убивалась над разоренной семьей, как птица над прошлогодним гнездом.

— Ох, Машенька, только бы нам чуточку дохнуть... — повторял Акинтич, жалея убивавшуюся над работой девушку.

Вероятно, в человеческой природе лежит не искоренимая ничем привычка непременно олицетворять причины своих неудач и бедствий. Старик Мокрушин умер с мыслью, что его разорил лучший друг Елисей Иваныч Шухвостов, с которым он делил и горе и радость, и удачи и неудачи. Даже полное разорение Шухвостова не оправдало его в глазах старого приятеля. Эта мысль перешла по наследству в семью, и Марья Митревна, находясь в самой отчаянной нужде, никогда даже не подумала обратиться за помощью к этому старому другу, даже когда отца уже не было в живых. Гордая девушка не хотела слышать самой фамилии Шухвостова и женским чутьем отвергала все его попытки помощи каким-нибудь окольным путем. Акинтич, умудренный житейским тяжелым опытом, пробовал привести к соглашению эту родовую ненависть, но все было бесполезно.

— Я тебя прогоню, — решительно заявила ему Марья Митревна. — Только посмей заикнуться о Шухвостове. Я умру над иголкой, пойду по миру, но от Шухвостова не возьму расколотого гроша.

— Марья Митревна, все люди — все человеки... — уныло повторял Акинтич, покачивая своей птичьей головкой. — Один бог без греха...

Марья Митревна, несмотря на нужду и горе, выросла красивой, здоровой девушкой. В свое время у нее явились и женихи, но все люди небогатые, которые не могли обеспечить родного гнезда. Один ей даже нравился. Но приходилось выбирать между личным счастьем и ответственностью пред сиротами, — Марья Митревна выбрала последнее. Она вышла за богатого старика Хлюстина, который перед свадьбой заявил ей:

— Скоро я помру... Все твое останется.

Тяжело пришлось Марье Митревне. Хлюстин был не злой человек, даже по-своему добрый, но страшный

самодур. В его доме стояло вечное пьянство и кормилась целая толпа всевозможных проходимцев. Переход от отчаянной бедности к этому пьяному богатству как-то ошеломил Марью Митревну. Между прочим, она разыграла тут и свой первый роман с красавцем приказчиком. Мужу донесли, он жестоко ее избил и прогнал. Она опять вернулась к своей родной нищете, но на этот раз озлобленной и с отчаянной решимостью устроиться во что бы то ни стало. Теперь у нее была уже опытность. В числе вечных гостей Хлюстина бывал и Савва Ермилыч, богатый сынок из раскольничьей семьи. Он сильно пил и робко засматривался на развернувшуюся красоту Марьи Митревны. Он же первый пришел к ней, когда разыгралась драма, пришел сконфуженный, робкий, не смевший поднять глаз.

— Надо как-нибудь устроиться... — говорил он виновато. — Так нельзя.

— Устроюсь, Савва Ермилыч. Только вот выбрать прорубь получше... А вы ко мне не ходите — наговорят, не знаю что.

Однако он не послушался и стал бывать. Марье Митревне нравились его покорность и молчаливая любовь. Ей уже хотелось и мужской ласки, и покровительства, и сознания, что она не одна. Кончилось тем, что Савва Ермилыч сделался своим человеком.

— Когда-нибудь старик умрет, — уговаривал он Марью Митревну, стеснявшуюся своим нелегальным положением. — Тогда поженимся, и никто ничего не посмеет сказать...

Но старик Хлюстин не желал умирать и под пьяную руку вспоминал про молодую жену. Раз он послал за ней и велел явиться непременно. Марья Митревна бежала, но ее поймали на дороге и силой заставили вернуться к грозному старому мужу. Она опять была жестоко избита и посажена в темный чулан под домашний арест.

— Наложу на себя руки, — заявила она мужу решительно.

По всей вероятности, она привела бы в исполнение свою угрозу, но избавление пришло само собой. Хлю-

стин был найден убитым, когда он ехал на прииск. Кучер мог показать только одно, что кто-то выстрелил «из стороны».

Этим дело и кончилось, а Марья Митревна получила полную свободу и свою седьмую вдовью часть. Выждав законные шесть недель, она вышла замуж за Савву Ермилыча, — вышла не любя, а так, для порядка.

Убийство Хлюстина так и осталось загадкой. Ближе всего могли заподозреть Савву Ермилыча, но он в этот день был дома, а затем никто не мог бы поверить, что он решится на такое дело. Поговорили, посудили и помаленьку все забыли.

Умудренная первым опытом своего замужества, Марья Митревна вошла в дом второго мужа уже полной хозяйкой и с первых же шагов дала почувствовать свою тяжелую руку. Савва Ермилыч не смел пикнуть и в угоду жене отделился от семьи.

— Что же, ему такую бабу и нужно, — решили все, — Марья Митревна дохнуть не даст.

Устроившись по-новому, Марья Митревна несколько лет точно отдыхала. Она подняла на ноги и пристроила сестер и братьев и только тогда вздохнула свободнее.

В каких-нибудь пять-шесть лет Савва Ермилыч приведен был в состояние полного рабства. В собственном доме он казался приживальщиком, а все дела по промыслам забрала в свои руки Марья Митревна и с первых же шагов показала себя жохом-бабой. Впрочем, всем она говорила так:

— Мое дело женское... Я ничего не знаю. Как хочет Савва Ермилыч...

Что удивляло всех, так это то, что Марья Митревна по делам очень близко сошлась с Шухвостовым. Старая семейная вражда была забыта. Шухвостов пользовался довольно темной репутацией, как старый приисковый волк. У него всегда было по горло дела, и как-то всегда он не успевал. Говорили, что он висит на волоске, но год шел за годом, а Шухвостов все висел. В Октайском заводе его называли целовальником, потому что в молодости он сидел в кабаке.

О настоящем значении этого странного сближения знал только один старик Акинтич и только качал своей старой головой. С Марьей Митревной делалось что-то неладное. Ее охватила какая-то болезненная жадность. Кажется, и свою вдовью часть получила и мужнины капиталы все забрала, и все мало. Под рукой она повела крупную скупку краденой платины, которая быстро повышалась в цене. Шухвостов был ее правой рукой. У него не было таких денег, чтобы вести дело широко, да и стар стал, начал побаиваться. Одна Марья Митревна ничего не боялась и не обращала никакого внимания, что все на нее чуть пальцами не показывают.

— Поговорят да перестанут, — успокаивала она Елисея Иваныча, когда тот начинал волноваться. — И я про всякого могу сказать...

Интересно, что не боявшаяся никого и ничего Марья Митревна иногда трусила пред Акинтичем. На старика что-то находило. Он оставлял свой робкий вид и делался грубым.

— Куды деньги-то хапаешь, несытая душа? — сказал он ей однажды прямо в глаза. — С жиру бесишься.

Марья Митревна не нашлась, что ему ответить. Всю прислугу в доме она держала в ежовых рукавицах, и Акинтичу доставалось от нее вместе с другими, но в последнее время старик сделался раздражительным и грубил без всякого повода. Он приходил к Марье Митревне и заявлял:

— За жалованьем пришел...

— За каким это жалованьем?

— А вот за таким... При покойничке Дмитрии Васильевиче, когда он лежал больной, — за три года, после него до Хлюстина — тоже три года, при Хлюстине за три года да после Хлюстина за семь годов. Вот и считай: все шашнадцать годов.

— Да ты в уме ли, Акинтич?

— Даже очень в уме...

— Сыт, одет, в тепле — чего же тебе надо еще? Намедни гривенник дала тебе, да Савва Ермилыч гривенник, да сам на овсе сколько украдешь.

— Жалованье пожалуйте...

— Ну хорошо. Сейчас мне некогда, приходи завтра...

Это был обычный способ отделаться от сумасшедшего старика. Марья Митревна была скупа до того, что не стыдилась утягивать у прислуги гроши.

IV

После рокового разговора с пьяным ревизором Марья Митревна точно взбесилась. Досталось прежде всего, конечно, Савве Ермилычу. Когда Кульков ушел домой, она сразу набросилась на мужа.

— Откуда этот пропоец мог все вызнать, а?

— А я-то... я почем знаю.

— Нет, ты говори... Вместе душу пропиваете... Ты же вот и проболтался обо всем под пьяную руку.

— Ничего не знаю, Маша. Пить действительно пили, а больше никакого разговора не было.

— Растерзать тебя мало, пьяницу!..

— Маша...

— Молчать! Убью и отвечать не буду... Небойсь Степан-то Иваныч пьян, а сам все знает и говорит как по-писаному. Откуда же ему знать, окромя тебя?

— Про Шухвостова он действительно говорил... Хвастался, что поймает его с платиной и что давно выслеживает его. Да я ему не верю... А тебя он любит.

— Ха-ха!.. Ох, смерть моя... Любит, говоришь? И тебя тоже любит? Ха-ха... А что касаемо Елисея Иваныча, так у него еще руки коротки... Фасоном не вышел... Пусть лакает свою мадеру, а Елисей Иваныч продаст его и купит на десяти словах.

Обругав еще пьяницу мужа, Марья Митревна спустилась к себе в спальню. Она долго ходила по комнате, стараясь разгадать, какими способами Кульков мог дознаться до всего. Ведь этак могла быть и крышка... Да еще он же, пропоец, и издевается над ней!..

Она достала из потайного шкафика бутылку восьмирублевой мадеры, как делала каждый вечер потихоньку ото всех, и стала пить одну рюмку за другой, чтобы успокоиться. Но спокойствия не было. Она бродила по спальне как тень. Вино не действовало...

— Надо мной захотел, Степан Иваныч, посмеяться, — думала она вслух. — Нет, погоди... Слышал звон, да не знаешь, откуда он. Руки коротки... А что касаемо Елисея Иваныча, так он сам еще поучит вас.

Но кто же доносит обо всем Кулькову? Откуда-нибудь он все знает... Кажется, кроме стен, никто и ничего не видит, комар носу не подточит, а тут вдруг все известно. Мысль о тайном предателе засела в голове Марьи Митревны гвоздем. Да, он где-то тут витает невидимкой над самой душой и над ней же смеется.

— Савва Ермилыч, конечно, пропащий человек, только на такую штуку не пойдет, — продолжала она думать вслух. — Не таковский человек...

Потом она сообразила, что он не мог проболтаться и в пьяном виде, потому что ничего не знал. Кто же наконец? Где эта таинственная рука, которая готова была погубить ее каждую минуту?

Вдруг Марье Митревне сделалось все ясно...

Она накинула на плечи шаль и отправилась в кухню, где на полатях спал Акинтич.

— Эй ты, змей, вставай! — крикнула она.

Акинтич спал чутким стариковским сном и сейчас же проснулся.

— А... што? Ехать? — бормотал он спросонья.

— Оболокайся поскорее да приходи ко мне... Надо мне тебе одно словечко сказать.

Акинтич слез с полатей, разыскал свой кафтанишко, поворчал в пространство и, почесывая натруженную поясницу, побрел в спальню к самой.

— Эк ее ущемило... — ворчал он, шаркая ногами. — Не стало дня-то. Помереть спокойно не даст...

Марья Митревна сурово встретила его в дверях...

— Я тебе давеча дала гривенник?

— Было дело...

— Давай назад!

— Ну, это не модель...

— Сказано: давай!..

Такое начало застало Акинтича врасплох, и он смотрел на хозяйку ничего не понимавшими глазами. Но она повернула его за плечо и вытолкала в кухню:

— Неси сюда деньги, змей!..

Акинтич повиновался. Он полез на полати, где-то шарил долго руками, потом гремел деревянным сундучком и, наконец, вернулся.

— На, змея подколодная! — проговорил он, швыряя два пятака на стол. — На, давись.

Марья Митревна взяла деньги, спрятала их в карман и сказала:

— Ну, теперь, поговорим, змей!.. А как ты думаешь, откуда вызнал Степан Иваныч?.. А?!.. Мы-то от него дураками гоним, а он вперед нас воротился и надо мной в глаза смеется. Все обсказал: и куда мы поехали и с чем поехали. Пряменько сказать: засрамил меня. Откуда бы ему все это вызнать?

— Не могу знать, Марья Митревна...

— А я тебе скажу: *от тебя...*

Акинтич сначала не понял, в чем дело, а потом отступил и замахал руками.

— Да, да, да!.. — наступала на него Марья Митревна. — Это ты, ты, ты... Ты продал меня, Иуда!.. Вон сейчас же из моего дома, и чтобы духу твоего не было...

— Куда же я пойду?

— Твое дело... Ступай к своему Степану Иванычу.

Она вытолкала его в шею. Акинтич вернулся в кухню, присел к столу и не знал, что ему делать. Очень уж обидело его хозяйское слово... Целый век прослужил, а теперь ступай на улицу, как слепая собака. Да и куда было идти? Акинтич остался и бобылем-то все из-за семьи Мокрушина, — не до женитьбы было, когда Дмитрия Васильича кругом беда обступила. А как он маленькую Машу любил...

— Ты все еще сидишь тут, змей?! — крикнула

Марья Митревна, появляясь в дверях кухни. — Вон сейчас же...

Что происходило дальше — осталось неизвестным. Утром Марью Митревну нашли в кухне с раскроенным черепом. Акинтич даже не сделал попытки к бегству и точно сторожил покойницу.

— Что ты наделал, старик? — спросил следователь.

Акинтич точно проснулся и ответил:

— Любил я ее, Машу... с измальства за родную.

ВОЛЧЬЯ ПЕСНЯ

Очерк

I

Короткий зимний день уже начинал смеркаться. На улице вьюга так и завывала, как голодный зверь. Когда Сила Мокин вышел из своей избенки, он едва устоял на ногах, — ветер так и рвал. Правда, что Мокин плохо держался на ногах, которые были застужены на тяжелой промысловой работе, когда приходилось по целым дням стоять в ледяной воде. Все это и сказалось. Теперь Мокин уже не мог работать, а промышлял разными делами. В Кушву (в Среднем Урале) наезжали постоянно золотопромышленники, искавшие счастья, и Мокин являлся одним из первых, долго топтался на одном месте и потом сообщал таинственным образом:

— А у меня есть на примете одно местечко...

Затем он таинственно добывал из-за пазухи или из-за голенища тряпочку, в которой были завернуты «знаки»: в одной тряпочке несколько долей россыпного золота, в другой — кварц с вкрапленным в него золотом, в третьей — с ползолотника платины. И разговор шел короткий:

— Верное дельце, ваше степенство! Вот как будете благодарить Силу Мокина...

В Гороблагодатском казенном округе все земли были открыты для частной золотопромышленности, и развилась настоящая золотая лихорадка. Некоторым повезло, и эти счастливцы являлись живым примером для всех остальных. В Кушве, как в центре всего Гороблагодатского округа, складывались целые легенды, как отыскивали золото, причем история повторялась с небольшими вариантами одна и та же: пришел мужичок, вытащил из-за пазухи грязную тряпочку, и т. д. О тех, кто прогорал на промыслах, быстро забывали, как забывают дурной сон. Сначала мужички действительно говорили правду, и если случалось обмануть, то не по своей вине. Такое уж азартное дело, что они сами начинали верить в свои «знаки» и разные заветные места. Потом явились мужички похитрее, которые уже заведомо шли на обман, только бы соврать получше да сорвать задаток. Лучше всех в этом отношении проявил себя Сила Мокин, обманывавший направо и налево. У него прежде всего была подкупающая наружность — широкое бородатое лицо, смотревшие так прямо глаза; а потом Сила Мокин не лазил за словом в карман и умел заговорить зубы кому угодно, только слушай.

В «казенное время», когда делали разведки золота казенные инженеры, Мокин участвовал в поисковых партиях и хлебнул горя досыта вместе с другими, приписанными к казенным заводам, крестьянами и мастеровыми. Время было строгое, и казенное дело велось на военную ногу. Чуть что — сейчас казаки пропишут такую баню, что не скоро забудешь. Именно в это время Мокин набрался всяких сведений по золотому делу и знал все места кругом не на одну сотню верст, чем и воспользовался впоследствии, когда явились частные золотопромышленники, а он обезножил, как опоенная лошадь. Нужно и то сказать, что у Мокина была необыкновенная память: раз он увидел или услышал — точно топором зарубил.

Удивительнее всего было то, что несколько из указанных им мест «оправдали себя», то есть в них нашли обещанное золото. Другие мужики,

промышлявшие обманом золотопромышленников, часто корили за это Мокина.

— Прохарчил опять местечко, безногий черт!.. Этак скоро и житья не будет нашему брату. Все на тебя пальцами указывают...

— А кто его знал, что там золото оправдается! — говорил Мокин, разводя руками. — Зря сболтнул, за красный билет, а оно вон что вышло... Не моя причина, ежели у меня на золото рука легкая...

Вообще Сила Мокин пользовался известной репутацией, и чем он больше врал, тем больше ему верили. Последнее удивляло даже самого Мокина, когда он повторял, как урок, всем одно и то же. Люди, ослепленные жаждой быстрой наживы, точно теряли ум от одного слова «золото».

Так промышлял Мокин больше десяти лет и жил себе помаленьку, хотя и случалось иногда голодать, когда не было работы. Надо же в самом деле как-нибудь жить, а у купцов все равно деньги дикие. Но года два как дела у Мокина пошли совсем плохо, и счастье точно откачнулось от него. Придет, начинает врать — и ничего не выходит.

— Сбесились проклятые купцы... — ругался Мокин. — Все равно кому-нибудь другому поверят.

Так и выходило, что верили другим, и эти другие получали задатки.

— Знаем мы тебя, сахара! — говорили Мокину купцы и прибавляли: — Тебе, первое дело, шею нужно накостылять, старому черту, чтобы не обманывал публику.

— Ах, бож-же мой!.. да я... да провалиться сейчас на этом самом месте, ежели я...

— Ладно, разговаривай!..

Очевидно, всю практику у Мокина отбили более счастливые конкуренты, которые умели говорить другие, более убедительные слова. Старику приходилось все более и более голодать, одежонка обносилась, изба тоже сделалась холодной — одно шло к одному.

II

— Эх, какая непогодь! — ворчал Мокин, чувствуя, как холодный ветер точно ощупывал его дырявую шубенку, чтобы проморозить до самой души. — Ну, брат, шалишь!.. Вот ужо такую шубу себе укупим... да.

В последние годы заветной мечтой Мокина была шуба. Да, настоящая шуба из лохматой и жесткой степной овчины. Он, размечтавшись о будущем, даже чувствовал крепкий дубленый запах от этой шубы и скрытую в ней благодатную теплоту. Ведь Сила Мокин мерз и колел от холода целую жизнь, но тогда был молод, а сейчас стало не под силу. Другой мечтой Силы Мокина было «горяченькое». Раньше он мог питаться одним хлебом, а сейчас его мучил голод. Хорошо бы пшенную кашу сварить, горошницу, картошки поджарить, щи из крупы...

Сила Мокин шел и мечтал. Да, плохо его дело. Главное, старость начала одолевать. Того гляди, и помирать пора... Долго крепился старик, но дальше стало невмоготу, и он решил пустить последнее средство, которое берег про запас. У него действительно было одно заветное местечко с самым верным золотом, но он его берег про черный день, чтобы продать наверняка. Когда-то думал, что сделает заявку сам, но заявка стоила не меньше сотенного билета, да жди год или два отвода — хлопотам бедному человеку и конца краю не будет. Нужда и нездоровье заставили прибегнуть к последнему средству.

«Прямо приду к Ивану Митричу и скажу: на, получай, твое, значит, счастье! — думал Мокин, с трудом вытаскивая ноги из снега. — Невмочь стало...»

Иван Митрич был великой силой. Он покупал и продавал прииски десятками, и желающие попытать золотого счастья обращались теперь уже прямо к нему, избегая измотавшихся мужиков, обманывавших направо и налево. В несколько лет Иван Митрич разбогател и забрал великую силу. У него явился новый полукаменный двухэтажный дом, свои лошади и все остальные атрибуты туго сколоченного счастья.

На счастье Мокина, Иван Митрич оказался дома.

Это был плотный, румяный мужчина, ходивший в «трухмальных» рубахах. Он узнал Мокина и весело проговорил:

— Ну, каково прыгаешь, старичок?

— Не до прыганья, Иван Митрич... Болесть одолела, работать не могу, есть нечего... Изнищал вконец. Вот пришел к тебе поговорить...

— Местечком обмануть хочешь?

— Зачем обманывать, Иван Митрич?.. Грешно обманывать. Прежде по малодушеству случалось, а нынче мы этим делом не занимаемся...

— Так, так... Заговаривай зубы, старичок! Ну, как дальше?

— А все то же, Иван Митрич... Про запас оставлял местечко, ну, а уж теперь вконец устигла нужда... Хоть по миру идти, так в самую пору. Обносился, есть нечего...

Иван Митрич громко расхохотался.

— Ха-ха... Была у волка одна песня, да и ту ты перенял? — говорил он.

— В самый раз, Иван Митрич: истинно волком вою...

— Так уж ты того, Сила, кого-нибудь другого обманывать иди, а меня не разжалобишь. Стара штука...

— Иван Митрич... ах, боже мой... Да я... вот с места не сойти, ежели обману...

— Ладно, ладно... У вас у всех и слова-то одинаковые...

— Да ведь мы чужестранных купцов обманывали, Иван Митрич, а тебя-то где обмануть!

Иван Митрич хохотал до слез. Очень уж просто хотел обмануть его вороватый мужичонко.

— Вот что я тебе скажу, Сила, — заговорил он, вытирая глаза шелковым платком.— Покажи мне к примеру, как будто ты говоришь сущую правду...

— Иван Митрич, голубчик, да я...

— Нет, не выходит. Ну-ка, еще попробуй.. Припомни, как прежде обманывал других, и говори. Двугривенный за труды получишь...

— Да, Иван Митрич, будь отцом родным... Правильное место, сам хотел заявку делать...

— Так, так... Дальше валяй.

— Не хватило, значит, силы-мочи... И место-то совсем близко, вскрыша верховика до песков всего два аршина, речка поблизости... Знаки правильные: со ста пудов песку будет падать верных долей шестьдесят. Богатство... А главная причина в том, что совсем близкое место, прямо рукой подать. Другие-протчие народы все дальше идут, точно золото схоронилось в какой трущобе, а оно совсем близко, под носом... Потому и осталось, что близко.

— Валяй, валяй... Совсем похоже на правду. Ну, так ты, значит, продаешь место?

— И даже очень, Иван Митрич... Задатку дашь, если милость будет, ну, пять красных бумажек, а там, глядя по делу, не обидишь старика...

— Значит, пай хочешь получить?

— Какой там пай!.. Как твоя милость пожалеет старика — вот и весь пай.

— Ну, а где место-то?

Сила Мокин замялся.

— Сказать оно, конечно, отчего не сказать, Иван Митрич, только ты мне сперва задаток выдай... пять красненьких... Ну, тогда и сурьезный разговор будет...

Иван Митрич так и прыснул от смеха. Все старик говорил, как правду, а тут и сорвался.

— Нет, не вышло у тебя под конец, Сила!

— Иван Митрич, да сейчас провалиться, ежели вру. Ах, боже мой!..

Иван Митрич сунул ему обещанный двугривенный и велел убираться.

— Нет, прежде ты лучше умел под правду говорить, а сейчас ничего не выходит.

III

Старик Мокин вышел от Ивана Митрича в каком-то тумане. У него даже перед глазами рябило. А вьюга так и выла, точно хотела смести с лица земли старого промыслового волка.

«За что, господи?» — думал он, напрасно перебирая в уме, к кому бы еще ему зайти.

Время стояло зимнее, глухое, а золотопромышленники наезжали в Кушву только под весну, о великом посте. Идти домой, чтобы голодать и зябнуть, — не стоило. Лучше уж околеть на улице, как бездомной собаке.

— Разе толкнуться к Пашке Горбунову? Еще, пожалуй, в шею попадет, ежели под пьяную руку...

Но выбирать было не из чего, и Сила Мокин потащился на другой конец завода, через плотину. Прежде у Мокина с Пашкой бывали дела, то есть Мокин обманывал Пашку. Впрочем, и другие тоже его обманывали. Пашка уже лет пять как прогорел окончательно и периодически пил запоем. Когда-то богатый купеческий дом, устроенный так же, как и у Ивана Митрича, быстро ветшал, и половина окон была закрыта наглухо ставнями. Калитка стояла открытой, — на дворе нечего было взять не то что ворам, а и самому хозяину. В кабинете виднелся, впрочем, огонь, и Мокин отправился на кухню, чтобы вызнать предварительно, в каком виде хозяин.

— В самом лучшем виде... — сурово объяснила старуха кухарка.

Когда-то горбуновский дом был полная чаша, а сейчас из каждого угла веяло мерзостью запустения. Жену и детей Пашка выгнал и жил совершенно один, пропивая последнее. Мокин помнил расположение комнат и ощупью добрался до хозяйского кабинета. Пашка лежал на диване с папиросой. Он повернул свое опухшее от пьянства лицо и спросил:

— Тебе чего нужно, идол?

— Павел Мартыныч, до вашей милости...

— Ах, ты... Подходи ближе, я тебя тресну, а то лень подниматься.

— Виноват, Павел Мартыныч... Действительно, был такой грех: всего два раза обманул тебя. Хотел еще в третий раз обмануть, да ты тогда чуть меня не убил...

— И следовало убить... Так ты сейчас опять меня пришел обманывать? Убирайся... растерзаю...

— Какой же это разговор, Павел Мартыныч... Разе бы я посмел, ежели што... А местечко действительно есть... Я сейчас от Ивана Митрича... Прогнал он меня. «Не умеешь, грит, правду говорить, а ступай, грит, поволчьи повой». Ох, трудно, Павел Мартыныч... А местечко-то совсем правильное, для себя берег. Ну, а теперь не к чему стало и беречь... Помирать приходится...

Пашка засмеялся, как давеча Иван Митрич.

— Ну, ну, ври дальше, старый черт!..

— Нечего мне врать: весь тут, дома ничего не оставил...

Покоры враньем, наконец, озлобили старика, и он начал ругаться.

— Ничего вы все-то не понимаете! — кричал он. — Когда врал, так все верили; а когда говорю правду, так не верите... да. А сами как слепые котята у чашки с молоком; надо каждого рылом тыкать в молоко...

Этот взрыв негодования развеселил Пашку. Он удушливо хохотал, запрокинув голову. Вот так старичок, истинно сказать — уважил.

— Ай, дедко! Ну, позолоти еще... Ах, прокурат!.. Совсем позабыл, как и обманывают добрых людей... Прежде-то куда лучше обманывал. Похоже было на правду... С меня два раза тогда содрал задатки. Ну, ну, делай!..

Мокин впал в бешенство. Он бросил свою рваную шапчонку оземь и как-то захрипел:

— Я?!. вру?!. Да вы, идолы, разе можете понимать что-нибудь?!. На нашем мужицком горбе выезжали всю жисть... Кровопивцы вы, вот что... Вам вот смешно, когда правду говорят...

— А ну, скажи, где золото?

— И скажу...

— Да я и сам знаю твое место... Так и называется: не положил — не ищи.

— А вот и врешь, Павел Мартыныч... Теперь уж, видно, я над тобой посмеюсь.

— А ну, посмейся...

Мокин имел ужасный вид. Бледный, с округлившимися глазами, он весь трясся, как в жестокой лихорадке.

— Я?!. я вру?!. — бормотал он в исступлении.

— Да ты место-то укажи... Соври еще разок, — ведь не дорого дано.

Старик подошел к нему совсем близко и с пеной у рта проговорил:

— Про Кривые Лужки слыхивал? Всего-то верстов с десять... Ну, там еще старые казенные ширпы остались... у ключика, где лоток надвое расходится...

— Будет, будет, уморил!.. Да кто Кривых Лужков не знает? Ах ты, прокурат, чем надуть хотел...

Старик хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Он поднял свою шапку с полу, нахлобучил ее и, не оглядываясь, вышел, как пьяный.

Утром его нашли замерзшим на заводском пруду. Старик, вероятно, выбрал дорогу поближе, обессилел и замерз.

Пашка Горбунов сделал заявку в Кривых Лужках и снова разбогател.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

I

Светило раннее весеннее крымское солнце. Красавица Ялта еще спала, то есть спали господа, а набережная и пристани уже работали. Одним из первых на набережной появлялся Фрол Иваныч, человек неопределенных лет, с солдатским лицом, хотя никогда не служил в солдатах, в рваном пиджаке и белом переднике. Его серые небольшие глазки всегда с затаенной тревогой что-то высматривали, а в движениях чувствовалась торопливость вечно занятого человека, которому, как говорится, дохнуть некогда.

— Эх, сколько народу понаперло, — думал вслух Фрол Иваныч, опытным глазом прикидывая суетившихся на набережной рабочих. — И откуда только берутся, подумаешь...

Собственно, на набережной и на пристанях у Фрола Иваныча не было никакого дела, но он каждое утро считал своим долгом обойти весь берег. Как же не поговорить с вернувшимися с моря рыбаками, с встретившимся таможенным солдатиком, с артелью турок-носильщиков, с швейцаром гостиницы, — Фролу Иванычу все нужно было знать. Сегодня море было задернуто густой пеленой тумана, и на пристани ждали срочного парохода, который должен был прийти из Севастополя еще вчера вечером.

— В тумане всю ночь кружится, — объяснял швейцар тоном специалиста. — Ночью свистки подавал... Надо полагать, где-нибудь под Алупкой застрял.

— Много господ ждете?

— А как же, время такое... В начале апреля много народу из Адесты приезжает, значит, на пасху, тоже вот из Москвы, из Харькова. Номеров-то пустых совсем мало осталось.

— Цену хорошую дерете?

— Всяко случается... Прижимистые господа нынче стали. Каждый на грош пятаков хочет получить...

В горах, окружавших Ялту высокой стеной, туман уже начинал подниматься. Выделялись отдельные гребни, освещенные утренним солнцем. Фрола Иваныча особенно огорчала белая масса тумана, надвигавшаяся на Ялту через Массандру и заслонявшая солнце.

— И откуда только этот туман берется, — ворчал Фрол Иваныч и прибавлял для собственного утешения: — Оно, обнакновенно, море агромадное, застудилось зимой, а как солнышком подогреет его — вот и туман.

В воздухе чувствовалась уже наливавшаяся теплота, и море ласково облизывало береговые камни ровной зеленой волной. Из тумана показывались рыбачьи лодки, где-то в белесоватой мгле тонкими штрихами обрисовывался косой турецкий парус, в переливавшейся зеленой ткани моря весело кувыркались неугомонные дельфины... На пристанях работа кипела. Разгружались несколько судов с лесом, кирпичом и железом. По сходням, как муравьи, тащились носильщики. Около мола тяжело попыхивал струйками белого пара пришедший ночью из Феодосии пароход, точно человек, который не может отдышаться после быстрого бега. На длинной каменной платформе мола правильными штабелями лежала всевозможная пароходная кладь, ломовые подвозили багаж, толпы носильщиков ждали работы и т. д. В утреннем воздухе постепенно накоплялся и нарастал смешанный гул рабочего приморского дня. Чувствовалось в самом воздухе что-то такое бодрое, радостное и обещающее, как улыбка выздоравливающего человека, — после зимней

спячки здесь начинало все улыбаться — и море, и горы, и качавшиеся на рейде суда, и даже эта пестрая и разноязычная толпа поденщиков, облепившая набережную, мол и пристани.

Фрол Иваныч давно присмотрелся к постоянным ялтинцам и сразу мог определить каждого чужестранного, особенно своих русачков из Курской, Орловской или Тамбовской губернии. Он сам был тамбовский уроженец и узнавал земляка по одеже и говору безошибочно.

— Ион прийшов... — говорил он, встречая своего тамбовца.

Эти «ионы» начали появляться на южном берегу Крыма все чаще и чаще и тащили за собой своих баб, искавших работы на табачных плантациях или «около винограду». У Фрола Иваныча сохранилась тоска по родине, и он всячески старался определить земляков к какому-нибудь подходящему делу. Куда же им деться в самом деле... Не от добра «идут у Крым». Значит, дома нечего делать, ну, и идут... В первое время этих заморенных и серых «ионов» можно было видеть в самом тяжком положении, а потом ничего, приобыкали и устраивались не хуже других. Ведь это были не те босяки, которыми кишат все южные пристани, а настоящая рабочая армия.

Обежав пристани, Фрол Иваныч отправился на Черный рынок, где у него было свое заведение, как он выражался деликатно, то есть самая обыкновенная квасная лавчонка. Это «заведение» примостилось на самом юру, где толпился рабочий люд в ожидании нанимателей. У лавочки Фрола Иваныча уже дожидалась его жена, Анисья Филипповна, приземистая, полная старушка с сморщенным дряблым лицом. Она казалась не по годам старше мужа.

— Пароход запоздал, — деловым тоном заявил Фрол Иваныч, начиная разбирать доски передней стенки своего заведения.

— Того гляди, еще на камни попадет, — озабоченно ответила Анисья Филипповна.

— А зачем ему на камни попадать? — обиженно и строго спросил Фрол Иваныч, нахмурив брови.

— Да я так, к слову... — добродушно оправдывалась старушка, точно от ее слов пароход действительно мог попасть на камни.

— То-то... Слово тоже к месту говорится. На камни...

Муж и жена составляли примерную чету и всегда говорили друг другу «вы». Фрол Иваныч в минуту откровенности любил говорить: «Нет, вы не знаете мою Анисью Филипповну... Это не баба, а копье!» В чем заключалась суть такого оригинального сравнения и чем добродушная старушка напоминала копье — оставалось неизвестным. В обыкновенное время, особенно при чужих, Фрол Иваныч почему-то считал нужным постоянно спорить с женой и относился к ней почти сурово и даже бранился в третьем лице: «И для чего только эти самые бабы на свете болтаются... Взять бы их всех за хвост да об стену», и т. д.

На рынке все лавчонки уже были открыты, и начинался обычный утренний торг мясом, рыбой, зеленью и разными припасами. Появились татарчата с чебуреками и лепешками. Особенно бойко торговала напротив заведения Фрола Иваныча турецкая булочная. Около нее стояла целая толпа рабочих-турок в их нарядных лохмотьях. Загорелые, черноглазые, усатые и носатые, они резко отличались от серой толпы русских рабочих, столпившихся по другую сторону квасной Фрола Иваныча.

— Уж эти мне черномазые! — считал нужным ругаться Фрол Иваныч. — На копейку квасу не выпьют... Разве это люди?

Утро для его торговли было самым тихим временем, особенно весной, и Фрол Иваныч не торопился открывать свое заведение. Он открыл свой прилавок, не торопясь, привел в порядок жестяные кружки, пересчитал бутылки, попробовал кран у квасной бочки и несколько раз благочестиво зевнул.

— И сколько этой самой нашей расейской бабы набирается, — говорила Анисья Филипповна, наблюдая сбившихся в отдельную кучку женщин-поденщиц. — Тоже, миленькие, есть-пить хотят... Вон какую даль забрались. И не выговоришь...

— Всех не пережалеешь... Другая, может, от своей собственной глупости приволоклась, — сказал Фрол Иваныч совершенно без всякой причины, потому что сам первый жалел вот эту самую расейскую бабу. — Дома-то угарно, ну и лопочут, как овцы, неизвестно куда... Мужик подать платит, а бабе какая печаль: надела сарафанишко да платчишко — и все тут. А другая еще и рукомесло самое скверное выкинет...

— Не грешите, Фрол Иваныч...

Он хотел что-то возразить жене, но, как сумасшедший, выскочил из своего заведения. На углу у трактира собралась целая толпа, и в воздухе мелькала какая-то жилетка с разномастными пуговицами. Фролу Иванычу никакой жилетки не было нужно, но он протискался в толпу, выхватил жилетку из рук продавца, внимательно ее осмотрел и, прикинув на свет, решающе проговорил:

— Ничего не сто́ит!..

Кто-то вырвал у него жилетку из рук, и Фрол Иваныч только что хотел обидеться на невежливое обращение, как с моря донесся далекий свисток. Фрол Иваныч ринулся в свое заведение и отдал на всякий случай приказание:

— Вы, Анисья Филипповна, значит, того... вообще и в оба надо смотреть... А то вот эти самые, подобные бабы, которых вы жалеете... Одним словом, как раз сцапает бутылку или кружку — и поминай как звали.

— Не беспокойтесь, Фрол Иваныч...

— И тоже напримерно, что касаемо льду... сейчас в кадушке под стойкой...

— Что вы в самом деле, Фрол Иваныч, — заворчала Анисья Филипповна. — Слава богу, не слепая...

II

Фролу Иванычу решительно не было никакого дела до подходящего парохода, но он бежал, точно на пожар, обгоняя других и толкая встречного и поперечного. Туман только что начал подниматься над морем,

и вдали виднелся силуэт подходившего парохода. К молу двигались толпы носильщиков, ломовые и коляски извозчиков. Фрол Иваныч встретил несколько знакомых, здоровался на ходу и успокоился только тогда, когда остановился у того края мола, к которому должен был причалить пароход. Он тяжело дышал, как лошадь, сделавшая большой перегон.

— Куды ускорился, Фрол Иваныч? — окликнул его седенький худенький старичок с благочестивым лицом подвижника.

— А, это ты, Никитич... Здравствуй. Каково прыгаешь?

— Помаленьку, пока господь грехам терпит.

— Так, так... Это «Ксения» бежит? Ну, а ты работничков ждешь?

— Уж это как бог даст... Все от бога.

— Да уж тебе-то бог пошлет, известное дело...

Никитич был известный подрядчик, из рязанских. Он носил расейскую чуйку, говорил разбитым жиденьким тенориком и отличался каким-то ожесточенным благочестием.

Пароход приближался. Уже можно было слышать, как он тяжело буравил воду, распихивая две зеленых волны. Издали казалось, что он все усиливал ход и делался больше. Сделав круг, он тяжело подошел к пристани, точно железное чудовище. На пристани поднялась обычная в таких случаях суматоха, а больше всех суетился, конечно, Фрол Иваныч. Когда публика хлынула с парохода живой волной, он первым бросился по сходням на палубу, не обращая внимания на ругань и толчки.

— Эй, Фрол Иваныч, постой немножко, — остановил его на палубе третьего класса знакомый голос.

Перед ним стоял приземистый старик в красной рубахе, в валенках и полушубке, с большой котомкой за плечами. Серая от проседи борода падала на широкую грудь волнистыми космами.

— Мосеич, да это ты?! — ахнул Фрол Иваныч, останавливаясь. — А мне сказывали, что ты помер...

— Ан жив Мосеич... Поклоны тебе привез. Танбов-

ская губерния кланяется... А што касаемо смерти, так пока все другие-протчие человеки помирали. Значит, наша очередь еще не пришла...

Из-за Мосеича выглядывало румяное курносое девичье лицо, ухмылявшееся по неизвестной причине. По глазам и по вздернутому носу Фрол Иваныч сразу определил, что это или дочь, или племянница, а по лаптям и накинутой на плечи свите из белого домотканного сукна — настоящую «танбовку». В сторонке отдельной кучкой стояли тамбовские Панасы, Федосы, Савелы и Петряи, тоже в свитах из домотканного сукна и некоторые в лаптях. Фрол Иваныч любовно посмотрел на эти родные свиты и лапти и даже вздохнул: «Эх, Танбовская губерния, нет-то тебя лучше и приятнее...»

Первыми восклицаниями разговор исчерпался, и Фрол Иваныч не находил, что сказать землякам, хотя вопрос был всегда готов: зачем пожаловали?

— Донька, уди, — отстранил девушку Мосей и, отведя в сторону Фрола Иваныча, вполголоса заговорил: — А мы, значит, того, Фрол Иваныч...

— Работы искать?

— Правильно...

Еще раз оглянувшись, Мосей подмигнул и прибавил:

— Неспроста мы сюда-то пришли этакую даль... Еще по зиме наслышаны были, что царь строит каменный мост через Черное море, ну, значит, и того, народ нужен...

Фрол Иваныч расхохотался. И придумает же эта Тамбовская губерния... Каменный мост через Черное море. Тоже, натощак не вдруг и выговоришь. Когда он стал разуверять Мосея, теперь уже тот расхохотался в свою очередь.

— Ладно, ладно, перестань морочить, Фрол Иваныч... Нечего тут скрываться.

— Да хоть кого спроси!..

— И то спрашивали дорогой. Никто не хочет правду сказать, все скрываются...

— Это мол будут продолжать, Мосей, а ты мост выдумал.

Мосей хлопнул Фрола Иваныча по плечу и, подмигнув, закончил:

— Ну, пусть будет по-твоему, а мы кубыть тебе верим... Целую артель вывел.

— Так вы ступайте на Черный рынок, там моя старуха в заведении сидит, а мне еще нужно тут сбегать по одному делу...

— Ладно, ладно, знаем, — согласился Мосей. — Не впервой... Ну, Танбовская губерния, трогай!..

Подрядчик Никитич уже заметил своим благочестивым оком эту кучку тамбовцев и ждал их у самых сходней. Мосей в свою очередь узнал Никитича и весело поздоровался.

— Погляди-ка, какую я артель вывел, Никитич! Прямо с берлоги народ поднял...

— Что же, подавай бог... Господь любит труды. Тебя Мосеем звать?

— Он, видно, самый... Мосей Шаршавый. Работы к вам приехали искать...

— Дай бог, дай бог...

Дорогу на Черный рынок Мосей знал хорошо и вывел свою артель прямо к заведению Фрола Иваныча. Анисья Филипповна узнала Мосея и тоже ахнула.

— Жив, Анисья Филипповна, — успокаивал ее Мосей, сбрасывая тяжелую котомку.— Разе ты нас кваском угостишь с дороги? Вот родную племянницу Доньку вывел... «Хочу, грит, мост батюшке царю строить». Озорная девка... хе-хе!..

Это был подвох, чтобы шуткой выпытать у Анисьи Филипповны сущую правду, но хитрая старуха заперлась, как муж, и ответила, что о мосте ничего не слыхать.

— Ну, ладно, мы его сами поищем, — уверенно заметил Мосей. — Не мешок с деньгами, не потеряется...

Поднятые из тамбовской берлоги мужики с любопытством рассматривали галдевшую на непонятном языке толпу турок и переглядывались. Ну, только и народец.

— Ничего, народ хороший, хоша и турки, — объяснял Мосей. — Смирный народ, а главное, непьющий... У них такой закон.

В квасной сидел какой-то рабочий с парохода, одетый в синюю блузу. Он с аппетитом ел краюшку полубелого хлеба, запивая его дешевым квасом.

— Што закон? — обидчиво ответил он. — У каждого человека есть закон, а только всякая держава пьет...

Анисья Филипповна сосредоточила все свое внимание на Доньке и угостила ее квасом.

— Кушай, милая, на здоровье, — ласково повторяла старушка. — Работы пришла искать? Будет и работа... Вон сколько наших расейских бабочек стоит, тоже работы ждут. Всем место найдется... Татарки-то у себя по саклям только и умеют кохе свой пить, а на табачных огородах наша сестра расейская и садит, и полет, и поливает.

Между прочим, Анисья Филипповна в артели тамбовцев сразу присмотрела белокурого парня Федоса. Ничего, хорош паренек, хоть куда поверни. И плечо тугое, и рука могутная, и грудь выпирает из-под рубашки... Другие были помельче ростом, ну, да в артели все сойдет. Заметила старушка и то, что как будто Донька все отворачивается от Федоса и даже хмурит брови, когда встретится с ним глазами. Ох, девичье дело, конечно, совестно... Федос и сам не замечал, как нет-нет да и очутится рядом с Донькой.

— Ужо надо поснедать с дороги, — соображал Мосей. — Домашнюю-то еду всю прикончили дорогой, а здесь и настоящего хлеба не найдешь. Здесь все ситный да баранки... Не уважают ржаной-то хлебушко.

Мосей сам сходил купить хлеба и принес целую ковригу.

— Ну, ребятки, пока ешьте с оглядкой, — предупредил он, нарезая аппетитные ломти. — Пожалуй, и себя съедим так-то, пока нет работы... Донька, а тебе побольше ломоть, потому как бы очень затощала на пароходе. Анисья Филипповна, всю ночь нас эта самая Донька потешала, пока пароход кружил в тумане. Мы, мужики, ничего, а она всю ноченьку бегала к борту, точно барыня или поповна...

— Это с непривычки, — объяснил Фрол Иваныч, точно выросший из земли. — Никитич не приходил?

-- Нет, не видать кубыть...

Фрол Иваныч обругался.

— Уж только и народится человечина... Недаром он по пристаням-то обнюхивает.

— Ничего, Фрол Иваныч, без работы не останемся, — успокаивал Мосей. — Не впервой, слава богу. Вот ужо схожу к дохтуру Пал Петровичу, у него мы как-то дом налаживали... потом барин из немцев есть знакомый... Обойдется.

— Чему обходиться-то? — ругался Фрол Иваныч.— Тоже не фасон задарма́ на базаре стоять... А Никитич знает свое: «Как бог» да «господь не оставит»... Растерзать его мало!

Через час Мосей вел свою артель куда-то по главной дороге в Массандру и по пути объяснял Доньке:

— Видишь агроматные дома, дура? Тут все дохтура живут... Значит, все ихние дома. Ежели, например, другому человеку у смерти конец, то есть человеку богатому, ну, его сичас в эту самую Ялту: тут тебе море, тут тебе горы, тут тебе свободный воздух, розаны и всякое удовольствие... Ион и отдышает, значит, который хворый. А то и для баловства которые наезжают... У себя-то в Москве или в Питире надоест безобразничать, ну, валяй на солнышко. Одним словом, баловство...

III

Первый день тамбовской артели прошел как-то между рук. Мосей разыскал какой-то сарай, где и разместились все.

— Здесь, брат, тепло, — объяснял он, надевая полушубок. — Недаром богатеющие господа сюда едут. Уж я знаю. Ужо в баню вечерком сходим от свободности...

Устроив артель, Мосей отправился в город на поиски работы и пропадал до самого вечера. Вернулся он сумрачный и ничего не сказал, где был и кого видел. Старик только встряхивал головой и вздыхал. Артель приуныла.

— А ничего, как бог, — решил Мосей. — Другие живут, и мы как-нибудь проживем. Посмотрел это я давеча на пропойцев — господи, и сколько их тут набралось, и все-то пьяные. Точно комары над болотом толкутся... Берут же где-нибудь деньги на пропой души, окаянные? Ох, дела... И наших русачков понаперло вполне достаточно.

Вечером пошли в баню и по дороге насмотрелись на всяких господ, которые катались по городу в колясках и верхом. Особенно удивляли тамбовцев дамы-амазонки: уцепится в седле бочком и вот как нажаривает, только пыль летит. Доньку бы посадить так-то... Тамбовцы всему удивлялись и указывали пальцами на разные диковины. И горы какие высокие, и море какое зеленое, и дома все до одного каменные, и люди все до одного богатые, и дерева все неизвестные да чужие. Одна Донька ничего не желала ни видеть, ни слышать и готова была разреветься каждую минуту. Ее душила тоска по своей Тамбовской губернии... Что-то там теперь делается?

По дороге из бани обратно они встретили смешного молодого барина с стеклышком в глазу. Он шел в каком-то длинном до пят, рыжем балахоне, насвистывая опереточный мотив и помахивая тоненькой тросточкой.

— Да ведь это наш молодой барин... — с радостью проговорил Мосей. — Ей-богу, ион самый!.. Только вот как его звать — не упомню. Мудреное имя какое-то...

Старик даже забежал вперед и поклонился молодому барину, который посмотрел на него своим стеклышком совершенно равнодушно.

Эта встреча сразу оживила Мосея. Если молодой барин в Ялте, значит, и старый барин здесь же. Город не велик, и разыскать можно живой рукой. А старый барин уж все знает... У Мосея гвоздем засела в голове мысль о царском мосте, и он был убежден, что все от него скрывают все. А старому барину уж незачем его обманывать.

Утром тамбовскую артель ожидала самая неприятная неудача. Когда они чуть свет вышли на базар, Фрол Иваныч был уже там и сообщил Мосею под секретом очень важную новость:

— Никитичу сегодня надо будет нанять целых пятьдесят человек... У него подряд на набережной... Того гляди, притащится сюда. Только ухо держите востро: обманет. Выпрашивайте по полтора рубли поденщину... Понял?

— А ежели не даст?

— Ну, можно сбавить на рупь двадцать, а больше — ни-ни. Он, как идол, будет рядиться...

Как оказалось, эта новость была небезызвестна и другим, потому что русские рабочие сбились в одну толпу и сдержанно толковали о том же.

— А ежели турки перебьют? — сомневался Мосей, почесывая затылок.

— Что турки? — рассердился Фрол Иваныч. — Разе турки могут работать настоящую тяжелую работу? Так, разные подробности работают, а сурьезного-то и нет... Турки!.. Они вон в целое лето на копейку квасу не выпьют...

Появление Никитича было встречено глухим гулом смешанных голосов. Вперед выступили артельные рядчики и повели переговоры. Никитич бил себя кулаком в грудь и что-то выкрикивал своим тонким, бабьим голосом.

— Полтора целковых?!. — кричал он, размахивая руками. — Да креста на вас нет, ребятки... Бога-то побойтесь, бога-то!.. Без ножа хотите зарезать живого человека...

Рядчики отвечали такими же пустыми словами и стояли на своем. Первыми сдались черниговские хохлы, сразу сбавив цену на рубль двадцать. Поднялся крик и ругань.

— Ну, и бери хохлов, Никитич!.. Разе это рабочие?.. Лопаты держать не умеют в руках... Не столько работают, сколько оглядываются. На хохлах недалеко уедешь...

Хохлы отмалчивались. Они уже около недели напрасно искали работы и были рады идти за рубль. Никитич, конечно, это знал и давал девять гривен.

— Дома-то за двугривенный работаете, а здесь на полтора целковых расстарались! Забыли бога-то...

Ряда шла отчаянная. Никитич еще накинул пятачок и поклялся, что больше не прибавит ни одной копейки. Рядчики сошлись вместе и начали сговариваться между собой. Конечно, можно и за целковый работать, а только нехорошо ронять цену. Раз уронили, а потом и не подымешь. Никитич, несмотря на самые отчаянные клятвы, хотел уже прибавить еще пятачок, но в этот момент показалась целая толпа турок, только что приехавших на пароходе.

— Вот так фунт! — ахнул Фрол Иваныч, принимавший, конечно, самое деятельное участие в общей суматохе.

Он забежал в толпу и старался заслонить собой Никитича, чтобы тот не видал турок. Но было уже поздно. Никитич махнул рукой и сам пошел к толпе турок, собравшейся у своей булочной. Здесь переговоры были кончены в несколько минут. Турки согласились идти работать за сорок копеек. Фрол Иваныч в отчаянии бросил свою шапку оземь и, грозя туркам кулаком, кричал:

— Вот вам, черномазые черти!.. В колья вас надо... Только хлеб у добрых людей отбиваете. И ты хорош, Никитич!.. Креста на тебе нет...

Артель турок ушла за Никитичем, а русские рабочие остались на базаре. Не слышно было ни обычного галдения, ни ругани — горе было слишком неожиданно и велико.

— Да, воопче... — смущенно бормотал Мосей. — Эк их угораздило, чертей... В самый секунд подоспели.

— Да что им, туркам, сорок копеек — и того много! — орал Фрол Иваныч. — Разе это люди? Вон какая на ем одежда: одни заплатки. Разе он понимает, например, настоящую еду? Съест один бублик в три копейки, запьет его водой — и целый день сыт. Он и праздника не понимает, как другая собака: у них все будни...

Пока происходила вся эта передряга, Анисья Филипповна успела пристроить Доньку к другим бабам, которые нанялись куда-то на табачную плантацию в Алупку.

— Тридцать копеек будет получать, а там прибавят, — хвасталась старушка своей удачей. — И тридцать копеек деньги...

Мосей, поощренный этой удачей, уверенно заявил:

— Э, и мы без дела не останемся!.. Слава богу, свет не клином сошелся... Ежели что, так мы и в Новороссийск махнем. Не тужите, братцы!..

IV

Тамбовская артель причиняла Фролу Иванычу массу хлопот. Он даже осунулся в лице и похудел. Одна борьба с дешевыми турками чего стоила. Когда на базаре появлялся подрядчик Никитич, высматривавший свою дневную порцию рабочих рук, Фрол Иваныч накидывался на него с яростью.

— Опять обманывать пришел? — кричал Фрол Иваныч, размахивая руками. — Полюбуйся на свою работу: турки работают у тебя, а наши русачки вот стенкой стоят голодные. Это как, по-твоему?

— А уж как господь... — певуче отвечал Никитич. — Уж это не от нас, милый человек. И турки тоже есть хотят. Понедельников небойсь не справляют да еще каждый день своему богу по три раза молятся.

— А что из того, что молятся — хоть десять раз молись, а ихний бог неправильный. Вот тебе бы в самый раз в мухоеданскую веру...

Благодаря хлопотам Мосея и Фрола Иваныча тамбовская артель получила работу, но лиха беда была в том, что приходилось работать в разных местах. Сходились вместе только по вечерам. И Донька отшиблась от артели, что очень угнетало Мосея. Девушка молодая, ничего не понимает, — долго ли до греха. Вся артель скучала по Доньке, в которой сохранялась последняя теплота родной губернии. Фрол Иваныч был того же мнения и чуть не подрался из-за Доньки с своей Анисьей Филипповной и довел ее до слез.

— Что же, я для нее же старалась, — оправдывалась старушка, вытирая слезы. — Не одна ушла в Алупку, а с другими-протчими бабами.

— А ежели она оттуда воротится круглая? Баба не мужик, и по здешним местам ей везде цена. У меня есть знакомый татарин Асан в Аутке, так я уже ее туда определю... По крайности, каждый день девушка дома, в своей артели ночевать будет.

— Ну, и устраивай.

— И устрою. Не буду тебе в ноги кланяться... Вот погоди, воскресенье придет — тогда и определю. Пусть чувствует, каков есть человек Фрол Иваныч.

Фрол Иваныч сдержал свое слово и определил Доньку к Асану, в Аутку. Эта татарская деревушка слилась с Ялтой и была, как ковром, обложена табачными плантациями. Анисья Филипповна соображала свое и все поглядывала на Федоса. В самый бы раз парочка вышла. Старушка стороной успела вызнать, что у себя в деревне Федос был завидным женихом и за него пошла бы любая девушка, но он не хотел жениться, пока не устроится.

«Ничего, бог даст, все устроится, — соображала старушка. — Ушел холостой, а вернулся женатый. Конешно, Донька не бог знает какая корысть, ну, да с лица не воду пить».

Весна быстро шла вперед. Миндали давно отцвели. Начала быстро распускаться зелень. Море теплело с каждым днем. Ялта оживала весенним прилетом своих больных гостей. И старики и молодые — все искали животворящего тепла. Больные бродили по набережной, любуясь морем, ютились в маленьком городском садике, слушая музыку, и вообще старались как-нибудь убить время. Это была какая-то призрачная жизнь, окрыленная несбыточными надеждами найти именно здесь утраченное здоровье. Были и такие люди, которые решительно не знали, зачем они приехали в Ялту — вернее сказать, не знали, куда им деваться. Они ругали и Ялту и по пути все русские курорты, клялись, что это уже в последний раз они попали на южный берег Крыма, и доказывали друг другу все преимущества заграничных курортов.

Именно к последнему сорту господ относился «наш родной барин» Мосея Шаршавого — Ипполит Андреич Черепов. Семья Череповых поселилась в «России»,

занимая два номера, — в большом жил старик Черепов с сыном Вадимом, а в маленьком поместилась дочь Ирина, молодая худенькая девушка с острыми плечами и какими-то жгучими глазами. Старик Черепов, представительный седой старик, держал себя с большим достоинством и пользовался у всей прислуги шикарного отеля большим уважением. Он делал все, до последних мелочей, с какой-то министерской солидностью, даже умывался не так, как другие, а верх солидности, доходившей до священнодействия, проявлялся больше всего за обедом и ужином. Последнее, впрочем, носило характер почти платонический, так как старик Черепов страдал катаром желудка и половины артистически приготовленных кушаньев не мог есть.

— Мой желудок так же не переваривает некоторых вещей, как не переваривают головы моих детей целый ряд идей, — мрачно острил старик.

Дети привыкли к желчным выходкам отца и не обращали на них особенного внимания. Это была довольно странная семья, жившая какими-то взрывами. Все держались на равной ноге, как добрые старые знакомые. Получалась та излишняя откровенность, какая извиняется только добрым старым знакомым, на которых не обижаются.

Деревья покрылись зеленью. Начали распускаться глицинии. Наступала лучшая весенняя пора. Старик Черепов ежедневно гулял по набережной определенное доктором время. Раз в воскресенье, когда он с дочерью возвращался домой, его остановил у входа на лестницу какой-то мужик, державший шапку в руках. Это был Мосей Шаршавый с Донькой.

— Ваше высокоблагородие, Апполит Андреич... — бормотал Мосей, кланяясь. — Не допущают до вас... холуи трактирные не пущают...

— Что такое? Что тебе нужно? — недовольным голосом проговорил Черепов. — Кто ты такой?

— А мы, барин, ваши родные мужики будем, значит, из деревни Парфеновой... Мосей Шаршавый, а это моя племянница Донька, значит. Дельце есть у меня к вам, а холуи не пущают... Прямо, значит, к вашим

стопам, потому как вы нам природный барин, и мы вполне обвязаны... например, подвержены...

— Какое дельце?

— Прикажите допустить, а на улице никак невозможно...

Ирина все время рассматривала в лорнет Доньку и пришла в восторг. Ведь это был великолепный этнографический тип, который необходимо показать приехавшему в Ялту путешественнику. Пусть полюбуется на кровную «танбовку». У нее и костюм весь настоящий, домашней работы. Черепов слушал несвязную болтовню Мосея, несколько раз поморщился, что в переводе означало его полное недовольство навязчивым мужичонкой, но вступилась Ирина.

— Ты, мужичок... как тебя зовут?

— Мосей, барышня...

— Да, так ты иди за нами, — решительно приглашала девушка. — Никто не смеет тебя не пустить...

Мосей немного замялся и сбоку посмотрел на Доньку.

— И она пойдет с нами, — командовала Ирина.

— Для чего эта комедия? — по-французски заметил Черепов, пожимая плечами. — Вечные эксцентричности.

— Ах, папа, это так интересно!.. — по-французски ответила Ирина. — Одно имя чего стоит: mademoiselle Донька.

— С родственниками трудно спорить, — проворчал Черепов, направляясь по лестнице к верхней площадке.

Мосей сразу догадался, что за него заступилась барышня, и, шагая за ней, повторял:

— Гонють нас, барышня... которые холуи... А мы уж к вашим стопам...

Отельные официанты попробовали загородить дорогу Мосею, когда вся компания поднялась к роскошному вестибюлю.

— Куда прешь, сиволапый!..

— Оставьте, пожалуйста, их, — строго протестовала Ирина. — Они идут ко мне... Поняли?

— Вот эти самые, барышня, — жаловался Мосей, указывая на официантов. — Гонють...

Донька никогда еще не видала, как живут настоящие господа, и всему удивлялась: лестнице, ковру в коридоре, дверным ручкам и т. д. Ирина провела ее в свою комнату, и там удивлению Доньки не было границ, особенно когда она увидела нарядную кровать барышни.

— Неужли ты на ней спишь? — спросила Донька.

— Сплю... А что?

— Кубыть страшно.

Ирина смеялась до слез над Донькой.

В номере Черепова происходила не менее оригинальная сцена. Мосей стоял у дверей и, повертывая в руках шапку, издалека начал рассказывать историю постройки царского моста и о том, как все его обманывают. Старик Черепов сначала слушал его с нахмуренным лицом, а потом захохотал.

— На вас, барин, последняя надежа осталась... — закончил свое повествование Мосей.

Черепов подошел к нему, хлопнул его по плечу и, продолжая смеяться, проговорил:

— Не будет тебе царского моста, Мосей...

— Как же это так, барин? Недаром люди говорили...

— Я тебе сказал: не будет. И тебе и мне никакого моста не будет... Был у нас с тобой *крепкий* мост, а теперь ничего не осталось. Купец гуляет по нашему мосту, а мы в окошечко на него поглядываем.

Мосей знал привычку старого барина говорить мудреные слова и только хлопал глазами. А старик Черепов совсем развеселился, что с ним случалось редко, усадил Мосея на стул и начал подробно его расспрашивать обо всем: как мужики живут в Парфеновой, как набралась артель строить царский мост, как они шли пешком, как устроились в Ялте.

— Утеснили вы нас, барин, тогда земелькой-то, — говорил Мосей, потряхивая головой. — Кормов совсем не стало, скотину пасти негде... Обезлошадили вконец.

— И я тоже безлошадный, Мосей... Конский завод давно продал. А теперь землю в банк отбирают... Новую землю приходится искать...

При слове «земля» Мосей весь встрепенулся.

— Это вы, значит, на Кавказ, барин? Сказывают, господам там отводят царскую землю по тыще десятин...

Старый барин задумался и, вздохнув, проговорил:

— Приходи как-нибудь вечерком, поговорим...

Он слышал шаги Вадима, при котором не желал говорить. Молодой человек вошел в номер, понюхал воздух и брезгливо заметил:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...

V

От своего барина Мосей вернулся домой как пьяный. Ведь сам барин завел речь о новой земле, а даром он говорить не будет. Мосей встряхивал головой и чесал в затылке. Что же, у батюшки-царя земли сколько угодно, да и Кавказ велик. Всем места найдется. Чем толкаться по заработкам, за милую душу поработать бы на своей земле.

Увлеченный своими мыслями, Мосей не замечал, что в его артели творится что-то не совсем ладное. Тамбовцы начали скучать, что было связано с временем года. Всплыла настоящая мужицкая тоска о своей сиротевшей земле, о сиротевших домах и сиротевших семьях. Крымская яркая весна казалась обидной. В результате явилось несколько прогульных дней. Единственным живым местом в артели являлась Донька, за которой все ухаживали, как за родной. Исключение в этом случае представлял один Федос, который старался избегать Доньки и почему-то злился на нее.

— Ну, ты, корявая губерния... — ворчал Федос, когда Донька проходила мимо.

В свою очередь Донька не оставалась в долгу и, когда Анисья Филипповна политично наводила ее на разговор о Федосе, грубо отвечала:

— Этот-то? Да я его и видеть-то не могу... На сердце мутит. Шалый ион... тошный...

Федос сам не знал, что такое с ним делается, и совершенно не знал, куда ему деваться в свободные

часы, особенно по праздникам. И в своей артели тошно и на чужих людях тошно. Он уходил куда-нибудь на набережную и по целым часам смотрел на море. На набережной и в праздники работа кипела. На базаре Федос избегал заходить в лавочку Фрола Иваныча, а забирался куда-нибудь в съестную, где толклись пропойцы. И какого только тут народа не было, и почти все грамотные. Они тоже работали временами, чтобы сейчас же и пропить весь заработок. Федос среди них казался богатырем и с презрением смотрел на этих несчастных, у которых лица опухли от пьянства, руки и ноги тряслись, глаза слезились.

«Господи, да откуда такие люди берутся?» — с тоской думал Федос.

Попадались и женщины-пьянчужки, ходившие с синяками, рваные и грязные. Это была последняя степень падения. Пробовал Федос приставать к туркам, которые ему нравились, но они как-то сторонились от него, да и разговориться с ними было трудно. Русские рабочие часто роптали на свою судьбу, волновались и при всяком удобном случае ругались, а турки держали себя так спокойно и с каким-то особенным достоинством носили свои рабочие лохмотья. А главное, до сих пор Федос не видал ни одного пьяного турка...

А борьба между русскими и турками велась по всей линии. Пока торжествовали турки, хотя Фрол Иваныч и грозил им погромом, случавшимся в Ялте не раз. Совершенно безучастными оставались в этой борьбе за труд одни крымские татары, из которых прибрежные жили припеваючи на счет своих табачных плантаций, виноградников и приезжих туристов. Настоящие горные татары появлялись редко и жили в своих горных гнездах неизвестно как и чем. Они привозили дрова, уголь, овечий сыр, молодых барашков, овощи — и тем ограничивались. Странно было сопоставить черноволосых побежденных, сытых и сравнительно обеспеченных, и пришлых, большею частью белокурых или светлорусых победителей, прибитых волной всяких злоключений к чужому берегу. Типичнее всего была русская баба, которая обрабатывала табачные плантации и ходила «около винограду».

Раз Федос обходом пробрался по базару, минуя заведение Флора Иваныча, и неожиданно натолкнулся на Доньку, которая ходила за хлебом для артели. Федос сделал вид, что не узнал ее, и повернул в сторону. Донька тоже хотела повернуть, но прямо натолкнулась на Федоса.

— Ах ты, чучело гороховое! — проворчал Федос.

— А ты чего смотришь, шалый?! — огрызнулась Донька.

Федос погрозил ей кулаком, свернул в сторону и зашагал к толпе турок. Донька стояла на месте, и у нее на глазах навернулись слезы.

Донька, по приглашению «барышни», раза два бывала в «России», но потом перестала ходить. Ее удивляло какое-то особенное нахальство этой барышни, которая не стеснялась выспрашивать ее о самых интимных вещах.

— Тебе не страшно жить одной с мужиками? — спрашивала ее Ирина. — Ведь их много, они такие грубые, слова говорят такие...

Донька не понимала.

— Может быть, тебе кто-нибудь нравится? — продолжала барышня наводящие вопросы.

— Дядя Мосей нравится...

— Ну, это само собой. А из парней? У вас ведь это все просто... Я видела в деревне сама, как парни хватали девушек в охапку... щипали их...

— Так это на играх, барышня, а не на артели. На артели у нас строго... Дядя Мосей не любит баловства. Ни-ни...

— А все-таки есть такой парень, который тебе нравится?

Донька конфузилась.

— Одним словом, жених?..

— Это уж дядя Мосей, барышня, знает...

— Да ведь не дяде Мосею замуж выходить, а тебе... Кто у вас в артели первый красавец?

— Все красавцы... На деревне девушки болтали о Федосе, только он совсем шалый. И на человека не походит...

Донька чувствовала себя неловко, когда барышня впивалась в нее своими «колючими» глазами или начинала улыбаться. Раз Донька не выдержала и откровенно заявила:

— А вы смеетесь надо мной, барышня, как над писаной дурой... Делать вам нечего, вот и потешаетесь над деревенщиной.

— Нет, не потешаюсь, — оправдывалась Ирина, немного смутившись. — А просто мне интересно, как другие девушки на свете живут, что они думают и чувствуют.

Донька расхохоталась. Уж очень смешные слова барышня разговаривает: кто же не знает, о чем все девки думают... Очень даже просто. Вон как Анисья Филипповна пристает с Федосом, точно он у нее в зубах завяз.

— Тебе очень хочется замуж, Донька?

— Н-не... В девушках лучше.

— Зачем же тогда выходят замуж?

— А так: выдадут — и все тут. Вот как девки-то ревут, когда их окручивают. Самая бесстрашная и та голосом воет...

Для Ирины эта «танбовка» являлась своего рода сфинксом, которого она никак не могла разгадать. Путешественник-этнограф, которому Донька была предъявлена в качестве вещественного доказательства от тамбовской антропологии, решительно ничего в ней не нашел, что разочаровало Ирину, и Донька была исключена из реестра развлекающих редкостей. Простившись с живой игрушкой, Ирина почувствовала ту гнетущую тоску, для которой специально создана русская «барышня не у дел». Даже было обидно думать, что вот эта самая смешная Донька кому-то нужна, что у нее есть свое место в тамбовской артели, что какая-то таинственная Анисья Филипповна хочет ее окрутить с каким-то тамбовским Федосом, и что все это нужное, настоящее, серьезное, как серьезно шумит море, серьезно растет трава, серьезно идет дождь.

С отцом у Ирины были совершенно дружеские отношения, и она не стеснялась говорить с ним

откровенно. После увольнения Доньки она за вечерним чаем долго говорила с ним на эту тему.

— Папа, почему я чувствую себя никому не нужной?

— Очень просто: повышенная требовательность. Нынешние девушки ищут непременно героев, а таковых слишком мало, даже почти нет.

— Какие там герои, папа, просто интересный человек — и вполне достаточно.

— И таких интересных мужчин нет, моя милая. Эта погоня за интересными людьми обличает только собственную внутреннюю пустоту, бессодержательность и вялость. Собственное ничтожество мы желаем оправдать на содержательности другого. Это моральное тунеядство... И твоя Донька, конечно, стоит неизмеримо выше тебя, потому что знает, что ей делать, а это главное.

— Ах, папа, все это непутные слова, которые еще никого не убедили и не сделали лучше.

— Нет, это нужно и знать и чувствовать, Ирина. Я жил много за границей, много видел и пришел к убеждению, что лучше русского мужика и русской бабы ничего нет. Да...

— В тебе, папа, говорит уволенный в отставку рабовладелец.

— Ничуть! Ты ошибаешься... Ты вот читаешь историю, где господа историки так красиво подкладывают исторические законы под совершившиеся факты и не видят настоящего. Например, кто проделал всю русскую историю? Да вот эта самая тамбовка Донька, которая совсем не интересна для твоего этнографа. А для меня это все ясно... Я говорю не о том, что Донька родила эту историю, — нет, она внесла в нее всепокоряющую живучесть, изумительную эластичность форм, еще более изумительную приспособляемость в каком угодно положении. Эта Донька, как кошка, которую выбросили из пятого этажа и которая непременно упадет прямо на ноги... И я ее люблю, русскую бабу. Ее историки совершенно просмотрели. Да и сейчас ее не видят... Помнишь, когда ездили на воды под Учан-Су, там по дороге все табачные плантации были

усеяны русскими бабами. Татарская баба не может работать у себя дома, а русская баба бредет искать работы за тысячи верст. Ее и ветром сушит, и солнцем жжет, и дождем мочит, а она все-таки делает свое бабье дело. Ведь это сто́ит хорошего завоевания, и никто этого не видит. Бабе тесно стало дома, и она пошла оплодотворять своим великим бабьим трудом чужую ей землю. Самое это великое дело, когда есть настоящая баба... Ты слыхала, вероятно, что есть так называемый русский скот — крестьянская лошадь, крестьянская корова, деревенская курица? Эта самая изумительная зоология, потому что она разрешила неразрешимую экономическую задачу, то есть при наличности minimum'а условий получается maximum производительности. Особенно характерна корова-крестьянка, возведенная в тип. Есть так называемые коровы-тасканки и коровы-горемыки, подразделяющиеся на кровных горемык и полукровных горемык. Это маленькое тощее создание, которое целую зиму обходится без пищи и которое до того ослабевает к весне, что его нужно вытаскивать на весенние зелени, где оно оттуливается. Про курицу и говорить нечего: она должна класть яйца и кормиться сама. А кто создал эти живые чудеса хозяйства? Создала Донька...

Черепов медленно шагал по комнате, пуская синеватый дым дорогой сигары. Когда он говорил, его лицо делалось красивым, и Ирина любовалась им. Такой умный, хороший и понимающий старик... А между тем он пустил своих бывших крепостных с даровым наделом нищими, вечно судился за потравы и кончил тем, что разорил все свое хозяйство и проедал сейчас последние крохи. Ирина все это знала и никак не могла понять отца, в котором слова, мысли и дела шли разными дорогами.

VI

Благодаря неудержимой энергии Фрола Иваныча тамбовская артель к концу мая устроилась вместе, то есть на одной работе, что представляло много удобств.

— Слава богу, все теперь в одной кучке, — радовался за всех Фрол Иваныч. — Уж на что лучше... А разбились бы по одному человеку — и конец артели. Куда человек, ежели он от своих отстанет? Пропал, как швед под Полтавой...

Фрола Иваныча огорчало только то, что Мосей Шаршавый как будто не выражал особенной радости. Даже совсем наоборот — старик все хмурился и угнетенно вздыхал.

— Да ты это что, Мосей? — спрашивал Фрол Иваныч. — Точно муху проглотил...

— Есть и муха, Фрол Иваныч... Верно ты сказал.

Какую муху проглотил Мосей — так и осталось неизвестным, что окончательно огорчило Фрола Иваныча.

— Вот и хлопочи для земляков, — ворчал он. — Они же над тобой и фигуряют...

Потом, по наведенным справкам, оказалось, что Мосей почти каждый вечер куда-то исчезал и возвращался домой поздно.

— Уж не закутил ли грешным делом старик, — посомневался Фрол Иваныч. — Трактиров у нас вполне достаточно, ежели который человек слабый...

«Муха» Мосея Шаршавого засела в «России». Старик Черепов полюбил тамбовского мужика и каждый раз угощал его чаем. Мосей усаживался с большой осторожностью на краешек стула и пил один стакан чая за другим. Иногда угощала его Ирина, а когда ее не было — наливал чай сам Черепов. Мосей обливался по́том и все-таки пил, не смея отказаться. Черепов шагал по номеру, заложив руки за спину, и говорил без конца. Когда он останавливался, Мосей говорил:

— Совершенно правильно, барин Апполит Андреич... Сущая правда вполне...

Скучавший старый барин читал целый ряд лекций по истории Крыма и Кавказа и предъявлял целый ряд остроумных соображений относительно будущего этих двух жемчужин.

— Рабочие руки нужны, Мосей, наши русские

рабочие руки. В Расее стало тесно жить, а тут всем места хватит.

— Как не хватить: тут тебе море, а тут сейчас рядышком берег. Очень просто...

Мосея смущало только одно, именно, когда барин раскладывал на своем письменном столе громадную карту и по ней объяснял прошедшее, настоящее и будущее. Мосей решительно ничего не понимал, кроме того, что по «планту» Тамбовская губерния выходила уж как-то обидно маленькой. Двух овец некуда выпустить... Не может этого быть. Просто, казенные анжинеры напутляли невесть что, чтобы скрыть Тамбовскую губернию. А вот когда барин принимался рассказывать про Кавказ, Мосей превращался в один слух и все отлично понимал, только понимал своими мужицкими словами.

— Эх, старость, старость!.. — иногда говорил Черепов, повторяя слова Тараса Бульбы. — Если бы не старость, я сам бы пошел с вашей артелью... Нашли бы землю и работу.

— Нашли бы вот как, — соглашался Мосей.

— Ты не понимаешь самого главного, Мосей: ты неуязвим, как броненосец. Много ли тебе нужно: один хлеб.

— Да ежели бы был ион, хлебушко-то, да я не знаю, что бы, кажется, сделал.

— Ну, прежде ты крепостной был, а теперь свободный человек.

— Совершенно свободный, как есть ничего нет.

— А выведи-ка ты свою бабу на Кавказ — да там ей и цены не будет.

— Ну, бабу, барин, трудно поднять, как медведя из берлоги. Она тоже ежели упрется, так ничего не поделаешь... Конечно, ежели мир прикажет, так и баба пойдет...

Мосей начинал понимать, что барин тоже склонен к мечтам, но слепо верил каждому его слову. Кому же и знать, как не старому барину. Вот как все понимает барин и все может обсказать, до крайности. Домой Мосей возвращался точно пьяный и во сне видел

гостеприимные кавказские берега, где схоронилось крестьянское настоящее счастье.

Не спалось и старому барину Ипполиту Андреичу, хотя и по другим причинам. Он страдал старческой бессонницей, а в последнее время она сопровождалась какой-то удручающей старческой тоской. Впереди уже ничего не оставалось, кроме механического чередования ненужных дней и ночей. А ведь когда-то и он мечтал... Даже и очень мечтал. Но самая деятельная полоса жизни как-то сама собой точно выпала, как незаметно выпадают волосы на голове. Он сейчас с ужасом чувствовал нараставшую в самом себе пустоту жизни и то, что в сущности он, барин Черепов, никого и ничего в жизни не любил. Боже мой, как он сейчас завидовал какому-нибудь Мосею Шаршавому, жизнь которого была и полна и имела впереди определенную и ясную цель. В этом безвестном тамбовском мужичонке чувствовалась та стихийная сила, которая двигает миллионами. Да, они идут к своему безвестному счастью и будут идти, потому что они нужны, а не нужный никому барин Ипполит Андреич будет гнить в своей могиле... Ему даже самым близким по крови людям, как родные дети, нечего передать, кроме того, что живите, как знаете.

— Ах, тоска, тоска!.. — шептал старый барин, шагая по комнате до утра, когда море начинало наливаться белесоватой мглой и от него тянуло теплой влажной струей, как от парного молока.

А там, на базаре, русская история двигалась своим чередом. Фрол Иваныч, оскорбленный в лучших своих чувствах, делал вид, что не замечает тамбовских земляков. Они тоже как будто избегали его заведения. Вообще чувствовалась натянутость.

— А все ты, чертова кукла! — накидывался Фрол Иваныч на жену. — «Наши танбовцы приехали... Наша Танбовская губерния!» Вот тебе и Танбовская губерния... Как устроились, так и рыло на сторону. Известный манер...

Можно себе представить удивление Фрола Иваныча, когда в конце мая в заведение явился Мосей Шаршавый в полушубке, валенках и с дорожной

котомкой за плечами. С ним пришла и Донька, тоже одетая по-дорожному. Фрол Иваныч даже протер глаза.

— Да ты это что, Мосей, куда наклался?

— А вот пришел проститься с землячком, — спокойно ответил Мосей. — Спасибо за привет да ласку.

— Да ты куда в сам-то деле?

— Мы-то?.. А в Батун... Место такое есть, значит, на самом берегу.

— И всю артель за собою тащишь?

— Обнакновенно... Вчера с одним человеком сговорился и задатки получили. Хорошо у вас, да по нашему пропиталу начетисто кубыть...

— Да ты в уме, Мосей?!. Точно с печи упал...

— Очень даже в уме... Такая уж линия вышла.

В коротких словах и довольно сбивчиво Мосей рассказал о своих душевных беседах с старым барином, о какой-то «верной земле» в Закавказье и о том, как мучился все это время.

— Да ты и впрямь рехнулся, Мосей! — вступилась Анисья Филипповна. — Мало ли что кто скажет. За всеми не угоняешься... Прямо сказать, сбесился человек.

Фрол Иваныч сначала ругался, ругался вообще и в частности, потом обругал Анисью Филипповну, а когда к заведению подошла вся тамбовская артель — бросил свой картуз оземь и неожиданно заявил:

— Эх, Мосей, нехорошо! Вот даже как нехорошо... Зачем столько время скрывался? Да я сам, коли на то пошло, с вами бы поехал в Батум... Ей-богу!.. И мне здесь очертело смотреть на разную погань. Ей-богу, поехал бы!.. И даже очень просто... Да я сейчас поеду!..

Около заведения собралась целая толпа. Над Фролом Иванычем начали подшучивать. Одна Анисья Филипповна была спокойна. Она знала, что на мужа иногда «на́катывает» и что он только так говорит, назло ей.

— Да в Батуме твоего квасу и пить никто не станет, — заметил из толпы какой-то бывалый человек. — Там все красное церковное вино пьют...

Поднялся шум и общий смех. Взбешенный Фрол Иваныч разогнал толпу и продолжал уверять, что непременно завтра же поедет.

— Обождите денек, — упрашивал он Мосея.

— Невозможно, Фрол Иваныч... У нас и билеты на пароход выправлены.

Пароход отходил только в одиннадцать часов, но тамбовцы забрались на пристань спозаранку и терпеливо ждали отвала. Фрол Иваныч прибегал на пристань раза два, чтобы поругаться и сорвать сердце. Между прочим, он принес целую вязку турецких баранок и сердито объяснил:

— Это от моей старухи...

Ровно за полчаса до отхода парохода в щегольской коляске приехал старик Черепов с дочерью. Тамбовцы были уже на палубе и устраивались с своими пожитками. Мосей бросился по сходне к барину, чтобы проститься.

— Вот видишь, я приехал проводить вас, — говорил старый барин, поднимаясь по сходне на палубу.

Ирина разыскала Доньку и тихонько ее спросила:

— А который Федос?

— Да вон он... лупоглазый такой...

— А... Ничего, красивый парень.

— Да, так в Батум? — каким-то деланым тоном спрашивал Черепов. — Что же, дело хорошее... С богом!

Тамбовцы узнали «родного барина» и сняли шапки. Вынырнувший из толпы Фрол Иваныч тоже узнал Черепова и тоже снял шапку.

— Точно так-с, ваше превосходительство, — ответил он за всех.

— А ты тоже из артели? — спросил Черепов, подозрительно оглядывая городской костюм Фрола Иваныча.

— Я-то тоже тамбовский, ваше превосходительство, только я по квасоваренной части. У меня собственное заведение на базаре.

Черепов поговорил с тамбовцами и отправился с парохода. Уходя, Ирина сунула Доньке полуимпериал и шепнула:

— Когда будешь выходить замуж, так это тебе на приданое...

Донька даже не сумела поблагодарить и только крепко сжала монету в кулаке.

Когда пароход отваливал, Мосей Шаршавый долго махал своей шапкой. Черепов удостоил его кивком головы. Фрол Иваныч вертелся около него без шапки и повторял:

— Этот Мосей перекати-поле, ваше превосходительство. Ему везде будет тесно...

ИЙИ

Святочная фантазия

I

Уже второй месяц шли проливные тропические дожди. Озеро Ням-Ням превратилось в безбрежное море, и только по верхушкам камышей, выставлявшимся из воды, можно было приблизительно определить русло вытекавшей из озера реки Миу-Миу. Период дождей даже для привычных ко всему дикарей племени Ийи являлся проклятым временем, потому что в разлив не ловилась никакая рыба, и приходилось питаться только земляными червями, улитками и ананасами. Впрочем, ананасы, когда их употребляли в пищу в большом количестве, не удовлетворяли голода, а только вызывали расстройство желудка и рвоту, поэтому ими кормили только одних женщин. Лучшим праздником являлось то, когда женщины ловили где-нибудь ежа и приносили его своему повелителю, царю царей, старому Ийи. Это было его любимым кушаньем, и царь царей съедал ежа живьем, оставляя подданным одну ежовую щетину. Сколько было лет старому Ийи, никто не знал, но у него сохранился прекрасный аппетит и замечательное обоняние, как у шакала. Его считали бессмертным, как единственного и прямого потомка грозного бога Ийи. От него получило название и все племя, состоявшее из

сорока шалашей. Один царь царей помнил то счастливое время, когда племя Ийи имело до тысячи шалашей и жило в благословенной местности, где росли финиковые пальмы, где текли полные рыбой реки и где паслись стада остророгих антилоп. Да, все это было, а сейчас племя Ийи ютилось на плоской возвышенности, которую не заливала вода. Если царь царей Ийи считал роскошью полакомиться живым ежом, то остальные довольствовались полевыми мышами, ящерицами и змеями, спасавшимися от наводнения на сухой возвышенности. Когда и эта живность была истреблена, пришлось питаться червями и шариками из жирной глины. Вообще было очень скверное время, и все дикари удивлялись ему, хотя оно и повторялось ежегодно.

Нынче разлив был особенно велик, и всем приходилось особенно скверно. Исхудавшие, голодные, озлобленные дикари уже несколько раз приступали с угрозами к своему царю царей и говорили:

— Царь царей, владыка вселенной, мы умираем с голоду... Наши женщины превратились в скелеты, обтянутые кожей. Ты должен нас накормить...

— Подождите, несчастные. Бог богов Ийи накормит всех, как он кормит каждую мошку и каждую травку. Своим недовольством вы вызовете только гнев бога богов... Подождите.

Это «подождите» всегда спасало царя царей. Волновавшиеся подданные на время успокаивались, тем более что они страшно боялись бога богов Ийи. Ведь он все ведает и знает, и от него не спрячется даже земляной червь, как бы он глубоко ни зарылся в землю.

Царь царей, старый Ийи, тоже волновался за участь своего вымиравшего на его глазах племени и старался принять свои меры. Он ежедневно наказывал роптавших подданных самым жестоким образом, сжигал их шалаши, чтобы лишить последнего крова, — одним словом, принимал самые отеческие меры. Но ничто не помогало, и царь царей решился прибегнуть к последней мере, которая пускалась в ход только в самых крайних случаях.

— Конечно, виноват во всем бог богов Ийи, — решал про себя царь царей Ийи. — Зачем он посылает столько дождя? Зачем озеро Ням-Ням разлилось до самого неба? Нет, погоди, куманек, тебя нужно поучить... Ты любишь принимать жирные жертвы и забываешь о своих обязанностях.

Шалаш царя царей Ийи ничем не отличался от шалашей его подданных, за исключением того, что в нем хранились две святыни, — во-первых, деревянный идол бога богов Ийи и, во-вторых, священный барабан. Идол представлял собой деревянный обрубок с грубым подобием человеческой головы самого зверского вида, — страшные глаза из черных раковин, красный рот до ушей с оскаленными зубами из перламутра и безобразными ушами. На нем были повешены разные амулеты, хвосты антилоп, зеленые перья попугаев и разные побрякушки из кости. Священный барабан был обтянут кожей убитого царем царей вождя враждебного племени Киу-Киу. Снаружи шалаш царя царей был украшен деревянными шестами, на которых были повешены черепа убитых им врагов. За шалашом в один ряд помещались маленькие шалаши четырех жен царя царей, совсем еще молоденьких девушек, главная обязанность которых заключалась в том, чтобы прокармливать своего повелителя. Они же составляли его почетную стражу. Была еще пятая жена, самая красивая, с атласной черной кожей, тонкими пальцами и жирными бедрами, но царь царей так ее любил, что не мог удержаться и съел.

Итак, старый Ийи решился проучить зазнавшегося бога богов Ийи.

Это было глубокою ночью, когда он ударил в священный барабан. Спавшие подданные повскакали, как сумасшедшие. Царские жены уже разводили громадный костер из сухого тростника. Царь царей сидел у своего шалаша и неистово колотил в барабан. Ему скоро ответили десятки других барабанов, забивших усиленную тревогу, как во время войны. Женщины подняли усиленный вой.

Когда все собрались вокруг огня, старый Ийи бросился в шалаш и вытащил оттуда деревянного идола.

Он его бросил на землю и, наступив ногой на грудь, дико крикнул:

— Погоди, куманек, я тебе покажу, как заставлять нас умирать от голода!!.

Все собравшиеся вокруг огня женщины и мужчины замерли от страха, а потом, как по команде, бросились на землю вниз лицами.

— Я много терпел от тебя, Ийи, — продолжал царь царей. — Но у меня болит живот от земляных червей, а мои женщины от твоих ананасов превратились в живые скелеты. Я тебя, Ийи, накажу самым позорным образом для мужчины: тебя высекут женщины...

Подданные старого Ийи не смели дышать от ужаса. А между тем жены царя царей отправились в шалаш за прутьями, которых даже в самое голодное время хранился достаточный запас. Приготовлялось что-то небывало ужасное, но когда женщины вернулись к огню с пучками розог, случилось нечто удивительное...

II

Женщины уже замахнулись розгами, и богу богов было бы нанесено не смываемое ничем оскорбление, но царь царей остановил их одним движением руки. Он понюхал воздух и проговорил:

— Около нас скрывается чужой человек... да.

У старого Ийи сохранилось обоняние настоящего шакала. Он еще раз понюхал воздух и утвердительно кивнул головой. Все повскакали. Мужчины бросились в свои шалаши за копьями и луками.

— *Он* там, в камышах, — объяснил Ийи, вооружаясь священной боевой палицей.

Устроена была настоящая облава, как на дикого зверя. Когда камыши были окружены, остальные дикари тоже почуяли присутствие чужого человека. Он был тут, совсем близко. По сигналу царя царей разом вспыхнули десятки факелов и раздался военный клич. В ответ из камышей поднялись две черных руки.

— Не убивайте его, — командовал Ийи. — Он просит пощады...

Смельчаки бросились в камыш и скоро вытащили оттуда громадного кафра, который даже и не думал сопротивляться. Его все-таки связали по рукам и ногам и тащили по земле как дикое животное. Царь царей подошел к нему и, погрозив своей священной дубиной, грозно проговорил:

— Зачем ты здесь?

— Я три дня не ел... — с трудом ответил кафр.

Царь царей присел около него на корточки и самым внимательным образом осмотрел его голову и все тело. Его особенное внимание привлекли рубцы по всей спине кафра. Опытным глазом старый Ийи определил их хронологию: одним рубцам было лет десять, а последним, еще не поджившим хорошенько, всего несколько месяцев.

— Меня поймали рыжие английские дьяволы и хотели продать в неволю, — объяснял кафр, — но я вырвался и убежал...

— Так, так... — соглашался старый Ийи, не веря ни одному его слову.

Он что-то соображал про себя и кончил тем, что расхохотался. Он только сейчас понял все: бог богов Ийи перехитрил всех...

По приказанию царя царей, кафра перетащили на то место, где лежал деревянный идол; старый Ийи присел на корточки у самой его головы и дал женщинам знак начинать экзекуцию. В воздухе засвистели розги, и корчившийся от боли кафр неистово закричал.

— У тебя прекрасный голос, — проговорил старый Ийи, подмигивая и улыбаясь.

— Лучше меня убейте! — умолял кафр. — За что вы меня наказываете? Я ничего не сделал дурного...

— Ты глуп, куманек... Бог богов Ийи хитер и вместо себя подставил под розги тебя. Притом он совсем не умеет кричать и заставил вместо себя кричать тебя. О, он отлично знает, что самая лучшая музыка на свете, это — когда человек кричит от боли... Да, у тебя прекрасный голос.

Кафр, наконец, догадался и притворился мертвым. Тогда его оставили в покое. Старый Ийи сделал вид, что верит ему. Он еще раз ощупал его и только пока-

чал головой. Кафр был слишком истощен, чтобы его съесть, а затем он как-то пробовал кафрского мяса, и оно ему не понравилось. Известно, что все кафры очень дурно пахнут...

После жестокой экзекуции спина кафра была обложена кашицей из алоэ. Он сейчас же заснул и проспал до полудня. Одна сжалившаяся старушка принесла ему освежиться ананас, и он съел его с жадностью. Старый Ийи велел его развязать и еще раз повторил:

— Да, у тебя чудный голос. Если бы ты знал, какой я веселый человек и как люблю хорошие голоса, когда развеселюсь... Вот ты недоволен, что тебя высекли, а мои жены считают за счастье, когда я их велю сечь. Прежде, когда я был молод и глуп, я выбирал в жены самых красивых девушек, а нынче выбираю девушек с лучшими голосами, — которая сильнее кричит от боли, та мне и лучше. У меня четыре жены, и каждая кричит по-своему: старая жена И вопит басом, вторая жена Ии кричит контральто, третья жена Иии кричит дискантом, а четвертая жена Ииии визжит, как поросенок, и я ее люблю больше всех. Да, я очень веселый человек и люблю хорошие голоса.

— И я тоже был веселым человеком, — признался кафр, охая от боли. — Меня и погубило веселье... Я объехал целый свет, и везде меня хвалили за веселый характер. Вот только заживет спина, я покажу тебе самые веселые штуки. О, я все видел и все знаю!

— Ты видел, как живут белые люди у себя дома? — изумился царь царей. — Вероятно, они живут на самых высоких деревьях или в больших шалашах? Значит, ты плавал на их больших железных лодках, из которых идет густой дым?

Царь царей засыпал кафра вопросами. Он вообще отличался любопытством и слушал кафра с жадностью. Временами от радости он так хохотал и кувыркался по земле, как обезьяна.

— Только, пожалуйста, не обманывай и говори правду, — умолял он. — У меня закон: за каждое ложное слово я выбиваю по зубу.

Но кафр был слишком утомлен, чтобы много

говорить. Он все жаловался на голод и засыпал на полуслове. Во сне он что-то бредил на непонятном языке, вскакивал и поднимал руки вверх, что всех заставляло хохотать до слез. К счастью кафра, вода начала быстро спадать, и появилась рыба в изобилии. Его заставляли есть до рвоты и залечивали раны. Через неделю он настолько поправился, что мог отвечать на вопросы царя царей со всеми подробностями.

— Ты видишь, какой хитрый бог богов Ийи, — объяснил ему, подмигивая, царь царей. — Только я его наказал хорошенько, — сейчас вода и спала. А ты еще жаловался, глупый, когда тебя секли...

— Меня всю жизнь секли, — сознавался кафр. — И все напрасно...

— А белые люди секут хорошо?

— О, это дьяволы!..

Среди стана дикарей теперь весело горел костер, около которого собирались все дикари, чтобы послушать рассказы кафра о том, как живут белые люди у себя дома. Многое из его рассказов казалось невероятным. Разве можно жить в пятиэтажных каменных шалашах? Разве можно плавать по воде в железных громадных домах? А больше всего дикарей удивляли те изобретения, которыми гордится европейская цивилизация: громадные пушки, ружья, динамит и т. д.

— Если бы мне хоть одну такую пушку, которая сразу убивает сто человек, — с тоской говорил царь царей. — Я завоевал бы целый свет... Ни одного белого человека не осталось бы.

— Ты не беспокойся, Ийи, белые люди сами истребят друг друга, — успокаивал его кафр. — Они постоянно воюют между собой...

Кафр действительно был в Европе и в Америке, где изображал в разных цирках дикого человека. Он должен был для удовольствия цивилизованных зрителей есть живых голубей, глотал зажженную паклю, перегрызал железную проволоку, глотал шпаги и т. д. Потом его охватила тоска по родине. Он обокрал содержателя цирка и вернулся на родину как раз к войне буров с англичанами. Но на родине ему не повезло. Сначала он служил лазутчиком у англичан, но попался

в плен к бурам и был тяжко наказан; затем он служил в той же должности у буров и попался в плен к англичанам, наказан еще сильнее и приговорен к повешению. Спасся он только благодаря ночному нападению буров на английский лагерь и бежал к северу. Ему все казалось, что англичане преследуют его по пятам. Он прятался, как дикий зверь, по разным логовищам, пока не попался в плен к племени Ийи. Его рассказы, как очевидца, о бурской войне приводили царя царей в неистовый восторг. Старик катался по земле, танцевал вокруг огня и бил в священный бахар.

— Белые убивают белых? — повторял он тысячу раз и дико хохотал.

— Целыми сотнями, — подтверждал кафр. — А стариков, женщин и детей морят голодом... Все дома сжигают, скот съедают...

— Ах, как отлично! — восхищался царь царей. — Знаешь что: я со своими воинами тоже отправлюсь туда. Мне ужасно хочется повоевать... Только я не оставил бы ни одного живого пленного. Белые люди глупы и кричат: «Руки вверх!», вместо того чтобы всех убивать. Мне все равно, кого убивать: англичан или буров. Моим воинам тоже все равно, потому что они храбрее всех на свете. А главное, как будет доволен и счастлив бог богов Ийи... Он любит кровь, стоны раненых, хрипенье умирающих... Ведь это он устроил, чтобы белые начали убивать белых... Ха-ха!..

Царь царей катался по земле, хохотал до боли в животе и заставлял кафра по десяти раз рассказывать, как англичане убивают буров, а буры англичан. Относительно предложения идти на войну кафр скромно отмалчивался и только почесывал иссеченную спину.

III

Царь царей ужасно полюбил кафра и даже поместил его в собственном шалаше.

— Я еще в первый раз в жизни вижу такого удивительного человека, — уверял царь царей гостя. — Да... А кажется, я достаточно видел хорошего на

свете. Я два раза был счастлив, а сейчас счастлив в третий раз.

Царь царей обнимал Кафра, терся своим носом об его щеки и проявлял вообще самые нежные чувства. Его жены обязаны были каждое утро натирать кафра рыбьим жиром и кормили разжеванным ими сахарным тростником.

— Тебе нравятся мои жены? — лукаво спрашивал царь царей. — Выбирай любую, голос которой тебе больше нравится.

Старый Ийи велел сечь поочередно и вместе несчастных жен, но кафр отказался от этого царского подарка. Он подозревал царя царей в какой-нибудь гнусности и сильно боялся, что вместе со своими женами он велит высечь и его, чтобы получился единственный в своем роде квинтет.

— Нет, мне не нужно твоих жен, — скромно объяснял он. — У меня на родине остались свои жены, и я не желаю их огорчать.

— Как знаешь, — соглашался царь царей. — Я не желаю тебя обижать, если ты не знаешь толку в хорошей музыке.

Раз, когда они вечером сидели у огня, царь царей не выдержал и рассказал, как он был счастлив два раза.

— Я только никак не могу решить, в который раз был счастливее, — задумчиво говорил царь царей улыбаясь. — В первый раз... Да... Это было давно, когда у моего племени было до двухсот шалашей. Тогда мы жили далеко отсюда, в области великих озер, и я питался исключительно языками гиппопотамов и яйцами страусов. О, это было чудное время!.. Но пришли белые люди и заставили нас нести на головах их тюки с разными товарами, съестными припасами и оружием. Меня полюбил главный вождь этих белых людей и поручил нести за ним его ружье и патроны. Я в первый раз видел, как белые люди стреляют из ружей, и пришел в восторг. Я не спал ночей и все думал о том, как бы добыть себе такое же ружье. Случай мне помог: белый вождь захворал лихорадкой, я украл у него ружье и патроны и бежал... Ах, как я был тогда счастлив!..

Царь царей закрывал глаза от наслаждения и долго хихикал.

— Когда я вернулся с ружьем домой, — продолжал он, — то прежде всего... Ах, что это было! Недалеко от нас жило враждебное нам племя Киу-Киу. Мы жили в шалашах, а Киу-Киу на громадных деревьях, где у них устроены были тростниковые хижины. Киу-Киу часто нападали на нас и спасались на своих деревьях, как обезьяны. Достать их было невозможно. И вот благодаря своему ружью я каждый день отправлялся на охоту... О, они меня сразу поняли и спасались на самых вершинах. Но у Ийи зоркий глаз, и я убивал их десятками, пока не перестрелял всех до одного. Бог богов Ийи приходил ко мне два раза ночью и благодарил за чудную жертву. Последним я убил вождя Киу-Киу и из его кожи сделал священный барабан. Да, я был счастлив...

Кафр слушал его с жадностью, и его черные глаза загорались завистью... Он никогда не испытал такого счастья...

— А когда ты был счастлив во второй раз? — спросил он, затаивая дыхание.

— Счастье вообще проходит быстро, — философствовал царь царей. — У меня украли мое ружье, и первое счастье кончилось. Но бог богов не забыл меня. О, боги всегда справедливы, даже боги жестоких белых людей... Когда у меня украли ружье, я готов был сойти с ума. А потом только я понял, что это бог богов Ийи сделал неспроста, а только хотел испытать меня. Да... Кажется, не прошло двух лет, как у нас опять появились белые люди. Но только без ружей и жестокости. Это были очень смелые люди, потому что они явились вдвоем. Он называл себя миссионером, а она называла себя его дьякониссой. Он читал нам толстую-толстую книгу о том, как мы должны любить друг друга, прощать обиды, любить своих врагов, — одним словом, это были совсем глупые люди. Они прожили у нас около трех лет, и наши женщины начали даже увлекаться их учением. Да... Я тоже притворялся, что слушаю их, а в сущности только слушал, как поет дьякониса. Она была отвратительна: кожа, как

молоко антилопы, золотистые волосы и... и самое ужасное — это серые, прозрачные, как вода в источнике, глаза. Вот благодаря ей я и получил любовь к женскому пению... Я целых три года слушал, как она поет, и только под конец понял, что она поет исключительно для одного меня. Ах, какая это была удивительная женщина!.. Я даже простил ей ее белую кожу.

Царь царей прерывал свой рассказ и весело кувыркался по земле. Кафр дико хохотал и ходил на руках кругом костра.

— Да, прошло три года, — рассказывал царь царей. — Я больше не мог ждать и в одно прекрасное утро убил миссионера самым вежливым образом, то есть зарезал его сонного. Потом мы его съели, но он оказался очень невкусным. Дьякониссу я взял себе, и эта глупая женщина страшно кричала и плакала. Она не могла понять, что лучше быть женой царя царей, чем женой какого-то миссионера. Впрочем, она мне скоро надоела, и я велел своим женам ее откармливать. Наши женщины умеют это делать удивительно искусно. Они перевязали ей руки и ноги тонкими бечевками, положили на землю и так привязали к колышкам, вбитым в землю, что она в течение шести недель не могла сделать ни одного движения. Она была настолько глупа, что хотела уморить себя голодом, и мои жены имели терпение все время кормить ее насильно. Но она осталась глупой до самого конца. Когда она настолько разжирела, что даже кожа на животе начала лопаться, я пришел и заявил ей, что ее завтра зарежут, она подняла самый отчаянный крик. Это с ее стороны была самая черная неблагодарность, и я чуть не рассердился. «О чем ты кричишь, белая женщина? — говорил я ей самым убедительным образом. — Разве мы заставляли тебя голодать хоть один день? Разве мы заставляли тебя работать?» Она продолжала упорно ничего не понимать и опять кричала. «Пожалуйста, белая женщина, не порти мне аппетита, — уговаривал я ее. — Как ты не хочешь понять, что тебя зарежет не кто-нибудь, а царь царей своими

собственными руками, и что я съем самые жирные куски твоего откормленного тела. Такое счастье достается немногим... А когда я тебя съем, ты ведь войдешь в кровь царя царей и сделаешься частицей самого меня. В моем собственном желудке ты найдешь ту вечную жизнь, о которой проповедовала нам целых три года. Если тебе совестно за свою отвратительную белую кожу, то я тебе велю оказать последнюю милость и велю перед смертью выкрасить всю самой лучшей черной краской». Кажется, я говорил убедительно, но голос истинной мудрости не доходил до сердца неблагодарной белой женщины, и она продолжала неистово кричать.

— Подожди, Ийи, — остановил его кафр. — Мне пришла в голову очень счастливая мысль...

Кафр не договорил и, как акробат, перевернулся в воздухе. Потом он дико захохотал и принялся танцевать вокруг огня.

— Ну, теперь продолжай, — проговорил он, хлопая царя царей по животу. — Ведь ты съел эту дьякониссу?

— И даже с большим удовольствием, — самодовольно ответил царь царей, облизываясь. — Я ей, перед тем как зарезать, сказал откровенно: «Ты напрасно сердишься, белая женщина... Если кто из нас должен сердиться, так это я. Ты забыла, как мы зажарили твоего мужа миссионера и как он жестоко обманул нас даже мертвый. Мясо у него оказалось жесткое, как у старой жирафы, и я сломал о него лучший из своих зубов. Он сам виноват, что не получил в моем желудке вечной жизни». Она осталась глупой до самой последней минуты, но зато какое вкусное мясо оказалось у нее. Я в течение всей своей жизни ничего вкуснее не едал... Я только тут понял, что она все время притворялась и скрывала, какое у нее нежное и сочное мясо, точно у молодой антилопы.

Когда царь царей кончил свой рассказ, кафр принялся так неистово кувыркаться, точно он был сделан из резины. Потом он рычал, как шакал, хохотал, танцевал и проделывал все, чему его научили в цирках.

Царь царей кричать по старости лет не мог, а только катался по земле и хихикал.

— Ну, а какая у тебя счастливая мысль? — спросил царь царей кафра, когда тот успокоился.

— А вот какая: у тебя что-нибудь осталось от съеденной дьякониссы?

— Как же, осталось. Золотое кольцо и зеленое шерстяное платье... Остальное все украдено. Мои подданные — все страшные воры.

— Отлично, довольно платья и кольца, Ийи. Тебе ведь хочется посмотреть на войну белых?

— О, страшно!..

— Вот мы и отправимся вдвоем. Только сделаем это потихоньку от всех.

— Я буду рад отдохнуть... А то мне, признаться, порядочно надоело управлять своими ворами подданными. Да и жены мне надоели... Может быть, мы с тобой где-нибудь еще закусим белой женщиной.

— Непременно.

IV

Начались приготовления в далекий путь, причем соблюдалась величайшая таинственность.

— Если мои жены догадаются, они бросятся за нами в погоню, — шепотом сообщал царь царей. — Они безумно меня любят... А далеко нам идти?

— Недели две, а может быть и больше.

В ночь, когда было назначено выступление, весь план чуть не расстроился благодаря тому, что старый Ийи непременно хотел захватить деревянного идола. Кафр не соглашался. Тащить этого дурацкого чурбана триста верст — благодарю покорно. Порешили на том, чтобы зарыть его в землю вместе с священным барабаном и священной палицей, на чем царь царей и успокоился.

Кафр устроил из зеленой юбки съеденной дикарями дьякониссы широкий мешок и сложил в него необходимые припасы. Он особенно дорожил ею и тщательно разглаживал каждую складку. Вообще он что-то замышлял и так же бережно относился к царю царей.

В одну из прекрасных африканских ночей они покинули лагерь племени Ийи. Когда дикари хватились их утром — их и след простыл. Старый Ийи и кафр умели ходить, не оставляя следов.

Беглецы шли, главным образом ночью, пользуясь прохладой, а спали днем. На одной из таких стоянок царь царей показал кафру маленького деревянного идола бога богов, которого специально смастерил для дороги.

— Все-таки я тебя перехитрил, — хвастался он, лукаво хихикая.

Кафр отнесся к этой хитрости совершенно равнодушно, потому что слишком был занят собственными мыслями. Он теперь день и ночь думал о родном краале, где его считали погибшим. И вдруг он явится... У него даже выступали слезы от этих мыслей.

На полдороге царь царей настолько утомился, что решительно отказался идти дальше.

— Я умираю от усталости, — объяснял он упавшим голосом. — У меня нет больше силы...

Пришлось сделать дневку, но это мало помогло. Царь царей продолжал капризничать. Тогда кафр придумал новый способ путешествия. Царь царей уже страдал старческой худобой, и кафр посадил его в зеленую юбку дьякониссы и потащил на собственных плечах. Старому Ийи этот способ путешествия очень понравился, и он, сидя в юбке, едва сдерживал смех. Кафр был силен, как лошадь, и ему ничего не стоило тащить царя царей.

Это оригинальное путешествие продолжалось целых двадцать дней, так что даже железное терпение кафра начало истощаться. Ему начало казаться, что проклятый старик с каждым днем начинает делаться все тяжелее. Они шли уже по территории, разоренной англичанами. Везде стояли развалины сожженных бурских ферм, хлеб на полях был или сожжен, или вытоптан, кое-где бродил одичавший скот. Раз ночью кафр в первый раз услышал глухой гул отдаленного пушечного выстрела.

— Это бог богов Ийи сердится, — шепотом объяснил проснувшийся царь царей.

— Нет, это стреляют из пушек

Царь царей от радости начал кувыркаться по земле. Наконец-то он увидит, как белые люди убивают белых людей...

Им пришлось идти еще целый день, прежде чем на высоком плоскогорье забелели палатки укрепленного английского лагеря. Царь царей визжал от радости, когда над лагерем взвивались белые клубы дыма от пушечных выстрелов. О, это — настоящая война, и бог богов Ийи радуется. Ведь это он руками белых людей стрелял из пушек в белых людей. От восторга царь царей хотел вылезть из своего мешка и идти пешком, но кафр этого ему не позволил.

— Сиди смирно и крепче держись за мою шею, — советовал он.

Подойдя к линии английских аванпостов, кафр поднял руки вверх и что-то крикнул часовым по-английски, что вызвало общий смех.

— Да это наш Сам! — крикнул кто-то из толпы солдат, одетых в серые хаки и такие же серые шлемы из пробки.

Кафр торжественно внес царя царей в средину лагеря и остановился только у палатки полковника Гич-Гича. Его окружили со всех сторон и со смехом рассматривали выставлявшуюся из зеленого мешка голову царя царей.

— Это — старая обезьяна, — острил кто-то из молодых офицеров.

Когда из палатки вышел сам полковник Гич-Гич в сопровождении своего адъютанта Гип-Гипа, кафр Сам опустил зеленый мешок на землю и с торжеством проговорил:

— Полковник, я принес тебе людоеда, который на берегах озера Ням-Ням съел миссионера и его жену... Я его тащил на собственной спине целых три недели.

Кафр Сам, очевидно, рассчитывал на эффект своего заявления, но полковник Гич-Гич молча посасывал свою трубочку, заложив руки в карманы штанов.

— Развяжи-ка своего людоеда, — скомандовал адъютант Гип-Гип.

Вытащив царя царей из зеленого мешка и поставив его на ноги, кафр Сам объяснил, показывая мешок:

— А это — зеленая юбка той дьякониссы, которую съел вот этот Ийи... Он называет себя царем царей.

Офицеры хотели рассмеяться над последней фразой, и даже по рыжим усам полковника Гич-Гича проползло что-то вроде улыбки, как в этот момент раздался оглушительный пушечный выстрел, и царь царей подпрыгнул высоко в воздух, а потом начал кататься по земле. Это вызвало общий хохот. Царь царей не понял, что Сам говорил про него по-английски, и был очень доволен произведенным впечатлением. Он тоже хохотал вместе с другими.

— Веселая каналья, — заметил адъютант Гип-Гип, любуясь хохотавшим Ийи. — Я в первый раз вижу людоеда и не думал, что людоеды походят на плохо вычищенный ваксой сапог.

Полковник Гич-Гич узнал Сама с первого раза и решил про себя, что единственной наградой этому изменнику может служить только виселица. Что касается людоеда, то и его тоже следует повесить, но предварительно разобрать все дело. Полковник отличался истинно английской корректностью.

— Заковать в кандалы этих негодяев, — приказал он, повернулся и ушел в свою палатку.

Кафр Сам понял все значение этого лаконического приказания и дико завыл. Он рассчитывал, что за доставку людоеда ему простятся его грехи и что даже будет дано вознаграждение, а получалось нечто ужасное. Царь царей ничего не понимал и только глупо озирался кругом, когда их повели в дальний конец лагеря, где стояли фургоны с артиллерийскими снарядами.

Исполнявший приказание адъютант Гип-Гип велел приковать обоих к колесам одного фургона. Царя царей приковали к переднему колесу на короткую цепь, а кафра Сама — на длинную к заднему. Очутившись прикованными, недавние друзья сейчас же рассорились.

— Тебя, людоеда, повесят, — сообщил Сам.

Царь царей только рычал и плевал на него.

V

Негодяев повесили бы в тот же день, но это была суббота, да и буры усиленно обстреливали английский лагерь. На глазах у царя царей было убито несколько английских солдат шрапнелью, и он помирился со своей участью. Несмотря на всю безнадежность своего положения, старый Ийи не мог не любоваться, как над его головой в воздухе разрывались шрапнели, осыпая своими осколками и картечью английских солдат. Еще лучше были бурские гранаты, которые с визгом и шипеньем зарывались в землю, и потом следовал ужасающий взрыв. Полковник все время сидел в своей палатке, а распоряжался боем адъютант Гип-Гип, отвечавший на каждый бурский выстрел из своих орудий.

Адъютант Гип-Гип время от времени подходил к царю царей и долго смотрел на него задумчивыми серыми глазами. Старый Ийи не выносил этого взгляда и весь съеживался.

— Он хочет есть, — коротко объяснял Сам.

Когда подали походный котелок с какими-то объедками от солдатского обеда, кафр Сам отнял его у царя царей и съел все один. Старый Ийи рычал, ругался и плевал на бессовестного кафра, что смешило собравшихся около них солдат до слез. Для царя царей ничего ужаснее не было, как чувство голода. Ведь он своих пленных, которых съедал, всегда кормил до отвала, даже насильно, как зеленую дьякониссу. Вообще англичане казались ему невоспитанными и грубыми людьми до последней степени.

— Это бессовестно — морить царя царей голодом! — кричал старый Ийи, хотя его и понимал один кафр Сам. — Мои жены кормили меня ежами, жеванным сахарным тростником, древесными улитками...

Канонада с обеих сторон продолжалась до самой полночи. Когда наступила темнота, взрывы шрапнелей и гранат были особенно эффектны. Это бог богов Ийи бросил в англичан огненную смерть за то, что они морили голодом царя царей Ийи. Дело было ясно, как день.

Ровно в полночь выстрелы прекратились. Наступило воскресенье. Весь английский лагерь заснул, не опасаясь за нападение, потому что и буры тоже чтили священный день. Не спалось только одному царю царей, которого мучил жестокий голод. Чтобы чем-нибудь утишить страдания, он делал из земли шарики и глотал их. Лучше уж боли в животе, чем голод. А тут рядом наевшийся до отвала Сам храпит, как буйвол... Это еще усиливало муки царя царей.

Так старый Ийи и заснул на новоселье голодным. Зато во сне к нему явился сам бог богов Ийи и сказал:

— Царь царей, не плачь, что ты голоден... Подожди немного, пока белые перебьют друг друга и вся земля достанется чернокожим. Не останется ни одного белого человека...

Проснулся царь царей от странной музыки, какой он никогда не слыхал. Около палатки полковника собрались все солдаты. Адъютант Гип-Гип играл на фисгармониуме, украденном с бурской фермы, воскресный гимн, а солдаты пели. Получалась самая трогательная картина христианского праздника. Когда гимн кончился, полковник Гич-Гич долго читал библию.

— Что они делают? — спрашивал царь царей Сама.

— Молятся своему белому богу, — объяснил кафр, показывая свои белые зубы. — Разве забыл, как пела твоя дьяконисса?

Воспоминание о дьякониссе привело старого Ийи в бешенство: он еще никогда в своей жизни не хотел так есть, как сейчас. У него даже в голове начинало мутиться при одном воспоминании о сочном мясе дьякониссы. Царь царей рычал от голода и грыз свою цепь, а Сам громко хохотал.

Эта дикая сцена между дикарями прервала английское богослужение. Полковник Гич-Гич, одетый не в мундир, а в длиннополый сюртук английского пастора, подошел с библией в руках к неистовствовавшим детям природы и проговорил кротким голосом:

— Что вы делаете, дети мои? Зачем вы нарушаете покой великого дня мира и любви?

— Я уже два дня не ел!.. — кричал царь царей с пеной у рта.

Гич-Гич скромно опустил глаза и начал говорить о покаянии, о прощении обид ближнему, о бесконечном милосердии божием, о спасении души вообще, а для этого прежде всего нужно перейти в лоно англиканской церкви.

— Зачем ты все это говоришь? — спрашивал его кафр Сам. — Я ведь знаю, что завтра ты велишь обоих нас повесить...

— Сегодня я ваш брат и говорю как брат, и ничего не знаю, что завтра закон велит мне исполнить как начальнику.

Кафр Сам хохотал самым глупым образом, но полковник Гич-Гич нисколько не смутился и в целях обращения этих дикарей на путь истины прочел им целых три главы из библии. Верный сын англиканской церкви еще не терял надежды, что эти чернокожие негодяи по крайней мере умрут добрыми христианами. Черный Сам отлично знал эту толстую книгу, которую читал полковник. Он три раза принимал христианство и получал за это деньги, обувь, платье и пищу. И старый Ийи тоже узнал ее, — точно такая же толстая книга была у миссионера, которого он съел. Разница вся заключалась только в том, что этот миссионер стрелял из пушки в своих же белых людей, которые читали такую же толстую книгу.

Воскресный день прошел, как всегда, очень скучно. Единственным развлечением для солдат было кормление дикарей. Черный Сам с ловкостью акробата выхватил котелок с едой из-под самого носа у царя царей и съел все без остатка. Старый Ийи щелкал зубами от голода и выл, как гиена.

На другой день рано началась опять канонада. Англичанам приходилось плохо, и полковник Гич-Гич решил перенести лагерь в другое место.

— А куда мы денем этих негодяев? — спросил адъютант Гип-Гип.

— Ах, да... Устроим сейчас же полевой суд. Куда нам таскать их за собою. Приготовьте все, чтобы не было задержки.

Суд происходил на открытом воздухе перед палаткой полковника. Председательствовал сам полковник

Гич-Гич, обвинял один из офицеров, а адъютант Гип-Гип занял место секретаря. Главным обвинителем явился черный Сам, который со всеми подробностями рассказал печальную историю съеденной царем царей миссионерской четы. Полковник равнодушно покуривал коротенькую трубочку, прислушиваясь к усиливавшейся канонаде. Адъютант Гип-Гип усердно рисовал красивую женскую головку, под которой написал: «Милая мисс Мод». Спрошенный, признает ли себя виновным, старый Ийи показал себе на рот, то есть, что он голоден, но это было принято за признание, что он сознается в своем преступлении.

Через полчаса оба дикаря были лишены всех особенных прав и преимуществ и приговорены к повешению, — Сам как дезертир и изменник, а старый Ийи как людоед. В качестве вещественных доказательств на судейском столе лежала одна зеленая юбка дьякониссы.

— Вам остается только привести приговор в исполнение, — обратился полковник к своему адъютанту. — Да поторопитесь...

— Слушаю, господин полковник! — браво ответил адъютант, делая под козырек.

Когда черный Сам объяснил царю царей о состоявшемся решении суда, старик горько заплакал.

— О чем плачет эта старая обезьяна? — спросил полковник черного Сама, служившего переводчиком...

— Он голоден, — коротко объяснил черный Сам и не без дерзости прибавил: — Я целых три дня съедал его порцию.

Плечи полковника сделали нетерпеливое движение.

— Ну, теперь уже некогда вас кормить и не для чего, — решил он.

Когда осужденных повели на казнь, он прибавил с презрением:

— Этакие животные...

В лагере не было ни одного «приличного» дерева, на котором можно было бы повесить двух преступников. Строить специально для них виселицу было слишком большой роскошью, да и времени для этого не оставалось. Полковому фельдшеру пришла, впрочем,

счастливая мысль: поднять повыше дышло артиллерийского фургона — и виселица готова. Старый Ийи все время рыдал и повторял одно и то же:

— Я никогда не поступал так со своими пленными. Повесить голодного, это — бесчеловечно.

Адъютант Гип-Гип во всем копировал своего полковника: так же цедил слова сквозь зубы, так же принимал скучающий вид, так же закладывал руки в карманы штанов и так же ничему не удивлялся и ничем не возмущался, чтобы не портить своего характера и аппетита. Он следил равнодушными глазами, как шли приготовления к повешению людоеда, — его была первая очередь. Старый Ийи вдруг присмирел и смотрел моргающими глазами кругом. Его вздернули на дышло, как котенка, и он как-то жалко задрыгал худыми ногами. Адъютант Гип-Гип подозвал к себе военного фельдшера, который должен был констатировать смерть, и что-то ему шепнул на ухо.

— O, yes, [1] — ответил фельдшер.

Именно этим моментом и воспользовался Сам. Он неожиданно прорвался через цепь солдат и ринулся к брустверу с быстротой испуганной лошади. Растерявшиеся солдаты дали по нем залп, когда он уже был за линией аванпостов. Но все было напрасно. Кафр спасся каким-то чудом, и адъютант в бинокль видел, как его темная фигура мелькала в темной заросли у линии бурских аванпостов.

— Адъютант, готово... — шепнул фельдшер, осторожно передавая какой-то мягкий сверток.

— Снесите ко мне в палатку, — ответил адъютант, не решаясь прикоснуться к таинственному свертку.

VI

Вся добрая старая Англия любовалась красавицей мисс Мод. Ее встречали везде: на первых представлениях в театре, на скачках Дерби, на знаменитых гребных гонках, где благородное юношество из Оксфорда и

[1] О, да, *(англ.)*

Кембриджа оспаривало пальму первенства перед лицом всей нации, и т. д. Она поднималась на Везувий и чуть не поднялась даже на Монблан; она отлично правила четверкой кровных белорожденных лошадей, запряженных цугом, немного рисовала, немного играла на рояле, немного пела и т. д. Одним словом, талантам мисс Мод не было конца. Прибавьте к этому, что никто не умел одеваться с таким вкусом, как мисс Мод, и репортеры описывали ее бальные костюмы, как выдающееся событие дня. Но всего замечательнее была сама мисс Мод — высокая, стройная, гибкая, с удивительно красивым лицом, освещенным загадочным взглядом двух зеленоватых глаз, напоминавших восточные хризолиты. Вообще это было последнее слово европейской цивилизации, и художники боялись признаться, что мисс Мод даже сложена лучше, чем античные статуи. В мире английского искусства она получила название белокурой римлянки, хотя это и не выражало ничего, кроме желания определить неопределимое. Поклонники мисс Мод не знали главного ее недостатка, который она тщательно скрывала: у нее были широкие и плоские ступни. Это ее убивало, и мисс Мод называла себя Венерой на гусиных лапах.

И, несмотря на все перечисленные совершенства, к общему удивлению, мисс Мод упорно продолжала оставаться девушкой... Добрые люди, которые привыкли заниматься чужими делами, самым добросовестным образом уверяли, что мисс Мод мешала ее чудовищная гордость и что будто бы она желала сделаться не меньше, как герцогиней. Герцогов в Англии достаточно, но они, отдавая должную дань ее личным достоинствам и миллионам приданого, не могли простить ей ее довольно темного происхождения. Достаточно сказать, что ее прадед, от которого началось благосостояние рода, был простым капитаном невольничьего корабля, а папаша торговал опиумом в Китае, устраивал какие-то сомнительные тресты и синдикаты по всевозможным отраслям промышленности и вообще был довольно сомнительный джентльмен. Даже в Англию он приезжал для свидания с единственной дочерью под

строжайшим incognito, чтобы не компрометировать мисс Мод.

У мисс Мод на морском берегу был чудный замок, в котором она жила одна, как сказочная красавица. Посторонний глаз не мог ее видеть. Наш рассказ застает ее именно в этом замке, в момент появления таинственного отца, которого в глаза не знала даже ее собственная прислуга. Она в эти немногие дни свидания с отцом чувствовала себя всегда не хорошо, капризничала и даже плакала потихоньку от всех. Отец и дочь встречались только в столовой, когда вместе завтракали и обедали. Он как-то боязливо смотрел на нее влюбленными глазами, как смотрят на божество, что уже совсем не шло к его точно отлитой из бронзы фигуре, загорелому, суровому лицу и большим красным рукам.

— Мод, у тебя опять глаза красные? — нерешительным тоном проговорил он, когда она вышла к завтраку. — Ты опять плакала?

— Нет... так...

— Тебе скучно?

— Как всегда...

— Тебе, может быть, что-нибудь нужно?

— Благодарю. У меня все есть и даже слишком много совершенно ненужных вещей. Я не знаю даже, что мог бы придумать человек, который пожелал бы мне что-нибудь подарить. Ты меня избаловал, как принцессу...

— Ты знаешь, как я тебя люблю, Мод... — как-то виновато проговорил он, точно оправдываясь перед дочерью. — И мне кажется, что все мало и все недостойно тебя... Могу сказать с гордостью, что из твоего замка я сделал музей редкостей. Каждая вещь — unicum, и другой такой не найдешь... Одни китайские лаки и китайский фарфор чего стоят, — им больше тысячи лет, и им нет цены даже в Китае. Это приобретено мною по случаю, из добычи, которую захватил маршал Пелисье, когда ограбил в первый раз Пекин. А китайская бронза? А коллекции индийских вещей после разграбления Дели? А золотая статуэтка Изиды из Танагры? А мумия священной кошки из пирамиды

фараона Хеопса? А целая коллекция китайских ваз из нефрита?

— Да, да, ты прав, отец... — со вздохом соглашалась мисс Мод.

— Ты не подумай, что это я грабил... Грабили другие — французы, немцы, американцы, англичане, а я только покупал за наличные деньги. А какие у тебя жемчуга, рубины и сапфиры из Голконды, бриллианты всех цветов... Помнишь, я тебе подарил один восточный изумруд, в пятьдесят карат? Это камень первой воды... И, собственно, это даже не изумруд, как мне определили в Парижской Академии наук, а восточный зеленый корунд. А твой любимый карбункул из малоазиатских раскопок, который походит на сгусток запекшейся крови?

Отец хорошо знал, чем угодить дочери, и чудное лицо мисс Мод покрылось счастливым румянцем. О, ведь она и сама — тоже величайшая редкость... Отец умел ее любить, и его любовь светилась разноцветными огнями драгоценных камней, радужными теплыми переливами жемчуга, сияла золотом, смотрела на нее блеклыми тонами гобеленов и старых шелков, молочной белизной слоновой кости. Сколько черного и самого тяжелого труда было затрачено на все эти коллекции, сколько искусства, гения, энергии! И все это только для того, чтобы мисс Мод могла сказать: все это сейчас мое. Она чувствовала себя среди этих драгоценностей маленькой царицей, для которой добрыми европейцами ограблен был весь мир.

— Знаешь что, отец, — задумчиво проговорила мисс Мод, когда вопрос был исчерпан. — У самой лучшей медали есть оборотная сторона... Мне вперед жаль моего будущего жениха. Бедняжке трудно будет придумать что-нибудь подарить мне.

— Гм... да... А разве уже есть такой?

— Пока определенного ничего еще нет, но один молодой человек мне почти нравится... Впрочем, он далеко, и говорить о нем не стоит. Он хорошей фамилии и будет лордом, когда умрет его старший сумасшедший брат.

— Сумасшедшие имеют дурную привычку жить дольше, чем им следует...

Этот интересный разговор был прерван лакеем-индусом в белой кисейной чалме, который с низким поклоном подал своей повелительнице на серебряном подносе письмо и какой-то футляр. Мисс Мод знаком руки велела ему удалиться и, пробежав адрес, с удивлением проговорила:

— Вот кстати... Мы только что о нем говорили, отец. Это письмо от того офицера, который... Ты меня извинишь, что я буду читать это письмо при тебе. Кстати, он пишет всегда такие длинные письма, точно у него собственная писчебумажная фабрика.

Любящему отцу пришлось шагать по столовой довольно долго, пока Мод прочла письмо до конца. Она несколько раз останавливалась и, откинув прелестную головку, шептала:

— Ах, какой он милый, мой Арчибальд!.. И храбрый, и великодушный, и все время думает только обо мне.

Кончив чтение, мисс Мод раскрыла футляр, в котором лежала темная кожаная записная книжка в золотой оправе с бриллиантами.

— Отец, посмотри, что это за прелесть!.. — восхищалась мисс Мод. — Оправа из настоящего африканского золота с настоящими африканскими бриллиантами...

Любящий отец повертел в руках записную книжку и по привычке мысленно ее оценил. Книжка стоила не больше тридцати фунтов стерлингов. Мисс Мод поняла эти коммерческие соображения и весело засмеялась.

— Эта книжка будет самой замечательной вещью во всех моих коллекциях, — объяснила она с детской серьезностью и прибавила, предупреждая недоверчивую улыбку отца: — Представь себе, она сделана из кожи людоеда... Да, настоящего живого людоеда, которого Арчибальд взял в плен и казнил. Это был гигантского роста человек, зверской наружности... У него даже ногти были отточены, как у тигра, и отравлены ядом гремучей змеи...

— Виноват, кажется, в Африке гремучих змей нет?

— Ах, не перебивай меня... Посмотри, какая удивительная кожа... совсем темная...

— Очевидно, негритянская.

— Когда его казнили, Арчибальд велел вырезать из него кусок кожи и послал ее в Лондон... Он все время думает обо мне. Как это мило с его стороны... Такой книжки решительно ни у кого в целом свете нет и не было.

— На одном аукционе в Париже продавали портсигар из кожи Пранцини...

— Что такое Пранцини? Простой бульварный убийца, а это — настоящий людоед. Нет, я чувствую, что сразу полюбила Арчибальда... Он будет со временем главнокомандующим и превзойдет рыцарским великодушием даже лорда Китченера. Ах, кстати, какая смешная была фамилия у этого людоеда: Ийи.

На следующий день мисс Мод занесла в новую записную книжку несколько мыслей.

«Во-первых, как я люблю моего Арчибальда... Эта удивительная книжка — его свадебный подарок, и она останется навеки доказательством победы цивилизации и гуманности над варварством. Во-вторых, мой Арчибальд, я тебе скажу по секрету, что нам с тобой принадлежит весь мир. Мы — белокурые римляне... Черноволосые римляне боялись моря, и от этого пала их цивилизация. Когда буры будут истреблены до последнего человека, весь мир удивится нашему геройству, как сейчас завидуют нашим славным подвигам. В-третьих, мой Арчибальд, я еще немножко люблю тебя...»

МУММА

Рассказ

I

Мумма волновалась уже несколько дней, волновалась, по обыкновению, не за себя, а за других. Мумме бог дал доброе сердце, которое служило источником бесконечных страданий. Глядя на ее круглое румяное лицо, никто бы не подумал, сколько эта женщина перенесла.

Да, Мумма волновалась...

«Ах, уж это мне десятое сентября...» — повторяла она про себя и угнетенно вздыхала.

Особенно грустно было то, что прежде это был такой веселый день, а потом с каждым годом молодое веселье таяло, сменяясь нараставшей тоской.

Сентябрьский денек выдался кисленький, с мелким назойливым дождем. Окна отпотели. В Петербурге такие дни производят особенно унылое впечатление, точно в окна на вас кто-то смотрит заплаканными глазами.

Неприятности начались с утра. Мумма поднялась рано, когда все еще спали. Ей было за пятьдесят; когда-то белокурые волосы проросли сединой, старческое ожирение скрыло всякую фигуру, что при небольшом росте выходило очень некрасиво, но у нее оставались живыми карие большие глаза и почти молодая бодрость

движений. Она коротко стригла волосы, что ее молодило. Мумма до сих пор не знала устали. Кстати, ее звали Капитолиной Евграфовной, а Муммой называли дети.

Неприятности подготовлялись с вечера. Во-первых, приехал из провинции старший сын Вадим. Боже мой, сколько забот, труда и надежд было вложено в этого человека, а он не только не оправдал их, а остался жалким неудачником. Кажется, уж все системы воспитания были применены, все последние слова педагогии были использованы, и это только для того, чтобы получился «человек двадцатого числа», кое-как пристроившийся в акциз. Как все неудачники, он женился очень рано, студентом, а потом жена его бросила, и он привез двух своих детей, Олега и Игоря, к матери.

— Что я с ними буду делать, Мумма, — говорил он. — Я целый день на службе, матери нет, а ты по натуре наседка... Вот тебе благодарный материал.

Мы уже сказали, что Мумма была добра и приняла на воспитание внучат без слова, даже со слезами на глазах. Она все-таки безумно любила своего неудачного Вадима, в котором видела свою молодость. Притом мальчики уже были в школьном возрасте, и в Мумме проснулось желание воспитывать. О, она целую жизнь занималась воспитанием, и вы ее наверно встречали на всех собраниях разных педагогических кружков, на лекциях, выставках, актах и беседах. Мумма глубоко верила в то, что только при помощи воспитания можно пополнить все пробелы и недочеты человеческой природы и создать ту новую породу людей, о которой мечтала еще великая Екатерина.

Семья Туразовых состояла из двух сыновей и двух дочерей. О старшем, Вадиме, мы уже говорили, а младший, Ярослав, еще учился в университете. Старшая дочь, известная в семье под кличкой «Нинка-буржуйка», была давно замужем за биржевым маклером, который презирал семью жены за ее интеллигентность, потому что сам мог думать только о деньгах. Мумму возмущало до глубины души, что ее дочь может любить такого человека и еще больше — быть счастливой. Младшая дочь Лия находилась в критическом

возрасте «девушки на взлете», как дразнили ее братья, следившие за каждым ее шагом, который вел к ловле жениха. Это была миловидная девушка, кончившая гимназию и побывавшая на всевозможных курсах. Она отличалась какой-то странной апатией и почти не интересовалась ничем, что делалось кругом. Это очень огорчало Мумму. Много ли хороших, выигрышных лет у каждой девушки, и проспать их бессовестным образом... Мумма невольно вспоминала свою бурную, веселую молодость, когда каждый день являлся целым капиталом.

Когда Вадим приезжал в гости, он разыгрывал какого-то хозяина. Все критиковал, делал недовольное лицо и вообще, как говорится, фыркал. Впрочем, он это делал только при матери, а при отце сдерживался. Сегодня он встал поздно и долго ворчал на горничную, а потом вышел в столовую с таким видом, точно его только что вытащили из воды.

— Поздравляю... — лениво протянул он, здороваясь с матерью. — Сегодня у тебя, кажется, особенно отличный день?

— Именно?

— Мыслящему реалисту исполнилось шестьдесят лет... Это немножко много для серьезного человека.

— Именно?

— Как это тебе сказать, Мумма... В шестьдесят лет, как говорят вежливо китайцы, порядочные люди уже раскланиваются с здешним миром для будущего блаженства.

— Негодяй...

— Нет, серьезно... Потом, Мумма, я считаю, что вы просто живете на мой счет. Отец ничего не зарабатывает, и вы преспокойно проедаете мое наследство. Ведь наследников нас двое: я и Ярослав. Вот и посчитай сама, что нам стоит содержать вас двоих. Мыслящий реалист не привык ни в чем себе отказывать...

Мумма смотрела расширенными глазами на своего любимца и не находила слов для ответа. Господи, что же это такое, наконец? Бывают границы и шуткам... «Мыслящим реалистом» в семье называли отца, Андрея Гаврилыча, как старого шестидесятника, и находили

это очень смешным. У бедной Муммы появились даже слезы на глазах.

Вадим продолжал нервничать и безжалостно изводил мать. По наружности он не походил ни на мать, ни на отца, — длинный, вихлястый, весь какой-то серый. Его вытянутое лицо, едва тронутое чахлой растительностью, всегда имело раздражительное выражение.

— Вот что, Вадим, — заговорила Мумма, собравшись с силами. — Я не понимаю, зачем ты приехал?

— Как зачем? Выправлять тятенькины именины... Ведь у вас все на купеческую руку, хотя вы и считаете себя интеллигентами, а по купечеству должно уважать родителев. Да и посмотреть на мыслящих реалистов интересно...

— Немного уж их осталось, и ты напрасно смеешься, Вадим... Да, каждый год собирается все меньше и меньше. Ты не можешь себе представить, как это тяжело и грустно, когда убывают такие дорогие и близкие люди, а остающиеся в живых ждут своей очереди. Прошлой зимой умер Егоров... Помнишь, такой высокий, худой?

— Что-то такое помню...

— Ах, какой был человек!.. Какая чудная, светлая душа... Потом весной почти в одно время умерли Погодаев и Никонов. Летом умерла Елена Ивановна Грекова, с которой мы вместе жили в Вилюйске... Ракитин разбит параличом, у Бурцева грудная жаба... Какие все люди!..

— Бессмертие, Мумма, не обязательно — это, вопервых, а во-вторых, удел всякой рухляди — уничтожаться в свое время.

— Ты меня оскорбляешь, Вадим... Ты сам отец и должен понимать, как тяжело переносить оскорбления от детей.

— Это уж закон природы: черная неблагодарность потомков...

Игорь и Олег воспользовались приездом отца и дедушкиными именинами и не пошли в гимназию. Они проспали чуть не до самого завтрака, потом принялись шалить и кончили ожесточенной дракой, потребовавшей вмешательства бабушки.

— Дети, как вам не стыдно?! — возмущалась Мумма, появляясь в дверях детской в позе римского трибуна. — Вы забываете, что вы уж большие...

— Мумма, я тебе стихи сегодня напишу, — говорил Олег, мальчик лет пятнадцати, занимавший в семье пост поэта.

— Хорошо, хорошо... Одевайтесь и не дурачьтесь. Стыдно.

Студент Ярослав еще спал в своей комнате, потому что вернулся домой только в пять часов.

— Мумма, с именинником! — кричали сорванцы, когда бабушка ушла в коридор.

II

«Мыслящий реалист» сидел в своем кабинете, в кресле с колесами. У него был ревматизм сочленений, и двигаться он мог с величайшим трудом. По наружности это был почти цветущий мужчина, несмотря на свои шестьдесят лет. Плотный, широкий в плечах, с типичным русским лицом. Длинные седые волосы придавали ему профессорский вид.

Стены кабинета сплошь были заняты полками с книгами. В простенках между ними висели портреты знаменитостей шестидесятых годов. Громадный письменный стол занимал почти половину комнаты и был завален тем ненужным хламом, какой набирается только на письменных столах.

Разговор в столовой велся настолько громко, что «мыслящий реалист» мог кое-что слышать, а об остальном догадываться. Он только пожимал плечами и думал вслух:

— Вот негодяй... а?

Ему всегда было обидно, когда дети начинали вышучивать Мумму, а теперь, кроме обиды, явилось еще сожаление. В доме давно установился слишком свободный тон благодаря убеждению Муммы, что нельзя стеснять детскую свободу. Теперь приходилось переносить результаты такого воспитания. Положим, в присутствии отца дети сдерживались, но было тем хуже,

что они так много себе позволяли с матерью. Много раз «мыслящий реалист» хотел прекратить все эти выходки, но, как настоящий русский человек, ограничивался мелкими вспышками, а потом себя же чувствовал виноватым по нескольку дней. Возмущенный поведением Вадима, Андрей Гаврилыч покатился на своем кресле в столовую с твердым намерением разделать негодяя на все корки, но по дороге вспомнил, что он сегодня именинник и что в такие дни все-таки неудобно поднимать семейные истории. В конце концов всех больше огорчилась бы та же Мумма, души не чаявшая в своем первенце.

«А ну его к черту, негодяя», — решил именинник, вкатываясь в столовую.

К завтраку собралась вся семья. Ярослав очень походил фигурой и наружностью на отца, хотя и старался подражать старшему брату по части недовольства. Вышла из своей комнаты Лия, немного заспанная и апатичная. Прибежали Олег и Игорь, счастливые тем, что не пошли в свою гимназию. Последней приехала Нинка-буржуайка, высокая и костлявая дама, походившая на брата Вадима.

— Ну, вот мы и все собрались, дети, — говорила Мумма, чтобы сказать что-нибудь.

— А Анатолий Денисович? — перебил ее Олег, поглядывая на покрасневшую Лию.

— Он днем занят и приедет только вечером, — коротко объяснила Мумма, сдерживая волнение. — Я говорю про свою семью, а он не член нашей семьи.

Все переглядывались, сдерживая улыбку, и Андрей Гаврилыч догадался, что от него что-то скрывают.

— Мне этот ваш Анатолий Денисович совсем не нравится, — брезгливо заметила Нинка-буржуйка. — Он и на мужчину не походит.. Так, слизняк какой-то.

— Ну, уж это ты того: «ах, оставьте!» — авторитетно проговорил Ярослав.

— Анатолий Денисыч — гений! — с азартом вмешался Олег и даже покраснел от волнения. — Да, гений...

— Да? — иронически удивилась Нинка-буржуйка. — Скажите, пожалуйста, а я-то, глупая, и не

замечала... Не могу не отдать ему справедливости, что он удивительно искусно скрывает свою гениальность.

Андрей Гаврилыч не вмешивался в спор и только улыбался. Мумма заметила, что Лия смотрит на отца и тоже начинает улыбаться. Последнее задело ее за живое.

— Анатолий Денисыч пишет громадное сочинение... — вызывающе проговорила она, глядя на мужа. — Да-с, сочинение.

— А можно узнать, о чем он именно пишет? — спросил Андрей Гаврилыч, продолжая улыбаться.

— Он... он не из того сорта людей, которые, как курица, высидят какого-нибудь болтуна и будут кричать на всю улицу.

— Он нам читал некоторые отрывки, Мумма, — поддержал мать Ярослав. — Действительно гениально... Но, к сожалению, мы не имеем права прежде времени раскрывать основные идеи его труда.

— Скрытый гений, как бывает скрытая теплота, — съязвила Нинка-буржуйка. — С этим ничего не поделаешь... Остается вера, как во все чудеса.

— И даже очень глупо! — вспылил Ярослав. — Анатолий Денисыч не виноват, что есть такие люди, то есть женщины, которые... которые...

— Я договорю за тебя, — перебила Нинка-буржуйка, — «которые глупы, как пробка». Да?

— Мадам, не смею с вами спорить...

— Господа, довольно, — вступилась Мумма. — Вы начинаете говорить друг другу дерзости, а это плохое доказательство в спорах.

Несмотря на ее старания потушить огонь, неприятный разговор о гении поднимался с новой силой несколько раз, и зачинщицей опять являлась Нинка-буржуйка, видимо, старавшаяся угодить отцу. Один Вадим мрачно отмалчивался. Отец не обращал на него внимания, что опять волновало Мумму. Все-таки человек приехал поздравить отца, а он даже не хочет его замечать.

Спор закончился неожиданным заявлением Нинки-буржуйки:

— Все вы, господа, непротивленыши... Не правда ли, папа? А этот Анатолий Денисыч является вождем этого несчастного стада.

— Нина, довольно, — строго остановила ее Мумма. — Нужно уважать чужие убеждения... да. А критиковать других можно только тогда, если ты в состоянии стать на их точку зрения. Да.

— Мне жаль папу, которому приходится выслушивать всякую декадентскую галиматью, — не унималась Нинка-буржуйка. — Больничный бред ницшенианства, проникновенное бормотанье пьяного босячества, политико-экономический мистицизм, безумный эгоизм в основе переоценки всех ценностей, новейшая эстетика при закрытых дверях, горячечные галлюцинации декадентства...

— Нинка, заткни фонтан своего красноречия! — накинулся на нее Ярослав. — Это скучно даже для нашего мыслящего реалиста...

— Меня ты можешь оставить в покое, — с улыбкой заметил Андрей Гаврилыч. — Я уже давно привык ко всему и все-таки навсегда останусь мыслящим реалистом... Я горжусь последним.

— Господа, вы забываете, что папа сегодня именинник, — проговорил Вадим и со скучающим видом зевнул. — Не следует огорчать человека в такие торжественные минуты...

— Вадим?!. — взмолилась Мумма, ожидая семейной сцены.

Но Андрей Гаврилыч только посмотрел на нее грустными глазами и, ничего не ответив, покатился из столовой.

Лия демонстративно поднялась и ушла в свою комнату. Чтобы сорвать сердце, Мумма накинулась на Нинку-буржуйку:

— Это все ты! Да, ты, ты! Я могу только удивляться, зачем ты приехала к нам?

— Мумма, ты меня гонишь?

Все разом накинулись на Нинку-буржуйку, но она решила дорого продать свою жизнь и отчаянно защищалась.

— Вы—непротивленыши, декаденты, выродки... да!..

Туразовский дом являлся чем-то вроде караван-сарая для всевозможных модных течений. Это объяснялось живым, увлекающимся характером Муммы, которая не могла слышать равнодушно о чем-нибудь новом. Последовательно, как по ступенькам, шла через позитивизм, утилитарианизм, народничество, марксизм, пока окончательно не застряла в непроходимых дебрях ницшенианства, толстовщины, декадентства и босяцкой проникновенной философии. Как это все укладывалось у нее в голове — не мог объяснить ни один философ. Но это было так. Дело в том, что Мумма привязывала каждую теорию к какому-нибудь живому лицу, и почему-то случалось всегда так, что носителем новой идеи являлся мужчина. Женщин-философов, как известно, до сих пор еще не было, и Мумме, несмотря на то, что она была ярая феминистка, поневоле приходилось верить поработителям женщин — мужчинам, как она верила больше врачам-мужчинам.

Милая Мумма, как она страдала, перелезая с одной ступеньки на другую. Происходило что-то вроде переезда на новую квартиру, причем старая мебель ломалась, являлась смутная тоска о насиженном угле и неопределенный страх пред будущим. Но история требует жертв, как уверяла себя Мумма, и приспособляемость с годами утратила свою эластичность.

Последней стадией в ряду этих метаморфоз явился Анатолий Денисыч Бурнашев. С ним в туразовский дом влилась новая струя, которую трудно было даже назвать. Это была переоценка всех ценностей на религиозно-мистической подкладке. В доме как-то вдруг водворились давно позабытые слова. Мумма растерялась, как пойманный врасплох школьник, и даже испугалась. Она многого не понимала и только судила по молодежи, что это нахлынувшее новое представляет собой силу и, как всякая сила, имеет право на существование. Мумма не спорила и не соглашалась, а только слушала, что говорят между собой «потомки». Сам по себе Бурнашев ничего особенного не представлял, хотя был солидно образованный человек с очень выдержанным характером. У него было состояние, и он жил холостяком без занятий. Мумму поражало больше всего

то, что апатичная Лия заметно интересовалась им, как и он в свою очередь обращал на нее особенное внимание.

«Что же, все бывает на свете... — по-матерински думала Мумма. — Человек серьезный, обеспеченный...»

Накануне отцовских именин Лия неожиданно заявила матери:

— Мумма, Анатолий Денисыч сделает мне предложение. Он мне ничего не говорил об этом, но я знаю.

III

Готовность так быстро устроить судьбу Лии удивляла самое Мумму. Она старалась проверить себя. Выходило как-то так, что она была и права и в то же время не права. Конечно, вполне естественно со стороны матери позаботиться о судьбе дочери, тем более что она, Мумма, из принципа никогда не насиловала воли своих детей, оставляя за собой только право высказать свое мнение. С другой стороны, она как-то инстинктивно чувствовала, что этот Бурнашев — человек из другого мира, совершенно случайно попавший к ним в дом. Он останется навсегда чужим, как и муж Нинки-буржуйки. Но что было делать? Где нынче настоящие люди?

Мумма усиленно волновалась; волновалась, что ей решительно было не с кем поделиться охватившим ее настроением. Конечно, естественнее и ближе всего было обратиться к «мыслящему реалисту» и поговорить с ним откровенно. Она с этой целью даже входила несколько раз под разными предлогами к нему в кабинет — и возвращалась. Ей делалось так жаль этого больного старика, с которым она рука об руку прошла всю жизнь. Зачем его напрасно тревожить, когда, может быть, Лия преувеличивает и ошибается.

Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ее сдерживаться. В последнее время «мыслящего реалиста» начала серьезно беспокоить мысль о смерти, а каждые новые именины точно подталкивали к роковому концу, напоминая о прожитых годах. Прямо он

ничего не говорил, но она чувствовала его настроение и старалась не выдавать своего собственного беспокойства. А сегодня «мыслящий реалист» имел такой грустный вид.

Андрей Гаврилыч действительно переживал тяжелый день, тяжелый особенно уже тем, что никаких определенных оснований для этого не было.

«Старческая тоска, — думал он, покачивая головой. — Сердце перестает функционировать нормально. Да... Маразм вообще...»

Когда в кабинет входила Мумма, он старался приободриться и делал беззаботное лицо. Перед ним на столе лежала последняя книжка нового журнала «с настроением», и он малодушно прятался за нее. В сущности от текущей литературы он порядочно отстал, а говоря проще, — перестал понимать новых авторов, хотя и не желал в последнем признаться даже самому себе. Старые моряки испытывают, вероятно, такое же чувство, когда смотрят на новые суда, построенные при новых условиях и требованиях техники и последних слов морской войны.

Дверь кабинета выходила в гостиную, и «мыслящий реалист» мог слышать обрывки разговоров. Нинка-буржуйка продолжала волноваться и ссорилась с Вадимом. Студент Ярослав дразнил гимназистов Игоря и Олега и хохотал неестественно громко.

«В кого они все такие уродились? — невольно думал Андрей Гаврилыч. — Какие никчемные и никчемушные люди».

Было и обидно и досадно, и поднималась глухая тоска за то, что не осуществилось в жизни, а когда-то манило вперед, радовало и делало счастливым. Ах, если бы эти несчастные дети могли только понять, что переживал сейчас «мыслящий реалист».

— Наш мыслящий реалист сегодня не в своей тарелке, — доносился из гостиной голос Ярослава. — Он недоволен существующим порядком...

Обед прошел как-то особенно скучно. Даже неугомонная Нинка-буржуйка молчала и все поглядывала на мать. Андрей Гаврилыч догадывался, что в семье что-то происходит и что все от него что-то скрывают.

Мумма чутко прислушивалась к звонку в передней, — она ожидала официального появления будущего жениха. Лия сидела с опущенными глазами и старалась избегать пытливых взглядов матери.

«Точно семья заговорщиков...» — невольно подумал Андрей Гаврилыч, не желая даже догадываться, что происходит.

Он не дождался третьего блюда и укатился к себе в кабинет, куда попросил подать ему кофе.

Вадим проводил его глазами и, прищурившись, заметил вполголоса:

— Мыслящий реалист сегодня напоминает мне того опереточного короля Бобеша, у которого во всем государстве был всего один жук и которому этот единственный жук попал в стакан чая.

Мальчики не могли удержаться и прыснули.

— Замолчите, несчастные! — накинулась на них Нинка-буржуйка.

— Ох, страшно! — иронически отозвался Ярослав, набивая рот любимым ореховым тортом.

Мумма молчала, опустив глаза, а потом быстро поднялась и демонстративно вышла из комнаты. Ради сегодняшнего дня она не хотела поднимать семейной истории. Вадим в ее глазах продолжал оставаться тем ребенком, которого из приличия иногда журят и которому тем не менее прощается все.

— Козявки несчастные!— ругалась Нинка-буржуйка. — А тебе, Вадим, как старшему, уж совсем не к лицу говорить глупости. Мать бежит от вас...

Вадим сделал удивленное лицо, поднял брови и проговорил с самым невинным видом:

— При чем же я тут?! Может быть, у Муммы живот болит!

Мальчики замерли сначала от находчивости Вадима, а потом закатились неудержимым хохотом. Для них Вадим всегда являлся идеалом, и они копировали каждый его жест, интонации голоса и по неделям повторяли его остроумные словечки.

До самого вечера время тянулось мучительно медленно, как это всегда бывает, когда ждут обязательных гостей.

Получено было несколько поздравительных телеграмм. Первый звонок обманул всех: это был портной. От скуки Ярослав собрал мальчуганов в гостиной и принялся читать вслух критическую статью о Бальмонте. Он нарочно читал настолько громко, чтобы в кабинете «мыслящего реалиста» слышно было каждое слово.

— «...Бальмонт — залетная комета. Она повисла в лазури над сумраком, точно рубиновое ожерелье... И потом сотнями красных слез пролилось над заснувшей землей. Бальмонт — заемная роскошь кометных багрянцев на изысканно-нежных пятнах пунцового моха. Сладкий аромат розовеющих шапочек клевера, вернувших им память о детстве».

— Восхитительно, — шептал Олег.

— Проникновенно! — авторитетно подтвердил Игорь.

— Гениально, черт возьми!— восхищался Вадим.— Немного, а все сказано.

— Позвольте, господа, дайте кончить, — остановил эти неистовые восторги Ярослав. — Я продолжаю: «Он, то есть Бальмонт, разукрасил свой причудливый грот собранными богатствами. На перламутровых столах расставил блюда с рубиновыми орешками. Золотые фонарики вечности озарили. Он возлег в золотой короне. Ложем ему служит бледнорозовый коралл, и он ударял в лазурно-звонкие колокольчики. И он разбивал звонкие колокольчики рубиновыми орешками...»

— Фу, какая глупость! — послышался голос «мыслящего реалиста» из кабинета. — Будет, Ярослав!.. Меня просто начинает тошнить.

— Папа, значит, ты отрицаешь свободу человеческой мысли? — отозвался Ярослав. — Кажется, это не либерально.

— А ну вас, сумасшедших! — ворчал «мыслящий реалист».

— Н-не по-нра-ви-лось! — ехидно заметил Вадим, кивая головой в сторону отцовского кабинета. — Что делать, силой милому не быть...

Он взял лежавший на столике томик Ницше: «Так говорил Заратустра» и, перелистывая, проговорил:

— Попробуем почитать эту книжку... Например: «Счастье мужчины называется: *«я хочу»*. Счастье женщины называется: *«он хочет»*. И повиноваться должна женщина и присоединить глубину к поверхности своей. Поверхность — душа женщины, подвижная, беспокойная волна на мелкой воде». Гм, недурно. А вот далее: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!»

Он перевернул несколько страниц и с особенным удовольствием прочел:

— «...Для тебя, чародейка, я пел до сих пор, теперь — ты должна кричать для меня! Под такт плетки моей должна ты плясать и кричать».

— Не правда ли, как просто и ясно разрешен весь женский вопрос? Наша Мумма напрасно хлопотала целую жизнь, разрешая его.

— Не-го-дя-и! — слышалось из кабинета.

— Папа, ты опять лишаешь нас свободы слова? — вмешался Ярослав, не боявшийся отца. — Это уж рабство!

Раздавшийся в передней звонок прекратил начинавшуюся семейную бурю.

Это был сам Бурнашев.

IV

Он входил всегда как-то крадучись и непременно оглядывался кругом своими близорукими глазами, точно боялся засады. И протягивал руку с нерешительной улыбкой, — он постоянно улыбался. По наступившей почтительной тишине в гостиной Мумма догадалась из своей комнаты, кто пришел.

«Ох, уж скорее бы», — подумала она.

Бурнашев отлично знал, что старик Туразов его ненавидит, но делал вид, что ничего не замечает, и сейчас отправился прямо в кабинет поздравить дорогого именинника.

— Благодарю, очень благодарю, — бормотал Андрей Гаврилыч.

У Бурнашева всегда была в запасе какая-нибудь сенсационная новость, которую он получал из верных

источников, и всегда он начинал разговор стереотипной фразой:

— А вы слышали?

Андрею Гаврилычу приходилось разыгрывать гостеприимного хозяина, хотя эта роль и плохо удавалась ему. Бурнашева он совершенно не понимал. Что это за человек? В чем заключается секрет его влияния на молодежь? Почему даже глупости, которые он проповедовал, имели такой успех? Несомненно было одно, что он был не глупый и образованный человек, но какой-то весь сдавленный и съежившийся. Он и говорил такими же сдавленными словами, напоминавшими палый осенний лист. Но всего неприятнее была его покровительственная манера спорить, точно он делал величайшее одолжение каждым звуком своего голоса. Впрочем, Андрей Гаврилыч избегал этих споров.

На этот раз беседа с Бурнашевым была счастливо прервана. Раздался необыкновенно громкий звонок, так что Мумма даже выскочила из своей комнаты.

— Господи, да это какой-то разбойник ломится в дверь? — взмолилась она.

Все невольно притихли. Горничная бросилась отворять дверь с особенной быстротой. В передней послышалось какое-то гуденье, точно ворвался громадный шмель.

— Дома старик-то, а? И старуха дома, а?

— Господа все дома, — обидчиво ответила горничная, разглядывая незнакомого гостя.

— Ну, и отлично... — добродушно гудел он. — Скажи, что Яким Образов приехал.

Проходя гостиной, гость поздоровался с молодыми людьми за руку, причем всем без церемонии говорил «ты». Особенное его внимание обратил на себя Бурнашев, которого он принял за старшего сына.

— Эге-ге! Да в кого ты вырос такой щупленький... а? Ни в мать, ни в отца...

— Вы, вероятно, ошиблись и приняли меня за Вадима Андреича, — с достоинством ответил Бурнашев.

Неловкую сцену прервала Мумма. Она без церемонии взяла громкого гостя за руку и потащила в кабинет.

— Да погоди, старуха! — упирался тот. — Столько лет не видались. Надо же и поцеловаться по христианскому обычаю. Еду в Питер, а сам думаю: уж застану ли вас живыми.

— А ты все такой же, Яким! — удивлялась Мумма, качая головой.

— Все такой же... Ха-ха!.. Пробовали меня переделывать на все лады, да, как видишь, ничего из сего не вышло.

Он крепко обнял Мумму и расцеловал из щеки в щеку.

— Где ты пропадал столько лет, Яким? — спрашивала она, с трудом вырываясь из его могучих объятий.

— Где я пропадал? Ха-ха... Лучше спроси, где я не пропадал. Ну, да это неинтересно...

Когда гость ушел в кабинет, гостиная точно опустела.

— Вот это так мыслящий реалист, — заметил Вадим. — Ему кули таскать на набережной.

— Д-да-а... — протянул Бурнашев. — Вероятно, из духовных. Отличный протодьякон вышел бы.

— А я его отлично помню,— вмешалась Нинка-буржуйка. — Он меня, маленькую, на руках носил. Страшный добряк...

Гость наполнил гуденьем кабинет и несколько раз принимался целовать хозяина.

— Ну, вот и увиделись, — повторял он. — Давно ножки-то потерял?

— Да уж скоро десять лет будет, Яким.

— Это у вас, у дворян, уж повадка такая... Даже и стишонки такие есть: «Стала немножко шалить его правая ножка».

Мумма сидела на кушетке и во все глаза смотрела на громкого гостя, вместе с которым ворвалось в дом такое далекое-далекое, такое хорошее-хорошее прошлое. А этот богатырь, который был известен в студенческих кружках шестидесятых годов под кличкой Еруслана, оставался все таким же младенцем. Да, громадный седой младенец, широкоплечий, с широким русским лицом, с мягким русским носом, с окладистой бородой, с громким голосом. Говорил он, как настоящий

«володимирец», сильно упирая на *о*, и, кроме того, ставил ударение над словами совершенно по-своему: «деятельность», «современный», «молодежь». Товарищи по медицинской академии и университету были убеждены в духовном происхождении Еруслана и уверяли, что он скрывает в себе притаившегося дьякона. Но это была неправда: Образов происходил из мещанской семьи, промышлявшей плотничьими подрядами. Голос у него был действительно громадный, и никакого слуха. На студенческих пирушках Еруслан ревел, как бык, не слушая никого. Временами он пропадал неизвестно куда, потом как-то неожиданно появлялся, причем не любил рассказывать о своих приключениях.

— Емль его и давляше, — смеялся он над самим собой.

После первых разговоров, которые после долгой разлуки обыкновенно плохо вяжутся, Мумма спросила:

— Что же, Яким: у тебя есть семья, дети?

— У меня? — удивился Еруслан. — Некогда было... Понимаешь, некогда — и все тут. Одним словом, фасон не вышел... Не по моей специальности. Так и остался перекати-полем.

Дальше начались воспоминания, те обидные стариковские воспоминания, которые совершенно непонятны молодым людям. Мумма с трогательным чувством перечислила умерших друзей, болящих и вообще всех отсутствующих.

— Что же, и нам скоро пора очистить место молодым, — спокойно ответил Образов. — Нужно смотреть на вещи философски... Больше ничего не поделаешь. Было наше время, пожили недурно, а теперь пора и честь знать.

Андрей Гаврилыч все время молчал и улыбался какой-то виноватой улыбкой. Когда-то, в дни молодости, он очень ревновал Мумму к Образову и почему-то боялся его. Теперь, конечно, никакой опасности не представлялось, но жуткое и фальшивое чувство сохранилось. Образов принадлежал к типу тех странных русских людей, от которых всю жизнь ожидают чего-то особенного и необыкновенного.

Обед прошел шумно и весело. Говорил, конечно, один Образов, а Бурнашев демонстративно молчал и только изредка улыбался своей ехидной улыбкой. Мумма с затаенной тревогой наблюдала за Нинкой-буржуйкой, которая довольно бесцеремонно рассматривала гостя, как в зоологическом саду рассматривают редких зверей. Ее немного огорчило и шокировало, что Образов попрежнему глотал водку рюмку за рюмкой, все больше краснел и начал хохотать неестественно-громким голосом.

— Да, так вот вы какие... — повторял он, обращаясь к наблюдавшей его молодежи. — Чистенькие, вымытые... да... Очень даже хорошо. Значит, всякому овощу свое время... Так я говорю, Мумма?

Дурной привычкой Образова было задавать вопросы и отвечать на них самому. Вообще он не привык стесняться, и Мумма даже незаметно отодвинулась от него.

— Да, были хорошие люди... — повторял Образов с тяжелым вздохом. — Иных уж нет, а те далече.

Бурнашев долго молчал, а потом неожиданно привязался к какой-то фразе. Образов с удивлением посмотрел на него и добродушно проговорил:

— Я не люблю спорить... Мое время прошло.

— Это, может быть, очень великодушно с вашей стороны, — заметил Бурнашев, — но манера не отвечать на вопросы — это плохое доказательство.

— А если я не желаю вам ничего доказывать? Да, не же-ла-ю...

Бурнашев только пожал плечами. Мумма смотрела на него умоляющими глазами. Все притихли. Андрей Гаврилыч с самым глупым видом катал шарики из черного хлеба. Это была одна из его дурных привычек, всегда возмущавшая Мумму. Хорошо еще, что Образов никогда не замечал, что делалось вокруг него.

Обед, к общему удовольствию, кончился благополучно, и все вздохнули свободно.

Когда гость и хозяин ушли после обеда в кабинет курить сигары, Нинка-буржуйка с удивлением увидела, что мать плачет.

— Мама, что с тобой?

Мумма только махнула рукой.

— Ах, Нина, сейчас ты меня не поймешь... У старых людей свои мысли и своя логика. Могу только пожалеть, что ты не увидишь того, что в свое время переживали мы... да...

Бурнашев остался в столовой и с обиженно-ядовитым выражением лица наблюдал происходившую чувствительную сцену. Да, его присутствия милые хозяйки не замечали, и ему, по примеру милого хозяина, остается одно: катать хлебные шарики. Он демонстративно поднялся и начал прощаться. Верхом неприличия было то, что его не удерживали. Когда Мумма вышла проводить его в переднюю и с официальной любезностью хозяйки дома спросила, почему он торопится уходить, Бурнашев с рассчитанной грубостью проговорил:

— У меня, знаете... да... у меня разболелся живот.

А из кабинета доносилось ровное и густое гуденье, точно туда залетел громадный шмель.

V

Мумму интересовало, зачем Образов вернулся в Петербург и что предполагает делать. Спросить об этом прямо она не решилась. Между ними уже легла громадная полоса жизни, мешавшая взаимному пониманию. В самом деле, что думает этот странный человек? Чем больше думала Мумма на эту тему, тем сильнее ей делалось жаль друга юности. Да, над его седевшей головой уже витало холодное и обидное одиночество бесприютной старости. На эту тему Мумма пробовала говорить с мужем, но Андрей Гаврилыч только разводил руками и повторял стереотипную фразу, какой отвечают непонимающие мужики:

— А кто его знает...

— Но ведь такое одиночество ужасно?

— Что же, сам виноват, если не умел во-время устроиться иначе.

— Какой ты странный... Разве можно судить таких людей по обычному шаблону. Он мне прямо сказал,

что ему просто было *некогда* подумать о личном счастье.

— Ну, этого мы еще не знаем и будем спорить о неизвестном.

— Есть вещи, которые проделывают одинаково умные и глупые люди. А затем, я даже не вижу оснований, чтобы непременно все женились или выходили замуж... да. Возьми Англию, там уже образовался так называемый третий пол, то есть целый класс девушек, которые, выражаясь по-немецки, никогда не получат мужа.

Мумма не могла понять этого вынужденного безбрачия и протестовала с женским азартом. В самом деле, такой выдающийся по душевному складу человек и должен влачить свое существование бобылем, — Мумма подумала именно этой заученной книжной фразой.

Сам Образов, повидимому, меньше всего думал и заботился о собственной особе. У него были какие-то дела в Петербурге, и он то пропадал на несколько дней, то появлялся совершенно неожиданно и непременно в самые неудобные часы, — то слишком рано утром, когда дамы еще были не одеты, то слишком поздно вечером, когда пора было ложиться спать, то после обеда, когда ему приходилось подавать отдельно, точно в ресторане. Это была дурная привычка думать только о себе. Потом, он держал себя, как будто он был хозяином в доме, и дело доходило до того, что он без церемоний уходил в кабинет Андрея Гаврилыча и, не раздеваясь, разваливался спать на диване. Мумму такое поведение старого друга очень смущало, главным образом потому, что дети откровенно его не понимали. Особенно волновалась Нинка-буржуйка.

— Это уж слишком бесцеремонно, мама, — говорила она, пожимая худенькими плечами.— Кажется, он принимает наш дом за трактир, где можно и наесться и выспаться.

— Ах, ты ничего не понимаешь, — отговаривалась Мумма, напрасно подбирая слова. — Одним словом, это такой человек... как тебе сказать? Ну, совсем, совсем особенный человек.

Образов упорно не желал ничего замечать и даже больше — обращал особенное внимание на Нинку-буржуйку и производил ей что-то вроде экзамена. Раз она не выдержала и довольно резко ему заметила:

— Вы меня, Яким Ильич, кажется, принимаете за свою ученицу.

— Ну-с, и что же? — невозмутимо спросил он и даже улыбнулся.

— А то, что я уже совсем взрослый человек и в экзаменах не нуждаюсь.

— Так-с... да... Ну, мы так и запишем: окончательно взрослая девица с амбицией.

Старый друг начинал тяготить Туразовых, и Мумма все чаще и чаще начинала думать о том, когда же он, наконец, уедет. Ее немного шокировало и то, что этот старый друг точно ухаживает за Ниной, а та в свою очередь делала такой вид, что ей такое ухаживание противно. В результате получалось что-то совсем несообразное и нелепое. Волновались и мальчики и ревниво наблюдали за каждым движением старого мамина друга.

Раз Образов пришел в такое время, когда стариков не было дома. Волей-неволей пришлось принимать дорогого гостя Нинке-буржуйке. Он, как всегда, не замечал неприветливости и сухого тона молодой хозяйки и спокойно рассказывал что-то о своих бесконечных странствиях. Когда Мумма вернулась домой, она нашла Образова в столовой. Он сидел и пил пиво. Мумму возмутило, что Нинка-буржуйка не умела занять гостя. Образов понял ее настроение и совершенно спокойно проговорил:

— Барышня обиделась на меня.

— Вы поссорились?

— Нет... то есть видишь ли, Мумма, я, как это у вас говорится, сделал ей предложение...

— Ты?! Предложение?!

— Да... А она заплакала и убежала в свою комнату. Одним словом, никак не могу понять, чем я мог ее обидеть. Конечно, дело самое обыкновенное.

Мумма поступила, как настоящая любящая мать, то есть присела к столу, закрыла лицо платком и заплакала. Вот уж *этого* она никак не ожидала.

Нинка-буржуйка подслушивала из соседней комнаты этот разговор, и, когда в столовой все стихло, она осторожно приотворила дверь и увидела необыкновенную картину. Образов целовал Мумму и задыхавшимся шепотом повторял:

— Она напомнила мне мою молодость... напомнила тебя, когда ты была молодой... О, ведь я так тебя любил...

Мумма отняла руки от заплаканного лица и ответила тоже шепотом:

— Ты? любил меня?

— И потом... всегда...

Мумма обняла его и молча поцеловала. Нинка-буржуйка была жестоко наказана за свое любопытство, осторожно притворила дверь и расплакалась уже настоящими слезами.

Через два дня Мумма исчезла. Все, конечно, ужасно встревожились, а Андрей Гаврилыч совершенно потерял голову. Прошло целых два дня, пока получено было письмо от Муммы. Она извещала, что больше не вернется домой, просила прощения и умоляла ее не разыскивать. Она бежала с Образовым за границу.

ЛЕГЕНДЫ

БАЙМАГАН

I

«Хороша киргизская степь, хорошо голубое небо, которое опрокинулось над ней бездонным куполом, хороши звездные степные ночи, но лучше всего новый кош [1] старого Хайбибулы, в котором он живет вместе со своей старухой Ужиной и молоденькой дочкой Гольдзейн». Так думает молодой Баймаган, работник Хайбибулы, думает и поет:

В небе звезды,
И в коше Хайбибулы звезды...
Там и ночью светит солнце!
А в голове Баймагана
Мысли, как птицы.

— У меня много-много мыслей, и все они, как степной ковыль, гнутся в одну сторону, — говорил Баймаган, когда они вместе с другим работником Урмугузом пасли косяк кобылиц. — У Хайбибулы всего много... Старая лисица катается как сыр в масле, а я ничего не возьму за свои мысли, Урмугуз.

---

[1] Кош — круглая киргизская палатка из войлока. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— Дурак ты, Баймаган... — лениво отвечает Урмугуз, покачиваясь на высоком киргизском седле. — Какие мысли могут быть у таких бедняков, как мы с тобой?.. Ты глуп, Баймаган, а Хайбибула умен... У Хайбибулы двести лошадей ходит в степи, у Хайбибулы пять лучших иноходцев, у Хайбибулы новый кош, целый сундук с деньгами и красавица дочь. У бедных людей должна быть одна мысль: не лечь голодным спать.

Обидно Баймагану слушать такие слова своего приятеля, который никогда ни о чем не думает, точно киргизский баран. Да, Баймаган — бедняк, но это не мешает ему видеть и слышать то, чего не видит один Урмугуз.

У Баймагана каждый раз дрогнет сердце, как подстреленная птица, когда он вечером с косяком кобылиц возвращается к кошам. Издали эти коши точно потерянные в степи шапки, одна большая и две маленьких. Из большой в холодные ночи весело поднимается синий дымок — это старая Ужина вечно что-нибудь стряпает, чтобы угодить мужу. Вот около этого огонька в коше старой лисицы Хайбибулы и бьется молодое сердце бедняка Баймагана, потому что вместе с дымом по вечерам из коша несется песня красавицы Гольдзейн.

II

У Хайбибулы новый кош, который стоит рублей пятьсот, — он из лучших белых кошм, а внутри по стенам развешаны дорогие бухарские ковры. Тут же стоят сундуки, набитые всяким добром — рубахами, бешметами, халатами. У Гольдзейн свой сундук, весь обитый белой жестью, точно серебряный; в нем копится приданое для того счастливца, которому достанется Гольдзейн.

— Кто даст калым в сто лошадей и пятьсот рублей деньгами, тому и отдам Гольдзейн, — хвастается Хайбибула, когда с гостями напьется кумыса. — Будь хоть без головы жених, мне все равно... Сто лошадей и пятьсот рублей деньгами.

Пьяный Хайбибула непременно бранится с женой и каждый раз повторяет:

— Ты мне надоела, Ужина... Вот получу калым за Гольдзейн и прямо с деньгами поеду под Семипалатинск: там в кошах живут два брата, Кошгильда и Яшгильда, богатые киргизы, и у обоих по молоденькой дочери. Которую хочу, ту и возьму, а тебе, старой кляче, пора отдохнуть.

Когда Гольдзейн весело распевает свои песни, старая Ужина горько плачет, потому что Хайбибула непременно женится на молоденькой и сживет ее, Ужину, со свету. Он уж двух жен в гроб заколотил, а она — третья, и ее заколотит. Старый волк любит молодую козлятину, и погубить человека ему ничего не стоит, а все считают его хорошим, ласковым мужем.

«Лучше уж мне самой умереть...» — думает Ужина, думает и плачет, вспоминая молодое время, когда щеки у ней были румяные, глаза светились, сама была толстая да белая и когда Хайбибула говорил ей льстивые, ласковые речи.

Скоро износилась красота Ужины. Бессонные ночи, работа, дети и мужнины побои развеяли по ветру девичью красоту, а Хайбибула ее же попрекает дорогим калымом.

Никто не жалеет старухи, а Гольдзейн нарочно отвертывается, чтобы не видать слез матери. Глупая девка только и думает, чтобы поскорее выскочить замуж за богатого жениха, а родная мать ей хуже чужой.

Как-то пьяный Хайбибула сильно избил Ужину, и она едва вырвалась от него. Убежала и спряталась за кошем. Ночь была темная, а на душе Ужины было еще темнее. Стала она просить себе смерти, потому что никому-никому, ни одному человеку не жаль ее.

— Эй, Ужина, не плачь... — прошептал над самым ухом старухи знакомый голос.

— Это ты, Баймаган?

— Я... Я все вижу и знаю. Погоди, вот женюсь на Гольдзейн, тогда и тебя возьму к себе. Славно заживем...

— Да ты с ума сошел?.. У тебя ничего нет...

— Э, погоди, все будет... Старая лисица Хайбибула сам будет ухаживать за мной... Вот я какой человек, Ужина!

Это ласковое слово глупого парня согрело душу Ужины, как солнечный луч, и ей сделалось жаль Баймагана: аллах велик, у аллаха всего много, что стоит аллаху бросить росинку счастья на Баймагана? Все может быть...

— Слушай, Баймаган, никогда-никогда не женись на Гольдзейн, — шептала старая Ужина, — в ней волчья кровь... Женись лучше на Макен: вот мой совет за твое доброе слово позабытой всеми старухе.

III

Около коша Хайбибулы в стороне стояли два старых, дырявых коша, в которых жили пастухи и работники. В одном жил кривой пастух Газиз с дочерью Макен, а в другом Баймаган с Урмугузом. Очень бедно было в коше Газиза, а у Баймагана с Урмугузом совсем ничего не было, кроме хозяйских седел да разной сбруи. Спали оба работника на лошадиных потниках. Сквозь прогоревшие кошмы пекло солнце и лился дождь, точно аллах хотел каждый день испытывать терпение молодых пастухов.

Все хозяйство Газиза вела Макен, и она же постоянно помогала старой Ужине, точно работница, хотя скупой Хайбибула не платил ей ни гроша, разве когда подарит ей обноски после Гольдзейн. Макен работала, как лошадь, и ходила чуть не в лохмотьях. За работой она пела такие печальные песни и каждый раз смолкала, когда мимо проходил Баймаган.

— Он хороший человек, — говорила Ужина, не называя Баймагана по имени.

— Хорош, да не для меня... — отвечала Макен и тяжело вздыхала.

Аллах мудрено устраивает человеческие дела: Урмугуз любил Макен, Макен любила Баймагана, а Байма-

ган любил гордую Гольдзейн. Баранчуками[1] они все росли вместе, а потом вышло вон что. Старый Газиз видел все это, но молчал, потому что аллах велик и знает лучше нас, как и что делать. Урмугуз думал про себя, что Макен первая красавица во всей киргизской степи и что Гольдзейн приворожила глупого Баймагана своими песнями и богатыми нарядами. В праздники Гольдзейн всегда щеголяла в шелковом полосатом бешмете, заплетала свои черные волосы в мелкие косички, в уши надевала дорогие, тяжелые серьги, а всю грудь увешивала серебряными и золотыми монетами, которые так весело звенели у ней на ходу.

Баймаган подолгу смотрел на нее с разинутым ртом или старался чем-нибудь услужить. Гордая красавица совсем не замечала Баймагана и только иногда любила посмеяться над ним, особенно когда тут же была Макен.

— Баймаган, скоро у тебя будет сто лошадей и пятьсот рублей денег? — спрашивала Гольдзейн, толкая Макен локтем. — Смотри, мне, пожалуй, надоест ждать, и я как раз выйду за другого... У меня уж есть три жениха.

Гольдзейн весело смеялась, а у Баймагана замирало сердце от этого смеха, и он начинал ненавидеть Гольдзейн. И чем больше она смеялась над ним, тем больше он ее любил.

Проклятых сто лошадей бедный пастух часто видел во сне, а деньги даже искал у себя под изголовьем. Перестала бы Гольдзейн смеяться над ним, когда бы он принес Хайбибуле пятьсот рублей старыми серебряными монетами и выставил в поле свой собственный косяк лошадей... Всего сто лошадей и пятьсот рублей. Баймаган день и ночь стал думать, как добыть дорогой калым, похудел и ходил как в воду опущенный.

Хайбибула прежде сам был беден, и вся степь знает, откуда пришло его богатство: он сначала сам воровал

---

[1] Баранчук — ребенок, дитя. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

лошадей по казачьей уральской линии, а потом стал только сбывать краденый скот.

— Это люди болтают из зависти, — говорил кривой Газиз. — Аллах все видит...

IV

Баймаган возненавидел Хайбибулу и за глаза бранил его самыми скверными словами. Тут доставалось и толстому брюху Хайбибулы, и его красному носу, и седой голове, которая думала о молоденьких девчонках. Когда в урочные часы старик выходил из коша на молитву, расстилал под ноги коврик и падал ниц, приложив раскрытые ладони к ушам, Баймаган испытывал глубокое чувство отвращения к этому старому ханже, который хочет обмануть самого аллаха.

— Кажется, я убил бы эту старую лисицу! — говорил Баймаган своему другу Урмугузу. — Его деньги нажиты кровью, он загубил двух первых жен, теперь губит третью и хочет жениться на четвертой, чтобы согреть свою старую волчью кровь молодой... О, как я ненавижу этого Хайбибулу!..

Хитрый старик заметил косые взгляды Баймагана и время от времени любил подшутить над ним. Бессильная злоба бедняка забавляла Хайбибулу.

Раз в праздник, когда в коше и перед кошем сидели гости, Хайбибула сказал Баймагану:

— Баймаган, покажи гнедого иноходца гостям... Впрочем, у тебя заячье сердце, пусть приведет лошадь Урмугуз.

Это было сказано нарочно, чтобы подзадорить Баймагана и потешить гостей отчаянной скачкой. Гнедой иноходец был еще необъезженной лошадью и никого не пускал на себя. Обида засела глубоко в сердце Баймагана, и он захотел показать перед всеми, что ничего не боится и что Хайбибула напрасно его обижает.

Иноходца едва поймали на два волосяных аркана, подвели к кошу, и Баймаган птицей сел на спину дрожавшей от страха лошади.

— Смотри, упадешь!.. — крикнул вслед Хайбибула.

Началась самая отчаянная скачка на необъезженной лошади, старавшейся сбить седока. А Баймаган видел только улыбавшееся лицо Гольдзейн, которая смотрела на него из коша вместе с гостями. Да, он приведет лошадь к кошу смирную, как овечку, или ему не видать Гольдзейн, как своих ушей.

Лошадь и человек боролись отчаянно несколько часов. Баймаган уже чувствовал, что лошадь начинает уставать и скоро будет в его руках, как ребенок. Но в этот момент она сделала неожиданный прыжок в сторону, и Баймаган слетел на землю. Все это случилось в одну секунду, и бешеное животное с удвоенной силой понеслось в степь, стараясь освободиться от тащившегося на аркане наездника. Баймаган крепко держал веревку обеими руками и решился лучше умереть, чем выпустить лошадь.

Через полчаса иноходец прибежал один, а Баймагана нашли в степи без чувств. Он лежал весь избитый: голова, лицо и плечи были покрыты глубокими ранами от лошадиных копыт.

V

Баймаган лежит в своем дырявом коше. За ним ухаживает старая Ужина, которая знает много хороших степных трав. Иногда в кош завертывает Макен и молча садится у входа. Больной никого не узнает и все бредит.

Ему ужасно тяжело и все кажется, что он скачет на проклятом иноходце. Лошадь бьет его задними ногами прямо в голову, и Баймаган страшно вскрикивает. Долго-долго носит его по степи взбесившийся иноходец, а когда он открывает глаза, то видит над собой дырявую кошму своего коша и слышит точно сквозь сон голос Ужины:

— Не шевелись, Баймаган... Будешь жив, если не будешь шевелиться. Все идет хорошо.

Баймаган старается лежать спокойно, хотя ему ужасно хочется приподнять голову — в коше кто-то

тихо плачет, а кому плакать о нем, о круглом сироте? Ах, зачем он не умер там, в степи, где носил его иноходец!..

Потом Баймагану вдруг сделалось так легко и так хорошо, совсем хорошо. Он здоров. Нет, будет уж служить старой лисице Хайбибуле!.. Прощайте все: и кривой Газиз, и Урмугуз, и Макен, и Ужина... С Гольдзейн Баймаган не простился, потому что слишком ему было бы тяжело видеть ее насмешливую улыбку.

— Э, увидимся!.. — утешает самого себя Баймаган, направляясь в степь, где там и сям торчали киргизские коши, точно бритые татарские головы в тюбетейках. — Надо жить, как старая лисица Хайбибула...

Баймаган скоро нашел себе работу — он сделался отчаянным барантачом. По степи он отбивал овец у гуртовщиков, у казаков и русских угонял лошадей, и везде стали бояться одного его имени. Несколько раз он попадался, и его били прямо по голове, точно все знали, где у него самое больное место.

Через несколько лет такой работы у Баймагана был готов весь калым за Гольдзейн, и он орлом полетел к старому Хайбибуле.

— Вот твой калым... — объявил Баймаган, высыпая перед стариком старое серебро.

— Ты — умный человек, — задумчиво говорил Хайбибула, пересчитывая деньги. — Ну, Гольдзейн — твоя... Такой красавицы до Семипалатинска не найти. Что же, твое счастье, а я очень рад. Макен тоже вышла замуж за Урмугуза, я и калым платил за него. Давай поцелуемся.

VI

Рядом с кошем Хайбибулы вырос новый кош Баймагана. В последнем жилось очень весело. Гольдзейн по целым дням распевала свои песни, а Баймаган лежал на ковре и пил кумыс. Когда ему надоедало гулять одному, он посылал за Хайбибулой и угощал старика.

— Ты умный человек, Баймаган, — повторял каждый раз Хайбибула и улыбался старым, беззубым ртом. — Стар я стал... Вот и борода седая, и глаза слезятся, и зубы пропали. А когда-то я умел наживать деньги. Надо тебе показать все норы и лазейки, а мне пора отдохнуть.

И старая лисица Хайбибула учил Баймагана всяким плутням, называл всех своих знакомых и товарищей по ремеслу, а Баймаган слушал и удивлялся, что Хайбибула совсем не такой дурной человек, как он думал раньше. Даже очень хороший человек этот Хайбибула, если разобрать; а если он занимается воровством, так не он один грешен перед аллахом.

Когда Хайбибула выгнал старую Ужину и женился на четырнадцатилетней Аяш, дочери Кошгильды, о которой давно говорил, и тогда Баймаган не обвинил старика. Хайбибула еще в силах, а Ужина едва волочит свои старые ноги. Так хочет аллах, если одно дерево цветет, а другое сохнет. Конечно, Аяш молода для такого беззубого старика, как Хайбибула, но старику уж немного осталось веселить свое сердце — пусть еще порадуется на конце своих дней.

Старая Ужина пришла к Баймагану и сказала:

— Муж меня прогнал, а я стара... Помнишь, как ты обещал приютить меня, если женишься на Гольдзейн?..

— Я этого не говорил, старая кляча!.. — закричал Баймаган. — Это все ты сама придумала...

Баймагану было совестно за свою ложь, и он еще сильнее рассердился.

— Не наше дело судить вас с отцом, — ответила матери Гольдзейн, потакавшая мужу. — Мы не желаем ни с кем ссориться, а живите себе, как знаете.

Ничего не сказала старая Ужина и ушла. Ее приютил в своем рваном коше Урмугуз.

— Мне уж за одно вас, стариков, кормить, — проговорил он, — вон Газиз живет, живи и ты.

Тесно было в коше Урмугуза, но Макен нашла уголок для старухи, совсем убитой горем. Это взбесило Баймагана.

— Вот нашлись богачи! — ругался он. — Всех полоумных старух да стариков не накормишь.

— Урмугуз, видно, богаче нас с тобой, — прибавила Гольдзейн. — Недаром он столько лет служил у отца, а теперь служит у тебя. Видно, ему выгодно, если может кормить чужих людей.

Баймаган сильно рассердился на Урмугуза, но до поры до времени затаил в своем сердце эту злобу. Урмугуз нарочно взял к себе Ужину, чтобы постоянно колоть ею глаза и ему, и Гольдзейн, и старому Хайбибуле.

— Урмугуз глуп, — шептала Гольдзейн, ласкаясь к мужу, — а это придумала Макен... О, это хитрая и злая женщина!

VII

Киргизская степь была так же хороша, как десять лет назад, так же весной она покрывалась цветами и ковылем, тот же играл по ней степной ветер, а зимой волком завывали снежные метели; голубое небо так же высоко поднималось над ней, так же паслись по ней косяки киргизских лошадей, а Гольдзейн позванивала своим серебром.

Хорошо жилось Баймагану. Всего у него было много, а когда надоедало сидеть дома, он уезжал куда-нибудь в гости. У богатых людей много хороших знакомых. Когда было лень ехать, Баймаган по целым дням лежал в коше и думал о разных разностях. Всего лучше ему делалось, когда он вспоминал про свое детство. Да, Баймаган вырос у старого Хайбибулы, как бездомная собачонка: спал под открытым небом и питался объедками, вместе с хозяйскими собаками. Когда варили махан или салму [1], Баймаган только облизывался издали и был рад, если на его долю доставалась обглоданная косточка, которую бросала ему добрая Ужина. Эти воспоминания делали настоящее еще

---

[1] Салма — лапша из конины; махан — жареное из жеребенка. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

приятнее, и Баймаган нарочно приглашал Хайбибулу есть салму, чтобы вспомнить про старое.

Однажды, когда они вдвоем сидели около чугунного котла с салмой, старик хитро подмигнул, указывая на дочь.

— Ты ничего не замечаешь, Баймаган? — прошамкал он.

— Нет, а что?..

— Я ничего, так... Будто Гольдзейн у тебя постарела. Она будет вылитая Ужина. Вот увидишь... А Макен молодеет. Впрочем, на чужих жен нехорошо заглядываться... Я так сказал. Ну, прощай...

Эти слова глубоко запали в душу Баймагана, хотя он старался о них совсем не думать. Раз он больно прибил Гольдзейн, и когда она стала плакать в своем углу, он занес было руку с нагайкой, чтобы ударить ее по спине, но взглянул на ее заплаканное лицо, испуганные глаза — и рука с нагайкой бессильно опустилась сама собою: на него смотрела старая Ужина, а Гольдзейн, красавицы Гольдзейн, больше не было.

Баймаган начал часто напиваться кумысом, бил жену и все ходил около коша, чтобы хоть издали посмотреть на Макен. Урмугуза он нарочно посылал в дальние киргизские стойбища с разными поручениями, чтобы не стыдно было заходить в его старый кош под разными предлогами.

Макен стала прятаться от Баймагана, а это еще больше разжигало в нем кровь. Чтобы показать ей свою любовь, Баймаган не упускал случая на ее глазах бить Гольдзейн по чему попало, а потом отнял у жены все украшения и спрятал их в свой сундук. Кривого Газиза он поил самым хорошим кумысом и называл дядей. А Гольдзейн от побоев и слез делалась все больше похожей на свою мать, и Баймаган старался не смотреть на нее.

«Надо избыть Урмугуза, а потом я женюсь на Макен, когда она останется вдовой, — подумал Баймаган. — Гольдзейн пусть служит ей, как раба...»

VIII

Урмугуза не стало. Много так пропадает в степи. Чужие люди обвиняли Баймагана, что он подослал убийц к своему работнику, а сам женился на его вдове.

А Баймаган ничего не хочет знать, что говорят про него люди. Он по целым дням лежит на ковре вместе с Макен, а Гольдзейн прислуживает им, старая, некрасивая Гольдзейн. Но Макен такая печальная, и Баймагана тянет выйти из коша; рядом в коше старого Хайбибулы каждый раз на шум его шагов отодвигается край ковра, которым прикрыт вход, и оттуда смотрят прямо в душу Баймагана два темных глаза, а из-за белых зубов сыплется беззаботный детский смех. Это молодая Аяш смотрит на Баймагана, и у него темнеет в глазах.

«Обманул меня Хайбибула, — думает он, — Макен все думает о своем Урмугузе... Ей скучно со мной».

Не спится по ночам Баймагану, а вместе с ночным холодом ползет к нему в кош ласковый девичий шепот, — о, он знает этот голос, который хватает его прямо за сердце! Нужно было отправить на тот свет не Урмугуза, а старую лисицу Хайбибулу. Будет ему грешить, а Аяш еще молода.

Темнее ночи ходит Баймаган и все думает о старике Хайбибуле, — может быть, старая лисица сам догадается умереть.

Отточил острый нож Баймаган и ночью, как змея, заполз с ним в кош Хайбибулы. Вот уж он слышит ровное дыхание спящей Аяш, а рядом с ней на постели, под шелковым бухарским одеялом, храпит Хайбибула. Баймаган подполз к изголовью и замахнулся, чтобы ударить Хайбибулу прямо в сердце, — он пригляделся к темноте и теперь хорошо различал спавших, — но, заглянув в лицо старику, Баймаган остолбенел: это лицо смеялось своим беззубым ртом, а старческие слезившиеся глаза смотрели на него в упор.

— Ну, чего ты испугался?.. — шепчет Хайбибула, а сам все смеется и смотрит на него. — Делай то, за чем пришел...

Страшная ярость закипела в груди Баймагана, хочет он поднять руку с ножом, но у него нет больше силы, — рука висит, как плеть.

— Убил Урмугуза, убивай и меня, — шепчет Хайбибула. — Аяш моложе твоих жен... Ты умный человек, Баймаган. Ха-ха-ха...

Эти слова ударили Баймагана прямо в голову, и он почувствовал, как на его голове открываются старые раны от лошадиных копыт и как он сам начинает весь леденеть. Жизнь быстро выходит из него вместе с горячей кровью, а старый Хайбибула делался все дальше и дальше, и только далеко-далеко, точно из-под земли, доносился его страшный дребезжащий смех и тот же шепот:

— О, ты умный человек, Баймаган!..

Баймаган крикнул, объятый ужасом, и сам испугался своего голоса, точно это кричал не он, а какой-то другой голос.

— Тише, тише... не шевелись, Баймаган, — шептал над ним голос старой Ужины, и чьи-то руки удерживали его голову.

IX

— Так это был сон?.. — спрашивал Баймаган, когда пришел в себя и увидел, что попрежнему лежит в своем дырявом коше, а около него сидит старая Ужина и уговаривает его, как ребенка.

— Ты сорвал повязки с головы и чуть не истек кровью... — шептала ласково старуха. — Отчего ты так страшно крикнул?..

— Не спрашивай... после расскажу. Я дурной человек... я хуже всех других, Ужина.

Баймаган поправился, но сделался таким задумчивым и печальным, что никто не узнавал в нем прежнего молодца.

— О чем ты думаешь, Баймаган? — спрашивала его Макен.

— Дорогая Макен, прежде я думал всегда

о себе, — отвечал ей Баймаган, — думал, как бы мне устроиться лучше других. А теперь мне жаль всех людей, потому что я все вижу и все понимаю... Да, понимаю все и понимаю то великое зло, какое сидит в каждом человеке и обманывает всех. Мне иногда делается страшно за то зло, которое и в нас и вокруг нас. Я был глуп и ничего не понимал, но за одно доброе слово, которое я сказал несчастной старухе, аллах показал мне мою собственную душу.

Через год Баймаган женился на Макен.

ЛЕБЕДЬ ХАНТЫГАЯ

I

— Где хаким[1] Бай-Сугды? Где лебедь Хантыгая? — спрашивал Бурун-хан своих придворных. — Отчего мои глаза не видят славу и гордость моего государства? Где он, слеза радости, улыбка утешения, свет совести, — где хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая?

Мурзы, беки, шейхи, тайши и князьки, присутствовавшие в палатке Бурун-хана, опустили головы и не смели взглянуть на своего повелителя, точно они все чувствовали себя виноватыми. В сущности они просто боялись огорчить Бурун-хана печальным известием и вызвать его неудовольствие.

— Отчего вы все молчите? — спрашивал Бурун-хан, грозно сдвигая седые брови. — Отчего никто из вас не хочет сказать правды?.. Впрочем, это смешно — требовать правды от людей, которые хотят заменить мне и мои глаза, и мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей слепотой, глухотой и бездеятельностью... Один хаким Бай-Сугды говорил мне правду, а я не вижу его.

Еще ниже наклонились старые и молодые головы мурз, беков, тайшей и князьков, и опять никто не по-

---

[1] Хаким — ученый, учитель. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

смел проронить ни одного слова. Тогда смело выступила вперед красавица Джет, любимая дочь Бурун-хана, и, преклонив одно колено, сказала:

— Отец мой, прости мне мою смелость, что я решилась сказать тебе то, о чем молчат другие...

Седые ханские брови распрямились, морщины на ханском лбу исчезли, грозные ханские глаза глянули весело: разве найдется такой человек, который может рассердиться на красавицу Джет?

— Говори, Джет, моя газель.

— Отец, хаким Бай-Сугды уже давно совсем изменился, так что ты его не узнаешь... Он больше уже не складывает своих чудных песен, которые распевает весь Хантыгай. Да... Хаким Бай-Сугды заперся в своей палатке и никуда не выходит. Вот уже полгода, как он заскучал, а его жены проплакали свои глаза... Кто-то попортил солнце Хантыгая, и оно скрылось за тучу.

Хан опять нахмурился и велел привести хакима Бай-Сугды, а красавица Джет поместилась за шелковой занавеской. Когда старый хаким, с длинной седой бородой, вошел в палатку, девушка тихо заиграла на золотой арфе и запела самую лучшую песню, какую только когда-нибудь сложил Бай-Сугды:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится...

Никто в целом Хантыгае не умел петь лучше Джет, и все лица повеселели, а Бурун-хан посмотрел на хакима с улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тайши, и князьки, как живое зеркало Бурун-хана. Один хаким Бай-Сугды стоял перед ханом, опустив глаза, и на седых ресницах у него повисли слезы.

— Хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая, что сделалось с тобой? — спросил Бурун-хан. — Никто тебя не видит... Может быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Может быть, износилось твое платье? Может быть, твои стада постигло несчастье? Может быть, наконец, ты недоволен мной?..

Поднял голову хаким Бай-Сугды и сказал:

— Всем я доволен, Бурун-хан, и все у меня есть, даже больше, чем нужно одному человеку... Я, как пылинка в солнечном луче, купаюсь в твоей милости.

— Может быть, похолодело твое сердце, хаким Бай-Сугды, и нужна новая пара газельих глаз, чтобы воскресить в нем молодую радость?..

— О, Бурун-хан, у меня семь жен, семь красавиц, и мне достаточно молодых радостей, — с горькой усмешкой ответил седой хаким.

— Что же тебе нужно, Бай-Сугды? Проси все — и я все сделаю для тебя... Ты выше меня, потому что я сейчас хан, а завтра меня съедят черви, а ты умрешь — после тебя останутся живые чудные песни... Ханов много, а хаким Бай-Сугды — один.

— Бурун-хан, у меня есть к тебе просьба: пусть красавица Джет не поет больше моих песен... И пусть другие девушки их позабудут. Когда птица поет беззаботно, сидя на ветке, она не предчувствует близкой беды, не видит беды, не видит коршуна, который ее схватит. Моя зима пришла, а мой коршун уже летает над моей головой, и я чувствую, как веют его крылья...

— Неужели ты, мудрейший из людей, испугался смерти?

— Нет, хан, не смерти я боюсь, а того, зачем я жил так долго... Мое сладкое безумство пело песни, а ненасытное сердце искало новых радостей. Но теперь нет больше песен... Давно углубился я в ученые книги, в это море мудрости, и чем дальше углубляюсь в них, тем сильнее чувствую, сколько зла я наделал своими песнями. Я обманывал их сладким голосом и молодых и старых людей, я сулил им никогда не существовавшие радости, я усыплял душу запахом роз, а вся наша жизнь только колеблющаяся тень промелькнувшей в воздухе птицы... Горя, несчастий, нужды и болезней целые моря, а я утешал и себя и других одной каплей сладкой отравы. Мои песни теперь нагоняют на меня тоску. Бурун-хан, чем больше я читаю мудрые книги, тем сильнее вижу собственное безумство... Отпусти меня, хан! Я пойду в другие государства и найду великих подвижников, которые целую жизнь

провели в созерцании и размышлениях; у них истина жизни, которой я хочу поучиться. Вот моя вторая просьба...

Задумался Бурун-хан: жаль ему стало певца Бай-Сугды, славу и гордость Хантыгая. Что же останется, когда улетит этот лебедь? Но хаким Бай-Сугды так сильно изменился, и путешествие будет для него лучшим лекарством.

— Хорошо, хаким Бай-Сугды, пусть будет по-твоему, — согласился Бурун-хан. — Иди, куда хочешь, но только возвращайся, а пока ты путешествуешь — в Хантыгае не будут петь твоих песен. Иди, отыщи истину и принеси ее нам...

II

Ханство Хантыгай было очень большое, но в нем хаким Бай-Сугды не знал никого, кто был бы его ученее. Он быстро собрался в путь, нагрузил трех верблюдов всем необходимым для далекого путешествия, взял десять человек слуг и отправился в соседнее царство Чубарайгыр, где жил знаменитый хаким Тююзак.

Целых три недели шел караван до границы. Хантыгай и Чубарайгыр много лет воевали между собой, разрушали города, пустошили населенные местности, убивали тысячи людей и тысячи людей уводили в плен. Счастье было изменчиво, а война прекращалась только тогда, когда войска изнемогали, запасы истощались и общая нищета заставляла мириться на время. Ханы уверяли друг друга в дружбе, а сами потихоньку готовились к новой войне, чтобы напасть врасплох. Поэтому, когда караван хакима Бай-Сугды показался на границе, то оберегавшая ее стража сейчас же схватила верблюдов, а самого Бай-Сугды объявила пленником чубарайгырского хана Майчака. Пленника представили прямо хану, но когда Майчак узнал, с кем имеет дело и зачем хаким Бай-Сугды заехал в его государство, то предложил ему богатые дары и отпустил.

— Твои песни, хаким, открывают тебе везде счастливый путь, — сказал хан Майчак, счастливый, что

видел знаменитого певца. — Если бы у меня был твой дар, я бросил бы свое ханство. Бог тебя да благословит. На обратном пути не забудь навестить меня.

Отправился хаким Бай-Сугды дальше. Ему нужно было проехать опасную Голодную степь, где торговые караваны подвергаются нападению степных разбойников. Так случилось и с ним. На третий день пути караван хакима был окружен разбойниками. Они перевязали слуг и принялись развязывать тюки. Хаким Бай-Сугды не сопротивлялся, а спокойно смотрел на их работу. Это удивило разбойников.

— Разве тебе не жаль своего добра? — спросили они. — Кто ты такой?..

— Я хаким Бай-Сугды из Хантыгая.

— Лебедь Хантыгая?..

У разбойников опустились руки. Они навьючили снова верблюдов, развязали слуг и, не воспользовавшись ничем, отпустили знаменитого певца.

— Мы грабим только купцов и богатых людей, — объяснили они в смущении. — Будет проклят тот человек, который вырвет хоть одно перо из белого крыла лебедя Хантыгая... Твои песни открывают тебе счастливый путь.

Когда караван тронулся в путь, один из разбойников запел:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится...

Опять та же песня, и опять она огорчила хакима Бай-Сугды до глубины души, напоминая ему о его прошлом безумии, преследовавшем его всюду, как бежит тень за человеком.

«О, это мое проклятие! — думал хаким Бай-Сугды, закрывая глаза. — Моя песня преследует меня черной тенью».

За Голодной степью начинались дикие горы, в которых жил Тююзак. С величайшим трудом достиг караван до глубокой горной долины, где жил славный хаким. Жилищем ему служила пещера, выкопанная в горе. Путешественники нашли отшельника на берегу

горного ключа: здесь он предавался созерцанию. Хаким Бай-Сугды подошел к нему и поклонился.

— Хаким Тююзак, я пришел к тебе издалека, чтобы напиться от ключа твоей мудрости...

Тююзак с удивлением посмотрел на пришельца своими столетними глазами и строго проговорил:

— Мудрость не возят на верблюдах... Мудрость не нуждается в пышной одежде. Ты только напрасно потерял свое время...

Два дня провел Бай-Сугды у Тююзака в душевной беседе. Он рассказал отшельнику всю свою жизнь: как он был молодым и бедным байгушом и как прославился на весь Хантыгай даром песен; как осыпал его богатством и почестями Бурун-хан, как он сам возгордился своими песнями, которые распевал весь Хантыгай, и как он в конце концов задумался, зачем он прожил свою жизнь, и как ошибся, принимая за счастье его обманчивую тень. Столетний Тююзак, с пожелтевшими от старости волосами, выслушал его внимательно и сказал:

— Вся твоя беда в том, Бай-Сугды, что ты свое счастье искал в чем-нибудь внешнем. Ты рад бы был захватить все стада Хантыгая, все золото, все платье, всех красивых женщин. Но ведь ты не поедешь на десяти лошадях разом, не наденешь десять халатов, не съешь и не выпьешь за десятерых. Твое богатство тебя давило, как ярмо... Вот и теперь, зачем тебе эти верблюды, слуги, тюки с имуществом? Не легче ли тебе идти одному и думать только о себе?

— Ты прав, Тююзак, — согласился Бай-Сугды. — Жаль, что я раньше не подумал об этом.

Он разделил свое имущество между слугами и отпустил их домой.

— Бай-Сугды, ты сделал еще не все, — сказал Тююзак, — ступай в ханство Шибэ, там живет мудрейший из хакимов, Урумчи-Олой... Он тебя научит всему.

От ханства Хантыгая до ханства Чубарайгыра хаким Бай-Сугды ехал три недели, от хана Майчака до хакима Тююзака он ехал тоже три недели, а от хакима Тююзака до хакима Урумчи-Олоя он уже шел пешком целых три месяца. На нем оставалась самая

простая одежда из верблюжьей шерсти, какую носили бедные пастухи, а за плечами в тяжелой котомке он нес необходимые припасы для своего пропитания. Дорога была трудная, горами, лесами, с трудными переправами; но Бай-Сугды все шел вперед, счастливый уже тем, что благодаря Тююзаку освободился от лишней тяжести. В самом деле, для чего ему эти верблюды, слуги и тюки, когда одному человеку так немного нужно?

Хаким Урумчи-Олой, старец ста двадцати лет, жил под открытым небом. Он так оброс волосами, что должен был приподнять свои нависшие, тяжелые от старости брови, чтобы взглянуть на гостя. Длинная борода спускалась до колен. Сквозь рубище выглядывало желтое худое тело.

— Бог да благословит мудрейшего из хакимов! — приветствовал его Бай-Сугды, кланяясь до земли.

Он рассказал Урумчи-Олою про себя все, как и Тююзаку, и еще прибавил, что, кроме богатства, его угнетала страстная любовь к женщинам. Да, Бай-Сугды не мог пропустить ни одного хорошенького личика и лучшие свои песни слагал для обольстительных черных глаз. У него было семь красавиц жен, которых он любил, когда они были молодыми. Что лучше цвета женской молодости, девичьей красоты и покорной ласки темных глаз?.. Теперь он стар, но и сейчас женская красота зажигает в нем молодой огонь страстных желаний. Эта жажда томила его целую жизнь и не получила удовлетворения.

— Что ты ел, Бай-Сугды? — сурово спросил Урумчи-Олой, опуская брови.

— Я ел все, что только мог достать...

— Огонь преступных желаний в нас от пищи... Не ешь мяса, не употребляй пряностей и вина, и он потухнет сам собой. Нужно изнурять свое тело трудом, постом и созерцанием, и только тогда ты приблизишься к истине. Человек, поевший свиньи, сам делается свиньей, а отведавший крови делается кровожадным... Один мужчина не может любить семь женщин, если он будет жить так, как я сказал. Что такое женщина?

Это обман... Он проходит вместе с первой ночью. Посмотри на старую женщину, куда девалась ее красота и то, чему ты слагал свои песни? Но я еще не достиг совершенства, Бай-Сугды... Иди в ханство Катун, там на большой реке спасается великий хаким Эрьгуудзль. От него все узнаешь...

Горько заплакал хаким Бай-Сугды. И Тююзак и Урумчи-Олой сказали ему правду, заглянув на дно его сердца. О, сколько неправды, зла и похотей он носил в себе целую жизнь и разжигал своими песнями в других... Бай-Сугды бросил свою котомку в пропасть, где по ночам выли шакалы, а сам пошел вперед пешком и босой, с одной палкой в руке.

III

От Урумчи-Олоя до Эрьгуудзля хаким Бай-Сугды шел три года. Сколько опасностей он перенес, сколько труда... Пришлось идти через каменистые горы и страшным лесом. Одежда давно износилась и висела лохмотьями, сквозь которые сквозило пожелтевшее, высохшее тело, а ноги были покрыты глубокими ранами. Но все перетерпел хаким Бай-Сугды, чтобы достигнуть совершенного из людей и услышать от него слово последней мудрости. Питался он дикими плодами, кореньями и травой, как дикий зверь, и успел позабыть, какой вкус у мяса, сладких вин и сладких плодов. Несколько раз он лежал больной в лесу один и со смирением ждал своего смертного часа. Но богу было угодно, чтобы его подвиг наградился успехом. Это было в конце третьего года, когда уже стояла весна и все кругом цвело и ликовало. Хаким Эрьгуудзль жил на берегу громадной реки Чэчэ, и хаким Бай-Сугды заплакал от радости, когда издали увидел ее светлые воды, покоившиеся в зеленых берегах. Место было самое красивое, какое только можно себе представить.

— Бог да благословит хакима Эрьгуудзля! — сказал хаким Бай-Сугды, приближаясь к шалашу из пальмовых листьев.

Ему навстречу вышел свежий еще старик с красивым лицом, в чистой одежде и с крепким телом. Именно такого старика хаким Бай-Сугды не ожидал встретить.

— Ты устал? Ты хочешь есть? Ты истомился жаждой? Ты нуждаешься в одежде? — спрашивал Эрьгуудзль, ласково улыбаясь. — Вот река Чэчэ, сначала ступай напейся и умойся...

— Я хаким Бай-Сугды, из Хантыгая, — говорил Бай-Сугды в смущении. — Мое прозвище: лебедь Хантыгая...

— Так это ты тот самый Бай-Сугды, который сложил песню:

Алой розой смех твой заперт...

О, я рад тебя видеть, лебедь Хантыгая, и позволь мне омыть твои израненные ноги, одеть тебя в новое платье и поцеловать, как дорогого гостя. Твои чудные песни долетели и до меня, как залетают редкие птицы в далекие страны.

Они пришли к реке, и хаким Бай-Сугды с жадностью припал к светлой прохладной влаге. Эрьгуудзль смотрел на него и улыбался. Когда Бай-Сугды утолил жажду и поднялся на ноги, Эрьгуудзль с удивлением его спросил:

— Что же ты, лебедь Хантыгая? Ведь тебя томила смертная жажда, а ты не выпил даже этой реки.

Бай-Сугды подумал, что хаким шутит, и ответил:

— Все мы, когда томит нас жажда, думаем, что целое море воды не утолит ее.

Хаким Эрьгуудзль ласково засмеялся и указал на дикую козу, которая на берегу реки общипывала молодой куст.

— Как ты думаешь, лебедь Хантыгая, вырастет это дерево, если коза каждый день будет приходить и общипывать самые свежие листочки? — спросил он.

— Нет, оно засохнет...

Хаким Эрьгуудзль опять засмеялся, а хаким Бай-Сугды задумался.

Так они прожили три дня. Хаким Бай-Сугды успел отдохнуть, освежился и переменил свое рубище на чистую одежду. Он нарочно ничего не говорил о цели своего путешествия, ожидая первого слова от Эрьгуудзля, а хаким делал такой вид, что точно давно ожидал Бай-Сугды и рад его видеть, как брата. Только на четвертый день Эрьгуудзль заговорил:

— Лебедь Хантыгая, тебе можно сейчас отправиться домой: ты отдохнул, подкрепил себя пищей и прикрыл тело новой одеждой... Мне не хотелось огорчать тебя, что ты напрасно потерял столько времени и перенес столько трудов и опасностей; тебя привела сюда твоя гордость и желание быть лучше других. Иди домой и пой свои песни... Каждая слеза, осушенная твоей песнью, и каждая улыбка радости, вызванная ею, — такое счастье, о котором не смеют мечтать и ханы. Да, тебя привела сюда твоя гордость, которой ты и сам не замечал... Она помрачила твое светлое око, и мир тебе показался темным. Ты надеялся на свой ум, но это самый лукавый из слуг, который старается подать тебе то, чего ты еще не успел пожелать... Счастье наше в одном дне, а правда жизни в своей совести. Ведь жизнь так проста, хаким Бай-Сугды, и ее смысл совсем не в том, что̀ ты будешь есть или во что будешь одеваться. Голодный и голый человек не сделается справедливее оттого только, что он гол и голоден.

— Все это я понимаю, хаким Эрьгуудзль, и согласен с тобой, — отвечал Бай-Сугды, — но как же спать спокойно, когда вся наша жизнь ничто перед смертью... Никакая добродетель, никакой ум, слава и красота не спасают от уничтожения.

Хаким Эрьгуудзль весело рассмеялся.

— Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не существует... Смерть — это когда ты думаешь только об одном себе, и ее нет, когда ты думаешь о других. Как это просто, лебедь Хантыгая!.. Созревший плод падает на землю — разве это смерть?..

И просветлела душа Бай-Сугды от этих простых слов, и понял он то, чего не досказал хаким

Эрьгуудзль: испугала его своя старческая слабость, затемнившая на время свет сердца...

Через десять лет вернулся лебедь Хантыгая домой, и пронеслись по всему ханству его новые песни, как прилетевшие весной птицы: он пел о счастье трудящихся, о счастье добрых и любящих, о счастье простых... Эхом повторяли эти песни и пастухи в степи, и пахарь за плугом, и молодая девушка за прялкой, и старики, согревавшие свое холодевшее тело около огня.

МАЙЯ

Легенда

I

Шум жестокой сечи стихал... Разбитый наголову неприятель бежал, оставив победителю родной город Гунхой. Часть победителей порывалась в погоню, без пощады убивая всякого, а другая часть, с ханом Сарымбэть во главе, приготовлялась занять открытый город. Издали это был настоящий пчелиный сот из низеньких белых домиков с плоскими кровлями, глухими белыми стенами и узкими грязными уличками. Отдельно возвышались куполы мечетей и стройные иглы минаретов, отдельно стоял дворец бежавшего хана Олоя, потонувший в зелени садов.

— Пленных не будет, — говорил молодой хан Сарымбэть, подъезжая к городским воротам. — Победу дает аллах... Город будет могилой для тех, кто был нашим врагом больше ста лет. Развалины покажут нашим потомкам, как мы умели мстить нашим врагам. Пленных не будет, а победу дает аллах.

Красив хан Сарымбэть, молод, полон отваги, — настоящий молодой лев, который в первый раз отведал горячей крови. Но жестокие слова сказал не он, а их придумала старая голова главного ханского советника Кугэй. Беззубый старик точно для того прожил

восемьдесят лет, чтобы внушить молодому хану жестокие слова.

— Так нужно, хан, так нужно, — шамкал старик, едва держась в своем мягком седле. — Аллах дает победу, но нужно уметь ею воспользоваться... Недаром наша кровь лилась целых сто лет. Огонь гасят огнем, а кровь кровью.

Хищный старик заметил колебание на лице молодого хана, в его глазах мелькнула жалость, и Кугэй залил ее ядом своих старых слов.

Молча махнул рукой хан Сарымбэть, и тысячи всадников ринулись грабить беззащитный город, в котором оставались старики, женщины и дети. С гиком неслась страшная смерть... В городе некому было даже защищаться, а только протягивались беззащитные руки с мольбой о пощаде. Но ханское слово — закон, и пустела одна улица за другой, каждый шаг вперед усеян был трупами, а по канавам лилась кровь, как вода. Кто умирал под ударом сабли, кто был приколот пиками, многие растоптаны лошадиным копытом, а детей разбивали головками о каменные стены родных домов. Это была настоящая бойня, целый ад... Тысячи людей столпились на базаре, в мечетях и около мечетей — их и убивали тысячами, точно человеческую жизнь косила острая коса, а смерть висела в воздухе.

Хан Сарымбэть смотрел на побоище из своей ставки и слышал только отчаянные вопли, заглушаемые веселым гиканьем победителей. Восточная часть города уже горела и некому было тушить огонь. Показалось облако дыма и в противоположной стороне.

— Я хочу видеть город, — заявил хан Сарымбэть.

Старый Кугэй нахмурился, но спорить не смел.

Хан Сарымбэть въезжал в Гунхой, окруженный блестящей свитой, точно всходило утреннее солнце. Несчастный город был завален трупами, залит кровью, лютое пламя довершало жестокое дело человеческих рук. Не смущалось сердце хана пылом кровавой сечи, когда он летел впереди других, а тут и он задумался, когда редкой красоты его боевой конь начал храпеть и шарашиться в сторону при виде теплых трупов. Убитые старики, женщины и дети загораживали дорогу.

Белые стены сбитых из глины домиков были обрызганы кровью. Лошадь хана фыркала и дрожала. Сам хан Сарымбэть опустил голову, пораженный страшной картиной всеобщего избиения. А там — заваленный трупами базар, площадь перед мечетью... трупы, трупы и трупы.

Оставался нетронутым один ханский дворец, оцепленный стражей. В нем было тихо, как в могиле.

— Едем назад, — сказал Кугэй.

Но тут случилось что-то необыкновенное. Из дворца вырвалась целая толпа женщин и бросилась навстречу молодому победителю. Они бежали с распущенными волосами, обезумев от страха, бросались ниц, моля о пощаде. Другие хватались за стремена и целовали ханские ноги, полы его халата, его кривую саблю.

— Бей! — скомандовал Кугэй.

Началось избиение... Это было самое ужасное, что только видел хан Сарымбэть. Женщин и детей топтали лошадьми, резали и кололи. Вид этой резни отуманил и его голову. Ведь эти женщины — матери, жены, сестры и дочери его исконных врагов, они родили проклятое племя гунхой, они призывают своими воплями и слезами только свою бессильную ненависть к нему, они, вот эти женщины, выкололи глаза его деду, попавшемуся в плен, то есть их бабушки, они народят еще несметное число его врагов, а счастье переменчиво. Вперед!.. Ханский конь врезался в живую толпу, а ханская сабля косила головы направо и налево. О, разве может быть счастье больше, как видеть поверженного в прах своего злейшего врага и наслаждаться его предсмертным хрипением... Вперед! Бей! Пленных не будет...

Ханский скакун вылетел вперед и вынес его к дворцу. Вот оно, это проклятое гнездо. Хан Сарымбэть в пылу погони на коне въехал прямо во дворец. Здесь тоже было много женщин... Одни лежали ниц, другие, стоя на коленях, поднимали кверху маленьких детей... Нет никому пощады! Кугэй ворвался во дворец следом за ханом, и началась страшная резня.

— Бей... бей... бей!..

В одной из дальних комнат дворца хан увидел сидевшую на ковре молодую женщину поразительной красоты. Она сидела, обняв колени руками, и не шевелилась, не молила о пощаде, не плакала, а с достоинством ждала своей смерти. Старый Кугэй, задыхавшийся от кровавой работы, подбежал к ней и уже замахнулся саблей, но хан Сарымбэть протянул руку.

— Кто ты, женщина? — тихо спросил он.

— Я — Майя.

Она даже улыбнулась и злобно посмотрела на него своими темными, как ночь, глазами. Кугэй скрежетал зубами от ярости. А хан Сарымбэть сделал уже знак, что дарует жизнь смелой женщине, позабыв собственный приказ о всеобщем истреблении.

II

Город Шибэ торжествовал, ожидая возвращения победителей. Да, проклятое племя гунхой было уничтожено, город Гунхой срыт до основания, и не осталось в нем камня на камне. Такова воля аллаха... Племя шибэ и племя гунхой враждовали издревле, как враждует собака с волком, и вот свершилось то, чего не могли предугадать самые умные. Гунхоя нет, а есть Шибэ...

Возвращавшийся в свою столицу хан Сарымбэть был встречен, как молодой месяц. Многотысячная толпа ликовала, везде горели веселые огни, слышались веселые песни и клики радости.

— Да живет хан и да радуется ханское сердце!..

Грустен возвращался один старик Кугэй. Воля аллаха не была исполнена, и ханское слово изменило самому себе. Много добычи взяли с собою войска, и великая радость ожидала их у себя дома. Но старого Кугэя беспокоила пленница, которую везли вместе с добычей в Шибэ. И для чего она понадобилась хану Сарымбэть? Разве не стало у него своих женщин: тридцать жен, тридцать прислужниц — можно еще столько же добыть. Так нет, увидел Майю и везет ее к себе, точно сокровище.

— Майя была наложницей Олой-хана, — шептал Кугэй хану Сарымбэть, чтобы возбудить в последнем чувство ревности.

— Знаю... — коротко отвечал молодой хан. — Ты можешь прибавить, Кугэй, что Майя во дворец попала уже не девушкой. Она попала пленницей... Ее муж — степной батырь.

— Ее муж, хан?.. Вот цветок расцветает в поле и дает плод, — разве у него есть муж?.. Не один батырь был у Майи... Она переходила из рук в руки, как старая монета.

— Старые золотые монеты ты сам любишь, Кугэй... — смеялся хан. — Они имеют только один недостаток, именно, принадлежат только тому, кто их держит в руках.

Шибэ веселился, а Майя сидела в ханском дворце и горько плакала. Да, у нее теперь явились и слезы... Зачем она не умерла вместе с другими?.. Страшно жить... Она часто просыпалась ночью и вздрагивала: перед ее глазами проносилась ужасная картина. Отчаянный крик матерей, защищавших своих детей, стоны раненых, мольбы о пощаде и смерть, смерть, смерть...

У Майи было свое отдельное помещение во дворце, куда никто не смел входить, кроме хана Сарымбэть. Да, он пришел к ней, но не как к пленнице, а как слуга.

— Не нужно ли тебе чего-нибудь, Майя? У тебя заплаканные глаза... Может быть, с тобою дурно обращаются?..

Майя сделала отрицательное движение головой.

— Может быть, ты оплакиваешь хана Олоя? — тише спросил Сарымбэть.

— Нет...

— Что же тебе нужно?..

— О, если бы у меня было столько глаз, сколько у ночи звезд, то и тогда я не выплакала бы всего своего горя... Вот ты радуешься, ты счастлив, а мне тебя жаль. Оставь меня с моим горем... Тебе — радость, мне — горе.

— Знаю, ты оплакиваешь своего батыря! — гневно сказал Сарымбэть. — Женщина принадлежит только тому, кто первый ее взял... И всей крови, пролитой в Гунхое, не хватит на то, чтобы смыть с тебя одно имя твоего батыря. Я все знаю, Майя...

— Убей меня, хан! Я желаю умереть...

Заскучал молодой хан Сарымбэть, и ничто ему не мило. Так и тянет его к Майе, а пришел туда и — слов нет. Чужими глазами она смотрела на него... Не то ему было нужно. Самому себе удивляется хан Сарымбэть, — так приворожила его полонянка Майя. Да, и ночью он ее видит, и протягивает руки, и говорит ласковые слова, а днем смелость оставляет его, и хан бродит по своим садам, как потерянный. Не мил ему и собственный дворец, не милы и любимые жены, и охота, и всякие другие удовольствия. Ничто не мило хану, и ходит он по собственному дворцу, как тень.

— Майя... Майя...

Иногда он сердится на нее, припоминая ее батыря и хана Олоя. «Да, ты вот кого любила, Майя... Ты думаешь о своих любовниках. О, змея, змея... Мало было убить тебя, а нужно замуровать живой в стену. Нужно отрубить руки, обнимавшие батыря, вырвать язык, лепетавший любовные слова, выколоть глаза, глядевшие на хана Олоя ласково... вырвать живым это змеиное сердце, бившееся для других!» — И много таких жестоких мыслей роится в голове хана, а увидит Майю, оробеет сам, чувствуя, как бессилеет тело и путаются мысли в голове.

— Ты меня спрашивал, что мне нужно, — проговорила однажды Майя, глядя на него своими темными глазами. — Да, мне нужно... Когда я умру, похорони меня в степи, в вольной степи, где гуляет вольный степной ветер... Есть там озеро Кара-Куль: на его берегу похорони меня. Не нужно мне ханской могилы, не нужно тяжелых камней на могилу.

— Все будет исполнено, Майя, но зачем ты говоришь о смерти?..

— О, я скоро умру, хан... я знаю это.

И опять молчит Майя, только смотрит на молодого хана своими большими глазами. Жутко сделалось

хану Сарымбэть, опустил он свои глаза и чувствует только, как замирает в груди его собственное сердце. Приворожила его Майя... Ах, если бы она хоть раз взглянула на него ласково — он сам готов умереть. Но смотрит Майя попрежнему чужими глазами...

Старый Кугэй давно заметил, как изменился хан Сарымбэть. Похудел, сделался задумчив, перестал улыбаться и не желал ни с кем говорить.

— Скучает хан... — говорил вкрадчиво хитрый старик. — Позволь старому Кугэю зайти к Майе, и он вышиб бы из нее своей нагайкой память о батырях и хане Олое... А любовь Майи в твоих руках. Когда я был молод, то брал любовь силой!..

— Ах, не то... — стонал хан Сарымбэть. — Мало ли у меня своих красавиц? Не то, старый Кугэй... Ты поглупел от старости.

— Я поглупел?.. — смеялся зло старик. — Я поглупел, старый Кугэй? А кто говорил тебе, чтобы не брать пленных из Гунхоя? Вот теперь ты сам сидишь в плену у ничтожной пленницы... И какой хан — молодой, красивый, храбрый! Хочешь, добудем десять новых красавиц, десять новых жен... Одна другой краше, как цветы в поле, а Майя пусть им служит. Вот как сделаем, хан, а ты говоришь: «Кугэй — старый дурак».

III

Так прошло полгода, а через полгода гордые глаза Майи опустились сами собой, когда вошел к ней хан Сарымбэть.

— Что с тобой, Майя? Ты нездорова?

Она отвернулась.

— Майя...

— Нет больше Майи... Зачем ты пришел сюда? Уходи к своим женщинам... Там каждый взгляд куплен, каждая улыбка — насилие. Они всё готовы сделать для своего повелителя, потому что рабыни не телом, а всей душой. Они ждут тебя... иди!..

Радостно забилось сердце хана Сарымбэть. Это были знакомые ему слова женской ревности. Майя

начинала его любить и сердилась на самое себя. Да, вот это не берется ни насилием, ни деньгами. О, велика сила любви, и приходит она против воли человека, как пожар.

Тихо подошел хан Сарымбэть к Майе, обнял ее и прошептал:

— Я давно тебя люблю, Майя... Люблю с первого раза, как увидел.

Задрожала Майя, как молодая зеленая травка, закрыла глаза и ответила:

— Твоя любовь убьет меня... Я это чувствую.

— Ты скажи, Майя: ты любишь меня?

У нее не было слов, а только протянулись теплые руки, и счастливое лицо спряталось на груди хана.

На другой день Майя сказала хану:

— Я тебя вчера любила, а сегодня ненавижу...

— За что же, моя радость?

— А помнишь, как ты истреблял Гунхой? Я смотрела в окно, когда ты своим конем топтал беззащитных женщин, и вот эта рука рубила женские головы... Да, я тебя ненавижу и вместе с тем люблю... Меня приводит в ужас это двойное чувство.

— Того хана уже давно нет, Майя, как нет и Гунхоя. Такова воля аллаха... Он дает и победу и счастье. Да и чего тебе жалеть: ты была только пленницей у Олой-хана...

Майя гордо выпрямилась и посмотрела на хана потемневшими глазами.

— Я была пленницей Олой-хана, но не любила его... А вот тебя люблю, и в том моя погибель.

— И моя, Майя...

Каким счастьем пахнуло на хана Сарымбэть!.. Не было ни дня, ни ночи, а одно только счастье. Смеялась Майя — и он смеялся, хмурились ее темные брови — и он хмурился. Она думала, а он говорил, — и наоборот. Они читали мысли друг у друга в душе, и это даже пугало их. Иногда Майя задумывалась, и хан Сарымбэть хмурился, точно над их головами проносились тяжелые тени.

— Майя, о, я знаю, о чем ты думаешь!..

Он скрежетал зубами и падал на подушки в бес-

сильной ярости, чувствуя, что много есть такого, что не в состоянии вырвать даже любовь. Ах, как много... Майя чувствовала его мысли, и лицо у нее бледнело, точно она умирала. Да, она страдала и за себя и за него, и чем была счастливее, тем сильнее мучилась.

— Майя, не думай ни о чем, — утешал ее хан Сарымбэть. — Что было, то прошло, а я счастлив настоящим... О, как я счастлив, Майя!.. Я до сих пор даже и приблизительно не знал, что такое любовь...

Хан Сарымбэть часто говорил и думал о счастье и все-таки не знал, что такое счастье... Здоровый не чувствует в полном объеме своего здоровья, так и счастливые люди. Он даже потерял счет времени, а оно шло так быстро, как колесо, которое катится по хорошей дороге.

Раз Майя припала своей красивой головкой к груди хана и, краснея, проговорила:

— Мой повелитель, мое счастье, моя радость, я тебя подарю скоро величайшим счастьем, каким только может подарить любимая женщина... Твоя радость отпечаталась в моем сердце, и я тебе подарю маленького хāна. Да... Подарю, а сама умру. Я это чувствую...

— Майя, свет моих глаз, дыхание моих уст, что ты говоришь?!

— Да, да... Воля аллаха неисповедима, и ты скоро будешь отцом. Помни, что ты похоронишь меня в степи, на берегу Кара-Куль, где носится вольный степной ветер. Это мое последнее желание...

Задумался хан Сарымбэть и потом засмеялся. Все женщины боятся родов, но ведь родят же бедные и больные женщины, а его Майя будет окружена и лучшим уходом и всякими удобствами. Все, что можно купить или достать силой, — все будет у Майи...

Майя не обманулась. Она готовилась быть матерью, и счастливый хан Сарымбэть ухаживал за ней вдвойне, как не ухаживала бы за ней родная мать. О, он все делал для нее и спал в ее комнатах, как последний раб, чтобы ничто не нарушало покоя царицы Майи. Да, она была царица вдвойне... Как он караулил ее сон, как угождал малейшей ее прихоти и

как был счастлив! Ожидаемый ребенок должен был покрыть собою все прошлое Майи, и с ним рождалась новая жизнь.

— Ты меня забудешь... — говорила грустно Майя со слезами на глазах. — У тебя столько красивых женщин, а Майи не будет. Только одна ее тень пронесется вот здесь, где она была так счастлива... Помни это, хан, и впредь всякая твоя радость будет отравлена. Вот здесь будет незримо бродить моя тень... Здесь я была счастлива своим коротким счастьем.

Не верил хан этим тяжелым предчувствиям, а случилось именно так, как думала Майя.

Она родила хану наследника, а сама умерла на другой день.

Хан не отходил от ее постели и, когда она лежала мертвою, все смотрел на нее. Даже холодная рука смерти пощадила эту царственную красоту. Никогда Майя не была еще так красива, как мертвая, — лицо такое строгое, бледное, точно выточено из слоновой кости.

— Майя... Майя... Майя... — повторял хан Сарымбэть, хватаясь за голову. — Моя Майя... Моя дорогая... Майя, ты не слышишь, не слышишь меня?!.

Майя уже ничего не слыхала.

За ханом ухаживал один старый Кугэй и повторял:

— Такова воля аллаха, хан... Мы все умрем...

— Отчего же не ты умер, а умерла она, моя Майя?.. — стонал хан, ломая руки. — Ты, старая гнилушка, живешь, а Майя умерла... Нет справедливости на земле. Я не верю аллаху...

Старый Кугэй в ужасе затыкал уши от такого богохульства и закрывал глаза.

IV

Похоронили Майю на высоком берегу озера Кара-Куль, и вольный ветер насыпал над ней могилу.

Хан Сарымбэть каждый день просыпался в слезах и в слезах засыпал. Его молодое сердце умерло вместе с Майей, закрылась радость, погас яркий свет, —

ничего не осталось у хана, кроме глаз, чтобы оплакивать свое черное горе. Опостылел ему и дворец, и зеленые сады, и красавицы жены. Нет Майи, и ничего не нужно хану... Нет Майи, слышите?..

Единственное утешение осталось хану: каждое утро он уезжал на могилу Майи. Приедет, пустит коня пастись, а сам сидит на могиле, горько плачет и все зовет ее, Майю.

— Майя... Майя... Майя... Слышишь ли ты меня? Ведь я здесь, я с тобой... Смерть нас разлучила, но она же и соединит нас. Рядом я лягу с тобой, Майя... Дорогая, родная Майя, я здесь... Горлинка моя, свет мой, я здесь!..

Громко кличет молодой хан Майю, а ветер разносит его жалобу, — один вольный степной ветер слышит ханское горе, да зеленая степная трава, да ясные зори. И ни от кого не получал ответа хан... Один он со своим горем.

По целым часам сидит хан на крутом берегу и смотрит на шелковую гладь степного озера, обложенную зелеными ресницами камышей, точно рамой из дорогого рытого бархата. Давно ли он ездил сюда на охоту, и радовалось ханское сердце молодецкой забавой, а теперь ничего не нужно хану. Майя, Майя... Все ты унесла с собой, а оставила одно черное горе. Хан Сарымбэть, слышишь ли? Какой хан — нет и хана, как нет Майи, а ходит одно черное горе, и плачет, и жалуется. Нет хана — это люди придумали. Если бы он был сильнее других, то удержал бы Майю, отогрел ее холодевшие руки своим дыханьем, раскрыл своими поцелуями ее чудные глаза и теплотой своего сердца согрел эту грудь... Ведь живут же другие женщины?.. Ах, Майя, Майя... Нет Майи, нет и хана!..

Так прошел и год, и другой, и третий.

Попрежнему горюет хан Сарымбэть, попрежнему ездит на могилку Майи и попрежнему плачет над ней и громко зовет ее, Майю, и попрежнему не получает ответа. Похудел, постарел хан, точно прожил тридцать лет, а в бороде уже серебрится седина. Хан Сарымбэть старится, а молодой хан, сын Майи, растет: в нем

проснулась красота матери. Но не радует хана и любимый сын... Тошно ему у себя во дворце, скучно, все надоело.

— Кугэй, старая лисица, мне надоело быть ханом, — сказал Сарымбэть своему старому советнику. — Да, надоело... Я оставляю вам ханом сына Майи, а сам уйду. Нет моих сил больше... Какой я хан, когда не мог сохранить посланную мне аллахом жемчужину.

Низко поклонился хитрый Кугэй, счастливый тем, что мог управлять всем, пока ребенок-хан подрастал. У всякого были свои мысли...

Так и ушел хан Сарымбэть из Шибэ, распустив жен и оставив все сокровища. Даже не взял он с собой лишней пары одежды. Для чего?.. Ведь и хан и последний нищий одинаково будут лежать в земле, для чего же обременять себя лишним платьем? Так и сделал хан: надел рубище дервиша, взял его кошель и палку и ушел из Шибэ.

Поселился Сарымбэть на берегу Кара-Куль, около могилы Майи. Выкопал землянку и живет как отшельник. Перечитал он все мудрые книги, долго и много молился и тысячу раз передумал всю свою жизнь, полную легкомысленных радостей, суетных желаний и мыслей. Он не видел той пропасти, которая была сейчас под ногами...

Каждый день, каждый час, проведенный с Майей, был сокровищем, а он его не замечал, ослепленный собственным счастьем. И так все люди живут, обвеянные счастливой слепотой...

Жил Сарымбэть на берегу Кара-Куль до самой смерти, пока не сделался седым и дряхлым стариком. К нему приходили издалека, чтобы поведать какое-нибудь горе и научиться мудрости. Да, состарился Сарымбэть, и глаза уже плохо видели, а он все оплакивал свою Майю, точно она умерла только вчера. Ведь она открыла ему свет жизни, она отдала ему сердце и душу, и проснулось его сердце...

— Майя, слышишь ли ты меня? — повторял он каждый день над могилой своей возлюбленной. — Уж

скоро я приду к тебе, Майя, мое счастье, моя радость... Скоро, скоро!..

Сарымбэть вырыл себе могилу рядом и спал в ней, чтобы быть ближе к ней, к Майе.

Раз он молился и слышит незнакомый голос:

— Хан Сарымбэть...

— Нет здесь никакого хана, а нищий Сарымбэть.

— Ты меня не узнаешь?

Посмотрел Сарымбэть — перед ним стоял старый-старый человек с пожелтевшей от времени бородой.

— Я — хан Олой...

— А, это ты... Что же, садись рядом: места довольно.

Они долго сидели и молчали.

— Сарымбэть, много ты пролил напрасной крови, но и искупил ее своим подвижничеством. Я пришел мириться с тобой...

Заплакал Сарымбэть, припоминая истребление Гунхоя, и сказал:

— Похорони меня рядом с Майей, хан Олой... Я завтра умру. Видел я здесь на озере чудо. Когда я был ханом и ездил на озеро на охоту, то убил лебедушку. Чудная птица лебедь... Когда я переселился сюда, то лебедь, оставшийся без лебедушки, каждую весну прилетал сюда и каждое утро выплывал на озеро и жалобно кликал свою лебедушку. Тридцать лет он прилетал, тридцать лет горевал, а в последний раз прилетел, поднялся высоко-высоко и грянулся оземь. Я это видел и подумал, насколько человек хуже даже глупой птицы... Моя Майя открыла мне глаза, и я знаю только одно счастье, чтобы похоронили меня рядом с ней.

Сбылись слова праведного человека: когда хан Олой проснулся на другой день, Сарымбэть был уже мертв. Бывший смертельный враг похоронил его рядом с Майей.

Так было, и сейчас на высоком берегу озера Кара-Куль красуется двойная могила хана Сарымбэть с красавицей Майей. Издалека приходят люди, чтобы поклониться их праху: так любили они друг друга... Ровно через сто лет племя гунхой напало на Шибэ и

разрушило город, как прежде был разрушен Гунхой: то сделал внук Олой-хана. Все было истреблено, выжжено и разрушено. Но даже враги не тронули могилы Майи, а внук хана Олоя сам приехал посмотреть святое место и прослезился.

— Хан Сарымбэть показал, как нужно любить, — сказал он. — Все проходит, разрушается, исчезает, а остается одна любовь...

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ОТ УРАЛА ДО МОСКВЫ

Путевые заметки

I

ЕКАТЕРИНБУРГ—ТАГИЛ

Мне случилось в последний раз безвыездно прожить в Екатеринбурге около четырех лет, в течение которых я настолько привык к этому городу и сроднился с ним, что минута расставанья была более чем тяжела. Поезд отходит в 12 часов дня. В последний раз взглянув на картину города, как на ладони раскинувшегося на протяжении нескольких верст, я в сотый раз залюбовался этой великолепной панорамой домов, садов, церквей и точно гревшегося на солнышке Новодевичьего монастыря; что-то полное деятельности, энергии и предприимчивости чувствовалось в этой картине города, с тридцатитысячным населением, заброшенного на рубеж между Европой и Азией. Можно было различить с платформы вокзала некоторые выдававшиеся своей оригинальной красотой здания, например, знаменитый харитоновский дом с громадным садом, составляющий для Екатеринбурга нечто вроде акрополя или кремля. Дальше виднелись потонувшие в зелени садов палаты магнатов-золотопромышленников, заводчиков, именитого купечества и крупных деятелей по разным отраслям обрабатывающей и добывающей промышленно-

сти. Вообще среди русских городов по красоте своего местоположения Екатеринбургу принадлежит не последнее место, если особенно обратить внимание на его живописные окрестности — Верх-Исетский завод, Уктус, Шарташское озеро. Нужно отметить еще тот многознаменательный факт, что хотя Екатеринбург основан в 1722 году, но почти через 100 лет, именно в 1813 году, в нем считалось всего около четырех тысяч жителей (всех домов было 455; из них только 2 каменных), — следовательно, Екатеринбург в настоящем своем виде есть создание исключительно девятнадцатого века, как результат взаимодействия целой системы причин: развития горного дела, золотопромышленности, торговли, ремесл и т. д. Уральская железная дорога и проектированная Тюменская будут последним словом для Екатеринбурга; они дадут ему возможность развернуть свои производительные силы во всю ширину.

Вокзал был полон народа. Самое здание его устроено в русском вкусе и поражает своим великолепием, так что трудно даже сравнить московские, петербургские и нижегородские вокзалы с этим произведением г. Губонина: низкие своды, вычурные колонны, высокие коньки, массивная дубовая мебель — словом, все на широкую ногу. Господа строители Уральской дороги, кажется, задались специальной целью поразить нас контрастом сравнительно с убожеством станционных домов блаженной памяти Сибирского тракта, вонью и грязью постоялых дворов и номеров для гг. проезжающих; но они, кажется, пересолили, потому что мы, пожалуй, и не оценим хорошенько всей роскоши игрушек-вокзалов, красивых станций, цветников, фонтанов и прочих затей, особенно принимая во внимание те дефициты, которыми уже успела подарить нас Уральская дорога в первые же годы своего существования. Конечно, нельзя не согласиться, что тепло и уютно живется разным железнодорожным инженерам, управляющим, начальникам станций и т. д., но кто же будет покрывать дефициты Уральской дороги? Полумиллионная субсидия, в которой нуждается, по газетным известиям, Уральская дорога

для покрытия своих передержек и недодержек, должна тяжело отозваться не только на бюджете министерства путей сообщения, но и в общем государственном приходо-расходе.

Собравшаяся на вокзале толпа представляла из себя самую пеструю картину: были тут и горные инженеры, и адвокаты, и тузы-золотопромышленники, и купцы, и студенты — всякого жита по лопате. В одном углу, как пчелы, облепили отъезжавшего артиста дамы и девицы; в другом сбились в кучку ехавшие с Крестовской ярмарки казанские татары. Походив несколько минут среди этой жужжавшей и волновавшейся толпы, я поскорее прошел в вагон третьего класса, чтобы занять место у окошечка.

— А вот отличное местечко, — проговорил высокий старик с жиденькой русой бородой, указывая на свободную скамью против себя.

Я поместился у окна и от нечего делать принялся рассматривать бродившую по платформе публику. Какой-то толстый красный господин в маленькой круглой шапочке торопливо бежал маленькими шажками вдоль линии вагонов, за ним на приличном расстоянии без шапок, как тени, безмолвно следовали двое железнодорожных служителей, предупреждая малейшее его желание, угадывая каждый жест. Меня заинтересовала эта характерная группа.

— Это золотопромышленник Б*, — объяснил мой сосед. — Вишь, как за ним ухаживает прислуга-то... Точно за кладом каким ходят. Ах, господи, господи! Что деньги-то, подумаешь, делают... А год назад тот же Б* идет по платформе, так никто и не замечает, а которые приятели были, так те еще в сторону норовят.

— Почему так?

— Самое простое дело: тогда Б* был банкрот, а теперь Б* скоро в миллион влезет. Именно можно сказать, что господь испытал его, как Иова: все отнял и возвратил сторицею. У него прииски под Кушвой, и такое золото идет, такое золото! По пуду в неделю намывает... Только, чтобы добраться до него, Б* по уши влез в долги, бился три года, а напоследок,

пожалуй, и трех рублей задумывался где достать. А золота все нет как нет: шахту за шахтой бьет, паровыми машинами воду откачивает — нет золота, и кончено. Доведись до всякого другого — давно бы плюнул на все дело, а Б* все работает. И что бы вы думали? Из точки в точку, когда уж и работать больше нечем, и занять негде — вдруг кварцевая россыпь, а в ней золото так гнездами и насыпано. Чем дальше, тем больше. В один год Б* пятьсот тысяч долгу заплатил, а другие пятьсот в карман себе положил... Посмотрите, вон он по трехрублевой бумажке прислугам дает. Уж они его и знают же... Ведь простые мужики-с, а как то есть скоро в понятие входят, особливо по части денег: по духу слышат, у кого радуга в кармане заведется.

Когда поезд двинулся, мой спутник с каким-то умилением воскликнул:

— Ах, господи, господи! Этакая красота... Ведь этаких городов поискать-с.

Действительно, Екатеринбург в последний раз мелькнул перед нами во всей своей красоте, утопая в мягком золотистом свете осеннего солнца. Скоро по сторонам дороги замелькали телеграфные столбы, сторожевые будки и редкий сосновый лесок, каким-то чудом сохранившийся здесь. Поезд с подавленным грохотом и монотонным постукиванием мчался по низкой равнине; на западе едва виднелись неясные силуэты Уральских гор. Промелькнула красивым извивом р. Исеть, на которой построен Екатеринбург; вдали блестело на солнце большое озеро. Близость Урала чувствовалась во всем; но особенно резко проявлялась она в характере лесных пород: сосна быстро исчезала, уступая место траурным еловым лесам, пихтам и рябине. Екатеринбург составляет вообще самую резкую климатическую границу: на запад от него идет угрюмая неприветливая северная природа — почва глиниста, песчана или камениста, попадается много болот и озер, хвойный лес господствует; на восток, всего на расстоянии нескольких верст, все кругом носит на себе совершенно другой характер — почва представляет из себя богатейший чернозем, о болотах и еловых лесах

нет и помину, кругом веселые сосновые боры, липа, береза и бесконечные пашни. «Точно ножом отрезало», — говорит народ.

— Не хотите ли шишечкой побаловаться, — предложил мне мой сосед. — Нынче им урожай — страсть... А позвольте узнать, вы до каких местов?

Я назвал конечный пункт своего путешествия.

— Так-с, — пытливо глядя на меня небольшими серыми глазами, проговорил мой сосед. — Далеконько... Конечно, по железной дороге это пустяки, а по-нашему очень далеко.

Мы молча несколько времени щелкали кедровые орехи; старик смотрел на меня пытливо и недоверчиво. Его, очевидно, занимала мысль о том, зачем я мог ехать так далеко, то есть в Москву, но предложить вопрос прямо он стеснялся.

— Это прежде от нас Москва действительно далеко была, — заговорил он после небольшой паузы, — а нынче что̀: пять ден проехал, и конец. Это мы так прежде до Перми езжали. Да нынче и между городами разницы, почитай, совсем нет, так разве, самая малость. А все это железные дороги, да пароходы, да телеграфы... Ей-богу! Возьмите наш Екатеринбург, что̀ мы в нем прежде жили: как в лесу, и конец делу. А нынче, брат, не то... Не-ет! Не те времена: пожалуй, что Москва, что Екатеринбург — порядки одни; как и жить будем — одному царю небесному известно. Прежде, тридцать лет назад, мука ржаная стоила двугривенный или пятиалтынный за пуд, овес — десять — двенадцать копеек, говядина полторы копейки фунт, дрова пятьдесят копеек сажень, а нынче: овес один рубль за пуд, мучка один рубль двадцать копеек, говядинка восемь копеек фунтик, дровца четыре рублика саженка. Как эту железную дорогу к нам подвели — шабаш, как топором отрубили старое-то. Да-с.

Старик замолчал и весь углубился в процесс баловства орехами.

— Зато другие товары подешевели, — заговорил я. — Проезд дешевле.

— А скажите, пожалуйста, какие это такие товары подешевели? — прищуривая глаза, с затаенной злобой

спрашивал старик. — Это мы тогда, когда еще дорогу строили нам, радовались по нашему малодушеству: ситец будет дешевле, сахар, галантерейный товар... И точно, на копеечку с рубля подешевело кое-что, ну, фрухту навезли, а все прочее вдвое подорожало. Даже не смотрел бы... Вот шишечек господь уродил — я и рад: и дешево и любопытно. Только и осталось у нас что шишечки, а все прочее, как вода, ушло. Точно плотину прорвало. А что будет, спрошу я вас, когда дорогу на Тюмень проведут? Мы прежде, когда помоложе были, все, бывало, над стариками смеялись, что они, значит, о последних временах рассказывали... А теперь выходит так, что старики-то, пожалуй, правду говорили. Да-с. Взять хотя нынешнее лето: урожай по нашим местам неслыханный, рожь, или овес, или пшеница так и стоит тын-тыном. Август стоял теплый, сухой, значит хлеб отлично собрали. Хорошо. Попрежнему сейчас цена к половине августа, глядишь, и спадет, а нынче она еще в гору лезет... Вот тебе и урожай! Ну, как нам быть? Мужику, который пашней занимается, жить еще можно, а как будет жить заводский рабочий, мелкие чиновники, мещане: цена на все вдвое, а заработки те же. Нет, не глядел бы...

— Все-таки нынче народу больше в Екатеринбурге, чем прежде. Торговля бойко идет, промышленность.

— Пустое, — перебил меня старик с резким жестом. — Кто торгует? Кто наживается? Кто богатеет?.. Допреж того жили мы действительно потише, озорства этого не было, ну и, главное, все свой народ. Некоторые богатели, особливо кто золотом занимался или откупами... Только и богатели, и жили не по-нынешнему: ежели господь послал кому богатство, так оно из роду в род так и идет. Примерно, были у нас первые богачи: Зотовы, Харитоновы, Рязановы, Казанцевы, потом горные инженеры *светло* жили, а что прочие — все тихо. А теперь что пошло: другому вся цена два с полтиной, а он, глядишь, торговые бани открыл, али гостиницу с арфистками, ссудную кассу — и пошел метать! Можно сказать, из грязи в золото лезут, не говоря уже, ежели кто водкой занимается. Это свои-то, а что чужестранного народу у нас живет: и евреи, и поляки,

и немцы... Все так и рвут! Теперь вот хлеб взять... От одного нашего хлеба сколько они урвут. Так партиями и валят нашу пшеничку. У меня есть один знакомый мучник, так тоже с ничего пошел, а теперь тысячами ворочает. Пьем как-то в трактире чай, болтаем, а он мне: «В прошлом году, говорит, под Петропавловском партийку пшеницы купил в тридцать тысяч мешков, только она у меня лето и пролежала, а дело идет к осени. Думаю, спадет цена, — взял, да в Нижний и послал поверенного, по девять рубликов и спустил всю партию. Ну, тысяч пять-шесть нажил. Только проходит две недели, а пшеничка вместо того, чтобы подешеветь, — на одиннадцать рубликов заехала. Обожди, говорит, я эти две недели — за здорово живешь и положил шестьдесят тысяч в карман»... Смеется, рассказывает, точно шестьдесят орехов. Вот какие у нас дела нынче! Кто с умом — все на ноги встали, все в гору пошли. Уж на что ровно распоследнее дело — карты, а и картами живут, да еще как живут: дома имеют, на парах катаются, по пяти наложниц держат. Теперь рассудите: это ли не последние времена? А малодушие какое в народе относительно веры? Прежде староверы крепко держались древнего благочестия, а нынче и промежду староверами-то раскол пошел: что ни дом, то и своя вера. Одни австрицкого согласия, другие — беспоповщинцы, третьи — часовенные, потом: поморцы, хлысты, пахтеи. Охо-хо, господи, господи! А что дальше-то будет? Не угодно ли еще шишечку?

Вообще мой спутник оказался очень разговорчивым стариком и в течение двух часов пути успел рассказать не только всю подноготную о себе, но успел по пути расспросить и меня: кто я, куда и зачем еду? Последнее было сделано таким безобидным образом и с таким детски-наивным любопытством, что, казалось, мы были знакомы десять лет. Старик оказался торговцем «в железном ряду» и ехал в Тагил купить партию железа. Расспросив меня подробно о всем, старик прибавил:

— Вот вы все так-то: пожили у нас годика три, а потом и поехали на другое место. Все равно, вы уж меня извините, как блоха: села на руку, поела и марш дальше. Вот вам и кажется все не так, как нам. Вам,

может, оно и любопытно и приятно, а нам оно вот куда заехало (старик показал на свой короткий затылок). Да-с. А вон спросите его, как вот он живет?..

Наискось от нас, на одной скамье сидели двое мужчин: старик в поношенном коричневом халате с широким воротником (великороссийского покроя) и в рваной высокой триповой шапке; рядом с ним сидел молодой фабричный в казинетовом пиджаке, в заношенной ситцевой рубашке и в суконной фуражке. Старик, особенно рядом с молодым фабричным, поражал всей своей фигурой чисто славянского, великорусского типа, открытым, полным мысли и движения лицом, благообразной сединой, представлявшей рядом с убожеством наряда и неизгладимой печатью трудовой жизни в каждом движении, в каждом взгляде — поразительную картину. Это было исторически сложившееся, всевыносящее терпение, дошедшее под серебром седин до своего апогея. Каким-то философским спокойствием веяло от этой патриархальной фигуры. Если бы я был скульптором, лучшей модели для статуи русского пахаря я не пожелал бы: эта впалая широкая грудь, эти жилистые сильные, не знавшие устали руки, это удивительное лицо — все говорило само за себя. Мастеровой, тщедушная испитая фигура которого рядом со стариком казалась просто жалкой, был другим, еще находящимся *in statu nascendi*[1] своей кристаллизации, типом русской истории. Испитое зеленое лицо, кривые ноги, узкая грудь и общий болезненный *habitus*[2] свидетельствовали красноречиво о работе с раннего детства где-нибудь в запертом помещении, о вечном проголодье и, быть может, кутежах с товарищами на последний грош. Я давно наблюдал эту интересную группу; когда мой собеседник ткнул пальцем на фабричного, я вполне понял этот жест.

— Нет, вы спросите его, как он живет, — продолжал мой собеседник. — Я вот вижу его в первый раз, а вперед скажу: кто он, куда едет и зачем? Вы думаете, что это заводский фабричный, ан нет: посмо-

---

[1] в начале *(лат.)*.

[2] облик *(лат.)*.

трите, какое у него лицо зеленое, глаза красные. Это — рабочий из Мраморского завода, — хоть спросите. А рядом с ним сидит кто?

— Переселенец.

— А зачем он обратно едет в свою «Россию», на осень глядя? Не знаете? А я вам все, как по пальцам, расскажу: это ходок от какого-нибудь села. Он ездил в Томскую губернию осматривать места, а на будущий год выведет за собой целую партию. Ох, много их, сердечных, прошло нынешним летом через Екатеринбург. Смотреть-то на них — так тошно даже; истинно сказать, голь перекатная, лыком подпоясанная. Да вот, мы их сейчас спросим.

Мой собеседник подсел на лавочку к старику и начал свой допрос. Действительно, старик оказался ходоком из Орловской губернии и возвращался из-под Томска от «наших»; до Екатеринбурга шестьсот верст шел пешком две недели, конечно, Христовым именем, а на дорогу до Перми половину денег собрал в Екатеринбурге по грошику. Мастеровой оказался рабочим из Мраморского завода.

— От хозяина едете? — допрашивал рабочего мой собеседник.

— От хозяина... — вяло и апатично отвечал парень.

— Видно, насчет памятничка пронюхали?

— Да...

— Так-с. От кого едете: от Ивана Яковлича?

— От него...

— Гм... Плохо дело. Подвел он вам все животы.

— Уж так подвел, так подвел, — неожиданно оживившись, заговорил рабочий. — Все у него, как рыба в неводу... Платьишко какое у кого есть — от него, харч — от него, и все под книжку. То есть эти самые книжки для нас...

Рабочий только сплюнул на сторону и, бессильно махнув рукой, болезненно съежился в своем углу. Только одни впалые черные глаза светились лихорадочным взглядом.

— Как по-писаному все вам рассказал, из точки в точку, — не без самодовольства говорил мой собеседник, усаживаясь на прежнее место. — Про этих мра-

морских даже смешно и рассказывать... Так уж от бога они какие-то несчастные!

История Мраморского завода, который находится от Екатеринбурга верстах в тридцати, настолько замечательна, что я позволю остановиться на ней несколько подробнее. До 1858 года в Мраморском заводе существовала казенная гранильная фабрика, которая производила выделку разных вещей из мрамора. Мраморные ломки находились недалеко от завода и принадлежали Кабинету. С закрытием гранильной фабрики все население, около 250 душ, принуждено было обратиться к кустарному производству и существовать исключительно одними частными заказами. Но дело в том, что заказчики обыкновенно живут в Екатеринбурге или только приезжают туда, так что мраморские кустари получают работу не непосредственно, а через подрядчиков, живущих в Екатеринбурге. Таким образом, силою вещей мраморские каменные мастера очутились в лапах трех-четырех купеческих фирм. Вам нужно, например, заказать памятник. Вы приезжаете, конечно, в Екатеринбург, как центр торговли каменными вещами, и обращаетесь к одному из торговцев мраморными изделиями, где можете получить совсем готовую вещь или сделать заказ. Если бы вы поехали в Мраморский завод, то и там не миновали бы рук всесильного Ивана Яковлича, потому что, раз, — даже для выполнения самого выгодного заказа мраморскому кустарю, выражаясь технически, *нечем взяться,* то есть у него нет мрамора и нет «харчу» на время выполнения заказа (за тем и за другим кустарь должен обратиться к тому же Ивану Яковличу); второе — даже самый состоятельный кустарь побоится конкурировать с Иваном Яковлевичем и навлекать на себя его неудовольствие из-за одного заказа, тогда как Иван Яковлевич всегда может пустить его по миру. Екатеринбургские купцы в случае особенно ценных заказов имеют дело опять-таки не с каменными мастерами, а с Иваном Яковлевичем, так что работа, прежде чем дойдет до кустаря, пройдет через двои руки. Понятно само собой, что в результате такого порядка вещей получается полное разорение мраморских рабочих, и

они сделались на весь уезд притчей во языцех. Это самый живой и убедительный пример возможности русского пролетариата (на все население Мраморского завода отведено 26 десятин 1011 кв. сажен выгона и 177 десятин покосной земли). Интереснее всего то обстоятельство, что поистине вопиющее положение мраморских рабочих до сих пор не обратило на себя ничьего благосклонного внимания, хотя в Екатеринбурге существует *главный горный начальник* и уездное земское собрание. Мы полагаем, что бедственное положение мраморских рабочих вполне входит в рамку деятельности упомянутых административных единиц.

Меня давно интересовала судьба мраморских рабочих, и потому я поспешил воспользоваться словоохотливостью моего собеседника, который не заставил себя просить.

— Чего тут не знать — известное дело, — заговорил мой собеседник. — Я расскажу вам такой случай: одному тюменскому купцу нужен был памятник. Купец приехал в Екатеринбург, потолкался по каменным лавкам и отдал заказ торговцу каменными вещами Т-ву. Сошлись на тысяча семистах рублях. Т-в вызывает из Мраморского завода Ивана Яковлича и передает ему весь заказ уже от себя за четыреста рублей, а Иван Яковлич по мелочам раздает его рабочим. Понимаете? У Т-ва за здорово живешь осталось в кармане тысяча триста рублей, да Иван Яковлич утянет из четырехсот рублей половинку, а весь памятник рабочие и сделают за двести рублей. Да еще Иван Яковлич деньгами-то не заплатит, а рассчитается харчем, одежей, спишет в долг... И тут ему перепадет малую толику, потому что цены на все против екатеринбургских Иван Яковлич ставит вдвое [1].

---

[1] Последнее может показаться голословным, поэтому привожу слова официального источника, именно, в описании Мраморского завода, помещенном в *Памятной книжке Пермской губернии 1880 г.*, издание Пермского статистического комитета, сказано (стр. 90-я): «В окрестных местностях цена на ржаную муку стояла летом 1872 г. 35—40 копеек за пуд, а в Мраморском заводе подрядчики ставили ее рабочим в 75—80 копеек». *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Вы цените работу, но ведь мрамор тоже стоит чего-нибудь, — заметил я.

— Для рабочего стоит даже очень дорого, особенно если белый мрамор, а Ивану Яковличу он ничего не стоит... Разе провоз что обойдется...

— Как так?

— Самое простое дело. Плохие сорта мрамора можно было добывать везде, а белый и голубой мрамор находится только в Гумешевской даче, которая принадлежала Кабинету. Ныне она отошла к Ревдинским заводам, кажется. Гумешевской дачей управляла екатеринбургская гранильная фабрика. Теперь, рабочим нужен мрамор, а разве казна будет его продавать, — ни под каким видом! Как делу быть? Тут и устраивали один фортель... Ха-ха! Грех и смех! Видите ли, гранильная екатеринбургская фабрика ежегодно была обязана представить в Санкт-Петербург к высочайшему двору сто яиц из белого мрамора. Вот о великом посте, по последнему пути, Иван Яковлич и ждет, когда гранильная фабрика выдаст позволение на добычу нужного мрамора в Гумешевской даче. У самого уж давно все готово. Как только позволение получено, сейчас весь завод на дачу, да в день-то и выворотят мрамору несколько тысяч пудов. А сто яичек своим чередом будут готовы. Теперь и выходит такая штука: у рабочих мрамора нет, а у Ивана Яковлича горы. Рабочие же от него и покупают.

— А что же смотрела екатеринбургская гранильная фабрика?

— Как вам сказать: как не смотреть, — смотрели, даже обыски делали насчет мрамору. Только тут все шито и крыто... Ведь, во-первых, и Иван Яковлич не прост: взял да весь мрамор к себе и притащил... Тут бы его и накрыли, голубчика! Не-ет... Иван Яковлич весь этот мрамор по лесу спрячет: в ямах, под дерном — поди ищи.

— Неужели один Иван Яковлич только и есть в Мраморском заводе?

— Нет, зачем же. Есть и другие, только те помельче. Теперь какое дело выходит: умирает богатый человек в Екатеринбурге, сейчас его будут хоронить,

звон на церкви. А у Ивана Яковлича в городе уж свой корреспондент живет, который обязан по этому звону в церковь бежать. И у других такие же корреспонденты заведены. Теперь, принесли покойника в церковь, по дороге хвоя разбросана, вот корреспондент сейчас по хвое и идет, где умер покойник. Только сейчас в дом ему идти нельзя, потому поминки, сутолоки, пожалуй, и в шею... Другой раз по хвое-то корреспондента три придут. Вот они друг дружку и обманывают: возьмет соберет хвою-то от дома, где, значит, поминки, да к другому дому и подбросит, а сам на другой день заказ получит. Так и отводят глаза один другому. Да вот, спросите его (мой собеседник указал на мраморского рабочего), он тоже корреспондентом едет от Ивана Яковлича в Тагил. Верно я говорю?

— Верно, — подтвердил рабочий, раскуривая крючок. — Все верно рассказываешь...

— И относительно яиц?

— И об яйцах верно.

Мы с намерением остановились особенно подробно на Мраморском заводе, чтобы показать, какую для себя почву встретит профессиональное образование на Урале. Кстати, упомянув о профессиональном образовании, мы не можем не остановиться на его истории на Урале — очень печальной истории, но все-таки истории, — ибо история поучительна: прошедшее чревато будущим. Петр Великий, насаждая горное дело на Урале, прежде всего заботился о распространении специального образования. Памятником этих усилий служили штейгерские школы и нынешнее уральское училище, которое влачит свое существование в Екатеринбурге и до днесь. Затем мы видим широкий период времени — от Петра до наших дней, на расстоянии почти 200 лет, в течение которого дело образования в смысле профессиональном так и осталось в зачаточном состоянии. Образовалась на Урале масса горных заводов (с производительностью, например, для одной Пермской губернии в 50 миллионов ежегодно), развились, усовершенствовались и встали на прочную почву промыслы — соляной, золотой, винокуренный, кожевенный и т. д., — и что же мы видим — на необъ-

ятном пространстве, например, Пермской губернии, где природа с безумной щедростью рассыпала свои дары! Через 200 лет после Петра Великого мы видим всего-навсего жалких три специальных училища: Уральское горное училище в Екатеринбурге (говорят о его преобразовании), Демидовское реальное училище в Нижнетагильском заводе (даже ничего и не говорят о каком-нибудь преобразовании, вероятно, ввиду отчаянного положения дел) и открытое в 1877 году в гор. Кунгуре на средства купца А. С. Губкина техническое училище (стоит Губкину 800 тысяч рублей, но, как рассказывают, идет плохо). Насколько мы отстали от взглядов Петра, ставившего во всякой отрасли промышленности специальное образование альфой и омегой, показывает следующий факт: в Екатеринбурге несколько лет тому назад было открыто при местном детском приюте на средства земства, ассигновавшего ежегодно 1200 рублей, ремесленное училище, надзор за которым был поручен существовавшему в Екатеринбурге отделению императорского русского технического общества. Проходит несколько лет. Земство ассигнует и ежегодно выдает деньги. В сессию 1878 года на земском собрании кем-то из гласных был поднят вопрос о неудовлетворительном состоянии содержимого земством ремесленного училища. Вспомнили, конечно, что училище было поручено вниманию отделения технического общества, и, понятное дело, пожелали иметь мнение или отзыв по этому делу от кого-нибудь из членов этого ученого общества. Каково же было всеобщее удивление, когда после долгих справок и поисков ученое общество оказалось несуществующим, или, как доказывал один из гласных: «оно существует потому, что есть председатель...» Трудно представить себе что-нибудь курьезнее этого ученого общества без членов, с одним председателем. Воля ваша, господа уральские техники, подобные *случаи* относятся не к истории горного хозяйства на Урале, а во всей своей неприкосновенности входят в область оффенбаховских опереток!

Когда на первом съезде уральских горнозаводчиков в 1880 году одним из членов съезда был возбужден вопрос о необходимости преобразования ураль-

ского училища, председатель съезда, он же и главный горный начальник, заявил прямо, что рассуждать об этом съезду бесполезно, потому что вопрос о преобразовании училища уже поднят и разрабатывается в соответствующем министерстве. Это, в связи с горестной судьбой екатеринбургского ремесленного училища, ясно показывает, что ждать чего-нибудь от горных заводов, то есть от их владельцев, поверенных, управляющих, ученых инженеров и прочей власть имеющей братии бесполезно; эти умные головы, поставленные на страже интересов уральского горного хозяйства, публично умывают руки во всем, что касается интересов технического специального образования.

Итак, резюмируя все сказанное, мы неизбежно должны прийти к тому печальному заключению, что профессиональное образование не только не встретит поддержки или сочувствия, но, как семя, брошенное на каменистую почву, в буквальном и переносном смысле, должно заглохнуть. Это одна сторона медали; но, положим, что случится наоборот — чего на свете не бывает — профессиональные школы пойдут в ход, явятся подвижные музеи прикладных знаний и, даже предположим, что в Екатеринбурге будет основана постоянная художественно-промышленная выставка, где бы рабочие даром могли учиться новым приемам производства, изучать образцы, устраивать рисунок, — что отсюда может воспоследовать, читатель сам сообразит, припомнив все сказанное нами о Мраморском заводе. Следовательно, профессиональное образование, отличная вещь само по себе, должно лицом к лицу встретиться с глухой стеной, в лице Иванов Яковличей и tutti quanti[1] с их корреспондентами, и, конечно, рабочий ничего не выиграет, если самые условия его труда не изменятся. Какой же выход из этого заколдованного круга? Выход есть, он у нас на глазах... Мы отлично помним то недавнее время, когда еще только был поднят вопрос о ссудосберегательных товариществах и потребительных артелях, и, как это всегда бывает, новое дело вызвало много голосов

[1] всяких прочих *(итал.)*.

против себя, как несбыточная мечта, химера и несомненное коварство запада; но в настоящую минуту мы с особенным удовольствием можем констатировать тот отрадный факт, что ссудосберегательные товарищества и потребительные артели — уже сама действительность: они не только прочно утвердились и пустили на Урале глубокие корни, но с каждым годом развивают свои операции все шире и шире и увеличиваются в числе. Мы можем указать на пример заводов г. Строганова и Демидова, и только недостаток места не позволяет нам привести подробные цифры, чтобы осветить картину этих учреждений, целою сетью раскинувшихся по твердыням Урала. От ссудосберегательных товариществ и потребительных артелей — только один шаг до артельного производства и артельных лавок. Следовательно, если совместно с развитием профессионального образования на Урале рука об руку пойдет развитие ссудосберегательных товариществ, потребительных и производительных артелей и артельных лавок, тогда будут немыслимы факты вроде Мраморского завода, где почти 300 душ работают на десяток купцов. Ведь подобное положение хуже всякого крепостного права и в недалеком будущем грозит создать настоящий пролетариат со всеми его ужасами.

От станции Верх-Нейвинск начинается постепенный подъем на главную массу Уральских гор. По сторонам дороги попадаются крутые лесистые горки, а налево уже виднеются неясные силуэты того горного узла, который образует недалеко от Тагила известная здесь Белая гора. Около самой дороги во многих местах стоит обгорелый лес, — это остатки от летних пожаров, бывших почти на протяжении всей линии дороги. Подъезжая к станции Рудянка, я заметил по сторонам дороги, около завода, пруд и по течению выбегавшей из него речки отдельные группы рабочих, промывавших золото.

— Всё старатели, — объяснял мне мой спутник. — По золоту едем...

Промывка золота совершалась самым первобытным способом: на берегу стоит деревянная площадка с чугунной продырявленной доской наверху (вашгерд), к ней проведена по канавке вода или накачивается при помощи ручной водокачки. Золотоносные пески подвозят к площадке на тачке или на рудниковой таратайке, сваливают на чугунную доску, пускают на песок струю воды и начинают растирать пески железными лопаточками. Вода уносит частицы глины и мелкий песок, крупные гальки сбрасываются, а золото падает через отверстие чугунной доски на деревянную площадку, где его уже и «доводят», то есть окончательно отделяют при помощи щетки от песку и шлихов. Такую работу могут производить, смотря по обстоятельствам, от одного до десяти человек на площадке. Обыкновенно эта работа выгоднее всего производится семьями: пески добывают мужчины, подвозят их на лошадях мальчики, а растирают на вашгерде женщины. Этот семейный характер старательских работ придает прииску самый мирный и оживленный характер, так что издали можно просто любоваться.

Мы еще будем иметь случай говорить подробно о старательских работах.

От Рудянки рукой подать до Невьянского завода, который известен у простого народа под именем Старого завода. Действительно, это старейший из уральских заводов. Первый чугун из невьянской домны получен 15 декабря 1701 года, а первое железо 8 января 1702 года; в 1702 году, 12 мая, этот завод из казенного владения был передан верхотурским воеводой Никите Демидову, родоначальнику нынешнего владельца Тагильских заводов князя Сан-Донато. Таким образом, Невьянский завод является колыбелью всех зауральских заводов. Со станции железной дороги видна старинная покосившаяся башня, построенная еще знаменитым Акинфием Демидовым; по сохранившемуся преданию, из этой башни подземная галерея ведет в господский дом. Когда Акинфий Демидов открыл Колыванские прииски и первое время добывал серебро и золото без дозволения правительства, эта галерея, по рассказам, служила

ему отличным средством скрыть многое, чего не должны были видеть государевы очи. В настоящее время Невьянский завод пользуется на Урале очень плохой репутацией и больше известен тем, что самое существование его висит на волоске. Все, что можно было сжечь, Невьянский завод сжег и в настоящее время только благодаря милости правительства пользуется топливом из лесной дачи упраздненного в Екатеринбурге Монетного двора. Из всех лесных богатств, которыми когда-то славился Урал, сохранилась одна Монетная дача, служащая в настоящую минуту самым лакомым куском и яблоком раздора для многих уральских заводов. Если теперь разобрать основательно все вопросы, которые были подняты и разработаны первым съездом уральских горнозаводчиков, то, отбрасывая все несущественное, служившее для отвода глаз, в результате останется одно благочестивое желание во что бы то ни стало прикарманить Монетную дачу. Интереснее всего то, что когда зашел вопрос о причинах истребления невьянских лесов, г. Котляревский, горный инженер и управитель одного из лучших заводов на Урале, не постыдился заявить, что невьянские леса истреблены... кем бы вы думали? *невьянскими сундучниками.* Вот уж, поистине сказать, попал пальцем в небо, как тот мельник, который обвинял куриц, выпивших целый пруд.

Невьянский завод, кроме производства сундуков, славится как самое крепкое гнездо конокрадов и раскольников.

II

ТАГИЛ

Поезд медленно подходил к Тагилу, который широкой картиной развернулся у самого подножия Урала, как самое близкое и самое дорогое его каменному сердцу дитя. С левой стороны от дороги тяжелыми силуэтами громоздились всё знакомые горы: Белая, Острый Камень, Старик, Шайтан, Веселые горы; направо от Тагила одиноким пиком высился Медведь-Камень. В самом центре Тагила, на берегу пруда,

стоит высокая Лисья гора с башенкой наверху; у ее подножия чернеют здания заводской фабрики, высокие черные трубы, доменные печи и угольные валы. Громадный заводский пруд со всех сторон обошли опрятные домики рабочих; кое-где мелькают белые каменные дома и зеленые крыши «богатых мужиков». Из этой пестрой массы заводских строений резко выделяется здание главного управления Нижнетагильских заводов. Несколько богатых церквей дополняют эту картину; из них особенного внимания заслуживает церковь, построенная в память освобождения крестьян. На заднем плане виднеется знаменитая Высокая, или Магнитная гора, которая ежегодно дает до 6 миллионов пудов железной руды. В двух шагах от нее видны трубы не менее знаменитого медного рудника, который ежегодно дает до $2^1/_2$ миллионов пудов медной руды и, кроме того, служит едва ли не единственным местонахождением малахита. С именем Урала неразрывно связано представление о малахитовых изделиях, которыми щеголяют русские выставки и магазины; человек неопытный может подумать, что малахит на Урале валяется, как булыжник, а между тем добыча малахита производится в самых незначительных размерах, как побочного продукта при добывании медных руд, и притом на страшной глубине — 80 саженей.

Самый лучший вид на Тагил открывается с Лисьей горы. Вообще окрестности Тагила принадлежат к самым живописным во всем Среднем Урале, а виды с Белой горы и с Медведь-Камня замечательны по своей красоте. Можно удивляться, что наши русские художники так упорно обходят Урал, предпочитая ему южное море, уголки благословенного юга, Кавказ и Финляндию. Правда, несколько лет тому назад на Урал приезжал профессор Верещагин (не В. В. Верещагин, автор туркестанских видов и картин из последней восточной войны). Мне случилось видеть в Петербурге на выставке его виды Урала, но что это было: были рамы, было намалеванное полотно, на полотне красовалось имя профессора Верещагина, и только Урала не было... Впрочем, профессор, кажется, и не затруднял себя поездками в горы; а в лучшем месте

реки Чусовой, где она течет среди великолепных скал и утесов, именно между Межевой Уткой и Кыновским заводом, он и совсем не был. Таким образом, Урал еще ждет своего художника, который воспроизведет на полотне его оригинальные, полные своеобразной прелести и суровой поэзии красо́ты: кто раз видал, тот никогда не забудет чудные уральские ночи с их глубоким голубым небом, на котором лихорадочным светом горят серебряные звезды, точно в прозрачном воздухе высоко стоит алмазная пыль; живописные лесные ландшафты где-нибудь на дне глубокого лога или на шихане [1], горные озера и реки.

Глядя на картину Тагила, мне каждый раз приходила в голову мысль, что, вероятно, уже недалеко то время, когда этот завод сделается русским Бирмингамом и, при дружном содействии других уральских заводов, не только вытеснит с русских рынков привозное железо до последнего фунта, но еще вступит в промышленную борьбу на всемирном рынке с английскими и американскими заводами. Еще Петр Великий сказал про Тагильские заводы: «А те заводы у таких построены добрых руд, каких во всей вселенной лучше быть невозможно; а при них такие воды, леса, земли, хлеба, живности всякия, что ни в чем скудости быть не мочно». Притом русское правительство со времен Петра потратило столько средств на насаждение горного дела на Урале; русский народ так много переплачивает за каждый гвоздь благодаря запретительному тарифу; наконец, мы видим такие трогательные усилия со стороны разных министров, горной братии, ученых инженеров, знатных иностранцев, — видим целые горы исписанной бумаги. Можно же после всего этого надеяться, что вырастет, наконец, это излюбленное государственное дитя, которое ведут на помочах и кормят с ложки жеваным хлебом в течение двухсот лет.

---

[1] Шиханами на Урале называют скалы, которыми увенчиваются вершины самых высоких гор, как, например, Белая, Медведь-Камень, Старик. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

История Тагильских заводов слишком неразрывно связана с историей Среднего (рудного) Урала; поэтому мы остановимся на ней подробнее.

Ермак перевалил с своей разбойничьей шайкой через Камень, как тогда называли Урал, в конце шестнадцатого столетия, а в 1613 году на реке Тагиле была основана Тагильская слобода. В 1696 году верхотурский воевода Дм. Протасьев представил царю Петру образцы магнита с реки Тагил и железную руду с реки Нейвы. Первый зауральский завод был построен казенным иждивением на реке Нейве и в 1702 году, как я уже говорил выше, был передан тульскому кузнецу Никите Демидовичу Антуфьеву (фамилию Демидова Никита Демидович принял уже впоследствии) с условием выкупа воинскими снарядами в течение пяти лет. Благодаря энергии и предприимчивости старшего сына Никиты Антуфьева, Акинфия, условленное количество воинских снарядов было приготовлено в 3 года, и таким образом Невьянский завод поступил в пользование Демидовых. Затем, при жизни отца, Акинфием Демидовым были построены на Урале следующие заводы: в 1716 году Шуралинский завод, в 1718 году Быньговский и Верхнетагильский и в 1725 году завод Нижнетагильский; после смерти отца Акинфием Демидовым были построены заводы: в 1728 году Шайтанский, Черноисточинский, в 1729 году Уткинский и Суксунский и в 1730 году Ревдинский [1]. Собственно, сам Никита Демидов совсем не жил на Урале, где бывал только наездом, а всем делом верховодил Акинфий Демидов, так что честь основания всех уральских заводов принадлежит ему одному. Мы не можем не остановиться здесь на замечательном уменье великого русского царя-работника выбирать себе помощников из всех слоев своего народа, — это черта всех истинно великих людей. Сохранилось предание, что Петр однажды зашел в дом Никиты Демидова, когда был в Туле; хозяин, конечно, предложил высокому гостю

[1] Все сведения об Акинфии Демидове заимствованы нами из его жизнеописания, сост. Григ. Спасским, изд. 1833 г. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

самого лучшего вина, какое нашлось в доме, но Петр отказался, а выпил рюмку водки и «с негодованием» сказал Демидову, что «неприлично кузнецу пить такое вино».

Никита Демидов довел выделку железа на своих тульских заводах до замечательного совершенства и снабжал Петра необходимыми в его войнах воинскими снарядами, гаубицами, фузеями и алебардами, но главным носителем и осуществителем широких планов царя является гениальный сын Никиты Демидова Акинфий Никитич. Это был *alter ego*[1] царя-работника, его недремлющее око.

Было много общего в этих натурах: оба работали до кровавого пота и, кажется, не знали границ своим замыслам. В тагильском музеуме сохранился портрет Акинфия Никитича; даже в выражении физиономии гениального русского заводчика есть сходство с Петром. Известные исторические эпохи слишком резко выдаются из общего исторического уровня и кладут известную печать на своих современников; Акинфий Демидов был истинным птенцом гнезда Петрова, и на нем точно отпечатлелся образ гениального царя. Акинфию Демидову, как и Петру, не сиделось на месте. Основывая один завод за другим, он зорким взглядом смотрел уже в далекую Сибирь, где, по слухам, кроме железных руд, находились богатые залежи серебра и золота. На реке Иртыше издавна были известны так называемые Чудские копи; Акинфий Демидов послал разведчиков, и действительно, близ озера Колывани была отыскана медная руда. Это событие произошло в воскресенье, поэтому и рудники были названы Колывано-Воскресенскими. Рудоведец, подьячий Дмитрий Семенов, по прозванию Козьи Ножки, построил первую плавильную печь на реке Локтевке, в Колыванском округе. После Локтевского завода, в 1729 году, был построен Колыванский, в 1739 году Барнаульский и в 1744 году Шульбинский. В это же время, то есть в 1736 году, на реке Корбалихе Акин-

[1] двойник *(лат.)*.

фием Демидовым был открыт знаменитейший в истории русского горного дела серебряный Змеиногорский прииск. Но великого царя давно уже не было в живых, а поэтому благодаря интригам Татищева Колывано-Воскресенские заводы были отобраны от Акинфия Демидова в коммерц-коллегию; в 1747 году они вместе с Змеиногорским приискoм перешли в собственность ее величества. Таким образом, первая русская медь, первое сибирское серебро и первое сибирское золото (в том же Змеиногорском прииске) были добыты Акинфием Демидовым. Притом существует факт, который свидетельствует, что Акинфию Демидову было не только известно существование золота в Сибири раньше официального открытия Змеиногорского прииска, но можно с достаточным вероятием предположить, что даже производилась разработка этого золота, конечно тайная, так как добывание драгоценных металлов составляло правительственную регалию и строго воспрещалось частным лицам. Именно к этому времени можно отнести легенду о Невьянской башне. Вот этот факт: в фамилии Демидовых сохранилась золотая чаша старинной работы (весом 1 фунт 31 золотник), на одной стороне этой чаши вычеканено слово: *Sibir,* а на другой *Anno 1724 г.* Кроме этой чаши, сохранился медный стол (26-ти пудов весом), на котором вырезана следующая надпись: «Сия первая в России медь отыскана в Сибири бывшим комиссаром Никитою Демидовичем Демидовым, по грамотам великого государя императора Петра I в 1702, 1705 и 1709 годах; а из сей первовыплавленной российской меди сделан оный стол в 1715 году». Имя Никиты стоит в этой надписи только потому, что ему принадлежали уральские заводы, а в действительности эта первая медь была добыта его сыном Акинфием.

Мы очертили только внешнюю деятельность А. Демидова, где он является гениальным человеком, но этот гениальный человек у себя дома, на заводах, является истинным сыном своего века: под его железной рукой стонали не только приписанные к заводам

крестьяне, но и сами подьячие, разные приставники, приказчики и прочий служилый люд. Кнут, плети, батоги, цепи, застенок — все шло в ход. Недостаток места не позволяет нам остановиться подольше на странном характере А. Демидова, полном всевозможных противоречий, где были перемешаны неистощимая энергия, железная воля, самодурство, жестокость; для нас важен тот факт, что потомство позабыло дурные стороны А. Демидова, и его имя пользуется большой популярностью. Еще и теперь на Демидовских заводах можно встретить детей служащих с именем Акинфия. После смерти А. Демидова его имения были разделены, по числу сыновей, на три части: Невьянскую, Ревдинскую и Тагильскую, и только одна Тагильская неизменно сохранилась в фамилии Демидовых. Насколько велико было оставленное А. Демидовым наследство, можно судить по тому, что одна Тагильская часть представляет из себя площадь в 600 тысяч десятин.

Будущему историку Урала предстоит интересная задача проследить шаг за шагом, каким путем складывалось население уральских заводов. Аборигены не могли служить здесь материалом; на севере — вогулы, на юге — башкиры, они были слишком слабы физически, чтобы вынести все тяготы рудникового труда и огневой заводской работы. Притом это были собственники занятых заводчиками земель, и много-много пролилось вогульской, а особенно башкирской крови, прежде чем эти инородческие племена окончательно обессилели и замирились. Одни башкирские бунты стоили башкирам более 30 тысяч убитых в боях, казненных и умерших под караулом. Будущему историку предстоит выяснить один момент за другим этой страшной драмы, где менее сильные цивилизации должны были уступить перед более сильной. Получится самая кровавая иллюстрация пресловутого Дарвинского закона борьбы за существование... Таким образом, заводчики должны были обратиться к русскому населению, а на Урале его не было, — следовательно, приходилось его создавать искусственным путем. Выполнить эту задачу помогли заводчикам исторические обстоятельства: великорусское племя всегда тяготело

к востоку, и вслед за Ермаком из России уже двинулись ватаги переселенцев за Камень. Тяжкая подать, воевода, подьячий, земский староста, разбойник, — вот причины, которые заставляли целые деревни брести врознь и искать новых мест. При Петре и его преемниках самый большой контингент переселенцев на Урал дали раскольники, затем уходившие от красной шапки и вообще вся та бродячая вольница, которая заселяла русские окраины. Эти разнородные элементы осели вокруг строившихся на Урале заводов и постепенно были приписаны к ним. В строгом смысле слова, крепостного права Урал не видал; но зато испытал самый ужасный из его видов — это положение приписанных к заводам крестьян. Первые заводчики были люди слишком энергичные, вроде Акинфия Демидова, и не стесняли себя в выборе средств при преследовании своих целей. По сие время на многих уральских заводах сохранились предания о том, как рабочих бросали в жерла доменных печей или топили в прудах; известный заводчик Зотов ходил по фабрикам с пистолетом и стрелял ослушников, как зайцев. Положение приписанных к заводам крестьян было невыносимо — это было рабство в худшем значении этого слова. Недаром на Урале говорят про уральские заводы, что они, как село скудельниче, купленное на деньги Иуды, выстроены ценою крови, на костях человеческих.

Этот *ancien regime*[1] достиг своего апогея к началу царствования Екатерины II, и для нас важен тот факт, что такой важный момент в русской истории, как Пугачевский бунт, получил инициативу на Урале. Известно, что один из уральских раскольников, встретив Пугачева за границей, не только дал ему мысль назваться Петром III, но и обещал содействие всех уральских заводов. Рассматривая план военных действий Пугачева, можно ясно видеть, что первой и главной его целью было добраться до уральских заводов, где население, наполовину состоявшее из раскольников, давно волновалось и готово было встретить Пугачева как освободителя. Башкиры настолько были обесси-

---

[1] старый порядок *(франц.)*.

лены прежними бунтами, что не имели сил откликнуться на призыв пугачевских атаманов. План Пугачева в стратегическом отношении был замечательно хорош: его атаманы разом с двух сторон подходили к заводам, с юга и запада. Западное движение благодаря царским войскам было остановлено в Кунгурском уезде, а южное — в Шадринском. Особенно важное значение имело южное движение, остановленное только благодаря геройской защите монахами Далматовского монастыря. Трудно сказать, чем могла разыграться эта историческая драма, но, когда движение на заводы было загорожено, весь план Пугачева был расстроен и дело проиграно. Конечно, такое выдающееся явление в жизни народа не прошло бесследно для уральского населения, особенно в южных уездах Пермской губернии, где долго после Пугачева периодически вспыхивали разные волнения.

Мы сделали длинное отступление от истории Тагильских заводов, но это отступление было необходимо, потому что население этих заводов складывалось под давлением тех же исторических условий, как и на других заводах, и переживало те же критические моменты.

Что касается дальнейшей истории Тагильских заводов, то после смерти Акинфия Демидова мы не встречаем ни одной выдающейся личности, которая улучшила бы их. В потомках Демидовых общего с их родоначальником сохранилась только одна фамилия, за исключением одного Николая Никитича Демидова, которому в Тагиле поставлен великолепный памятник. Мы видим целый ряд владельцев заводов, которые бывают на заводах раз или много два в течение целой жизни. В самом деле, есть пленительное небо Италии, есть голубой Неаполитанский залив, есть чудеса и соблазны западноевропейской цивилизации — когда же тут думать о каких-то уральских заводах? Мы особенно жалеем об этом обстоятельстве, потому что, как сказал еще Фишер, *gens Demidoviana nomen illustravit benefactis publicis*[1], и, живя на своих заводах, владельцы

---

[1] род Демидовых славился общественной благотворительностью, *(лат.)*

могли бы принести громаднейшую пользу их стотысячному населению. Замечательнее всего тот факт, что почти все Демидовы отличались благотворительными наклонностями, но направляли свои благодеяния в Западную Европу; между тем Тагильские заводы не только ничего не получали от этих благодеяний, но должны были вылезать из кожи, чтобы давать возможность своим патронам меценатствовать где-нибудь в Италии. Приведем пример: в то время как Демидовы разыгрывали роль меценатов в Италии, вот что сказано в одном ордере главной конторы Демидовских заводов: «Известно, что во все заводские конторы неведомо с какого повеления набрано обывательских и разного чину детей для письменной науки и обучаются на господской бумаге, и оттого оной происходит напрасная трата, а их благородиям господам дворянам Демидовым убыток. Того ради определено, чтобы все конторы имели бумаге расход с крайним бережением, а обывательских и протчих чинов детей отослать и впредь не содержать». Далее. В Тагиле издавна существовало живописное искусство, занесенное сюда старообрядцами, и в 1806 году была даже учреждена живописная школа, но она скоро должна была исчезнуть тоже за недостатком средств, рекой лившихся за границу.

Самым крупным и без сомнения самым выдающимся моментом в жизни Тагильских заводов является 19 февраля, когда эти заводы с дарового крепостного труда должны были перейти на вольный труд за известную плату. Нужно отдать полную справедливость заводам, что они с честью вышли из своего критического положения, и дивиденд владельца не пострадал при новом порядке вещей. С этого же момента Тагильские заводы делаются ареной, на которую силою обстоятельств разом была выдвинута целая серия самых жгучих вопросов. Первой крупной страницей в новой жизни заводов является вопрос об уставной грамоте, которая служит яблоком раздора между заводоуправлением, с одной стороны, и населением, с другой. Кем составлена эта грамота — неизвестно, но она смело может войти в историю, как незабвенный памятник изворотливости человеческой мысли.

И с юридической и даже с художественной точки зрения редакция уставной грамоты не заставляет желать ничего лучшего. Мы остановимся на ней.

По закону, горнозаводское население делится на два разряда: с одной стороны, мастеровые, с другой — сельские работники. Разница между этими разрядами заключается в том, что мастеровые получают от владельца *даром* усадьбы и одну десятину покосов (собственные росчисти и купленные покосы не входят сюда); сельские работники, кроме покоса и усадьбы, получают еще в надел пахотную землю в очень почтенном размере с платой владельцу оброка и правом выкупа отведенной земли в известный промежуток времени. Кроме этого, и мастеровые и сельские работники имеют право на известное количество леса и выгона. Управление Нижнетагильских заводов при составлении уставной грамоты начало с того, что совсем не показало при своих заводах таких работ, которые давали бы право на звание сельского работника, а следовательно, и на надел пахотной землей. Все громадное население Тагильских заводов, достигающее до ста тысяч, было зачислено мастеровыми, и таким образом владелец сохранил за собой всю ту землю, которую обязан был выделить сельским работникам. Затем, разбирая каждый отдельный пункт уставной грамоты, мы видим, что это chef-d'oeuvre канцелярской казуистики и российского крючкотворства: именно, владелец Тагильских заводов, Демидов, *предоставляет* мастеровым в полную собственность их дома; из расчищенных покосов *предоставляет* по одной десятине на душу, а остальные покосы отдает желающим, если они не служат у него на заводах, по 30 копеек за каждую десятину, *впредь до усмотрения; впредь до усмотрения* владелец предоставляет мастеровым пользоваться лесом и конским пастбищем, содержит церкви, госпитали, школы, пожарную часть и т. д. Мы заметим относительно покосов, что по горному уставу и согласно решению главного комитета об устройстве сельского состояния, состоявшемуся в 1872 году, жители посессионных заводов, кроме одной десятины от владельца, получают в полную собственность все те покосы, кото-

рые приобретены ими куплею и по духовным завещаниям, а между тем составленная тагильским заводоуправлением уставная грамота совсем умалчивает о последних. Мастеровые Тагильских заводов приносили жалобу на свою уставную грамоту, и губернское по крестьянским делам присутствие в 1865 году признало ее незаконной, а в 1881 году это же самое присутствие нашло ее вполне правильной. Пререкания между населением и заводоуправлением обратили на себя внимание высшего начальства, и из Петербурга приезжала в заводы одна высокопоставленная особа с специальной целью выяснить и устранить все эти печальные недоразумения. Но и особа, как раньше губернское по крестьянским делам присутствие, сначала признала уставную грамоту неправильной, а потом правильной. Так это дело о наделе мастеровых покосами, лесом и выгонами стоит и до днесь, как знаменитый «воз с поклажей». Больницы и школы по сие время находятся на усмотрении владельца Тагильских заводов; другими словами, за него отдувается верхотурское земство, которое, кроме того, что вместо г. Демидова содержит школы, ежегодно сбавляет с князя Сан-Донато количество земских налогов, перенося их на крестьянские земли. Вероятно, недалеко уже и то время, когда, по усмотрению заводоуправления, и больницы свалят на шею земству. Как производится эта замысловатая операция, — это другой вопрос, о котором мы будем говорить ниже. С своей стороны, мы глубоко убеждены в том, что сам П. П. Демидов, князь Сан-Донато, даже не подозревает существования всех этих проделок, творимых его приставниками под его именем и якобы в его пользу. Мы позволим себе остаться в том убеждении, что П. П. Демидов не станет марать рук о какие-нибудь жалкие десятины покосов и наделы сельским работникам, а тем более не будет хлопотать о сложении с себя земской тяготы. Ясно, что вся эта история есть создание разных управляющих и поверенных, которые оказались *plus royalistes, que le roi* [1] и, таким

[1] более роялисты (сторонники короля), чем сам король *(франц.)*.

образом, сослужили своему патрону поистине медвежью службу.

Когда мы уже подъезжали к Тагилу, в нашем вагоне произошло довольно сильное движение. В нескольких местах раздались восклицания радости, и затем вопрос: «Слышали?» Я заметил, что по рукам публики ходил номер газеты, и поинтересовался узнать, в чем дело. Газета оказалась последним номером «Екатеринбургской недели», в котором была помещена истинно провинциальная корреспонденция. Читая ее, невольно чувствуешь, что писал человек, который терпел, может быть, целые годы — терпел, терпел да разом и прорвался. Корреспонденция была действительно чрезвычайно забористого характера и била прямо в нос. Насколько она удержалась в моей памяти, содержание ее вертелось, главным образом, на г. Х., управителе Нижнетагильского завода, который обвинялся в громадных растратах чугуна, дров и даже каменного угля, а главным образом, в том, что *посадил козлов* в тагильские домны. Самое пикантное место корреспонденции заключалось в известии о смене г. Х., который держался только благодаря своему родству с главным управляющим.

— Прочитали? — задыхавшимся голосом спрашивал меня небольшой человечек, видимо заводский служащий [1].

— Да.

— Ловко?!. Я вам говорю, как приеду в Тагил, — сейчас молебен отслужу. Ведь эта колбаса сколько лет из нас жилы тянула; одних слез сколько из-за него, может, было пролито... Вот прочитайте: «управляющий в юбке»... Ха-ха!.. Теперь поняли?..

— Я не понимаю хорошенько, в чем дело, — проговорил я.

— Самое дело простое, — объяснял служащий, размахивая руками. — У нас главным управляющим N; он ничего не видит и не слышит...

---

[1] Вся приведенная ниже сцена записана нами в том виде, в каком мы ее слышали; насколько она отвечает действительности — мы не беремся судить, а продаем за то, за что сами купили. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

В публике слышится недоверчивый смех.

— Ах, господи, да я же верно вам говорю! — горячился служащий. — Спросите кого угодно в Тагиле... Вот в корреспонденции и написано, что все дело ведет «управляющий в юбке», то есть жена N. Понимаете? А X. женат на ее сестре... Вона куда пошло: значит, свояки! Да еще в Питере у них была рука, тоже свояк. Понимаете: сила!.. Хочу с кашей ем, хочу с маслом пахтаю. Так-с... Теперь этот немец какие штуки выкидывал: не понравился рабочий — в шею, ступай на все четыре стороны, а то еще из своих рук поколотит.

— А каких это козлов посадил ваш немец в домны? — спрашивал кто-то из публики. — Неужели живых?

— Нет, это совсем особь статья, господа, — объяснял служащий. — Теперь если взять домну, когда она действует да застудить в ней чугун, вот вам и козел... Понимаете: домна стала, надо ее выдувать, вытаскивать козла, а потом снова задувать. Эта игрушка тысяч в пять и влезет, а главное — домна стоит, чугуна нет, заводу работать железо не из чего.

— А... как же это немец домны-то остудил?

— Видите ли, при домнах состоял один служащий, из молодых, дело знал отлично, и домны шли отлично. Только немцу не понравился этот служащий, ему и отказали, назначили другого, который умеет кланяться. А в заводе поклоны-то наши не нужны, нужно дело — вот низкопоклонник-то и засадил немцу козлов. Теперь обоих по шеям, а дела этим не поправишь. Говорят, что завода два или три на всю зиму будут закрыты. Рабочие-то куда денутся? Разве вот нового главного управляющего назначат, тогда разве што поправится, а то беда. Теперь какое дело выходит: ни дров, ни угля, ни чугуна — одни козлы в печах остались, а на них недалеко уедешь.

— Так этого немца сменили теперь? — спрашивал кто-то из публики.

— Сменили.

— Слава тебе, господи! — разом проговорило несколько голосов, и несколько человек даже перекрестилось. — Пусть едет на козлах-то...

Тагильский вокзал сравнительно с екатеринбургским поражает своим убожеством и в особенности производит неприятное впечатление своим желтым цветом, точно это дом сумасшедших. Кучка публики суетилась на платформе и с истинным провинциальным нетерпением забегала вперед, высматривая в окнах вагонов своих знакомых. Скоро приехавшая и встречающая публика слилась в одно шумевшее и галдевшее целое. Золотопромышленник Б* опять бежал по платформе своими коротенькими шажками, а за ним, как гончие, неслись служащие на вокзале. Магнетическая сила золота притягивала людей так же, как и на екатеринбургском вокзале. Я прошел в зал 1 и 2 классов, чтобы выпить стакан чаю. Б* стоял около буфета, окруженный целой толпой готовых на все услуги благоприятелей.

— Шампанского...

Меня поразил один седой старик. Он стоял немного в сторонке и с таким умилением наблюдал торжество Б*, точно частичка этого торжества перепадала и на его долю. Всякий успех производит подавляющее впечатление на окружающих, а на детей и стариков его действие неотразимо. Мне казалось, что старик испытывал отраженное счастье, может быть, вспоминая лучшие дни.

— Кто это такой? — спросил я своего соседа.

— Старик? А... это разорившийся золотопромышленник. Прежде гремел на целую губернию, а теперь банкрот. Ничего не осталось, все прахом пошло.

— Прииски неудачно шли?

— Нет, прииски шли хорошо. Так, случай один вышел, это было еще раньше, когда за золото в каторжные работы ссылали. Видите ли, старик попал за другого.

— Как так?

— Самая обыкновенная история. Был в Тагиле один купец, который бойко торговал золотом на сторону, то есть, видите ли, это только говорили, а знать это хорошенько, может быть, знали всего два-три человека. Дело вышло на Ирбитской ярмарке. Этого купца, который торговал золотом потихоньку, полиция

давно уже выслеживала, а взять не может. Только разузнали, что он привез золотую самородку на Ирбитскую, и караулили его. Раз сидят в трактире, — вот этот самый купец и старик, а полиция в другой комнате слушает. То, се, выпили, балагурят. Вдруг исправник и прямо к тому купцу. Парень был не промах, взял да под столом самородок старику и сунул, а сам поднял шум, дескать, как вы смеете честного человека беспокоить, и прочее. Полиция видела, что самородок у старика, стали его уговаривать отдать, а он — выпивший был, — как грянет: «Что мне, полицию куплю за две сотенных бумажки и самородок не отдам!» Тут его, голубчика, и накрыли. Просидел года два в тюрьме, разорился, а теперь так и живет. За чужой грех человек пропал и всю семью по миру пустил. Будь это по нынешнему суду — ничего бы этого не было!

Выходя из буфета, я натолкнулся на странную процессию: кого-то выносили из вагона. Я думал, что это несли больного или, может быть, раздавленного.

— Нет, это несут нашего мирового судью, — успокоил меня какой-то служащий. — Возвращается из уезда...

Старик переселенец стоял на платформе и жевал сухую корку черного хлеба, обмакивая ее в воде. Он с каким-то особенным выражением смотрел на шумевшую вокруг него толпу, как взрослый на толпу играющих детей. Очевидно, его мысли бродили далеко от окружающей действительности, где-нибудь в Орловской губернии, где ожидала его, может быть, голодающая семья и не менее голодающие односельчане.

— Что больно далеко заехал, дедко? — спрашивал старика какой-то мастеровой.

— Нужда, милый, загнала...

— Плохо вам приходится *там,* в Расее вашей?

— Уж и не говори, милый...

— За помещиком жили?

— Мы капитановы были... От антиллерии капитан — у нас барин.

— Ну?

— Ну, значит, как вышла воля, капитан и уговорил нас принять даровой надел, по осьмине на душу. Мы погалдели, погалдели на сходе, а потом и приняли. Обошел он нас, капитан этот. Теперь и платим ему за все: и за землицу, и за выгон, и за лес. Мы, старики, пожалуй, и перетерпели бы, да молодые-то с ножом к горлу пристают. Зачем, значит, капитану поддались, а кто его знал... говорили тогда разное. Ежели бы все это знать.

— Обошел он вас, от антиллерии-то!

— По миру пустил. Вот теперь насчет землицы в Томскую губернию меня мир и послал. Там наши хорошо живут.

Я залюбовался группой слушавших старика рабочих: это совсем особенный уральский тип рабочего, который ничего общего не имеет с фабричными «расейскими». Стоит посмотреть на эти мускулистые руки, крепчайшие затылки и рослые, полные силы фигуры — так и дышит силой от этих молодцов, хоть сейчас в гвардию. Вообще на заводах Демидова сложился совершенно особенный тип заводского рабочего, о чем мы поговорим после.

— А мы, дедко, немца Карлу сменили, — говорили рабочие переселенцу. — Еще хуже вашего капитана: вроде как змей.

III

Не без некоторого внутреннего трепета переходим мы к описанию настоящего положения Тагильских заводов и злоб его дня... Перед нами длинный ряд таких солидных цифр, тысячных окладов, объемистых кушей — словом, мы погружаемся в сферу князей мира сего, дельцов самого высокого давления и тысячных интересов. Атмосфера грошей и копеек, в которой вращается обыкновенное «человечество», отходит на задний план, и мы лицом к лицу встаем с мыслями о тысячах и даже миллионах.

— Прежде эта тысяча действительно большие деньги были, — говорил мой спутник до Тагила, —

а нынче это самое обнаковенное дело... Нынче счет на миллионты пошел.

Первая капитальная вещь, на которую мы наталкиваемся — это, конечно, гора Высокая, или Магнитная. Она занимает площадь приблизительно в 225 десятин и разделена на 6 участков, сообразно делению наследства, оставшегося после Акинфия Демидова. Львиная часть этой горы принадлежит Тагильским заводам, так что им из всей суммы добываемой ежегодно железной руды (6 миллионов пудов) приходится на долю около 4 миллионов. Цифра тем более почтенная, что руда из Высокой горы содержит в себе от 63 до 67 процентов чистого железа; руды с меньшим содержанием, например, в 60 процентов, считаются невыгодными для разработки. Кроме Тагильских заводов, из Высокой горы получают руду заводы Верхне-Исетские, Алапаевские, Невьянские, Ревдинский и Суксунский. Если бы П. П. Демидов, князь Сан-Донато, ничего не имел на Урале, кроме своей части на Высокой горе, и если бы он не ударил пальца о палец, и тогда его годовой бюджет выразился бы в таких цифрах: 4 миллиона пудов высокогорской руды, считая по 10 копеек за пуд [1], принесут в год чистых 400 тысяч рублей. Но у г. Демидова, князя Сан-Донато, кроме Высокой горы, есть шестьсот тысяч десятин земли, медный рудник (дает ежегодно больше 2 миллионов 500 тысяч пудов медной руды), несколько золотых и платиновых приисков (например, в течение 1879—1880 заводского года добыто было 14 пудов 36 фунтов золота и 69 пудов 32 золотника платины) и, кроме всего этого, есть еще главноуправляющий, который боится, как черт ладана, всяких налогов, и, если бы было в его власти, он по всей вероятности устроил бы так, что даже и тень какого-нибудь налога не смущала бы покойного сна его патрона.

---

[1] Управляющий заводами князей Голицыных желал покупать у Демидова подрудок, который на Тагильских заводах считают невыгодным для плавки; главный управляющий Тагильских заводов назначил за подрудок плату по 10 копеек за пуд. Следовательно, мы ценим настоящую руду в 10 копеек за пуд minimum. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Производительность Тагильских заводов выражается в таких цифрах (мы берем 1879—1880 заводский год):

Чугуна выплавлено	2629 т. пуд.
Железа »	2624 » »
Меди »	30 т. 877 пуд.

Мастеровых при заводах и рудниках работало 14 996 человек, на золотых и платиновых приисках — 1446 человек; следовательно, вся живая рабочая сила выражается цифрой 16 442 человека.

Эти почтенные цифры красноречиво говорят сами за себя и не требуют пояснений. Мы теперь перейдем к самому больному месту в хозяйстве Тагильских заводов, то есть к вопросу о снабжении заводов топливом, — вопросу, который для них составляет гамлетовское «быть или не быть». Мы уже знаем, к какому печальному результату привело Невьянские заводы хищническое истребление лесов: они существуют только из милости правительства, которое отпускает им из Монетной дачи ежегодно 21 тысячу кубических саженей дров (Монетная дача занимает площадь 160 тысяч десятин, и ежегодный прирост леса равняется 31 тысяче кубических саженей). Тагильские заводы бойко шли по той же дорожке, как и Невьянские, и давно успели свести лучшие леса, так что пользовались и пользуются отпуском леса, как и Невьянские, тоже из казенных дач: из Илимской (ныне, кажется, воспрещено пользование этой дачей) и из Верхотурской. Но потребность в горючем материале для Тагильских заводов, при их громадной производительности, стоит неизмеримо выше, чем в каких-нибудь Невьянских; поэтому заводоуправление давно уже озабочено изысканием средств для устранения грозящего краха. Судьба помогла тагильскому заводоуправлению выпутаться из беды: открыты были в имении графов Всеволожских Луньевские каменноугольные копи, потом провели Уральскую горнозаводскую дорогу и даже, на счет правительства, была выстроена целая ветвь железной дороги к Луньевским копям, арендованным Тагильскими заводами, — оставалось только по готовой дороге везти

уголь на заводы. И повезли... Вот здесь и произошла некоторая история; именно, по расчетам и сметам ученых инженеров, кубическая сажень дров заменялась 100 пудами каменного угля. Сажень дров стоила около 6 рублей, 1 пуд угля обходится с провозом до Тагила в 9 копеек, следовательно, 100 пудов стоят 9 рублей. Получается некоторая довольно чувствительная разница в 3 рубля у каждой сажени. С этим Тагильские заводы помирились бы, благо деваться некуда; но когда начали заменять дрова луньевским углем уже не в виде опытов, а на самом деле, получился совершенно неожиданный результат: вместо 100 пудов взамен 1 кубической сажени дров угля потребовалось чуть не триста пудов, то есть вместо 6 рублей пришлось затрачивать почти 27 рублей. Да еще уголь-то оказался из рук вон плохой (до 36 процентов несгораемых остатков) и с содержанием серы, следовательно, и обработка при его помощи руд труднее и получаемые продукты хуже. В высшей степени поучительный пример для всех тех, кто свои личные корыстные цели, леность и отсутствие не только знаний, но даже и желания приобрести их путем опыта прикрывают жалкими фразами, вроде «насаждение промышленности», «общегосударственная польза» и т. д.; слишком старая штука, которою морочили добрых людей в течение двухсот лет. Привожу образчик этой уральско-горнозаводской логики, ничего общего с законами логического мышления не имеющей. Вот подлинные слова, произнесенные главноуправляющим Демидовских имений пред лицом первого съезда уральских горнозаводчиков: «Вопрос об отпуске леса (конечно, из казенных дач) должен быть решен неотложно. Чем скорее будет он окончательно решен, тем больше получат заводы выгоды и правительство скорее достигнет развития горного дела на Урале» (*sic!*). И эта песня про белого бычка поется среди белого дня, и никто не краснеет за нее.

Мы уже сделали краткий очерк того, как тагильское заводоуправление наделило мастеровых по уставной грамоте. Для сравнения приводим пример Кыновского завода, принадлежащего графу Строганову, где мастеровые получили на каждую ревизскую душу

по 5 десятин 667 кв. сажен с платой оброка 5 рублей 24 копейки с души. Ясно, что тагильское заводоуправление воспользовалось случаем поприжать своих мастеровых и проводит ту же политику далеко за пределы своих специально заводских дел. Именно, мы переходим к той интересной борьбе, которую заводоуправление ведет с верхотурским земством уже не один и не два года. Это нечто вроде Семилетней войны, в которой «то сей, то оный на бок гнется». В Верхотурском уезде считается 194 тысячи душ населения и земский бюджет достигает цифры 280 тысяч рублей. Все имущество крестьян и мастеровых в уезде оценено в 2 миллиона 800 тысяч рублей; все заводы Демидова с землями, лесами, приисками, заводскими зданиями и домами, поскольку они подлежат обложению, оценены в 4 574 988 рублей. Теперь проследим колебание суммы сборов в том и другом случае. Сумма земских сборов с Тагильских заводов равнялась:

в 78 г.	33 766	руб.
» 79 »	45 115	»
» 80 »	39 897	»
» 81 »	29 000	»

С крестьян и мастеровых:

в 78 г.	25 179	руб.
» 79 »	32 806	»
» 80 »	29 487	»

Самый простой арифметический расчет говорит, что если имущество крестьян и мастеровых, оцененное в в 2 миллиона 800 тысяч рублей, несет земских налогов 29 тысяч рублей, то само собой разумеется, что Тагильские заводы, оцененные в 4 миллиона 600 тысяч рублей, должны платить земских сборов не 39 тысяч рублей, как в 1880 году, и не 29 тысяч рублей, как в 1881 году, а 49 тысяч рублей.

— Как же это вы, господа, так сплоховали? — спрашивал я одного верхотурского земца, который сел к нам в вагон в Тагиле.

— Да уж так, сила солому ломит и выше лба уши не растут.

— То есть?

— Да уж и рассказывать не хочется: самое неприятное дело... Видите ли, наш уездный город Верхотурье уплачивает земского сбора всего-навсего каких-то рублей девяносто и притом ехать в него гласным далеко. Населена главным образом южная часть уезда, следовательно, и гласных большинство выбирается здесь, а тут изволь, за здорово живешь, ехать, куда Макар телят не гонял. Понятное дело, все и хлопочут о переводе земского собрания в Тагил. Хорошо. Теперь уж раза три было, что переведут собрание в Тагил, а потом опять в Верхотурье. Со стороны это кажется и глупо и смешно, а на деле и полсмеха нет. Вся суть в том, что как только переведут собрание в Тагил, так и начнется такая каша, что боже упаси! Большинство гласных — демидовские служащие, вот они и гнут в его сторону. Одним словом: сила. А в Верхотурье не всякий поедет, особенно из заводских служащих, поэтому там нам не в пример легче. Наше земство, как журавль: нос завязит — хвост вытащит, нос вытащит — хвост завязит. Взять прошлый год: целых десять тысяч сбавили с Тагильских заводов за здорово живешь.

— Да, ваше положение незавидное...

— Помилуйте, чему тут завидовать! Рады-радехоньки, когда в свое Верхотурье ноги уплетем... За Верхотурьем и собаки не бегают; оно и безопасно. Главное, то обидно, что с кого бы другого слагать налоги, а с Демидова просто грешно. Конечно, сам он в эти дела не входит, а тут всем верховодят два-три человека, чтобы выслужиться.

— Верх-Исетские заводы платят екатеринбургскому земству около пятидесяти тысяч, — проговорил я.

— А Тагильские — двадцать девять тысяч...

Нужно заметить, что деятельность верхотурского земства даже за очень короткий срок его существования принесла уже блестящие плоды. Именно, им выдвинуты и поставлены на твердую почву два капитальных вопроса: вопрос о народном образовании и вопрос о народном здравии. Конечно, мы не должны забывать, что верхотурское земство принуждено действовать в скромных рамках своего бюджета, который, за выче-

том обязательных расходов, представляет сумму около 80 тысяч. Мы с особенным удовольствием останавливаемся на земских школах и учительских съездах, причем не можем не сравнить настоящее положение народного образования в Верхотурском уезде с тем, которое существовало в нем до открытия земских учреждений. Если бы верхотурское земство ровно ничего больше не сделало, и тогда оно имело бы полное право на признательность и сочувствие не только всего местного населения, но каждого образованного человека, которому дороги истинные интересы народного просвещения. Мы берем одни Тагильские заводы, в которых до введения земских учреждений едва влачили свое существование заводские школы под присмотром учителей из никуда не годных заводских служащих или заводских священников. Что это были за школы, теперь даже трудно себе и представить, а между тем нас отделяет от них крошечный период времени в 10 лет. Мы уже не будем говорить о качественном различии бывших заводских школ и существующих земских, — это совсем несравнимые величины, — остановимся просто на количественных данных, именно на том, что верхотурское земство в одном Нижнетагильском заводе основало 4 земских школы и по одной школе на остальных восьми заводах, причем в Нижнесалдинском заводе, например, основано двухклассное училище. При каждом училище, кроме учителя или учительницы, находятся помощники и помощницы. Нужно заметить, что верхотурское земство открыло широкий доступ в свои школы женщинам, и теперь в них почти половину учащего контингента составляют учительницы. Мы полагаем, что верхотурское земство не раскаивается в этом. Экономическое положение самых школ и учителей едва ли заставляет желать чего-нибудь лучшего, — по крайней мере земство сделало все, что было в его власти. Заговорив о школах, мы не можем не упомянуть с особенной признательностью о первом председателе верхотурской земской управы В. Дм. Белове, который, кажется, всю свою душу вложил в дело народного образования и в течение одного трехлетия основал в уезде до 35 земских школ. Нужно заметить, что тогда это дело было

совсем новое и во всем нужно было начинать с аза, а главное приходилось из ничего создавать контингент учителей и учительниц. Чтобы сравнить заводские и земские школы, нужно просто зайти в те и другие (в некоторых заводах еще существуют заводские школы; на все девять заводов их всего две-три), — разница поразительная. Но верхотурское земство не останавливается на этом; оно, создав в течение 10 лет больше 50 школ, идет дальше, то есть употребляет все усилия, чтобы предоставить учителям и учительницам возможность постоянно пополнять свои знания теоретически и практически, для чего земством периодически устраиваются учительские съезды. В нынешнем году такой съезд состоялся в Нижнетагильском заводе под руководством такого корифея нашей народной педагогики, как Н. Ф. Бунаков. Можем указать на тот поразительный факт, что ни один из учителей демидовских заводских школ даже не заглянул на этот съезд. Тагильская интеллигенция отнеслась к съезду с таким обидным равнодушием, что не знаешь, чему удивляться: отсутствию ли всяких общественных интересов в этой интеллигенции или полному нежеланию хоть чем-нибудь выказать свое участие к благородным усилиям земства. «Съезд так съезд, а по нас хоть трава не расти», — рассуждала тагильская интеллигенция.

Нас удивляет больше всего тот факт, что владелец Тагильских заводов, в лице своих поверенных, доверенных, главноуправляющих, управляющих и управителей, совсем умывает руки во всем, что касается народного образования и школьного дела. Мы не говорим уже о том, что сам закон обязывает заводчиков заботиться об образовании детей своих рабочих, а обращаемся к простому человеческому чувству, к нравственной потребности помогать ближнему, тем более что благотворительность в самом широком смысле этого слова и покровительство наукам и искусствам были родовыми добродетелями фамилии Демидовых. Нам нечего указывать на те сотни тысяч рублей, которые пожертвованы Демидовыми в разное время на русские университеты и разные благотворительные учреждения — эти факты всем известны; отчего же, спрашивается, почти

все школы в Тагильских заводах и устроены земством и содержатся на его счет, — отчего в центре этих заводов, в Нижнетагильске, едва показывают признаки жизни демидовское реальное училище, Анатольское женское училище и какая-то народная школа, а для детей мастеровых земство принуждено было создать четыре школы. Опять мы должны повторить, что самого владельца мы едва ли можем обвинить в чем-нибудь, кроме того разве, что он позволил своим приближенным довести дело до этого. Это же верхотурское земство несколько раз поднимало вопрос о необходимости преобразовать демидовское реальное училище, которое не дает учащимся ни знаний, ни прав, а служит, кажется, только доходной статьей для разных ученых и неученых дельцов; предполагалось преобразовать его в настоящее реальное училище с настоящими учителями; но где взять средства? Мы знаем, что покойным А. И. Кроненбергом был составлен подробный проект преобразования тагильского реального училища и что этот проект был утвержден самим владельцем, а потом пропал неизвестно куда. Из этого следует только одно, что настоящее из рук вон плохое положение реального училища для кого-то выгодно настолько, что даже теряются утвержденные владельцем проекты.

IV

Мы еще раз возвращаемся к вопросу о профессиональном образовании, центрами которого силою вещей должны быть на Урале — Екатеринбург и Тагил. По отзывам всех специалистов и неспециалистов педагогов, которым случалось бывать на уральских горных заводах, дети мастеровых просто поражают своей смышленостью, развитием и известным художественным вкусом. Мы уже упоминали о существовавшем в Тагиле живописном искусстве и исчезнувшей неизвестно куда живописной школе, — это такой факт, которым только стоит воспользоваться, и если, например, в других местностях может служить препятствием вопрос о средствах, то для Тагильских заводов при их громадной

производительности, колоссальном дивиденде владельца, министерских окладах крупных служащих, наконец, при постоянном уменьшении земских налогов с заводов, доведенных в 1881 году до своего minimum'а, дальше которого, кажется, нельзя уже идти, — при существовании всех этих условий вопрос о средствах для профессиональных школ в Тагильском заводском округе просто смешон. Ведь нельзя же в самом деле, как это делает тагильское заводоуправление, одной рукой урезывать земские налоги, а другой наваливать на него содержание тех школ, которые по закону должны содержаться на счет заводовладельца, да еще заставить то же земство основывать профессиональные школы, заводить музей прикладных знаний, художественно-промышленные выставки и т. д. Можно надеяться, что гг. Демидовы устроят все это без всякой внешней побудительной причины.

Что касается музея прикладных знаний и выставки художественных произведений, то для Тагильских заводов вся задача сводится только на приведение в порядок уже имеющихся на руках материалов и только отчасти придется пополнить их из богатого музея, принадлежащего фамилии Демидовых. Что стоит, в самом деле, П. П. Демидову уступить тысячную часть своих художественно-промышленных богатств, собранных его предками и им самим со всех углов Европы. Мы, между прочим, можем указать уже на существующий при Выйском заводе Демидовский музей, где собраны предметы, исключительно относящиеся к заводскому делу; затем, в Нижнетагильске в господском доме и в церквах существует несколько замечательных картин работы старинных итальянских мастеров. Конечно, большинству тагильских обывателей совсем неизвестно существование этих художественных богатств, но для будущего туриста они будут представлять значительный интерес. A propos[1] можем указать на великолепный бронзовый памятник Николаю Никитичу Демидову, который стоит на главной площади; в числе русских памятников ему, без сомнения, принадлежит одно

---

[1] кстати *(франц.)*.

из первых мест как по его идее, так особенно по тонкохудожественному исполнению целого десятка бронзовых фигур в человеческий рост. Мы еще будем иметь случай говорить о Николае Никитиче, который сделал для внутреннего управления своих заводов столько же, сколько Акинфий Демидов для их основания, внешнего распространения и, собственно, развития заводского дела.

Мы уже говорили, что тип тагильского мастерового невольно бросается в глаза, но нужно видеть этого мастерового в огненной работе, когда он, как игрушку, перебрасывает двенадцатипудовый рельс с одного вала на другой или начинает поворачивать тяжелую крицу под обжимочным молотом: только рядом поколений, прошедших через огненную работу, можно объяснить эту силу и необыкновенную ловкость каждого движения.

— Неужели для владельца заводов имеет такую важность вопрос о нескольких тысячах десятин земли? — спрашивал я одного заводского служащего, с которым у нас зашел разговор об уставной грамоте.

— Помилуйте, самое плевое дело, — отвечал служащий. — Тут дело выходит совсем особенное. Вы, может быть, помните, кажется в прошлом году было напечатано в газетах известие об Уфимских горных заводах? Вот у нас та же самая история и подведена. На всякий случай обеспечить себя не лишне.

История Уфимских горных заводов очень несложна: всех заводов считается 11, с населением в 97 970 душ. Уфимские мастеровые так же, как и тагильские, получили «в дар» свои усадьбы и ни клочка земельного надела, а потому пользование лесом, покосом, выгонами и пашней предоставлено только «обращающимся на заводские работы» и тоже «впредь до усмотрения». Это «усмотрение» в настоящую минуту значит вот что: производительность 11 Уфимских заводов равняется 2 564 130 рублей и требует 8364 человека рабочих. Других работ, кроме заводских, не существует, поэтому между рабочими идет страшная конкуренция, и заработная плата доведена до своего minimum'а. За неимением других заработков, эти 8364 рабочих должны со-

держать все стотысячное население. Мастеровые много хлопотали о наделе их из свободных казенных или башкирских земель, но получали в ответ, что этот вопрос «рассматривается», а когда он рассмотрелся, все земли оказались уже занятыми представителями администрации и разными другими лицами.

— Для Тагильских заводов пока этот обдел землями еще незаметен, — объяснял служащий, — потому что заводы требуют много рабочих рук, это раз; а второе — существуют побочные промыслы: сундучный, старательский, отходный на сплав по реке Чусовой и так далее. Но в будущем, в случае какого-нибудь заводского краха, мастеровым придется жутко: они в ежовых рукавицах у заводоуправления. Вы знаете ли, что мастеровые много проиграли от освобождения? Да, им лучше жилось «за барином».

— То есть?

— Собственно говоря, крепостным приходилось жутко у мелких помещиков, а из крупных разве только в исключительных случаях. По крайней мере демидовским мастеровым жилось очень хорошо, хорошо не в единичных случаях, а в общем. Видите ли: теперь рабочим от восемнадцати до сорока пяти лет живется очень хорошо, — особенно холостым. Заработная плата в среднем составляет копеек пятьдесят, а подмастерья и мастера зарабатывают до сорока рублей в «выписку», то есть в две недели. Следовательно, в месяц составится целых восемьдесят рублей. Холостые парни имеют в руках много свободных денег и привыкают к известной роскоши, а главное к разгулу и пьянству. Хорошо, если такой рабочий женится во-время, и к тому времени, когда он уже не в силах будет работать, у него успеют подрасти на смену дети: в противном случае, ему грозит положительная нищета. На огненной работе в пятнадцать — двадцать лет вытянется какой угодно рабочий до того, что часто от человека остается одна тень. Вообще, при настоящем порядке, положение бездетных, стариков и сирот самое печальное. Тогда как при крепостном праве взрослые рабочие, пока они были в полной силе, хотя и не зарабатывали, сколько теперь, но зато все сироты, престарелые и

калеки существовали на счет заводовладельца: развалилась изба — починят избу, пала корова или лошадь — купят другую. А нынче даже калеки, получившие увечье на заводской работе, и те находятся на «усмотрении» заводоуправления: дадут — спасибо, не дали — ступай на все четыре стороны. Обыкновенно от таких калек отделываются единовременными грошовыми пособиями, чтобы чем-нибудь заткнуть рот. У нас даже заводские госпитали на откупу у докторов. Читали, может быть, в «Екатеринбургской неделе», что в Тагильских заводах от всех болезней рабочих лечат александрийским листом и что лихорадкой могут хворать одни управители. Прежде госпитали были поставлены отлично, а теперь все дело идет через пень-колоду: на девять заводов два заводских доктора — разве есть какая-нибудь физическая возможность что-нибудь поделать при таких условиях!

— Отчего же мастеровые, пока они в силах и могут зарабатывать очень много, не откладывают копейку на черный день?

— Как вам сказать, — это очень трудный вопрос. Кто-то сказал, что уметь хорошо истратить деньги гораздо труднее, чем нажить их. По моему мнению, нашего мастерового ближе всего сравнить с матросом: известно, что матросы целыми годами копят свое жалованье и потом спускают его в один день в первой гавани: они копят по необходимости, потому что некуда тратить, и спускают деньги по своей непрактичности. Эта непрактичность положительно заедает мастерового, а между тем разве можно требовать практичности от человека, который всю свою жизнь от четырех часов утра до семи дня проводит на фабрике и свободное время имеет только в праздники. Сравните любого крестьянина, который получит втрое-вчетверо меньше и проживет лучше. По-моему, причина лежит именно в тех исключительных условиях, которыми обставлена жизнь рабочего, а не в его индивидуальных особенностях. Теперь у нас бойко идут ссудосберегательные товарищества; может быть, они исподволь приучат нашего рабочего к бережливости.

Самая памятная страница в жизни Тагильских заводов связана с именем Николая Никитича Демидова. Это был действительно замечательный человек, сумевший встать целой головой выше своего времени; как западник, он всей душой тяготел к Европе и старался провести в жизнь лучшие ее стороны. Так, при нем вполне определилось положение заводских служащих, которые обыкновенно набирались из крепостных и при Николае Никитиче стали получать определенное жалованье. Насколько хорошо обставлены были рабочие, мы можем судить по только что приведенному разговору. Затем особенное внимание Николаем Никитичем было обращено на образование и медицинскую часть. Помимо своих личных интересов как заводовладельца, Николай Никитич старался по возможности облегчить положение заводского населения и, главное, предоставить ему путь самоусовершенствования и развития по началам европейской цивилизации в будущем. Как это ни странно, но прямым следствием этого стремления к европеизму была несчастная судьба так называемых «заграничных». Дело в том, что человек пятнадцать из детей заводских служащих были отправлены на демидовский счет за границу для усовершенствования в заводском деле. Дети были размещены отчасти по европейским столицам, отчасти при лучших заводах, где выросли и выучились при самых лучших условиях: пользовались значительным обеспечением и были размещены в лучших семействах. Понятное дело, что, прожив лет пятнадцать в такой обстановке и превратившись в молодых людей, «заграничные» сделались вполне европейцами и по образу жизни, и по взглядам, и по привычкам. Больше половины из них успели жениться, конечно, на иностранках; француженки и немки, выходя за демидовских воспитанников, конечно, были уверены, что их мужья там, в далекой России, на каком-то Урале, по меньшей мере будут инженерами и управляющими. Большинство этих девушек были из лучших семейств (одна, например, была дочь кассельского сенатора). Каково же было удивление и ужас этих пар, когда они, приехав на Урал, узнали, что, во-первых, они крепостные Демидова, а во-вторых, сразу

попали в ежовые рукавицы доморощенных управляющих. Разыгралась истинная трагикомедия; «заграничные» сделались общим посмешищем благодаря их европейскому платью, манерам и привычкам; но, как им ни приходилось тяжело, они не в силах были расстаться со всем этим. Доморощенные крепостные управляющие, конечно, не дали им ходу, затерли в низших должностях и постоянно держали в самом черном теле. Дело кончилось тем, что больше половины этих несчастных сошли с ума, спились или кончили жизнь самоубийством. Один, например, заморил себя голодом, — Швецов. Жены этих несчастных разделили их участь: одна вешалась три раза, но ее вынимали каждый раз из петли; другая сошла с ума; третья умерла от чахотки и т. д. Замечательно, что это сумасшествие передавалось и детям «заграничных»; впрочем, из них вышло несколько очень даровитых личностей. Невозможно слушать без смеха о бесконечных странностях, которыми отличались все «заграничные»; а зрелище этих «заграничных», до конца своих дней разгуливавших в тех европейских старомодных костюмах, с которыми они не в силах были расстаться, — подобное зрелище способно вызвать слезы даже у нечувствительного человека; что может быть печальнее этих лохмотьев европейской цивилизации, заброшенных вглубь крепостной России, в сферу дикого произвола и не сдерживаемого ничем насилия. Для сравнения можем привести пример заводов графа Строганова. Там тоже были посланы молодые люди за границу, но, когда они вернулись домой, им были предоставлены все средства для приложения приобретенных сведений, и, главное, они не были отданы в полное и бесконтрольное распоряжение крепостных управляющих. Мы не слыхали, чтобы кто-нибудь из строгановских заграничных кончил жизнь самоубийством или сумасшествием. Вообще можно сказать, что на Урале заводы гр. Строганова поставлены образцово, то есть образцово по отношению к мастеровым и служащим. Мы уже говорили о наделе землей мастеровых Кыновского завода; с 1859 года там же существует вспомогательная касса для выдачи ссуд рабочим и служащим, а с 1869 года

открыто общество потребителей, для оборотов которого гр. Строганов дал капитал шесть тысяч рублей заимообразно, без процентов. Этот капитал общество должно возвратить, когда обеспечит себя собственными сбережениями. Будущность заводских служащих обеспечена гр. Строгановым определенными пенсиями, а для обеспечения престарелых и беспомощных рабочих на заводах и соляных промыслах им в 1881 году внесен капитал в сто тридцать две тысячи рублей.

Нечто подобное было и в Тагильских заводах, когда они, за малолетством нынешнего владельца, находились под управлением его матери, Авроры Карловны Карамзиной. Особенно остался в памяти заводского населения приезд Карамзиной с своим мужем на заводы в конце сороковых годов (Андр. Ник. Карамзин, полковник, пропал без вести в одной стычке с турками на Дунае, в Крымской кампании). Из поколения в поколение переходят рассказы о необыкновенной доброте, доступности и простоте этой четы, тем более что мастеровые не были избалованы в этом отношении владельцами — предшественниками. Никто в такой степени не ценит истинно просвещенное и глубоко гуманное отношение к себе, как простой народ. Старики со слезами на глазах рассказывают мельчайшие подробности пребывания Карамзиных на заводах. Так, однажды владельцы пили чай в комнате, которая находилась в нижнем этаже и выходила окнами на улицу. Окна были огорожены небольшим палисадником. Народ с утра до ночи густыми толпами стоял у господского дома и теперь столпился вокруг палисадника, желая посмотреть на своих владельцев. Чтобы удовлетворить любопытство, Карамзины отдали приказание убрать решетку палисадника, и народ долго смотрел в окна, как живут его владельцы. Всякий имел доступ к Авроре Карловне; с одинаковым участием и неизменной добротой она выслушивала каждого и никогда не отказывала в помощи. Если сравнить это человеческое отношение к своим подчиненным с тем, как относятся не только нынешние управители, но даже мелкая заводская сошка, — получается дистанция огромного размера. Авророй Карловной были основаны в

Нижнетагильске богадельня для престарелых и убежище для детей. Богадельня давно прекратила свое существование, а убежище существует и теперь. Мысль основать детское убежище явилась у Авроры Карловны из желания помочь бедным женщинам, которые не могли никуда идти на работу, потому что не на кого было оставить детей. В настоящую минуту основная мысль убежища утратилась, и оно существует как детский приют. Нельзя не пожалеть, что в этом убежище на всех детей (их собирается до восьмидесяти человек) полагается всего одна надзирательница с помощницей; при всем желании, трудно двум женщинам управиться с такой оравой детей, тем более что этих детей нужно еще учить.

Не считая себя компетентными специально в заводском деле, мы обходим молчанием очень многие вопросы горного хозяйства Тагильских заводов; можем только сослаться на отчет г. Чернова, читанный им в Русском императорском техническом обществе специально об уральском горном хозяйстве и, между прочим, о хозяйстве Тагильских заводов. Г. Чернов очень резко нападает на заводские порядки Тагильских заводов и указывает массу вопиющих промахов и недостатков, которые проходят роковой цепью через все заводское производство, начиная с неправильного добывания железной руды из горы Высокой (эту последнюю г. Чернов сравнивает с куском честерского сыра, из которого вырезывали куски кто и как хотел) и кончая бессемеровским способом приготовления стали и железа, который существует в Нижнесалдинском заводе. Насколько прав г. Чернов — мы не беремся судить, мы берем его отзыв, как отзыв специалиста, против которого тагильским заводоуправлением пока еще не сделано сколько-нибудь веского опровержения; с своей стороны, мы можем только заметить то, что в интересах русских горнозаводчиков правительством постоянно поддерживается высокий тариф на привозное железо, ложащийся на все население очень чувствительным гнетом, — отсюда, как необходимое логическое следствие, вытекает задача со стороны правительства строго

следить за хозяйством горных заводов, которым принадлежат целые области земель, имеющих государственный интерес, как наши национальные богатства. Мы уверены, что, рано или поздно, этот капитальный вопрос нашего государственного хозяйства получит разрешение не в смысле только интересов одних наших горнозаводчиков.

V

В половине июня нынешнего года мне случилось по разным делам проехать через Тагильские заводы по направлению к реке Чусовой. Раньше, года 3—4 тому назад, мне приходилось довольно часто бывать в этой местности, и я целые дни проводил на охоте в горах — под Белой, Мохнатенькой, Теплой. Воспользовавшись представившимся удобным случаем, я отъехал от Тагила верст на 30, оставил лошадей в небольшой деревушке, а сам с ружьем отправился в лес. Деревня З. замечательна тем, что около нее разбросаны платиновые прииски. Целый день с величайшим удовольствием пробродил я по лесу, который здесь, в горах, необыкновенно хорош, особенно густые, темные ели и пихты. Изредка попадаются где-нибудь «на взлобочках» или на откосе горы небольшие сосновые бора, где дерево стоит к дереву, как восковые свечи; на местах, где лес вырублен, непременно растет светлый, как транспарант, березняк. С именем «белого дерева», то есть березы, у сибирских инородцев связано предание, что с этим белым деревом вместе идет и власть «белого царя». Действительно, если проследить исторически географическое распространение березовых лесов, можно вполне убедиться в верности этого предания: куда шел русский человек, — туда, как живая, шла за ним береза. На Урале громадные площади куреней затягиваются березовой порослью в несколько лет, и при рациональном хозяйстве ими можно было бы воспользоваться с большой выгодой. Я каким-то болезненным чувством люблю этот уральский лес, — может быть, потому, что оживаю в нем и душой и телом от всяческой суеты сует наших городов, от дрязг и треволнений

жизни. Бродить по лесу бесцельно как-то неловко: поэтому берешь на всякий случай ружье и по пути «зацепишь» пару рябчиков, как говорит один мой знакомый охотник. Но нынче я не имел права зацепить даже эту пару, потому что охота на птиц до Петрова дня воспрещена законом, хотя на Урале этот закон и обходится всеми. К вечеру мне нужно было выйти обратно в З., но я сбился с дороги, и впереди представлялась довольно неприятная перспектива — одному ночевать в лесу. Меня сбило с толку быстрое наступление сумерек, как это бывает только в горах; мне оставалось одно — идти по одному направлению, пока двигаются ноги — может быть, и попаду на какую-нибудь дорогу или на прииск. Темнота быстро сгущалась вокруг меня, и в лесу делалось тихо, как в пустой церкви. Вдруг чрез эту мертвую тишину пронесся звук человеческого голоса... раз... два... три... Я притаил дыхание и, наконец, совершенно ясно расслышал: «Лукерка! Луукерка-а-а!..» Оставалось идти по направлению доносившегося голоса, и чрез каких-нибудь полчаса я уже подходил к большому прииску, о чем можно было судить и по смешанному глухому гулу человеческих голосов, и по отрывистому лаю собаки, и по далекому мотиву уральской песни, точно застывшей в ночном воздухе. Лес разом точно раздвинулся, и предо мной открылся длинный глубокий лог, иллюминованный десятками больших огней, горевших пред старательскими палаустными[1] балаганами. В каких-нибудь двадцати — тридцати шагах от меня стоял высокий седой старик в белой холщовой рубахе; мне его было отлично видно при освещении ярко горевшего костра. Он время от времени прикладывал руку к щеке и начинал кричать: «Лукерка-а-а... бисова дочь!»

— Да это Хома!.. — вслух проговорил я, подходя к старику. — Здорово, Хома...

Старик из-под руки пристально посмотрел на меня, протянул свою корявую широкую ладонь и прого-

---

[1] Палаустными балаганами на Урале называют шалаши, устроенные наподобие крыши крестьянской избы, скатом на две стороны; они обыкновенно кроются дерном, берестой, еловой корой или просто хвоей. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ворил самым добродушнейшим тоном, точно мы вчера с ним расстались:

— А, паныч... Як же тебе занесло у нашу сторону?

— Видишь, с охоты иду.

— Идем до хаты, паныч. Заночуй у нас...

— Спасибо; а ты кого тут кричишь, Хома?

— А все же дочку свою, Лукерцу... С парубками гуляет, бисова дочь, а Хоме треба пауживать: и грибы е, и силь е, а Лукерци нэма!

— Зачем же ты отпустил ее?

— Да никто ж ее не пущал: сама ушла. Треба гулять... Лукерца-а!..

Малороссия на Урале... Вероятно, последнее немногим известно, а между тем в Тагильских заводах можно насчитать больше трех тысяч хохлов, как здесь называют малороссов; есть заводы и деревни, которые населены одними хохлами, например, Верхнесалдинский завод, деревни Салка и Бобровка, а в других хохлы составляют только часть населения, как в Висимо-Шайтанском заводе. Я прошел в балаган Хомы, снял с себя охотничью сбрую и с особенным удовольствием присел к огню, около которого на обрубке дерева сидела старуха, жена Хомы.

— Здравствуй, стара́.

Старуха безмолвно подняла на меня мутные большие глаза и плотнее закуталась полушубком, который был накинут у ней на плечах. Старая Марьяна так изменилась за эти три года, что мне бы не узнать ее, если бы пришлось встретить ее где-нибудь в другом месте, а не в балагане Хомы. По тяжелому удушливому кашлю можно было вперед сказать, что у старухи была чахотка в последнем периоде. Около балагана валялась конская сбруя, к одной стене были привалены рудниковые тачки, сломанное колесо; внутренность балагана представляла квадрат сажени в две, около стен была настлана свежая трава, прикрытая сверху широкими кафтанами из толстого крестьянского сукна и старыми шубами. С потолка спускался на цепочке небольшой чугунный котелок; над ним виднелось несколько пайм, то есть переметных сум из бересты. В дальнем углу балагана и над входом в него висели два медных

образа-складня. Я давно знал Хому, и теперь неожиданная встреча с ним была для меня особенно приятна. Мне приходилось не в первый раз ночевать в балагане у Хомы, и я всегда с удовольствием вспоминал об этих охотничьих привалах.

— А бисова дочь... Лукерка-а! — продолжал кричать старик.

— Иду... — донесся откуда-то мужской голос. — Казак идет...

— Подходи, вот я тебе задам.

Через несколько минут к балагану, пошатываясь, подошел сын Хомы, Макар, молодой мужик лет под тридцать. Одна половина чекменя у него свесилась с плеч и тащилась полой по мокрой сырой траве, суконная фуражка была надета козырьком на затылок; он сильно пошатывался и разговаривал сам с собой: «Я — казак... запорожский казак!.. Ну... ну, тату поколотит казака... ну!»

— И поколочу, бисов сын, — проговорил хладнокровно Хома.

Действительно, как только Макар подошел к отцу, старик взял его одной рукой за волосы, а другой отвесил несколько здоровенных ударов черемуховой палкой. Макар со смирением принял это наказание и повалился отцу в ноги, благодаря за науку.

— Сховалась, — коротко проговорил Хома, как ни в чем не бывало подходя к нам.

Старик сел к огню и рассеянно наблюдал перебегавшее пламя. Его высокая широкоплечая фигура дышала еще силой, хотя он был уже сед лет десять; на голове была целая копна вечно всклоченных седых волос, борода лезла в разные стороны отдельными космами, а из-под громадных усов беспрерывно шла тонкая струйка синего дыма, потому что без тютюна и люльки Хома был немыслим. Исчезновение дочери Лукерки, видимо, сильно опечалило старика; он любил ее после своей люльки больше всего на свете и под веселую руку постоянно кричал: «Го, та моя ж Лукерка — ведмедица!» Уральские хохлы окрестили медведя ведмедем. Макар после отцовской науки несколько минут безмолвно лежал на траве, а потом

поднялся, почесал бока и проворчал: «Ишь, сивый ведмедь, как больно отколотил...» Действительно, Хома сильно смахивал на седого медведя. Желая чем-нибудь развеселить старика, я попросил Макара добыть где-нибудь горилки; это поручение пришлось ему как нельзя больше по душе. Он долго ухмылялся, потом как-то забавно крутил своим длинным сизым носом и все время думал вслух:

— И чего старый бьется... Шукай ему Лукерцу, а Лукерца у кержака [1] сидит в балагане!.. Кричит, как журавель на заре.

Минут через десять Макар явился с горилкой, которую принес в небольшой деревянной ведерке. Хома молча выпил первых два стакана, а на третьем повеселел и проговорил: «Макарка, дойди до кума». Пить горилку без кума для Хомы было каким-то святотатством, и кум явился. Это был небольшого роста худенький, сгорбленный беззубый старичок, смотревший постоянно моргавшими и слезившимися глазами — словом, это была полная противоположность с сивым медведем, и трудно было сказать, что связывало этих людей. Кум Хомы, кажется, даже не имел собственного имени, а был известен просто как кум; говорил он редко, отрывистыми короткими фразами, почему прослыл «немножко за колдуна». Впрочем, водку пил он вполне основательно, как воду; она не действовала на него. Макар был давно женат на дочери кума, но Хома не хотел по своему упрямству звать своего друга сватом, а попрежнему величал кумом. «Нехай для других буде сват, а мне — кум», — говорил упрямый старик.

— Дюже нехорошо, кум, — говорил Хома, подбрасывая несколько поленьев в огонь. — Ведь сховалась Лукерца.

— Сховалась, — как эхо, повторил кум.

— Нехорошо, кум...

— Нехорошо, Хома.

Этот интересный разговор был прерван появлением жены Макара — Ганны; на руках она принесла прехо-

---

[1] Кержаками на Урале называют раскольников. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

рошенькую двухлетнюю девочку, а за ней стоял мальчик лет двенадцати и исподлобья смотрел на меня. Ганна была великорусская красавица в полном смысле слова: высокая, статная, с замечательно красивым и серьезным лицом, в котором особенно хороши были большие темносерые глаза и смело очерченные алые губы. Глядя на эту красавицу, никто бы не подумал, что она дочь тщедушного кума.

— Нейдет... — певуче и мягко заговорила Ганна, отвечая на немой вопрос старика. — Сидит у него в балагане и нейдет... А Корней смеется... «Я, говорит, изо всей вашей семьи лучины нащеплю, только пальцем шевельните Лукерку». Я и пошла, тату...

— Я его убью! — громко заявил Макар, вскакивая с места. — Он из казака лучины нащепать хочет... Зарежу, как курицу!..

Макар без шапки и сильно пошатываясь побежал вниз по логу, в сторону светившихся огней; но убивать Корнея, по крайней мере на этот раз, он раздумал и вернулся часа через полтора, когда кум уже спал, свернувшись у огонька клубочком, а Хома спокойно беседовал со мной. Макар был, как говорится, пьянее вина и только мычал; бедная Ганна с трудом увела его в балаган, откуда доносился до нас ужасный кашель Марьяны. После оказалось, что Макар действительно был у Корнея, где и натянулся горилки вместо того, чтобы убивать кержака.

— Как дела идут на приисках? — спрашивал я старика.

— Богато... На Варламихе платина дюже идет. Висимские да черновляне [1] грошей много понадоставали.

— А у тебя хорошо платина идет?

— А бис ли мне в ней, в платине, — с досадой проговорил старик, махнув рукой; очевидно, он опять вспомнил про свою Лукерку, которая ушла к кержаку.

— За платину гроши получишь.

— А для чего мне гроши? Вот Лукерка сховалась, ушла к кержаку... Как вздумаю, точно вилами кто

---

[1] Висимские — из Висимо-Шайтанского завода; черновляне — из Черноисточинского завода. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

у сердце стегнет!.. И где она с ним снюхалась, бисова дочь... Приходит как-то Ганна и говорит: «Тату, а тату! Ведь Лукерка у кержака в балагане», — у меня ажно волосья на голове дубьем повставали!..

— Ведь ваши хохлушки выходят за кержаков, чего же ты испугался?

— Выходят... Не слухают нас, стариков. А ты, паныч, подумай то: какой человек кержак? Теперь взять пса: пес хозяина знает, а кержак не знает. У них всё по-собачьему, чтоб им пусто было! Мы у церкву идем, если кто хочет жениться, а кержак у церкву не пойдет... Он не знает хозяина. Теперь Лукерка ушла к кержаку, а того, бисова дочь, не вздумает, что ежели дите родится — дите некрещеное останется. Ох-хо-хо, Лукерца моя, Лукерца!..

Старик неожиданно заплакал. Крупные слезы катились у него по лицу, по усам и бороде. Несколько времени сидел он с опущенной головой, а потом проговорил:

— Вон Марьяна зачахла совсем, и мне пора помирать... Кум.

— Чего, Хома? — отозвался кум, поворачиваясь на другой бок.

— Хочешь горилки?

— А ты пьешь?

— Пью.

Кум беспрекословно выпил стакан горилки и сейчас же заснул, а Хома опять свесил на грудь свою седую лохматую голову, которую теперь дюже одолевали «черные думки». Я прилег к огню, рядом с кумом, и долго не мог заснуть. Мне было жаль бедного старика, который никак не мог помириться с мыслью, что его ведмедица ушла за кержака и что будущее дите останется некрещеным. А летняя чудная уральская ночь была так хороша, была полна такого божественного покоя! Мягкий сумрак покрывал все кругом, придавая предметам самые причудливые формы, до каких не в состоянии подняться самая богатая фантазия. Со стороны лога, где бурлила какая-то горная речушка, тихо поднимался туман, струя холодного воздуха ползла по траве и несла с собой аромат ближайшего леса. А в без-

донной глубине синего неба напряженным фосфорическим светом теплились мириады звезд, — Большая Медведица резко выделялась среди других созвездий. «Это очи божии», — говорил Хома, в хохлацкой натуре которого билась поэтическая жилка.

Хома Чапан был «пригнан», как он говорит о своем переселении на Урал, из Малороссии в конце двадцатых годов. Он был еще мальчиком и оставлял свою Черниговскую губернию с твердым намерением утопиться «у речки». Хохлы уверены, что они проиграны графом Разумовским одному из Демидовых. Насколько это верно, в настоящее время трудно сказать, но невероятного, собственно говоря, в этом ничего нет; если существовали проплеванные деревни и если крепостных меняли на собак, отчего же не существовать и проигранным. Вместе с хохлами были пригнаны на Урал туляки, то есть жители Тульской губернии. Завод, в котором жил Хома, представлял собой такую этнографическую картину: половину его населяли собственно старожилы, то есть потомки убежавших за Камень раскольников, четверть — хохлы и четверть — туляки. Таким образом в одном заводе сошлись великая, малая и северная Россия. Понятное дело, что первое время этого сиденья не обошлось без некоторых печальных недоразумений, — так Хома «загубил» одного кержака из-за самых пустяков: работали на каком-то прииске вместе и хохлы и раскольники, Хома захотел напиться, пошел в общую казарму и напился воды первым попавшимся под руки ковшом; после оказалось, что этот ковш принадлежал раскольнику, который ел и пил только из своей посуды. Произошел крупный разговор, а потом драка, — Хома развернулся и ударом кулака положил своего противника на месте. Все это происходило в темные времена крепостного права, никакого суда, конечно, не было, а просто Хому разложили и отодрали тут же, на самом месте преступления. Тем все дело и кончилось, а Хома здравствует и теперь.

По внешнему виду с непривычки не отличить хохла от туляка или от кержака: те же кафтаны из толстого сукна, те же шубы и полушубки, шапки зимой и шляпы

летом; даже женщины, за самыми редкими исключениями, почти бесследно утратили свой живописный костюм и щеголяют в русских сарафанах, подвязывают длинный передник под самые мышки и носят на головах платки. Только самые «древние» старухи ходят иногда в каких-то безобразных белых рубахах с широкими рукавами, но таких нам случалось видеть всего раза два. Вся разница теперь между пригнанным населением и старожилами заключается только в языке. Немногие старики, которые еще помнят Украйну, говорят испорченным полурусским языком, а молодое поколение сохранило только несколько слов из малорусского языка да мягкое произношение букв «г» и «л». Таким образом, под нивелирующим влиянием новых условий и форм жизни, все особенности малорусского типа постепенно сглаживаются и исчезают, а русский человек остался во всей своей неприкосновенности.

Понятное дело, что хохлы ближе всего стояли к православному населению, особенно к тулякам, в судьбе которых было так много общего с судьбой хохлов. Эта близость прежде всего выразилась в смешанных браках: хохлы «брали за себя» тулянок, а туляки — хохлушек. Так сын Хомы, Макар, он же и запорожский казак, женат был на дочери кума, а кум был туляк. И в последующей судьбе хохлов и туляков было много общего. После «воли», то есть 19 февраля, пригнанное население Тагильских заводов сильно заволновалось; прошли темные слухи о каких-то свободных землях в Челябе, то есть на реке Миясе, в Оренбургской губернии, и все в один голос заговорили о «своем хлебе». Особенно поучительна была в этом случае судьба Висимо-Шайтанского завода, из которого хохлы и туляки послали по ходоку, чтобы доподлинно разузнать все на месте. Когда эти ходоки вернулись, произошло нечто совершенно особенное, как с еврейскими соглядатаями: один ходок хвалит Челябу и советует ехать туда, другой, наоборот, говорит, что ехать совсем не за чем. Подумали, погадали, погалдели, но желание непременно есть свой хлеб многих соблазнило, а в том числе Хому и кума. Несколько сот семей пораспродали свои дома, разный домашний скарб и двинулись в

путь. Дело кончилось тем, что все семьи, которые только имели возможность, вернулись обратно, потому что раз — не оказалось свободными хороших земель, а второе и главное — хохлы и туляки совсем отвыкли от тяжелой крестьянской работы, особенно женщины, которые на заводах другой работы, кроме как «по домашности», не знают, а в Челябе крестьянские бабы работают, не разгибая спины. Много было смеху над бабами, испугавшимися «своего хлеба», а мужики долго почесывали затылки. История этого переселения ясно показывает, как и чем кончаются иногда истории подобного рода. Имей хохлы и туляки какую-нибудь возможность разузнать все подробности о Челябе, конечно, их не заманил бы туда и калачом, и таким образом несколько сот семей не были бы разорены совершенно напрасно. Вернувшись обратно на свое пепелище, они должны были поднимать хозяйство сызнова, и хорошо еще, что на заводах всегда есть работа, и, таким образом, явилась некоторая возможность не умереть с голоду на первых порах и поправиться впоследствии.

Мы уже сказали, что Хома с своим кумом был в числе этих переселенцев; он, конечно, разорился и вернулся из Челябы с одной люлькой. В самом деле, трудно даже себе представить положение мужика, у которого ни кола, ни двора, ни покоса, ни скотины — словом, ровно ничего, кроме семьи, которая просит есть. Хому спасли платиновые прииски, куда он пошел старателем вместе с своим кумом и со всей семьей. Старателями называются на приисках те рабочие, которые работают не из поденной платы, а от себя, то есть по условию с хозяином прииска получают известную плату за каждый намытый золотник. Вероятно, очень многим приходилось встречать в ежедневной прессе слово старатель, как синоним слова хищник; мы по личному опыту убедились в существовании таких доверчивых людей, которые, даже не видав ни разу ни старателей, ни старательских работ, приходят в некоторый священный ужас при одном слове старатель. По понятиям этих доверчивых людей, старатель — это что-то вроде колорадского жучка, филлоксеры, гессен-

ской мухи, знаменитого кузьки и тому подобных паразитов. Откидывая предвзятые мнения и ложный страх, подойдемте поближе к этому чудовищу и посмотрим на него не с предвзятой теоретической точки зрения, а во всей его житейской трудовой обстановке. Мы должны остановиться на старательских работах в особенности потому, что им одним платиновые прииски обязаны своим существованием: где старатель будет богат, там крупный предприниматель разорится и пойдет по миру, потому что чужими руками легко только жар загребать, а старателя заставляет искать платину или золото в большинстве случаев самая горькая нужда. Ученые и переученные горные инженеры (большинство с немецкими фамилиями) прокричали на целую Европу о вреде старательских работ и даже добились изгнания самого названия этих работ, перекрещенных теперь в золотничные; но перемена названия не помешала этим работам не только существовать, а еще и развиваться с каждым годом шире и шире, ибо за них говорит сама жизнь. Это гонение на самое слово старатель, это прекрасное истинно русское слово, вполне понятно со стороны сытой и ученой братии, потому что этим одним словом метко схвачен тип человека, который действительно старается и для себя и для других, а не получает громадных окладов, лежа на боку, как наши горные инженеры. Мы укажем только на тот факт, что из всего добываемого в России золота, несмотря ни на какие льготы и поощрения правительства, несмотря на все чудеса и покусы-фокусы современной техники, только 30 процентов приходится на долю крупных предпринимателей, а остальные 70 процентов добываются старательскими работами, то есть, виноват, — золотничными. Надеемся, что этот факт довольно красноречиво говорит сам за себя, то есть показывает ясно, кто лежит на боку и кто работает, следовательно, кто приносит государству пользу и кто вред. Предоставляем каждому, полагаясь только на свой здравый смысл, вывести из этого факта соответствующее заключение.

Было уже довольно поздно, когда я проснулся, так что самое лучшее охотничье время я проспал самым бессовестным образом. Когда я вышел из балагана,

предо мной открылась залитая солнечным светом картина громадного прииска; что-то такое хорошее, полное энергии и освежающего вольного труда невольно чувствовалось в этой картине. По течению небольшой горной речки земля была точно взрыта каким-то гигантским кротом, и везде были навалены неправильные кучи сероватого песку и крупных галек (перемывки); немного в стороне тянулись целые холмы этих же песков и галек — это свалки. Между свалками и перемывками, там и сям, мелькали небольшие прудки с мутной желтой водой, канавки, деревянные желоба, накати для тачек и грохота, около которых толпились пестрые кучки старателей. Я отыскал глазами грохот Хомы и пошел к нему. У грохота стояли бабы, то есть Ганна и Лукерка; они маленькими скребками проворно промывали пески, которые на небольшой рудниковой двухколесной тележке подвозил двенадцатилетний сын Ганны, Евмен. Кум суетился около плотины прудка, налаживая какой-то желоб. Хома и Макар добывали пески.

— Бог в помочь...

— Спасибо, — отвечала весело Лукерка, действительно походившая на медведицу: высокая, загорелая, с такой грудью, руками и ногами, какие изображают только на памятниках разных героинь. — Помогать нам пришел?.. Ганна, дай ему скребок, нехай поробит.

Я поблагодарил за это любезное приглашение и прошел к Хоме, который вместе с Макаром сидел в глубокой яме, откуда время от времени показывался край железной лопаты и периодически взлетали кучки серого песку, падавшие около самой ямы, прямо на деревянный помост. Евмен накладывал здесь пески в свою тележку и отвозил их к грохоту. Мне нужно было сильно наклониться, чтобы увидать Хому, который стоял посредине ямы и выбрасывал песок наверх; Макара совсем не было видно — у него выставлялись только голые ноги из какой-то норы, откуда, не знаю уж каким образом, постоянно летела земля, то есть песок. Чтобы свод норы не обрушился, были подведены невысокие деревянные стойки с широкой перекладиной наверху. Вся механика оказалась самой простой; только где приходится добывать пески очень глубоко или где

«одолевает вода», она значительно усложняется и требует значительных затрат и большего числа рабочих рук.

— А, паныч... — отозвался Хома, заметив меня. — Полезай к нам... Ноги у тебя долгие, как у журавеля: цап, цап, цап...

Хома показал в своей яме, как шагает журавель, и захохотал так громко, что кум счел своим долгом явиться к шахте и вместе со мной смотрел на Хому.

— Ого, и кум здесь, — добродушно басил старик.— Учуял, что Хома горилку буде пить... Макарка, бисов сын, шабаш!

Через четверть часа вся семья Хомы сидела на траве, недалеко от шахты, и полдничала; на сцену явилось и вчерашнее деревянное ведерко, мужики выпили по стаканчику, причем Хома так крякнул, что даже испугал кума. Вообще старик был необыкновенно весел и все время шутил самым беззаботным образом. Его, видимо, одушевляло и радовало присутствие Лукерки, которую он все-таки сравнил, с своим хохлацким юмором, с той коровой, «що хаты своей не знае, а гуляе по чужим дворам». Я просто залюбовался на Хому; особенно хороша была у него загорелая могучая шея, покрытая целой сетью морщин, точно шагрень, лохматая седая голова и навислые седые брови, под которыми веселым огоньком светились еще «невылинявшие казацкие очи». Запорожец сидел сегодня, повесив нос; очевидно, у него с похмелья крепко трещала голова. Недоставало одной Марьяны, которая одна оставалась около балагана; мне несколько раз приходилось замечать, что и русские и хохлы относятся с убийственным равнодушием к своим больным, точно к подержанным и уже никуда более не пригодным вещам. По всему руднику расположились такими же кустами полдничавшие кучки рабочих, как семья Хомы; право, самый строгий моралист не нашел бы в этой картине ничего предосудительного, кроме крепкого русского слова, без которого русский человек никак не может обойтись. Скоро Ганна и Лукерка, целомудренно прикрыв ноги юбками, заснули на траве; кум, запорожец и Евмен последовали их примеру, а мы с Хомой

остались «гуторить». Вообще старательские работы можно ближе всего сравнить с кустарным промыслом: стараются в большинстве случаев семьями, и всякий член, сообразно своему полу и возрасту, находит подходящую работу; небольшие семьи прихватывают родственников или соединяются по нескольку семей вместе. Несемейный характер работ является здесь исключением, по крайней мере последнее справедливо относительно платиновых приисков. Если и говорят об упадке нравственности приисковых рабочих, то причины этого упадка всего меньше можно искать в старательских работах: бедность, неправильное распределение заработка, то есть рабочие получают то слишком много, то слишком мало, — наконец, известный процент замотавшихся, гулящих, пришлых рабочих — все это вместе действительно сбивает рабочих с толку и заставляет «слабеть», но ведь старательские работы тут решительно ни при чем, тем более что все эти явления присущи всем фабрикам и заводам. Нравственность, в тесном значении слова, опять-таки не только не теряет ничего от старательских работ, а даже выигрывает, когда, как в нашем примере, они носят кустарный характер.

— А что, Хома, я слышал, что нынче сильно воруют платину? — спрашивал я своего собеседника.

— Дюже воруют, — согласился Хома. — Принеси кошку с котятами да положи на грохот, — так украдут, что ни одного волоса не найти.

— Для чего же воруют, Хома?

— А як же не воровать? — спрашивал меня Хома.— Барин у кантори дает тридцать грошей за золотник, а у Тагили — купцы дают цалковый... И земля панская, и лес панский, и фабрика панская, — а то где ж наше, мужицкое? Нехай земля буде панска, а що у земли Хома горбом добыл — то Хоме. У Висими (то есть в Висимо-Шайтанском заводе) у двух мужиков по пуду платины накоплено; ждут цены... Три тысячи с половиной давали купцы за пуд — не отдали. Богатый народ, — цену ждут.

Взглянув на кума, Хома громко расхохотался.

— Кум тоже торговал платиной, — говорил Хома.—

Было у него золотников семьдесят накоплено... Вот он и повез ее продавать, а купцы напоили его горилкой, да пьяного в шею и вытолкали. Ах, бисовы дити!.. А платину не воровать не можно, паныч: бог послал мужику счастья, зачем же он понесет его пану.

Большинству образованных читателей, конечно, случалось иметь дело с платиновыми изделиями, которые, кроме своих отличительных качеств, огнеупорности и неокисляемости, замечательны страшной дороговизной: какой-нибудь платиновый тигель, величиной немного больше дамского наперстка, стоит 3—5 рублей; платиновая пластинка, тонкая, как почтовая бумага, по величине меньше квадратного вершка, стоит рубль; проволока вдвое меньше и тоньше дамской шпильки стоит рубль. Специалисты-химики и техники хорошо знают цену этим вещам и их полную необходимость при работах в высокой температуре и с сильными кислотами. С развитием технических производств употребление платины, а следовательно, и запрос на нее возрастает с каждым годом. Мы видели, как Хома добывает платину, и слышали, как платина идет на «сторону», минуя пана, которому попадает в руки любая половина. По отчету г. Вальстедта за 1879—1880 годы платины добыто 69 пудов; а по словам Хомы, ее добыто вдвое больше. В последнее время служащие на приисках придумали запирать грохота на замки, но мы не думаем, чтобы этим можно было прекратить воровство платины. Выходит некоторая дилемма: без старателей пану не обойтись, а при старательских работах половина платины идет мимо, — как тут быть? Нам кажется, что самым естественным исходом в этом случае будет позволение работать старателям на дачах, принадлежащих владельцам на поссессионном праве, на таких же точно условиях, как на казенных; тогда воровство старателей падет само собой, добыча драгоценного и полезного металла утроится, и государство, и промышленность, и частные лица, и сами старатели будут иметь громадные выгоды.

В начале августа я встретил Макара в Екатеринбурге. Он рассказал мне, что Марьяна умерла, а Лукерка вышла «сводом» за кержака. Таким образом, в

одной семье Хомы произошло соединение трех разновидностей великорусского племени, — эта комбинация в миниатюре представляет целую этнографическую картину населения Тагильских заводов, где постепенно, шаг за шагом, путем житейских компромиссов, совершается медленное слияние таких разнородных элементов, как раскольники и малороссы.

VI

В истории Урала раскол составляет выдающееся явление, получившее под влиянием исторических и местных условий совершенно особенную, может быть, слишком интенсивную окраску. Остановимся на этой интересной страничке жизни Урала, занимающей не последнее место в его истории.

Мне давно хотелось побывать на «могилке» о. Антония, которая затерялась в глуби Уральских гор, между заводами Невьянским и Висимом. Память о. Антония празднуется 29 июня, и к этому времени несколько тысяч народа, — конечно, раскольников, — стекается к к месту упокоения священноинока и учителя всех, «иже держатся истинно древних, святоотеческих преданий, древлего благочестия и святопоклоняемых древних икон». О. Антоний принадлежал к числу тех ревнителей древнего благочестия, которые для него «бегу яшася», и «сицевыми народы», — говорит раскольничья летопись, — «пустые и зверопаственные места населяхуся, и вместо древес людей умножение показася, травы и терния растущие в вертограды и садовые обратишася». Счастливый случай позволил мне быть на могиле о. Антония в самый день поминовения его памяти, когда в глушь Уральских гор стеклось несколько тысяч раскольников, не приемлющих священства. Были тут и висимцы-кокурошники (прозвание раскольников Висимо-Шайтанского завода), и черновляне-обушники (жители Черноисточинского завода, которые известны тем, что слишком часто пускали в дело обух топора), и долгоспинники из Малых и Больших Галашек (между заводами Висимо-Шайтанским и Ви-

симо-Уткинским; славятся, как «закоснелые» раскольники), и тагильцы-ершееды, и старозаводские раскольники (из Невьянского завода), и разный пришлый народ с других уральских заводов, — Верх-Нейвинского, Ревдинского, Каслинского и Верх-Исетского. Раскол, рассматриваемый как известное историческое явление, совсем не то, чем представляется этот же самый раскол в жизни, когда пред вами проходят тысячи живых людей, характерные сцены и еще более характерные лица: в тиши ученых кабинетов, среди мертвых книг и покрытых пылью рукописей вы поневоле смотрите на раскол, как на известную математическую выкладку или строго логический результат из известных исторических прецедентов, так что за этими прецедентами и сухими книжными известиями вы не видите живых людей и живых лиц, вас не волнует их присутствие, вы не стараетесь проверить основательность своих выводов и заключений по выражению этих лиц, жестам, тону голоса, взгляду — в этом громадный недостаток всех исторических исследований, и только исключительные натуры в состоянии вдохнуть огонь жизни в полуистлевшие рукописи; только эти избранники в состоянии оживать плотью и кровью, как высохшие осенние листья, давно пережитые и полузабытые факты; другое дело, когда вы имеете возможность проверить свои исторические сведения в самой действительности, вмешавшись в толпу живых людей, эту живую летопись. С именем раскола обыкновенно связано, как его главная основа, учение о двоении аллилуии, двуперстном сложении креста, хождении посолонь и т. д. Миссионеры выбиваются из сил, чтобы доказать раскольникам их заблуждения, но ведь здесь дело не в хождении посолонь и не в двоении аллилуии, а в чем-то другом, что лежит глубже этих формальных проявлений целого народного миросозерцания, купленного потом и кровью тысяч страдальцев; вот до этого «что-то» миссионерам никогда не добраться, пока они не будут видеть за формализмом раскола его живую душу. Даже эти формальности, часто смешные и нелепые сами по себе, заслуживают внимания и уважения по одному тому, что они служат известным лозунгом для тысяч людей,

которым, как цементом, связаны все части этого живого здания. Часто, повидимому, совсем лишние и ненужные вещи служат только скорлупой, под которой вынашивается и зреет ядро; поэтому поверхностное отношение ко всяким, даже глупым формальностям, сложившимся длинным историческим путем, только затемняет дело и выстраивает глухую стену. Глядя на эти серьезные умные лица, на эти степенные медленные движения, на полумонашеский костюм, на твердо сложенные губы, на полный мысли, ушедший внутрь себя и как бы одухотворенный взгляд, невольно думается: неужели эти тысячи людей приведены сюда в глушь пустыми формальностями, придуманными раскольничьими начетчиками, неужели всё это фанатики, которым более недоступна живая мысль, живое слово; неужели они раз и навсегда застыли в известных формах, как улитка в своей скорлупе, и более недоступны никакому освежающему внешнему влиянию, приливу новых сил, симпатий и порывов...

— Посмотри-ко, сколько наших-то здесь собралось, — говорила мне Василиса Авдеевна, наставница и раскольничья начетчица. — Поди, тыщев до трех наберется... Со всех сторон сошлись — незваные, небуженые, а вот как пчелки на мед летят, так и наши старообрядцы на могилу отца Антония.

Одетая в кубовый косоклинный сарафан и в темный, сильно надвинутый на глаза платок, с распущенными на спине двумя концами, начетчица выглядела скорее полководцем, чем старой раскольничьей девкой. Эта массивная, атлетически сложенная фигура с грубым, но красивым лицом и глядевшим насквозь ласковым мягким взглядом небольших темнокарих глаз служила живым олицетворением нравственной силы, уверенности в себе и сознания какого-то превосходства; это сознание просвечивало в каждом движении, в тоне голоса, в медленном взгляде, в каждой складке платья. В ней все было пригнано одно к одному, ничего не было лишнего; и говорила она совершенно особенным образом — мягко, складно, с особенными певучими нотками, которые придавали самым обыкновенным словам свой смысл, оттенок и значение, — все, что ни делала

Василиса Авдеевна, выходило так просто и естественно, без всякой натяжки или желания показать себя. Смеялась она редко, но всегда с весом, так что, глядя на нее, самому хотелось смеяться.

— Пришел поглядеть, как мы, кержаки, молимся? — говорила Василиса Авдеевна, отнимая свою полную загорелую руку от глаз. — Ничего, погляди... Только табачищу этого не вздумай курить, да не молись вместе с нашими. Ты ведь, поди, и по-своему-то не молишься: обасурманился... Ох-хо-хо!..

Начетчица помолчала, с сожалением посмотрела на меня и совсем другим тоном прибавила:

— Ужо как-нибудь будешь у нас на заводе, не проходи мимо моей-то избушки. Побеседуем...

Утро вышло немного пасмурное. Широкая поляна, окруженная густым лесом, была полна народу. Мужики стояли без шапок в одной стороне, бабы в другой. У самой могилы, пред полусгнившим деревянным «голубцом», стояло несколько аналоев; худой благообразный старик с сердитым лицом и длинной белой бородой читал разбитым старческим голосом «канун». Время от времени он брал медную кадильницу с длинной деревянной ручкой и обходил с ней кругом могилы. Служба шла с двух часов утра, чуть забрезжила заря. Несколько раз принимался идти дождь, но народ не двигался с места и стоял под ним, как стоят трава или деревья в лесу. Кажется, ничто не было в состоянии нарушить эту благоговейную тишину молившегося народа, глядя на который невольно припоминались с детства заученные картины другого народа, который с таким же благоговением молился богу в Синайской пустыне. Молитва под открытым небом имеет в себе неизъяснимую прелесть — она так естественна и дышит такой же патриархальной могучей поэзией.

— День-то вышел серый, — проговорил я.

— Разведрится, — отвечала самоуверенно Василиса Авдеевна.

— Почему ты так думаешь?

— А потому и думаю, что еще не бывало ненастья, когда мы отцу Антонию молимся... Это он нам за нашу слабость дождичка послал!

Вся церемония моленья заключалась в утрени и затем панихидах, или панафидах, как говорят сами раскольники, с бесчисленными канунами, которые читали и старики и старицы, а в числе их и Василиса Авдеевна. Но когда эти сотни людей запели вечную память протяжным старообрядческим напевом — что-то такое тяжелое заныло и защемило в душе: именно этот мотив как нельзя больше шел к этому серому небу, этому траурному лесу, этой длинной истории человеческих страданий, нашедших место упокоения под этим небольшим холмиком земли. Где-то слышались тяжелые вздохи, подавленный стон — самые елки кругом точно плакали, роняя с ветвей ночную росу и капли дождя. Какой-то голос шептал заученные с детства слова: «Зачем вы ходили в пустыню: или смотреть на человека, одетого в богатые ткани, или на трость, колеблемую ветром?» Эта общественная молитва продолжалась часов шесть или семь; к ее окончанию действительно небо прояснилось, выглянуло солнце, и лес и трава заблестели свежей яркой зеленью. Народ кучками расположился вокруг могилы и в той же торжественной тишине приступил к трапезе, причем каждый ел из своей чашки и своей ложкой. Странно было видеть семьи, где все ели отдельно. Костюмы мужчин и женщин поражали своим однообразием: на мужиках был надет неизменный короткий кафтан из коричневого фабричного сукна с прямой спинкой и какими-то сборками на боках; на голове войлочная шляпа с низкой тульей. Волосы были острижены в скобку и падали на лоб бахромой. Женщины все были одеты в косоклинные сарафаны темных цветов и пестрые платки; верхнее платье своим покроем походило на мужские кафтаны. У большинства за плечами были котомки и в руках длинные палки.

— Нам с тобой по одной дороге-то, што ли? — говорила Василиса Авдеевна, подъезжая ко мне на своей соловой лошадке; она сидела в высоком пастушьем седле по-мужски, и ее кубовый сарафан образовал вокруг ног что-то вроде шальвар. Нужно отдать ей справедливость, сидела она на лошади с шиком настоящего наездника немного на один бок, как ездят киргизы. —

Говорила тебе, что разведрится — и разведрилось, — прибавила начетчица, пока я садился на свою лошадь.

Мы шагом двинулись от могилки о. Антония, обгоняя толпы богомольцев, возвращавшихся мерным солдатским шагом по домам. Многим нужно было пройти верст сто и больше. В одном месте, на спуске с горы, пред нами открылся поразительный вид: под ногами у нас расстилалось широкое озеро с зелеными островами и большим селением в дальнем конце; кругом озера семьей стеснились горы, они волнистой линией тонули в синеватой дымке горизонта. Несколько приисков, там и сям, желтыми пятнами выделялись на зеленом просторе раскинувшихся гор; бойкие горные речки блестели серебряными нитями среди густой зелени сибирского леса. Кой-где синеватым столбом поднимался дым: это стоянка старателей или привал охотников. В глубине синего неба торопливо бежали последние тучки недавнего ненастья; за нами, по зелени бесконечного леса, тянулись длинные тени. Вся земля тихо курилась под животворящими лучами июньского солнышка.

— Ишь как раскинулся наш кормилец: море морем, — говорила Василиса Авдеевна, осаживая свою лошадь, чтобы полюбоваться горами. — Много тут наших душу свою спасли...

— А нынче тоже спасаются?

— И нынче есть, которые душу свою соблюдают в пустыне. В скитах больше... Это дальше будет, вон туда, под Веселые горы.

Избушка Василисы Авдеевны в ...ском заводе была устроена на манер всех раскольничьих построек. Тремя небольшими окнами, с синими «ставешками», она выходила на улицу и внутри широкими сенями делилась на две половины, — переднюю, где жила сама Василиса Авдеевна, и заднюю, где у ней была моленная, и был отгорожен маленький уголок для людей, о которых начетчица выражалась: «так... мужик один», или — «старушка из наших». Крытый тесом темный двор, как у всех раскольников, представлял из себя маленькую деревянную крепость, залезть в которую даже и опытному вору было нелегкой задачей. В глубине этого

двора, когда врывалась полоса света через отворенную калитку, можно было рассмотреть голову добродушной соловой лошадки, двух отличных коров, неизменную телку, которую начетчица откармливала для продажи, и лохматую собаку Лыску, которая металась на длинной железной цепи, как сумасшедшая. Новенькое деревянное крылечко вело в сени. Когда вы отворяете дверь в переднюю избу, вас сразу окружала совершенно особенная атмосфера необыкновенной чистоты и опрятности, — кажется, ни одна пылинка не смела забраться сюда и сесть куда-нибудь: на лавку, стол, полати, чистую перегородку, которой делилась комната на две половины, на вымытые песком до ям голые деревянные стены. Говорят о чистоплотности немцев; но стоит побывать в избушке Василисы Авдеевны, чтобы несколько изменить свое мнение: если существует вообще на свете чистота, то она, конечно, существует в избушке Василисы Авдеевны.

— Платонида, принимай гостей, — весело говорила Василиса Авдеевна, когда мы входили в ее избушку.

Из-за перегородки показалась высокая румяная старуха. Взглянув на меня, она радостно замычала и бессильно опустила сильные, загорелые руки с засканными по локоть рукавами. Платонида была глухонемая, и по ее лицу можно было читать, как по книге, все, что занимало ее в данную минуту. Теперь, после момента первой радости, она подозрительно оглянула меня с ног до головы, потом вопросительно посмотрела на Василису Авдеевну и опять замычала.

— Узнала?

— Ммм... ааа!..

Через пять минут мы беседовали самым мирным образом, как беседуют старые знакомые. Платонида постоянно исчезала и появлялась, каждый раз неся на тарелках разную снедь, точно я, как старинный русский богатырь, мог съесть за семерых. Василиса Авдеевна как-то притихла и загорюнилась; не спуская с меня глаз и приложив одну руку к щеке, она каким-то бабьим голосом проговорила:

— Нет нашей матери Авдотьи Степановны...

Это было только вступлением к воспоминаниям о старине, которым начетчица любила предаваться в моем присутствии, как одном из немногих свидетелей этой старины. Платонида никогда не пропускала этого момента и непременно появлялась из-за своей перегородки, чтобы тоже, приложив руку к щеке, жалобно покачать головой и закрыть глаза. С искусством всех глухонемых она обладала необыкновенным даром читать по выражению лиц и движению губ; понятлива она была поразительно, а под грубой внешностью в ее могучей груди билось золотое, полное святой любви сердце. Имя Авдотьи Степановны производило на нее всегда ошеломляющее впечатление, и через минуту она начинала тихо выть за своей перегородкой.

— Мелкой нынче народ пошел, малодушный, — говорила начетчица. — Куда супротив прежнего: не смотрели бы глазоньки! И старой вере большой упадок.

— Помилуйте, Василиса Авдеевна, какой же упадок: вон сколько народу в горах было.

— Были, многие были, а всё не то... И гонения были, и муку переносили, а этого не было: «И бысть нелады, мятеж и малы не малы — сталось разделение между собой даже до драки»... Как сказано, так оно и вышло, — как по-писаному.

— Нынче вам легче жить: не притесняют?

— Сами себя притесняем, а «аще дом разделится в себе — погибнуть дому сему»... Слышал, поди?

— Стороной слыхал.

— Ну, какие это порядки, скажи ты мне? Ежели бы жива была Авдотья Степановна, да она бы... Охо-хо-хо! Приезжал ноне в Екатеринбург этот Савватий: разделение и раньше было, а тут шире да дале... Трефилия сменил, потому — черноризец, а на его место Иоанна поставил. А всё эти московские боголюбивые народы [1] мутят да наша сестра наставница. Вот Геннадия скоро ослобонят, разе он поделает — не поделает что...

---

[1] Московским боголюбивым народом на Урале называют старообрядцев, переселившихся из Гуслиц. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— А ты как знаешь, что Геннадия освободят? Ведь он двадцатый год в Суздальском монастыре сидит.

— Слухом земля полнится. А я все и думаю: ежели Авдотья Степановна тогда отца Архипа не приняла, чего она теперь-то сказала бы, ежели бы посмотрела на нас?!. Один страм... Взять хоть Евстигнея или Карпа — екатеринбургских попов, Каментария миясского.

— Ммм!.. — мычала Платонида, делая энергичный жест.

— Верно, Платонидушка, совсем спились с кругу наши попы... Другой раз, грешный человек, думаю про себя, уж лучше, что Авдотья-то Степановна не видит нашего запустения, не болит ее душенька за наши головы глупые. Так, Платонидушка?

— Ммм... ова!..

— Правду ли рассказывают, что нынче ваши женятся на православных? — спросил я.

— Сводом женятся.

— А ваши девки тоже сводом уходят за православных?

Василиса Авдеевна только махнула рукой.

По своему ремеслу Василиса Авдеевна была раскольничья начетчица. Начала она с того, что «говорила кануны» по покойникам, а теперь, как гласила молва, «по̀пила», то есть исправляла должность раскольничьего попа: крестила ребят, благословляла брачущихся и хоронила умерших. Как все раскольники, она вела маленькую «торговлишку» хлебом, овсом, при случае — ситцами, свечами, мылом; между прочим, при случае покупала и меняла лошадей и, кажется, могла достать решительно все на свете, если ее только попросишь. Поговаривали, что она, во время оно, торговала золотом, и сам исправник (теперь уж его нет), бывало, хлопнет ее по плечу и скажет: «А что, Василиса, расскажи-ка, ангел мой, как ты в осетрах золото на Ирбитскую ярмарку возила?.. Дело прошлое: быль молодцу не укор!» — «Уж где нам, ваше высокоблагородие, золото возить, когда по земле-то ходим да запинаемся: помудренее нас есть», — смиренно отвечала начетчица. На Урале о всех, кто начинает богатеть, говорят, что «от золота жить пошел», поэтому эти разго-

воры про Василису Авдеевну можно считать пустыми. По своим душевным и нравственным качествам она составляла исключение среди других начетчиц и позволяла себе многое, о чем другие боялись и подумать: запросто бывала не только у православных, но даже у попов, вела дела между раскольниками по всей губернии; когда она отправлялась на своей соловой лошадке, ей шутя говорили: «По епархии поехала, Василиса Авдеевна?»

Собственно, выдающееся положение в раскольничьем мире она создала себе именно в то смутное время, на которое так горько жаловалась. В 1834 году умер старообрядческий священник, знаменитый Архип Тагильский, и целый Урал остался без руководителя вплоть до 1854 года, когда в Екатеринбург приехал Марк Московский. В период этого «междусвященства» беспоповцы силою вещей взяли верх над приемлющими священство, и их старцы и старицы, под званием наставников и наставниц, заняли в среде раскольников выдающееся положение. Но в 1857 году в Екатеринбург приехал раскольничий архиерей Геннадий и поставил много новых попов. Это был замечательный человек и по своему образованию (читал и говорил по-гречески), и по строгому образу жизни, и по уменью управлять своей паствой. Главной задачей Геннадия было постепенно уронить значение полуграмотных наставниц и наставников и соединить воедино беспоповцев с поповцами. Эти усилия имели известный успех, но в 1862 году 5 декабря Геннадий был арестован и заточен в Суздальский монастырь, откуда освобожден только в нынешнем году вместе с двумя другими раскольничьими архиереями. Вот после архиерея Геннадия и настало то смутное время, когда оставленные этим преосвященным священники «ослабели от излишнего употребления воды веселья, забвения и упокоения», и роль беспоповщинских старцев и стариц возвысилась на прежнюю высоту. Вдобавок между старообрядческими священниками возникли те раздоры, о которых говорила Василиса Авдеевна, что вызвало в нынешнем году приезд на Урал старообрядческого архиерея Савватия, епископа тульского и пермского.

Савватий из двух вздоривших священников отдал преимущество Иоанну екатеринбургскому, который занял место при одной из екатеринбургских молелен; обойденный Савватием священник Трефилий, на место которого был назначен Иоанн, пользовался большими симпатиями в своей пастве, и его смена произвела неприятное впечатление. Все эти смуты и разногласия были на руку Василисе Авдеевне, но она считала своим долгом, по свойственной раскольникам скрытности, даже между своими скорбеть и чуть не плакать о ней.

— А ведь все вымерли после Авдотьи-то Степановны, — грустно говорила Василиса Авдеевна, провожая меня до калитки. — Ты хоть и седьмая вода на киселе приходишься ей, а все — поглядишь на тебя и про нее вспомянешь. Только, как волка ни корми — он все в лес норовит, — так и твое дело: как маятник, из одной стороны в другую ездишь. Ты опять в Расею, сказывают, сбираешься?

— Опять в Расею.

— И чего ты задарма по свету ездишь?

— Рыба ищет, где глубже; человек — где лучше.

— Ишь, больно востер, чего захотел; хорошо там, где нас с тобой нет. А будешь в ...ском заводе, непременно заходи на могилку Авдотьи Степановны и панафиду и канун — все, как следует. Вот тебе мой сказ.

Платонида молча вытирала передником катившиеся по щекам слезы. О знаменитой Авдотье Степановне, судьба которой в бытовом отношении связана с историей раскола на Урале, а в жизни Платониды и Василисы Авдеевны имела совсем исключительное значение, мы поговорим в следующем нашем очерке.

VII

В ...ском заводе стоит двухэтажный деревянный домик. Он теперь сильно покосился на один бок; крыша прогнила, половина ставней у окон оборвана, маленький палисадник сломан, и крапива лезет в крошечные окна нижнего этажа. Когда я прохожу мимо

этого домика, всякий раз мое сердце невольно сжимается тоской: я переношусь мыслью в то далекое-далекое прошлое, когда в этом домике жила бабушка Авдотья Степановна. «Чрезвычайно крепкая женщина», как выразился о ней преосвященный Аркадий, который не раз из верхнего этажа деревянного домика спускался в нижний, чтобы увидаться с бабушкой. Авдотья Степановна никогда не поднималась «на верх», то есть во второй этаж, где жил ее муж, Данила Панкратыч, старинный заводский управляющий.

— Отчего, бабушка Авдотья, ты никогда не ходишь на верх? — простодушно спрашивала старушку одна из ее многочисленных внучек. — Ведь там живет дедушка Данило...

— А если дедушке Даниле нужно меня, так он и придет ко мне вниз: дорога не заказана.

Так бабушка Авдотья Степановна и умерла, а не пошла «на верх» к дедушке Даниле Панкратычу.

Сначала опишем наружность бабушки. Она была высокого роста; ходила всегда степенно и на ходу слегка покачивалась, потому что носила всегда ботинки на высоких каблуках с узенькими носочками. Лицо бабушки и в шестьдесят лет не потеряло еще прежней красоты: писаные соболиные брови, большие серые глаза, румяные полные щеки, свежий подбородок — все это свидетельствовало о большом еще запасе жизненных сил. Сама бабушка не считала себя старухой и относилась к своей наружности с величайшим вниманием. Враги ее говорили, что она белится и румянится, — оставим это на их совести. Костюм бабушки неизменно состоял из старого покроя косоклинного сарафана, с глухими проймами назади; в будни она носила шерстяной, а в праздники шелковый или даже парчовый. Из-под сарафана выставлялась в будни белая, а в праздники шелковая сорочка с старомодными рукавами: от плеча до локтя они представляли широкий буф, а от локтя облегали руку совсем плотно, образуя у самой кисти небольшую розетку. Сорочка застегивалась напереди дорогими застежками — серебряными и золотыми, иногда с дорогими камнями и даже бриллиантами. По будням на голове

бабушки была надета неизменная «сорока», то есть что-то вроде тех косынок, которыми купчихи завертывают себе голову, как кокон, — эта сорока делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку. По праздникам она носила богатый кокошник, а на шее монисто и бусы. Этот наряд необыкновенно шел к ее высокой статной фигуре, и она казалась в нем старинной русской боярыней.

Три небольших комнаты, в которых жила бабушка, отличались такой поразительной чистотой и опрятностью, что скорее походили на лакированный японский ящичек: все в них блестело, начиная от вылощенного воском и вымытого квасом пола, выкрашенных и расписанных стен и потолков, дверей и косяков и кончая старинной мебелью, посудой и образами. Какой-то необыкновенный запах стоял всегда в этих комнатках-игрушках: от росного ли ладана, которым бабушка обкуривала их ежедневно, от десятилетних ли наливок, стоявших по окнам, от тех ли душистых и лекарственных трав, которые лежали у бабушки по ее бесчисленным сундукам, — только этот запах никогда не оставлял бабушкиных комнат и каждый раз сладостно кружившей голову атмосферой охватывал всего, нагонял сладкую дремоту и настраивал тихо и мечтательно. В небольших стеклянных шкафах красовались целые коллекции старинных чашек, кружек, чарок — все это было вывезено Данилой Панкратычем из Италии, из немецкой земли, или «из Парижа». Дедушка несколько раз бывал за границей, куда его посылали присмотреться к заводским порядкам; вместе с саксонским фарфором, японскими и китайскими чашечками Данило Панкратыч прихватил и «вольного духу», то есть устроил у себя на верху совсем по-европейскому. Поэтому бабушка никогда и не ходила на половину дедушки: до последнего дня она осталась живым протестом против всяких новшеств. Старики были сильно привязаны друг к другу, а эти новшества вырыли между ними глубокую пропасть. Верх представлял Европу, низ — древнюю Россию; что было позволено вверху и считалось признаком хорошего тона — это же самое внизу считалось одним из семи смертных грехов. Эта

борьба противоположных начал проходила изо дня в день в течение многих лет, и стороны, уважая друг друга, остались каждая при своем.

Нужно сказать, что около спальни бабушки был небольшой темный чуланчик. В нем обыкновенно стояли какие-то сундуки. Этот чуланчик сам по себе не представлял ничего замечательного, но стоило в одном месте подавить незаметную пружинку, и задняя стенка отворялась сама собой. Узкая лестница вела вниз, где была устроена раскольничья моленная. Это была длинная комната без всяких окон. Большой иконостас занимал целую стену. Перед ним теплилось несколько неугасимых лампад, стояли большие серебряные подсвечники и два старинных аналоя. Около одной стены тянулась широкая деревянная скамья, где отдыхали от долгой службы. Бабушка большую половину дня проводила в этой моленной, где усердно молилась старым почерневшим образам. Служба совершалась при посредстве старцев и стариц, потому что бабушка принадлежала к беспоповщинскому толку. Нужно было видеть эту службу, совершавшуюся в глухую полночь: свечи нагорали и дымили; сквозь дым ладана пламя казалось красно-желтым и болезненно раздражало глаз; монотонное гнусливое чтение наводило уныние; старинное пение по крюкам, утомленные фигуры молящихся, строгие лики образов, таинственность и какой-то дух торжественного уныния — все это складывалось в одну общую характерную картину. Одна бабушка везде оставалась сама собой и выстаивала, как свеча, самые длинные службы.

Но и комнатка бабушки, и ее моленная, и сама бабушка были немыслимы без той самой Платониды, которую мы видели в избушке Василисы Авдеевны. Бабушка взяла глухонемую девочку из жалости, вырастила, и Платонида сделалась живым отражением ее: она понимала каждую улыбку, каждый жест, малейшее движение, даже взгляд. Идеалом, законом, мерой всех вещей, последним словом в каждом деле — вот чем была бабушка для Платониды. Глухонемая везла на себе целый дом и создала вокруг бабушки ту удивительную чистоту, которой невозможно

было не удивляться. Василиса Авдеевна не без основания называла бабушку матерью — бабушка взяла ее к себе бесприютной сиротой и не только вырастила, как Платониду, но еще выучила грамоте и всей своей службе. Нужно было видеть этих трех женщин вместе: они все были «одна в одну», как говорили люди, — высокие, красивые, того особенного склада, который не знает болезней; особенности в характере, конечно, существовали, но бабушка задавала всему тон, и все шло по раз заведенному порядку. У бабушки не было детей, и все ее привязанности, после мужа, сосредоточивались на этих двух воспитанницах. Были, правда, дальние родственники, которые называли Авдотью Степановну бабушкой или тетушкой.

Относительно своего общественного положения бабушка занимала выдающееся место: все относились к ней с большим уважением и не начинали ни одного большого дела без ее совета. Стоило бабушке промолчать или дать уклончивый ответ — дело пропало. В праздники вся заводская аристократия делала бабушке визиты, и она принимала всех, но с большим разбором: опытный человек по той чашке, в которой подали чай гостю или гостье, мог уже судить о его ранге в бабушкиной иерархии. Платонида в этом случае обладала каким-то чутьем и не ошибалась даже тогда, когда появлялся новый человек: посмотрит в щелку и сразу определит, что за птица. Гостеприимство для бабушки было священной вещью, и она угощала архиерея, как самая любезная хозяйка, хотя после него в течение целой недели, как после чумы, выкуривала ладаном свои келейки. Все считали бабушку необыкновенно гордой, строгой и справедливой. Детей, особенно девочек, она любила каким-то болезненным чувством, хотя и не могла выносить, чтобы волосы были заплетены в две косы, или, боже сохрани, чтобы девочки пришли в кальсонах. Если, паче чаяния, выходил такой грех, бабушка заплетала волосы в одну косу, а относительно кальсон делала соответствующее распоряжение Платониде.

— Вот этак-то лучше будет: на девушку походишь, — скажет бабушка после исчезновения каль-

сон. — А то что полумужичьем-то ходить... Ведь ты не басурманка какая-нибудь.

За этим следовало обильное угощение, так что маленькие гостьи бабушки очень скоро мирились со своим девичьим положением.

Сидеть у бабушки по длинным вечерам и слушать ее бесконечные рассказы о разных страдальцах и страдалицах за старую веру составляло истинное наслаждение. Давно пережитые сцены горя и несчастия вставали с новой силой и залегали в душу яркими, живыми образами. Сальная свеча оплывет, глаза давно слипаются, а ухо ловит каждое слово, каждый звук. В уголке скромно сидит Василиса Авдеевна, у самых ног бабушки, на низенькой скамеечке, поместилась Платонида и, не сводя глаз, следит за движением губ бабушки: глухонемая понимала ее до последнего слова.

— На реке Тагиле, — рассказывает, бывало, бабушка, — жил в келье старец Варфоломей, а с версту от него жили три старицы: Платонида, Досифея и Варсонофия. Раньше жили они все на Керженце, а потом ушли спасать свою душу в сибирские леса. Только жили они тут не малое время, соблюдали свою старую веру и думали косточки свои положить тут же. Вышел один случай... Один беглый искал руды по Тагилу и набрел на ихние кельи. Приняли старицы странного[1] человека, напоили, накормили, обогрели, а он прикинулся тоже старовером и давай их выспрашивать. Старица Платонида и сказала, что-де мы за нонешнего государя Петра Первого не молимся потому, что сам он швед обменный, нашу веру гонит, против солнца свадьбы венчать попов заставляет и образы писать с шведских персон. А старец Варфоломей сказал, что у царевича Алексея Петровича родился от шведки младенец не прост человек, а ростом аршин с четвертью и с зубами. Поблагодарил беглый за хлеб, за соль, а сам пошел своей дорогой. На дороге его схватили и посадили в острог. Привезли беглого в Тобольск, он и говорит: «Знаю слово и дело государево». Повели его по

[1] Странствующего. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

судам, а на Тагил послали солдат. Старца и стариц схватили и повезли в Москву. Старец дорогой ушел, Платонида умерла, а Досифею и Варсонофию довезли в живости. Начали стариц пытать... Варсонофии было семьдесят лет, а жгли ее огнем, наказывали плетьми... И это перенесла божия страдалица за свою веру. Так обеих стариц досмерти и замучили, а беглого наградили [1].

Много отличных историй знала бабушка: про «изящного страдальца» Аввакума, про невидимый град Китеж, о Млевских монастырях, Беловодье и т. д. Василиса Авдеевна была великая мастерица читать; она вполне усвоила всю технику раскольничьего чтения — интонацию, переливы, ударения, паузы и подчеркивания. Бабушка любила слушать ее чтение и по целым часам сидела неподвижно, как статуя. Это медовое чтение могло убаюкать кого угодно. Платонида была в числе непременных слушательниц и страшно обижалась, если о ней забывали.

Бабушка придерживалась беспоповщины; у нее постоянно появлялись какие-то таинственные старцы и старицы. На обязанности Василисы Авдеевны лежала трудная миссия разыскивать этих старцев и стариц и заботиться о них — чтобы и сыты были, и одеты, и довольны. В своем обществе беспоповцев бабушка имела громадный вес: ничего не предпринимали без ее совета или позволения. В случае нужды к кому можно было обратиться за советом, как не к бабушке... Но влияние бабушки на своих единоверцев было основано не на одном ее богатстве, благочестии и общественном положении, — нет, она зарекомендовала себя во многих случаях самым энергичным бойцом за старую веру.

Интереснее всего вышел случай, когда в тридцатых годах молельни раскольников «поворачивали» в единоверческие часовни и церкви. У бабушки тогда еще не было своей моленной. Когда пришел приказ очистить молельню, раскольники собрались в ней и ни за что

---

[1] Этот рассказ бабушки — истинное происшествие, о котором сохранились подлинные документы в делах преображенского приказа за 1723 год. Досифея и Варсонофия похоронены на Рогожском кладбище. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

не хотели выходить. Бабушка была во главе всех. Толпы народа стояли вокруг оцепленной казаками моленной, нетерпеливо ожидая, чем вся эта история кончится. Известие, что Авдотья Степановна находится в моленной, давно облетело весь завод. Строили разные предположения относительно того, как исправник и Данило Панкратыч будут выводить Авдотью Степановну. Исправник напрасно пустил в ход все свое красноречие, — раскольники не сдавались. Выводить силой было неудобно, между засевшими в моленной было много очень почтенных и всеми уважаемых людей. Могли выйти серьезные беспорядки. Тогда у исправника блеснула счастливая мысль: уговорить Авдотью Степановну выйти из моленной, а за ней понемногу выйдут и другие. Сказано — сделано. Исправник подходит к окну и начинает уговаривать бабушку. Та его спокойно выслушала и так же спокойно плюнула ему прямо в лицо... Раскольников после этого эпизода без церемонии начали обливать водой из пожарных труб, и только тогда они уступили с громкими рыданиями дорогое для них место. С бабушки текла вода в три ручья, когда она последней оставила моленную, но никому и в голову не приходило смеяться над ее измокшей фигурой. Это сиденье в моленной и энергичный ответ исправнику окончательно установили репутацию Авдотьи Степановны.

Когда в пермскую епархию был назначен преосвященный Аркадий, он все свое внимание обратил на раскол. Сам по себе преосвященный был замечательный человек, единственный в своем роде: это было воплощение неутомимой энергии, ума, труженической жизни. В то время когда других архиереев водят под руки по церквам, преосвященный Аркадий, кажется, не знал устали и все делал сам. Объезд архиереями своей епархии походит обыкновенно на некоторое триумфальное шествие с громадной свитой, с официальными встречами, парадными обедами и по заранее определенному маршруту; за архиереем тянется обыкновенно длиннейший хвост из разной архиерейской челяди, которая, как саранча, объедает, опивает и берет взятки с духовенства. Аркадий ездил большей

частью один с келейником, по зимам в легкой кибитке, и больше всего любил появляться там, где его совсем не ожидали. Память у преосвященного была колоссальная: ему достаточно было раз увидать лицо или услышать фамилию, чтобы никогда не забыть их. Через десятки лет он помнил целые семьи по именам. Вообще имя преосвященного Аркадия пользуется громадной популярностью на Урале и вполне заслужило его. Раскольники были больным местом преосвященного, и его кибитка по нескольку раз в одну зиму появлялась на Урале, который он любил больше всего. Екатеринбург и горные заводы — главное гнездо раскола, а поэтому они служили и главным местом деятельности Аркадия. В Екатеринбурге и на заводе у преосвященного были тысячи самых близких людей из всех слоев общества. Зоркий взгляд преосвященного видел, кажется, все, и можно только удивляться, как он успевал везде. Если бы собрать одну переписку Аркадия с его прихожанами — она составила бы десятки томов. А между тем он еще успевал делать постоянные поездки, вести прения и беседы с раскольниками, входить во все подробности частной и общественной жизни.

Конечно, коноводы раскола, особенно не приемлющих священства, прежде всего обратили на себя внимание преосвященного. Всю подноготную об Авдотье Степановне он узнал в первый же свой приезд на заводы и, конечно, решился обратить ее если не в православие, то по крайней мере в единоверие. Данило Панкратыч был единоверец и принял преосвященного, как подобает. Аркадий пожелал непременно видеть Авдотью Степановну, но ему сказали, что она никогда не ходит на верх.

— Что же, в таком случае, значит, мне придется идти к ней, — проговорил Аркадий и действительно отправился.

Произошла преинтересная сцена. Бабушка не приняла благословения от своего гостя, но угощала его, как самая радушная хозяйка. С первых же слов преосвященный перевел свою речь на предмет своей

миссии. Бабушка почтительно выслушала его, но осталась при своем.

— Ваше при вас останется, наше при нас, — говорила она.

Аркадий слышал, что Авдотья Степановна начетчица и хорошо знает священное писание; он сейчас же напал на нее с этой стороны, но здесь уже нашла коса на камень.

— Меня удивляет одно, — говорил Аркадий, когда диспут о двуперстии и аллилуии не привел ни к чему: — вот вы, Авдотья Степановна, умная женщина, а не хотите понять таких простых вещей... Не будет ли ошибки в том, что вы беретесь судить о таких предметах, которые доступны только ученым богословам?

— В евангелии сказано: отымется то от премудрых и разумных и откроется младенцам.

— Значит, вы почитаете себя младенцем?

— Да... Вы ученые, а я не ученая, и выхожу против вас, как младенец.

— Хорошо. Если вы сами признаете себя неучеными, как же вы беретесь рассуждать о таких важных предметах?

— Опять в евангелии сказано: «Аще ведени будете пред цари и владыки имене моего ради, не пецытеся, что̀ глаголати или что̀ отвещати: дух святый научит вас в той час, что подобает рещи».

В заключение этого богословского диспута бабушка спросила преосвященного:

— Мы читаем: «И спаси, спасе наш, люди согрешающия», а вы — «И спаси, спасе наш, люди отчаянныя»... Значит, вы отчаялись господа Исуса?

— Это все равно, Авдотья Степановна: по-славянски отчаянные и согрешившие значит одно и то же.

— Нет, зачем же одно и то же... Ради грешных господь сошел на землю, а отчаянные — беси. Нам господь не повелевает отчаиваться.

Несколько раз заходил преосвященный к Авдотье Степановне и подолгу беседовал с ней, но все было безуспешно. Многих обратил Аркадий к единоверию своими беседами, пастырскими увещаниями и бесчис-

ленными письмами, но Авдотью Степановну не мог обратить: она осталась при своем.

— Теперь сделаем такое рассуждение, — говорил несколько раз преосвященный. — Был у вас старец Архип. Вы у него исповедовались и службу его слушали. Теперь я произвел вашего же старца в единоверческие священники, и вы же отшатнулись от него: «Своя своих не познаша»...

— Ваш Архип хорош, а я все-таки не пойду к нему.

Вообще бабушка слыла, как самая «ндравная» старуха, была горда всегда и по временам совсем неприступна. И вот эта гордая Авдотья Степановна, когда отправлялась в свою моленную, каждый раз кланялась в ноги Платониде и говорила: «Прости меня Христа ради!» Часто Платонида не довольствовалась поясным поклоном бабушки и повелительно говорила: «Ниже, ниже»... И бабушка кланялась ниже.

VIII

ТАГИЛ—КУШВА

— Вот те и клюква... да-с! — медленно проговорил среднего роста господин, остановившись посреди нашего вагона. — Так-с... Клюква!

Он слегка пошатывался, отыскивая глазами свободное место. Неестественно красное, угреватое лицо, преждевременная обрюзглость и дряблость щек, воспаленные, слезившиеся глазки, лоснившиеся багровые губы и с красными жилками кончик носа — все ясно говорило о многолетнем употреблении спиртуозных напитков.

— Не хотите ли? — проговорил он, усаживаясь напротив меня и вынимая из кармана завернутые в бумажку пирожки. — Так, значит, не хотите... Вот те и клюква! У всякого свои желания... Да-с. Я предпочитаю всему на свете херес, тагильские мировые судьи — коньяк, заводоуправление пьет восьмирублевый портвейн, земство — очищенную... У всякого барона своя фантазия. Клюква... Позвольте отрекомендоваться: инженер в отставке, первый пьяница и единственный

честный человек на Урале. Получаю две тысячи пенсии, денег ни гроша не имею, хотя бы и мог иметь... Игнатий Черноногов имел бы деньги... да-с... очень большие деньги... если бы он хотел брать взятки. Черноногов пьяница, а взяток никогда не брал... Вот те и клюква! Охо-хо, всякая живая душа калачика хочет... Вот мы сейчас по английским рельсам покатим. Это между Высокой горой и Благодатью! Вот так клюква... Да-с... И англичанам надо калачика, да и следует: везут на Урал свои рельсы... Чистые проказники!

...«Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» — говорит Наташа.
Малые, большие, — дело чуть за спором —
«Вот приедет барин!» — повторяют хором...

Эта декламация была прервана шумом на платформе. Седой толстый старик, круглый, как мяч, напрасно старался вырваться из рук нескольких человек, которые тащили его в вагон второго класса.

— Не пойду... — хрипел старик, стараясь ухватиться рукой за колонну или перила нашего вагона. — Стал я деньги зря травить... И то в Екатеринбурге аблакаты совсем обезживотили. Отцы, ослобоните!..

— А... Ипат Евсеич Пудовиков, — проговорил Черноногов.

Выскочив на платформу, он схватил старика за пальто и потащил в наш вагон.

Ой, дубинушка, ухнем! —

запел кто-то.

— Ох, уморили, отцы... — хрипел Пудовиков, когда, наконец, пролез в двери вагона. — Вольготнее здесь не в пример.

— Наше глубокое почтение, Ипат Евсеич... вашей мошне, — говорил Черноногов, делая Пудовикову реверанс.

— Коли своей нет, так надо чужой кланяться, — хрипел старик, вытирая свое сыромятное опухшее лицо.

— Уж ты, пожалуйста, не рассуждай: ты — мешок с деньгами и больше ничего... да еще и деньги-то краденые!..

— О, ха-ха-ха! — залился Пудовиков хриплым смехом, причем его узенькие черные глазки совсем исчезли. — Отцы, испить бы...

«Отцы» представляли из себя самую пеструю смесь: было тут и двое судейских, и золотопромышленник Б *, и доктор N (тоже золотопромышленник), и какие-то потертые бесцветные личности. Все это группировалось около Пудовикова, как около центра. Скоро появилось «испить», то есть несколько бутылок коньяку, хересу и водки. Обер-кондуктор попробовал было протестовать, но Пудовиков на весь вагон закричал:

— Весь вагон за себя переведу... За всех заплачу!

Начальник станции посмотрел в окно, покачал головой и умоляющим тоном проговорил:

— Ипат Евсеич, пожалуйста...

— Отец, не буду, ничего не буду, только вот испить... Надоело мне с вами судиться-то. Поэтому и во втором классе не езжу... В позапрошлый раз забрались это мы с иркутскими купцами в этот самый второй класс и такую обедню отслужили... Ха-ха-ха! Как приехали в город, сейчас протокол, потому дамы были и всякое прочее... Аблакату стравил две четвертных после; едва выправил. Вот те и второй класс!..

Пудовиков известен по всему Уралу, как один из самых богатых золотопромышленников и как неутомимый скандалист. У него было несколько очень крупных историй, доводивших его до скамьи подсудимых в окружном суде, а мелким он и счет позабыл. Да и всесильная мошна помогала все замазать. Сдерут адвокаты, наложит мировой судья штраф в 25 рублей, — тем дело и кончится, пока Пудовиков снова не захочет утешить себя. Из пятидесяти тысяч годового дохода половина шла на безобразия и на спаивание толпы прихлебателей. Обыкновенно слухи и рассказы об этих безобразиях никого не удивляли, а только заставляли пожать плечами или сказать: «Да ведь это Пудовиков»... Остальное было понятно само собой. Рассказы о бесконечных подвигах Пудовикова могут составить целый том.

— И ведь свинья какая, — объяснял на весь вагон Черноногов, усаживаясь напротив меня. — Начал

с подлости... Ведь был просто мужик... Понимаете: порты, рубаха, пояс — и больше ничего. Потом попал на прииски... Сделали штегерем. Стал производить разведки на счет компании, которой принадлежали прииски. Ведь мужик, простой мужик, а всю компанию по миру пустил... И даже как просто: места плохие разрабатывал, а хорошие оставлял на запас. Компания, конечно, лопнула, а Пудовиков разбогател... Вот те и клюква!.. Уж на что проще этого?..

— Расскажи, Ипат Евсеич, как тебя в Екатеринбурге-то тово... — приставал кто-то к Пудовикову.

— Совсем по миру пустили, отцы, старика... Ха-ха-ха!

— Так тебе и следует: не безобразничай.

— Да тут никаких и безобразиев наших не было... За здорово живешь! Видал, как бабы капусту чистят — так и меня... По листочку всего раздели, раздуй их горой!

— Да в чем дело-то?

— Дело-то... дело самое обнаковенное вышло. Старуху мою подговорили разводиться со мной... О-хо-хо!..

— Нно-о?..

— Верно тебе говорю. У ней свой аблакат, у меня свой... Ах, будь они от меня прокляты!.. Только и нарродец: по перышку общипали... Лжесвидетелей привели, меня на подсудимую скамью запятили... Ха-ха!..

— Ну, и что же?

— Выправился... А старуху-то, старуху-то как облапошили! О-хо-хо!.. В одной рубашке отпустили, как есть.

— А ты ее за косу, как домой приедешь?

— Для порядку следует и за косу. Поучим малость. Она у меня и то на одно ухо ничего не слышит от моих уроков-то: как будану, так неделю и не дышит... Ха-ха-ха!..

Пудовиков показал свою пухлую десницу. Короткие толстые пальцы смотрели врозь, как это бывает у очень полных детей.

— Такого земляка поднесу, что оглобля заплачет, — самодовольно проговорил старик, сжимая кулаки. — Отцы, испить...

Поезд мчался. Тагил скрылся за синевшими горами. В стороне одиноко высился Медведь-Камень. Он стоит на реке Тагиле и, по преданию, служил местом зимовки для Ермака. То же самое рассказывают и про Ермак-Камень на реке Чусовой, но и то и другое неверно, потому что завоеватель Сибири зимовал в Искере, на Иртыше. Солнце тихо опускалось к горизонту. От гор падали и тянулись длинные тени. Воздух получил особенную прозрачность, и менявшаяся картина гор была особенно хороша при этом вечернем освещении, когда верхи гор были еще облиты солнечным светом, а по логам и горным котловинам уже ложились ночные тени. Особенно хорош был в эту минуту лес: можно было рассмотреть каждое дерево, даже отдельные ветви. Трава кое-где пожелтела, но сквозь нее еще проглядывали бледными красками полевые цветочки бедной северной флоры. Эта бледная зелень еще протестовала против холодных объятий осени и напрягала последние усилия, чтобы выгнать там и сям зеленые кустики новой травы. Для чего пробивались эти зеленые усики сквозь остывавшую кору земли? Один утренник, и они смертельно побледнеют... Что-то невыразимо грустное чувствовалось в этой картине медленно умиравшей зелени, и только одна осина, дрожавшая с вершины до корня пурпуром и золотом, переживала свою вторую молодость. Дорога медленно начинала подниматься все выше и выше; впереди уже недалек и перевал из Азии в Европу. Горы поднимались кругом, точно старались загородить дорогу; попадались крутые подъемы, высокие насыпи и смелые повороты, которыми линия дороги обходила горы. Мы быстро приближались к вершине главной горной массы Урала.

— Ты ведь дурак, Ипат Евсеич, — говорил кто-то Пудовикову из его приятелей. — Ну, посмотри на себя: свинья свиньей.

Пудовиков несколько времени старается повернуть голову в сторону говорящего, причем маленькие черные глазки, кажется, совсем готовы выпрыгнуть из своих орбит, но это оказывается решительно неосуществимым за отсутствием шеи, и он принужден повер-

нуться всем своим туловищем, вернее тушей. Несколько мгновений он смотрит в упор на назвавшего его дураком, потом, сделав бессильный жест рукой, начинает хохотать тонким заливистым смехом с хриплыми нотами, которые постепенно переходят в удушливый кашель.

— Нет, ты в самом деле глуп, — продолжал тот же голос, — ты думаешь, что мы тебя провожаем? Ничуть не бывало. Ты для нас все равно, что буфетчик: когда водка выйдет — до свидания, Ипат Евсеич. Да и какой интерес с тобой ехать: посади свинью в мешок, она и будет хрюкать, — так и ты.

— Да еще и подлец первостатейный, — прибавил другой голос. — Компанию разорил целую... А?.. Давно в Сибирь пора...

— О-хо-хо-хо! Уморили, отцы... — хрипел Пудовиков, падая на лавочку, как опрокинутая бочка.

— И ведь нравится же человеку, чтобы его ругали, — говорит Черноногов. — Этакое животное!.. И ведь каких орлов подобрал себе: один лучше другого. Вон тот, высокий, красивый такой, — это бывший исправник: гроза, землетрясение, последний день Помпеи, а теперь чуть не на посылках у Пудовикова, которого прежде за бороду таскал по улице. Да-с. Вот те и клюква!.. Заметьте, как судейские облизываются... Чует их сердце, что будет пожива, вот и вертят хвостами. Из первых рук украсть — и на то смелости нет, а хватить патоки шилом охота смертная... Как шакалы, — плетутся за львами да остаточки подбирают. А доктор... разорится, сердяга! Я был на открытии прииска: обед, шампанское, нас, прихлебателей, человек двадцать набралось... Да мы самого Ротшильда разорим, если нас угощать!... А жаль доктора, славный парень... Плохо, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник. Да-с. Эта золотая лихорадка к кому привяжется — до сумы доведет. А вот, обратите внимание на этого приличного господина, который держит себя с таким тоном: это, батенька, первый разбойник!.. Ни перед чем не остановится. Жену убил, старика отца по миру пустил, а другой рукой жертвует на построение храмов, участвует в благотво-

рительных комитетах. Вы посмотрите на него хорошенько: это уж настоящий хищник, а не чета этим прихлебателям.

Хищник сидел скромненько в уголке и смотрел кругом ленивым равнодушным взглядом, как только что пообедавший ястреб. Иногда он раскрывал глаза и начинал улыбаться. Что-то роковое чувствовалось при взгляде на эти сросшиеся густые брови, на ввалившиеся глубоко глаза, на эти мягкие крадущиеся движения.

— И, заметьте, какая выдержка, — продолжал Черноногов. — Ведь из сидельцев вышел, из-за кабацкого прилавка... Приведите• его в салон, он и там живо освоится. Да-с, и мы входим во вкус всеобщего хищения: не любим, где плохо лежит.

— Скажите, пожалуйста, — спрашивал я своего собеседника, — ведь вы человек бывалый и знаете все входы и выходы — что значит *дутые* золотопромышленники? Мне несколько раз приходилось встречаться с этим названием.

— Дутые? Гм... Это, батенька, вот какая штука. Возьмем, примерно сказать, прииски около Кушвы или на Миясе... Положим, золото встречается в такой-то даче, на таком-то пространстве, которое все разделено между золотопромышленниками на маленькие участки. Но ведь золото не везде идет одинаково: у вас в неделю выпадает по фунту, а рядом с вами пять-шесть золотников. Разница громадная. Кто успел захватить богатые участки, тот, конечно, разбогатеет, но таких участков немного, и много золотопромышленников просто закапывают деньги в землю или бьются из-за хлеба на воду. Все-таки часто видишь, что человек берет заведомо плохой участок и начинает его разрабатывать. Работает месяц, работает другой — все пожимают плечами, а там, глядишь, и пошло золото. Вот здесь и задача: дутый это или настоящий золотопромышленник? Дутые делают так: сядет на такой участок, а потом, тайно образующе, и начинает скупать у старателей золото... Уж те свое дело тонко знают, их не поймаешь, а если и поймал — чего с него взять? Тащи его в окружной суд, нанимай адвоката — да черт

с ним совсем, дадут в шею, и ступай с богом. А дутого не поймаешь: он золото ищет — значит, придраться к нему трудно; второе то, что народ прожженный — ухо востро держит. Теперь, положим, приезжает на прииски горный ревизор; ему говорят так и так, есть подозрение на какого-нибудь Иванова или Степанова. Ревизор, между прочим, завертывает и к Иванову или Степанову: книги в исправности, кружки за печатями, золото из доли в долю... «У вас нынче золото порядочно идет?» — спрашивает ревизор. «Пока ничего, ваше высокоблагородие, нечего господа бога гневить; не знаем, как напредки...» — отвечает Иванов или Степанов, а сам и глазом не моргнет. «А ты меня все-таки не проведешь, такой-сякой, — думает ревизор, — старого воробья на мякине не обманешь»... Пойдет ревизор взглянуть на промывки, как идет дело. Тут уж, кажется, деваться некуда: если пески пустые — мат, сейчас подозрение. Придет ревизор к вашгерду и начнет наблюдать, как идет промывка. Дождется, когда станут доводить — смотришь, на сто пудов песков целый золотник выпадает. Прииск оказался богатым, потому что можно с выгодой разрабатывать пески с содержанием тридцати долей на сто пудов песку. Ревизор так и уходит, с чем приходил. А дело самое простое: пока он наблюдает промывку, кто-нибудь из старателей и подбросит на вашгерд золото... Где их поймаешь, дьяволов. Ревизор-то еще едет на вокзал только, а дутые уж получают телеграмму, что так и так, ждите гостя. Где тут уследишь!.. Одним словом, прожженный народ, и конец.

— А свои — золотопромышленники — знают ведь все эти проделки?

— Как же не знать, не маленькие. Только посудите сами: знает, доподлинно знает, а доведись дело до суда — один свидетель врет то, другой другое... Да тут сам черт ногу переломит, а время идет, хлопоты, расходы. Богатый золотопромышленник не станет рук марать, кто победнее — тому забота о своей голове, а не то что суды затевать. Конечно, бывают случаи... только редко! Под пьяную руку обругают, тем дело и

кончится. А, глядишь, человек капитал нажил и пошел в гору... Да-с.

Поезд подходил к станции Лая. Мой собеседник начал застегиваться; он немного протрезвился и походил на человека, который только что проснулся.

— Вы, кажется, здесь выходите?

— Да... Нужно повидать кой-кого. Отсюда дорога на прииски, наших много. Хотелось проветриться, только вряд ли, — с печальной улыбкой проговорил Черноногов, кивая головой на поднявшуюся кучку золотопромышленников. — Вон какая орда, разве тут есть какая-нибудь возможность не спиться порядочному человеку. Один пьет с радости, другой с горя или со скуки, третий за компанию... Так и плывем, выражаясь фигурально, по реке всероссийского забвения. А кстати, вы слыхали об убийстве лайского управителя Копылова?

— Да, мельком.

— Вот всего в нескольких верстах отсюда это и произошло, в Лайском заводе.

— Вы знаете подробности этого дела?

— Даже очень хорошо знаю. Видите ли, покойный Копылов был из самоучек. Умница и честнейшая душа. Есть чем помянуть — только это так, к слову, потому был человек не чета нам, многогрешным. Вот он и задумал тогда эти отдачи общественных кабаков... Понимаете? Раньше три-четыре тысячи шли в карманы кабатчиков, а теперь они оставались у общества. Копылов на эти деньги задумывал основать постепенно и ссудосберегательное товарищество, и кассу для вспомоществования увечным рабочим, и т. д. Одним словом, если уже вы, дескать, трескаете эту водку, так пусть барыши с нее не попадают в карманы кабатчиков, а идут на доброе дело. Мысль здравая, как видите. Только, конечно, она не понравилась местным целовальникам, а они взяли да застрелили Копылова. Вечером он стоял у себя в комнате, его наповал из окна и шарахнули. Заметьте, ставни были закрыты — в щель выстрелили. Ну, следствие, суд. Притянули и кабатчиков. Молодой парень, который стрелял, повинился, а старики, между прочим, отец убийцы, которые его

подговорили на это дело, — заперлись. «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем»... Всех сослали в каторгу. Да-с!.. Это было... позвольте... да, в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, следовательно, в последней четверти нашего просвещенного девятнадцатого века. Отчаянный народ. Слыхали про Лесникова? И его, голубчика, недалеко отсюда поймали. Однако я совсем заболтался с вами. До свидания, батенька!

— Ну, вылезай, Ипат Евсеич, — говорил кто-то Пудовикову, когда он подходил к двери. — Подбери утробу-то, а то, пожалуй, еще застрянешь...

Пудовиков действительно кое-как пролез в дверь, и вся компания повалила за ним по платформе пестрой галдевшей кучкой.

Подвиги Лесникова и сам он настолько типичны, что мы остановимся на этом исключительном явлении.

Мы приведем его подвиги в порядке времени их совершения:

а) 16 сентября 1878 года был убит караульный при памятнике, поставленном на водоразделе Урала, близ деревни Кедровки; целью этого убийства было желание воспользоваться теми золотыми и серебряными монетами, которые были заложены под фундаментом памятника.

в) 21 сентября 1878 года в 8 верстах от Екатеринбурга по Верхотурскому тракту был убит крестьянин Васильев и найден в бесчувственном состоянии другой крестьянин, Ладейщиков; крестьяне торговали арбузами и возвращались в Екатеринбург с деньгами, которые были у них отняты.

с) 26 сентября 1878 года в Екатеринбурге в доме купца Петрова была найдена на дворе убитой кухарка Кривдина; много вещей было похищено у Петровых, потому что Кривдина оставалась в доме одна.

d) 29 сентября 1878 года в окрестностях Екатеринбурга около Генеральской дачи был найден убитым крестьянин Волоковых.

е) В ночь на 14 октября 1878 года в Ревдинском заводе было убито целое семейство Козыриных, состоявшее из мужа и жены, двоих приемных детей и посторонней девочки; цель убийства — грабеж.

Лесников был задержан по обвинению в убийстве семейства Козыриных, но 30 июня 1879 года ему удалось бежать из екатеринбургского острога, и он был пойман только 14 сентября 1879 года в селе Верхне-Туринском, Верхотурского уезда. В этот промежуток времени Лесников заподозрен и признался в нескольких кражах — у чиновника Бетева (на 114 р.), у купца Колчина (на 4000 р.).

Дело Лесникова слушалось в екатеринбургском окружном суде 25 июля 1880 года. Он предстал пред присяжными заседателями во главе своей шайки, главными деятелями которой были, кроме него, мещанин Максимовский, крестьянин Плюснин, извозчик Голомидов, крестьяне Давидов и Сажаев. Сам Лесников назвался мещанином гор. Свенцяны, родных никого не помнит, по происхождению — русский, по вере — старообрядец; из взводимых на него обвинений он признал себя виновным в убийстве арбузника Васильева, кухарки Кривдиной и семейства Козыриных. На вид Лесникову можно было дать лет 30—35. Это был среднего роста очень красивый господин, одетый на манер купчика средней руки. Глядя на его правильное умное лицо с небольшой русой бородкой, никто не заподозрил бы в нем страшного преступника. Держал себя Лесников все время процесса с большим тактом, не затягивал дела пустыми вопросами, не сбивал свидетелей, не запирался. Видно было, что он желал только одного, — чтобы поскорее кончали дело и отправили его на место заключения. Впереди представлялась перспектива убежать откуда-нибудь из пересыльной тюрьмы или с этапа. Суд, на основании вердикта присяжных, постановил Лесникова и Максимовского сослать в каторжные работы без срока; первого, кроме того, наказать 45 ударами плетей; Плюснина — в рудники на 20 лет; Голомидова — на 13 лет; Сажаева — на 7 лет и Давидова — на 10 лет.

По недостатку места мы не можем во всех подробностях представить эту картину непрерывно следующих одно за другим убийств, — одно число убитых в такой незначительный промежуток времени говорит уже само за себя. Но ведь это только приведенные в

известность подвиги Лесникова, а что стоит там, прежде, чем он совершил свое первое доказанное на суде преступление? Когда изверги, подобные Лесникову, находят возможность убегать из русских тюрем,— чем гарантировано достояние, честь и жизнь обывателей?.. По газетным известиям, Лесников опять успел бежать и опять был пойман где-то, кажется, около Москвы.

IX

КУШВА

Кушва... Что составляет Мекка для правоверных, Иерусалим для христиан, река Ганг для индусов, то же самое представляет из себя Кушва для уральских горных инженеров. Кушва — то самое горное гнездышко, где оперялись и развертывали свои крылышки печальной памяти деятели казенного горного дела; в настоящую минуту Кушва является последним оплотом, последним словом в «светлой» жизни этих птенцов нашей всероссийской промышленности...

В 1730 году пришел в Екатеринбург один вогул и объявил существовавшему уже там горному начальнику, что на месте нынешней Кушвы находится целая гора железной руды. Дикаря приняли ласково, а потом он крестился. Этот дикарь был Степан Чумпин. Когда он вернулся восвояси, вогулы были скомпрометированы и огорчены вдвойне: во-первых, открыв месторождение руд, Чумпин этим самым показал дорогу русским во владения вогул; во-вторых, он изменил вере своих отцов. За эти вины вогулы привели Степана Чумпина на вершину нынешней горы Благодати, которую он открыл русским, и здесь принесли его в жертву своему богу шайтану. Предание говорит, что Чумпин был сожжен живьем. Благодарное потомство воздвигло этому страстотерпцу русского горного дела чугунный памятник на месте его казни. Через пять лет после открытия Благодати у ее подошвы был основан чугуноплавильный завод Кушвинский. В 1739 году гора Благодать «со всеми принадлежащими к ней домны, молотовыми переделы, с принадлежностями и со всеми при

том обретающимися запастностями, какого бы звания ни были», была пожалована саксонскому выходцу Шембергу, которому, кроме всего этого, были отданы не только уже приписанные к заводу люди, но еще дозволялось приписать из ближайших мест Сибири жителей «по усмотрению» его, Шемберга. Этот саксонец имел при дворе «руку» в лице всесильного тогда герцога Бирона. Шемберг повел свои дела отлично: приписал к заводам 3 тысячи крестьян, получил казенную ссуду в 50 тысяч рублей (увы, и в это старое доброе время умели уже держать «казенного козла за хвост»); получил право брать из екатеринбургской главной заводской канцелярии деньги «сколько понадобится, не свыше 20 тысяч рублей за раз»; служащих на заводах содержал на казенный счет; забрал с казенных заводов 570 тысяч пудов железа, денег казне, конечно, не заплатил, а сам продавал его за наличные деньги купцам, и т. д. Деньги, которые Шемберг должен был вносить в оплату приобретенных заводов, а также 5 тысяч горной подати он не считал нужным уплачивать казне. Таким образом, Кушвинский завод послужил первым примером хищения казенной собственности. Дело не обошлось без подражателей такому блестящему опыту; в 1757 году целый Гороблагодатский округ (мы еще встретимся с ним) положил к себе в карман граф П. А. Шувалов; затем, Юговские заводы были переданы графу Чернышеву, Верх-Исетский графу Р. Л. Воронцову, Сылвинский и Уткинский г. Гурьеву, Ягошихинский, Пыскорский, Мотовилихинский и Висимский графу М. Л. Воронцову. Развитие горного дела на Урале, как видите, делало быстрые шаги.

Теперь мы можем привести некоторые интересные данные и соображения, чтобы осветить картину настоящего положения рудного Урала. Мы берем сначала Пермскую губернию, которая почти одна заняла среднюю часть Уральских гор. Площадь этой губернии равняется 30 миллионам десятин, из которых 20 миллионов десятин принадлежит казне, 8 миллионов десятин — крестьянам и остальные 2 миллиона десятин — частным землевладельцам. Из 20 миллионов десятин, принадлежащих казне, нужно вычесть около $3^1/_2$ мил-

лионов десятин, принадлежащих частным *содержателям* заводов на поссессионном праве. Нужно заметить, что, может быть, за исключением только некоторых казенных заводских дач, вроде Гороблагодатской, это именно те самые земли, которые составили репутацию Уралу, как местности исключительно одаренной самыми необходимыми в жизни человека минеральными богатствами. Едва ли найдется другой такой уголок на земном шаре, где бы на таком, сравнительно очень незначительном пространстве природа с истинно безумной щедростью расточила свои дары. По приблизительным вычислениям, одна Высокая Гора содержит в себе 35 миллиардов пудов лучшей в свете железной руды, — по этому примеру можно судить о заключающихся в земных недрах неистощимых богатствах. Мы особенно останавливаемся на поссессионном праве владения, раз, потому, что оно касается наших богатейших национальных сокровищ, и, во-вторых, потому, что вопрос о выкупе поссессионными владельцами своих заводов от казны теперь только вопрос времени.

Происхождение поссессионных владений на Урале — дело очень темное, потому что только в 1760 годах произведено приграничение земель к заводам, следовательно, в самый разгар государственного хищения, когда все зависело от одного милостивого взгляда какого-нибудь временщика. Мы видели, как казенные заводы жаловались частным лицам, поэтому можно было судить о размерах тех приграничений, какие были сделаны заводчиками. В результате, к нашему времени на Урале получилось семнадцать человек поссессионных владельцев, которые домогаются выкупа своих владений у казны в полную собственность. Комиссией, высочайше утвержденной для пересмотра системы податей и сборов, составлен проект окончательного выкупа поссессионными владельцами находящихся в их владении земель путем капитализации уплачиваемой ими добавочной горной подати. Поссессионные заводы платят полуторную подать. Выкуп предполагается произвести в течение 37 лет, и заводовладельцы приобретут целые области богатейшей в

свете земли за цену от 20 копеек до 1 рубля 80 копеек за десятину. Заметим, между прочим, что *minimum* выкупной цены крестьянских земель положен в 10—12 рублей за десятину.

Если проект выкупа поссессионных уральских владений получит практическое осуществление, мы будем иметь пример единственной в свете монополии. Наш век — век железа по преимуществу; все чудеса пресловутой европейской цивилизации, беспримерный прогресс техники, развитие промышленности, земледелия, искусств, торговли, — все это создано на необычайно широком применении железа во всех отраслях человеческой деятельности. Железо для нас является стихийным деятелем, как вода, солнечная теплота, свет. Создавать монополию относительно месторождений и залежей железных руд — это надевать целому государству петлю на шею. Специально для России подобная монополия будет равняться добровольному отречению от самого могучего двигателя всей европейской цивилизации. Отдать в руки семнадцати поссессионных владельцев половину Урала — значит навеки закрыть для него свободное развитие горной промышленности, а русский народ — лишить навсегда его собственного железа. Мы приведем такое соображение: если бы государство хотело для погашения своих долгов постепенно эксплуатировать свои национальные богатства, то сколько бы дали миллиардов две таких горы, как Высокая и Благодать, содержимое которых определяется до 40 миллиардов пудов лучшей в свете железной руды?.. Эти вопросы входят в область государственного права и финансовых наук в обширном смысле слова, и мы можем только пожалеть, что русские ученые до сих пор не обратили внимания на них в приложении к данному случаю, то есть к поссессионным владениям.

Выкуп поссессионных заводов владельцами на таких невероятных условиях будет последним словом того безумного хищения, предметом которого служил Урал в течение последних полутораста лет. Больше и расхищать нечего, кроме казенных заводов. Вопрос о переходе казенных заводов в частную собственность

тоже не больше, как вопрос времени; достаточно привести цифру доставляемого этими заводами дохода — 6 миллионов 474 тысячи рублей и цифру расходов — 6 миллионов 364 тысячи рублей, что в остатке дает государству чистой прибыли 110 тысяч рублей. Коротко и ясно! А чего стоило государству насадить эту удивительную горную промышленность, каких жертв не было принесено им во имя этого насаждения, — и вот этот жалкий, ничтожный результат, который с железной последовательностью и неумолимой логикой доказывает только тот факт, что развитие промышленности производится не субсидиями и гарантиями, не высокими тарифами и покровительственными системами. Мы приведем такой расчет: содержимое одной горы Благодати равняется по приблизительным вычислениям 5 миллиардам пудов железной руды; один Кушвинский завод ежегодно берет для себя немного больше 1 миллиона пудов руды. Теперь, если бы, как мы уже имели случай говорить о Высокой горе, просто продавать руду из Благодати заводчикам по 10 копеек за пуд, и то составилась бы сумма в 100 тысяч рублей. Значит, вся деятельность казенных горных заводов, в буквальном и переносном смысле этого слова, сводится на нет, как говорят портные...

Итак, наша горная промышленность огорожена непроницаемой стеной тарифов, субсидий, поссессионных прав и казенных промышленных затей. Под прикрытием всего этого в течение полутора веков было создано то настоящее положение нашей горной промышленности, в котором она является больным человеком, влачащим свое существование только при неусыпном попечении государства. Уничтожьте покровительственную систему — и больной человек протянет ноги... И понятное дело: если столько времени был закрыт свободный доступ частной предприимчивости; если действительно полезные деятели не могли начать собственного дела; если, наконец, создался особенный тип уральского заводовладельца и горного инженера, которые привыкли только к бесконечному покровительству, — чего можно было ожидать от этой обезличенной среды... Мы не будем уже говорить о крупном

заводском деле; — но не можем не остановиться на следующем знаменательном факте, вытекающем, как логическое следствие, из настоящего порядка наших горных дел: уральское железо и уральская медь везутся на Нижегородскую ярмарку, а оттуда через некоторое время возвращаются на Урал в форме готовых железных и медных изделий. Уральское население, раз, теряет на двойной перевозке своего металла, во-вторых, теряет на уплате тех процентов, которые должно выплатить за этот срок торговцам, у которых и железо и изделия являются оборотным капиталом несколько раз, и, наконец, уральское население теряет от того, что такой сподручный промысел уходит куда-то в Нижегородскую или Владимирскую губернию. Чего, кажется, естественнее, что рядом с заводами, добывающими железо и чугун, будут существовать тут же фабрики стальных и железных изделий и разовьется кустарный промысел? Расчет прямой: не нужно оплачивать двойную перевозку и за торговые операции. Пример этого мы можем видеть во всех других государствах, где рядом с железоделательными и чугуноплавильными заводами вырастают Бирмингамы и Льежи, как их естественное и прямое дополнение. Почему же Урал везет свои произведения на Нижегородскую ярмарку, чтобы получить обратно часть их в фабричных изделиях? Очень просто: существует узаконение, которым воспрещается в пределах заводских округов (например, если взять пределы поссессионных заводов — дистанция огромного размера!) устройство всяких промышленных заведений, производство которых основано на потреблении горючих материалов. Опять коротко и ясно: как бы не обидеть этих излюбленных заводчиков... Невьянские сундучники под носом у заводоуправления съели целую лесную дачу в несколько десятков тысяч десятин, а тут еще разведутся кустари. Благодаря этому же принципу полмиллиона пудов хромистого железняка ежегодно прогуливается с Урала в Англию, чтобы вернуться оттуда в виде краски... Сколько теряет здесь негорнозаводская русская промышленность — вероятно, не высчитает никакая статистика. Можно утешать себя только тем, что как только уральские заводчики сведут

последнее дерево на своих и казенных дачах — тогда уж незачем будет везти хромистый железняк в Англию, а железо для переделки в среднюю Россию: опасность истребления кустарями и промышленниками горючих материалов должна пасть *ipso facto*[1], и тогда могут развиваться себе на здоровье всякие промыслы...

Размышлять на тему, что выгоднее: сохранить казне за собой свои заводы, или отдать их в аренду частным лицам, или, наконец, совсем продать, — терять попусту время. Мы видим только тот факт, что горное дело, — казенное и частное, — при существующей покровительственной системе есть вопиющее зло, которое, не принося никому пользы, кроме двух-трех десятков заводчиков, служит громадным тормозом в развитии других промыслов и сельского хозяйства, потому что постоянно закрывает доступ дешевому иностранному железу и создает искусственным путем чрезмерно высокие цены собственному железу на внутренних рынках. Это прямой непосредственный результат покровительственной системы, а что касается до его побочных следствий — они неисчислимы, и мы указываем только на сельское хозяйство, на запрещение закона частным предпринимателям в пределах заводских округов устраивать огнедействующие промышленные заведения. Другие отрасли промышленности имеют такое же право на внимание государства, тем более что практикуемая в течение полутораста лет покровительственная система не только не произвела насаждения горного дела на Урале, а, наоборот, ведет его к постыднейшему краху: не сегодня-завтра эта система должна пасть, и тогда горные заводы принуждены будут ликвидировать свои дела, чтобы передать захваченные земли в более предприимчивые и умелые руки.

В заключение мы остановимся на первом съезде уральских горнозаводчиков, происходившем в ноябре прошлого 1880 года. Читая отчеты этого съезда, просто не веришь своим глазам: что это — шутка, насмешка, собрание авгуров или совещание победителей в только что завоеванной стране... Заметьте, что это был съезд

---

[1] сама собой, *(лат.)*

представителей землевладения в 40 миллионов десятин. Первым капитальным вопросом в занятиях этого съезда, без сомнения, был вопрос о снабжении заводов топливом (очень тонкое слово в словаре заводчиков), то есть другими словами, вопрос о переходе с древесного топлива на минеральное. Напрасно заводчики, как затравленный страус прячет голову в песок, стараются обойти этот вопрос разными подходцами и экивоками; сквозь всю эту паутину слишком ясно сквозит мысль: *aprés nous le déluge*[1]. Вопрос о минеральном топливе для уральской горной промышленности — *raison d'être*[2], следовательно, нужно было не избегать этого вопроса, а по крайней мере хотя бы взглянуть прямо в глаза грозящей опасности. Мы с своей стороны можем указать на пример Англии, которая пережила подобный кризис в начале нынешнего столетия. Вот факты: производительность России в конце XVIII века превосходила сумму производительности железа всех государств, взятых вместе. Теперь роли переменились: Англия дает около полумиллиарда пудов железа, а Россия не дает и пятидесяти миллионов. Разница очень чувствительная, и одной из главных ее причин был тот факт, что Англия перешла на минеральное топливо, а Россия жжет последние леса, быстрое уменьшение которых мешает ей, раз, развивать уже существующее горное дело, а затем заставляет ограничивать предприимчивость тех частных лиц, которые не имели счастья попасть на пир званых.

Мы не можем отказать себе в удовольствии привести целиком решение съезда по вопросу о снабжении горных заводов топливом (древесным и минеральным). Именно, съезд постановил ходатайствовать:

а) об определении количества свободного остатка леса в казенных (не исключая и горнозаводских) дачах, который мог бы быть отпускаем ежегодно для удовлетворения нужд частных заводов;

б) об отпуске частным заводам леса из казенных дач без торгов, а по определенной таксе;

---

[1] после нас хоть потоп *(франц.)*.

[2] Здесь в смысле — основной вопрос *(франц.)*.

в) о разрешении немедленного отпуска частным заводам леса из тех дач, где избыток очевиден;

г) о производстве остальных разведок известных уже месторождений каменного угля на восточном склоне Урала, и в особенности пластов, открытых в окрестностях Каменского завода;

д) о продолжении разведки каменного угля по восточному склону Урала, как на севере, так и на юге, до Орска;

е) о производстве на счет казны опытов по употреблению минерального топлива для выплавки чугуна.

Эти резолюции съезда, надеемся, не требуют пояснений и достаточно говорят сами за себя.

Можно было пожалеть, что поезд приходит в Кушву ночью и картина окрестных гор проносится, как во сне. При трепетном сиянии месячных лучей видны только массивные силуэты гор, громадными валами тянущиеся к северу; между ними чернеют глубокие лога. Иногда кажется, что поезд мчится по какому-то застывшему исполинскому морю, где волшебной силой все замерло в момент самого сильного волнения: поднявшиеся волны, готовые обрушиться в бездну, так и замерли, и невольно кажется, — вот-вот они опять сольются, и все заклокочет кругом; можно даже, при некоторой живости воображения, различить громадный девятый вал, который то там, то сям поднимает свой седой вспененный гребень. Иногда кажется, что впереди выступают крепостные валы и бастионы гигантской крепости, окопанной широчайшими рвами... Но вот прорвется через молочную игру светлой осенней ночи месячный луч и обольет серебряным светом верхи елей и пихт. В воздухе точно протянутся серебряные нити и рассыплются блестящей сверкающей пылью в бархатной зелени сибирского леса. Что может быть красивее такой северной ночи... Вон там спряталась на самом дне глубокого лога покрытая туманом горная речка, а к ней, точно рать великанов, спускаются ели и пихты. В другом месте вырастают из земли целые готические замки, башни и церкви и смело поднимают

свои воздушные стройные пики-стрелки кверху, точно они рвутся в это бездонное синее небо, все охваченное напряженным трепетным светом бесчисленных звезд; по светлой дороге лучей этих ночных светил, кажется, готово спуститься на спящую землю незримое божество... Лучший храм, какого только можно пожелать. Все эти готические затеи кажутся только бледными снимками с этих оригиналов: целый лес из готических сводов, воздушных колонн, летящих в небо стрелок и пиков.

В вагоне полутемнота. Публика употребляет все усилия, чтобы устроиться поудобнее и заснуть. Кое-где ведутся тихие разговоры. Слышатся вздохи и подавленная зевота.

— У нас какой случай недавно вышел, — рассказывает какой-то прасол дремлющему соседу. — Была одна солдатка. Ну, известное у них положение: ни девка, ни баба, мирской человек. Так, промежду людей, значит, пошла. Из себя красивая, здоровая. Не то што парни, которые послабее мужики и те за ней, как за медом, ходили. Только наши заводские бабы тоже устроили штуку. Как-то идет солдатка по заводу ночью с своей товаркой. Нынешней зимой дело было. Подъезжают пошевни — солдатку в пошевни с благоприятельницей, и сейчас на завод. Привезли ее напоказ в избушку. Двое мужиков и две бабы, мужики пьяные; бабы остервенились на солдатку и давай ее тиранить... Зачем, значит, наших мужей к себе заманивала. Ну, и уважили! Раздели донага, всю изодрали ногтями, волосы где вырвали, где опалили, а потом повесили за ноги й давай начинять золой... Благоприятельницу поколышматили для острастки и заставили смотреть на эту самую муку. Так они ее часа три тиранили, а потом сели на пошевни и угнали. Товарка вынула солдатку из петли, а та еле дышит. Сейчас пошла в завод... Приехали за ней из волости: дотронуться страшно, и вся насквозь проткнута палкой. Так замертво и увезли в Тагил. Доктор старичок осмотрел ее и говорит: «Всячины видывал, а этакой страсти никогда». Понимаешь, места живого не оставили, все равно, как

мешок с костями, и все нутро палкой выворочено! Так и умерла сердечная в больнице...

— Ах, разбойники...

— Ну, их, рабов божиих, сейчас ловить: двоих пымали, а двое убежали. То есть, я тебе скажу, такой народ, такой народ...

X

КУШВА—ЧУСОВАЯ

Мы перевалили из Азии в Европу. Поезд спускался к реке Чусовой. По сторонам дороги те же горы, тот же лес. В вагоне пассажиры менялись: одни оставались на станциях, другие занимали их место. Один старик переселенец оставался на своей скамье и теперь, подняв воротник своего кафтана, дремал, покачиваясь из стороны в сторону.

— Не хотите ли полюбоваться? — спрашивал какой-то голос.

— А у вас что?

— Да так, для жены купил в Екатеринбурге...

Двое господ в европейском платье подходят к огню и рассматривают что-то завернутое в бумажке.

— Это хризолиты?

— Да. А вот это александрит: днем он, как изумруд, а при огне, как рубин. Очень интересный камешек.

— А сколько вы заплатили?

— За хризолиты по пяти рублей!..

— Вы шутите?

— А за аметисты по пятнадцати.

— Не может быть! Да я на пять рублей целый десяток купил.

— Покажите.

Слышится торопливое развязывание дорожного чемоданчика, звон отпираемого замка. Скоро дешевые драгоценности появляются пред огнем и подвергаются самому тщательному осмотру.

— Ну, что? Даже больше ваших, — говорит счастливый обладатель дешевой покупки. — А вы, я думаю, прямо приехали в магазин, спросили показать, поряди-

лись для успокоения совести, а потом и заплатили дикую пошлину какому-нибудь Лагутяеву или Конаеву. Ха-ха... Очень уж вы просты, батенька...

— А вы как сделали?

— Я сижу в своем номере; спрашивает лакей, не желаю ли я купить камней. Мужичок какой-то принес... А, подавай сюда мужичка. Входит этакой оборванный субъект, достает из голенища грязную тряпицу, а в ней так и горят аметисты, хризолиты, шерлы... У меня просто глаза разбегаются. Ну, понимаете, рублей на триста, а запрашивает полтораста. Я его, грешный человек, поприжал, потому ему деваться некуда: в магазинах дадут ему грош за них, а покупателей там жди еще. Я у него все камешки за семьдесят пять рубликов и купил! Ха-ха... Вот как, батенька, нужно делишки обделывать. И мне выгодно, и ему выгодно: бедный человек, а семьдесят пять рублей деньги. Стал прощаться, я и говорю: «Покайся: хапанные камешки?..» Он посмотрел на меня и только засмеялся. Плут-народ. Кочнев купил у такого мужичка аметист с куриное яйцо за десять рубликов. Теперь дают ему полторы тысячи: не берет.

— Послушайте, ведь вы накупили обыкновенных цветных стекол, — говорит кто-то.

— Не может быть: мужик, настоящий мужик и в грязной тряпице вынимает их из голенища.

— Да это самая обыкновенная история.

Завязывается спор, и камни еще раз подвергаются осмотру. На этот раз их пробуют о стекло, спускают в стакан с водой — действительно, камни оказываются поддельными. В вагоне раздается громкий хохот.

— Поздравляю вас с покупочкой, — говорит первый голос.

— Ах, подлец!.. Ведь, понимаете: самый обыкновенный мужичонко, да я бы его... Да это дневной грабеж! Семьдесят пять рублей как в собаку бросил... а? Уж именно, одно слово: Сибирь, — Сибирь и есть.

— Это очень просто делается, — говорит господин, обличивший подделку. — На Ирбитскую ярмарку привозят такие аметисты и изумруды пудами. Потом разные аферисты нанимают этаких мужиков подходящих,

завертывают камни в грязную тряпицу, потом за голенище и к покупателю. Вот как с вами...

— Тьфу!..

— Обыкновенно приезжающих так обманывают, а то и своих подведут. Камни так же трудно покупать, как лошадей. Один мой знакомый торговец купил таким же образом изумруды, — отличные камни, и за бесценок. Тоже думал, что от бедности или хапанные. Покупка была сделана в магазине, вечером. На другой день смотрит: камни в трещинах. Значит, цена им грош расколотый. Это как, по-вашему: сегодня нет трещин, а завтра они объявятся.

— Да черт их знает... Может быть, такие же стекла, как у меня!

— Нет, камни настоящие. Дело в том, что прежде чем идти продавать, их смазывают каким-то маслом, потом слегка нагревают — трещин как не бывало, особенно при огне.

— Чего говорить: прямые разбойники. Нет, вы представьте себе: ведь мужик, в грязной тряпице, из-за голенища... а? Видно, плакали мои семьдесят пять рубликов.

Слышится смех. Кто-то начинает утешать любителя дешевых покупок тем, что вот такого-то на столько-то надули, другого на столько-то.

— Можно сказать: утешили... Уж только и сторонка!..

— Это еще что: семьдесят пять рубликов — не велика важность, — говорит пожилой господин.

— Не желаете ли: уступлю за половину цены?.. Что же, по-вашему, еще можно сделать с человеком: голову ему отрезать, только и остается.

— Нет, зачем же голову резать... Это в прежние времена действительно зверство большое было, за копейку душу губили. По-нонешнему все это поблагородному, так что и не услышишь, как по миру пустят. Слышали, может, что Сергинские заводы продали?

— Да, мельком слышал.

— Вот это так дельце: чистенько сделано!..

— Именно?

— Да, видите ли, эти заводы принадлежали К. М. Губину. Он умирает. После него остается двое сыновей и жена. Заводы находились в отличном положении и давали громадный доход. Опекуном над детьми назначают некоего У-ва, за которого вдова вышла замуж. Этот У-в повел дело бойко: деньги, какие оставались, размотал, а потом ухитрился заложить в Государственный банк несуществующий металл.

— То есть, как же это так: слепоту, что ли, навел на всех?

— Да около этого. При участии горного исправника и некоторых других горных чинов У-в сначала закладывал в банк листовую болванку, потом первый передел из нее и, наконец, совсем выделанное листовое железо. Понимаете: три раза закладывалось одно и то же железо. Только эта механика У-ва в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году и обнаружилась в Нижнем. Ну, пошло это самое дело гулять по судам, а в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году вырешилось окончательно: У-в был лишен прав состояния, обвинен в мошенничестве и подлежит ссылке в Сибирь. Что же бы вы думали: решение приходит, а У-в лежит на столе. Денег забрал он в казне около миллиона, а с процентами наросло к этому времени целых два миллиона, которые нужно было взыскать с его имущества, а он умер. Ну, соответствующее министерство и перевело долг У-ва на заводы: У-в же ограбил наследников, а они должны платить за него долг.

— Это ловко! — слышится в публике.

— На что лучше... Теперь дальше. С тысяча восемьсот шестьдесят третьего года по тысяча восемьсот шестьдесят пятый год назначается казенное управление над заводами. Горный инженер управляющим и все такое. Управляющий забирает из государственного казначейства на усиление заводского действия семьсот двадцать тысяч рублей. Усиления не произошло, инженер получил отставку, а долг перевели на наследников.

— Ха-ха-ха!.. — хохочет господин, купивший стекло. — А наследники малолетние? Ловко...

— После этого Сергинские заводы переходят к какому-то родственнику наследников, К. Он, видите ли, обязывался заплатить и долг У-ва и долг казначейству. Два года управлял заводами, а потом захватил из караванной конторы двести шестьдесят семь тысяч, да и удул с ними за границу. Только его поймали, потом объявили несостоятельным должником, и всё тут.

Около рассказчика собирается целая кучка слушателей. На всех лицах написано самое напряженное внимание, быстро сменяющееся улыбкой. Некоторые качают головами, другие хохочут, закинув голову назад. В воздухе отдаются отрывочные замечания: «Ловко!», «На что лучше...», «Вот так штука!»

— После самого этого случая, — продолжает рассказчик, — заводы передаются в опекунское управление. Управляющим был назначен Т-ов. Он поднял заводы так, что они давали дивиденд до чытырехсот тысяч ежегодно. Только в тысяча восемьсот семьдесят шестом году этого Т-ова устраняют. Видите ли, в это время старшего из братьев наследников подговорили объявить себя несостоятельным и над наследством был назначен конкурс. Понимаете?

— Обнаковенное дело, —проговорила какая-то чуйка, — ежели ты себя несостоятельным почувствуешь, сейчас над тобой эту самую конкуренцию и объявят.

— Теперь вместо Т-ова конкурс и выслал управляющим своего поверенного, И-ского. Из казаков он или из матросов, — не помню. Как И-ский поступил управляющим, на следующий же год дивиденд от заводов с четырехсот тысяч ухнул на восемьдесят. Наследники жаловаться. Доказывают, что и эти восемьдесят тысяч облыжные: в них И-ский запятил неоплаченные земству повинности, тысяч восемнадцать, да еще железо, которого осталось от Т-ова тысяч на двадцать пять с лишком. Ну, пока эта жалоба ходила и всякое прочее, И-ский успел похозяйничать в свою волю. Рассказывают, что в один вечер проигрывал тысяч по сорок...

— А наследники-то чего смотрели?

— Говорю: жалуются. Хорошо-с. В семьдесят восьмом году И-ский пермской дворянской опекой был

уволен от своей должности, а через две недели опять воротили его на прежнюю должность. Одним словом, тут заварилась целая каша: в этой дворянской опеке председателем был В., старик шестидесяти лет, из солдатских детей, членами — бывший стряпчий П., семидесяти восьми лет, и бывший становой В., за подлог уволенный от должности и просидевший в ирбитской тюрьме три года. Вся эта компания получала жалованья по двадцать восемь рублей на брата. И-скому ничего не стоило поворачивать их, как он хотел. Только в это дело вступился губернатор. И-ского три раза сменяли и опять назначали, а в тысяча восемьсот семьдесят девятом году его притянули в окружной за захват чужого имущества. За заводами одного казенного долгу числилось около четырех миллионов, и они были назначены к продаже. Вот тут двое и хотели уцепить их: наш кунгурский купец Губкин, да еще барон Гинцбург. Тянулись, тянулись они между собой; Гинцбург перетянул.

— Значит, Сергинские заводы попали теперь в крепкие руки?

— А наследникам-то что досталось?

— Наследникам?.. Говорят, что им отступное дадут. Губкин обещал тысяч сто, а Гинцбург, может быть, и все двести отвалит.

Слышится смех, сожаления и тяжелые вздохи.

— Говорят, адвокат-то, который хлопотал по делу наследников, совсем разорился.

— Тут разорят... Вон какие всё осетры сидели!

— Ах, господи, господи! — умиленно шептал седенький старичок, покачивая крошечной круглой головкой. — Оставил родитель деткам наследства, может, и все десять миллионов, а на вот, поди, получат — не получат каких-нибудь десять тысяч... Куда же остальные-то денежки ушли?

— Не знаю, правду или здря народ болтает, — заговорил купчик, хранивший все время упорное молчание. — Мы года этак с четыре назад были на ярманке в Ирбите. Только зашли это мы своим опчеством в тиятр. Представляли уж не упомню что, — не в себе был немножко. Только эдак сидим мы, а наш же ку-

пец, — может, слыхали Рубашкина? — и толкает меня этак локтем: «Смотри, говорит, в переднем ряду в креслах сидит И-ский...» — «Знаем», — говорю. А Рубашкин опять: «И-ский опекуном от конкуренции, а вот сейчас, говорит, и наследник выйдет на сцену». Это они ему, то есть наследнику, значит, денег не выдавали, так он в актеры поступил. Наследник-то представление представляет, а опекуны ему ручками хлопают...

— Ах ты, господи батюшко! — стонал седенький старичок, покачивая своей головкой, как фарфоровый китаец. — Поистине сказано, что не копите сокровища ваша на земли, ибо их ржа поедает и татии подкапывают.

Воспоминания об Ирбитской ярмарке заслонили собой Сергинские заводы и судьбу их бывших владельцев. Преобладающий элемент составляли купцы и какие-то темные личности «из благородных»; те и другие, вероятно, были постоянными посетителями ярмарок, поэтому разговор скоро перешел исключительно на Ирбитскую ярмарку.

— Уж на что, кажется, Нижний, ярманка первеющая, а супротив Ирбита относительно этих безобразиев не бывать... Ведь и купцы-то одни ездят, а вот поди.

— В Ирбите начальства меньше и потом эти азияты всякие наедут. Другой такой, господь с ним, уродится, что страсть на него смотреть... Попадет ему в голову-то, — он на стену лезет. Наш брат и то ума решается. Да вот Рубашкин, Иван Петрович, сейчас про него говорили: терезвый смирнее курицы, а как вступило в голову — кончено, такую обедню отслужит, что на — поди. Как-то этаким манером сидим в трактире, пьем чаишко — Рубашкин и вкатывается. Веселенько так поглядывает кругом и пальцами перебирает: значит, удивить хочет всю публику. Мы ждем, что дальше будет. Рубашкин сел посредине залы: «Человек!» — «Что прикажете?» — «Полдюжины шанпанского». Приносят шанпанское. «Тащи медный таз». Приносят таз. «Мыла»... Принесли мыла. «Теперь мой мне шанпанским голову». И вымылся!

— Чудотвор...

— А которые восточные человеки да картежники, те насчет женского полу больше безобразничают...

Возьмут кошевую, устелют ее коврами, посереди столик соорудят, выпивку поставят, да с женским полом и заберутся в кошевую. И чистый ад кромешный: песни, визг, крик, сквернословие!.. Так целую ночь и кружают в кошевой по ярманке-то. Даже смотреть неприятно со стороны, когда это образ и подобие божие люди теряют. Все равно как зверь: увидал мясо и расстервенился. Тьфу! Будь они от меня прокляты.

— Нет, это что!.. Я вам расскажу об иркутских купцах, — говорит кто-то, сладко растягивая слова. — Вот уж когда это матушка Сибирь развеселится — всех святых вон понеси... Куда азиятам супротив иркутских купцов!

Начинаются рассказы про подвиги иркутских купцов, все оглядываются, нет ли где-нибудь женщин, потому что уж рассказы такого свойства, что в своей компании только и можно рассказывать. Седенький старичок благочестиво отплевывается, какая-то чуйка сдержанно ржет, закрывая рот рукой, господа, едущие с камнями, слушают с умилением. Рассказ перерывается только восклицаниями.

Поезд мчится в густом белом тумане. Кругом ничего не видно, точно мы плывем в облаках. Монотонное постукивание нагоняет дрему; стараешься уснуть, поудобнее протянуть ноги, но ни то, ни другое не удается, и страшная усталость овладевает всеми членами.

Поезд начал замедлять ход. Скоро станция Чусовая, к которой проведена Луньевская ветвь. В двух шагах от станции проходит знаменитая река Чусовая.

— Это, значит, угольный камень отсюда поворачивают? — спрашивает кто-то в толпе, ожидающей у выхода на платформу остановки поезда.

— На заводах луньевский уголь зубным порошком зовут.

Слышится смех. Поезд останавливается. Толпа вразброд несется к буфету, как делают солдаты на ученьях атаку. Поезд стоит на станции около получаса. Время найдется и червячка заморить и побалагурить с публикой из других вагонов. Купечество навалилось на чай. Ташкентский офицер успевает сделать зараз два дела: пить чай и знакомиться с какой-то

дамочкой, которую сопровождает толстый господин, обладающий счастливой способностью спать на ходу. Купцы перемигиваются и толкают друг друга коленками.

— Я думаю, как вы рады, что, наконец, возвращаетесь на родину, — говорит жеманно дама, раскрошивая одной рукой хлеб.

— И дым отечества нам сладок и приятен, — отвечает офицер, покручивая вытянутый в ниточку ус.

Один из купцов подавился сухарем. Публика смеется.

— Куда ты торопишься, ведь не каплет над нами, — усовещает его сосед, обсыпая свою бородку крошками. — Мы еще успеем и безногого щенка подковать... Вам чего: очищенной или коньяку?

— Как я думаю, страшно теперь в Ташкенте, — говорит один из купцов, обращаясь к офицеру.

— Почему вы так думаете?

— Как почему: а текинцы?

— Это совсем в другой стороне, — объясняет офицер. — Потом, текинцы давно уже помирились с нами.

Купец несколько времени смотрит, вылупив глаза; он, очевидно, подавлен собственной необразованностью. Тяжело вздохнув, он снимается с места и подходит к буфету, где уже целая компания подковывает безногого щенка — кто водкой, кто коньяком. Несколько облагороженных купчиков держатся в стороне от своего прототипа и стараются показать из себя коммерсантов самой последней формации. В одном углу прижалась бледная раскрашенная кучка «прелестных, но погибших созданий», возвращающихся с Ивановской ярмарки. Это «жертвы общественного темперамента» спешат в Нижний.

XI

РЕКА ЧУСОВАЯ

Река Чусовая, вероятно, будет в непродолжительном времени служить одним из любимых мест для русских туристов, ученых и художников. Немного найдется таких уголков на Руси, где сохранилась бы во всей

своей неприкосновенности суровая красота дремучего северного леса, где пред вашими глазами в такой величайшей панораме развертывались бы удивительные картины гор, равнин и скал, где, наконец, самое население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы, условия труда, — все было бы преисполнено такой оригинальности и своеобразной поэзии. Грядущий турист отдохнет в этих горах и лесах, художник найдет обильный материал для своих альбомов, ученый, без сомнения, встретит много интересного по части геологии, ботаники и этнографии в обширном смысле слова. Конечно, Чусовая — дикая река, и эта дичь пугает российских путешественников, художников и ученых. Они привыкли наслаждаться южным небом, красотами моря, а на Чусовой не встретишь ни шотландских коттеджей, ни швейцарских шале, ни итальянских вилл, ни поэтических развалин старинных замков и крепостей, не встретишь, наконец, этих развеселых, излюбленных насиженных местечек, куда стекаются знатные иностранцы всех частей света. Кто чего, конечно, ищет и кому что нравится; у всякого барона своя фантазия...

Все течение Чусовой резко делится на две части — одна, когда она течет в камнях (горы здесь называют камнями), и другая, когда она выбегает из камней у деревни Камасиной, как раз в том месте, где ее перерезывает Уральская железная дорога. Самая интересная, конечно, первая часть. Тут вы встретите поразительные картины. Бойкая горная река вьется между высокими горами. Иногда кажется, что она течет по извилистой улице какого-нибудь средневекового города, — отвесные скалы стоят сплошной стеной саженей в 60 высоты, и вы можете при некоторой живости воображения различить даже остовы стен, обрушившиеся арки и своды, карнизы, амбразуры, воздушные башенки, летящие к небу колонны. Река постоянно делает крутые повороты и глухо шумит у подножия знаменитых бойцов, о которые разбилось столько барок. Тихие плеса, где вода стоит, как зеркало, чередуются с опасными переборами, где волны прыгают между подводных камней и с глухим ревом

и стоном обгоняют и давят друг друга. Что ни шаг вперед, то новая картина: здесь скала нависла над рекой, и вода в почтительном молчании катится желтой струей под каменной громадой; там боец по колена в воде стоит где-нибудь на крутом повороте и точно ждет своей добычи; а вот на низкой косе рассыпалась русская деревенька, точно эти домики только сейчас вышли из воды и греются на солнце. Эти причудливые очертания скал, эти зеленые горы, эта могучая северная красавица река, — все это складывается в удивительную картину, поражающую своими угрюмыми красотами. На ваших глазах совершается та тысячелетняя работа воды, которая по песчинке разрушает первозданные горные породы. Далее, вы видите, как лес отвоевывает себе каждый вершок земли у воды и голых скал. Отдельные деревья лепятся на страшной высоте, цепляясь за выступы камней и запуская узловатые корни в трещины и щели. Некоторые не выдерживают этой борьбы за существование и готовы упасть в реку.

Из отдельных камней, которые имеют свои названия, мы назовем: «Столбы» (на одном из этих столбов, то есть отдельных утесов, можно рассмотреть сгорбленную старушку, которая точно читает книгу), «Кирпичный» (длинная и высокая скала, точно выложенная из кирпича), «Дужной» (обнаженные пласты расположены дугами), «Пять братьев», «Плакун» и т. д. Немного ниже железнодорожного моста на р. Чусовой, сейчас за деревней Кумышем стоят знаменитые бойцы «Горчак», «Молоков» и «Разбойник». В 1877 году из 523 барок, составлявших чусовской караван, об один только «Разбойник» разбилось 23 барки. По этому одному примеру можно судить, какие опасности представляет Чусовая для плавания. Когда случится весна дружная, то есть снега начнут таять быстро, вода против летнего горизонта подымается аршин на семь и более. Здесь совершается стихийная борьба, и река, как бешеный зверь, мечется в своих берегах, разрушая все на своем пути. Особенно страшен тогда боец Молоков, получивший и свое название от того, что под ним вода превращается в молоко, то есть в пену.

Молоков представляет собой скалу, которая обращена против течения реки косой плоскостью; вода взбегает по этой плоскости вверх и, отброшенная назад, с ревом и грохотом опять падает в реку. Этот страшный обратный поток образует майданы, то есть гряду очень больших волн, которые перерезывают реку в косом направлении. Движение воды настолько здесь стремительно и неистово, что образуется даже так называемая суводь, то есть обратное течение, отделенное от майданов резкой линией, рубцом. Майданы несут воду вниз от Молокова, а суводью часть воды опять возвращается вверх по реке, к самому бойцу. Страшно видеть эту резкую противоположность: майданы несутся с ужасающим ревом и стоном, и сейчас же за ними начинается суводь, где вода движется вверх по реке спокойным и медленным током. Можно себе представить участь барок, которые проходят под Молоковым... Некоторые из них силой воды, при ударе о боец, переворачивает прямо вверх дном, а между тем барка имеет в длину 18 саженей и в ширину 4 сажени, в ней грузу 15 тысяч пудов и около шестидесяти человек бурлаков. Представьте же себе эту картину, когда такая барка перевертывается вверх дном или когда в один сплав, продолжающийся два-три дня, один боец убьет 23 барки... Мы только можем еще раз пожалеть, что наши художники так упорно обходят такой благодарный материал: не знаешь, чему удивляться — силе водяной стихии, которая ведет борьбу со скалами, или смелости русского человека, который на сшитых на живую нитку суденышках борется и с взбешенной водой и с бойцами.

На станции Чусовой в наш вагон сели два мужика, которые сразу обратили на себя общее внимание. Они, собственно, на обыкновенных мужиков не походили; среднего роста, плотные, с смышлеными серьезными лицами; одеты в короткие полукафтанья, сверх которых широкие зипуны из толстого крестьянского сукна. Один из них, с небольшой русой бородой и серыми глазами, оказался очень разговорчивым стариком и большим шутником.

— Вы откудова будете? — спрашивает кто-то.
— Мы-то?.. С Межевой Утки приходимся...
— В Пермь?
— В Пермь.
— А зачем больше?
— Да мы сплавщики, так по своему делу.

Утчане по всей Чусовой славятся, как лучшие бурлаки, а уткинские сплавщики пользуются еще большей известностью, потому что знают Чусовую как свои пять пальцев. Тип чусовского сплавщика вообще заслуживает внимания. Представьте себе простого безграмотного мужика, который вынашивает в своей голове все течение р. Чусовой на расстоянии четырехсот верст, с тысячами мельчайших подробностей, со всеми ее опасными местами, переборами, бойцами, ташами, мелями и т. д. Нужно иметь колоссальную память, чтобы удержать все это в голове. Сплавщик, помимо знания реки, должен отлично знать свою барку, должен примениться в каждом данном случае к известному уровню воды в реке, быстроте течения, законам движения барки по речной струе. И все-таки, зная все это, часто сплавщик оказывается негодным, потому что у него недостает двух главных качеств: смелости и уменья хорошо поставить себя между бурлаками. Последние качества безусловно необходимы. Дело иногда в нескольких секундах: одно сомнение, — и барка идет ко дну.

— Отчего вы по планам не плаваете? — спрашивает кто-то из публики.

— По планам, сердечный друг, невозможно... Тут небо с овчинку покажется, а ты: отчего не по планам. У нас один этак же думал, было, по планам-то плыть... Из приказчиков был. Ну, прямо в остожье и приехал.

— Отчего это барки разбиваются? — спрашивает какой-то наивный человек. — Ведь можно как-нибудь устроить так, чтобы обходить камни. Ну, там людей больше поставить на барку, паруса, руль. Уж неужели невозможно?

Сплавщики только переглянулись между собой.

— Как это вы запоминаете столько разных примет? — спрашивает другой.

— Сызмальства привыкаем. У меня дедушка был сплавщиком и отец тоже. Ну, еще лет по двенадцати плаваешь по реке и запоминаешь, что и где. Сидишь рядом с отцом на скамеечке, он и показывает. А после в учениках уж плаваешь... Да по вешней воде не больно мудрено плавать, тут много нашего брата сплавщиков, а вот по межени, осенью значит, ну, тогда не всякий поплывет. На другом переборе вода на шести вершках стоит — ошибся на волос и посадил барку на таш (подводный камень) или на огрудок (мель). Тут поваландаешься с ней, с баркой-то... Другой раз осенью плывешь в сентябре, холод, народ нейдет в воду, хоть ты што хошь.

— Как же вы делаете, если народ нейдет в холодную воду?

— Как делаем? А самое простое дело: купишь ведро водки, поднесешь по стаканчику — да тут зубами барку выволокут. Очень уж падок народ до этой водки!.. Голытьба, бедность, одежонки у него никакой нет на себе, а получил деньги — первым делом в кабак. Вот какой отчаянный у нас народ!.. Или тоже весной: обмелела барка... Тут два часа пропустили и шабаш: вода ушла. А надо лезть в воду, это в начале мая, когда лед ищо идет по Чусовой.

— Опять водка?

— Водка... Ей все сделаешь. Тут уж не мы орудуем, а караванные да приказчики.

— Ведь бурлаки могут простудиться в ледяной воде?

— Это уж ихнее дело: всяк Еремей про себя разумей. Наше дело снять барку, а там, как знаешь.

— Куда же вы с больными деваетесь?

— Да куда с ними деваться: положат в лодку и свезут в первую деревню, — там уж как господь подаст. Ежели ему жить — так выправится, а если не жилец — так одна дорога.

— После сплава у вас на пристани, вероятно, очень много больных бывает?

— Бывают и больные, как не быть. Только ведь

весной-то народ больше чужестранный; с разных сторон набредет такой народ, что страсть смотреть на них... Столь они худы из себя! Дома-то без хлеба зиму сидит, а тут его на сплавы за тыщу верст пригонят.

— Как пригонят?

— Да ведь весной надо народу на барки тысяч сорок, а нам где их взять? Своих чусовских наберется — не наберется тыщи три-четыре, да с заводов набежит столько же, а остальные всё чужестранный народ. После рождества этак караванные и рассылают приказчиков по разным губерниям: в Вятскую, Уфимскую, Казанскую. Народ там совсем оглашенный живет, потому земля недородная, а промысла у них не обзаведено, — беднота страшенная. Слышь, хлеб-то пополам с осиновой корой едят... Ну, где этакому мужику, ежели он, как заяц, осину гложет, — где ему подати выправить? Так все недоимки и остаются, а взять не с кого: с голого, что со святого — взятки гладки. Ну, как наедет приказчик в ихнее село, сейчас к старосте или старшине там, а те уж дожидают этого случая, потому им тоже лафа... Соберут сход. «У кого недоимки?» Всех и перепишут идти на сплав, а приказчик вперед задатки выдаст. Так дело и сладится. Эти подряженные люди уж должны будут сами прийти на пристань. Другому всего получать придется рубля два-три, а он, сердяга, до пристани идет тысячу верст, там ждет каравана другой раз с месяц, потом, если господь пронесет, доплывает благополучно до Перми, ему опять пешедралом молоть до дому-то верст шестьсот. Так Христовым именем и бредут, а другому и это нельзя, потому много пригоняют татар... Страсть на них глядеть, как они придут на пристань-то: одна рвань!.. Сухонькую корочку добудет из котомки, размочит в воде, да и ест... Вот и весь его харч. Да и корка-то у него далеко не родня нашей: половину отруби, половину осины. У нас по пристаням уж ждут их: зимой-то корочки там, ну, чего заведется — редька ли, капуста ли, заместо того чтобы коровам травить, сваливают в кадочку, а весной бурлаки всё съедят. Раскупают нарасхват всё, только дай, да еще спасибо скажут.

— А сколько они получают за сплав?

— Да рублей восемь — десять получат, ежели окромя штрафов.

— А за что же штрафуют?

— Как за что: барку в воду сталкивают, а он не придет, — ну, и оштрафуют. За все штрафуют.

— Это за десять рублей бурлак должен проработать месяца два?!

— Два-то верных, ежели кто из дальных.

— И не бегут они с дороги?

— Невозможно, милый человек. И рад бы удрал, а невозможно. Ведь приказчики зря не будут давать задатков. Всё по круговой поруке. Так из деревни артелкой и выходят: ежели один сбежал, другие платят за него. А куда он побежит? Ведь в свою же деревню, а там его так примут, что на край света пойдет. Так и дойдут они до пристани, честь-честью. А вот когда беда приходит: ежели весна выйдет поздняя — ну, тут шабаш! Другой раз до пятнадцатого мая нельзя плыть — или воды нет, или она одолит совсем. Вот тут задача выходит. Дело близко к Егорию вешнему, это значит на двадцать третье апреля, так вся эта голытьба и рвань на стену и полезет, а как наступит Еремей-Запрягальник, первое мая значит, кончено — кто куда, так все и разбегутся. Тут и полиция и исправник, — шабаш, задувают домой и шабаш. Ведь дома-то у сердечных пашня ждет, а што, ежели он пропустит свое время, тут ведь прямо ложись и помирай. Так и разбегутся, чего с них взять-то, с оголтелых.

— Так, значит, если чуть что, сейчас водка?

— Первым делом. Ты вот ледяной воды испугался, это еще что — это так, из десяти человек двое без ног останутся. А вот когда надо снимать барку воротом — вот где страсть-то настоящая. Барка обмелела. Столкнуть ее сила не берет. Вот и устроят на берегу ворот, а к нему от барки проведут снасть. Народ поставят к вороту, и пойдет работа... Человек сто начнут как поворачивать — сила! Ну, а грешным делом, оборвется эта снасть — сохрани ты, владычица небесная! Одним воротом захлестнет сколько человек, а кому руку пере-

ломит, кому ногу — это уж не в счет. Так сердечных точно ветром смахнет: все в одну кучу. А разве у бурлака ум-то черт съел? Его тоже не скоро поставишь к вороту-то, карячится... Вот тут водка и действует. Терезвого-то его ни за какие деньги не заставишь, а как с голодухи-то, да с холоду-то, да с этого измору стаканчика два он пропустит, — тут хоть веревки из него вей. Верное слово...

— Если убьет человека, куда вы с ним?

— А тут же на бережку похороним и крестик на могилке поставим.

Весенний сплав продолжается на Чусовой всего несколько дней. Своей воды в реке недостает или она высока, — приходится ждать в том и другом случае. Если воды мало, барки будут мелеть, если много — их будет разбивать о бойцы. Как река горная, Чусовая представляет громадные разницы в высоте своего весеннего разлива, который от 2—3 аршин над меженью поднимается иногда на страшную высоту 8 аршин. Самый выгодный для сплава разлив, когда он достигает 4—4$^1/_2$ аршин. Обыкновенно достигают его искусственным путем, именно, выпускают большое количество воды из Ревдинского пруда, отчего образуется на протяжении около 200 верст как бы один громадный вал. Вот по этому валу и спускают все караваны, около 600 судов. Давка между судами происходит страшная, и часто в этой суматохе они бьются одно о другое. Если одна барка загородит собой фарватер, тогда может обмелеть целый караван, как это было в 1851, 1866 и 1867 годах. Единственное спасение в таких случаях — сделать второй выпуск воды из Ревдинского пруда, что сопряжено с величайшими хлопотами, недоразумениями и требует самого энергичного вмешательства власти.

Число убитых и обмелевших барок представляет большие колебания. Например, в 1871 году из 563 барок разбилось 33 и обмелело — 52; в 1872 году разбилось — 22, обмелело — 129; в 1873 году разбилось — 64, обмелело — 37; в 1878 году разбилось — 3, обмелело — 2 и, наконец, в 1879 году разбилось — 5, обмелело — 20. Как приятные исключения, бывали и такие

годы, когда не происходило ни крушений, ни обмелений, как, например, в 1839 и 1848 годах. Что касается причин, которые делают Чусовую крайне опасной рекой, то для сплава, помимо естественных затруднений, представляемых характером русла, берегов и быстротой течения, можно указать прежде всего на кратковременность сплава, отчего происходит настоящая давка между барками. Правительством много затрачено средств на улучшение Чусовой, как судоходной реки: взорваны многие бойцы, устроены во многих местах заплавни из бревен, срыты выдававшиеся в реку мысы, углублен фарватер и т. д. Но все это не может предохранить судов от крушения, потому что, при настоящем способе управления барок, они отданы в жертву тысячам случайных опасностей: плавание на потесях представляет мало средств для борьбы человека с разъяренной стихией. В настоящую минуту существует проект заменить плавание на потесях сплавом барок на лотах, то есть чтобы уничтожить опасности, которым подвергаются барки от быстроты течения, будут с кормы каждой барки бросать лот, то есть массивный кусок чугуна в несколько десятков пудов. Этот лот будет прикреплен к барке цепями или канатами, и таким образом заторможенная барка будет плыть несравненно тише, чем на потесях, а следовательно, избежит большинства опасностей, происходящих от быстроты течения. Это плавание на лотах было уже испробовано, дало блестящие результаты, но введение его на Чусовой может состояться только тогда, когда, при помощи устроенного в верховьях реки бассейна, явится возможность продлить самое время сплава. Если в настоящее время, при сравнительно быстром плавании на потесях, баркам не хватает места на сплавной воде, то, при значительно замедленном сплаве на лотах, сплавная вода опередит барки, и караван обмелеет. По расчетам инженеров, устройство бассейна обойдется тысяч в двести.

Чусовая, до проведения Уральской железной дороги, служила если не единственным, то главнейшим путем для вывоза произведений Урала и некоторых сибирских товаров. С проведением железной дороги Чу-

совая почти не утратила своего значения, потому что из 8 миллионов пудов груза потеряла только полмиллиона. Это и понятно, если принять во внимание, во-первых, относительную дешевизну сплава грузов по Чусовой, а затем и то, что Уральская дорога не может справиться с собственными грузами.

Когда наш поезд проходил по мосту через Чусовую, река была задернута туманом, и ничего нельзя было рассмотреть.

— Кормилица наша, — говорил сплавщик-рассказчик.

— А что, иногда и тебе бывает страшно? — спрашивал один купец.

— Как не бывает страшно... У каждого сплавщика своя заметочка есть: один у одного бойца бьет барки, другой — у другого. А уж как ежели ты раз убил ее, так в другой-то только еще подплываешь к этому месту, а духу в тебе нет, боишься, значит. Изо всех сил стараешься, а от этого самого барку и погубишь. Беда!.. Тоже и нашему брату не сладко приходится... Другой и знает все и старается, а робость одолевает. По разным пристаням разные и сплавщики: кто у бойцов никогда не бьет, кто на огрудках не сиживал, кто по межени мастер плавать. Всякому свое, барин. По межени когда плывешь, бывает и так: барка плывет, а на берегу хоровод устроят или драку, чтобы отвести глаза сплавщику. А как сплавщик зазевался, глядишь, барка и навалилась на огрудок, значит, работа будет всем. Вот как, милый человек!..

XII

ЧУСОВАЯ — ПЕРМЬ

Река Чусовая служит гранью для Уральской железной дороги: от Чусовой до Перми тянется слегка всхолмленная лесная равнина, главная масса гор остается назади. В русской истории эта река упоминается сначала как место основания строгановских городков, затем как арена борьбы первых русских поселенцев с вогулами и башкирами и, наконец, как путь

Ермака в Сибирь. Этим, собственно, историческая роль Чусовой и заканчивается, — впоследствии она является только как сплавная река, по которой *утекли* многие миллионы уральских строевых деревьев в низовья Волги и в заволжские губернии. В самое последнее время имя Чусовой встречается в газетных и журнальных статьях по поводу того обстоятельства, что в нескольких верстах от Камасина французская компания строит громадный завод для выделки железа и стали. Собственно говоря, в этом ничего особенного нет — отчего, в самом деле, и не выстроить завода, — но дело в том, что упомянутая французская компания по какому-то мудреному контракту взяла за себя все леса вниз по течению р. Чусовой, кажется, верст на полтораста, с правом свести этот лес на продажу. Вот это уж не понятно: ведь леса, помимо интересов владельческих, имеют громадный государственный интерес, потому что являются в системе государственного хозяйства не только как строевой материал или как топливо, а служат в то же время как самый лучший регулятор водяных атмосферических осадков, предупреждают засухи, обмеление рек, умеряют суровость зимних холодов, защищают от ветров и в конце концов леса же служат источником того богатейшего слоя чернозема, которым выстланы плодороднейшие полосы нашей родины. Значение лесов во всех этих отношениях давно уже выяснилось в Западной Европе, где немыслимы подобного рода аренды.

— И завод-то строят только для отводу глаз, — говорил купец. — Дело даже обнаковенное самое: смотреть — быдто действительно завод устраивается, а на самом деле все это одна механика... Пока там што, пока валандаются с своим заводом, всю Чусовую оголят до последнего бревнышка.

— По перышку ощиплют, — согласился в темноте чей-то голос. — Плешь оставят... Ох-хо-хо!.. Все-то мы грешны, да божьи!

— А ведь этот самый французский завод нонешним летом сгорел, — заявил один из сплавщиков.

— Как сгорел?

— Да так... Пожары стояли ноне по дороге-то, ну, как, значит, подошло полымя к заводу — угольки остались одни.

Этот пожар напомнил нам другой *случай:* интересный эпизод из жизни преподобного Трифона, который девять лет подвизался на Чусовой, куда он пришел по приглашению Строгановых. На Чусовой преподобный Трифон избрал для своего жилища одну высокую гору, на которой, по народному поверью, жил злой дух. Эта гора стоит на самом берегу р. Чусовой, немного пониже Чусовских городков. Он построил здесь сначала часовню, а потом целый монастырь. Передаем *случай* с преподобным Трифоном словами пермского историка, протоиерея Евгения Попова:[1] «Чтобы иметь свою пашню для устроенного монастыря, он (преподобный Трифон) стал сожигать пни и корни дерев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! Жители вооружились. Когда Трифон сидел на берегу Чусовой (мы сохраняем правописание автора), опустив ноги: вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизме покатился угодник божий! (Автор делает выноску: «Проезжая этим местом по делу обозрения училищ в Пермском уезде и представляя себе положение преподобного Трифона, я весь содрогался каждый раз».) Но господь, сохраняющий *пришельцы* (в выноске: «Псал. 145, 9»), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку, и — без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железо, вместо того чтобы в столь необыкновенном пожаре признать божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и просил у него прощения: однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

---

[1] «Великопермская и Пермская епархия», соч. прот. Евг. Попова, Пермь, 1879 г. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

После этого случая преподобный Трифон удалился в Вятку, где и скончался. Воспоминанием о нем на Чусовой служит село Монастырек, которое занимает теперь ту самую гору, с которой когда-то столкнули преподобного разгневанные обыватели. Когда под Монастырьком проходят барки, вид на село и на церковь удивительно хорош: так и кажется, что все это висит в воздухе.

Итак, Урал остался назади... Поезд быстро уносил нас в бесконечные равнины; впереди, на расстоянии нескольких тысяч верст, ни одной горы — там «Расея», с своим «врачующим простором», с жалкими лачугами вместо домов, с тысячами верст обезлесенных пространств, с бедностью, голытьбой, измельчавшим, выродившимся типом пахаря, жалкими остатками «величавого типа славянки», и т. д. Приводим выдержку из летописи Саввы Есипова (конца XVII века), который говорит об Урале такими словами: «Межи сих государств, Российского и Сибирския страны земли, — облежит камень, превысочайший зело, яко досязати верхом и холмом до облак небесных: тако бо божьими судьбами устроися, яко стенам граду утвержденным. На сем же камени растяху древие различние, в них же жительство имеют зверие различнои, овии надобни на снедение человеком, овии на украшение и на одеяние ризное. Многия же и сладкопеснивыя птицы, паче же много различныя травы и цветы. Из сего же камени реки многия истекоша, овии падоша к Российскому царству, овии же в Сибирскую землю. Дивно убо есть: какими божиими судьбами реками тамо бысть? Вода камень тверд раскопа — и бысть реки, пространны и прекрасны зело, в них же воды сладчайшия и рыбы различныя множество; на исходищах сих рек дебрь плодовита на жатву и скотопитательныя места пространна зело».

Как удивился бы старинный бытописатель, этот Савва Есипов, если бы посмотрел на чудеса цивилизации: от «различного древия» скоро останутся одни воспоминания; «зверии» истреблены, «дебрь плодовита» и «скотопитательныя места» заложены нашими крупными землевладельцами-чиновниками по банкам...

Осталось «камение», этот русский порог в Азию, да «сладчайшия воды».

«На свету» поезд уже приближался к Перми. Насколько хватает глаз, расстилалась печальная равнина, затянутая глухим траурным лесом. Изредка мелькала где-нибудь убогая деревенька, шахматной доской выделялись поля и опять лес и лес. Но это был не горный дремучий лес, полный прелести и могучей красоты, — нет, деревья здесь точно боялись гордо поднять свои вершины и казались толпой каких-то недородков. Болотистая ровная местность содержала мало питательных веществ; может быть, деревьям недоставало воздуху, и они стояли в своей болотине, как заблудившееся стадо.

— Этакая дичь, прости господи! — говорил кто-то в нашем вагоне, вытирая отпотевшее стекло. — Чистая пустынь...

На одной из станций, где публика умывалась на скорую руку, на платформе обратила на себя общее внимание кучка пермяков, с любопытством глазевших на машину. Дикари представляли из себя очень печальную картину. Это были субъекты среднего роста, с кривыми вывороченными ногами, с несоразмерно длинным туловищем и как-то нескладно висевшими руками. Костюм состоял из каких-то серых кафтанов, подпоясанных широким кожаным поясом. У каждого на таком поясе болтался короткий нож в кожаном чехле и берестяные сумочки с огнивом. На головах были надеты расползшиеся валеные шапчонки. Серые лица, бесцветные маленькие глаза; все линии выступают углом... Вымирающие люди, обреченные более сильной цивилизацией на погибель, смотрели на нас каким-то жутко-равнодушным взглядом, казалось полным немого упрека. В этой серой кучке мелькало женское лицо, но тип вымирающей женщины выглядел еще печальнее. Точно какая-то могучая рука придавила это живое существо. Хоть бы одно движение на этом выцветшем бескровном лице, хоть бы тень тех овалов и мягких линий, какими отличается всякое женское лицо, — как есть ничего: глина глиной.

— Этакую нечисть уродит же господь-батюшка! — с благочестивым вздохом проговорил один из сплавщиков, когда мы садились в вагон. — Одна страсть глядеть-то на них, оглашенных. Спаси нас, господь, и помилуй!

Дрогнул звонок на вокзале. Публика хлынула по вагонам. Локомотив свистнул и рванул с места. Поезд медленно двинулся и пополз мимо стоявших на платформе пермяков, с подавленным грохотом, как чудовищный сказочный змей. Что думали эти вымирающие люди, когда провожали глазами уходивший поезд, это создание людей железного века? Ни один вымирающий человек не шевельнулся и ничем не выразил своих чувств, а так все и остались на своих местах, неподвижные, серые, точно застывшие в какой-то одной мысли. И это остатки того сильного племени, которое прославлено в скандинавских сагах. В половине IX века знаменитый норвежский викинг, Оттер, первый добрался через Белое море и Северную Двину до пермяков, а за ним толпой ринулись другие викинги воевать в Биармаландии. Подвиги этих героев и составляют одну из блестящих страниц скандинавских саг. Последний поход, который упоминается в сагах, был сделан викингами против пермяков в 1222 году. С тех пор, вплоть до Ивана Грозного, забыли даже и дорогу, по которой ходили храбрые викинги воевать наших пермяков. Русская история только доканчивает то, с чего начали герои скандинавских саг: истребление пермяков совершается медленно и бесповоротно, под давлением железного исторического закона, хотя средства этого истребления несколько изменились в наше время. Мечи, копья и тому подобное «уязвительное и кусательное оружие» не в наших нравах: водка, сифилис, знакомство с русскими промышленниками — вот то оружие, которое сводит бедных диких людей с лица земли в наши мудреные дни. Вероятно, в недалеком будущем пермяки разделят участь глупой птицы додо и австралийских тасманцев.

Угол, который заключается между реками Камой и Чусовой и по которому мы ехали в настоящую минуту,

замечателен тем, что на нем сошлись народы угро-финского племени (пермяки, вогулы и зыряне) с народами монгольского происхождения (башкиры и мещеряки). Несмотря на долгое соседство, эти племена не слились между собой; но, замечательный факт: они ассимилируются русским племенем. Что лежит в основе этого странного явления: то ли, что эти племена изжили свою собственную жизнь и не в состоянии оживить одни других, или то, что слишком уж живуче наше молодое славянское племя. В истории этот угол между Камой и Чусовой замечателен тем, что на нем кипела самая отчаянная борьба между первыми русскими поселенцами и аборигенами. По этим местам когда-то проходил вогульский князь Асыка, зоривший русских поселенцев в 1455, 1467 и 1481 годах; спустя столетие здесь же воевал пелымский князь Кизек, во главе башкир, остяков и черемис осадивший в 1581 году город Чердынь. Наконец, в этом же углу остановилось поступательное движение пугачевских скопищ. Приводим выписку из «всенижайшего рапорта» об осаде г. Кунгура пугачевскими сподвижниками: «А на 25 число (январь 1774 г.), по полуночи в 3 часу, прибыл сюда в город Кунгур командированный из Казани от его высокопревосходительства, господина генерал-аншефа и кавалера Александра Ильича Бибикова секунд-маиор и кавалер Дмитрий Гагрин с командою, с пушками и артиллерийскими снаряды, коей в защищение здешнего городу и оного уезду вступил и по усердию своему, на 30 число того января в ночь, оный г. секунд-маиор и кавалер Гагрин с своею командою и приданною ему в помощь большою городской партией, обще с г. маиором же Папавым и с прочими офицеры, имели следование для поиску и разбития состоящей в Ильинском Острожке того ж народа злодейской толпы и их сообщников — Кунгурского уезду крестьян, где они г.г. маиоры с командою над теми неприятелями *учинили знатную победу и поражение,* о чем вашему высокопревосходительству от оного г. маиора Гагрина уповательно донесено». Таким образом, может быть, побывал здесь и «Гур Тогарович Ноугородец», ходивший, по сказанию летописца,

в 1096 году «в Угру»; били вогуличей в 1483 году московские воеводы, князь Федор Курбский-Черный и Салтык Травин; воевал с башкирцами, сылвенскими и иренскими татарами Ермак и Строгановы; последними на этом поле брани явились секунд-маиор и кавалер Гагрин и маиор же Папава. А раньше всех этих вогул, башкир и пермяков жило здесь полумифическое племя чудь, от которого воспоминанием остались только «чудские могилицы» да чудские копи, то есть печи для выплавки медной руды; история не помнит, как эта чудь была вытеснена отсюда другими племенами, подвигавшимися с севера и с юга, а также и то, куда эта чудь девалась.

— А бывало, по сибирскому тракту ползешь это до Перми от Екатеринбурга суток четверо, — слышалось в кучке купцов, — всю душу-то из тебя вытрясет... Только, бывало, едешь и думаешь: «Донеси, матушка царица небесная», а как приехал: «чаю». Еле-еле отдышешься, точно тебя в ступе толкли.

— Да еще страсти сколько напримаешься дорогой-то, — говорил другой голос. — Я в те поры еще в приказчиках от хозяина ездил. Бывало, пошлют с обозом, да осенью... Притулишься это в передке телеги, калачиком свернешься под рогожкой, а тебя мочит, а тебя мочит. Кругом посмотришь: грязь по колено, колеса по ступицу, лошади еле-еле плетутся, сердечные... В другой раз идет обоз ночью. Подвод двести вытянется. На каждом возу фонарь, потому невозможно: эти татаришки чистые антихристы... Только задремал ямщик: вылезет из канавы, прилепится к возу да цибика два с чаем и срежет, собака. Ей-богу... Уж только и воровать эти татаришки: себя, кажется, — и то украдет. Да ведь как бывало: ухватят целый воз да в сторону. Ямщики бросятся за ними, ну, а где его, лешака, в лесу-то пымаешь, ежели он вроде как змей. Так и выхватят воз, а ямщики плати. Бедовое дело!.. При мне этак же одинова было: едем этак ночью, ну, зги божией не видать, точно в мешке сидишь... Ну, а тут тревога. Бросились, я за ямщиками... Прямо в канаву, а там, как черви, так и ворочаются. Я был помоложе, тоже бросился помогать, кричу: «Бей его! бей его!..» Ухватился

за ногу, кричу, что есть мочи; думаю, татаришка сгреб. Что бы вы думали? А я своего же ямщика облапил, а татаришко ушел. Один всего и был, а ушел от целой артели. Эти, которые в одиночку ходят, намазывались салом, тут его и черт не удержит: выкрутится, как змей. Чего говорить, прямо: отчаянный народ... А только и татаришкам доставалось, ежели попадались в лапы к ямщикам... Уж тут известное дело: кистенем по боку и «кунчал голова». Особливо как расстервенятся ямщики, чтобы живого отпустили — ни в жисть! Ямщики и знают после, кого порешили; приедут в деревню и спросят нарочно, где, мол, такой-то. А татаришки тоже догадливы, псы: «В Меку ушел... Магомету молиться». У них все так уходили в Меку...

— А начальство чего смотрело?

— Начальство? Бекеты стояли по дороге-то, да только мало от них толку было... Как-то проезжал казачий полковник по этому тракту, значит, бекеты эти осматривал. Ну, остановился он в одной татарской деревне. Дело летнее, жарынь. В избе ему не поглянулось, потому какой у них воздух в избе, особливо летом, — одна вонь. Ну, этот самый полковник остался ночевать в своей повозке на улице. Так эти татаришки что сделали: пока полковник спал, они у его повозки все четыре колеса сняли. Ей-богу!.. Да не мошенники ли... Уж драл-драл их этот полковник; казаки даже из сил выбились, а колес все нет. Полковник только плюнул. «Это, говорит, кожу с живого сдерут — не услышишь!» Чистые срамцы.

— А с этого ворованного товару татаришками многие в здешней стороне жить пошли... Вот хоть взять X*. Все знают, как он скупал «хапанное» у татаришек, а теперь миллионер, рукой не достанешь.

— Ну, это дело темное, господа, как X* нажил свои миллионы.

— Конечно, чужая душа потемки, а только народ болтает. X* теперь на всю губернию первый купец; на монастыри сколько жертвует: «Зле приобретах, добре расточах».

— В этой Сибири уж такое обнаковение: наворовал денег, а потом давай монастыри устраивать да на

богоугодные заведения жертвовать. Ух — народ. Не любят пуще всего, ежели где что плохо лежит.

— Брюхо болит, где плохо лежит?

— Именно. Я этак же как-то разговорился с одним сибирским купцом; он на арестантов провиант да муницию доставлял, — смеется да бороду поглаживает. «А что, говорю, Савва Естифеич, ежели по душе, на совесть... бывало дело?» Смеется, а потом и говорит: «Все мы у царя-то батюшки воры... *все хлеб едим!*» Вот они как: «все хлеб едим...» Ха-ха!

— Так и говорит: «все мы хлеб едим»?

— Так и отрезал... Ха-ха!.. А я ему на то: «Да ведь разница, мол, Савва Евстифеич, с кого взять: с девяти возьмешь, а на десятого и душа не повернется... Уж чего, говорю, с несчастненького и взять, ежели, значит, и без того у него предел-то где-нибудь в Нерчинске, да еще, мол, на спине он несет плетей двести. «Ну, это, говорит, ты напрасно: это они у вас в Расее несчастненькие; а по-нашему они варнаки. Чего, слышь, на них глядеть-то». «Ах ты, господи, думаю, вот как человек осатанеть может и ведь какой человек: диви бы мелкая сошка какая, а то козырный туз. Три каменных дома, капиталу тысяч до ста, а из себя обстоятельный, степененный человек. Примется в церкви молиться — картину с него рисуй, съиздальни даже подумаешь, что вот, мол, какой такой благочестивый старичок... Ей-богу!.. Со слезами молится и нищую братию оделяет, и свечи сам ставит, и дьячку подпевает. Вот поди ты!..

— Все мы хлеб едим. Ха-ха-ха...

Поезд несколько раз проходил по самому берегу Чусовой, которая течет здесь в отлогих ровных берегах. Глядя на эту неширокую полосу мутной воды, как-то не хочется верить, чтобы эта скромная река могла производить такие ужасы там, в камнях. Попадаются озими; скот пасется на отаве, то есть щиплет пробившуюся осеннюю травку.

— Вон и пашенку разбили, — любовно говорит сплавщик, в котором при виде полей заговорило чувство русского пахаря.

— А у вас там, на Чусовой, нет пашней?

— Которые пробуют, только места не те: либо тебе камень, либо лес. Снега долго не тают, а здесь вон всё, как на ладонке. Даром, что пиканники...

— Это что значит: пиканники?

— Да мы здешних так зовем, потому что они в неурождай пиканами кормятся... Так, народ болтает.

По мере приближения к Перми характер местности оживлялся. Деревушки попадались чаще, лес не выглядывал больше медвежьим углом; к линии железной дороги то и дело выбегали из стороны узкие проселочные дороги, по которым катились телеги в город. Тут уже нельзя было встретить ни уральского мастерового, ни старателя, ни пахаря по преимуществу: на сцену выступал мещанский элемент и «золотая рота», то есть крюшники, которые грузили баржи. Скоро выглянула красавица Кама своим широким извивом. Что-то такое могучее чувствовалось в этой массе двигавшейся воды. Это была именно та широкая дорога, которая сама двигалась и манила вдаль, туда, куда бежали эти красивые раскрашенные, как игрушки, пароходы.

— Ишь какую махинищу заворотили, — удивлялись купцы, когда поезд проходил мимо Мотовилихинского сталепушечного завода. — Страсть, какое обзаведенье устроено...

Завод Мотовилихи красивой панорамой рассыпал свои красивые домики по скату высокого берега Камы. Видно, что рабочим здесь живется порядочно. Попадались по дороге черномазые фабричные — что-то среднее между мастеровым и машинистом; это был уже другой тип сравнительно с уральскими мастеровыми. Народ там выглядел могутнее, сильнее. Тип мельчал. По сторонам дороги торопливо бежали проворные бабы с берестяными бураками на коромыслах — это была утренняя порция пермских чиновников и купцов. Промелькнуло несколько свежих красивых лиц. Купцов больше всего занимало то обстоятельство, как у баб шевелился зад на ходу.

— Ишь как лопочут, милые... Вон та, с бураками-то, Асаф Гаврилыч, ишь как пошевеливает! Ха-ха!..

— А этой Перме не бывать супротив Екатеринбурха, — говорил кто-то, когда вдали на высоком берегу

Камы высыпали городские домики. — Так, одно название, что будто губерния... Вот наладят чугунку из Казани, тогда и собаки не будут бегать по этой Перме. Верно говорю: што в ней? Только одна соль и есть, да и та не в Перме, а вверх по Каме.

— А губернатор?

— Губернатор особь статья... Губернатор тут ни при чем. Я говорю про место-то, умная голова. Што, ежели будем говорить насчет реки, так опять зиму-то она мертвая, а чугунка все пыхтит да пыхтит.

XIII

ПЕРМЬ—КАЗАНЬ

Едва ли где-нибудь в другом месте в России устроен вокзал так удобно, как в Перми: только перейти через дорогу — и на пароходе. Нас дожидался пароход американской системы «Березники». На Каме это новое явление, сравнительно с прежними грязными пароходиками. Через час пароход отходил. Публика кипела на пристани, но это была не екатеринбургская типичная публика, а проезжающий люд да пароходная прислуга. Я думаю, никому даже и в голову не пришло пожалеть о том, что некогда было осмотреть губернский город Пермь, который замечателен тем, что в нем решительно нет ничего достойного внимания. Пермь — это искусственно созданная административная единица, которая скоро будет иметь только значение простого географического термина, — не больше того, то есть разделит судьбу всех других подобных ей административных единиц, где, по меткому бурлацкому выражению, губернаторы сами лапти себе плетут.

Когда пароход отваливал от пристани, всю публику рассмешила маленькая сценка во вкусе беллетристов наших последних дней. На пароходе у перил стоял какой-то мещанин, находившийся «в подпитии». На пристани осталась у него жена, которая сочла своим долгом поднести угол фартука к глазам, когда пароход отделился от пристани.

— Дарья... а, Дарья! — кричал мещанин.

— Чего тебе?

— Будь, Дарья, в таком виде, в каком я тебя оставляю... Слышь?

— Будьте без сумления, Иван Сидорыч, — развязно отвечала городская косточка мещанка. — Беспременно буду содержать себя в сохранности!..

Публика осталась очень довольна этим ответом пермской Пенелопы. Купцы фыркали в руку и толкали друг друга. Пароход тяжело повернулся и ходко двинулся вниз по многоводной широкой Каме. На левом берегу раскинулся город, то есть какие-то развалины около самого вокзала, затем какой-то деревянный балаган, несколько церквей и заборов; у самой воды стояли соляные магазины и толпились солоноски — жалкие, оборванные создания. Правый, низменный берег был покрыт жалкими кустиками [1]. Скоро пароход оставил далеко назади эту неприветливую картину.

«Березники» — пароход в два этажа и со всеми удобствами для путешественников. Я занял место в общей каюте второго класса. Там уже набралось человек двадцать. Одну половину сплошь заняли купцы, возвращавшиеся с Ивановской ярмарки из Шадринского уезда, «из Крестов», как говорят на Урале. Большинство составляли москвичи фабриканты; между ними виднелась массивная туша настоящего шадринского коммерсанта, ехавшего с мальчиком-сыном в Нижний. Купцы сейчас же расположились как у себя дома: натащили откуда-то узелков и коробков, разделись, умылись и расчесывали свои бородки. Особенно комичен был шадринский купец, когда он анфанчиком остался в одной розовой ситцевой рубашке, подвязанной под самые мышки тоненьким гарусным пояском. Круглый живот туго выпирал из-под пояска, как у женщины в интересном положении, когда она уж «на тех порах», как говорят на Урале про готовых разрешиться. Но всего замечательнее было лицо — медно-красное,

---

[1] Это тот самый дремучий сибирский лес, который привел в восхищение г. Немировича-Данченко, когда он любовался Камой. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

пористое, отливавшее жирным блеском; нос «алапаевской луковицей»; а по сторонам в две узкие щели, как попавшие в мышеловку мыши, выглядывали неизвестного цвета глаза. Волоса, конечно, в скобу и жирно смазаны каким-то особенным составом, — нечто среднее между деревянным маслом и колесной мазью. Москвичи фабриканты хотя были и «суздальского письма», но благообразны; только один, помоложе, выдавался своим длинным носом. Конечно, сейчас спросили чаю и познакомились.

— Из Крестов?

— Да.

— В Нижний?

— Да.

Потом сейчас же зашла речь об общих знакомых, которые в этих случаях всегда как-то находятся. Купцы попивали чаи и беседовали самым мирным образом. Но это мирное настроение было неожиданно прервано сильнейшим криком: в углу общей каюты оказался еще пассажир, присутствие которого с первого разу никто не заметил, потому что он лежал на своем месте, закрывши голову подушкой. Оставаясь в прежнем положении, пассажир неистовым голосом кричал:

— Ванька... пошел!.. Валяй!.. Ванька, закатывай...

Купцы переглянулись. Москвич с длинным носом нашелся первый. Он подошел к кричавшему и разбудил его. Поднялся среднего роста субъект с взъерошенными волосами и посмотрел на всех изумленно выкаченными глазами. Что-то неизмеримо добродушное светилось в этом заспанном измятом лице.

— Извините, господа... Это где же мы? — спрашивал крикун, протирая глаза.

— Как где, на пароходе.

— Ах, да... А ведь мне что приснилось: будто еду из Томска на тройке, а ямщик жарит, ямщик-то жарит. Только хотел подлецу на водку дать, — спасибо, разбудили.

Заметив улыбавшиеся лица, он уже для удовольствия публики еще несколько раз крикнул: «Пошел!.. Ванька, помешивай... Зажжа-аривай!..»

— Видно, весело вы там ездите, в своей Сибири?.. — проговорил купец с длинным носом.

— А вы почему думаете, что я из Сибири?

— Да так-с... Обличье обозначает, и сон ваш. По коммерции-с?

— Купец второй гильдии, Касаткин. Позвольте познакомиться... Не помню, как доехал из Тюмени... Ей-богу!.. Сын со мной где-то был. Это, верно, он меня на пароход доставил... Ха-ха!.. Осатанел...

— Чайком не хотите ли побаловаться?

— Ах, благодетели, — умилился Касаткин и еще крикнул: — Ванька, валяй!.. Пошел, разбойник!.. На водку дам...

За вторым стаканом московские купцы и сибиряк открыли общих знакомых и весело балагурили.

— А что, как Зотей Меркулыч? Здравствует? — спрашивал Касаткина один из московских фабрикантов.

— В яме...

— Как в яме?

— Вексель подделал...

— Ах, батюшки! Как же это так: обстоятельный человек такой был... а?.. Как же это вышло-то?

— Подделал вексель на родного зятя!..

— Вот поди ты... а?!.

— Домик у него в Томске: игрушка. Венскую небиль выписал, орган, канарейки, а сам в яме... Только у нас это просто: он только числится, что будто в заключении, а сам проживает дома. Подумайте: обзаведение, жена молодая... Ха-ха!.. У нас это просто: золотым ключиком и тюрьма отворяется.

— Да ведь люди-то видят, что Зотей Меркулыч не в яме, а дома проживает?

— Ах, други сердечные, други сердечные!.. Да ведь начальство — поди, живые люди, понимают: все видят, а спроси: «видел?» — «Знать не знаю»... Да вот я первый: вот как с вами теперь, чай с ним пил перед отъездом, а спроси меня — нет, ничего не знаю! Ей-богу... Так, спьяна болтал... Ха-ха!.. Ничего не знаю!

— Вы до Нижняго?

— Подымай выше: в Питербурх... Дело есть.

— Подрядами, видно, занимаетесь?

— Есть такой грех... Вот болезнь такая у меня завелась в чреве — по пути к дохтуру забегу в Питере. Да...

Все время разговоры вертелись на Сибири, которую купцы постоянно сравнивали со своей Расеей.

— Вот теперь товары даже взять, — говорил один из фабрикантов, — к примеру хоть наше дело: ситец провалялся бы по лавкам сколько годов, а в Крестах всё расхватали. Право...

— В Сибири народ совсем особенный живет, — богатенный народ, справный. И земли у него, и скотина, и обзаведение, — вот он и покупает на ярмарках всякую всячину.

— Это прежде действительно боялись даже самого этого слова: Сибирь, а нонче уж не то. Вот у нас, по деревням: составит опчество приговор и вышлют человек пять несообразных, у кого, значит, ни кола ни двора, а так — где день, где ночь. Что бы вы думали? Пройдет этак годика два, много три, высланные и присылают из Сибири письмо: так и так, благодаря господа бога, устроились. Ей-богу. И денег пришлют, чтобы жен там али детишек тоже в Сибирь поднять; другие сродственников своих выписывают. Это последние-распоследние наши мужики, да и удивят... Как это вам понравится? Да чего, вот ноне в Крестах, сидим это в лавке, вдруг шасть две бабы. Остановились, смеются. «Не узнали?» — спрашивают. А это из сосланных тоже. Так самые мусорные бабенки, в кусочки целой деревней ходили, а теперь и в сарафанах и тело нагуляли. Я по первоначалу-то даже не узнал было их. «Нарошно, говорят, за сто верст приехали, штобы хоть одним глазком на своих московских посмотреть...»

— По-настоящему, — заговорил лысый старик москвич, — ежели взять дело по правде, так надо к нам в Расею ссылать в наказание, а не в Сибирь.

Кама бесспорно одна из самых красивых русских рек и представляет резкий контраст с Волгой по своему глубокому руслу и особенно по характеру своих оригинально-живописных берегов. Здесь нет белых

песчаных отмелей, нет этих мягких очертаний береговой линии, нет этой далекой перспективы, которая поражает глаз на Волге; красоты Камы более сурового характера, берег значительно выше и даль заслонена холмами или хвойным лесом. Собственно говоря, Кама совсем пустынная, дикая река. Селения встречаются редко. Признаков цивилизации никаких, за исключением кой-где вырубленных лесов да двух-трех встречных пароходов. Изредка проползет утлая лодчонка с рыбаками, и опять кругом пустыня: вода, небо, траурный лес по берегам... А все-таки хорошо чувствуешь себя в этой пустыне, — отдельно взятые ее части не представляют, пожалуй, ничего хорошего, но в своем сочетании они действуют на душу, как могучий, полный затаенной силы и суровой поэзии аккорд. Воображение рисует по берегам большие русские села, заводы, фабрики; эти пропадающие втуне силы природы начинают служить на потребу русского человека, и русское довольство широкой волной разливается по этим пустынным берегам.

От Перми до своего впадения в Волгу Кама не имеет никакой истории, — ее историческая часть выше Перми, где прежде стояли городки Искор и Урос, затем Канкор и Орел, а ныне Чердынь и Соликамск. Своими верховьями Кама почти соприкасается с верховьями Северной Двины — это и был первоначальный путь, которым шла колонизация Пермского края сначала новгородцами, а затем московскими выходцами. Может быть, нигде еще в такой неприкосновенности не сохранилась в своих обычаях, поверьях и обрядах Русь XVI века, как в каком-нибудь Чердынском уезде, население которого сложилось из пришлецов со всех почти русских городов. По писцовым книгам Кайсарова, 1624 года, жители Соликамска, например, обозначены только одними именами, а вместо фамилии — *пришлец*-вологжанин, москвитянин, новгородец, белоозерец, двинянин, чебоксарец и т. д. Исторические обстоятельства вконец изменили русскую жизнь в тех местах, откуда вышли все эти пришлецы; но какой-нибудь Чердынский уезд — совсем медвежий угол, обойденный всеми веяниями отечественной цивилизации. Благодаря

своему счастливому географическому положению Чердынский уезд в настоящую минуту представляет в бытовом отношении глубоко интересную картину: там еще живут и творят все обряды, живы все обычаи, существуют все поверья, какие занесли пришлецы на места своего нового поселения. Мы можем указать, как на пример, на свадебные обряды и целый, в высшей степени замечательный цикл свадебных женских песен. Даже в чтении эти обряды и песни производят потрясающее впечатление своей глубокой, выстраданной поэзией и исторической правдой. Эти песни богаты такими оборотами, сравнениями, образами, не говоря уже о прекрасном старинном языке, каким они сложены; в них, как живая, встает неприглядная историческая доля многострадальной русской женщины, выносившей на своих плечах тройной гнет византийско-татарско-московских основ семейной жизни. Если бы поставить на сцену эту чердынскую свадьбу без ученых и артистических искажений — вот наша глубоко национальная, выстраданная целой историей опера, та русская правда, которая не нашла выхода... Мы даже не решаемся приводить выдержек из этих песен, чтобы не профанировать это самое поэтическое создание русской женщины, которое сложилось, конечно, не здесь, в Чердыни, а только было когда-то занесено сюда и сохранилось здесь.

Любуясь с трапа Камой, я встретился с одним седым, сгорбленным старичком. Мы с ним несколько времени сидели рядом на скамейке. Старичок был поразительно похож на одного моего знакомого из уральских лесничих; но у того не было бороды, а у этого борода, притом он совсем не узнавал меня. Это было уже на второй день нашего путешествия по Каме; пароход подходил к Сарапулу. Чтобы разрешить свои сомнения, я заговорил первый со старцем:

— Вы не служили ли в ...ском заводе?

— Служил.

Действительно, оказался старый хороший знакомый.

— Ведь мы второй день плывем вместе, — говорил я.

— Да, плывем... Что будешь делать: плохо вижу. Все на одно лицо выходят люди-то.

— Вы сильно изменились...

— Еще бы... На седьмой десяток перевалило, да и обстоятельства тоже разные. Нынче как-то все не узнаешь... Вот тут в первом классе едет N. Вместе учились, служили в лесничих вместе. Я уж по голосу-то узнал его... Подхожу, говорю: «Кажется, говорю, мы с вами когда-то были знакомы?» Хе-хе!.. Так он отперся... Ей-богу!.. Вот поди ты... Устыдился старого товарища, потому что, видите, костюм-то на мне немножко не того (старик оглянул с добродушной улыбкой свой действительно незавидный костюм). А он, приятель-то, так гоголем и ходит... Богат стал.

— Лесничих много богатых.

— Есть и богатые... И теперь вот плывем, а я мест не узнаю совсем: служил вот здесь пятнадцать лет, а точно никогда не бывал. Ей-богу! Совсем другие места стали: одна голь...

— Лесов не стало, а лесничие остались!

— Да, да, не стало лесов... А какие леса-то стояли здесь: зайдешь в него, в этот лес — в небо дыра; а теперь голее ладони сделали. Вот теперь в первом классе и ездят, как N. Нагрели ручки...

На верхней палубе, кроме нас, толклись: ташкентский офицер, ехавший с нами до Перми по Уральской железной дороге; тот самый лесничий N, который не хотел узнавать старого однокашника и сослуживца, и еще несколько усовершенствованных молодых купчиков, ломавших из себя джентльменов. Эта обыкновенная пароходная публика разнообразилась только присутствием шикарного красивого батюшки из молодых, в шелковой «фаевой» ряске и с папиросой в зубах, да двумя-тремя дамами неопределенных лет и еще более неопределенных профессий и общественного положения. Между ними, как маков цвет, резко выделялась матушка-попадья, молоденькая и хорошенькая дамочка, с розовым лицом и подернутыми поволокой глазами; никто бы и не подумал, что такая дамочка — степенная матушка-попадья, если бы не присутствие около нее батюшки. Усовершенствованные купеческие

джентльмены увивались около интересной матушки и, вероятно, «выговаривали» очень глупые комплименты, потому что дамочка несколько раз вставала и уходила от их любезностей.

— Вы больше не служите? — спрашивал я старичка лесничего.

— Нет, не служу...

— По болезни?

— Нет, выгнали... А тут я уж как-то и ослеп и поглупел. Ей-богу!.. Обидели меня на старости лет...

— Именно?

— Ведь я служил в ...ских заводах лет двадцать... Ну-с, оставалось мне до полного пенсиону дослужить три месяца, значит — до тридцати пяти лет беспорочной службы. Хорошо... Тут эту самую, прах ее возьми, дорогу железную стали подводить. В ...ских заводах, сами знаете, всем делом вертит жена главного управляющего... Вот около нее железнодорожные строители и увивались, чтобы насчет лесу и всякое прочее. Она там пообещала им с три короба, а я хоть и маленький человек, все ж обойти меня нельзя, потому как я от правительства и должен был следить за лесами. Хорошо. Начали меня таскать, старика, по обедам да на пикники, вином накачивают, а управительша чуть меня не целует... Ей-богу! «Ах, грех вас бей, — думаю, — дело не ладно»... Только скоро и развязка у нас вышла. Эта самая управительша наша — отчаянная баба: в глаза свиньей обругает, подколенника даст незнакомому человеку... Ей-богу! При мне как-то... Уронила она платок, а один железнодорожный инженер и наклонился, чтобы его поднять. Ведь в первый раз человек пришел и в дом-то... Как она подскочила к нему, да киселя ему и поддала коленкой — бедняга так и растянулся по полу. Так растерялся, что не знает, что ему и делать, а кругом все хохочут. Ну, вот, со мной такой же случай вышел. Начала она меня подговаривать насчет лесу, конечно, все это ловко так, и насчет благодарности намекнула. Я раза два отшутился, а она опять пристает. Хорошо. Сидим таким манером у ней в гостиной, — кругом, знаете, роскошь, ума помрачение. Сидят железнодорожные, кто-то из

горных инженеров. А она, бесстыжая рожа, опять ко мне: «Что же, говорит, дельце-то? Вы не стесняйтесь, говорит, здесь всё свой народ». Меня это как-то взорвало; я ей и говорю: «Не к лицу уж мне стесняться-то. Молодым не воровал, так на старости лет зачем грех на душу брать». Как это она услышала, — сейчас подскочила ко мне и хвать меня всей горстью за лицо... Ей-богу! Не ударила, а схватила, как коршун. У меня даже кровь в двух местах на щеке из царапин побежала. Ведь при всех, все видели.

— И вы не жаловались?

— Да советовали мне мировому судье на нее жалобу подать, и свидетели были, да, право, как-то совестно, бог с ней! Она прилетела вечером, извиняется, что так неловко пошутила. А лес все-таки потащили на дорогу. Я не стерпел, да все, как было дело, владельцу заводов и отписал. Так вы что бы думали? Владелец же и обиделся, что я его интересы защищал, да на меня жалобу горному начальнику, а горный начальник меня по шапке. Ей-богу, так и вылетел в трубу без всякого пенсиона, теперь вот еду на подножный корм к сыну в Казань. Так мои тридцать пять годиков и ухнули: зачем не воровал, как вот N. и другие.

Слишком обыкновенная история...

Сарапул славится своими кожевенными товарами. На пристани, кроме сапог, продавали отличный мед. Сейчас за Сарапулом начинается получившая печальную известность Уфимская губерния. Мы не будем распространяться об истории хищения чиновниками земель уфимских башкир, — это слишком известная страница в уральской летописи, о которой вообще можно сказать словами Расплюева: «Н-да, могу сказать: была игра».

XIV

КАЗАНЬ, НИЖНИЙ, МОСКВА

Описывать красоты волжских берегов — значит, повторять давно избитые истины, известные всему читающему люду и в форме прозы и в форме стихов; распространяться о волжской старине, об экономиче-

ском значении этой реки, о ее будущности — то же самое.

От Казани до Нижнего наше путешествие было так же однообразно и скучно, как и до Казани. Публика развлекалась обычными пароходными удовольствиями: перебирали общих знакомых, ели стерляжью уху, рассказывали пикантные анекдоты и побывальщинки с крепким русским духом — словом, делали то же, что делают и все другие путешественники. Это однообразие было потревожено только религиозным спором, который неожиданно возгорелся в нашей каюте между староверами и православными.

Интерес представлял не самый спор и не выводы, к которым приходила каждая сторона, а сами спорившие. На первом плане стояли фабриканты-москвичи, которые были завзятые староверы; молодой купчик с длинным носом и сибирский купец К. защищали православие. Шадринский необъятный коммерсант представлял в качестве единоверца нейтральную почву.

— Уж что вы там ни говорите, — резонировал один из старообрядцев, лысый степенный купец Л., — а ваше дело не чисто...

— Как не чисто? — обижался православный купец. — Это ваше дело не чисто... вы...

— Нет, постой, дай мне вымолвить по порядку: ежели ваша вера правая — она сама себя защитит, а теперь как она не надеется на себя — ее начальство защищать должно. Постой, постой... Дай до конца договорить. Взять теперь древлее благочестие: уж чего ни делали над староверами, а все-таки наш верх вышел.

— Какой верх?

— А то как же: у нас теперь и моленные, и священство, и архиреи... Ежели бы наша вера не правая была, разе позволили бы нам все это завести. Почитай-ка, что в газетах пишут: татарин свою мечеть имеет, католики, немцы свои кирки; а мы чем их хуже? Ведь мы тоже, чать, русские и за царя молимся, и подати платим, и на войну ходим... Что, мы вред делаем кому, безобразничаем, пьянствуем?..

— Вот ты говоришь, ваша старая вера правая, — оппонировал К., — а она новая выходит, да еще пестрая: в каждом дому своя вера и дом с домом не сообщается. Дай вам волю-то, так вы не то что нас, и друг дружку переедите.

— А это, милый человек, от того у нас раскол идет промежду себя, что нам не дают столковаться: всяк свое и твердит... Отчего нам не дадут открыто говорить и печатать?

— Невозможно!

— Значит, вы боитесь за свою веру? Ежели она правая, так чего вам бояться: вас больше, за вас начальство, у вас свои архиреи, ученые, а у нас что? — старички да начетчики.

Купчик с длинным носом перевел спор на догматическую почву и старался щегольнуть церковно-славянским языком и постоянно приводил цитаты из священного писания. Спорили о Никоне, об исправлении книг, о хождении посолонь, о сугубой аллилуии. Шадринский купец слушал все это молча, с глубоким вниманием. Когда с догматики спор скользнул на настоящее время, стороны ужасно разгорячились; Л. побагровел и, отгибая пальцы, начал перечислять все те послабления, которые сделаны правительством в последнее время, что он объяснил совершенно оригинальным образом:

— Царь все видит: и нас и вас... всех видит! Теперь взять все эти бунты, разе в них есть хоть один старообрядец? Ну, скажи, скажи: есть или нет? Нету, милый человек, даже духу нет, а все ваши православные смутьянят.

Купец с длинным носом был совершенно уничтожен таким оборотом спора, но потом нашелся и с азартом закричал:

— А кто в Москве Наполеона с хлебом-солью встречал? *Ста-ро-обрядцы...* Это как, по-вашему?

Старообрядцы в свою очередь были сконфужены и смутились. Шадринец воспользовался этой минутой и вставил свое слово:

— А по-моему, господа, дело-то совсем не в этом... Мало ли кто чего там наделал, это еще нам не указ.

Взять теперь нас: вот вы — старообрядцы, вы — православные, я — единоверец... Хорошо. Что же, едем мы третий день вместе, честно и благородно, промежду нас ничего худого... Так?

— Известное дело!.. Да сохрани, господи... Ведь не жулики какие, слава тебе, господи!..

— Ну, да, известно, не жулики. Хорошо. Вы молитесь по-своему, они по-своему, я по-своему, а все молимся одному богу-то и святым одним... Так? Теперь если я подлец в своей жизни, грабитель или душегубец, и буду я молиться по какому хошь обряду: простит меня господь? Если раскаюсь — может, простит, не раскаюсь — не простит... Так? Значит, чья же вера-то выходит лучше?

— А того и вера лучше, кто справедливее живет...

— Это ты правду сказал: есть всякие православные, есть всякие староверы, есть всякие единоверцы, есть даже татары, которые лучше другого русского... Откуда же этот вздор промежду нас идет?

— А кто его знает, откуда он идет...

— От попов, други милые... От них вся и каша заварена! Молись ты по-своему, а я по-своему: ты мне не мешаешь, я — тебе. Ты думаешь, что твоя молитва правее, а я думаю, что моя... Разе это можно все разобрать? Теперь поп везде разбирает, а он такой же человек, да еще в другой раз тыщу раз хуже...

— А вот это и неверно, — вступился Касаткин, — мы так рассуждаем: ежели поп худ — так это он для себя худ, а для нас он священник, который пред престолом господним стоит и наши грешные молитвы возносит... Все равно как отец в семье: может он и нехорошо делает, разе я своему отцу судья?..

— Ах, милый человек, милый человек... Вот кабы отцами-то попы были, так этого и не было бы вздору-то.

Ярмарка в Нижнем была еще в полном разгаре. На пароходной пристани и на вокзале сновала пестрая толпа ярмарочной публики. Кого, кого только тут не было!.. Подавляющее большинство, конечно, составляли купцы разных степеней; около них юлили темные личности, чутко нюхавшие ярмарочную атмосферу, на-

сыщенную цифрами, деловыми соображениями, кутежами, жаждой наживы и наслаждений... Тут всякого жита было по лопате. Всякая губерния имела своих представителей, каждый город.

— Тут народ, как вода в котле кипит, — говорит какая-то чуйка, бойко пробираясь между живыми стенами публики.

В вагонах и на платформе происходила настоящая давка. Всякий думал только о себе, — *sauvc qui peut*[1]. Я опять поместился в вагоне третьего класса. Рядом со мной сидел неизбежный купец, напротив — молодой солдат из бессрочных и средних лет монахиня.

— Вы из каких мест будете? — допрашивал купец монахиню.

— Дальняя, батюшка, дальняя, — певуче отвечала монахиня с мягким южным произношением. — Из-под Курска, батюшка.

— Далече заехала. За сбором?

— Нет, батюшка. С матушкой игуменьей... Она к родным приехала сюда, а по пути и на ярманку.

— Так... Вы, значит, при матушке?

— Да, при матушке. Одна сестра с ней во втором классе едет, а я в третьем.

— На чей же вы счет едете?

— На матушкин...

— Так, значит, у матушки много денег, если она двоих сестер за собой возит?

— У нас обитель богатая.

— То обитель, а то матушка — разница. Сколько же вас в обителе-то?

— Человек шестьсот...

Купец благодушествует и держит себя очень свободно. Солдат слушает молча и все смотрит в окно, в котором мелькает бесконечная болотистая равнина. Редко, редко где мелькнет деревенька, блеснет на солнце белая колокольня, золотой искоркой вспыхнет золоченая маковка, и опять та равнина, по которой хоть шаром покати. Тихо, безлюдно, точно все кругом вымерло. Тощая скотина пасется по выпаханным

---

[1] спасайся, кто может *(франц.)*.

полям; кое-где вспаханы озими. Жаль на них смотреть: одна глина, да песок, да камни. Мысль невольно уносится от этой пустыни в далекое-далекое, трижды благословенное Зауралье, где вспаханная земля овчина-овчиной и точно посыпана угольным порошком; вспоминаешь про далеко оставшиеся горы, леса, многоводные реки — все там не так, как здесь, в этой болотине, по которой несется поезд. Не мелькнет в стороне громадный завод, не встанет стеной лес, не попадутся по дороге «старатели»...

— Как же вы молитесь? — спрашивает купец монахиню.

— Обыкновенно, как все молятся, так и мы молимся...

— Так... Ну, а, примерно, ежели Исусову могину взять?..

Монахиня читает: «Господи Иисусе...» — и крестится, но неотвязному купцу этого мало.

— А мы так слыхивали от старых людей, — объясняет он, — когда полагаешь крест на чело, нужно сказать «господи», потому что у нас ум от господа; потом, когда скажешь «Исусе», нужно положить крест на чрево, потому что Иисус нахо́дился во чреве девы; «Христе» — на правое рамо, потому что Христос сидит одесную отца небесного; «помилуй нас» — на левое рамо, чтобы господь помиловал нас от тех, что ошуйю, от бесей. Так я говорю?

— Так, батюшка.

— Ничего ты, я вижу, не знаешь, даром что монашина, — грубит купец. — Ну, утром помолитесь, вечером тоже, а потом?

— У всякой сестры своя келья...

— Ну, своя, да в келье-то что она делает, сестра-то? Ведь вас шестьсот душ, целый угол.

— Всякая свое делает: кто читает писание, кто рукодельем...

— А у вас нет пашней, там, хозяйства?

— Нету, батюшка.

— Может, свечи делаете или золотом вышиваете?

— Нету, батюшка.

— Чем же вы живете: ведь есть-пить надо?

— А так и живем... от доброхотных дателей.

Юг с его ленивой апатией бесил купца; он никак не мог понять, чтобы целый «угол» сестер ничего не делал.

— По другим монастырям монашини работают не меньше нас грешных, — говорит купец. — Хорошо, если доброхотный датель выищется, а если его нет, — тогда как? Это уж не порядок... Ну, хоть коровы-то у вас есть?

— У матушки есть.

— Она, ваша матушка, значит, молочко кушает, и вы смотрите?..

Кое-кто из публики начал подсмеиваться над этой сценой, но монахиня не без ловкости перевела разговор на жития святых и совсем умилила купца рассказом об Алексее, человеке божием.

— От царского роду был он, — певуче повествовала она, покачивая в такт головой. — И захотели его родители женить сына... Подыскали ему невесту, тоже из царского роду. А потом, когда, после венца, привели молодых в ложницу...

Купец уже спал благочестивейшим образом, убаюканный этим рассказом.

— В отпуску? — спрашивает соседа солдата какая-то шершавая, небритая физиономия с добрыми серыми глазами; достаточно было на нее взглянуть пристальнее, чтобы узнать тоже военную косточку.

— Второй год, — отвечает молодой солдатик, такой приличный и скромный на вид. — Балканы переходил...

— Нно-о?

— Да... Егория имею.

— А под Плевной были?

— Нет, наш гвардейский полк под Горным Дубняком да под Телишем в деле был.

— Жарко было?

— Ничего... Больно у турки ружье хорошо: не даст подойти.

— А когда подойдете, как капусту искрошите?

Оба смеются добродушнейшим смехом.

— Страшно, поди, в первый-то раз живого человека убивать? — спрашивает проснувшийся купец.

— Сперва точно что неловко... жалеешь его...

— Ну, а потом?

Гвардеец улыбается, старый солдат хихикает.

— Перво-наперво мы все его в плен забирали, — рассказывает солдатик, — а тут чем дальше, тем чажалее: сапоги развалились, одежа тоже, провианту нет, устанешь досмерти, еле-еле ноги плетешь, а тут еще пленных тащи... Слабый народ, непривычный. Ну, возьмешь его из партии-то и вышвырнешь... А там назади из жалости и приколют. Раз этак дали нам партию в восемьдесят человек; ну восемнадцать привели...

— Они нас тоже не жалеют, — объясняет солдат-старик.

— Сердиты? — спрашивает купец.

— Нет, очень добрый народ, — отвечает гвардеец. — Куда добрее нас...

— А драться люты?

— Ничего, дерутся... Только чуть что — бежать. Ты к нему еще только подходишь, а он уж за твой штык хватается и сдается. Начальство у них больно плохо... Вот башибузуки, те совсем другое, — те еще сердитее нас.

Гвардеец бесхитростно рассказывает о штурме Телиша, о переходе через Балканы, о Константинополе. Спускается тихий осенний вечер. Незатейливые картины, мелькавшие по сторонам дороги, тонут в мягком вечернем сумраке, в котором меланхолически дрожат лунный свет и блеск высыпавших на небо звезд. Где-то мелькают темные корпуса фабрик; из высоких труб валит густыми клубами дым, летят искры и выскакивают иногда длинные языки желто-красного пламени. Лизнут эти языки холодный воздух и опять спрячутся. На станциях ждет толпа фабричных и расейский пахарь, который, кончив полевые работы, идет зарабатывать деньги на сторону. В вагонах происходит давка. Сидят на полу или стоят. Спертая, густая атмосфера давит грудь. Стараешься заснуть и только напрасно выбиваешься из сил. Мысль опять уносится назад, и кажется, что вот уж скоро неделя, как все едешь куда-то под гору, в яму; по мере этого движения посте-

пенно исчезают кругом наружные признаки крестьянского довольства, вольного труда, а вместе с этим мельчает и понижается самый тип живой рабочей силы. Теперь он окончательно завершился московским фабричным... Вон ряд этих испитых серых лиц, вон эти темные фигуры в длиннополых кафтанах московского покроя — вот последнее слово той жизни, от которой расейский крестьянин упорно бежит в далекую Сибирь. Да, лучше уж в Сибирь... Это не тагильский мастеровой, не старатель, не сплавщик, это — что-то такое пришибленное, глядящее болезненно напряженным взглядом; какое-то уныние сказывается в этих вялых движениях, в этом общем упадке физических сил.

Среди ночи, когда я забылся в тяжелой дремоте, меня разбудил чей-то звонкий голос, который громко кричал:

— Мне что, что он барин... Да он хуже меня, мужика, барин-то наш. Ей-богу, хуже!..

Я оглянулся. Среди кучки фабричных стоял молодой высокий парень в крестьянской пестрядевой рубахе и с рваным полушубком на плечах. Он представлял такой резкий контраст своей рослой, могучей фигурой среди своих слушателей — видно, что человек только что от сохи.

— В отход? — спрашивает кто-то из фабричных.

— В отход... Дома-то чего делать: баба одна исправит все дело. Барин-то отвел нам в надел: половину болота, половину — песок, не много тут урвешь. Зиму-то лежать на печи неохота, вот и еду промышлять себе *пропитал.*

— Та-ак. Отчего же ты на фабрику не поступишь? — спрашивал один из фабричных.

— А мне плевать на ваши фабрики... Вы думаете, что по трактирам чаи пьете да вот ситцевые рубашки носите, так этого и лучше нет? А мне покойный дедушка вот чего сказывал: «Демка, не ходи на фабрику, а держись за соху... Прежде, говорит, мы за барином крепостные были, а теперь народ в крепость сам к купцу лезет. Демка, говорит, нет тебе моего благословенья на фабрику идти; хоть хлеб с мякиной ешь,

да свой хлеб-от, а то, говорит, польстишься на легкие заработки, быть тебе в каменном мешке, в котором фабричные сидят. Да, говорит, и жену за собой уведешь и деток малых — все в разор разоришь, Дема»... Вот как дедушка-то говорил, я так и делаю.

А там в утреннем голубом тумане жарко горят на солнце маковки и кресты московских церквей... В последний раз мне случилось быть в Москве четыре года тому назад, как раз пред объявлением последней восточной войны. Сколько воды утекло за эти четыре года...

ОДИН ИЗ АНЕКДОТИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

Из уральской летописи

I

Странно устроен русский человек, если посмотреть на него со стороны... Между прочим, можно указать на такую, чисто русскую аномалию, — именно, что только на Руси водятся чисто *анекдотические люди,* каких решительно нигде не сыскать. Живет-живет человек, по-своему о чем-то думает, чего-то желает, даже куда-то стремится, а умер — и помянуть нечем. Ну, будь это еще обыкновенный коптитель неба, какая-нибудь микроскопическая посредственность, существующая, между прочим, бог знает для чего, — тогда еще понятно, пожалуй, такое ничтожество; а то — умирает видный человек, крупная величина, человек, известный не только всей России, но и «загранице», начинают биографы рыться в его прожитой жизни с самыми благочестивыми намерениями вытащить на божий свет хотя что-нибудь — и в результате получается та роковая точка, которая, по образному выражению математиков, не имеет никакого измерения. В самом счастливом случае, плодом кропотливой биографической работы является всего несколько анекдотов, как остается от просеянного песка на дне решета несколько галек... И замечательно то, что иногда десяток таких галек

получается, когда просеют жизнь нескольких поколений видной исторической фамилии!..

На эти невеселые мысли навела нас смерть известного нашего уральского магната Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато, и мы теперь решились побеседовать с читателем об этом замечательном человеке с нашей — «местной, уральской» — точки зрения, тем более что столичная печать уже сказала о нем свое «столичное» слово. Мы с намерением выждали, когда столичная печать выскажет все о покойном. П. П. Демидов принадлежал всегда столицам, следовательно столичная печать могла представить о нем наиболее полные биографические данные. Что же получилось в результате? Да ровно ничего, кроме двух-трех анекдотов, да и анекдотов-то очень плохих... Чтобы сказать что-нибудь о покойном, столичная печать принуждена была перерыть жизнь Демидовых за несколько поколений, и все-таки ничего, кроме давно известных анекдотов, не нашла. Согласитесь, читатель, что все это немножко странно, чтобы не сказать больше, и невольно наводит на целый ряд мыслей нашей общественной психологии...

II

Родился П. П. Демидов в 1839 году в г. Веймаре, умер в 1885 году в Италии. Образование свое он закончил в Петербургском университете, где получил степень кандидата по юридическому факультету, а затем служил по разным ведомствам и учреждениям: при государственной канцелярии, при министерстве иностранных дел, при министерстве внутренних дел, так что поочередно был — то помощником старшего экспедитора (62 г.), то камер-юнкером двора его величества (63 г.), то состоящим при посольстве в Вене (65 г.), то советником подольского губернского правления (70 г.), наконец киевским городским головой (71 г.) и егермейстером двора его величества (73 г.). Кроме всего этого, Демидов был постоянно занят разными промышленными предприятиями или просто

предприятиями: сахароварением, американскими элеваторами, изданием своей собственной газеты, мурманскими рыбными промыслами, еврейским вопросом и т. д., и т. д. Внезапная смерть этого неугомонного деятеля была почтена сочувственной телеграммой самого итальянского короля Гумберта, адресованной на имя жены Демидова.

Просматривая этот длинный список «деятельностей» покойного уральского заводчика, является невольно вопрос: позвольте, что же Демидов сделал для своих громадных заводов и когда он успевал что-нибудь сделать для них, состоя и помощником старшего экспедитора и советником подольского губернского правления? Вопрос довольно щекотливый, но он разрешается очень просто: Демидов занимался решительно всем, кроме своего заводского дела, да и на заводах почти не бывал... В первый раз он был в Тагильских заводах в 1849 году, подростком мальчиком, вместе со своей матерью Авророй Карловной Карамзиной, а во второй и последний раз вскоре после «воли» — в 1863 году, когда приезжал на Урал полноправным владельцем всех своих миллионных имений. После этого последнего визита на Урал, продолжавшегося около трех недель, Демидов в течение двадцати лет с лишком совсем не заглядывал на заводы, предпочитая служить помощником экспедитора и губернским советником.

Может быть, Демидов не любил заводского дела, поэтому и предпочитал оставаться в стороне, предоставив все в руки своих поверенных? Но ведь заводское дело слагается не из одной специально фабричной деятельности, требующей специальных знаний и даже известного склада характера; рядом с чисто фабричной работой совершается громадная административная деятельность, а мы уже видели выше, что Демидов не прочь был от разных промышленных предприятий и даже занимался чисто канцелярской службой. Что же его в таком случае не пускало на заводы, где работы было по горло? Между прочим, известно всем демидовским служащим, что их владелец

каждый год собирался ехать в Тагильские заводы и каждый раз откладывал свое намерение: это уже какая-то трагедия с непреодолимым роком, в качестве главного действующего лица...

III

Округ Нижнетагильских заводов, принадлежащих Демидову на праве поссессионного владения, занимает собой громадную территорию в 600 тысяч десятин, с пятидесятитысячным населением. Всех заводов 11, не считая сел и деревень. Годовая производительность заводов достигает до 6 миллионов рублей, причем чистый доход владельца — 1½ миллиона рублей. Насколько велика деятельность этих заводов — мы можем указать только на приблизительную цифру ежегодно истребляемого ими древесного топлива, именно, около 200 тысяч кубических сажен дров, то есть, если эти дрова превратить в обыкновенные квартирные, то получится поленница в 1200 верст! [1] Одним словом, заводское хозяйство громадное, и нам остается только добавить, что его размеры без особенных натяжек могли бы быть увеличены в десять раз, потому что природные богатства этого округа буквально неистощимы: одна гора Высокая, которая стоит в самом Нижнетагильском заводе, заключает в себе ни больше ни меньше как *около 30 миллиардов* лучшей в свете железной руды! Демидову принадлежит, кажется, четвертая часть этой горы. Кроме этого, в том же округе есть богатые медные руды, золотые россыпи, единственные в свете по своему богатству платиновые прииски и т. д., и т. д. Кажется, есть над чем поработать!..

Мы уже сказали, что в первый раз Демидов был на своих заводах вместе с матерью, — еще совсем мальчиком, — и, конечно, трудно было ожидать, чтобы

---

[1] «Календарь Пермской губ.», издаваемый пермским губерн. статистич. комитетом, приводит цифру почти вчетверо меньше, но мы поговорим еще о приводимых в календаре цифрах, которые не отвечают действительности. *Автор.*

такая поездка могла иметь для юного магната серьезные последствия. Но заводское население до сих пор вспоминает с удовольствием о матери Демидова, которая прожила на заводах целое лето и успела оставить по себе самую хорошую память, главным образом — своей благотворительностью и необыкновенной доступностью. Кроме первых основателей заводов, из владельцев никто не жил на них, а проводили всю жизнь в столицах или за границей, — поэтому целое лето, проведенное владелицей на заводах, являлось приятным исключением. Аврора Карловна умела обращаться с народом, была необыкновенно ласкова со всеми и входила во всевозможные мелочи заводского быта: крестила детей у рабочих, была посаженой матерью на свадьбах, дарила приданое бедным невестам и т. д. По ее инициативе были устроены богадельня, родильный дом, несколько школ, детские приюты; выдавались пособия по совершенно нечаянным несчастиям, как падеж лошади или коровы...

— Мать была наша... — говорил один старик служащий, вспоминая приезд Авроры Карловны на заводы. — Да и из себя была она такая красавица писаная... А с народом, с самой чернядью, как обращалась: с мужиками целовалась!.. Да!.. Конечно, крепостные все были, зависимые, а честь да ласка дороже золота, потому тоже — душа у каждого! И Андрей Николаевич Карамзин, муж Авроры Карловны, отличный был человек: серьезный такой и внимательный...

Андрей Николаевич Карамзин был сын нашего историка Карамзина; он погиб в крымскую кампанию, где-то на Дунае. Как человек, он отличался замечательными достоинствами, и его имя в Тагильских заводах до сих пор произносится с уважением.

IV

Наступила воля. В Тагильские заводы приехал сам молодой барин. П. П. Демидову тогда было лет 22—23. Все, конечно, ждали его приезда, как евреи ждут своего мессию.

Что-то скажет молодой барин? Какие порядки поставит? Не поможет ли простой черняди в новом вольном положении?

Барин явился в сопровождении громадной свиты, во главе которой стоял профессор Добровольский, ехавший на Урал со специальной целью завести новые административные порядки.

— Собрались мы в господском доме, в приемной зале, — рассказывал тот же старичок, который помнил приезд на заводы Авроры Карловны. — Ждем Павла Павлыча... Тоже целую жизнь прослужили, так любопытно было, что он нам скажет. Попрежнему-то, как Аврора Карловна приезжала, ждали от барина большой милости. Хорошо... Выходит Павел Павлыч, с ним Добровольский и прочие. Оглянул этак нас, то есть служащих, да и отвесил: «Я, говорит, все знаю, как вы меня обманываете, воруете... а теперь уж этого не будет. Все по-новому устроим!..» Одним словом, обругал нас всех, как воров и мошенников, да и ушел назад, а мы стоим дураками в передней, — стыдно друг другу в глаза посмотреть. Конечно, и у нас всячины бывало, грех не по лесу ходит, а по людям — пользовались которые разными крохами, да ведь на крепостном-то положении без малого голодная смерть; ну, только не все же воры были да мошенники! Народ известный, по пальцам всех пересчитать можно, а кто разбогател на демидовском-то добре? Мы же для него старались в свою долю, по своему разуму, а он нас — вон как встретил!.. Были, я вам скажу, среди нас такие служаки, которые демидовское-то добро пуще своего наблюдали; ну, их-то он зачем обидел?..

Действительно, нужно отдать справедливость, что заводская среда выдвигает постоянно самых бескорыстных работников, особенно из старых служак. Мы когда-нибудь специально вернемся к этому интересному типу, а теперь указываем на него только по поводу оригинальной речи молодого Демидова, обругавшего поголовно всех своих крепостных служащих ворами и мошенниками...

— Конечно, Павел Павлыч молоды были и сего не могли понимать, — продолжал старик. — Его так еще в Петербурге настроили против нас, ну, значит, и грех на душе у этих настройщиков-то... Со мной рядом стоял старик Иван Леонтьич; он в медном руднике лет двадцать смотрителем служил и честнейшая душа: как хороший пес всегда над демидовским-то добром трясся. Каждый день в гору спускался и по всем работам сам обходил, а это, на худой конец, под землей по шахтам верст десять надо обежать: вода бежит, грязь везде, где в три погибели надо сгибаться, а где и на четырках ползти... Ну, на этакую работу здоровье нужно иметь!.. Я раз спускался в медную шахту, обошел с ним работы, так потом недели с две ноги да руки точно чужие были. Мудреная работа и вознаграждение капельное... Ну, а Иван Леонтьич как каторжный хлопотал и бескорыстный был человек, а тут — вдруг попал из подлецов в подлецы... Легко это?.. Выходим мы из господского дома, смотрю я на Ивана Леонтьича, а у него слезы на глазах. Ничего старик не сказал, крепкий был человек, а только рукой махнул... Вон нынче инженеров к нам в Тагил нагнали, — так небойсь приедет на медный-то рудник, выкурит папиросу да, с позволения сказать, сходит кой-куда — и был таков. Конечно, инженеры — люди образованные, жалованье им большое, и честь, и награды, — где же такой-то человек станет вам в горе ползать, как Иван Леонтьич?..

Демидов прожил на заводах около трех недель и провел все время в разных «забавках» или на охоте; служащим и рабочим к нему не было никакого доступа, особенно сторожились подозрительных личностей, которые могли обеспокоить барина прошением. Делами барин не занимался и на фабриках не бывал. Кстати, интересно, как П. П. Демидов объезжал свои владения. В это время как раз мне случилось быть в Висиме, на одном из небольших заводов, в сорока верстах от Тагила. Стояла середина лета, настоящая заводская страда, но рабочие толкались в ожидании барина в селенье, потому что — как же не встретить Павла Павлыча... Фабрика и господский дом были

вычищены и вылизаны до последней степени, поскольку допускает чистоту фантазия и пределы человеческих сил. Так прошло в самом томительном ожидании несколько дней, наконец было получено самое верное известие, что Павел Павлыч «едет». Помню, как около господского дома собралась трехтысячная толпа с раннего утра; с ближайшего завода, где барин кушали чай, летели «загонщики» один за другим, с известиями, что барин начали кушать чай, потом откушали, садятся в коляску и изволили благополучно отбыть. Суматоха ожидания была ужасная, — точно на Висим шел неприятель. Наконец, прилетел последний загонщик, махавший отчаянно шапкой, а за ним вихрем прокатилась коляска четверней, заключавшая барина; коляска была окружена почетным конвоем из джигитовавших лесообъездчиков, а за ней тряслись несколько экипажей с избранными представителями свиты. Весь народ, конечно, стоял без шапок; барину поднесли хлеб-соль, барин принял и немного нахмурился — ему, видно, надоела эта церемония; он побыл в господском доме как раз столько времени, сколько было нужно для перекладки новых лошадей, то есть четверть часа, сказал несколько слов окружавшей господский дом толпе и — укатил на следующий завод. Об осмотре фабрики, конечно, не могло быть и речи: барин переезжал с завода на завод с такой отчаянной скоростью, точно за ним гналась стая волков. Единственным результатом этой поездки по заводам было несколько загнанных лошадей...

Так барин Павел Павлыч ни с чем приехал и ни с чем уехал, предоставив обновление дела своим приспешникам, призванным с специальной целью обновить дело. И действительно, обновили, то есть просто-напросто устроили, с одной стороны, неизбежное сокращение штатов служащих и рабочих, а с другой — прибавили крупной сошке жалованья, а дело так и осталось на прежнем положении.

— Аврора-то Карловна, наша голубушка, сама по всем фабрикам ходила, — говорил мне один старик, бывший кричный мастер. — У нас на Висиме была на

фабрике, так я полосу на ее глазах вытянул: похвалила и цалковый из собственных ручек пожаловала... Павел Павлыч, конечно, заправский барин, только до мамыньки далеко ему!..

V

После своей второй поездки на Урал П. П. Демидов целых двадцать два года собирался ехать на заводы, но какая-то роковая «сила» вечно его отталкивала от такого подвига. Нужно заметить, что этой «силе» было очень выгодно такое положение владельца: рабочие и мелкие служащие — все поголовные мошенники, а честные люди — только те, которые получают жалованье от трех тысяч до пятнадцати... Пока Павел Павлыч собирался, честные «дорогие» люди продолжали политику профессора Добровольского: закрывались мало-помалу школы, уничтожены были родильный дом и богадельня, жалованье мелкой служительской сошке доведено до таких микроскопических размеров, которые едва ли удовлетворили бы самую скромную бактерию, сокращающая рука коснулась даже церковных просвирен... Выдававшиеся пособия увечным и престарелым отменены; получающим жестокие членовредительства на заводской работе начали выдавать единовременное пособие в размере, кажется, 3 рублей, а там — промышляй сам. Достаточно указать на тот факт, что на мосту, между заводоуправлением и фабрикой, в Тагиле лет пятнадцать сидел рабочий с выжженными порохом на рудниковой работе глазами и питался подаянием. Увечные, престарелые, бесприютные — все были выброшены на улицу. Нашлись добрые люди, которые на частные средства устроили благотворительное общество и на средства этого общества детский приют — и что же? Тагильское заводоуправление в лице своих власть имеющих представителей постоянно преследовало это общество и подставляло ему ножку на каждом шагу! Достаточно указать на тот факт, что, например, и теперь просвещенное тагильское управление, в лице горного инженера Грамматчикова, не находит возможным дать

какой-нибудь угол детскому приюту общества; мало того, когда благотворительным обществом даются спектакли для увеличения своих скудных средств, управление Грамматчикова не стыдится *брать с общества по 25 рублей за помещение,* так как спектакли даются в демидовском заводском театре. По нашему личному мнению, такое сквалыжничество просто-напросто недостойно...

А между тем в самом Тагиле встречаются случаи самой вопиющей бедности. Так, одна дама-благотворительница рассказывала такую «живую картину»: приезжает она в своем участке в одну избушку и застает пятерых буквально голых детей, которые жались все на печи, — дело было зимой; ели они, как щенята, из одного большого железного таза, куда мать-нищая складывала дневную порцию подаяния... Положение бедности, не имеющей возможности по дряхлости или увечью даже просить подаяния, самое вопиющее, и только одно тагильское заводоуправление ничего знать не хочет, потому что у всемирного благотворителя — Павла Павлыча — разве могут быть бедные на собственных заводах?!.

— Помилуйте-с! Разве можно взвалить на плечи Павлу Павлычу все, — рассуждал один заводский администратор. — Теперь, слава богу, есть земство, наконец сельские общества — пусть они устраивают богадельни да школы...

И действительно, народные школы, которые содержались в крепостное время Демидовым, перешли на земское иждивение, за исключением двух-трех да тагильского реального училища, которое существует для некоторых лиц только как специальная статья кормления.

После приведенных данных смешно говорить о фамильной благотворительности П. П. Демидова, как почтили его память, например, «Новости». В упомянутой газете приведена даже цифра ежегодно расходуемых Демидовым сумм на благотворительные цели, именно, ни больше ни меньше как 255 тысяч рублей. Интересно, как распределяется эта круглая сумма: одна половина этой суммы расходится на благотворе-

ние в пределах России, а другая идет на заводы, именно, на содержание учебных заведений, церквей и причтов, госпиталей и аптек и т. д. На это мы заметим «Новостям», что содержание школ и госпиталей на всех фабриках *обязательно,* — следовательно, эта графа расходов никоим образом не может быть подведена под рубрику «благотворительности»; относительно содержания церквей и причтов то же самое — это что угодно, а только не благотворительность. А где богадельня, где родильный дом, где пенсии увечным и престарелым?.. Если разобрать по закону, то Демидов должен иметь одних школ как раз вдвое или даже втрое больше, потому что ведь у него целых одиннадцать заводов, а школы только в двух-трех! Вот вам и «фамильная демидовская благотворительность», которая средним числом в год ограничивается для всех заводов нищенской цифрой *тысячи в две,* а не в полтораста! Если деньги летели из демидовского кармана, то отнюдь не на заводы, а в центральные города и за границу, где они раздавались щедрой рукой, без всякого разбора, направо и налево, десятками и сотнями тысяч. *Пятидесятитысячное население, доставлявшее Демидову миллионные доходы, ничем не пользовалось от него — это факт!..*

«Новости», в пылу усердия, приписывают инициативе того же П. П. Демидова открытие в Тагильских заводах десяти ссудосберегательных товариществ; но и в этом случае князь Сан-Донато не был виноват ни душой, ни телом, и подвержено большому сомнению, подозревал ли он вообще о существовании каких-то ссудосберегательных товариществ на белом свете...

Единственное, что еще можно было бы поставить в некоторую заслугу П. П. Демидову как заводчику (кстати, никто из его панегиристов не обмолвился об этом ни единым словом), — это постепенное введение на своих заводах минерального топлива; первый пример, тем более почтенный, что он, раз, требовал громадных затрат, а второе — от этого зависит дальнейшее преуспеяние всей уральской заводской промышленности. Но и этот факт мы не можем поставить на счет заслуг покойного магната, потому что такой пере-

ход к минеральному топливу был вынужден недостатком древесного, а потом еще вопрос, кому принадлежит инициатива в этом действительно важном деле.

Как человек, как тип, П. П. Демидов является крайне сложным явлением, выработавшимся под давлением совершенно исключительных условий истории уральского горного дела, и для его разъяснения мы должны просмотреть биографию выдающихся уральских заводчиков в генеологическом порядке за весь период «насаждения горного дела» на Урале, начиная с императора Петра Великого. К этому мы и приступим в одном из следующих наших очерков.

КРИЗИС УРАЛЬСКОЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ

В царствование Екатерины II на каждого русского человека приходилось по 20 фунтов железа, а теперь всего 5 фунтов. В начале XIX века Россия одна вырабатывала железа больше, чем все западноевропейские государства, взятые вместе, так что русское железо шло за границу и фигурировало на международном рынке в числе другого русского сырья. В настоящий момент картина международного рынка изменилась в таких пропорциях: Россия добывает железа около 30 миллионов пудов в год, Германия около 200 миллионов пудов (одна Пруссия вырабатывает больше 150 миллионов), Франция с колониями около 125 миллионов пудов, Бельгия 45 миллионов, Северо-Американские Соединенные Штаты 286 миллионов (82 г.) и Англия 525 миллионов пудов. Другими словами, Россия добывает железа в полтора раза меньше, чем Бельгия, вчетверо меньше Франции, в шесть раз меньше Германии, в девять раз меньше Соединенных Штатов и в *семнадцать* раз меньше Англии. Как видите, получаются самые убийственные цифры, и значение их увеличивается целым рядом соображений: возьмите в расчет необъятную территорию нашего отечества, стомиллионное население, несметные рудные богатства, громадный запрос на железо благодаря быстрому росту сети железных дорог и т. д. Вообще

оказывается по этой логике безжалостных цифр, что мы едва плетемся в хвосте великого промышленного движения, и если XIX век для европейцев является веком железа, то для нас он служит возвращением к доисторическому существованию, к каменной эпохе... Последнее рельефно выступает из того печального факта, что, даже вырабатывая наши жалкие 30 миллионов пудов железа, мы в настоящий момент переживаем тяжелый промышленный кризис, — те 5 фунтов железа, которые приходятся на долю каждого русского человека, оказываются для него непосильным бременем.

Что промышленный кризис существует и что особенно он существует для русского железного производства — этот факт официально засвидетельствован на прошлогоднем съезде горнозаводчиков в Петербурге. Для нас в данном случае важно то, что главными пострадавшими лицами являются в этом кризисе наши уральские заводчики и что они до последнего момента даже не подозревали своего опасного положения. Так, в 1882 году на съезде уральских горнопромышленников в Екатеринбурге известный горный инженер и управляющий Верх-Исетскими заводами И. П. Котляревский заявил прямо: «У нас сбыт всегда есть. Сбываем мы теперь 600 тысяч пудов (железа), потому что столько выделываем. Выделываем (почтенный оратор, вероятно, хотел сказать «выделаем» или «будем выделывать») 900 тысяч — и их сейчас сбудем» [1]. Не прошло и трех лет, как на ярмарке в Нижнем знаменитого верхисетского железа осталось нераспроданным целых $^1/_2$ миллиона пудов... Мы привели дословно мнение г. Котляревского, как лица вполне компетентного в горнозаводском хозяйстве и пользующегося особенной популярностью, как ученый и практик, между тем оказывается, что беда уже висела над головой, а ученый инженер «танцевал на вулкане» самым беззаботным образом.

---

[1] Зри «Журналы заседаний 2 съезда уральских горнопромышленников», стр. 8. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

В чем же заключается этот кризис?

Во-первых, на Нижегородской ярмарке 1885 года цены на железо сильно понизились, на сортовом на 5 копеек с пуда, а на листовом понижение дошло до 40—50 копеек с пуда; во-вторых, одного уральского железа осталось нераспроданным до 5 миллионов пудов и, в-третьих, что самое главное, что понижение цен на железо систематически растет с начала шестидесятых годов, так что в период времени с 81 по 85 год цены на железо понизились на целых 14 процентов. Главными пострадавшими лицами в этом кризисе являются наши уральские заводчики, причем дело настолько серьезно, что, по словам бывшего пермского губернатора г. Струве, уральские заводы закроются, если русское правительство не примет необходимых мер к устранению кризиса. Как видите, положение заводов на Урале ужасное, тем более что с закрытием заводов почти миллионное заводское население пойдет по миру. Подмосковные, южные и польские заводчики, признавая существование кризиса, ничего не говорят о таком отчаянном положении, которое заставляло бы их закрывать свои заводы, так что кризис в собственном смысле существует только для Урала, для 18 уральских железнозаводчиков.

По логике вещей всякое зло должно иметь свои причины, с одной стороны, а с другой — свои средства исправления. На упомянутом съезде железнозаводчиков в Петербурге в 1885 году причины уральского кризиса сведены к разным категориям: внешние причины, — в той конкуренции, которую представляет собой дешевый заграничный чугун, и внутренние, распадающиеся на более отдаленные, как переход от дарового крепостного труда к дорогому вольному, косвенные, как общий промышленный и торговый застой, и специальные, как конкуренция переделочных заводчиков, дифференциальный тариф наших железных дорог, истощение древесного топлива, отсутствие свободных капиталов, плохо организованный кредит и т. д. Нашлись голоса, которые ко всему перечисленному прибавили, так сказать, еще специфические уральские причины кризиса. Так, делегат от импера-

торского русского технического общества Е. Н. Андреев, приведя в пример силезские заводы, понизившие цену на железо от 40 до 50 процентов и не жалующиеся на кризис, указал на то, что уральские железнозаводчики должны понизить еще цену на железо, так как промышленный прогресс заключается в постепенном удешевлении продуктов производства. Профессор Н. А. Белелюбский обратил внимание на тот печальный факт, что в среде уральских железнозаводчиков отсутствует разумная солидарность интересов и что на Нижегородской ярмарке они готовы перерезать друг друга; затем, по его словам, неприспособленность уральских заводов к современным потребностям бросается в глаза, и поэтому чувствуется настоятельнейшая необходимость упорядочить их как в хозяйственном, так и техническом отношениях. Интереснее и прямее других высказался г. Журавлев, сам заводчик и крупный торговец железом. По его мнению, весь кризис заключается в том, что наши уральские заводчики привыкли только получать с своих заводов миллионные дивиденды и ничего не затрачивали на улучшение производства, благодаря чему явилась крайняя отсталость, рутина и халатность в уральском горнозаводском хозяйстве.

Не входя в обсуждение тех прений, которые были вызваны в съезде обсуждением вышеприведенных причин кризиса, что завело бы нас за намеченные пределы нашей статьи, мы только отметим здесь заключения съезда по главным вопросам. Именно в видах устранения кризиса постановлено: *«ограничить ввоз иностранного чугуна на первый год 10 000 000 пудов с тем, чтобы в следующие годы уменьшать это количество ежегодно на 15 процентов и чтобы, таким образом, через 7 лет перейти к полному запрещению ввоза чугуна»;* затем резолюции кредитной комиссии — *«ввиду неотложной необходимости для горнозаводчиков в ипотечном кредите, желательно устройство особого банкового учреждения; так как дешевым у нас может быть только кредит государственный, то, по мнению съезда, этой цели можно было бы достигнуть открытием бессословного горнозаводского отделения*

при государственном дворянском земельном банке, причем для горнозаводских имений необходимо было бы отступление от § 36 устава, исключающего при оценке главную статью их стоимости», и (§ 5) *«правила об учете solo-векселей землевладельцев горнозаводских имений, притом из контор и отделений банка, в районе которых эти имения существуют».* Остальные постановления съезда имеют второстепенное значение, потому что трактуют о разных несбыточных материях или вопросах отдаленного будущего, как постройка новых железнодорожных линий, конечно, в интересах железнозаводчиков (вроде Луньевской ветви нашей Уральской железной дороги, эксплуатация которой дает ежегодного дефицита акционерам около 500 тысяч рублей и ни гроша прибыли уральским заводчикам), об улучшении водных путей сообщения, о привлечении казенных заказов, о мерах к усилению потребления железа и т. д.

Съезд 85 года состоял из 15 членов от правительства, 9 членов от биржевых комитетов, 12 от разных ученых обществ и 65 представителей от уральских, подмосковных, южных и польских заводов. Обращаем здесь особенное внимание на этот состав съезда, чтобы оценить его заключения по достоинству. Уральским заводчикам открывается золотой век (ведь дело шло, собственно, о них), потому что и монополия производства досталась ни за грош, да еще solo-векселя на придачу с возможностью примазаться к дворянскому банку. Решение вопроса величайшей государственной важности сведено на такие простые операции: с одной стороны, «не пущай» дешевого чугуна из-за границы, а с другой, «тащи» из будущего бессословного (как это остроумно придумано — при *дворянском* банке *бессословное* отделение специально для русских заводчиков!) отделения при дворянском банке миллионные ссуды да еще под solo-векселя получай.

Нам теперь остается разобраться в приведенных выше материалах с нашей уральской точки зрения...

Начнем с того, что, по нашему глубокому убеждению, никакого кризиса не существовало и не существует. В промышленности кризисами называется такое

положение дел, когда не только колеблется в своих основаниях весь внутренний строй данного предприятия, но, главным образом, нарушается органическая связь этого предприятия с общим ходом основных экономических процессов в известном государстве. Первое является только последствием второго. Так, кризис русской железной промышленности мог быть только в том случае, если бы на русском рынке прекратился совсем спрос на железо. А мы видим как раз обратное явление, именно, русского железа мало, нужно еще до 30 процентов заграничного. Если на ярмарке 85 года осталось нераспроданным до 5 миллионов уральского железа, то это показывает только то, что наши уральские заводчики продавали свое железо дороже заграничного, и весьма понятно, что дешевое заграничное железо покупали, а дорогое уральское село на руках у заводчиков. Спрос на железо существует и всегда будет существовать, следовательно, весь кризис сводится только на то, чтобы уральские заводчики приготовляли железо одной цены с заграничным. Вот о чем должен был рассуждать съезд железнозаводчиков, тем более что, с одной стороны, привозный чугун и привозное железо обложены тяжелой пошлиной, а с другой — наши уральские заводчики поставлены в беспримерно благоприятные условия сравнительно с заграничными — у них целые площади единственной в целом свете по своим рудным богатствам земли, у них миллионы десятин даровых лесов, у них созданное еще даровым крепостным трудом заводское производство, у них, наконец, под носом громадный рынок с стомиллионным населением и неизменное покровительство государства. Задача съезда заключалась в том, чтобы подробно изучить, разобрать и проверить все условия нашего частного уральского горнозаводского хозяйства и, таким образом, найти истинные причины дороговизны нашего уральского железа. А затем нужно было сравнить, каким образом ведут свои дела подмосковные, польские и южные железнозаводчики, которые не имеют у себя заводских площадей, равняющихся целому европейскому государству, не имеют дарового древесного топлива, устроенных крепостным

трудом заводов, и которые не только конкурируют с уральским железом, но и с заграничным и, кроме того, очень быстро начинают развивать свои операции все шире и шире. Почему-то кризис не задел их, а между тем на их долю выпадает видная часть производства, — так, по данным за 82 год [1] уральские заводчики выплавили 18 463 376 пудов чугуна, замосковские, польские, северные, финляндские и сибирские 9 773 651 пуд. Именно не поддаются кризису и развивают свое производство те заводские округа, которые, повидимому, поставлены в самые невыгодные условия для своей деятельности.

Почему-то бедствующими явились наши 18 уральских заводчиков, а что это за народ — назовем только главных бедняков: Демидов, князь Сан-Донато, граф Строганов, Стенбок-Фермор, наследники Яковлева и Расторгуева, князь Белосельский-Белозерский, А. Ф. Козелл-Поклевский и т. д. Это главные производители уральского железа, следовательно, они являются главными потерпевшими лицами, и государство идет к ним на помощь. Другими словами, лучшие заводские округи на Урале работают в убыток своим владельцам, и нужно спасать их от смерти.

Съезд железнозаводчиков не вошел в рассмотрение внутреннего строя этих заводских округов, во все подробности их хозяйства и решил, что причина кризиса в дешевом заграничном чугуне, а отсюда, что нужно уничтожить зло в самом корне, то есть прекратить всякий доступ проклятого чугуна. Не можем не привести здесь двух цифр: в 81 году вывоз русского чугуна по европейской границе равнялся всего 6 пудам, а по азиатской 0, а в 82 году Турция ввезла к нам 12 554 пуда чугуна. Недостает только того, чтобы к нам в Россию везли чугун от папуасов и готтентотов...

Не входя здесь в сопоставление основных принципов фритредеров и протекционистов, мы обратимся теперь к рассмотрению решения съезда об окончатель-

---

[1] «Горнозаводская производительность в России в 1882 г.». По официальным источникам составил Л. А. Карпинский. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ном запрещении ввоза заграничного чугуна. Это решение тем более важно, что с 1 января 86 года привозный чугун обложен пошлиной в 15 копеек золотом, значит, и при этом условии наши уральские заводчики не надеются конкурировать с заграничным чугуном, тогда как им самим пуд чугуна на месте производства обходится всего в 25—30 копеек [1]. По приблизительным расчетам, русское производство удовлетворяет только 70 процентов спроса, а остальные 30 процентов покрывались привозным чугуном. Теперь спрашивается, откуда возьмутся эти 30 процентов, если прекратится ввоз? Очевидно, наши заводчики должны увеличить свое производство и покрыть этот дефицит, но отчего же они раньше этого не сделали? Мы приходим к тому же, с чего начали, именно, что наше железо дорого и поэтому потребители предпочитали покупать дешевое заграничное. Полное уничтожение провоза заграничного железа не понизит цены нашего русского, а только создает тяжелую и в высшей степени вредную монополию кучки лиц. При существовании пятнадцатикопеечной пошлины на чугун русские потребители в 86 году переплатят русским заводчикам за 30 миллионов пудов чугуна $4^1/_2$ миллиона рублей, а когда ввоз прекратится, то заплатят и вдвое больше. Таким образом, мы пойдем прямо к эпохе свайных построек, деревянных гвоздей, каменных топоров и будем пахать землю рогулями потому, что при настоящих условиях своего хозяйства и техники русское железное дело не может развиваться, — мы говорим здесь о наших уральских заводчиках как производителях дешевого железа.

Мы уже сказали выше, что в начале XIX столетия одна Россия производила железа больше, чем все европейские государства, взятые вместе, а теперь мы очутились в хвосте общего европейского промышленного прогресса, несмотря на все данные к «наивящему преуспеянию». Дело очень просто: западноевропейская промышленность перешла с древесного топлива на ми-

---

[1] Лекции о железном производстве в России, 1864 г., *Полетика. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

неральное и только благодаря этому условию расширила свое производство до баснословных размеров, а всякое расширение производства ведет за собой неизбежное понижение цены продукта. Вот почему мы и говорим, что никакая пошлина не сделает нашего уральского железа дешевле, а тем более монополия. Является вопрос, почему же наши уральские заводчики в течение целого столетия смотрели на гигантские шаги европейского железного дела и продолжали оставаться с своим древесным топливом, крайне ограниченный запас которого, при нашем хищническом лесном хозяйстве, быстро истощается, и этим отрезывается всякий путь к расширению производительности заводов.

Мы здесь подходим к самому корню вещей, к той печальной истине, о которой съезд заводчиков в Петербурге не захотел говорить, несмотря на очень веские указания гг. Андреева, проф. Белелюбского и Журавлева. Наши русские заводчики сами своего дела не ведут, и отношения их к заводам ограничиваются только получением миллионных дивидендов, а переход с древесного топлива на минеральное прежде всего требует единовременных громадных затрат, а потом заводы некоторое время будут давать очень ограниченные барыши, пока новое производство не расширится в надлежащих размерах и не встанет твердой ногой на новую почву. Вот если бы наши уральские заводчики сами вели заводское дело, тогда, без сомнения, они давно пережили бы этот тяжелый период, чтобы встать на один уровень с общеевропейским промышленным прогрессом: «терпи час — царствуй век». Но у нас как раз наоборот: все дело ведется чужими руками, а русские заводчики с своих поверенных, управителей, доверенных и управляющих требуют, во-первых, дивидендов, во-вторых, дивидендов и, в-третьих, дивидендов. Конечно, такой переход мог бы совершиться на счет запасных капиталов или в кредит, но русские заводчики всегда умели проживать больше, чем получали, а поэтому не имеют ни денег, ни кредита. В этом последнем заключается и настоящий кризис: уральские заводчики не продали 5 миллионов

железа, и конец делу. А между тем в Глазгове, в складах, существует постоянный запас железа в 30 миллионов пудов, и никто в Англии не кричит о кризисе.

Еще раз повторяем, одна из главнейших причин настоящего кризиса нашего уральского железного дела заключается в упорном нежелании наших уральских заводчиков перейти с древесного топлива на минеральное, а пока этого не совершится, уральское железо не может понизиться в цене, потому что такое понижение мыслимо только при громадном расширении заводской производительности, чему быстро сокращающиеся запасы древесного топлива ставят непреодолимую преграду, ея же не прейдеши. Ни высокие пошлины, ни монополия не спасут нас, а только затянут дело на неопределенное время, пока уральские заводчики совсем запутаются в своих делах.

Во всяком случае, вопрос о минеральном топливе является главным вопросом всей русской промышленности, и мы поговорим о нем в отдельной статье. А теперь сделаем еще одно замечание по поводу вырешенного съездом заводчиков в Петербурге окончательного запрещения ввоза иностранного чугуна в Россию, именно, создавая безграничную монополию кучки русских заводчиков, съезд головой выдает ему стомиллионное население, которое должно переплачивать и вместе с тем решительно ничем не гарантировано, что эти переплаты пойдут действительно на расширение и улучшение русского горного дела, а не просто рассортируются по карманам заводчиков, поверенных и управляющих. Это самый тяжелый и несправедливый налог в пользу кучки совершенно частных лиц и частных интересов. Если уж съезду хотелось создать монополию именно в такой форме, то он, по меньшей мере, обязан был выработать целую систему правил, как следить за русскими заводчиками, чтобы они, пользуясь монополией, действительно развивали свое дело и постепенным расширением производства удешевляли свои произведения. Мы живем в такой век, когда железо и чугун являются предметами такой же настоятельнейшей необходимости, как хлеб, вода и воздух. Здесь вопрос выходит из рамок частных интересов и

вторгается в область государственной компетенции. С этой точки зрения наш Урал, как сокровищница величайших национальных богатств, не может быть отдан в произвольное распоряжение кучки частных лиц, — государство должно следить за каждым их шагом, так как интересы железного дела касаются всего стомиллионного русского населения.

О solo-векселях и о стремлении железнозаводчиков к дворянскому банку мы ничего не будем говорить, — это мертворожденное детище, измышленное съездом, не имеет никакого значения, кроме разве того, что только характеризует лиц, вытащивших его на свет божий. Времена, когда достаточно было подержать казенного козла за хвост, чтобы осчастливить себя презренным металлом на целую жизнь, давно миновали, да и русская казна столько миллионов посадила в одни уральские заводы, что бросать деньги еще едва ли явится охота.

Итак, мы в заколдованном кругу монополии. От Западной Европы нас будет отделять непроницаемая стена, а под защитой этой стены усиленно будут работать наши русские заводчики, в карманы которых потекут медовые реки. Увы! читатель, — все это одна сладкая, чарующая мечта, которая исчезает, аки дым... Не отрицаем, что наши заводчики получат некоторые барыши, успокоятся, а потом снова очутятся при своем печальном интересе.

Мы уже указали на одну из главных причин нашего железного кризиса, которую петербургский съезд железнозаводчиков просмотрел, а теперь переходим к другой, по нашему мнению, еще более важной. Дело в том, что наше время есть время самых сложных и грандиозных комбинаций взаимодействующих сил. Не только органически связаны между собой явления внутренней жизни одного государства, но жизнь всех государств находится под давлением известных железных законов. Нельзя так, вдруг, за здорово живешь, прийти, увидеть и победить. Это особенно ясно можно проследить на явлениях экономического порядка, того международного сцепления известных роковых сил, ворочающих всем, которые действовали всегда и везде,

но определены, взвешены и высчитаны сравнительно очень недавно. Мы, читатель, говорим о том маховике, который приводит в движение все европейские колеса, шестерни, валы и валики, влияние которого чувствуется всюду и от которого не уйдешь никуда, — этот маховик — капитал. Европейские капиталисты давно «гадят» русской промышленности и никак не дают ей «лупить по пути прогресса», — то французские банкиры подгадят, то английские негоцианты, а всего солонее достаются проклятые немецкие жиды. Вот и любопытно, как господин капитал взглянет из своего прекрасного далека на наше промышленное зверство, то есть на желание освободиться от давления этого капитала при помощи своего собственного средствия.

Система протекционизма имела известное значение в свое время, именно тогда, когда капитал еще не обособился в отдельную страшную силу и когда еще не выработались формы крупного капиталистического производства. Тогда имели значение и высокие ввозные пошлины и отгораживания себя от других государств китайской стеной. Теперь не то. Капитал достанет вас на дне морском, и с ним приходится бороться его же оружием, а не допотопным своим средствием, вроде экономического «не пущай». Русская промышленность уже давно чувствует на себе железное давление этого апокалипсического зверя. Так отметим здесь, что охают и плачутся не одни наши уральские заводчики, а и сама старушка Москва только кряхтит со своими плисами и миткалями.

Мы делаемся невольными свидетелями странного экономического парадокса, — именно, кризис нашей железной промышленности совпал как раз с постепенным повышением ввозных пошлин, то есть получилось обратное действие этих пошлин, которые вместо пользы принесли русским заводчикам один вред. Секрет заключается в том, что хитрая заграница любит снабжать нас своими дешевыми произведениями, а когда прилив их к нам стали стеснять таможенными пошлинами, европейские капиталисты перенесли прямо свои капиталы к нам и начали строить свои собственные заводы на русской почве, так что тарифные и та-

моженные злоухищрения, долженствовавшие сокрушить вконец всех немецких жидов зараз, пошли в их пользу. Да, роли переменяются, и тут не будет спасения. Но этот переворот только еще начинается, и теперь самое время констатировать этот многознаменательный факт.

В подтверждение наших слов приведем несколько цифр. Существует один утешительный факт, который говорит в пользу наших заводчиков, именно в десятилетие с 1873 по 1883 год выплавка чугуна в России увеличилась на целых 29 процентов, а привоз заграничного чугуна в этот же срок понизился на восемь процентов. Припомните, что, по странному противоречию, это очевидное преуспеяние русского чугунного производства совпадает с разрастанием железнозаводского кризиса. Но обратимся к цифрам, которые разрешают эту наглядную несообразность самым простым образом. Просматривая картину деятельности русских заводов за период с 1873 года по 1883 год, мы видим такой ряд цифр: общая производительность чугуна с 23 миллионов пудов за десять лет увеличилась до 28 миллионов, но уральские заводы подняли свое производство с 13 миллионов только до 15 миллионов пудов, то есть всего на 2 миллиона пудов с небольшим, а западные и южные заводы в этот период успели развить его с 630 тысяч пудов на целых 2 миллиона пудов и польские с 1 160 554 пудов на 2 336 345 пудов. Так что львиная доля этого повышения на 29 процентов производительности русского чугуна приходится не нашим уральским крупным заводам, а южным и польским, именно уральские заводы едва увеличили свое производство на 1/7 часть, тогда как южные и польские — втрое больше первоначальной своей производительности.

Приведенные выше цифры доказывают два факта: быстро возрастающая производительность южных заводов объясняется тем, что они работают на минеральном топливе, а польские заводы, кроме того, что работают на минеральном топливе, имеют за себя немецкие капиталы, так что до некоторой степени являются продолжением силезских железных заводов, перенесенных

на русскую территорию. Вот вам очевидные доказательства того начинающего роста двух сил, которые грозят нашим уральским заводам полнейшим крахом: южные заводы быстро разовьют свою производительность на минеральном топливе, а рядом с ними будут процветать немецкие заводы на русской почве. Что это будет так, ручательством успеха могут служить заключения того же петербургского съезда железнозаводчиков, с таким легким сердцем отгородившего русских заводчиков от заграницы, — все выгоды высокой ввозной пошлины на чугун и затем полная монополия производства пойдут в руки возникающих из ничего южных заводов и в карманы немецких капиталистов...

В заключение нашей статьи пожелаем нашим уральским заводчикам, ввиду надвигающейся грозы, не надеяться на паллиативные меры отжившего свой век протекционизма, а обратить все свои силы и старания на то, чтобы перейти с древесного топлива на минеральное и чтобы поменьше загребать жар чужими руками. Настоящего кризиса нет, но есть несомненное зло, которое напрасно искать по заграницам, — оно гораздо ближе — у себя же дома.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Дмитрий Наркисович Мамин родился в 1852 году в Висимо-Шайтанском заводе, Верхотурского уезда, Пермской губернии, где его отец служил священником. До 14 лет он оставался дома, где тихо и мирно катилась скромная трудовая жизнь небогатого заводского попа. Это был худенький и болезненный мальчик, развившийся под влиянием чтения книг прежде своих лет. У отца Д. Н. была своя небольшая библиотека из лучших авторов, а потом всевозможные книги доставались от заводских служащих. По вечерам в скромном поповском домике происходило чтение вслух, — это был отдых после дневных трудов. Любимой книгой, которую мать Д. Н. сама читала десятилетнему сыну, были «Детские годы Багрова внука» С. Аксакова, потом следовали путешествия, сочинения Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и т. д. Для себя большие читали «Современник» и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Вообще вся обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер и дала уму и характеру Д. Н. ту закалку, которая дается только у своего очага любящими руками.

С 14 лет началась самостоятельная жизнь. Отцу и матери хотелось отдать детей в гимназию, но не было средств; приходилось обратиться к alma mater [1] бурсе.

[1] матери-кормилице *(лат.)*.

«Ты теперь, братец, отрезанный ломоть», — говорил на прощанье отец, благословляя на тяжелый подвиг бурсацкой науки. В духовном училище и в семинарии Д. Н. пробыл 6 лет, а потом поступил в петербургскую медицинскую академию, где слушал лекции 4 года и по болезни вынужден был перейти в университет на юридический факультет. В университете пришлось пробыть всего один год, потому что смерть отца заставила работать для семьи, оставшейся без всяких средств. В 1877 году Д. Н. вернулся на Урал, где и остался «некончившим студентом». В течение четырех лет он существовал частными уроками в г. Екатеринбурге, а с 1882 года исключительно отдался литературе, продолжая жить там же и приезжая в столицу только на время.

Писательством Д. Н. начал заниматься довольно рано и в семинарии был одним из первых по части семинарских сочинений. В Петербурге, когда пришлось перейти на «свой хлеб», он три последних года перебивался работой в газетах и мелких журналах — был репортером, печатал мелкие рассказы и повести. В это время писались рассказы и повести для «толстых» журналов, но они возвращались «за неудобностью». Такие неудачи, однако, не мешали начинающему автору высиживать большой роман «Приваловские миллионы», который с небольшими перерывами писался около 10 лет.

Особенно важное значение в жизни Д. Н. имел тот четырехлетний период времени, который служил переходом от университета к специально литературной деятельности. Все это время Д. Н. провел на Урале, где теперь перед его глазами выступила с особенной рельефностью бойкая и оригинальная жизнь этого края. Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом. Нужно было долго пожить вдали от родины и потолкаться среди разного чужого люда, чтобы окон-

чательно выяснить себе то, чем отличалась жизнь уральского населения. За внешними формами выступило глубокое внутреннее содержание, обусловливавшееся историей Урала, его разнообразными этнографическими элементами и особенно богатыми экономическими условиями.

Первый рассказ Д. Н., напечатанный в «толстом» журнале под псевдонимом Д. Сибиряк, появился в марте 1882 года («В камнях», журнал «Дело»), когда автору было уже 30 лет. Затем быстро последовал целый ряд рассказов, очерков, повестей и романов. Такое обилие напечатанных статей объясняется, во-первых, тем, что они писались в течение десятилетнего периода, во-вторых, необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала, и, в-третьих, необходимостью осветить сейчас же некоторые «злобы дня» и свои уральские проклятые вопросы. Темы бытовые и психологические поэтому перемешивались со статьями публицистического характера и этнографическими очерками. Работа многих лет печаталась рядом с произведением нескольких дней.

Из напечатанных статей Д. Н. мы можем указать на романы: «Приваловские миллионы» («Дело», 1883), «Горное гнездо» («Отечественные записки», 1884), «Жилка» («Вестник Европы», 1884) и «На улице» («Русская мысль», 1886), а потом на повести и очерки с психологическими темами: «В худых душах» («Вестник Европы», 1882, декабрь), «Переводчица на приисках» (там же, 1883, апрель), «На шихане» (там же, 1884), «Авва» («Дело», 1884), «Башка» («Русская мысль», 1884), «Родительская кровь» («Вестник Европы», 1885), «Гроза» («Наблюдатель», 1885) и «Поправка д-ра Осокина» («Русская мысль», 1885).

Остальные рассказы удобнее разделить по содержанию: «В камнях» («Дело», 1882) и «Бойцах» («Отечественные записки», 1883) описывается сплав по р. Чусовой, в «Золотухе» («Отечественные записки», 1883), «Золотая ночь» («Наблюдатель», 1884) и «Осип Иваныч» («Русская мысль», 1885) — приисковая жизнь, в «Лётных» («Наблюдатель», 1886) — сибирские беглые, в «На рубеже Азии» («Устои», 1882),

«Все мы хлеб едим» («Дело», 1882) и «Максим Бенелявдов» («Дело», 1883) — быт уральского духовенства, в «Последней веточке» (приложения к «Неделе», 1885) — старообрядцы и в «Из уральской старины» («Русская мысль», 1885) — помещичий быт.

Кроме этого, Д. Н. в 1881—1882 годах напечатал в «Русских ведомостях» целый ряд фельетонов «От Урала до Москвы», а с 1884 года в «Новостях» печатаются его «Письма с Урала». Мелкие статьи и рассказы печатались и печатаются в разных столичных и провинциальных изданиях, как: «Волжский вестник», «Екатеринбурская неделя», «Развлечение», «Саратовский листок», «Саратовский дневник».

В течение четырех лет, 1882—1886 годы, Д. Сибиряком напечатано очень много, — и необходимо разобраться в этом материале, который может затруднить читателя по своему разнообразию. Сначала мы скажем несколько слов о романах. Первым по времени явились «Приваловские миллионы», над которыми автор с небольшими перерывами работал около десяти лет и по разным обстоятельствам, о которых здесь распространяться не место, все-таки не «доработал» темы. Как все первые произведения начинающих авторов, тема этого романа была задумана очень широко, и, собственно, в настоящем своем виде «Приваловские миллионы» представляют только последний заключительный роман из тех трех, которыми автор предполагал в исторической последовательности очертить преемственное развитие типов уральских заводчиков. В первом романе выступал основатель и родоначальник всей фамилии Тит Привалов, один из тех удивительных типов «первых заводчиков», коих создал XVIII век на Урале: ум, железная воля, самодурство, жестокость, дикое великодушие — одним словом, добро и зло в этих людях перемешалось самым удивительным образом. Этот первый роман должен был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заводы. Во втором романе, действие которого относится к сороковым годам настоящего столетия, фигурируют выродившиеся наследники; это время беспримерной по

своей чудовищности роскоши, мотовства и всяческого безобразия, не сдерживаемых ничем. В этих рамках должен был выступить разгар крепостного режима, как он вылился специально на Урале. В третьем романе, который напечатан — «Приваловские миллионы», — выведен последний из Приваловых, человек, который несет в своей крови тяжелое наследство и который под влиянием образования постоянно борется с унаследованными пороками. В общем, он повторяет «раздвоенных» русских людей, у которых хорошие намерения и заветные мечты постоянно идут в разрез с практикой. Таким образом, эта приваловская эпопея должна была захватить собой полный цикл развития приваловского типа, и, конечно, голая тема еще не дает того, что́ должно было вылиться в формах, красках и действии.

Роман «Горное гнездо» служит в настоящем своем виде только введением к другому роману, действие которого должно было разыграться в столице. Но последнему намерению не суждено было осуществиться, так как журнал, где напечатано было «Горное гнездо», прекратил свое существование, а печатать продолжение в другом журнале автор нашел неудобным. Таким образом является роман «На улице», где автор сделал непростительную ошибку, — в этом последнем перемешались две темы: с одной стороны, пред читателем проходят лица из «Горного гнезда», а с другой — представители «улицы». Первая тема осталась недоконченной, вторая только затронута. Третий роман — «Жилка» — является бытовой картиной из жизни далекого уральского захолустья, где случайное, дикое богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую старинными устоями. Наконец, последний роман — «На улице» — рисует нравы и типы того исключительного мирка, который расположился лагерем во всех больших столицах, — здесь свои нормы жизни, своя уличная логика и свои типы. По нашему мнению, здесь автор только затронул тему.

Кроме упомянутых романов, Д. Сибиряком написан целый ряд мелких очерков и рассказов, из которых

можем указать только на имеющие психологическую подкладку: «В худых душах», «На шихане», «Родительская кровь», «Поправка д-ра Осокина» и т. д. Остальные рассказы носят или этнографический характер, или принимают вид мелких фотографий. Местные интересы здесь выступают с особенной ясностью, и поэтому такие рассказы можно отнести к еще нарождающемуся отделу беллетристики, именно — областному.

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Воспоминания

ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ

Воспоминания

ПРОВОДЫ

I

В жизни каждого человека бывают решающие моменты, те «дни посещения», когда происходят многознаменующие душевные перевороты. Для меня именно таким явился серенький августовский денек, когда я проснулся на чусовской пристани Межевая Утка [1].

В большой и светлой гостиной, выходившей окнами на Чусовую, на столе уже кипел самовар, и около него собрались все действующие лица: мой отец, мой старший брат Николай, его товарищ Николай Тимофеич и хозяин дома Федор Петрович Мазурин. Тут же вертелись двое хозяйских детей, мальчик и девочка, которые с детским любопытством следили за совершавшимся событием. Все отъезжавшие были одеты по-

---

[1] Межевая Утка — река, приток р. Чусовой; свое название она получила оттого, что когда-то служила межой между владениями Строгановых и Демидовых. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка)*

дорожному и торопливо допивали чай. Федор Петрович выходил несколько раз в переднюю и отдавал кому-то приказания. Это был высокий, русоволосый господин с румяным лицом и с слегка вившимися темнорусыми волосами.

— Чемоданы уложены? — слышалось из передней. — Хорошо... Не забудьте черпаки для воды. Как шитик? [1]

У моего отца было тревожное выражение, и он все посматривал в окно.

— Как бы не зарядило ненастье... — повторял он несколько раз.

— Нет, погода разгуляется, — успокаивал Федор Петрович. — До Кашкинского перебора не успеете доплыть, как солнышко выглянет. Я уже знаю...

Мне очень нравился этот Федор Петрович, как замечательно простой и добрый человек. Он так хорошо улыбался, когда говорил, и несколько раз гладил по головке маленькую розовую девочку.

Чай был кончен. Главные действующие лица — брат и Николай Тимофеич, пятнадцатилетние подростки, имели немного смущенный вид, как артисты, которые за кулисами приготовляются к своему первому выходу на сцену. Брат Николай был бледный и худенький темноволосый юноша, а Николай Тимофеич — белокурый, широкий в кости крепыш с такими умными серыми глазами. Отец вез их в Пермь для поступления в духовную семинарию, — они только что кончили духовное училище в Екатеринбурге. Брат держался как-то равнодушно, а Николай Тимофеич, видимо, стеснялся незнакомой обстановки.

— Все готово, — заявил Федор Петрович, выглядывая в окно.

— Ну, господа, пора... — торопил отец.

По русскому обычаю, когда оделись по-дорожному, все присели на минутку, помолились и начали прощаться. Помню, как отец обнял меня крепко-крепко, благословил и сказал:

---

[1] Шитик — средней величины лодка, по образному народному выражению, «сшитая» из досок. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Кланяйся маме... Тебе на днях тоже нужно будет ехать. Будь умным...

Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой излучиной, — справа ее подпирала река Утка, а впереди точно загораживала дорогу гора Красный Камень. Противоположный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Самая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые избы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, стояла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за которым строились и оснащивались барки-коломенки. Весной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жизнью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло больше всего то, что дальше с этой пристани не было никакой колесной дороги, точно здесь кончался весь свет.

У берега стоял шитик, около которого столпилась кучка любопытных. Багаж был уложен в носу шитика и прикрыт рогожкой.

— Ничего, погодка разгуляется, — повторял Федор Петрович, глядя на хмурившееся осеннее небо, с которого сыпался мелкий, как пыль, осенний дождь «сеногной».

Мы еще раз попрощались, и отец с улыбкой проговорил:

— Дальние проводы — лишние слезы... Прощайте!

Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. Только дети чувствуют в полной мере эту спокойную мужскую силу, красивую в каждом своем движении.

Брат и Николай Тимофеич уже заняли свои места на скамеечке посреди лодки и пробовали весла, причем у брата было недовольное лицо, — он не отличался

особенной энергией, а предстояло на лодке сделать по реке больше трехсот верст. Конечно, был свой расчет на быстроту течения горной реки, но все-таки в виду предстояло ехать больше недели.

Отец занял место на корме, и шитик тихо отвалил от берега, а потом его подхватила сильная речная струя и понесла вперед, к Красному Камню. Мы стояли на берегу и долго махали фуражками. Шитик с каждой минутой делался все меньше и меньше, так что, наконец, трудно было разглядеть отдельные фигуры. Вот он огибает уже мыс, который с левого берега подвинулся к самому Красному Камню, — еще несколько томительных минут, и лодка скрылась за поворотом, точно бойкая горная река проглотила ее. Первое ощущение, которое меня охватило, — это ощущение одиночества. Мне хотелось побежать по берегу, догнать лодку и крикнуть: «Папа, возьми меня с собой»... Что-то такое сдавило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, маленьким и беззащитным.

— Ну, малыш, пойдем... — вывел меня из тяжелого раздумья Федор Петрович. — Нужно закусить, а там поедешь в Висимо-Уткинск. Лошади за ночь отдохнули, живо доедешь...

Я ничего не понимал, охваченный своим детским горем, и повиновался механически, как манекен. Раньше я относился к этим проводам как-то легкомысленно и только сейчас понял всю важность случившегося. Слезы так и подступили к горлу, но я сдерживался, потому что — «плачут только девчонки». А одиночество точно все больше и больше накоплялось, застилая все остальное, даже Федора Петровича, который говорил что-то такое в мое утешение.

Вернувшись в комнату, я почувствовал новый прилив детского горя, потому что каждая мелочь напоминала о разлуке с дорогими людьми. Вот стоит недопитый второпях стакан чая; на этом стуле сидел в последний раз отец; на столе осталась забытая им в дорожной суете люстриновая коричневая ряса; брат со свойственной ему рассеянностью забыл на окне завернутые в бумагу «подорожники», которые мать приготовила специально для него, и т. п.

Пока закладывали лошадей, я стоял у окна и смотрел на горную красавицу Чусовую, которая унесла дорогих сердцу людей. Какая она действительно чудная, эта Чусовая! От нее так и веяло подавленной силой, точно вот эти зеленые горы посылали эту силу в чужую, теплую даль, как дорогой подарок.

II

Дорога с Межевой Утки до родного Висима шла через Висимо-Уткинский завод и сама по себе решительно ничего особенного не представляла. Пара крепких «киргизок» быстро несла легкую долгушку; разбитной заводский кучер весело посвистывал, и двадцать верст промелькнули незаметно. Меня удивляло только одно, именно, что этот кучер решительно ничего не хотел замечать и, видимо, оставался совершенно равнодушным ко всему случившемуся. Это было возмутительно, и я к концу дороги начал его ненавидеть. Мне казалось, что он нарочно притворяется. Бедный, милый папа, где-то он плывет на своем шитике?.. Меня радовало только одно, что, как предсказывал Федор Петрович, погода действительно разгулялась, и выглянуло такое ласковое осеннее солнышко.

Висимо-Уткинский завод походит на все маленькие уральские горные заводы: заводский пруд, под ним — фабрика, на горке — белая каменная церковь, по гористым берегам реки Утки и пруда точно рассыпаны уютные заводские домики. Лес был близко, и стройка везде была хорошая. За фабрикой на берегу реки Утки прятался в зеленом саду низенький господский дом, где жил старичок управитель Степан Яковлевич, который в разговоре употреблял странную поговорку: «Я говорю: да, любезнейший!» Когда он сердился, поговорка прибавлялась чуть не к каждому слову. Недалеко от господского дома — заводские конюшни, где стояли две знаменитые лошади, — одну звали «Не хочу», а другую — «Не пойду». Все эти мысли проходили у меня в голове, пока долгушка поднималась на горку к церкви и огибала ее, чтобы остановиться у де-

ревянного домика в три окна, где жил наш знакомый заводский служащий Никон Терентьич, женатый на сестре Николая Тимофеича. Это был красавец мужчина, черноволосый, румяный, высокого роста.

— Придется малость обождать, — заявил он после расспросов об отъезде отца. — Ужо кто-нибудь поедет в Висим и тебя захватит...

Но я не захотел ждать. До Висима было всего девять верст, и дорога шла уже горами.

— Я пешком пойду, Никон Терентьич...

— Что же, можно и пешком, — согласился Никон Терентьич довольно равнодушно. — Дождя нет...

Мне показалось, что он относится ко мне уже иначе, чем вчера, когда мы были у него вместе с отцом. У меня зародилось впервые сознание собственной ничтожности. Да, не будь отца, и я для Никона Терентьича имел бы не больше значения, чем та осенняя муха, которая во время нашего разговора жужжала и билась головой в оконное стекло.

Попрощавшись, я направился пешком домой. Все эти девять верст пути были одной мыслью об отце, которого я уж не увижу до самого рождества.

С раннего детства мне много раз приходилось ездить по этой дороге, и я знал каждую горку, каждый мостик, поворот дороги, менявшиеся картины леса. Сначала из завода нужно было пройти по сплавному мосту на другую сторону довольно узкого заводского пруда, потом шла широкая улица, где жили «кержаки», как называют на Урале раскольников, а там, сейчас за жилом (селеньем), начинались лес и горы. Солнце светило, омытая дождем зелень казалась такой яркой, по сторонам дороги стояли кусты шиповника с яркокрасными созревшими ягодами. Я шагал по стороне, по пробитой пешеходами тропинке, вспоминая, как вот по этой дороге мы столько раз ездили с отцом.

— Милый, бедный папа... — шептал я, прижимая к груди узелок с его рясой, от которой «пахло церковью», то есть ладаном и воском.

Мне почему-то было страстно жаль отца. Наверно,

он теперь тоже думает обо мне... Ведь он такой добрый и хороший.

Во время своего пути я шаг за шагом передумал все свое раннее детство, начиная с того времени, когда отец по вечерам носил меня по комнате на руках и что-нибудь рассказывал. Я любил слушать эти рассказы и засыпал на сильных руках. Что ни шаг, то новое семейное воспоминание, и везде отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы, дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже чувствуешь себя лучше. В болезнях есть своя философия, а в детских болезнях — в особенности. Каждая болезнь точно вносит какое-то внутреннее просветление, и детское сознание взбирается на следующую ступеньку. Отлично помню, что в детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже тогда, когда она стояла над головой, и объясняю это тем, что всегда около был отец, спокойный, ласковый, строгий. Это была та сила, за которую хватались слабевшие детские руки, как за свое единственное спасение. Впоследствии я видел много других отцов, которые совершенно терялись в таких случаях и которых успокаивали и утешали больные дети. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец, — на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была «рада месту», то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не видал ни отца, ни матери. Их день всегда был полон трудом. Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался один, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с разными церковными отчетными книгами.

Нас в семье было четверо детей. Был пятый, но умер от крупа. Кстати, часто бывает, что все преисполнены щемящего страха всевозможной заразы, особенно за детей. Мой отец, как священник, постоянно имел дело со всевозможными больными, когда приглашали его напутствовать умирающих, хоронил и тифозных, и дифтеритных, и скарлатинных; прибавьте к этому, что

о мерах предохранения от заразы в то время имелись самые смутные представления, — и все-таки в нашем доме всего был единственный заразный случай с грудным ребенком, когда эпидемия крупа валила кругом детей сотнями.

Вопрос о нашем воспитании, то есть двух старших сыновей, начал занимать отца и мать очень рано, задолго до наступления нашего школьного возраста. Помню по этому случаю споры отца с дедушкой, отцом матери. Отец хотел непременно отдать нас в гимназию, а дедушка именно этого и не желал.

— Пустякам там учат, — спорил он. — Пусть лучше поступят в духовное училище... Там выучат.

Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил о духовном училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо в бурсу, и не мог вспоминать о своем ученье без ужаса.

Был один момент, когда заветное желание отца готово было сбыться. Директор екатеринбургской гимназии, он же и инспектор народных школ по Зауралью, ревизовал народные училища и, между прочим, заехал в наш Висим. Помню его фамилию: Крупенин. Понравилась ли ему школа, которую отец вел без помощи учителя в течение восьми лет совершенно безвозмездно, или, может быть, понравился ему отец, — он дал обещание принять нас в свою гимназию. Для отца это было величайшей радостью. Но, к сожалению, когда наступило время нашего учения, Крупенина уже не было в Екатеринбурге, — не помню хорошенько, перевели его на другое место или он умер. Отчаянию отца не было границ. Непреодолимой преградой для отца являлась плата за учение, составлявшая, по-нынешнему, ничтожную сумму в пятнадцать рублей.

— Где же я возьму тридцать рублей за двоих? — повторял он. — Крупенин обещал освободить от платы... А тут еще форма гимназическая, учебники. Нет у меня таких денег, негде их взять... Жалованья получаю двенадцать рублей, доходы ничтожные.

Приход у отца был маленький, и соответственно с этим были малы доходы. Деревенские приходы, ко-

нечно, были лучше, особенно в благословенном Зауралье, но отец ни за что не хотел туда идти, потому что там священники ходят по приходу с «ручкой», собирая «петровское», «осеннее» и «ругу». Он предпочел свою бедную заводскую независимость.

III

Насколько искренне было в этом случае горе отца, могу привести следующий эпизод.

Когда мечта о поступлении в гимназию была разрушена, отец начал приготовлять нас троих, меня с братом и Николая Тимофеича, к поступлению в духовное училище. Кстати, Николай Тимофеич был сын нашего заводского дьякона, и я не помню, чтобы его в детстве называли иначе, как Николай Тимофеич. Мне шел двенадцатый год, а Николай Тимофеич и брат были старше меня на два года. Почему-то отец готовил всех нас в один класс, именно в «высшее отделение» тогдашнего дореформенного уездного духовного училища, делившегося на три отделения — низшее, среднее и высшее, с двухгодовым курсом в каждом. Мы готовились целое лето, причем мне это не стоило особенного труда благодаря чудной памяти: мне достаточно было прочитать два раза две-три страницы текста, и я мог повторить их из слова в слово, а латинские и греческие склонения и спряжения я не учил, а только читал, — прочтешь один раз, и дело готово. Через три года, после жестокого тифа, я навсегда утратил эту память.

К осени приготовления были кончены, и отец повез нас троих в Екатеринбург. Брат и Николай Тимофеич выдержали экзамен, а я струсил, оказался слабее и был принят условно. Отец поместил нас троих на одной квартире, а сам уехал погостить на несколько дней к тестю. Вся обстановка бурсацкого учения на меня подействовала совершенно ошеломляющим образом, сравнить которое с чем-нибудь невозможно. Я совершенно растерялся, как теряется выпавший из теплого гнезда неоперившийся цыпленок. Отец вернулся

и, вероятно, без слов заметил, что дело не ладно. Брат и Николай Тимофеич отмалчивались, ограничиваясь сообщением некоторых смешных эпизодов. Я ничего не говорил. Вечером, когда все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая постель была устроена на полу, и я не мог заснуть, потихоньку наблюдая отца. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

— Ты еще не спишь?

— Нет, папа.

— Тебе нездоровится?

— Нет, я здоров... Так...

Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не разбудить брата и Николая Тимофеича. Заглушая рыдания, я рассказывал, как мне было тяжело, какое ужасное место наше «высшее отделение», отчаянная бурса и вообще все училищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни всего два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от крупа маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся, что такой большой человек может плакать о такой маленькой козявке, и во второй и последний раз — сейчас. Он обнимал меня, целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал. Это возвращение под родную кровлю было омрачено при первом же моем появлении, когда встретивший нас единоверческий священник о. Николай сказал мне:

— Что, брат? Убояхся бездны премудрости и возвратихся вспять... Все равно, брат, ты — отрезанный ломоть, как тебя ни верти.

Таким образом, мне пришлось провести целых два года «без определенных занятий». Старшего брата не было, и мне приходилось коротать время в одиночестве, причем единственным удовольствием были книги. В нашем доме книга играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной минутой, чтобы заняться чтением.

— Это мой отдых, — объяснял он.

Кроме классиков, в нашем доме начали уже появляться издания начала шестидесятых годов, и я отлично помню, как отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я, конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и только был свидетелем, как их читали и о них говорили. Вместе с книжками появились и новые люди, причастные заводской администрации, сразу потерявшей после 19 февраля свой исключительно крепостной характер.

В моих воспоминаниях отец так и сохранился, как человек, который вечно был занят и отдыхал только за книгой или газетой.

Но это была одна сторона дела. Как священник отец, конечно, знал свой приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные... Мысль о них отравляла то относительное довольство, каким пользовалась наша семья, и мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкновенно отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь купить:

— Ты — сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное — прихоти.

Кажется, что̀ проще этих слов и кто их не знает, но они навсегда остались в моей голове, как своего рода маленькая программа для личных потребностей. Одним словом — «прихоти» — сказано все... Ведь это громадное богатство — не завидовать и не желать того, что является излишеством и бессмысленной роскошью. А сколько людей томится вечной неутолимой жаждой именно такой роскоши, для которой приносится все в жертву...

Моя детская жизнь, конечно, не обходилась без некоторых правонарушений и неизбежных детских

шалостей. Одной из самых сильных мер в видах моего исправления был рассказ о двух дьячках, который отец повторял с самой трогательной убедительностью. В качестве подсудимого я должен был выслушивать его до конца. Заключалась эта история в том, что один дьячок был скромен, послушен, трудолюбив, добр и честен, а другой обладал совершенно обратными качествами, в результате чего получились соответствующие плоды: мудрый дьячок прожил всю жизнь счастливо, и все его любили, а дьячок злой и ленивый погиб под тяжестью собственных недостатков. Изображение этого последнего дьячка выходило, конечно, рельефнее, как всякий отрицательный тип, особенно когда отец начинал рассказывать о его пьянстве и соединенных с этим занятием последствиях. Сам отец во всю свою жизнь не выпил ни капли вина. Говоря откровенно, мне оба дьячка были противны, потому что выступали на сцену в самые неприятные минуты моей жизни, как живые свидетели моих детских прегрешений, и, кроме того, я чувствовал, что они вели в моей душе неустанную борьбу, с переменным счастьем, как своего рода Ормузд и Ариман.

Да, я шел по дороге и старался вызвать все те картины своей жизни, где выступал отец. Я старался припомнить выражение его лица в разных случаях этой жизни, тон его голоса, взгляд добрых и строгих серых глаз, добродушную улыбку, которая постоянно освещала его лицо. Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского упрека, и чем дольше я думал, тем выше и выше вырастал в моих глазах этот благословивший мое детство образ. А солнце так хорошо светило; кругом выше и выше теснились родные зеленые горы; вот и последняя Лисья гора, с вершины которой открывался далекий вид на родной Висим. Я присел на камень, чтобы отдохнуть, и почувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Эта первая душевная детская гроза разрешилась горючими слезами.

— Милый, дорогой папа...

Да, я уже сделался отрезанным ломтем...

Не могу не привести здесь чудное стихотворение из В. Гюго, в переводе Плещеева:

Еще совсем малюткой, в колыбели,
Однажды близ меня заснула ты...
А я стоял в раздумье... Окружала
Нас сумерек таинственная мгла.
Придет пора, голубка дорогая,
Я в свой черед засну глубоким сном,
И ночь меня окутает немая.
Мрачней тюрьмы мой тесный будет гроб,
И птички я не буду слышать трели...
Тогда молитвы, слезы и цветы,
Все, что дарил твоей я колыбели, —
Все возвратишь моей могиле ты!

У меня на далеком родном Урале осталась именно такая дорогая могила...

ДОРОГА

I

После отъезда отца наш дом опустел и точно замер. Мне часто казалось, что вот-вот отец войдет, и я даже слышал его шаги, привычку легко покашливать и его голос. Раз в нашем садике я совершенно ясно слышал, как он позвал меня, и почему-то страшно перепугался. Потом мне приходили в голову самые мрачные мысли: а вдруг отец заболеет и умрет? Мне ярко рисовалась ужасная картина нашего сиротства, и хотелось плакать: как мы будем жить, когда старшему брату было всего пятнадцать лет, а младшей сестре только полгода? Я достаточно насмотрелся на чужое сиротство и вперед переживал свою беду. И это был страх не за то, что вся семья останется без средств и будет бедствовать, нет, материальные расчеты отходили на задний план, а выступала главным образом нравственная сторона — потерять духовную опору, нарушить, так сказать, собирательную душу семьи. Прошло много лет, а я и сейчас до мельчайших подробно-

стей представляю себе свое тогдашнее душевное настроение. Вообще из хорошей, крепко сложенной семьи нельзя вырвать ни одной части, не подрывая в корне органическое существование целого.

Странно, что для меня сразу потеряли всякий смысл все детские игры и занятия, которым мы с моим другом Костей предавались раньше. Ведь каждая детская игрушка живет своей собственной жизнью, она согрета теплотой детского сердца и детского воображения, она несет в себе первые проблески просыпающейся личности, и вдруг она делается ненужной, лишней и умирает: если есть жизнь, то должна быть и смерть. Костя приходил ко мне, мы пробовали сделаться самими собой, но из этого решительно ничего не выходило. Мой друг тоже был невесел. Он завидовал мне, что я еду учиться, а он должен оставаться дома. В моменты малодушия я охотно готов был предоставить ему все свои преимущества в этом отношении, но когда мы были вместе, я начинал притворяться и говорил о будущем с полной уверенностью.

— Колотить будут тебя бурсаки, — уверял Костя, страдая от зависти.

— Колотить? — храбрился я. — Нет, ты не знаешь моего характера... Я, брат, и сам могу поколотить. Очень просто...

— Ну, брат, там найдутся такие силачи...

— А у меня есть перочинный нож. Да... В случае чего... Одним словом, я шутить не люблю.

Будущий герой в сущности очень трусил, припоминая короткий опыт своего ученья; но у Кости была скверная привычка поддразнивать, а тут всякий сделается героем. Мне кажется, что многие герои делались героями только из трусости и что в каждом человеке самым мирным образом уживаются и трус и герой.

Моя мать отличалась всегда ровным, невозмутимым характером и была вечно так занята, что не оставалось времени для горьких дум. По отношению ко мне она осталась все такой же, ничем не проявляя своего настроения. На меня это действовало ободряющим образом. Что же, ехать так ехать... Мать выдержала свой характер до конца, до самого момента

разлуки. Дело в том, что мне приходилось ждать «оказии», чтобы доехать сначала до Нижнетагильского завода, а там опять ждать «оказии», чтобы доехать до Екатеринбурга. На мое счастье, первая «оказия» не заставила себя ждать. Я прождал дома после отъезда отца всего несколько дней. Раз утром я бродил в садике, как мать крикнула мне в окно, что в Тагил едет Терентий Никитич и что она успела его остановить на дороге.

— Скорее, скорее... — торопила она, хотя, собственно, торопиться было некуда, — все давно было готово.

Мой багаж состоял из одного большого белого мешка, в котором зашито было все мое имущество. Мой младший братишка настолько был еще мал, что относился к моему отъезду совершенно равнодушно и, кажется, интересовался больше судьбой этого мешка, особенно когда заводский кучер Паньша (уменьшительное от Памфил) начал его привязывать к заду дорожной долгушки. Терентий Никитич, средних лет господин, высокий и коренастый, с добродушным русским лицом, был очень доволен, что мог доставить меня в Тагил.

— Все равно ехать, а двоим веселее, — повторял он, когда мать извинялась за беспокойство.

Мой мешок был привязан, я торопливо простился с матерью и братишкой и довольно храбро занял свое место в экипаже. Мать не плакала, а только смотрела на меня своими большими карими глазами.

— Ну, с богом! — проговорил Терентий Никитич. — Паньша, трогай!..

Пара крепких киргизок рванулась разом, и наша долгушка полетела вперед, как перышко. На повороте, где дорога повертывала влево, я оглянулся, — мать стояла у ворот, держа на руках маленькую сестренку.

— Мама, прощай!.. — крикнул я.

Прощай навсегда и золотое детство, и родное гнездо, и родные, бесконечно любимые люди!..

Наша дорога огибала новый заводский пруд, к которому сошлись все три конца, на которые делилось заводское население: кержацкий (раскольничий), хохлацкий и туляцкий. С деревянного моста, перекинутого

через реку Висим, в последний раз я посмотрел на родной дом. Дальше дорога шла туляцким концом, широкие, правильные улицы которого были уставлены такими крепкими избами. На самом выезде дорога поднималась в горку, и с этой высоты открывался вид на весь завод с деревянной церковью в центре и с дымившей под плотиною старого пруда фабрикою. Нашего дома в этой кучке построек уже нельзя было различить, а можно было только угадывать приблизительно его место.

Терентий Никитич, вероятно, намеренно велел Паньше придержать лошадей, чтобы я мог в последний раз посмотреть на родное место. Да, тут все было родное, и я составлял только атом этого громадного органического целого. Через многие-многие годы шлю свой привет дорогому Висиму и вижу его теми же глазами, какими видел его в этот роковой день.

— Паньша, трогай! — скомандовал Терентий Никитич.

Я чувствовал, что он наблюдает меня, не расплачусь ли я, но я выдерживал характер и выехал с сухими глазами.

— Молодец! — похвалил меня Терентий Никитич, гладя по спине своей широкой ладонью.

Что такое родина в тесном смысле слова? Какие таинственные нити связывают нас с ней на всю жизнь? Отчего и сейчас я не могу без волнения думать о ней, вызывая в воображении целые вереницы картин, сцен и лиц? Почему кажется, что ты должен был родиться именно здесь, где родился? Почему, когда человек начинает стариться, он с такой любовью обращается к местам, освященным именно первыми детскими воспоминаниями? Мне делается как-то жутко при одной мысли о тех миллионах городских детей, детские воспоминания которых безнадежно упираются в стену соседнего дома, ограничиваются тесными пределами какого-нибудь чердака или подвала, двором грязного многоэтажного дома, пыльною мостовой и, — в лучшем случае, — своею собственною городскою квартирой. Да, это уже не дети, а квартиранты, жизнь которых размечена только разными квартирами, а для избранников — какой-нибудь дешевенькой дачкой.

II

Дорога из Висима в Тагил идет все время горами, пересекая водораздельную линию между Европой и Азией. Мне особенно нравилась первая половина этой дороги, если ехать не прямо на Тагил, а сделать повертку на Черноисточинский завод. Самый выезд из завода открывался красивой еловой порослью, куда мы каждую осень бегали за рыжиками. Дальше по течению реки Висима начинались покосы, а в числе их и наш, на откосе горы Пугиной. Это было чудное местечко, куда отец любил ездить «с чаем». Тут и бойкая горная речка, и роскошный луг, и лес, и студеный ключик. Для нас, детей, было величайшим наслаждением съездить на покос. Увы! сейчас, вероятно, я не узнал бы этого места, потому что по всему течению реки Висима открыто золото, и от нашего покоса, без сомнения, не осталось даже следов.

С дороги, где был спуск к реке Висиму, я видел наш покос и мысленно прощался с ним, как прощаются с близким и дорогим человеком.

— Прежде на Пугиной горе я много бил белки, — рассказывал Терентий Никитич, очевидно, старавшийся развлекать меня. — Бывало, идешь с охоты и кругом всего пояса навешана белка, как бахрома. Ну, а нынче шабаш!.. Как-то целый день бродил по Пугиной и Шульпихе, и хоть бы одна белка попалась. Ведь маленькая зверушка, эта самая белка, а какая хитрая: летом, когда она красная, хоть руками ее бери, а как только выпал снег, сделалась она серой, — кончено! Идешь по лесу, собака нашла, облаяла, подойдешь к дереву, — ничего не видно. Непременно эта самая белка заберется в густую ель, в самую вершину, где ее и не просмотришь. Ну, у нас, у охотников, свое средствие: возьмешь топорик, очистишь кору на ели и обухом по голому месту: бух!.. Молодая белка не выдерживает и бросается на другое дерево, а старая еще поглубже заберется, заляжет между сучками, и ничем ее оттуда не возьмешь, хоть дерево руби. Случалось так, что и дерево рубили: подрубишь дерево, оно

повалится, а белка прыг на другое, — только ее и видел. Да, бывает.

Как теперь вижу лицо этого Терентия Никитича, такое доброе, хорошее лицо! Мне кажется, что есть какая-то необъяснимая таинственная связь между именем и человеком, который его носит. По крайней мере я другого Терентия Никитича в своей жизни не встречал. Отлично помню даже то место дороги, где он мне рассказывал об охоте по белке, именно — поворот около горы Пугиной.

Дальше следовал маленький перевал к деревне Захаровой, где через речонку, — кажется, тот же Висим, — был ужасно крутой спуск. Здесь по обеим сторонам моста раскинулся знаменитый прииск «Рублевик», который давал тысячи пудов платины в крепостное время и, кажется, разрабатывается посейчас. Мы ехали в области настоящей уральской Калифорнии, где богатствам не было счета и все сокровища сосредоточивались на расстоянии нескольких десятков квадратных верст. Наша дорога пролегала прямо по золотым и платиновым россыпям. В описываемое мною время, — середина шестидесятых годов, — деревня Захарова являлась самою убогою деревушкой, половина населения которой после объявления «воли» ушла в Барабинскую степь. На земле, насыщенной миллионами, стояло около полутора десятка развалившихся избенок. Правда, что тогда платина стоила от 10 до 30 копеек за золотник, а сейчас она стоит около 3 рублей золотник. Кажется, это роковая судьба многих русских богатств: их начинают ценить только тогда, когда они исчезли.

От Висима до Захаровой было всего восемь верст, а на четырнадцатой версте стоял столб, обозначавший границу между Европой и Азией. Это был самый обыкновенный столб, напоминавший трактовую версту, и меня всегда удивляло, что такой важный географический пункт был отмечен таким ничтожным знаком.

— Теперь мы, брат, в Азию перевалили, — объяснял мне Терентий Никитич. — Были в Европе, а теперь покатим в Азию. И даже очень просто...

Я знал отлично значение пограничного столба и все-таки испытывал каждый раз какое-то неопределенное волнение, когда ехал мимо, точно переступал какую-то заколдованную черту.

Сейчас за перевалом начиналась совершенно другая картина, как и везде на Урале, где восточный и западный склоны резко отличаются. Дорога шла красивыми изгибами между лесистыми зелеными горами, а потом выходила на крутой обрыв реки Чауша. В детстве я почему-то особенно боялся именно этого обрыва, где дорожная колея шла по самому краю.

— Вот здесь свалился один мужичок с возом, — рассказывал Терентий Никитич. — Его возом-то и накрыло. Мертвого нашли...

Черноисточинский завод расположен на истоке большого Черного озера, и благодаря массе воды он казался гораздо красивее нашего Висима. От него до Тагила было что-то около двадцати верст, но характер дороги сразу менялся, — это была просека, которая шла прямою линией, так что с вершины каждой горы открывался вид верст на пять, и благодаря этому получалось такое впечатление, точно вы едете по какому-то коридору.

— Точно плетью ударено по горам, — объяснил наш кучер Паньша. — Никакого фасону...

Кучер Паньша был типичный заводский кучер, ленивый, сильный, с выбритым затылком и сознанием собственного кучерского достоинства. Это был истинный сын знаменитой когда-то заводской конюшни, заменявшей собой острог, пожарную и место экзекуции. По сибирской привычке, Паньша лихо пускал в гору, кричал на встречных и вообще держал себя с шиком настоящего заводского кучера.

Начиная от Черноисточинского завода, я уже чувствовал себя чужим все больше и больше, точно въезжал в какое-то чужое государство. Вероятно, Терентий Никитич подметил начинавшийся у меня упадок духа и старался, по возможности, направить мои мысли в другую сторону. Теперь не могу в точности припомнить, что он мне рассказывал, но в памяти сохранились только отрывки истории какого-то

Демидова, одного из родоначальников этой знаменитой фамилии уральских заводчиков, который жил где-то на островах Черного озера, под Белою горой. Потом он рассказывал о медном тагильском руднике, о знаменитой Высокой горе, составляющей сплошную массу магнитного железняка в тридцать пять миллиардов пудов. Но все эти вещи меня сейчас мало интересовали, и мысль о том, что мы с каждым шагом дальше и дальше уезжаем от Висима, заслоняла все остальное. Мне начинало казаться, что я делаюсь все меньше и меньше и что впереди — все чужое и враждебное. В самом деле, кому какое дело до какого-то мальчишки? Ведь на свете так много детей, у которых под рукой была какая-нибудь защита, а я был один, один, один...

— Ну, что ты молчишь? — спрашивал меня Терентий Никитич и ласково трепал по спине.

А я думал о своем Висиме, который делался все милее и милее. Мне припоминался Терентий Никитич, каким я его знал в заводской конторе, когда он сидел за своим письменным столом, потом когда он по праздникам пел свежим тенорком на левом клиросе нашей церкви, наконец, когда он бывал в нашем доме в дни семейных праздников, как именины отца. Младший сын Терентия Никитича, Алеша, был нашим приятелем с Костей и принимал живое участие в наших играх и шалостях.

III

С раннего детства я испытывал какое-то непонятное и жуткое чувство, когда с отцом приезжал в Тагильский завод или Екатеринбург. На меня угнетающе действовала эта масса домов, торопившиеся куда-то люди и вся обстановка людного, бойкого места. Мне казалось, что здесь именно живут всё гордые и сердитые люди, которые почему-то должны меня презирать. Так было и теперь, когда мы въезжали в Тагил с Терентием Никитичем.

— Вот она матушка, Высокая гора, — объяснял мне Терентий Никитич, указывая влево на небольшую

сравнительно гору с остатком соснового леса на вершине и разрытым уступами боком, по которому ползли рудниковые таратайки, точно мухи. — На тысячу лет руды хватит... А вон видишь громадную зеленую трубу, — это медный рудник. Медная руда лежит глубоко в земле, сажен на восемьдесят. Трудно работать под землей, душно...

По Меднорудинской улице мы выехали к громадной фабрике.

— Вон белый дымок попыхивает, — указывал Терентий Никитич, — это паровая машина работает. У нас в Висиме такой нет...

Мы быстро прокатили по деревянному мосту, перекинутому через реку Тагил, — Паньша хотел показать тагильским заводским кучерам, как ездят по-настоящему висимские кучера. С моста мы лихо взяли в гору, где на площади стоит монументальное здание главной конторы всех заводов с громадною колоннадой, поддерживающею фронтон. На площади перед конторой поставлен великолепный бронзовый памятник одному из Демидовых. Один висимский хохол ехал мимо этого памятника ночью и принял его фигуры за пильщиков, которых за какую-то провинность заставили работать всю ночь напролет.

Дальше шла улица, соединявшая главную площадь с громадным тагильским базаром. На этой улице сосредоточены были тогда главные магазины с красным товаром, галантереей и бакалеей, и я, как висимский хохол, каждый раз удивлялся тому, сколько нужно безумно богатых людей, чтоб покупать содержимое этих роскошных магазинов.

— Да, в Тагиле много богатых людей, — вслух думал Терентий Никитич, очевидно охваченный такими же соображениями, как и я. — И откуда только, подумаешь, люди деньги берут...

Мы проехали через весь базар, установленный такими же деревянными лавками, как и висимский, затем повернули в улицу, которая вела из Тагила в Екатеринбург, и остановились у маленького двухэтажного деревянного домика в три окна, где жила мать Терентия Никитича. Мне кажется, что у каждого дома есть

своя физиономия. Есть дома, которые прямо смотрят на вас такими приглашающими, добрыми глазами, как и домик, у которого мы остановились. В окно выглянула какая-то старушка в темном платочке на голове и, как мне казалось, посмотрела на меня с удивлением.

— А я думала, что это Алеша... — говорила она, когда недоразумение разъяснилось.

— Учиться едет, — говорил Терентий Никитич.

— Как же один-то?..

— Так уж вышло. Ничего, доедет...

И домик был добрый, и старушка добрая, и всякая мелочь домашней обстановки казалась мне доброю. Когда мы пили чай, старушка все смотрела на меня и качала головой.

— Не легкое место доехать до города, — думала она вслух. — Мал еще... Чего бы не случилось дорогой.

— Чему случиться-то? — сказал Терентий Никитич. — Вот найдет обратную подводу до Екатеринбурга и уедет. Тоже везде живые люди, а не звери...

— Так-то оно так, а все-таки мало еще место...

— Этакой-то богатырь да не доедет? — шутил Терентий Никитич, по своей привычке гладя меня по спине.

Он тут же дал мне и совет, где нужно будет искать «обратную подводу». Прежде всего надо обойти постоялые дворы около базара, где останавливаются обозные ямщики, и спросить, нет ли обратных в Екатеринбург. Потом по нескольку раз в день нужно обходить базар и спрашивать в хлебных лавках и т. д.

Терентий Никитич прожил в Тагиле три дня и почти не бывал дома, кроме обеда и ужина. У него были свои заводские дела в главной конторе. Я с утра отправлялся на обход постоялых дворов и мучных лавок, но ничего подходящего не находилось. Были и ямщики и обозы, но не подходящие для меня: одни отправлялись по гороблагодатскому тракту в Пермь, а другие шли в Екатеринбург, но с какою-нибудь кладью, так что мне места не находилось.

— Куда ты на возу-то поедешь? — объясняли загорелые, бородатые ямщики, говорившие со мной, как

с большим человеком. — Задремлешь ночью и как раз с возу скатишься где-нибудь в нырке. Дорога-то теперь — не дай бог!.. За тебя же отвечай...

— А ежели поповича веревкой привязать к передку? — шутил кто-нибудь из молодых ямщиков. — Много ли в нем весу: с пуд не будет.

Старые ямщики останавливали это балагурство и советовали мне подождать пустой подводы.

— Ужо из города подвезут хлеба, ну, обратно пустые поедут, — вот это тебе в самый раз. Лежи себе в телеге, как колобок...

Мне нравилось, что ямщики говорили со мной, как с большим, и я старался говорить, как говорят большие.

— Ничего, подъедут с хлебом, — успокаивал Терентий Никитич, когда я ему давал отчет о своих поисках.

Прошло три дня. Терентий Никитич еще с вечера предупредил меня, что завтра утром уезжает домой. Я отнесся к этому известию довольно равнодушно; но утром, когда Паньша принялся закладывать лошадей, мое настроение сразу изменилось. Мне сделалось ясно, что уезжает последний знакомый человек и что теперь я остаюсь уже окончательно один. Я не мог отойти от лошадей, казавшихся мне почти родными, смотрел на Паньшу влюбленными глазами и завидовал каждому колесу, потому что оно покатится в милый, родной Висим. Меня вдруг охватила смертная тоска, какой я до сих пор еще не испытывал. Боже мой, с какой радостью я опять вернулся бы к себе домой!.. В горле стояли слезы, и я молча наблюдал, как Терентий Никитич собирался домой. Да, он увидит и своего Алешу, и моего друга Костю, и мою мать, которая будет спрашивать обо мне, и родные зеленые горы.

— Ну, кажется, пора? — повторял Терентий Никитич, присаживаясь перед отъездом, по русскому обычаю, отдохнуть. — Жаль, что ты пока не нашел попутчиков... Ну, ничего, найдутся.

Я уже не мог ничего говорить, а только кусал губы в молчаливом отчаянии.

Когда Терентий Никитич простился и сел в экипаж, меня охватило такое отчаяние, описать которое нет слов. Вероятно, человек, которого оставляют на необитаемом острове или хоронят заживо, испытывает нечто подобное. До сих пор я не плакал, а тут разрыдался неудержимо, до истерики, так что плохо помню, как Терентий Никитич выехал.

Жизнь каждого человека идет не ровным током, а чередующимися между собой повышениями и понижениями, в результате чего получается кривая, вроде тех, какие выходят на сфигмографе, записывающем биение нашего сердца. Да, идет день за днем, проходят недели, месяцы и годы почти незаметно, и вдруг это мирное течение нарушается каким-нибудь событием, которое имеет решающее значение на всю последующую жизнь, как было и в данном случае. И солнце так же светит, и кругом люди так же предаются своей обычной суете, и нигде нет никаких заметных перемен, а для вас мир уже совсем другой, и люди кажутся другими, и сами вы уже не тот, каким были еще вчера...

До сих пор у меня сохраняется чувство глубокого сожаления к тем детям, особенно к новичкам, которых каждую осень везут из родной глуши куда-нибудь в город. Я страдаю за них, снова переживая то, что было когда-то пережито. Напрасно говорят, что дети чувствуют одностороннее больших, потому что их собственный жизненный опыт еще только начинается и в силу этого душевный кругозор невелик, — у каждого чувства своя собственная география, которая и велика и мала, смотря по обстоятельствам. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как тогда Терентий Никитич уезжал домой, и никакие наслоения дальнейшего жизненного опыта не в силах заслонить этот роковой момент, точно он увозил с собой мое действительно счастливое, золотое детство...

Как милая старушка ухаживала за мной, как утешала и со святым терпением выслушивала бурно вырвавшееся детское горе! Я ей рассказывал об отце, о матери, братьях и маленькой сестренке, которых всех так любил. Мне припоминались те случаи из детской жизни, когда я огорчал отца или мать, и мне казалось,

что я неисправимый злодей. Да, улететь на крыльях в Висим, всего на несколько минут, чтобы сказать все, все...

— Только до рождества подождать, а потом на святки домой, — уговаривала меня старушка.

Меня успокаивали не самые слова, а тот тон, которым они говорились: так знахарки заговаривают и унимают кровь...

IV

Пока я искал обратных ямщиков, погода испортилась. Началось тяжелое осеннее ненастье. По базарной тагильской площади едва можно было пройти, — везде стояла грязь по колено. На постоялых дворах было еще хуже, — там и в хорошую погоду всегда было грязно, а сейчас в этой грязи чуть не тонули лошади. Я и сейчас не могу без ужаса вспомнить об этих постоялых дворах, представлявших собой сплошную помойную яму. Во дворе — непролазная грязь, а в избе, где набивалось на ночь ямщиков двадцать человек, буквально нечем было дышать. Да кроме того, благодаря русской печи, в которой варилось, жарилось и пеклось иногда для целого обоза, стоял настоящий банный пар, от которого непривычному человеку можно было задохнуться. Но богатырская натура ямщика все переносила и еще лезла на печь.

Шатанье по этим постоялым дворам на меня производило самое угнетающее впечатление. Да и ненастье не радовало, потому что впереди предстояло ехать в совершенно открытом экипаже, то есть в простой обозной телеге.

После томительных поисков в течение пяти дней я, наконец, натолкнулся на обратных ямщиков. Как-то иду по базару, где стояли возы с огурцами, и вижу, что около одного воза собралась кучка любопытных. Подхожу и делаюсь свидетелем следующей сцены. Какой-то бойкий торгаш покупает два неполных воза огурцов, причем продавцы никак не могут с ним сговориться.

— Ты купи сперва у меня воз али сперва у

брата, — повторил бородатый мужик-огуречник. — Ну, а потом торгуй другой воз...

— А ежели я хочу купить оба воза зараз? — настаивал на своем торгаш. — Вам же лучше...

Мужики-огуречники долго мялись, почесывая в затылках. Собравшаяся у возов публика приняла живое участие в их затруднительном положении.

— Да вы, олухи, продавайте, а потом деньги пополам и разделите. Братьям легче делиться...

— Огурцы-то у нас разные, — объяснили братья. — Трудно делиться будет.

Торгаш, наконец, как-то уломал, и дело было кончено. Я воспользовался моментом и узнал, что огуречники едут в Екатеринбург порожняком. Старший брат согласился меня довезти и назначил цену два рубля. Я попробовал что-нибудь выторговать, но это оказалось напрасным.

— Вон какая непогодь стоит, — объяснял ямщик, — а ехать надо полтораста верст.

Отъезд из Тагила прошел для меня в каком-то тумане. Острое горе разлуки сменилось тупым настроением. Прощаясь с милою старушкой, которая так ухаживала за мной все эти дни, я уже не плакал. Мои огуречники приехали за мной рано утром. Шел мелкий осенний дождь «сеногной». Оба брата поместились в передней телеге, предоставив в мое полное распоряжение заднюю, где из соломы и сена было устроено мне лежанье. Мой мешок служил мне подушкой. Когда я поместился в телеге, старший брат, огуречник Николай, прикрыл меня сверху рогожей.

— Вот тебе и пуховое одеяло, — шутил он. — Все-таки не каждая капля мимо.

Русский человек не может обойтись без шутки, как бы плохо ни было дело.

Милая старушка перекрестила меня на прощанье и дала несколько советов огуречникам, как нужно следить за мной, чтобы я не промок дорогой и чтобы меня не обворовали где-нибудь на постоялом дворе.

— Уж будьте спокойны, — уверяли огуречники, — предоставим в лучшем виде.

Наши телеги тронулись. Старушка стояла у ворот

и крестила меня издали. Милая старушка, вероятно, давно умерла, но я и сейчас вспоминаю ее с глубокою благодарностью, как человека, который так просто, хорошо и тепло отнесся к первому детскому горю.

Когда наши телеги тронулись, я вспомнил, что не успел сбегать на главную заводскую площадь, где стоял памятник, и проститься с родными горами и роднею дорогой в Висим. Почему-то мне казалось, что именно эта площадь являлась лично для меня роковою гранью, отделявшею родное от чужого. За этой площадью оставалось все дорогое, родное, а впереди начиналась та чужая, дальняя сторонушка, о которой так много говорится в русской народной песне.

Уже при выезде из Тагила я имел удовольствие почувствовать все прелести путешествия в телеге по испорченной ненастьем грунтовой дороге. Сначала мне показалось очень удобным лежать в телеге; но когда она начала нырять по заторам и рытвинам, делать жестокие толчки о камни, я переменил свое мнение. Нужно сказать, что сибирская ямщичья телега в своем роде — идеальное сооружение, начиная с того, что, за исключением железной оковки колес и железного курка, она вся деревянная до последнего гвоздя. Затем, она вся слажена неизвестным механиком необыкновенно остроумно, до того включительно, что ее можно починить и поправить где угодно. В ней рассчитан каждый гвоздь, каждый вершок, каждый оборот колеса, и только на ней можно было ломать путины по сибирским трактам тысячами верст. Она необыкновенно легка на ходу, потому что переднее и заднее колеса почти сходятся; затем легка на повороте, потому что передние колеса, несмотря на свою величину, свободно подвертываются под кузов, и, наконец, кузов поставлен так, что возовая тяжесть распределяется наивыгоднейшим образом для лошади. Воз не мотается на ходу, легко добывается из зажор, и в такой телеге везде можно проехать. Российская телега ничего общего с сибирской не имеет, — длинна, высока, неповоротлива и вообще тяжела.

Мое «пуховое одеяло» быстро промокло, и сквозь него начала сочиться холодная дождевая вода. Это

было пренеприятное чувство, когда она пробиралась холодной струйкой куда-нибудь за воротник или в рукава. Приходилось устраивать дождевой сток, пользуясь сгибами рогожки; но эти невинные хитрости помогали мало. А наши две телеги тянулись по разъезженному и избитому тракту с убийственной медленностью, — вероятно, не больше трех верст в час. До первой станции, «Грань», было двадцать пять верст, и я высчитал, что мы приедем туда уже после ямщичьего обеда, то есть далеко за 12 часов дня. А там лошади должны отдохнуть, потом их будут кормить, и дальше мы двинемся только к вечеру. Впереди предстояло провести всю ночь под дождем. Вообще картины рисовались совсем не радужные. А мои огуречники сидели себе на первой телеге и с ожесточением производили расчеты за проданные огурцы. Николай лежал, а его брат стоял на коленях и все время по пальцам доказывал какую-то арифметическую выкладку.

— Нет, ты погоди! — кричал младший брат, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие.

Я слышал только одно слово «огурцы», которое повторялось на все лады, и завидовал, что не могу послушать интересного разговора.

На наших горных заводах огурцы на грядах не поспевали благодаря весенним заморозкам, и этот овощ является для нас осенним гостем, когда его привозили из соседних, более теплых уездов, что случалось только поздней осенью. Привозный огурец был обыкновенно перезрелый, желтый и мятый, с пустотой внутри. У нас дома огурцы выводились в тепличке и в парниках и являлись летом своего рода лакомством. Мои огуречники оказались перекупщиками. Они покупали огурцы в Екатеринбурге, везли их продавать на заводы, причем являлся немалый расчет получить обратную кладь. В данном случае последний расчет не оправдался, и мои огуречники имели обиженный вид промотавшихся людей.

Во всяком положении есть какое-нибудь утешение. Лежа под своею рогожкой, я сделал маленькое окошечко и смотрел на попадавшихся пешеходов, мокрых и по колено в грязи. Ведь им было еще хуже, чем мне.

Потом немалым утешением являлись для меня «подорожники», которые мама запрятала в особый узелок. Особенно хороши были пирожки с кишмишем. Я ехал и вспоминал любящие руки, которые позаботились обо мне.

V

На станции «Грань», состоящей всего из нескольких домов, мы простояли почти до самого вечера. Лошади отдохнули и наелись, а мои огуречники продолжали медлить, потому что никак не могли подвести счетов за проданные огурцы. Дело было близко к ссоре, и я начал опасаться, что они возьмут и бросят меня вот здесь на станции. Последняя мысль явилась на том основании, что и я каким-то образом входил в этот же роковой огурцовый счет, и старший брат, Николай, который, собственно, взялся везти меня, уже несколько раз повторял:

— А мне он что, кутейник? Да наплевать, вот и все...

— А два цалковых ты все-таки получишь? И огурцы у тебя были мельче...

— А у тебя трех десятков не хватало до пятисот...

— Да ведь купец не считал мои огурцы, а купил на глаз.

— Мне это все единственно...

А дождь все продолжал идти, мелкий, назойливый, неумолимый, точно все небо превратилось в одно громадное сито, сквозь которое сеялось ненастье. С «Грани» мы выехали только под вечер. Я переменил свою подстилку на сухую, а мокрая рогожка так и осталась мокрой, да и своего верхнего пальто я не мог просушить. Мои огуречники поступили по-спартански — бросили мокрые рогожи, которыми прикрывались, и отдали себя на жертву стихии. Они опять ехали на передней телеге и опять спорили до хрипоты, проклиная проклятого тагильского торгаша, который подвел обоих.

Темнота быстро сгущалась, и мне начало казаться, что и дорога здесь хуже, и лес выше, и опасность уве-

личивается с каждым шагом вперед, особенно когда лошадь, чтобы выворотить засевшую в грязи телегу, сама делала крутой поворот вбок и, как говорят ямщики, «выхватывала» телегу. На счастье, мало попадалось встречных, а то разъезд в темноте каждый раз представлял собой опасность полететь вместе с телегой куда-нибудь в канаву. А тут еще дождь... Время, казалось, остановилось. Меня опять охватило отчаяние. Мне некого было стыдиться, и я горько рыдал, уткнувшись головой в мешок. Опять перед моими глазами проносились картины счастливого детства, вся обстановка родного гнезда, дорогие лица, и я опять повторял свое детское прошлое шаг за шагом, точно заучивал урок. С другой стороны, мне рисовалось грозное будущее, материалом для которого служили рассказы брата и мой личный трехдневный опыт. Да, там впереди ждала бурса, неистовая, мрачная, дикая, о которой я наслышался с раннего детства. Я был уверен, что никогда больше не вернусь в Висим и что пришел мой конец, а моя телега катится в какую-то мрачную бездну, где нет ни солнечного света, ни голубого неба...

Это была вообще ужасная ночь, бесконечная, темная, холодная ночь. Наши телеги ползли по сплошной грязи, как две черепахи, и только мои огуречники не унимались и спорили всю ночь. Я жадно прислушивался к долетавшим до меня обрывкам фраз и точно хватался за них, чтобы не потерять окончательно чувства действительности. Мне начинало казаться, что вопрос об огурцах действительно сейчас самый важный и от его решения зависит все. Даже наши лошади, по моему мнению, чутко прислушивались к хозяйскому спору и в такт ему иногда очень выразительно фыркали.

Следующею станцией был Невьянский завод, старейший из уральских заводов, и я плохо помню, как мы, наконец, добрались до него. Меня охватила, понятно, мертвая дремота, и я, как сквозь сон, слышал мерные и гулкие удары церковного колокола. Это был праздник успенья, и звонили к заутрени. Кое-где в избах светились огоньки и топились печи. Потом наши телеги точно были проглочены деревянными воротами постоялого двора, запруженного обозными те-

легами, лошадьми и отчаянно галдевшей ямщиною. На мне, как говорится, не было сухой нитки, и я едва мог вылезти из телеги: больно было пошевелиться. Изба, конечно, была битком набита народом. Ямщики тоже были мокрые, и на них рубахи дымились от пара. Меня больше всего беспокоила мысль о моем мешке, который мог исчезнуть в этой суматохе совершенно незаметно. Меня выручила артельная стряпуха.

— Полезай на печь, там и высохнешь, — научила она, помогая мне втащить мешок на печь. — Ну, и ненастье ударило. Все мокрёшеньки, точно из болота вылезли...

Печь была натоплена жарко, меня сразу охватило благодетельное тепло, и я сейчас же заснул мертвым сном, а проснулся только к раннему ямщичьему обеду, то есть в восемь часов утра, вернее сказать, меня едва разбудила та же стряпуха.

— Вставай, милый, мужики уж за стол садятся. А то тебе ничего не достанется.

Когда я поместился к артельному столу, кто-то из ямщиков иронически заметил:

— Ну, это настоящий едок, значит... В артели-то, пожалуй, таких и невыгодно кормить.

Все смеялись, но мне было не до смеха. Кто-то из стариков оговорил зубоскалов, и водворилось молчание. Ели все медленно, солидно, как едят только в артели. Ямщичий аппетит славится своими колоссальными размерами, и больше ямщиков обозных едят только пильщики. На постоялых дворах везде кормят ямщину на убой, и на стол подается иногда до десяти перемен: тут и щи, и похлебка, и пироги, и каша, и рыба, и жареное мясо. В середине такого богатырского обеда кругом стола начинает ходить громадный деревянный жбан с квасом, в котором по очереди исчезают ямщичьи головы. Я делал то же, что и другие; но кислый мужицкий квас мне не понравился, да и деревянный жбан был такой величины, что я едва его мог держать в руках.

— А ты, миляга, побольше пей кваску, — советовал кто-то из едоков. — Штобы дух заперло.

При отъезде из Невьянского завода я был огорчен

неприятным для меня известием, именно, что мои огуречники свернут как раз на половине дороги в свое Аяцкое село, до которого от верхотурского тракта было верст шесть. Причин для такой остановки было достаточно: «пересобачились кони» от скверной дороги, «хлябало» заднее колесо у передней телеги, а главное, как мне кажется, мои огуречники хотели закончить свои расчеты в семье. Я боялся опоздать в училище, но делать нечего, приходилось соглашаться. Отдохнув в Невьянском заводе, я уже чувствовал себя бодрее.

До села Аяцкого было верст тридцать, и мы ползли чуть не целый день.

Эта остановка заняла четыре дня и не показалась мне скучной. Дом у моих огуречников оказался хороший, и все хозяйство было поставлено по-настоящему. Уж хорошо было одно то, что мы могли отдохнуть, как следует, а главное — обсушиться. Приехав домой, мои огуречники оказались самыми добродушными и очень гостеприимными людьми. Как потом выяснилось, они были из духовного звания, дети какого-то дьячка, а потом «переписались в мужики». На мой вопрос, как это случилось, старший, Николай, с улыбкой объяснил:

— А я табак любил курить, ну, меня и выгнали из училища, а дома отец выгнал. Ничего, и в мужиках люди живут. Не чужой хлеб едим...

Мне этот ответ очень понравился, и я даже подумал, что мужику лучше жить, чем нашему дьячку Николаю Матвеичу. В самом деле, отчего не сделаться мужиком? Чем больше я раздумывался на эту тему, тем легче мне делалось. Что бы ни было впереди, а мужиком всегда можно сделаться... Я с особенным вниманием осматривал все хозяйство моих мужиков, и мне решительно все нравилось. Изба совсем хорошая, потом всякие хозяйственные пристройки, большой огород, в огороде — своя баня, лошади, коровы, овцы, чего же еще может желать человек? Решительно, хорошо быть мужиком!..

В Аяцком на меня произвело тяжелое и неприятное впечатление только одно, именно — «детский мор». Все село было охвачено эпидемией дизентерии, и я в окна своей избы каждое утро видел, как мужики и бабы та-

щили подмышкой или на полотенцах маленькие детские гробики. Меня удивляло, что никто не плакал и не убивался, а все относились к своим покойникам с каким-то тупым равнодушием.

— Ангелочки все будут, — объяснила мне жена старшего брата, Николая. — У большого-то человека сколько грехов накопится, а это всё ребячьи безгрешные душеньки...

VI

От села Аяцкого до Екатеринбурга оставалось семьдесят пять верст, и мы сделали их в двое суток без особенных приключений. Ненастье кончилось, и когда мы въезжали в город, светило яркое солнце. От Висима до города было около двухсот верст, и мне пришлось ехать чуть не две недели. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, а я приехал здоровым и бодрым, чтобы начать новую жизнь.

Николай довез меня до моей будущей квартиры и, вытаскивая из телеги мой мешок, говорил:

— А вот выучишься, человеком будешь... да.

Не могу не сказать здесь, что в моих детских воспоминаниях совсем нет злых и неприятных людей, и я всякий раз с особенным удовольствием уношусь мыслью в далекое прошлое.

С момента, когда Николай водворил мой мешок в квартире, начался мой школьный период, и я окончательно сделался «отрезанным ломтем».

ДЕДУШКА СЕМЕН СТЕПАНЫЧ

I

Как оказалось, я приехал раньше, чем следовало. До «открытия классов» оставалось еще несколько дней, в пустой ученической квартире мне было решительно нечего делать, и я решил съездить к своему

деду Семену Степанычу, который служил дьяконом в в селе Горный Щит, до которого от Екатеринбурга было всего шестнадцать верст. Эта поездка к деду явилась для меня громадным утешением, потому что в большом городе я чувствовал свое полное одиночество с особенной яркостью, как случайно забежавший из леса в селение заяц.

Нужно было найти «обратную подводу», в чем я уже напрактиковался, и отправился прямо на хлебный рынок, где останавливались горнощитские мужики. На мое несчастье, как раз такого «обратного» горнощитского мужика не оказалось: нашелся выпивший мужичок из села Макаровского, который за тридцать копеек согласился сделать крюк верст в шесть.

— Доедем как-нибудь... — повторял он заплетавшимся немного языком.

Торг происходил довольно упорный, причем, сторговавшись за тридцать копеек, я нашел эту сделку настолько выгодной, что решился допустить некоторую роскошь и отправился с своим возницей в обжорный ряд. Никакой русский город, как известно, без обжорного ряда существовать не может, а в Екатеринбурге он особенно бойко торговал, потому что в бойкий город съезжалось много крестьян из соседних деревень, да к этому еще нужно прибавить обозную ямщину. От хлебного рынка до обжорного ряда было рукой подать — перейти одну небольшую улицу. Он помещался под громадным деревянным навесом, из-под которого еще издали можно было расслышать отчаянные вопли торговок, зазывавших покупателей на все лады, а главное, неистово ругавшихся между собой. Под навесом расставлены были длинные деревянные столы, не отличавшиеся особенной чистотой. Прямо на этих столах совершалось и приготовление кушанья, и его продажа, и потребление. Тут же торговали ржаным хлебом, сайками и калачами, квасом и сбитнем. Но главная торговля шла около «горячего». В особых котелках и железных печках, подогреваемых жаровнями, варили решительно все, что только может представить себе самое смелое воображение. Тут были и щи, и по-

хлебка из осердья (осердье — легкое с сердцем), и вареная печенка, и студень, и разваренные бычачьи головы, и пирожки, и пельмени. В средине шестидесятых годов, к которым относятся мои воспоминания, в Екатеринбурге все было очень дешево, особенно мясо, благодаря степному скоту, который пригонялся сюда из Оренбургской губернии. На две копейки неприхотливому человеку можно было наесться досыта — на копейку чашка щей, а на другую копейку фунт хлеба. Так и сделал мой возница, а я поддался соблазну и допустил роскошь. Именно, на одну копейку купил два пирожка с мясом, которые назывались «сподобами» и, кажется, нигде больше не приготовляются, как только в екатеринбургском обжорном ряду, — это почти в ладонь величины дутые пирожки с начинкой из мяса, в которые вливается мерка бульона. Вещь очень вкусная, хотя начинки полагалось и недостаточно. На вторую копейку я съел десяток пельменей, и, как сейчас помню, они были удивительно вкусны. Все столы были заняты, и торговки кричали с таким азартом, что мне сделалось страшно за человека. Конкуренция совершалась у всех на глазах, и я только удивлялся, откуда берутся такие голоса и азарт. Впоследствии мне иногда приходилось бывать в этом обжорном ряду, когда по праздникам мы, школьники, хотели полакомиться «сподобами», и у меня об этом обжорном ряде осталось теплое детское воспоминание, как об обедах с бурлаками на барках и башкирских кушаньях. Конечно, по части чистоты можно пожелать многого, но, как говорят матросские артельные повара, — «за вкус не ручаюсь, а горячо сварю».

Допустив роскошь, я сейчас же раскаялся в своей слабохарактерности. Ведь деньги так и плыли: там пятачок, тут гривенник, — моя касса подвергалась медленному разгрому. Мне было дано шестнадцать рублей, и этих денег должно было хватить до самого рождества, а я проедался по обжорным рядам... Мне припомнилась история двух дьячков, которую рассказывал отец, и оказалось, что я поступил, как неразумный дьячок. Цену деньгам я знал отлично с раннего детства и понимал, что отец отдает последние гроши

на наше воспитание с братом, а там дома еще два маленьких рта.

Мой возница сходил еще раз в кабак, стоявший на хлебной площади у Сплавного моста, и окончательно захмелел.

— Доедем как-нибудь... — повторял он икая.

Я всячески торопил его и ужасно был рад, когда мы, наконец, тронулись в путь.

Екатеринбург в средине шестидесятых годов еще сохранял следы военного города, потому что он служил центром уральской промышленности, а она находилась на военном положении. Правильные улицы, почти везде тротуары и тумбы, — последние меня очень занимали, потому что у нас в Висиме не было ни одной тумбы. Военная щеголеватость и чистота простирались далеко за черту города, окаймленного широкой полосой соснового бора, который хранили как зеницу ока. В этом сосновом лесу царила поразительная чистота, точно все было подметено. Происходило это оттого, что деревьев не позволялось рубить и городская беднота подбирала весь валежник, хворост и обломанные сучья.

Дорога из Екатеринбурга в Горный Щит шла именно через этот лес. Впечатление портили только салотопенные заимки, заражавшие воздух ужасным зловонием на целую версту. На границе леса стоял лесной кордон, на котором жили лесные сторожа, ловившие лесоворов. Как доказательство их неусыпной бдительности, на кордоне гнили десятки захваченных у лесоворов бревен. Я проезжал мимо этого кордона десятки раз и никогда не мог понять, для чего отнимали эти бревна, если они, как оказывалось, никому не нужны были.

Мы только что миновали кордон, как чуть не разыгралась настоящая драма. Как раз в лесу была повертка в Макаровку, и мой возница хотел ехать по ней.

— Ведь ты должен везти меня в Горный Щит? — проговорил я, выхватывая вожжи.

— Вылезай... всё равно... — бормотал захмелевший окончательно возница, стараясь вырвать у меня вожжи. — А я домой...

Положение получалось критическое. Дело в том, что я мог бы дойти до Горного Щита и пешком, но со мной был мой дорожный мешок. Опасности создают героев, и я поступил с отчаянной смелостью. Мы сидели посреди телеги на деревянной доске, и я столкнул своего коварного возницу в задок телеги, а пока он барахтался, я ударил лошадь хлыстом, и повертка осталась назади. К моему удивлению, возница нисколько не рассердился, а поместился опять рядом со мной как ни в чем не бывало и, потряхивая головой, повторял:

— Ах, ты... дда-а... Ничего, как-нибудь доедем.

Впоследствии мне приходилось изъездить по Уралу тысячи верст, но это был единственный случай неосуществившегося насилия, хотя уральское население вообще особенной мягкостью характера не отличается.

Я до сих пор с особенным удовольствием вспоминаю эту дорогу в Горный Щит, особенно вторую ее половину, которая начинается от села с странным названием — Елисавет. Дорога идет по настоящему сибирскому чернозему, а кругом зеленеют бесконечные пашни. В хорошую погоду ничего не может быть лучше, как езда по такому проселку. Телега катится по мягкой, убитой дорожке среди живых стен ржи, овса, ячменя и пшеницы. Вдали кое-где зелеными шапками выделяются лесные островки, еще дальше синеет линия далекого леса, по речкам и ручьям все запушено вербой и ольхой, — вообще хорошо, и как-то чувствуешь вот этот благодатный чернозем и какую-то особенную свободу, точно и небо здесь выше, чем в горах.

II

Горный Щит — довольно большое село, раскидавшее свои избушки по берегам мелкой речонки, в которой летом буквально было курам по колено. Летосчисление здесь, как и в других деревнях, где появляются соломенные крыши, велось по пожарам. По дороге из Висима до Горного Щита нигде не было ни одной избы с соломенной крыщей, а здесь уж чувствовался

недостаток в лесе, и приходилось доски заменять соломой. Издали еще виднелась высокая белая каменная колокольня. Церковь в Горном Щиту была новая, но построена по-старинному, в два этажа, — в нижнем помещалась теплая зимняя церковь, а в верхнем — холодная, летняя. Около церкви расстилалась зеленой полянкой большая площадь, а в дальнем ее конце стоял низенький деревянный домик, глядевший на мир божий своими маленькими оконцами с каким-то старческим добродушием. В отличие от наших заводских построек этот уютный домик был крыт не кровельным тесом, а сосновыми драницами. Это и был домик дедушки Семена Степаныча. К воротам вела узенькая тропка, потому что в течение года на колесах подъезжали к нему, может быть, всего раз десять. Калитка держалась на запоре, и нужно было постучать в окно кухни, тогда в нем появлялось немного встревоженное лицо моей прабабушки Феофилы Александровны, восьмидесятилетней старушки. Она недоверчиво оглядывала гостя, дергала веревочку, и калитка открывалась. Мне нравилось устройство двора, содержавшегося в величайшем порядке. Он делился на три части, — прямо от ворот шел, так сказать, проезжий двор, усыпанный и утрамбованный мелким песком; он упирался в целый ряд деревянных хозяйственных построек — амбары, погреб, сарай. Линия хозяйственных построек занимала весь задний план и кончалась небольшой баней. От ворот шел глухой забор, отделявший вторую часть двора, где была великолепная зеленая полянка, и дедушка косил здесь траву.

— Для чего вам, дедушка, сено, когда у вас нет ни коровы, ни лошади?

— А гости приедут?

Эта заботливость была особенно трогательна, потому что гости, то есть два зятя, приезжали года через два.

Налево за домом шло третье отделение двора, прикрытое деревянным навесом, где хранились дрова и разный хозяйственный скарб, боявшийся воды. В этом отделении висела у столба железная рукомойка (на Урале чаще говорят — рукомойка, а не рукомойник),

и нам, малышам, доставляло большое удовольствие умываться здесь по утрам холодной ключевой водой.

Меня удивляло, что, когда ни приедешь к дедушке, все находится в том же виде, как и десять лет тому назад, точно самое время здесь остановилось, как в заколдованном царстве. Ни одной новой вещи, а все старые и знакомые неизменно стоят на своих местах, до ухватов бабушки у печки и горшков на полках включительно. То же самое во дворе, на погребе, в сарае и в бане. И сами хозяева всегда были дома, как их вещи, а прабабушка Феофила Александровна едва ли в течение года выходила за ворота хотя один раз. Удивительнейшей особенностью маленького дьяконского домика было то, что в нем не было часов, хотя дедушка имел полную возможность иметь и стенные и карманные часы.

— Для чего мне часы, Митус? — объяснял мне дедушка, — он всегда называл меня Митусом. — У меня самые верные часы: видишь две ели, которые растут в огороде отца Вениамина, — вот тебе и часы. Солнышко налево — значит, утро; солнышко над ними — значит, полдень; солнышко направо — значит, вечер. Это мои стенные часы. Их заводить не нужно, и починки не требуют...

— А в дождь как?

— В дождь... Ну, тут у меня карманные часы действуют, — объяснял старик, хлопая себя по желудку: — захотел есть — значит, двенадцать часов. Эти часы подороже будут стенных, потому что каждый день требуют и завода и починки...

Одним словом, день здесь еще не дробился на часы, потому и самое время здесь катилось с такой же медленностью, как вода в горнощитской речонке. Там, где-то за горами, долами и лесами, человечество изнывает в суете и вечной тревоге, рассчитывая каждый час и каждую минуту, а здесь, в этом маленьком домике, день прошел, — и слава богу!

И в этот раз, как всегда, дедушка и бабушка были дома, когда я довольно торжественно подъехал на своей телеге к воротам. Выглянуло сморщенное лицо

Феофилы Александровны, а из-за ее спины раздался веселый голос дедушки:

— А, Митус!

Покачивавшийся на ногах мужик внес мой мешок в «горницы» и получил стаканчик водки. Бабушка внимательно осматривала меня с ног до головы и почему-то качала головой. Это была полная старушка, ходившая по комнате с трудом и постоянно охавшая, что не мешало ей работать с утра до ночи и вести все хозяйство. В последние годы, по временам, бралась на побегушки какая-нибудь девчонка лет двенадцати, обязанности которой, главным образом, заключались в том, чтобы стрелой нестись в амбар или на погреб и приносить оттуда искомое. Но, привыкшая всю жизнь управляться одна, старушка страшно волновалась, и ей все казалось, что девчонка делает все не так. Я лично не особенно долюбливал Феофилу Александровну, потому что она постоянно ворчала, особенно на меня, благодаря неистощимым детским шалостям. К особенностям бабушки принадлежало еще то, что она каждую фразу начинала с междометия «ох!». «Ох, надо печку топить... Ох, надо воду носить!» и т. д. Старушка употребляла еще двойственную форму падежных окончаний, теперь окончательно вышедшую из употребления.

Дедушке Семену Степанычу было всего за пятьдесят лет. Это был небольшого роста очень крепкий мужчина, фигуру которого портил только как-то смешно округлившийся живот, и мне, когда я был маленьким, казалось, что у него под подрясником спрятан арбуз, вообще что-нибудь круглое. Красивое русское лицо Семена Степаныча, с небольшой русой бородкой и строгими серыми глазами, точно светлело от каждой улыбки. Он оставался неизменно спокойным, с какой-то строгой ласковостью в обращении, и каждое его слово имело вес.

— Ну, Митус, разве мы сегодня в баньку сходим? Хорошо с дороги распарить косточки...

Баня составляла в этом доме первое угощенье, в котором дедушка любил принять участие и сам.

— Ох, он хочет есть, — спорила бабушка.

— Что же, сначала закусим, а потом и в баньку, — согласился дедушка.

У старушки была страсть всех кормить, и ей казалось, что все голодны. Обед полагался ранний, и мне пришлось довольствоваться холодными остатками, на которые я накинулся с волчьим аппетитом. Старушка принялась ставить самовар и все охала, поглядывая на меня, а дедушка похаживал по комнате и курил деревянную крестьянскую трубку. Эта последняя составляла предмет нашего жгучего детского любопытства, потому что дедушка не любил раскуривать ее спичкой, а высекал огонь из кремня на кусочек трута. Операция добывания огня этим старинным способом составляла мое любимое удовольствие, хотя стальной плашкой от излишнего усердия я и попадал часто вместо кремня по собственным пальцам. Дым от затлевшегося трута казался мне лучшим из всех ароматов, и я умолял дедушку, чтобы он позволял мне добыть ему огня, когда он, по его выражению, хотел после обеда «позолотить хлеб-соль». Бабушка добывала огонь лучинкой из печки, где загнета сохраняла жар целый день. Были серные спички, которые лежали в печурке, но к ним старушка прибегала только в самых крайних случаях, потому что не умела обращаться с новомодными спичками. Она брала такую спичку за самый конец, вероятно, чтобы не обжечь пальцев, долго и неумело чиркала ею по коробке и часто кончала тем, что только ломала спичку, не добившись огня.

В этом доме все делалось оригинально, до чаепития включительно. Самовар ставился на стол на особый поднос, чайник ставился на конфорку, и только наливали по одной чашке, как самовар сейчас же доливался, и приходилось ждать, когда он опять вскипит. Сколько выпивали чашек, столько раз ставили и самовар. Процедура довольно мучительная, особенно когда хотелось пить.

— Ох, растопится самовар, — охала старушка. — Какие нынешние самовары делают, только званье, что самовар.

У нас дома дело было совсем иначе, и я напрасно старался доказать бабушке, что самовар никогда не растопится, если его прикрыть крышкой.

— Ох, ничего ты не понимаешь, Митенька!..

Самовар считался новым и на этом основании находился в постоянном подозрении, но ему, вероятно, по меньшей мере было лет тридцать, судя по яйцевидной форме и ручкам.

III

Внутри домик дедушки состоял всего из двух комнат: кухни и собственно горницы. Кухня на одну треть была занята русской печью. Она служила и передней, и столовой, и приемной для не особенно важных гостей. Мне больше всего нравились полати, устроенные по-деревенски, где я любил спать. Обоев тогда не полагалось, и стены прямо по штукатурке окрашивали охрой или медным купоросом. Кухня содержалась в величайшей чистоте, и я не помню, чтобы в ней где-нибудь стояло неизбежное поганое ведро, лохань или что-нибудь подобное, что придает кухням такой непривлекательный вид. Собственно горница была втрое больше кухни и разделена зеленой ширмой на две половины, за ширмой была спальня дедушки и его гардеробная. Обстановка была самая скромная: простая деревянная мебель и маленький письменный столик в виде залавка, который заменял дедушке бюро, письменный стол и несгораемый шкаф. На столе лежали разные церковные деловые книги. Дедушка писал гусиными перьями и засыпал написанное мелким песочком. Полы были крашеные, и по ним шли домотканные дорожки из разноцветного тряпья. Ламп, как и у нас в Висиме, не полагалось, а по вечерам сидели с сальными свечами, что не составляло особенного неудобства, потому что долго «сумерничали» и ложились спать рано.

Главная особенность дедушкина домика от нашего висимского заключалась в том, что в нем не было книг... Были книги богослужебные, разрозненные тома какого-то духовного журнала — и только. О газете не

было и помину. Меня это страшно удивляло, и когда я приставал к дедушке с расспросами на эту тему, он с улыбкой отвечал:

— А для чего мне книги?

— Да ведь скучно без книги? А из газет вы бы знали все, что делается на свете...

— Ну, у нас отец Вениамин читает и все расскажет, что случится. Он все у нас знает...

— Ох, все знает, — подтверждала бабушка, почему-то считавшая о. Вениамина самым хитрым человеком на свете. — Ох, он такой уж... Ну, да бог с ним.

Впоследствии я разыскал в кладовой какие-то необыкновенные синие рукописи, переплетенные в тома. Это были семинарские сочинения дедушки, писанные на латинском языке. Он учился в ту пору, когда в семинариях царил этот язык и семинаристы свободно не только писали, но и вели диспуты по-латыни. Мне делалось как-то невыразимо грустно, когда я вспоминал наш висимский книжный шкаф и своих любимых авторов, и я не мог понять, как дедушку не интересует чтение. Мне казалось, что я очутился в каком-то другом царстве, среди неизвестных людей, которые меня не понимают и которых я в свою очередь не понимаю. Припомнился мне и мой друг Костя, с которым мы читали запоем, — ведь Костя нигде не учился, а дедушка дошел в семинарии до философии, — значит, учился всему. В мою душу закрадывалось сомнение в пользе школьного образования.

Баню дедушка всегда топил сам, и все материалы для этого у него заготовлялись заранее и хранились в величайшем порядке — особо наколотые дрова и растопки. Баня была маленькая и летом заменяла спальню. Чистота в ней соблюдалась идеальная. На этот раз угощение банькой для меня кончилось довольно печально, — дедушка закрыл трубу раньше времени, и я угорел до обморока. Дедушка вытащил меня в предбанник и едва отлил холодной водой.

— А еще заводский человек, — шутил он, — живете в дыму, а тут угару испугался.

Любимой темой для разговоров со мной у дедушки были поддразнивания заводским дымом. Я отчаянно защищал свой Висим, как самое лучшее место в свете, а дедушка улыбался и повторял:

— Копоть, дым у вас... А у нас — одна благодать. Поля, луга, лес... Воздух чистый. У вас ни одного жаворонка нет...

— А у вас нет гор, настоящих лесов, — спорил я.

— У вас и лес дрянной: ель да осина. А у нас бор... Идешь, как по ковру. Вот я осенью сколько сухих груздей и рыжиков наберу.

— А вы приезжайте в Висим и посмотрите. Сами увидите, что у нас лучше.

— И то собираюсь... Ужо как-нибудь приеду погостить.

Дедушка собирался лет двадцать и не мог собраться. В этом сказалась чисто русская черта — откладывать день за днем, оправдываясь перед самим собой разными предлогами.

Когда после обеда мы сидели за самоваром, разговор шел именно на тему о преимуществах Горного Щита, причем дедушка огорчил меня до глубины души, когда категорически заявил, что у нас на заводах живут одни разбойники.

— Ох, уж и наши горнощитские мужики хороши, — вступилась бабушка, — такие плуты, такие плуты, что и не выговоришь... Ни одному-то человеку поверить нельзя. Прежде еще бывали и хорошие люди, а нынче... ох, какой отчаянный народ пошел. Все пьяницы, все воры...

Бабушка Феофила Александровна страдала всю жизнь мыслью о погибели мира. К своим современникам относилась она с крайней подозрительностью, начиная с хитрого попа Вениамина и кончая собственным самоваром. Старушке казалось, что сейчас за стенами ее домика начинается бурное море коварства, лжи, обмана и самых губительных страстей. До известной степени она, вероятно, была и права, потому что за восемьдесят лет своей жизни насмотрелась всего достаточно. Горный Щит в этом отношении являлся особенно больным местом, потому что в качестве

подгородного села быстро усваивал плоды городской цивилизации. Мужики пили водку, бабы зорились на городские ситцы, кое-где появились уже самовары, некоторые мужики уходили на легкие городские заработки, бросая свои семьи, и т. д. Бабушка все это видела и душевно скорбела о несовершенствах мира вообще и специальных прегрешениях горнощитских обывателей в особенности. Зло начиналось сейчас же, стоило только выйти за ворота дедушкина дома, и бабушка на этом основании смотрела на мир божий через кухонное окошечко с большой подозрительностью и даже страхом, как смотрит напуганный пассажир из своей каюты в корабельное оконце на разбушевавшийся океан. Мне казалось, что бабушка Феофила Александровна — это старая-старая книга, с пожелтевшими от времени листами, в старинном переплете, и что, несмотря на ее ворчание, она все-таки добрая, как все старые книги.

Причин бояться всего на свете у бабушки было достаточно, потому что вся ее жизнь прошла в сплошном труде и вечных заботах. Она рано овдовела и осталась с двумя детьми на руках, которых приходилось воспитывать на вдовьи слезы. Ее дочь вышла замуж за дедушку Семена Степаныча и умерла очень рано, оставив двух девочек — мою мать и тетю Александру Семеновну. Феофила Александровна переселилась к зятю, воспитала сирот и выдала замуж. Вообще это была вечная труженица и очень умная женщина. К числу ее особенностей принадлежало то, что она почти в течение шестидесяти лет не ела никогда мяса, — это, кажется, сибирский обычай, чтобы вдовы вели полумонашеский образ жизни. Конечно, в детстве я не понимал и не мог по достоинству оценить своей прабабки и частенько огорчал ее своими шалостями.

— Ох, уж ты, как только ты и жить будешь! — ворчала старушка, качая головой. — Ох, трудно жить на свете, Митенька... Не дай бог, как трудно!..

У детской любви своя география, и она мне напоминает расходящиеся концентрические круги от брошенного в воду камня. Чем дальше от центра, тем слабее волна, так и детская любовь, которая в редких

случаях достигает прадеда или прабабки. А кто были прапрадед и прапрабабка, как они жили, что их радовало и печалило, — все это уже выходит из детского кругозора, и на этой роковой границе замирает детская любовь, как блуждающий огонек. Между прочим, в роду Феофилы Александровны был какой-то швед, вероятно, один из тех пленных шведов, которых царь Петр сослал на Урал для насаждения горного дела. Он прижился на Урале, женился и дал начало целой духовной фамилии Воинсвенских, — воин свенский — воин шведский. Я в детстве часто думал об этом таинственном предке-пленнике, для которого Урал сделался второй родиной, и мне делалось почему-то его жаль.

IV

Жизнь в дедушкином доме точно застыла, как стоит тихо-тихо вода где-нибудь в речном омуте. Один день походил на другой, как походят монеты одного чекана. Не было больше ни желаний, ни надежд, ни особенных забот, а только стремление сохранить настоящее, как оно есть. Даже не было мысли о наживе и деньгах вообще, в чем так любят обвинять наше духовенство. О деньгах как-то было не принято говорить ни в Висиме, ни в Горном Щиту. Еще в раннем детстве я задумывался над этим отсутствием всяких желаний и никак не мог понять причины. Для сравнения у меня перед глазами был покровский дедушка, Матвей Петрович, тоже дьякон, но человек крайне деятельный. Я его мало знал. Это был высокий, полный, седой, строгий старик с окладистой большой бородой. У него была большая семья, которую поднимать на ноги стоило громадных трудов. Одного дьяконского заработка, конечно, не хватало, и у дедушки была устроена в нижнем этаже его дома громадная столярная мастерская, дававшая возможность пополнять бюджет. Кроме столярного ремесла, Матвей Петрович занимался ювелирным делом. Вообще старик отличался деятельным характером и даже ходил на охоту. Так как дьякону запрещено это удовольствие, то ста-

рик брал с собой кого-нибудь из крестьян, давал ему ружье и так ходил в лес. И село Покровское не походило на Горный Щит, — это было настоящее бойкое сибирское село (Ирбитского уезда), вытянувшееся по тракту на целых семь верст. Зимой, когда открывалась ирбитская ярмарка, Покровское жило самой кипучей жизнью. День и ночь тянулись бесконечные обозы, летели тройки с купцами и т. д. В доме Матвея Петровича было всегда и людно и шумно, особенно когда собиралась вся семья. За стол садилось человек по двенадцати. Была жива и бабушка, но я ее совсем не помню, а помню только красивую и бойкую тетю Душу, красивую девушку, которая наполняла веселой суматохой весь дом. Особенно я любил, когда красавица Душа (уменьшительное от Авдотьи) что-нибудь пела своим светлым девичьим голосом. Дедушка Матвей Петрович был строг, и все его боялись, за исключением одной Души.

Только впоследствии я понял истинную причину разницы в жизни обоих дедушек. Дедушка Семен Степаныч овдовел рано, во второй раз жениться, как дьякон, не мог, и жена унесла из дома половину жизни, а вторую половину унесли дочери, когда вышли замуж. Семен Степаныч и Феофила Александровна просто доживали жизнь, не ожидая ничего в будущем, кроме «тихия и безболезненныя кончины».

В Горном Щиту я прогостил дня три и, между прочим, понял разницу, какая разделяет внуков: мой старший брат Николай, в качестве внучка № 1-й, имел большие преимущества передо мной, как перед вторым сортом. Очевидно, на внучка-первенца было израсходовано больше внимания и любви, а я появился на свет уже так себе. Прямо этого не высказывалось, но это не мешало мне чувствовать существовавшую разницу, и я утешал себя тем, что у себя дома в Висиме между нами никакой разницы не существовало.

— Ну, Митус, пора тебе в город, — заявил дедушка еще с вечера, когда мы ужинали в кухне. — Пора, брат, за науку приниматься...

У меня сжалось сердце от этих слов, — я только что отдохнул от дорожных волнений и своего пер-

вого детского горя, а тут приходилось все начинать снова.

Сборы в дорогу у дедушки обыкновенно начинались с вечера, точно он по меньшей мере готовился совершить экспедицию куда-нибудь к Северному полюсу или в Центральную Африку. Особенно волновалась бабушка.

— Ох, не потеряй ты что-нибудь дорогой-то... — давала она последние советы. — А то в городе-то еще украдут как-нибудь. Ох, какой нынче народ везде... Да в лавку-то к Ивану Михеичу заезжай, а то другие торговцы как раз обманут и подсунут не знаю что.

В Екатеринбурге, как была убеждена старушка, единственным порядочным торговцем был Иван Михеич, старичок с пожелтевшей от старости бородкой, у которого дедушка неизменно закупал все в течение тридцати лет. Дедушка и сам не верил честности остальных торгашей, но бабушка считала необходимым напомнить ему об Иване Михеиче каждый раз, точно он ехал в город в первый раз и не умел отличать правой руки от левой.

Утром мы поднялись чем свет, почему-то пили чай торопливо, точно спешили на поезд. У ворот уже стояла крестьянская телега, а около нее с кнутиком похаживал мужик, возивший дедушку в город. Он тоже был единственным в своем роде, как Иван Михеич в городе. Укладывая свой багаж в телегу, дедушка пересчитал все вещи несколько раз и наставительно повторял мне:

— Митус, помни: семь мест...

— Ох, непременно к Ивану Михеичу ступай, — наказывала из окна в последний раз Феофила Александровна. — Ох, ни к чему ведь приступу нынче нет... Денег-то не напасешься на торгашей. Ох, кожу с живого человека готовы они снять... Прямо к Ивану Михеичу.

Такой же наказ был дан и кучеру, который в ответ передвигал свой триповый картуз с одного уха на другое, — в Горном Щиту мужики носили триповые картузы, каких потом я нигде больше не встречал. Когда наша телега тронулась, Феофила Александровна долго крестила нас вслед.

Я сидел и молчал, подавленный новой разлукой. Вот за поворотом скрылся и дедушкин домик, и церковь осталась назади, и прогремел под колесами ветхий мостик через речонку, и точно убежали назад последние избенки с соломенными крышами, а впереди поля, поля и поля. Желтели убранные полосы, установленные снопами, чернели пары, начинали зеленеть озими.

— Благодать у нас, — любовался дедушка. — С хлебушком убрались, сена наставили, обсеяли озими, подняли пары, а как ударят заморозки, — начнется молотьба. А у вас в Висиме только и всего, что один дым...

Я больше не спорил, потому что чувствовал себя прескверно. У меня в ушах точно стучали слова бабушки: «Ох, трудно, Митенька, на свете жить»... Я это чувствовал, моё сердце сжималось все сильнее от грустного предчувствия грядущих бед.

Вот и поля кончились. Показался Елисавет. Дедушка показал на низенькое белое каменное здание, приютившееся у самой церкви, и проговорил:

— Вон воронье гнездо...

Он питал какую-то необъяснимую ненависть к монахиням, а в Елисавете они действительно вили себе гнездо. Это было отделение громадного Новодевичьего Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. В Елисавете у них была своя заимка, где велось всякое сельское хозяйство. Впоследствии, проезжая осенью рано утром мимо этой монастырской заимки, когда шла молотьба, я вспоминал сравнение дедушки, хотя молотившие хлеб монахини скорее походили на галок, а не на ворон.

В городе мы приехали, конечно, к Ивану Михеичу, который встретил нас фразой, которой он, вероятно, встречал дедушку не меньше тридцати лет:

— Что-то давненько вы не бывали у нас, отец дьякон?

— А денег шальных не было...

Когда были сделаны необходимые закупки, дедушка повел меня в ряды, где жались одна к другой деревянные лавчонки и просто лари. Кажется, старик

хотел мне что-то подарить и пробовал прицениться к разным вещицам; но когда торговец назначал цену, он махал рукой и говорил:

— Не по нам, Митус...

«По нам» оказалась только трехкопеечная сайка. Впрочем, я не огорчился этим «не по нам», потому что знал его раньше, а потом оно значило то же, что у моего отца «прихоти».

Дедушка подвез меня к моей квартире, но сам в квартиру почему-то не пожелал войти. Вероятно, из привычки не соваться в чужие дела. Я долго стоял у ворот, провожая глазами телегу, увозившую последнего родного человека. А в окно квартиры уж выглядывали любопытные детские лица, и слышались голоса:

— Новичка привезли... новичка...

Много прошло лет... Нет на свете ни дедушки Семена Степаныча, ни бабушки Феофилы Александровны, не стало и их уютного домика, — он после их смерти был куплен о. Вениамином и сгорел в один из пожаров, неизменно посещающих Горный Щит. Не стало и сельской тишины, которой так любил похвастаться покойный дедушка, — под самым Горным Щитом были открыты золотые россыпи, и мирное когда-то село пережило все муки охватившей его золотой лихорадки. В довершение всего, по тем борам, где дедушка собирал свои рыжики и грузди, прошла железная дорога, унося с собой последние остатки тихого жития.

НОВИЧОК

I

Детский мир, как я уже сказал, расширяется концентрическими кругами, и самые сильные привязанности помещаются ближе к центру, каким является родное гнездо. Первой ступенью после него являются

друзья детства, а следующей за ней — школьные товарищи.

Может быть, недостаток материала в детской душе по части впечатлений внешнего мира, может быть, особая чуткость и восприимчивость этого нежного возраста, — но эти привязанности сохраняются на всю жизнь с особенной яркостью, и понятна та радость, которую испытывают при встрече с друзьями детства и школьными товарищами. Ведь школа — вторая семья, в которой дети срастаются тысячью своих маленьких детских интересов, радостей, забот и огорчений.

С наступлением школьного возраста я много и часто думал о будущих школьных товарищах, причем у меня уже был и готовый материал для некоторых определенных представлений. Дома я несколько раз прочитал очерки бурсы Помяловского и знал приблизительно, что меня ожидает в недалеком будущем. У нас в Висиме служил единоверческий священник, о. Николай, типичный старый бурсак, отлично рассказывавший о своем времени. Мой отец, по органическому отвращению к бурсе, никогда не вспоминал о ней. Изредка, — очевидно, в утешение мне, — он говорил:

— Конечно, теперь другое время, новые порядки, а все-таки...

В общем, у меня составилась довольно определенная картина моего школьного будущего, но она совершенно исчезала, когда я начинал думать о будущих товарищах, как об отдельных лицах. Конечно, это будут поповичи, дьяконские, дьячковские и пономарские дети, Петры, Иваны, Николаи, но какие они будут сами по себе? Ведь каждый молодец на свой образец; у каждого, наконец, — своя собственная физиономия, характер и привычки; кто эти незнакомцы, с которыми придется жить в одной комнате, сидеть долгие годы в одном классе, за одной партой? Тут и будущие друзья и будущие враги... Говоря откровенно, я сильно трусил, потому что, хотя рос и бойким мальчиком, но не отличался особенным здоровьем и физической силой. А бурса признавала только один закон — силу и больше ничего не хотела знать. Благодаря своей хилости я вперед знал, что не буду играть никакой особенной

роли в кругу своих будущих товарищей, и в моих воспоминаниях об этом школьном периоде я являюсь самым невидным лицом.

Как я уже говорил, дедушка Семен Степаныч оставил меня у ворот моей квартиры, которая помещалась во втором этаже старого полукаменного дома с мезонином. Когда я тащил по двору свой мешок, из открытых окон меня провожали возгласы:

— Новичок приехал... Братцы, новичок!..

Ученическую квартиру держали две старые мещанские девицы, Татьяна Ивановна и Фаина Ивановна. Первая являлась главным ответственным лицом и распорядителем, а вторая заведовала кухней, которая была через двор. Собственно, наша квартира состояла всего из одной комнаты, выходившей на улицу тремя окнами и во двор — двумя; а другая маленькая комната была только дополнением. В этих двух комнатах помещалось нас шестнадцать человек, причем, конечно, о кроватях и тому подобных удобствах нечего было и думать. Спали все вповалку на полу, так что негде было, как говорится, яблоку упасть.

Но я забегаю вперед.

Первый момент знакомства с товарищами по квартире как-то у меня выпал из памяти, — и много их было, и слишком пестрая толпа. Как говорится, из-за леса невозможно было разглядеть отдельных деревьев. И пестро, и шумно, и незнакомо... Я присмотрелся к своей квартире только к вечеру, когда общая безличная масса распалась на свои естественные группы. Сначала все делились на старых и новичков, потом — по классам, наконец, — на деревенских и заводских. Новичков было почти половина и, за исключением меня, — всё мылыши, поступавшие в низшее отделение. Они так и жались отдельной кучкой, как цыплята, когда их курица бросает для следующего выводка.

Дореформенное духовное уездное училище делилось на три двухгодичных курса — низшее, среднее и высшее отделения. Высшеотделенцы представляли собой своего рода школьную аристократию, и это чувствовалось с первого раза. На нашей квартире их ока-

залось человек шесть, и они в качестве привилегированных людей заняли маленькую комнату, чтобы не мешаться с ничтожеством из других отделений. Среди них оказались двое заводских, что с первого же раза и послужило для меня связующим звеном, тем более что оба оказались из Демидовских заводов. Они встретили меня самым дружелюбным образом.

— Наш брат мастерко, — говорил рябой мальчик, лет пятнадцати, с какими-то сорочьими глазами, со стоявшими дыбом волосами и болезненно улыбавшимися бескровными губами. — Калены носки, жжены пятки, без подошв сапоги...

Другой, совсем молодой человек, с пробивавшимися черными усиками, заметил, что знает и моего отца и дюдю. Ему было лет восемнадцать, и, как я потом узнал, он в каждом отделении проучился по четыре года и теперь приехал в высшее отделение на вторые два года, что в общем составляло двенадцать лет. Первого звали Ермилычем, а второго — Александром Иванычем.

Из деревенских выделялся прежде всего красивый, пухлый мальчик с большими темными глазами, которого Александр Иваныч без церемонии называл «просвирней».

— Много летом-то просвир напекла, просвирня?

Обиженный белел от злости, но ограничивался одним ворчаньем, причем как-то забавно отдувал свои пухлые щеки и отпячивал губы. По фамилии — Илья Введенский. Как оказалось, училищный инспектор уже назначил его, как лучшего ученика, старшим по квартире, что имело громадное значение в жизни нашей маленькой общины.

Из деревенских стоит еще упомянуть о небольшого роста худеньком мальчике с улыбавшимися постоянно темными глазками. Товарищи по классу называли его «Хвостом», на что он нимало не обижался, потому что это была переходившая из поколения в поколение кличка всех Павлов Иванычей: Павел Иваныч Хвост, и только. Это был очень милый и крайне добродушный мальчик, который вскоре с квартиры попал в бурсу,

потому что у него умер отец и пришлось поступить в так называемые казеннокоштные, как была перекрещена alma mater бурса.

Остается сказать несколько слов об обстановке нашей квартиры, или, вернее, об ее полном отсутствии. В большой комнате стояли небольшой деревянный стол, деревянная скамейка и несколько табуретов; в маленькой комнате — маленький стол, а скамейка заменялась ученическими сундучками.

Александр Иваныч сразу принял меня под свое покровительство и предложил сходить вместе на рынок, чтобы купить мне сундук.

— Мы купим наш тагильский сундук, а не невьянский, — объяснял он в качестве патриота. — Знаешь, такие зеленые, и чтобы замок был со звоном...

Он оказался очень практическим человеком и прочитал мне целую лекцию о достоинствах и недостатках сундуков и теорию нормального сундука. На рынке он оказался чуть не своим человеком и пальцами указывал мне лавки, где и что можно было купить и где бессовестно надувают доверчивых покупателей. Когда я указал в свою очередь на лавку, где всегда покупал дедушка Семен Степаныч, — Александр Иваныч пришел в негодование и заявил:

— Да этот старичонка — первый мошенник в городе. У него для веса и пряники с песком.

Я был серьезно огорчен за доверчивость дедушки, — единственный честный торговец в Екатеринбурге оказался мошенником.

II

Мы несколько дней еще не ходили в классы, и я успел познакомиться с жизнью нашей квартиры. Мы поднимались в семь часов утра и получали по ломтю белого хлеба. Чаю не полагалось, и исключение представлял один я. Из самовара хозяйки я заваривал свой чайничек и пил один, что было очень неудобно и очень меня стесняло, потому что все остальные съедали свою порцию всухомятку. Раздавала хлеб сама Татьяна Ивановна, очень добрая и ворчливая старушка, при-

чем выяснилось, что «любимчикам» она отдавала самые вкусные куски, именно — горбушки, а нелюбимчикам оставалось только завидовать. Впрочем, старушка руководствовалась, главным образом, отсутствием дурных поступков, и поэтому наш квартирный старший, Введенский, проявлявший строптивость и легкомыслие, получал горбушки реже, чем его подчиненные.

— А я ей покажу, старой карге! — ворчал он, придумывая разные школьные каверзы.

Обед был в два часа. Мы гурьбой отправлялись в маленький флигелек, где всецело царила Фаина Ивановна. Все усаживались за один стол. На шестнадцать человек подавались две чашки горячего — щи, лапша, похлебка. Это было очень немного, но повторения не полагалось. Вторым блюдом был картофель или каша, а иногда молоко. Во всяком случае, из-за обеда все выходили полуголодными и захватывали с собой корочки черного хлеба, который потом поджаривали где-нибудь в душнике печки, конечно, пополам с сажей. Особенно плохо доставалось по постным дням, когда на столе появлялись, главным образом, горошница, постные щи из крупы и похлебка из вяленой рыбы или сухих грибов. Вечером, в восемь часов, полагался ужин, уменьшенный по части питательности, сравнительно с обедом, на несколько градусов. У Фаины Ивановны все было рассчитано с математической точностью, и мы голодали порядочно. Мне, после ямщичьих обедов на постоялых дворах, в первый раз приходилось «есть на артели». У всех — аппетит волчий, но никто не торопился с своей ложкой, и наблюдалась известная очередь. И голодали все одинаково... Всего удивительнее было то, что, когда в воскресенье мы купили с Ермилычем бутылку молока и Татьяна Ивановна узнала об этом, — она ворвалась к нам в комнату вся в слезах и с самыми горькими словами:

— Значит, вы голодны, ежели покупаете молоко?!. Значит, я вас кормлю плохо?!. Вот я до чего дожила... Пятнадцать лет держу квартиру, а такого сраму не

видывала. Знаю, как вы и в обжорном ряду проедались... Все, все скажу инспектору!..

Последняя угроза являлась заключением всех позднейших речей Татьяны Ивановны, но она никогда не приводилась, конечно, в исполнение.

Обе старушки занимали рядом с нашей комнатой две небольшие комнаты, и можно было только удивляться их нервам, как они могли выносить неистовое галденье шестнадцати языков. На мельнице меньше шуму, чем было у нас, когда сейчас же после обеда начиналось отчаянное зубренье вслух, а особенно в «занятные часы», то есть от пяти до восьми часов вечера. И это неизменно изо дня в день, точно пускали в ход какую-то очень сложную машину. А ведь так же отчаянно зубрили наши отцы, деды, прадеды и прапрадеды, отдавая жестокую дань науке доброго старого времени.

Кроме указанных выше подразделений на классы, давность учения и происхождение, выступило, конечно, основное деление, покрывавшее все остальные, — именно, деление на богатых и бедных. Положим, все за квартиру платили одинаково по четыре с полтиной в месяц, но богатство и бедность сказывались во всех мелочах, начиная с костюмов и кончая учебниками. Я принадлежал к богатым, как все поповичи. Но если моему отцу было трудно содержать меня в училище, то каково это доставалось несчастным дьячкам и пономарям, вытягивавшим из себя последние жилы, чтобы дать детям воспитание. У этих бедняков, конечно, и белье было грубое, и костюмчики сшиты домашней рукой, и сапоги чуть не из моржовой кожи. А главную беду, после квартирной платы, составляли учебники, которые приходилось во всяком случае покупать на свои кровные нищенские гроши. Некоторые малыши приехали со старинными учебниками, по которым учились еще деды, — это были почтенные старые латинские грамматики, напечатанные на толстой, синей бумаге, переплетенные в кожу или холст и для крепости смазанные по краям маслом. Увы, — эти почтенные ветераны оказались никуда не годными, и приходилось покупать новые учебники, приспособленные к какой-

нибудь новой системе. Но нам казалось, что старинные латинские учебники были лучше новых: ведь недаром наши деды и прадеды читали, писали и могли говорить по-латыни.

Бедность особенно ярко выступала, когда дело доходило до привезенных из дому подорожников, разной домашней стряпни и вообще гостинцев. Дьячковские дети привезли какие-то твердые лепешки, не менее твердые крендели, сибирские шаньги — и только. Александр Иваныч, в качестве цивилизованного заводского поповича, относился ко всякой деревенщине с величайшим презрением, как к низшим существам. Самодовольно улыбаясь, он по сту раз в день перебирал смешные, по его мнению, деревенские слова:

— Зепь... ясен колпак... язевый лоб... водерень!

«Ясен колпак» и «язевый лоб», очевидно, были деревенскими поговорками, а что такое *зепь,* — так и осталось для меня неизвестным. Насколько помню, *зепь* обозначало вообще мужика, как сибирское *челдон. Водерень* употреблялось в смысле наших *верно, правильно, действительно,* и я только впоследствии догадался об этимологическом происхождении этого слова, — именно, оно обязано своим появлением давно исчезнувшему обряду наших далеких предков при размежевании земель клясться дерном. Делалось это, кажется, так: с межи вырезались куски дерна, их клали заинтересованные в деле лица себе на голову и клялись землей, что установленные границы никогда не будут нарушены. Отсюда и получилось водерень: дерно, дернь, в дернь, водерень, то есть клянусь землей.

Александр Иваныч держал себя с большим авторитетом, и, как я заметил, все другие подчинялись ему, за исключением одного Ермилыча, у которого был свой характер и которого, выражаясь по-школьному, нельзя было задевать, задирать и *ячить* — последнее слово исключительно бурсацкого происхождения и, вероятно, переделано из славянского глагола *яти* — брать.

Раз Ермилыч раскрыл свой сундучок, содержавшийся в величайшем порядке, и что-то перебирал из

своих пожиток. Александр Иваныч наблюдал за ним и с своей обычной улыбкой спросил:

— А где у тебя капуста?

Вопрос по существу был самого невинного характера; но Ермилыч весь побелел от злости, вскочил и запустил сапогом в Александра Иваныча. Очевидно, последний ожидал такого ответа и во-время отклонился в сторону, — сапог летел прямо к нему в физиономию. Ермилыч стоял с широко раскрытыми глазами и не мог выговорить ни одного слова, потому что весь трясся, и его губы сводила судорога. Дело объяснилось тем, что у Ермилыча была школьная кличка *заяц*, которой он не переносил и каждый раз приходил в бешенство. Тот же Александр Иваныч при всех совершенно безнаказанно мог называть Введенского — просвирней, а с Ермилычем шутить было опасно.

Прозвища и клички придумываются школьниками в большинстве случаев очень удачно, и у Ермилыча в складе лица действительно было что-то заячье. Так, у нас на квартире оказался ученик среднего отделения, которого называли Шиликуном, потому что у него была какой-то необыкновенной формы голова, конусом, и комическое выражение лица, а шиликун, по народной мифологии, что-то вроде комика при домовом.

Всякая кличка складывается на артели, и в ней появляется известная общественная характеристика, по большей части юмористического оттенка. В большинстве случаев она отличается чисто русской меткостью, хотя были и совершенно бессмысленные прозвища. Так, у нас в училище был ученик, которого звали Дышло, потом я знал: Шлифеичку, Жаке, Галуппи. Шлифеичка — деревянная ручка, которой сапожники лощат сапожные ранты; почему это название приклеилось к человеку — трудно объяснить. Одним из остроумных прозвищ было то, которое носил инспектор нашего училища, — его звали Сорочьей Похлебкой. Основанием для этой клички послужила привычка инспектора уверять, что он знает решительно все, что делается в недрах бурсы и на частных квартирах, а по народной поговорке про таких всезнающих людей говорят, что они ели сорочьи яйца.

III

В течение этих первых дней мне пришлось познакомиться с положением настоящего новичка, с той жестокой школой, которую он неизбежно должен пройти. Лично меня такая выучка не коснулась, потому что я поступил сразу в высшее отделение и тем самым попал в привилегированное положение. Все новички проходят через целый строй горьких и тяжелых испытаний, но alma mater возвела их в настоящую систему, которая установилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен. Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе, а действовала именно система, безжалостная, всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь.

В числе новичков, поступивших в низшее отделение, были два очень милых мальчика, двоюродные братья Протасовы. Один был постарше, Павел, второго звали Ваней. Этот последний был еще совсем ребенок, хорошенький, розовый, с детскою полнотой и еще не утраченной наивностью, напоминающей утреннюю росу. Оба были поповичи и притом состоятельные. Они были откуда-то с дальних заводов и во всем отличались от деревенских поповичей — чистенькие, вежливые, воспитанные. Вероятно, именно выдававшаяся культурность и вызвала то, что все как-то сразу отнеслись к ним с скрытой враждебностью. Alma mater бурса желала оставаться сама собой и с бесстрастием опытного хирурга приводила всех к одному общему знаменателю.

— Ябедники, наверно, будут, — решил кто-то вперед.

Ябедник — это опасное слово при драконовских нравах бурсы, и я только впоследствии понял все его громадное значение. Достаточно одного подозрения, чтобы человек буквально погиб, как погибает безвозвратно прокаженный. Бурса тысячью средств доймет его и уничтожит. Спасенья не могло быть. Именно с этого рокового подозрения и начались бедствия маленьких новичков. Составился целый заговор. Введенский о чем-то шептался с Ермилычем и Шиликуном, а

последний входил в какие-то таинственные сношения с деревенскими новичками. Паша и Ваня, предчувствуя беду, жались один к другому, как пойманные зверьки.

— Два сапога — пара, — сурово заметил Ермилыч, отличавшийся вообще строгостью характера.

Травля началась систематически и, вероятно, по способу, постоянно практиковавшемуся всей бурсой. Один из деревенских новичков подходит и говорит:

— Давайте поиграем...

Приличные мальчики переглядывались и старались уклониться от любезного предложения.

— Мы не умеем играть... — отвечал Паша, который был побойчее.

— Как не умеете? — удивлялся Шиликун. — Это вы притворяетесь... В городки умеете?

Мальчики переглядываются и, ввиду такого невинного предложения, соглашаются. Игра в городки — самая невинная по существу детская забава. Берутся пять и больше небольших, гладких камушков, которые укладываются в руку. Один камень бросается вверх, и пока он летит, игрок должен из лежащей перед ним кучки взять сначала один камень, потом другой и т. д., до тех пор, пока все камни будут в горсти. Это и есть «взять городок». Следующий номер, — берут камни по два, потом по три и, наконец, нужно схватить все разом. Игра очень несложная и не требующая особенного искусства. Но бурса ухитрилась сделать из нее настоящую пытку.

Паша оказался искуснее деревенского новичка и обыграл его. Тогда его место заменил Шиликун, оказавшийся настоящим мастером своего дела. Другие следили за игрой с замирающим сердцем, а в качестве знатоков дела, решающих, кто остался победителем, — присутствовали Александр Иваныч, Введенский и Ермилыч.

— Кончен бал! — провозгласил Ермилыч с какой-то особенной радостью. — Ну, Шиликун, покажи ему, как нужно играть...

Теперь началась расплата за проигранную партию. Паша должен был положить руку ладонью вниз рядом

с камушками. Шиликун бросал камень вверх и во время его полета успевал пребольно ущипнуть руку Паши, так что она сейчас же покрылась синяками и вспухла.

— А, что? Славно?!. — с злорадством спрашивал Александр Иваныч, заглядывая в покрасневшее от боли лицо Паши. — Видишь, какой неженка...

Следующим номером было новое истязание: Шиликун при бросании камушков стал щипать вспухшую руку продолжительнее, сильнее, так что показалась кровь.

— Ай да Шиликун... Молодцà!.. — хвалил кто-то.

У бедного Паши показались слезы на глазах, и это его окончательно погубило в глазах всей публики.

— Да он пойдет ябедничать! — крикнул кто-то.

— Закати ему горячих, Шиликун! — поощрял Введенский, приходя в азарт. — Таких плакс надо учить...

Введенский ни с того ни с чего ударил Пашу и задыхавшимся голосом спрашивал:

— Пойдешь ябедничать... а?.. Ведь пойдешь?!.

Еще и еще удар, и посыпались удары, что заставило Александра Иваныча удушливо хохотать до слез. Сцена получилась самая отвратительная.

— Я сам кончу! — решил Введенский, занимая место Шиликуна.

Последнее истязание заключалось в том, что один камень за другим клали под руку Паши, и Введенский во время полета камня бил по ней кулаком.

Извиняюсь перед своими маленькими и большими читателями за описание подобных жестокостей, которым нет счета, как нет границ суровой изобретательности в этом направлении. Мне приходится описывать подобные отвратительные сцены, чтобы дать понятие, что такое была старая жестокая школа, и чтобы нынешние дети поняли и оценили по достоинству высокий гуманизм новой школы. Все вещи познаются по сравнению...

Меня глубоко возмутила эта игра в городки, а больше всего — бессердечное поведение Александра Иваныча, которому стоило сказать одно слово, чтобы прекратить все. Я даже не мог говорить с ним, а

обратился к Ермилычу. Но Ермилыч сначала долго не мог понять, что я ему говорил, потом изумился и, наконец, рассердился.

— Тебе надо было дома оставаться да на печи сидеть, — заявил он. — Когда мы были новичками, так не то еще бывало... Это еще цветочки, а ягодки впереди.

— Какие ягодки?

— А такие... Каждого новичка вот как нужно учить. Не в бабки приехали играть... Вырастет большой — сам других будет учить. Александр Иваныч четыре года просидел в низшем отделении, так спроси его, как его учили. Получше нынешнего... Поучат — человеком будет.

Ермилыч говорил вполне убедительно, как человек, который верит в собственную правоту. Меня удивило больше всего то, что Ермилыч терпеть не мог Александра Иваныча и еще только на днях запустил в него сапогом, а теперь вполне согласен с ним. Мало этого, Ермилыч передал наш разговор Александру Иванычу и Введенскому, которые жестоко осмеяли меня. Дальше случилось так, что мое слабое заступничество послужило только во вред новичкам, и Введенский нарочно при мне старался над ними проявлять свою власть старшего, причем Александр Иваныч считал почему-то нужным хохотать до слез.

— Ну-ка, Илья, дай еще горячих! — поощрял он расходившееся начальство. — Да по носу не бей, а то пойдет кровь...

Введенский дрался артистически, как человек, который сам прошел всю школу битья.

IV

Накануне первых классов в нашей квартире были открыты первые «занятные часы», которые начинались в пять часов и кончались в восемь. Введенский сразу явился в роли строгого начальства. Наше высшее отделение занимало маленькую комнату, а среднее и низшее устроилось в большой. Введенский завел квартирный журнал и заносил каждый день, что в квартире

обстояло все благополучно. Ему нравилась каждая мелочь, которая выясняла его положение. В «занятные часы» ученики должны были вставать, когда он что-нибудь спрашивал. Из усердия Введенский сделал самый строгий осмотр книг, тетрадей, карандашей, перьев и всех остальных канцелярских принадлежностей, причем всячески придирался к Паше и Ване, хотя у них все было в порядке.

— Вы у меня смотрите, — пригрозил им Введенский уже решительно без всякого основания.

Увлекшись своей ролью, он хотел проделать то же самое и с нами, но Александр Иваныч показал ему кулак и проговорил:

— А это хочешь? Я тебе покажу такого старшего, что небо с овчинку покажется.

Ермилыч пообещал что-то в том же роде, и Введенский сосредоточил свое внимание на двух низших отделениях, причем произвел настоящий экзамен по всем предметам. Он особенно налег на пение, вероятно, потому, что сам пел хорошо и не сбивался «на гласа̀х».

Из-за этих «гласо̀в» произошла настоящая битва. Введенский поймал именно на них несчастных заводских поповичей. Посыпался целый град ударов.

— Ну, глас четвертый?!. — орал Введенский, как, по его мнению, должно было орать всякое настоящее начальство.

Бедному розовому Ване особенно досталось. Со страха он перепутывал все гласы и должен был петь, когда задыхался от слез. Введенскому было мало самоличного битья, и он устроил настоящее издевательство, заставляя по очереди Пашу и Ваню бить друг друга.

— Вот тебе глас первый! — кричал он, поощряя несчастных детей. — Пашка, валяй его по второму гласу... Прибавь еще глас третий... Так и поется:

Била меня мати за пя-а-а-тый глас.

Все гласы́, на которые пелось «Господи, воззвах к тебе, услыши мя», заучивались, как солдатские сигналы, по особым присловиям, как третий глас. Седьмой глас пелся так: «Летела пташечка по ельничку,

напали на нее разбойнички и убили ее». По части этих гласов я оказался слабоватым и помню, мне почему-то никак не удавался второй глас. Вообще заводские поповичи были в пении гораздо слабее деревенских, которые у себя дома постоянно помогали отцам при церковной службе с раннего детства.

Мне пришлось видеть только часть сцены обучения пению на гласы, потому что Ермилыч затворил двери нашей комнаты и, перемигнувшись с Александром Иванычем, полез в свой сундучок. Оказалось, что в сундучке Ермилыча был устроен потайной ящичек, в котором, как запретный плод, хранился табак. У Александра Иваныча папиросы прятались в корешке латинского словаря.

— Ермилыч, действуй... — шептал Александр Иваныч, становясь на часы к дверям.

Ермилыч поставил табурет на свой сундук, открыл в печи душник и, раскурив крючок, набитый табаком, жадно припал с ним к душнику. Он затягивался до слез, пока не закружилась голова. То же проделал и Александр Иваныч со своей папиросой. Курение табаку подвергалось строгому преследованию со стороны начальства, и курильщики рисковали познакомиться с роковым расчетом в субботу, когда Сорочья Похлебка немилосердно сек лентяев, курильщиков и нарушителей школьной дисциплины вообще. Но страх наказания никого не удерживал, и курили все, кто только хотел. Риск только придавал особую приятность наслаждению табаком. У нас на квартире курили трое, а Введенский еще нюхал табак.

— Ух, хорошо! — повторял Александр Иваныч, глядя кругом осоловелыми глазами. — Только бы не узнал инспектор...

— А зачем он сам курит?..

«Занятные часы» были устроены для младших отделений, а нам решительно нечего было делать. До ужина времени оставалось много, и Введенский отправился к Татьяне Ивановне просить какую-то таинственную книгу, которую она давала читать только за общее хорошее поведение. Он скоро вернулся с до-

вольно толстым томом, носившим даже снаружи явные признаки самого живого внимания читателей.

— Эге, давай-ка ее сюда, голубушку!.. — торжественно заявлял Александр Иваныч. — Я три раза прочитал ее от доски до доски и знаю, где в ней раки зимуют.

Эта книга был знаменитый «Английский милорд». Сама Татьяна Ивановна по малограмотности, конечно, не читала его и охотно давала читать своим квартирантам. Александр Иваныч отметил на полях ногтем самые интересные для него места, которые и прочел... Я ничего подобного до сих пор не читал и не слыхал и поэтому заявил, что книга гадкая и читать ее совсем не стоит.

— Ничего ты не понимаешь, — авторитетно заявил Александр Иваныч. — «Никласа Медвежью Лапу» читал? Нет? А «Битву русских с кабардинцами»? Тоже нет? А «Лесного бродягу»? Так о чем мы с тобой будем разговаривать... Одним словом, как есть ничего не понимаешь.

Завязался горячий спор, причем я перечислил целый ряд авторов, имена которых в этой квартире оказались пустым звуком и вызывали смех.

— Гоголь — птица, а не человек, — смеялся Александр Иваныч. — Ты и этого не понимаешь. Утка такая есть дикая, которую зовут гоголем.

Я спорил до слез, защищая своих любимых авторов, но из этого, конечно, ничего не вышло, кроме насмешек и хохота. Поражение было полное, и я никогда еще не испытывал такой кровной обиды. Мне с особенной яркостью представилась картина нашей жизни в Висиме, любимый шкаф с книгами, чтение по вечерам, разговоры о прочитанном... Как это было недавно и как далеко!

V

Знакомство мое с настоящей бурсой произошло только с открытием классов. У меня еще сохранились впечатления первого пребывания в недрах этой бурсы, когда я «убоялся бездны премудрости и возвратился

вспять». Помню сцену, которая разыгралась в первый же урок, когда в класс явился грозный инспектор. Это был еще молодой высокого роста священник с красивым, матовым лицом и целой волной темных вившихся волос. Он ходил какой-то особенной, развалистой походкой и смотрел как-то сразу в лицо тому, с кем говорил. Войдя в класс, он окинул его инспекторским глазом и поманил кого-то пальцем. Из-за парт поднялась взъерошенная фигура. Инспекторский палец продолжал манить, и взъерошенная фигура подошла, остановившись «на приличном расстоянии». Мне кажется, что это фигуральное выражение нигде не было так применимо, как именно в данном случае.

Произошла короткая, но выразительная сцена.

— Курил опять?

— Ей-богу, нет!..

— А, не курил?!. Дохни!

Инспектор наклонился, и взъерошенный бурсак дохнул ему прямо в нос.

— Крепчайший табак, — определил инспектор, и взъерошенный субъект как-то разом полетел на пол, точно его сдуло ветром...

Дальше пошло избиение, — таскание за волосы. От волнения инспектор сделался еще бледнее, а темные большие красивые глаза сделались еще больше и темнее. Эта сцена произошла на моих глазах около тридцати лет тому назад, и я до сих пор не могу ее понять. Грозный инспектор совсем не был злым человеком, а только старался исправить неисправимую бурсу... За упорное табакокурение полагалось исключение из духовного училища... Чтобы не губить человека, суровый инспектор прибегал к отеческим мерам и домашним средствам.

Собираясь в первый раз в классы, мы на квартире делали особенные приготовления. Старые ученики отламывали по кусочку от утренней порции белого хлеба и прятали их по карманам. Исключение представляли из себя Александр Иваныч и Ермилыч. Павел Иваныч Хвост объяснил мне, что эти кусочки — дань голодной бурсе. Действительно, когда мы пришли в свой четвертый класс, нас обступила целая голодная бурсацкая

толпа, одетая в какие-то длинные, серые пальто. Голод — ужасная вещь, и кто видел взгляд голодного человека, тот никогда его не забудет. Бурсаков было всего человек пятнадцать в нашем классе, но это была сплоченная и организованная толпа. Каждый делал себе свободный выбор из среды квартирных учеников, которые являлись в роли овец «стригущему их безгласных». По совету Павла Иваныча, я, на всякий случай, имел кусок утренней порции, который меня страшно смущал, потому что хотя я и сам был голоден, но с удовольствием отдал бы первому голодному бурсаку.

Произошла такая картина. На меня сразу обратил внимание среднего роста бурсак с какой-то серой физиономией, кажется, присвоенной всем бурсакам. Он в один миг свесил своим взглядом, что я — новичок, трус и жертва для его аппетита.

— Хлеба! — отрывисто проговорил он, протягивая руку. — А то будут чиканцы...

Есть ничтожные, но решительные моменты в жизни каждого человека. Я уже готов был отдать свою дань смельчаку (его прозвище — Тетеря, потому что он имел несчастие обладать длинным носом, — признак, который бурса, вопреки «Брему», относила к разряду куриных), но в этот критический момент на выручку ко мне неожиданно явился другой бурсак, Николай Постников, и проговорил с решительным видом:

— Калю!..

На бурсацком языке слово «калю» имело такое же значение, как на языке полинезийцев слово «табу», то есть, кто произнес его, тот и делался неприкосновенным собственником той вещи, над которой было сказано магическое слово.

Мне приходится сделать маленькое отступление. Все воспоминания, хотя они и ведутся в хронологическом порядке, страдают некоторой непоследовательностью. Так и в данном случае я должен вернуться к своему сиденью в селе Аяцком, где я случайно познакомился именно с этим Николаем Постниковым, одним из типичнейших бурсаков. Он приходил к моим огуречникам, и мы познакомились. Особенного ничего

в этом знакомстве не было, и помню только испытующий и взвешивающий взгляд старого, опытного бурсака, когда он узнал, что я еду учиться в духовное екатеринбургское училище.

Вероятно, на основании этой случайной встречи Постников и «закалил» меня в свою собственность как данника. Нужно было видеть выражение лица Тетери, когда лакомая добыча ускользнула у него из рук... Потом, когда Тетеря несколько раз пытался отомстить мне, Постников неизменно выручал. Я думаю, что тут дело было не в том кусочке хлеба, который я ежедневно ему приносил, а именно в нашей встрече в Аяцком. Постников любил вспоминать о ней, и у него делалось совершенно другое лицо, когда он говорил:

— А помнишь Аяцкое село? Отличное место... Огуречники-то, с которыми ты ехал, тоже из духовного звания...

Мне казалось, что Постников в эти моменты опять был среди родных полей и видел свое Аяцкое село, как обетованную землю, — это была последняя дань родине. Никакая бурса не в состоянии уничтожить этого тяготения к родному гнезду.

В течение первого же дня определился состав нашего класса, распадавшийся на две неравных половины. Меньшую составляла бурса, а большую — квартирные ученики. Всех квартир, кажется, было пять, и наша оказалась самой скромной. Все заняли одну парту, и только для меня не осталось места.

— Иди сюда, — предложил мне высокий, рыжеватый малый с какими-то остановившимися, как у ястреба, глазами. — Я знал твоего брата...

Не дожидаясь моего согласия, он потащил меня за руку на одну из задних парт, где помещалась «камчатка». Моим соседом оказался маленький ученик с рябым лицом, серыми, мигавшими глазами, кудрявыми, походившими на пух, белокурыми волосами и удивительно подвижным носом. Это оказался самый отчаянный забияка во всем классе, Сельмяков, а на училищном языке — Патрон. Он презрительно осмотрел меня с головы до ног и только фукнул носом. Очевидно, я в его глазах не выдержал экзамена.

— Моя фамилия — Хлызов, — рекомендовался товарищ моего брата.

Первый урок был катехизис, и все замерли, когда в коридоре послышались тяжелые инспекторские шаги. Когда мы встали для молитвы, Патрон кольнул меня иголкой в ногу и, улыбаясь, шепнул:

— Ступай, жалуйся!..

Я хотел отодвинуться, но Хлызов, глядя в глаза инспектору, незаметно ни для кого принялся колоть меня в бок спрятанным в горсти перочинным ножом. Было больно, но я крепился и выстоял молитву неподвижно, что и спасло меня от дальнейших испытаний. Закончилось это знакомство тем, что когда я достал свой перочинный ножичек, Хлызов выхватил его и проговорил:

— Это мой ножичек... Твой брат взял его у меня на подержанье. Одним словом, калю...

Право сильного царило в этих стенах в своем полном объеме.

VI

В течение первого же дня я познакомился со всем наличным составом бурсы нашего класса. По наружному виду все бурсаки походили один на другого благодаря однообразному костюму и, точно присвоенным специально бурсе, серым, словно выцветшим лицам и, — я бы сказал, — *голодным* волосам... Для того чтобы последнее выражение было понятнее, приведу пример, именно, волосы выздоравливающих после жестокого тифа. Костюм бурсаков состоял из казинетовых сюртучков и таких же брюк, а шея закрывалась глухим галстуком из сукна. Почему так отчаянно голодала бурса, трудно сказать. У них был и чай утром, и обед, и ужин, конечно, скудные, но казалось бы, что до голода было еще далеко. Главное лишение бурсы заключалось в том, что ее кормили одним ржаным хлебом и белый давался, кажется, только по праздникам. Это лишение являлось именно в нашем училище особенно чувствительным, потому что в шестидесятых

годах даже простые крестьяне в Екатеринбургском уезде ели только пшеничный хлеб. Другой причиной этой училищной голодовки, вероятно, служила вообще вся обстановка, при которой бурсе приходилось отбывать свою учебу. Лучшие комнаты были заняты спальнями, устроенными уже совсем не по чину, а день проходил наполовину в классах, а другую половину — в «занятных комнатах». При училище не было садика, и бурса толкалась на дворе, прямо на глазах у своего начальства. Всего печальнее были для бурсы праздники, когда она бродила по двору, по коридорам, по «занятным комнатам», как «неприкаянная душа».

Бурса всегда голодала, но голодали ведь и мы, квартирные, хотя и находились относительно в лучшем положении.

Из безличной, на первый взгляд, толпы бурсаков первым номером выделился добродушный верзила, по прозвищу Масталыга. Ему было лет двадцать, и он казался среди нас настоящим великаном. В качестве бурсака он считал своею обязанностью задирать квартирных и с первого же раза «нарвался» на отчаянного Патрона. Произошла самая комическая драка. Патрон вскочил на парту, отчаянно размахивая перочинным ножом, кричал:

— Не подходи, — убью!..

— Ну, убивай, — добродушно говорил Масталыга, размахивая длинными руками, как ветряная мельница.

Это было настоящее единоборство воробья с журавлем, закончившееся тем, что Патрон действительно победил Масталыгу, то есть ранил его ножом в ногу. Квартирные торжествовали свою победу...

— Я ему, Патрону, оборву ноги, как таракану, — говорил в нос Масталыга.

Великан нисколько не сердился, потому что сражался только за честь своей родной бурсы.

Это событие произошло в первую перемену, а после второго урока в качестве героя выступил наш Ермилыч. Он скромно сидел за своей партой и не принимал никакого участия в буйных шалостях. Я видел, как несколько раз к нему подходил Тетеря и «задирал».

Ермилыч крепился, и Тетеря отошел ни с чем. Его место занял бурсак Атрахман, сгорбленный, худой, с каким-то неприятным лицом и злыми кошачьими глазами. Он сразу нанес Ермилычу кровную обиду, то есть сделал из своих пальцев заячьи уши. Ермилыч побелел от злости и вылетел из-за своей парты одним прыжком. В следующий момент на Атрахмана посыпался целый град ударов, так что он даже и не защищался, а самым позорным образом отступал в угол, напрасно стараясь защищать лицо руками. Ермилыч поступал по приему всех великих героев, то есть не дал опомниться врагу. Кончив расправу, он преспокойно сел за свою парту. На него было просто страшно смотреть, — бледный, задыхающийся, с остановившимися глазами и судорожной улыбкой на своих бескровных губах.

— Будешь помнить заячьи уши... — хрипло шептал он.

Атрахман был посрамлен. Бурсе сегодня вообще не везло, хотя она и выставила своих первых бойцов. В резерве оставался главный силач — Демьяныч, но он не желал принимать никакого участия в задиранье квартирных. Как все настоящие силачи, Демьяныч отличался самым мирным характером и только улыбался какой-то больной улыбкой. Бурса умела ценить героев, и в течение двухлетнего курса я не помню, чтобы кто-нибудь задирал Демьяныча.

После нанесенного Ермилычем поражения Атрахману бурса решилась выместить все на нашем старшем Илье Введенском. Травля шла настойчиво, и бурса проявляла сплоченность действия, тогда как квартирные действовали только врассыпную. Проявлявший у себя дома просвещенный деспотизм, Введенский оказался в классе самым жалким трусом. К нему подошел единственный толстый бурсак Галуппи, посмотрел несколько мгновений в упор и без всяких слов ударил его. Этот военный прием Галуппи вызвал бурное одобрение.

— Валяй, Галуппи, Просвирню по уху!..

— Братцы, смотрите, как у Просвирни обе щеки трясутся... Ай да Галуппи, молодец!..

Галуппи, поощренный общим одобрением, действовал медленно и наносил удар за ударом не спеша, с самым серьезным лицом, точно он исполнял какую-то очень важную обязанность. Припоминая, как Введенский истязал Пашу и Ваню, я нисколько не пожалел его, а даже думал про себя: «Так его и надо...» Всего интереснее было то, что Александр Иваныч, сидевший рядом с Введенским, не пошевелил пальцем, чтобы заступиться за него, а только хохотал...

Вообще первый училищный день прошел в усиленных драках, напоминавших бои молодых петухов. Нужно заметить, что большинство этих драк происходило точно по обязанности... Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали выхода, и бурса его находила.

Но не все, конечно, бурсаки были буянами и забияками. Среди них были и очень мирные люди. Эти мирные бурсаки являлись каким-то исключением, жалкими париями. Вечно ожесточенная, голодная, воинствующая бурса презирала их от чистого сердца, на том простом основании, что она являлась силой, а эти создания профанировали суровые основы грозной школьной общины. В бурсе ее неписанные уставы, порядки и обычаи передавались из поколения в поколение и блюлись неукоснительно. Бурсак являлся для самого себя человеком обреченным, который только исполнял то, что было выработано веками... Из бурсы выработалось своего рода казачество, та учебная «Сечь», где выживал только сильный и где ценилась только сила. Ведь наши отцы, деды, прадеды и прапрадеды проделывали то же самое.

В первый же учебный день определилась роль нашей квартиры. Мы оказались очень скромными, настолько скромными, что бурса, на основании своих суровых законов, отнеслась к нам с полным презрением и обложила данью, как побежденную нацию. Три других квартиры тоже оказались скромными, и исключение представляла только одна квартира, на которой жили Хлызов и Патрон. Кстати, с ними вместе жил второй, после Масталыги, великан, которого все называли по отчеству — Кинтильяныч. Это был добро-

душный человек, костлявый, сгорбленный, с длинными руками, которые точно были привешены к его туловищу плохим мастером и болтались совершенно бессильно. Бурса всевозможно приставала к Кинтильянычу, чтобы вывести его из терпения, но это не удавалось. Среди бурсаков был один, которого называли Демоном, вероятно, за искусство приставать, но и Демон ничего не мог поделать с Кинтильянычем.

Главным неудобством в личном составе нашего класса являлось то, что между учениками была слишком большая разница в летах — тринадцатилетние мальчики, с одной стороны, и двадцатилетние парни, с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид школьного рабства.

VII

Училищное начальство состояло из ректора, очень почтенного священника о. Петра с магистерским крестиком, и инспектора училища о. Константина. Ректор иногда посещал классы, а в общем мы его редко видели. Он пользовался общим уважением, и его боялись, потому что ему принадлежала карающая власть. Главной карой было увольнение из училища, а затем — субботние расчеты, когда училищный сторож Палька сек за леность, табакокурение и другие провинности. Нужно сказать, что сечение производилось не каждую субботу, и я в течение двухлетнего пребывания в училище только раз слышал издали отчаянные вопли наказуемых... Самому мне ни разу не пришлось познакомиться с искусством Пальки, типичного отставного солдата из поляков, с крючковатым носом и всегда сонными глазами. Ректор обыкновенно являлся в наш класс в один из субботних уроков, с роковым списочком в руках. Он никогда не сердился и не волновался, а только по своему списочку вызывал провинившихся, которые покорно и отправлялись за ним. Ученики относились к ректору тоже без злобы, как к человеку, который только исполнял свой долг.

В общем, наказания у нас, повторяю, применялись редко и то по каким-нибудь особенным случаям.

Совершенно иные отношения существовали с инспектором, особенно у бурсы, которая не любила его. На чем основывалась эта нелюбовь, я не могу понять до сих пор. Инспектор ничем особенным не выделялся, кроме того, что из года в год вел самую отчаянную борьбу с бурсой. Кажется, не было такой пакости, которую бурса не устроила бы неприятному инспектору. Все средства считались дозволенными. В свою очередь инспектор, может быть, иногда злоупотреблял стереотипной фразой:

— А тебя, Словцов, ве-ли-ко-леп-но высекут.

Может быть, эта нелюбовь к инспектору происходила от той простой причины, что с ним приходилось иметь дело в самые неприятные моменты и по самым неприятным поводам. Он преподавал катехизис и латинский язык, и его классы представляли величайшую грозу, — за полученную у инспектора двойку расчет производился у Пальки.

Остальные учителя отличались самым мирным характером, и я не видал ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них тронул ученика пальцем. Если бурса упорно желала остаться бурсой, то учительский персонал уже не имел ничего общего сравнительно с недавним прошлым. Исключение представлял один учитель пения, соборный протодьякон, которого почему-то называли Детраго. Это был громадный, полный мужчина, лет пятидесяти, с пышной шевелюрой и окладистой бородой. Класс пения служил отдыхом и развлечением, потому что Детраго обращался со всеми запросто. С ним школьничали, — незаметно прицепляли бумажки к спине, задавали самые глупые вопросы и вообще приставали, как мухи.

— А к Пальке хочешь? — добродушно басил Детраго. — Он тебе даст должный ответ на твой глупый вопрос...

Лично у меня с ним произошло очень неприятное знакомство.

— Ну, на шестой глас, — предложил он мне.

Детраго, как инспектор и ректор, всем говорил «ты».

Я заголосил, но неудачно.

— Ну-ка, ты — на второй глас... — предложил он поправиться.

Опять неудача. Детраго посмотрел на меня своими добродушными большими карими глазами и решил раз навсегда:

— Ну, брат, у тебя голова-то песком набита!..

Мне было очень обидно это слышать, и я пожалел, что не выучился у нашего заводского дьячка Николая Матвеича премудрости пения на гласы.

Бурса особенно любила церковное пение и предавалась ему с большим азартом. В классе было около сорока человек, и все голосили неистово. Вообще спеть что-нибудь духовное составляет слабость мелкого купечества, мелких чиновников и разных мелких служащих, а здесь увлечение пением являлось вполне законным. В этом отношении у бурсы был свой герой, соборный протодьякон, о котором рассказывались целые легенды. Рассказы из протодьяконской жизни являлись любимой темой для всего класса. Источником самых свежих новостей служил живший у него на квартире ученик из нашего класса. Мы отлично знали, как жил протодьякон изо дня в день. Утром он, когда служил с архиереем, надевал сапоги на пробковых подошвах (эта подробность почему-то особенно нравилась бурсе, как что-то необыкновенное), на купеческих именинах говорил такое многолетие, что дребезжали стекла в окнах... Одним словом, протодьякон являлся сказочным героем.

Светских учителей, то есть ходивших в сюртуках, было всего трое: учитель русского языка, Григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, которому не готовили уроков; учитель арифметики и географии, Константин Михайлович, чахоточный, унылый мужчина, который, кажется, ни на что не обращал внимания, и учитель греческого языка, Николай Александрович. Последний являлся общим любимцем, и его класс всегда был лучшим. Это был красивый, подвижной молодой человек, державший класс в ежовых рукавицах и все-таки пользовавшийся общей любовью. Он умел держать весь класс в напряженном

состоянии и видел каждого. Чуть кто не слушает, — сейчас вопрос:

— А как перевести эту фразу?

Николай Александрович и задавал много, и требовал много, и в классе не позволял лениться. Для меня лично это был первый настоящий учитель, который умел оживить даже такой сухой предмет, как греческий язык. По моему мнению, каждый истинный педагог должен быть артистом, и таким именно артистом был Николай Александрович.

В общем, за исключением Николая Александровича, наша педагогия стояла очень невысоко, и вся наука сводилась на самое отчаянное зубрение, в силу установившихся взглядов, что умнее книги не скажешь. Мы просто не умели учить своих уроков и брали их на память. Здесь проявлялась старая бурсацкая закваска, которой были пропитаны самые стены заведения, как пропитываются миазмами стены госпиталей, лазаретов и больниц. Но не все можно было взять зубрежкой, и нужно было видеть те отчаянные усилия, которые затрачивались на арифметику. Были просто мученики, как наш Александр Иваныч. Кто-нибудь из товарищей решал задачу, а он ее выучивал уже по-готовому. Александр Иваныч вообще не отличался блестящими способностями, но все-таки был человек смышленый и толковый, и просто было жаль смотреть, как он убивался над противной «мачимачихой». Он был отличный зубрила и учил урок, сидя на своем сундуке и раскачиваясь из стороны в сторону, как делают некоторые звери, которые слишком долго сидят в клетке и впадают в тихое, ритмическое помешательство.

Были такие артисты по части зубрения, которые отвечали без запинки на вопрос из катехизиса Филарета: «Что сие значит?» — стоило только назвать страницу. Некоторые настолько втягивались в зубрение, что утрачивали всякую способность отвечать «своими словами». Как сейчас, вижу Александра Иваныча, который, сидя на своем сундуке, потирая руки, закрыв глаза и раскачиваясь, мертвым речитативом зубрит текст из катехизиса и всегда повторит на закуску:

— Сколь легко и естественно любить и почитать родителей, столь же тяжек и непростителен грех непочтения к ним.

Из всех предметов училищного курса мне не давался один «Устав церковной службы», как я его ни зубрил. Происходило это от того, что я, вероятно, понастоящему не умел зубрить, а главное, — не понимал мудреного языка, каким он был написан. В самом деле, ведь нужно осилить такие слова, как «препразднство» и «попразднство».

VIII

Один день походил на другой, как у нас на квартире, так и в бурсе.

Я уже рассказывал, как у нас устанавливался на нашей квартире порядок и как Введенский изображал из себя начальство. Дальше власть начальства перешла уже в настоящий деспотизм. Действуя под прикрытием такой силы, как наш Александр Иваныч, Введенский потерял всякое чувство меры и развернулся во всю ширь. Постоянно заушая, он, с одной стороны, точно выдавал то, что получал сам в течение первых четырех лет своей училищной жизни, а получившие все это точно копили материал для будущего возмездия. И так велось из поколения в поколение; из поколения в поколение накоплялось то озлобление, которое сливало всю бурсу в какого-то тысячеголового полипа, где отдельные лица теряли всякое значение. Это — с одной стороны, а с другой — наша квартира являлась образцом какого-то особенного деспотизма, где царил безграничный произвол какого-нибудь временщика. Именно таким временщиком и был наш Введенский, неистовствовавший с каждым днем все больше. Ему доставляло наслаждение мучить маленьких человечков. Увлекшись собственным деспотизмом, Введенский переступил все границы возможного и наткнулся на Ермилыча, который наказал его беспощадно. Очевидно, Введенский рассчитывал на защиту Александра Иваныча, но тот изменил, как только

умеют изменять люди подобного рода, и выдал Введенского с головой.

— Ну-ка, Ермилыч, хорошенько утешь Просвирню, — поощрял он, заливаясь неудержимым смехом. — Валяй, но чтобы синяков не было...

И Ермилыч «утешал» Просвирню на глазах у всех. Как все деспоты, Введенский совершенно растерялся и даже заплакал, что уже совсем не полагалось.

Но все, что делалось у нас в квартире, являлось только цветочками по сравнению с жизнью бурсы, где все принимало грандиозные размеры. Вечным пугалом бурсы и мотивом для всевозможных жестокостей являлась мысль об ябеднике. Этот ябедник разыскивался всеми путями и средствами, причем бурса проявляла иезуитскую изворотливость. Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учеников или оказать ему внимание не в пример другим, — и человек пропал. Бурса в этом случае действовала чисто по-иезуитски. Она сразу не набрасывалась на заподозренного, а только устраивала самый строгий надзор за ним и выдвигала самые удобные поводы для ябедничества. Такое испытание продолжалось недели и месяцы, и можно себе представить душевное состояние мальчика, который, конечно, не мог не заметить, что над ним тяготеет самое страшное обвинение.

Ябедник — одно из тех страшных слов, которым клеймят человека на всю жизнь. Представьте себе, что человек совершенно не виноват, но достаточно уже того, что его могли заподозрить. Как теперь, вижу одного несчастного бурсака, который пришел к нам на квартиру, убитый, уничтоженный, близкий к помешательству. Это был скромный мальчик, которого инспектор отличил среди других, но это его погубило.

— Тебя били, Алферов? — спрашивал я под секретом, с глазу на глаз.

Он осмотрелся кругом и проговорил упавшим голосом:

— Меня уж давно бьют...

— Очень бьют?

— Нет, хуже чем бьют.

Оказалось, что бурса применяла к нему всевозможные способы истязания. Расправа производилась обыкновенно по ночам. Находились отчаянные головы, которые по целым часам сторожили, когда жертва заснет. Мучения производились настойчиво, причем виновных не оказывалось. Бедный Алферов особенно не мог вспомнить без содрогания подушек. Дело в том, что, когда он засыпал, бурсаки накидывались на него всей оравой и принимались колотить подушками. Сам по себе один или несколько ударов подушкой — вещь совершенно невинная, но когда на несчастного сыпался целый град таких ударов, получались тяжелые последствия... Если бы он и пошел даже жаловаться, то никакой медицинский осмотр не нашел бы ни малейших признаков побоев.

Я передаю только маленькую часть того, что проделывала бурса при закрытых дверях, и недаром она так боялась ябедников. В течение двухлетнего пребывания в училище я не решался ни разу побывать в гостях даже у знакомых бурсаков и бывал в училище только в классное время. Да, бурса оставалась бурсой, несмотря даже на то, что учителя и училищное начальство были людьми гуманными и просвещенными, за самыми редкими исключениями, как суровые расправы инспектора.

Да, дни шли медленно и тяжело. В течение какого-нибудь месяца я сделался совсем другим человеком, и мне начинало казаться, что недавнее прошлое отодвинулось далеко-далеко и что я — уже не я. На меня находили минуты самой тяжелой тоски, и я даже старался не думать о милом прошлом, о Висиме, о родных и знакомых. Но нет такого скверного положения, в котором не было бы своего утешения или надежды. У всякого из нас были заведены «деньки», то есть разграфленная записочка с обозначением всех дней до рождества. Каждый день вечером каждый с великой радостью вычеркивал один денек из своей жизни. Только бы дотянуть до рождества, — дальше этого мечты не шли. Даже бурсаки, которым некуда было ехать на рождество, и те имели «деньки» и также вычеркивали

один день за другим. Время являлось самым страшным врагом...

У меня тоже были «деньки», и я высчитывал вперед, что мне в течение двух лет придется отбывать около шестисот училищных дней.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ТРЕТИ

I

Первая учебная треть, то есть время до рождества, — самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых четыре месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги... По крайней мере лично мне казалось, что я уже никогда больше не увижу ни родного Висима, ни родных зеленых гор, ни дорогих родных людей... Время точно остановилось, а последний, четвертый месяц доставался тяжелее всего. Дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло. Прибавьте к этому еще рождественский шестинедельный пост, когда наше питание сводилось на форменную голодовку.

Итак, наши «деньки» убывали с тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отличный санный путь, давно уже велись душевные разговоры о своих родных углах... У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше Висима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшиеся во славу родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездки на рождество. Ведь целые две

недели провести дома, а это, как известно, целая вечность.

Последние две недели перед отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Иванычем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне — до Висима. Предстояло сделать зимним путем верст полтораста, с двумя ночевками в дороге, но все это были, конечно, пустяки, а только бы ехать домой.

Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши «занятные часы». Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия невменяемого характера. Помню, как Ермилыч все «занятные часы» проводил в том, что чинил карандаш. Очинит, напишет строку, сломает и опять примется чинить.

— Ты лучше его отдай мне, — говорил Александр Иваныч в качестве аккуратного человека. — Деньги плачены...

Ермилыч не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончался весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу, и вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новый карандаш, по лестнице послышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили дыхание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная, высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. Да, это был *он, тот* самый, который делал нас свободными.

Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали, точно пришельца с того света, и засыпали

вопросами. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам.

— Идите к нам... — тащили его в разные стороны.

Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый. По робости, проявленной им с первых шагов, можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за «великовозрастие» или «древоголовие». Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские чувства.

— Ну, здравствуй!.. Учишься?

— Учусь...

Сын своего отца, белокурый мальчик-крепыш, смущался не меньше отца.

— А я того... — бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. — Я в духовное правление... с отчетом... ну, значит, того... раньше приехал.

Он присел на один из сундуков и улыбался. Школяры окружили его живой стеной. Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще этот смущенный богатырь внес с собой струю деревенской воли и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обиходу, а ему подтягивали полтора десятка молодых, свежих голосов.

После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев — пшеничных кренделей и репы. Нашему восторгу не было границ.

На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали, а вечером кто-то нарочно прибегал из бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омрачена только печальным известием, которое привез с собой наш гость, — именно, что отец нашего Павла Иваныча Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить.

— Что же делать, в бурсу поступишь... — как-то виновато повторял дьячок. — И в бурсе люди живут.

Утешение было плохое.

II

Чистых радостей не существует, потому что под каждой радостью, прямо или косвенно, пряталось чье-нибудь страдание. Представьте себе самую простую картину: вы садитесь обедать. Вы работали целый день — значит, обед вами заработан, и вы, кажется, никого не обижаете тем, что утоляете свой голод. Но вот вы сели за стол, подано кушанье, и вы слышите где-то детский плач. Что такое? Кто плачет? Плачет голодный ребенок, который не ел несколько дней. А может быть, их несколько? Неужели вы не отдадите им своего обеда? Вы нисколько не виноваты, что эти дети голодны, и все-таки почувствуете себя как будто виноватым и не имеющим права на вкусный обед, когда рядом с вами стоит худенький ребенок и смотрит на ваш обед голодными глазами.

Так было и с нашей радостью по случаю первого отпуска на побывку домой. Да, мы, отцовские дети, ехали домой, нас ждали с нетерпением родные, мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная, голодная бурса, которой решительно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того не красную жизнь бездомного сироты бурсака... Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсацкую «занятную», где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланое равнодушие. Тетеря догнал меня в коридоре и угрожающим тоном проговорил:

— Гостинцев привезешь?.. а? Привезешь? Смотри, всю рожу растворожу, зуб на зуб помножу...

Бедный Тетеря, мне было и жаль его и как-то совестно. Лучше бы уж он ударил меня...

Наша квартира превратилась в какой-то табор. Приехали подводы с трех уездов, большею частью — простые мужики, которые по пути привезли в город что-нибудь продавать, а в качестве обратной клади

везли по домам поповичей. Татьяна Ивановна находилась в самом благодушном настроении, потому что получила к празднику кое-какие дары, главным образом — по части деревенской живности.

— С заводских-то немного получишь, — проворчала она по нашему адресу. — Хоть бы углей на самовар привезли...

— Ишь, старая карга [1], чего захотела! — ругался Ермилыч. — Мы сами угли-то на наличные денежки покупаем... Нашла тоже: углей ей привези.

Приехавшие подводы уже не производили того впечатления, как появление первого дьячка. Весь запас восторгов был уже исчерпан, и мы начали привыкать к собственной радости. Деревенские мужики в свою очередь относились к нам, как к живой клади, вроде тех поросят и телят, которых они доставляли в город.

Да, все подводы были налицо, и не было только нашей подводы с Александром Иванычем, что повергло нас в молчаливое отчаяние. Наступала последняя ночь, а подводы нет как нет. Завтра утром все уедут, а мы останемся одни в пустой квартире. Эта мысль просто уничтожала... А вдруг наш возница замерз где-нибудь по дороге? Лошадь могла сломать ногу, могли по дороге напасть разбойники или волки, — все могло быть, и мы страшно мучились. Вечером мы прислушивались ко всякому шороху, и все напрасно. Измученный ожиданием, Александр Иваныч заявил:

— Этот дурак просто заблудился в городе и не может нас найти... Я пойду искать его по постоялым дворам. Некуда ему больше деваться...

Было темно. На улице трещал тридцатиградусный мороз. Но это нас не удержало. Мы побежали в Лягушку, как называлась улица, где были постоялые дворы, и сделали обход. Заблудившегося возницы нигде не оказалось, и мы вернулись домой в молчаливом отчаянии.

---

[1] Карга — по-татарски — ворона. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Я этого дурака вот как вздую, — ругался Александр Иваныч, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру.

А в нашей передней на каких-то узлах сидел сгорбленный, худенький мужик с козлиной бородкой и жевал корочку домашнего хлебца. Это и был наш желанный возница, имя и фамилию которого я помню до сих пор: Илья Бушин, из деревни Захаровой, от которой до Висима всего восемь верст.

На другой день утром мы получили от инспектора отпускные свидетельства. Удивительно, как в два-три дня все сделались добрыми, решительно все, начиная с нашей хозяйки Татьяны Ивановны и кончая инспектором... Даже галки на крышах кричали как-то иначе, и дым из труб поднимался вверх не так, как вчера. Когда мы ехали по городским улицам, попадались всё удивительно добрые люди, которых раньше не приходилось видеть, а на хлебном рынке, где шел предпраздничный бойкий торг хлебом, овсом, рыбой и говядиной, такие добрые люди стояли густой толпой и от радости неистово галдели. Но всего лучше и совершеннее на свете были наша дорожная кошевка, бурая лошадь и возница Илья Бушин, составлявшие вместе как бы одно целое, лучше которого ничего решительно нельзя было придумать. Если в этот знаменательный день существовало в мире совершенство, то это совершенство называлось нашей кошевкой, которую тащила наша бурая лошадка и которой управлял наш Илья Бушин.

— Ужо надо ребятам гостинцу купить, — говорил Бушин, останавливаясь около ларька с кренделями.

Мороз стоял сильный, но мы его не чувствовали благодаря теплым шубам и одеялу из мохнатой киргизской овчины, а главное, конечно, благодаря своему настроению. Ведь такие счастливые минуты, как и всякое счастье, не повторяются...

Илья Бушин тоже, повидимому, был совершенно счастлив и, оглядываясь на нас, все улыбался. Он был хотя и одет в шубу, но вся шея оставалась голой.

— Неужели тебе не холодно, Илья?

— Помилуйте, мы люди привычные... Приедем на станок и обогреемся.

— Понравилось тебе в городе? — спрашивал Александр Иваныч.

— Ничего, хорошо...

Обернувшись к нам и тряхнув шапкой, он прибавил:

— Только поговорка есть не совсем хорошая про город этот самый, будто в городе-то толсто звонят, да тонко едят...

Мы не могли не согласиться с такой поговоркой, которую испытали на себе.

Зимой Екатеринбург точно принаряжается и молодеет. Не было ни грязи, ни рытвин, — благодетель снежок покрыл все уличные недочеты. Наш верхотурский тракт проходил предместьем Мельковой, где дома делались все ниже и ниже, пока не превратились в жалкие лачуги, где ютилась городская бедность.

Когда город остался назади, Илья обернулся и с своей добродушной улыбкой проговорил:

— А ведь я города-то не видал совсем... В первый раз приехал, думаю, — все высмотрю, да вот с тем и уехал, с чем приехал.

— В другой раз посмотришь...

— И то, видно, придется в другой раз посмотреть. Надо побывать да каменные дома поглядеть. Наш-то Висим как есть весь деревянный...

Наша кошевка довольно бойко катилась по убитой ступеньками трактовой широкой дороге. По сторонам тянулся зеленой стеной сосновый бор, сохранившийся под самым городом благодаря недремавшему оку бывшего горного начальства, когда все было поставлено на военную ногу. Я невольно припоминал, как осенью тащился по этому тракту в телеге и напрасно старался решить вопрос о том будущем, которое меня ожидало. Теперь уже все определилось, а впереди — целых две недели счастья...

Как только наша кошевка выехала за город, Александр Иваныч с необыкновенною солидностью достал папиросу и закурил ее, улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Иваныча, который насла-

ждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими и все другие, ехавшие сейчас к себе домой.

— Ах, хорошо!.. — говорил Александр Иваныч, делая жестокую бурсацкую затяжку и закрывая от наслаждения глаза.

III

Есть неизъяснимая прелесть в простой русской гужевой езде, несмотря на все присущие ей недостатки, особенно по сравнению с паровыми путями сообщения. Неудобства как-то забываются, а остаются воспоминанания лучшие об этих длинных упряжках, кормежках по постоялым дворам и целом ряде специально трактовых типичных людей, которые работают здесь свою тяжелую работу и зиму и лето. Я лично особенно люблю зимние поездки в открытой сибирской кошевке, только не по открытым степным местам, а горами и лесом, где картины чередуются одна за другой, как в панораме.

По верхотурскому тракту нам пришлось ехать сравнительно недолго, и после двух кормежек мы свернули с него влево, чтобы проехать «прямой дорогой» озерами. Путь сокращался верст на шестьдесят. Эта глухая лесная дорога, существующая только зимой, необыкновенно красива. Кругом — саженный снег, ели стоят, окутанные белым, снежным саваном, единственный признак жизни — бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом, нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина, как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными перелесками, через которые брезжит синеющая даль. И хорошо, и жутко, и хочется ехать по этой лесной пустыне без конца, отдаваясь специально дорожным думам.

Прямая дорога озерами проходит самыми глухими местами, где летом ни прохода, ни проезда, потому что на сотню верст разлеглись ржавое болото, озера и лес. Единственное селение на нашем пути был Таватуй, на

крутом берегу озера того же имени. Это было настоящее раскольничье гнездо, забравшееся в неприступную глушь. Мы приехали в Таватуй уже ночью и перед самым селеньем встретили волчью стаю, пересекавшую озеро шеренгой.

— Вот как, милые, лопочут, — похвалил Илья. — Это они к палой лошади бегут, которую мы видели отсюда верстах в трех. Учуяли...

Было еще часа два утра, но в некоторых избах уже светились приветливые огоньки. Это бабы-раскольницы топили печи для раннего рабочего завтрака. Все раскольники живут туго, и народ всё работящий, а бабы на отбор хозяйки. Попасть на ночлег было не легко. Наша кошевка останавливалась перед избой, Илья слезал с козел, стучал осторожно в волоковое окно и «молитвовался»:

— Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!..

В окне показывалось женское лицо, и слышался голос:

— Аминь. Кто крещеный?

— А мы с Висиму, заводские... Из городу едем.

— Поезжайте дальше.

Мы напрасно «молитвовались» изб у пяти, пока нас не пустили в шестую, и то, вероятно, потому, что Илья сказал:

— Не замерзать же нам на улице... Есть ли на вас крест-то!

Раскольничий двор в лесных глухих местностях представляет из себя маленькую деревянную крепость и сверху наглухо закрыт тесовой крышей. В таком дворе и днем темно, пока не привыкнет глаз. Избы у зажиточных мужиков делятся теплыми сенями на две половины: передняя — жилая, а задняя — на всякий случай. Зимой заднюю избу редко топят. Мы попали в переднюю и сразу были охвачены благодетельным теплом. Нас встретила довольно неприветливо суровая старуха в кубовом сарафане.

— Эх, чайку бы напиться, — шепнул мне Александр Иваныч, разминая окоченевшие от сиденья и мороза ноги. — Только здесь какой самовар... Раскольники чаю не пьют.

Машинально, охваченный еще не остывшим чувством свободы и безнаказанности, он хотел раскурить папиросу, но пришлось бросить...

— Да ты где? — ворчала старуха. — Образà в избе, а ты, проклятый, табачище закурить хотел...

— Ну, я во дворе покурю...

— Двор спалишь!..

Папироса испортила все дело, и старая раскольница смотрела на нас, как на погибших окончательно людей, которые в таких молодых летах, а уж попали прямо в лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась за мной. Мне захотелось пить. Около печки стояла крашеная кадочка с водой, а на стенке висел ковш. Я подошел, взял ковш и хотел зачерпнуть воды, но старуха налетела на меня, как ястреб, выхватила ковш из моих рук и даже замахнулась им на меня.

— Да ты в уме ли, табачник?!. — кричала она, размахивая ковшом. — Испоганил бы посудину...

У раскольников считается грехом, если кто напьется из чужой посуды, и на случай необходимости держится уже «обмиршившаяся» посудина, то есть из которой пил кто-нибудь посторонний. Старуха сунула мне какую-то деревянную чашку и сама налила в нее воды, чтобы я не черпнул ею прямо из кадочки.

— Вот так угощенье, — ворчал Александр Иваныч, залезая на полати, где было жарко, как в бане. — Это называется: пожалуйте через забор шляпой щей хлебать.

В тепле мы, конечно, заснули как убитые, и тем тяжелее было пробуждение, когда Илья пришел и сказал нам, что лошадь запряжена и он уж вынес вещи в кошевку.

— Снежок падает, — сообщил он. — Ужо оттеплеет к обеду...

Все-таки, хотя и сделалось значительно теплее, выходить из тепла на холод было крайне неприятно, да и спать хотелось досмерти.

Мы выехали, когда невидимое солнце, точно заслоненное от нас матовым живым стеклом из падавшего снега, уже поднялось. Отдохнувшая лошаденка бежала

бодро. Раскуривая папиросу, Александр Иваныч рассказал, какую штуку он устроил проклятой старухе.

— Не пожалел трех папирос и раскрошил их по всем полатям... Пусть старуха почихает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку.

Эта школьническая выходка рассмешила Илью до слез, и он, вытирая глаза кулаком, спрашивал в десятый раз:

— Так старуха начихается досыта?.. Ну, и ловко... ха-ха!..

Погода изменилась согласно предсказанию Ильи, и мы остальной путь сделали в свое удовольствие. В Черноисточинском заводе мне пришлось расстаться с Александром Иванычем, которому нужно было ехать в Тагил.

Теперь оставалась уже знакомая и самая красивая часть дороги, по которой я проезжал десятки раз. Начинался горный перевал, кругом обступали знакомые зеленые горы, на каждом повороте открывался новый вид. Когда мы подъезжали к деревне Захаровой, наша лошадка сделала попытку повернуть домой.

— Ах, лукавый живот! — возмущался Илья, подхлестывая лошадь кнутиком. — Ведь всего-то восемь верстов осталось. Тоже знает, где ее сеном кормят... Ах, лукавый животище.

Через час езды показался и родной Висим, засыпанный глубоким снегом, из-под которого горбились одни крыши. У меня замерло сердце от радости... Наш дом тоже стоял совсем в снегу. Перед ним высились две горы снега, которые вырастали каждую зиму при очистке проезда в ворота.

Все были дома, как всегда. Общую семейную радость трудно описать, точно я вернулся с Северного полюса. Через полчаса вся семья уже сидела за самоваром, и отец, улыбаясь, говорил:

— Ну что, отведал бурсацкой науки?

Дорогой мысль о бурсе как-то замерла, заметенная дорожными впечатлениями, а тут я опять вспомнил о бедных бурсаках-сиротах, которым некуда было ехать, и чуть не расплакался. Бедные, милые бурсачки, как-то вы будете встречать рождество!..

БОЛЕЗНЬ

I

Этой главой мне приходится закончить свои воспоминания о первом школьном периоде, когда окончательно завершился полный выпад из семьи и когда я сделался окончательно отрезанным ломтем.

Наступал конец второго учебного года, а с ним и конец учения в духовном училище, о чем все мы, выпускные, мечтали, как об освобождении из чистилища. Последней гранью этого периода являлась пасха. Все как-то привыкли думать, что после пасхи начнется что-то особенное, решающее всю жизнь, а поэтому все волновались вперед. Я припомнил слова, которые мой отец любил повторять:

— Только, брат, выцарапаться как-нибудь из училища, а в семинарии будет уже совсем другое...

Что будет *«другое»*, — отец не договаривал, а для меня было ясно, как день, что это *«другое»* — вещь самая хорошая, своего рода золотой век.

На пасху из Екатеринбурга я уезжал на целых две недели в Горный Щит к дедушке, и это одно уже составляло целое событие. Мои заводские однокашники, как Ермилыч и Александр Иваныч, должны были провести это время в квартире, потому что в весеннюю распутицу нечего было и думать о поездке домой. Охваченный радостью провести две недели в домашней обстановке, я с эгоизмом всех счастливых людей совершенно как-то забыл о своих приятелях и отнесся к их положению равнодушно, точно это так и должно было быть. Все дети, с одной стороны, ужасные эгоисты, а с другой стороны — слишком поддаются всякому новому впечатлению. Одним словом, я уехал из города с легким сердцем, за что и понес соответствующее возмездие. Отправившись на хлебный рынок, я разыскал какого-то горнощитского мужика, который не только взялся меня довезти, но даже отправил одного на своей лошади. Это уже было слишком хорошо́: совершенно один, и в моем бесконтрольном распоряжении

настоящая живая лошадь, настоящая деревенская телега, а в телеге — мешок с ржаной мукой.

Выехал я из Екатеринбурга настоящим героем, даже немного больше — человеком, которому доверили настоящую живую лошадь, телегу и два пуда муки. Это что-нибудь значит!.. Скверно было только то, что дорога никуда не годилась, особенно при выезде из города, где телега почти плыла по сплошной грязи. Крестьянская лошадка в некоторых пунктах останавливалась с видимым недоумением, как ей быть в данном случае, — мы, собственно, не ехали, а плыли. Единственная надежда оставалась на то, что когда-нибудь да выедем из благоустроенной городской улицы и будем в поле, где, как на всех проселках в распутицу, по дороге никто не ездит, а пользуется объездами. Я благополучно миновал салотопенные заимки, распространявшие ужаснейшее зловоние чуть не на версту, проехал чудный сосновый бор и начал спускаться широкой луговиной к безыменной речонке, существовавшей только в распутицу специально для неприятностей доверчивым путешественникам. Когда я подъехал к этой речонке, моста не оказалось. Пришлось ехать в «цело» [1], по колесным следам счастливых предшественников. Моя лошадка бодро спустилась в грязь, увязла по колена и остановилась. Телега завязла в грязь выше ступицы колес. Судорожные усилия лошади вытащить телегу привели только к тому, что моя телега разделилась на две части, — передок с лошадью уехал вперед, а собственно телега осталась в грязи, ткнувшись передней грядкой [2] прямо в грязь. Переломился железный курок... Это было похуже кораблекрушения... Я как-то совершенно растерялся, тем более что по дороге никого не было видно, а сам я ничего не мог поделать, даже уйти пешком. Пришлось просидеть среди грязи часов пять, пока уже в сумерки наехал возвращавшийся из города горнощитский му-

---

[1] Ехать в «цело» — целиком, напрямик, без дороги. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Грядка в средней полосе России — подушка, нижняя передняя часть телеги. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

жичок. Он остановился, осмотрел сломанный курок, покачал головой и проговорил:

— Плохо твое дело, парнюга... Ишь ты, точно зубом перекусило курок.

Потом он начал бранить и дорогу, и сломанный мост, и мастера, который делал курок, и так вообще глупых людей, которые таскаются по таким проклятым проселкам. Кончилось все тем, что он вырубил молодую елку и сделал деревянный курок.

— Да ведь он сломается на первой версте, — заметил я в отчаянии.

— И даже очень просто, — согласился мужичок. — Уж ежели железный курок не вытерпел, так где же деревянному удержаться... А может, и доедешь... Случается...

Телега была поставлена на передки, деревянный курок вставлен на свое место, и мужичок, пожелав мне благополучного пути, уехал.

— Сегодня у нас баня, тороплюсь домой, — объяснил он. — А ты полегоньку, парнюга, по потным-то местам...

Надвигались уже холодные весенние сумерки, и я рисковал заночевать где-нибудь в «потном месте», то есть в ложке или болоте. Вообще приятного впереди было мало, и я трепетал за каждый шаг вперед, особенно когда приходилось спускаться мимо деревни Елисавет к речке Патрушихе. Было уже темно настолько, что трудно было рассмотреть что-нибудь в десяти шагах, и я предоставил свою судьбу инстинкту своей милой лошадки, которая знала дорогу, конечно, лучше меня. У меня, впрочем, оставался еще расчет на «обратных» горнощитских мужиков, которые могли меня догнать, но, как на грех, ни одна телега меня не догнала. Моя лошадь шла осторожно, нога за ногу, в сомнительных местах останавливалась, фыркала и выбирала то направление, которое ей казалось более удобным.

Ровно в полночь моя телега остановилась у дедушкина домика. Деревянный курок оказался выносливее железного.

— Эх, Митус, а баню-то ты прозевал, — жалел меня дедушка Семен Степаныч.

После пережитых волнений мне, конечно, было не до бани. Я, как говорится, был рад месту...

Две недели отдыха, как всякие каникулы, промелькнули с предательской быстротой. Моя прабабушка Феофила Александровна перед каждым праздником приходила в отчаяние по поводу несовершенства и слабостей рода человеческого, а перед пасхой в особенности, — Горный Щит оказывался самым скверным уголком на всей нашей планете. Со свойственным молодости легкомыслием я не доверял этому старушечьему отчаянию и даже спорил со старушкой, защищая нравственность горнощитских обывателей, но потом мне приходилось убедиться в справедливости Феофилы Александровны.

Дело было так. Как известно, на пасхе и долго после пасхи духовенство обходит весь приход с иконами. Мой отец никогда не позволял мне провожать его в этом случае, но в Горном Щите я с детьми о. Вениамина отправился по приходу с иконами. То, что пришлось мне увидеть, привело меня почти в отчаяние. Почти все село, за редкими исключениями, поголовно было пьяно. Эти красные, пьяные лица, воспаленные глаза, пьяное, бессвязное бормотанье, когда духовенство переходило из одной избы в другую, оставили во мне тяжелое чувство... Дедушка увидал меня в толпе провожавших иконы, подозвал к себе и, погрозив пальцем, строго сказал:

— Ступай домой, Митус... Тебе тут нечего делать.

II

Пасха пролетела быстро. Я начал уже готовиться к выпускным экзаменам и отчаянно зубрил греческие и латинские слова.

— Что, брат, трусишь? — подшучивал надо мной дедушка...

— Трушу...

В город я вернулся в самом ожесточенном настроении, то есть решил зубрить до потери сознания. Прабабушка снабдила меня, конечно, «подорожниками», то есть разными произведениями своего кулинарного искусства, но на этот раз они меня не интересовали, и я роздал их почти целиком остававшимся в квартире приятелям. Вообще я чувствовал себя как-то не по себе, разнемогся, как говорят деревенские старухи. А когда начались занятия в училище, я окончательно расхворался. Инспектор осмотрел мой язык, сосчитал пульс, ощупал лоб и только покачал головой.

— Можешь оставаться дома, — решил он. — А там увидим...

При училище была небольшая больничка, но инспектор почему-то не отправил меня туда, — вероятно, потому, что там не было свободного места. Дома, то есть у себя на квартире, мне пришлось лежать в большой комнате, на простой деревянной скамейке с деревянной решетчатой спинкой. Время до обеда проходило в полном одиночестве, когда некому было подать воды, а сейчас после обеда начинался настоящий ад. Кричали, пели, дрались и отчаянно зубрили вслух. Последнее было всего хуже, потому что я про себя повторял все слова и фразы, которыми был насыщен самый воздух. Мне иногда начинало казаться, что я вижу эти слова в форме каких-то букашек, закорючек и фантастических фигур, осаждавших меня, как овод в летний жар.

В болезнях есть что-то таинственное, начиная с их зарождения. Откуда они приходят? Наш ум привык объяснять все разумными причинами, наконец, — известной целью, а тут является что-то бессмысленное, подавляющее и, главное, неопровержимо доказывающее бренность человеческого существования. Был человек, — и вдруг его нет... При болезнях страдает не одно тело, а, главным образом, душа, и нет такого инструмента, каким можно было бы измерить, взвесить и сосчитать эти душевные муки. Это с одной стороны; а с другой — именно в болезнях коренятся глубокие основания душевных перемен. Есть своя философия болезней, до сих пор еще не изученная и не написан-

ная. Сплошь и рядом болезнь является роковой гранью, которая разделяет нашу жизнь на периоды, причем человек до болезни и человек после болезни являются совершенно разными людьми, чего не хотят замечать по психической близорукости. Иногда болезнью завершается благодатный переворот к лучшему, а иногда наоборот...

Воспоминания об этой болезни у меня сохранились с особенной отчетливостью, точно все происходило только вчера. Мои товарищи по квартире отнеслись к моему положению почти безучастно и не обращали на меня внимания, точно я уже не существовал на свете. Все дети страшные эгоисты, и, вероятно, я сам отнесся бы таким же образом к другому больному. Внимательнее других оказался Ермилыч, который иногда подходил ко мне и повторял одну и ту же фразу:

— А ты поел бы...

Вечно голодные мальчики не могли никак себе представить, что человек может не хотеть есть. От Ермилыча я, между прочим, узнал, что у меня «горячка», как в те времена назывались все тифы, и что я могу умереть. Последним обстоятельством особенно огорчалась добрейшая Татьяна Ивановна, потому что это бросало некоторую тень на ее квартиру.

— Уж, кажется, я ли не старалась... — охала она, прикладывая по-старушечьи руку к щеке. — И с чего бы, кажется, быть горячке... Вон все другие здоровы, слава богу.

Жизнь Татьяны Ивановны точно была соткана из разных примет, вещих снов и вечного страха перед какой-то неизвестной бедой, которая вот-вот разразится над ее головой. Моя болезнь была отнесена к числу дурных предзнаменований.

— Ведь только что приехал из Горного Щита, — жаловалась она. — Там бы, у дедушки, и хворал... А то нет, слег здесь. Ох, вот беда-то прикачнулась.

Самым внимательным человеком по отношению ко мне оказался наш инспектор, навещавший меня почти каждый день. Он же и лечил меня гомеопатическими крупинками, как лечил ими своих прихожан и мой

отец. Я верил в крупинки на последнем основании и был рад, когда приходил инспектор и заставлял меня показывать язык, считал пульс и т. д. У постели больного это был совсем другой человек, ничего общего не имевший с тем, который наводил трепет даже на отчаянную бурсу. Я слышал его тяжелые шаги, когда он поднимался по лестнице, и знал вперед, что он войдет в шляпе в мою комнату, понюхает воздух, сморщится и скажет подобострастно сопровождавшей его Татьяне Ивановне:

— Что это у вас, матушка, воздух-то какой... Хоть топор вешай. Покурили бы чем-нибудь, что ли...

— Уж, кажется, стараюсь, господин инспектор, — обиженно отвечала старушка. — Даже в другой раз и ночью не спишь, а все думаешь, как бы лучше... Да и то сказать, ведь шестнадцать человек, какой уж тут воздух.

Следовало, конечно, известить о моей болезни дедушку, но этого не сделали, чтобы напрасно не тревожить старика, — все равно он не мог приехать, потому что должен был обходить весь приход с иконами.

Я отлично помню мучившие меня горячечные галлюцинации. Мне представлялось необозримое пространство, матово-белое, как полированная слоновая кость, и на этом поле появились какие-то лохмотья, которые я напрасно старался удалить, чтобы сохранилась сверкавшая белизна общего фона. Это было самое мучительное состояние, и я чувствовал, как начинаю задыхаться, подавленный собственным бессилием. Затем мне казалось, что я все еду, еду по скверной проселочной дороге, как ехал на пасху, а цель путешествия подвигалась все дальше и дальше. В каком-то радужном тумане, как в камер-обскуре, выступали знакомые силуэты родных зеленых гор, мелькали дорогие лица и разные предметы домашней обстановки, которые казались живыми. Меня охватывала страстная тоска, и я напрасно рвался к зеленым горам, где так легко дышалось, — дорога казалась тоже живой и не пускала вперед, а даль заслонялась мучительно белой и блестящей поверхностью. Еще больше мучили галлюцинации слуха: кругом меня все зубрило, отчаянно, упорно,

озлобленно... Где-то вдали прорывались родные голоса, гудел медный колокольный звон и глухо и торжественно шумел родной зеленый лес. Впечатления настоящего и прошлого переплетались в мучительно пеструю амальгаму, точно какая-то неведомая рука подводила итог всему пережитому. Происходил мучительный душевный перелом, завершавший раннее детство.

В светлые промежутки, когда являлось сознание действительности, все мысли, конечно, летели домой, в родной Висим. Я видел опять отца и мать, всю обстановку родного гнезда и с особенной яркостью сознавал, что я — отрезанный ломоть навсегда и что возврата нет и не может быть... Осталось идти вперед.

Странно, что окружавшая обстановка почти не действовала на меня, несмотря на ученый ад. Настоящее точно уплыло из сознания, и окружавшие меня шум и гам незаметно сливались с внутренним пожаром.

Последние дни перед кризисом прошли в каком-то тумане, а когда я проснулся от своего забытья, передо мной стоял инспектор и ласково говорил:

— Ну, теперь слава богу... Теперь долго проживешь.

У дверей стояла Татьяна Ивановна и вытирала слезы концом своего рабочего передника.

КАЗНЬ ФОРТУНКИ

Рассказ

I

Как это было давно и как я отчетливо вижу, сквозь мутную полосу десятков лет, это воскресное роковое утро, заливавшее ярким солнечным светом нашу ученическую комнату!

Нужно идти в церковь к обедне, и все чистятся, вынимают лучшее свое платье, причесываются и вообще принимают соответствующий празднику вид. Мой приятель Ермилыч с особенно торжественным видом открывает крышку своего заветного сундука, наклоняется над ним, чтобы достать что-то, — и в ужасе поднимает свое помертвевшее, бледное лицо. Что-то случилось, ужасное и непоправимое, что и меня заставляет невольно содрогнуться, потому что я знаю спокойный, выдержанный характер Ермилыча и знаю, что он из-за пустяков не побледнеет.

— Ермилыч, голубчик, что такое случилось?

Ко мне повертывается это бледное лицо, покрытое мелкими веснушками, серые глаза смотрят непонимающим, пустым взглядом, а искривленные конвульсией губы шепчут только одно слово:

— Сапоги...

Я наклоняюсь к сундуку Ермилыча и тоже проникаюсь ужасом. Нужно сказать, что этот сундук пред-

ставляет собой некоторое художественное целое благодаря царившему в нем порядку. Ермилыч был бедняк, и сундук для него являлся величайшим сокровищем. В нем были разложены в истинно художественном порядке все пожитки Ермилыча: белье, праздничный сюртучок, книги, тетрадки, коробочки с разными редкостями, таинственные свертки и опять коробочки, в которые домовитая бедность укладывала разный хлам. Самое видное место занимали в сундуке Ермилыча новенькие смазные сапоги — его гордость и слабость. Это были первые сапоги, которые Ермилыч мог чистить ваксой, примеривал, сдувал с них каждую пылинку, обтирал платком и надевал только по праздникам. Чтобы купить их, он целый год сколачивал деньги по копейкам и грошам, отказывая себе решительно во всем. Когда Ермилыч доставал их из своего сундука, его лицо светлело и делалось таким добрым. И вдруг... Нет, есть вещи, для описания которых просто не достает подходящих слов, как и в данном случае. Прошло больше тридцати лет, а я и сейчас отчетливо помню, как мне сделалось страшно: сапоги Ермилыча были налиты водой...

— Это устроил Фортунка! — невольно вырвалось у меня.

Ермилыч молчаливым движением подтвердил мое предположение. Конечно, Фортунка, и никто больше.

Нужно сказать, что наш старший по квартире, Введенский, имел две школьных клички, одна для обыкновенного обихода — Просвирня, а другая в исключительных случаях — Фортунка. Последняя кличка носила собирательный характер и давалась почему-то толстым и пухлым мальчикам, каким был и наш Введенский.

Когда квартира узнала историю с сапогами, то для всех сделалось ясно, что дни Фортунки сочтены, и все смотрели на него, как на человека обреченного. Хихикал и потирал руки один Александр Иваныч, раньше покровительствовавший ему. Самые маленькие школяры понимали, что Ермилыч будет мстить и что Фортунке несдобровать. Сознавал это и сам Фортунка, чувствовавший, что зарвался и что лихая шутка не

пройдет ему даром. Одним словом, произошло целое событие, взволновавшее до дна наш маленький мирок. Все шептались по углам и с сожалением поглядывали на Фортунку, прикрывавшего свою трусость самым беспечным видом. Он даже отдувал свои жирные, мясистые щеки и вытягивал красные губы, как человек хорошо пообедавший.

— Ермилыч, ведь ты будешь ему мстить? — спрашивал я.

Ермилыч только улыбался своей больной улыбкой. В его характере была мстительная жилка. Иногда он выжидал целых полгода, чтобы расквитаться с врагом и, подкараулив удобный случай, производил безжалостную расправу. Лично я очень любил Ермилыча, как хорошего товарища. Нас связывало и землячество, и сиденье в одном классе, и та дополняющая разница характеров, которая служит основой школьной дружбы. Бывали, конечно, и недоразумения, тоже школьного характера. Один случай меня даже озадачил, и я никак не мог его понять. У меня был такой же сундук, как и у Ермилыча, и я, по его примеру, вел в нем строгий порядок, хотя и не мог достигнуть желанного совершенства. Между прочим, была у меня коробочка с разной дрянью: пуговицы, перья, карандаши, какие-то обломки и т. д. Сказывалось недавнее детство, утилизировавшее этот материал для своих детских целей. Сейчас этот хлам оставался только по традиции. Раз я разбирал эти сокровища на столе, а Ермилыч смотрел в качестве почтеннейшей публики.

— Вот посмотри, какая пуговица: золотая с орлом...

Не успел я похвастаться, как Ермилыч самым бессовестным образом отнял ее у меня.

— Калю! — заявил он с самым решительным видом.

«Калю» это было своего рода школьное «табу», лозунг царившего права сильного. Как я ни уговаривал Ермилыча, какие трогательные мотивы ни представлял ему, как ни объяснял, что чужие пуговицы отнимать гнусно, он точно окаменел, охваченный какой-то птичьей жадностью. Оставалось или вступить в

отчаянную драку, или порвать цепь дружбы, но я предпочел уступить пуговицу, хотя в душе и затаил неприятное чувство. Меня огорчало до глубины души, что это сделал именно Ермилыч, хороший человек и друг. И все из-за какой-то гадкой пуговицы... Сделай это Фортунка, — ничего в этом особенного не было бы. Все-таки ничтожный сам по себе случай из детской жизни оставил в душе свой след, поселив известного рода недоверие и скрытность. Уж если Ермилыч мог увлечься ничтожной пуговицей до того, что пустился из-за нее на открытый грабеж, то чего же ожидать от других?

Я уже сказал, что в нашей квартире царил самый просвещенный деспотизм, и о праве собственности, а также о праве личной неприкосновенности существовали самые смутные понятия. Особенно неистовствовал в этом случае Фортунка, как вице-деспот, находившийся под непосредственным покровительством Александра Иваныча. В миниатюре наша квартира представляла целое государство с своими традициями, заветами предков и жестокостью диктатора. Школяры-малолетки являлись бесправной массой, ученики старшего класса — привилегированным сословием. Прославленное золотое детство отличается бессознательной жестокостью, — я говорю о мальчиках.

II

Вся наша квартира с нетерпением ожидала развязки нанесенного Ермилычу оскорбления. Меня этот вопрос особенно касался, потому что для меня Ермилыч был слишком близкий, почти родной человек. Положим, что сапоги давно высохли, были вычищены ваксой десятки раз и заняли свое место в сундуке, но это не мешало оставаться оскорблению в прежней силе.

— Что ты сделаешь с Фортункой? — спрашивал я друга.

Ермилыч сначала скромно отмалчивался, а потом показал тяжелую свинцовую гирьку, обшитую кожей, — это и было орудие казни.

— Да ведь такой гирькой можно и убить, Ермилыч?

— По какому месту бить...

У Ермилыча делалось каждый раз нехорошее лицо, когда он заговаривал о возмездии. Мне вперед делалось страшно за Фортунку.

— Вот будет рекреация, так тогда... — таинственно сообщил Ермилыч, любуясь своей гирькой, у которой делались разные усовершенствования, как тонкая бечевка, наматывавшаяся на руку.

Стоял конец мая, и погода была прекрасная. Все зеленело и цвело, наполняя душу какой-то особенной молодой радостью. И в то же время близились страшные экзамены с роковой быстротой. У меня навсегда сохранился какой-то панический страх к экзаменам, доходивший до того, что я уже студентом упал на экзамене в обморок. Из всех лотерей экзамены самые рискованные, и я с сожалением смотрю каждой весной на молодежь, которая должна выносить это испытание. Я уже сказал, что погода стояла отличная. Один день шел за другим, как праздники. Сидеть в такие дни в классе было настоящей пыткой. Даже наш суровый инспектор не выдерживал и раз пошутил. Да, пошутил, повергнув весь класс в полное недоумение. Как теперь помню, шел класс латинского языка, самый страшный изо всех, потому что он, главным образом, доставлял жертвы субботних экзекуций. Сторож поляк Палька только потирал руки, предвкушая удовольствие производить «великолепнейшие порки». Итак, шел класс латинского языка. Все замерли. Слышно, как муха пролетит, в буквальном смысле слова. Окна отворены, и в них смешанной струей врываются звуки колоколов соседнего женского монастыря, крики уличных разносчиков, дребезжанье проезжающих экипажей и вообще уличный шум. Инспектор сидит, согнувшись, в кресле и, по своей привычке, кусает ногти большой холеной белой руки. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоят Александр Иваныч и еще несколько учеников.

— Ну? — лениво протягивает инспектор. — Sat, satis, abunde, affatim? [1]

---

[1] Довольно, достаточно? *(лат.)*

— Довольно, достаточно... — залпом выстреливает Александр Иваныч вызубренный урок.

— Нет... Ну, ты, рядом стоящий? Sat, satis, abunde, affatim?

— Довольно, достаточно...

— Эх, вы, и этого не знаете! Sat, satis, abunde, affatim значит: «сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим»...

Весь класс замер от изумления, а потом разразился таким весельем, что, кажется, смеялись самые стены. На другое утро, когда все собрались, волнение продолжалось.

— Надо просить рекреацию!

Выбрана была депутация из лучших учеников, в том числе был и Фортунка. Они заранее приготовили установленное прошение на латинском языке и отправились на квартиру к ректору, находившуюся тут же на дворе. Все училище замерло в ожидании: что-то будет... Все окна, выходившие на двор, были облеплены любопытными школьническими лицами. Наконец, после томительной четверти часа на крылечке ректорского флигеля показалась депутация.

— Рекреация! Рекреация!.. — пронеслось по всему училищу.

Бывают минуты, которые не повторяются в жизни, и именно теперь была такая минута. Двести школьников, измученных тяжелой годовой работой, потеряли голову от радости. Что-то происходило до того невероятное, радостное, хорошее, чудное, как радужный, молодой сон. А впереди — целый день, счастливый, единственный день.

Утро было в самом начале, а там до самого вечера в лесу, на открытом воздухе, — нет, такие минуты не повторяются. Дальше все идет в каком-то тумане. Все заведение охвачено неописуемым волнением. Знаменитая инспекторская лошадь запряжена в простую телегу, а злодей Палька нагружает эту телегу какими-то таинственными белыми ящиками, которые приносят из соседней пряничной два сторожа. Потом укладываются самовары и целая походная кухня. Милый Палька... Ему сейчас отпускаются все его невольные прегреше-

ния и даже роковые «субботы». Лошадь с телегой и Палькой отправляются вперед, в ту неведомую, счастливую даль, которая грезится нам в каком-то радужном сиянии. Потом мы все выстраиваемся попарно в длинную шеренгу под предводительством старших. Порядок образцовый. Никому и в голову не приходит нарушить его. Господи! да ведь такой день один, один, один!.. Для меня это еще первая рекреация, и воображение рисует что-то необыкновенное, сказочное, невозможное. Каждый чувствует, что он — органическая кровная часть вот этого громадного целого, и как дороги все эти товарищи по классу, по училищу, по общей учебной каторге. В каком-то тумане наша шеренга марширует по деревянным тротуарам пыльной городской улицы, вызывая зависть всех прохожих. Да, все останавливаются, провожают нас глазами и улыбаются, зараженные нашей радостью. Чиновники, плетущиеся на свою службу, знают, что значит этот молодой поход, и вспоминают свое время; мещане, старушки с лотками, извозчики — все знают и все сочувствуют в душе. Нужно же бедным школярам передохнуть хоть один денек... Вот и предместье, всегда грязное, даже в самую хорошую погоду; вот и городской выгон, и сосновый лесок, и река, и ряд заимок на ней. С трактовой дороги мы сворачиваем влево, переходим по какому-то деревянному мосту через реку и точно приступом берем первую лесистую горку. Как хорошо здесь: сколько света, воздуха, зелени, красок, и все это наше на целый день, которому не будет конца! Ведь перед нами не день, а целая вечность!.. Благословенный, счастливый день! В припадке нежности мы беремся с Ермилычем за руки и так идем всю дорогу, точно боимся, что который-нибудь от радости вспорхнет и улетит. В задних рядах кто-то затянул популярную в нашем училище старинную песню, которую, вероятно, певали еще наши отцы, путешествуя на рекреации:

«Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь...»

В общем хоре выделялся и молодой, с петушиными перехватами, басок Александра Иваныча, и заливистый тенорок Фортунки, и немного надтреснутый голо-

сок слабогрудого Ермилыча, — это была одна оркестровая нота, поднимавшая всех от земли. Дорога шла по левому высокому берегу реки Исети, путаясь в сосновом бору. Душный и пыльный Екатеринбург остался назади, а впереди уже начинались так называемые «заимки», то есть громадные дачи с разными промышленными заведениями, как салотопни, мыловарни, кожевни. Верстах в пяти от города левый берег выступал в реку красивым лесистым мыском с большой, зеленой каймой поемного луга; это и было место нашей рекреации. Издали мелькнул большой костер, разложенный Палькой, а около него уже выросла целая ставка: наша училищная кухня, потом палатка приехавшего из города мелочного торговца, потом столики торговок кислыми щами, калачами и разной другой дрянью, на которую так падки дети. Одним словом, нас ожидало полное великолепие.

— Форменно, — заявил Ермилыч тоном специалиста, издали разглядывая и место, выбранное под рекреацию, и сделанные для нее приготовления.

Скоро весь мысок запестрел детьми, как муравейник, а в лесу гулко отдавались звонкие, молодые голоса. Экзекутор Палька с отечески-добродушным видом возился около огня, точно никогда не брал в руки ужасной лозы. Его обступили со всех сторон, дергали за казенную шинель и вообще надоедали самым добросовестным образом, как это умеют делать только одни дети.

— А ну вас! — ворчал Палька, отмахиваясь обеими руками. — Ужо скажу инспектору.

Скоро приехал и сам грозный инспектор в сопровождении нескольких учителей: учитель греческого языка Николай Александрович, учитель русского языка Григорий Александрович, учитель географии и истории Константин Михайлович. Первые двое были еще совсем молодые люди, цветущие и веселые, а третий такой болезненный и чахоточный субъект. Они приехали на двух извозчиках, занявших своими экипажами задний план нашего гулянья, что дополняло походную декорацию.

— Здравствуйте, господа! — весело здоровался инспектор. — Ну, сегодня мы будем веселиться напропалую...

О, это был совсем другой человек, какого мы совсем не знали! Неужели он, вот этот самый инспектор, мог устраивать свои «субботы»?.. Нет, все это один блаженный, счастливый сон, какие видишь только в ранней юности. Учителей мы любили, хотя они и донимали нас подчас, как самый веселый учитель греческого языка.

III

Описать рекреацию во всех подробностях довольно трудно, потому что целый летний день прошел в удовольствиях: дети играли, пели, лакомились и опять играли. Тут был и мяч, и свайка, и городки, и борьба, и беганье взапуски, и «куча мала», и хоровое пение. Инспектор принимал сам участие в игре в мяч, и это представляло собой трогательную картину. Шло соревнование по классам, отделениям, по квартирам, причем наша квартира благодаря Александру Иванычу, Фортунке и Ермилычу заняла по части физических упражнений не последнее место. Особенно веселился учитель греческого языка, очень ловкий и здоровый господин. Он же составлял и ученический хор. Одним словом, с одной стороны, были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой — взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью.

Инспектор устал раньше других и лежал на траве. Около него сидел наш квартирант Ваня, любимец всех учителей за свою кротость, хорошие способности и детскую красоту.

— Ну, спой что-нибудь, Ваня, — ласково говорил инспектор. — А то давай вместе споем.

Сначала мальчик стеснялся, а потом тоненьким детским дискантиком спел «Звездочку»:

Звездочка ясная в небе горит,
Душу, прекрасная, в небо манит...

Помню и эту детскую песенку, и детский, чистый голосок, и это хорошенькое, чистое детское личико с такими светлыми, ясными глазами, подернутыми влажной детской синевой: в них еще не остыла теплота раннего детства. Ровно через год Ваня умер у нас на квартире от тифа, умер на том самом диванчике, на котором вылежал я свои шесть недель.

Самый торжественный момент наступил, когда были раскупорены таинственные белые ящики, и в толпу полетели пригоршни дешевых пряников и конфет. Поднялись такой гвалт и свалка, что продолжать это слишком шумное удовольствие не было возможности, и остатки сластей были розданы прямо на руки. У всех радостей — один общий недостаток: они слишком быстро проходят. Наша рекреация пролетела с самой обидной быстротой, и не успели мы даже устать хорошенько, как солнце уже село за зубчатую стену леса, и наступили сумерки. Костер Пальки потухал, палатка торгаша была сложена, торговки укладывали пустые ящики и бутылки на свои тележки, одним словом пир был кончен. Раскрасневшиеся, счастливые детские лица все еще были полны веселой энергией, а наступила пора возвращаться домой. Я только теперь вспомнил, что именно сегодня должна была совершиться давно ожидаемая казнь Фортунки, и, конечно, она будет произведена в сумерки, когда пойдем врассыпную домой. У меня даже сжалось сердце от страха... Веселившийся Ермилыч принял угрюмый вид. Фортунка съежился, присмирел и не отходил от Александра Иваныча — он предчувствовал, что его час настал.

— По домам! — скомандовал инспектор.

Все пошли одной гурьбой, с веселыми песнями, как и следует закончиться настоящему празднику. Инспектор и учителя даже не сели на своих извозчиков, а шли вместе с толпой облепившей их детворы. Это была трогательная картина того, чем должна быть школа. Все было забыто для счастливого дня: и инспекторские «субботы», и зубренье, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день быть действительно гуманной, выкупая этим

именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения... Люди были людьми, — и только. Новая школа, размерив время учения по минутам, не нашла в своем распоряжении ни одного свободного дня, который могла бы подарить детям. Она формально справедливее и формально гуманнее, но в ней учитель и ученик отделены такой пропастью, через которую не перекинуто ни одного живого мостика. Новая школа не знает отступлений от своих программ, и ученики в ней являются в роли простых цифр известной педагогической комбинации. Дореформенная школа, несмотря на все свои несовершенства, стояла ближе к детскому миру, особенно если бы выкинуть из нее ненужную жестокость педагогов и жестокие школьные традиции [1].

Итак, мы возвращались в город. Школьники шли вольно, врассыпную, как солдаты после учения. Наша квартира отстала, особенно старшие ученики. Фортунка ни на шаг не отставал от Александра Иваныча, пугливо озираясь на Ермилыча. В одном месте, где дорога шла лесом, мы совсем отстали, и все как-то таинственно остановились. Александр Иваныч достал папиросу и, раскуривая ее, проговорил с равнодушием скучавшего деспота:

— Ермилыч, а ты позабыл про сапоги?

Этой фразой он выдал Фортунку Ермилычу. Как настоящий восточный деспот, Александр Иваныч хотел потешиться на счет своего фаворита, чтобы закончить счастливый день достойным образом. Фортунка рванулся было, чтобы бежать вперед, но Александр Иваныч его остановил:

— Куда? Воду в сапоги умеешь наливать? Ха-ха... Ермилыч, казни его.

Ермилыч тяжело дышал. Он точно застыл на одном месте, в той позе, когда зверь бросается на свою жертву. Один прыжок, и Фортунка был бы избит самым жестоким образом. Но случилось нечто неожи-

---

[1] Эти строки были написаны до настоящего положения школьного дела, которое вернулось к хорошим традициям доброго старого времени. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

данное: Ермилыч вытащил свою гирьку и швырнул ее далеко в лес, а потом облегченно вздохнул, точно с него сняли какую-то тяжесть.

— Ермилыч, ты что же это? — подзадоривал его Александр Иваныч.

Но Ермилыч уже шагал разбитой походкой и не оглядывался. Когда мы вернулись на квартиру и улеглись спать, Ермилыч, завертываясь в свое одеяло и отвечая на мой немой вопрос, проговорил с добродушной улыбкой:

— Черт с ним, с Фортункой: не мог я на него рассердиться!..

Это была наша последняя рекреация. Наступила школьная реформа, новые порядки и новые люди.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИЛЬЩИКА

Рассказ

I

Есть вещи, к которым мы настолько привыкаем, что они делаются для нас совсем незаметными и почти не существующими. Разве каждый восход солнца не величайшее чудо, а мы просыпаем его самым бессовестным образом, и только потому, что это совершается каждый день. Нужно только представить себе, что вот это не замечаемое нами солнце было изобретено кем-нибудь, и его восход показывали бы за деньги, как иллюминацию, электричество и фейерверки, — с каким восторгом мы наслаждались бы этим изумительным и единственным зрелищем. А каждый зеленый лист растения разве не чудо? Устройство ноги самого несчастного комаришка разве не чудо? Но мы привыкли к этому чуду и не замечаем его, а затем — просто не можем его оценить в достаточной мере, потому что его не понимаем.

Еще меньше внимания мы обращаем на те мелочи и кажущиеся пустяки, которыми с пеленок обставляется вся наша жизнь, как своего рода маяками и таинственными сигналами, в которых часто скрыта какая-то неведомая сила, как в любом самом ничтожном зернышке. Возьмем для примера самую простую детскую игрушку. Все человечество начинает свою жизнь

именно с нее, с этой часто бессмысленной и глупой побрякушки или куклы. Как-то даже странно думать, что в свое время и великий Цезарь, и великий Шекспир, и великий Наполеон сосредоточивали все свое внимание на детской игрушке. Это какая-то таинственная стадия в развитии всего человечества, и мне кажется, что все эти детские игрушки — что-то живое, что принимает самое деятельное участие в жизни маленького человечества, приводя к одному знаменателю великих и ничтожных мира сего.

Самый трогательный момент в этом таинственном периоде игрушечного существования наступает тогда, когда ребенок расстается со своими игрушками навсегда, как расстаются со старыми, дорогими друзьями. Ведь лошадка, лишенная всех четырех ног и мочального хвоста, продолжает еще жить даже тогда, когда валяется где-нибудь на чердаке в куче разного другого хлама. У самого умного народа, какой только существовал, именно у римлян, — был целый обряд, когда девушка-невеста приносила свои детские игрушки и куклы в жертву какой-то богине. В этом обряде много смысла и какой-то особенно грустной, специально античной поэзии...

В моем детстве игрушек было очень немного, особенно покупных, и, вероятно, поэтому я их помню с особенной отчетливостью. Сколько вещей перезабыто более ценных, сколько лиц просто как-то выпали из памяти, некоторые события претерпели ту же участь, потускнели, точно стерлись и заслонились другими, а память об игрушках сохранилась. Тут и дешевенькая лошадка из папье-маше, и дрыгавший ногами раскрашенный паяц, и Сергиевская лавра, и целый ряд особенно дорогих картинок, и картонные домики, — все это вижу, как сейчас. Но лучшую игрушку составлял деревянный пильщик, которого время от времени устраивал наш кучер, хохол Яков. Пильщик вырезался довольно грубо из куска дерева, в руках он держал деревянную пилу и, поставленный на край большого стола в кухне, начинал мерно раскачиваться. Эта мужицкая игрушка производила самое сильное впечатление, потому что двигалась, а движение — синоним

жизни. Как живое существо, деревянный пильщик подвергался всем последствиям своего возраста, пока не кончал полным разрушением, то есть терял пилу, руки, ноги и голову. Хохол Яков был упрям и ленив, и заставить его сделать другого пильщика составляло не малый труд.

— Яков, голубчик, миленький, устрой другого пильщика...

— А ну вас, — равнодушно отвечал Яков.

Но дети в своих детских делах не менее настойчивы, чем большие, и через некоторое время, поломавшись над нами вдоволь, Яков уступал. Самое скверное, когда Яков начинал бесконечную сказку про белого бычка:

— Ты говоришь: «устрой пильщика», я говорю: «устрой пильщика», а не сказать ли вам сказку про зеленого бычка?

— Яков, пожалуйста...

— Ты говоришь: «Яков, пожалуйста», я говорю: «Яков, пожалуйста», а не сказать ли вам сказку про синего бычка?

В конце концов второй пильщик все-таки появлялся и оказывался ничем не хуже своего предшественника.

Нужно сказать, что в семье у нас в это время не было девочек, и поэтому не было и настоящей детской куклы, представляющей, по моему мнению, игрушку всех игрушек. От карточных домиков, паяцев, пильщиков и картинок мы сразу как-то перешли к играм в бабки, в шарик, в лошадки, к разным самострелкам и пастушьим хлыстам. Поэзия домашних игрушек отлетала с наступлением весны и возвращалась только глубокой осенью, когда на улицу нельзя было показать носа. К началу школьного возраста у меня явился друг Костя, сын одного из заводских служащих. Мальчик отличался веселым характером и великой изобретательностью по части сооружения новых игрушек, в чем заключалась особенная прелесть, потому что явилась возможность делать игрушки самим, не прибегая к помощи упрямого Якова. Пошли в ход всевозможные материалы: картон, дерево, цветная бумага, старые жестянки, кожа и краски. Мы работали вместе, но

я никогда не мог достичь совершенства Кости по отделу клеения домиков и коробок, а предпочитал более грубые работы на дереве и железе. Верхом нашего искусства был деревянный пароход, на котором мы путешествовали вокруг света. Команда состояла из деревянных матросов, у которых благодаря особенному старанию с нашей стороны получались какие-то зверские лица. В носу парохода помещалась деревянная пушка, которая много помогала нам в борьбе с людоедами и жестокими дикарями вообще. Происходили удивительно блестящие сражения, когда неприятель бежал от нас тысячами. Все это происходило в присутствии таких благородных свидетелей, как наш кучер Яков, авторитет которого в военном деле не подлежал ни малейшему сомнению. Вообще мнением кучера Якова мы дорожили по всем вопросам и непременно требовали его одобрения.

— А что же, хорошо, — говорил обыкновенно Яков, и мы успокаивались.

Нужно сказать, что одобрение Якова находилось в прямой зависимости от листов бумаги, которые мы ему дарили на «цыгарки». Яков удивительно искусно свертывал из бумаги крючок, известный под названием «козьей ножки», набивал его злейшей махоркой и предавался специально кучерскому far niente[1]. В воспитании благородного российского юношества кучера имеют гораздо больше значения, чем думают господа педагоги. Остальная мужская прислуга как-то теряется в детском обиходе, а кучер всегда остается на недосягаемой высоте и сохраняет свой авторитет неизменно.

Детская фантазия неистощима и реализуется в тысяче тех мелочей, какие для взрослых людей остаются незаметными пустяками. Детские руки используют всякий обрывок веревки, осколки разбитой чашки, обрезки бумаги, попавшийся на глаза пестрый камушек и вообще всякий хлам и отбросы, причем получаются удивительные превращения, точно дерево, камень и

[1] Far niente — приятное ничегонеделание. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

все эти обрезки и обломки оживают! Детское воображение из каждой вещи делает игрушку, и каждый ребенок в своей неугомонной созидающей и разрушающей работе повторяет многомиллионный опыт своих предшественников. Интересна именно эта детская игрушка, которую смастерил ребенок сам, интересна, несмотря на все недочеты материала и техники, а покупная, самая дорогая игрушка является только материалом для новых комбинаций.

II

Как теперь помню этот роковой день, когда к нашему дому подкатил троечный экипаж. В экипаже сидел наш благочинный о. Алексей, очень красивый и представительный седой старик с окладистой бородой, придававшей ему вид старинного московского боярина. Рядом с ним в экипаже сидел худенький мальчик лет двенадцати, стриженный под гребенку, с острым носиком и в мягкой пуховой шляпе. Появление гостей в нашем доме составляло всегда некоторое событие, а тут еще приехало в некотором роде начальство. О. Алексей был очень хороший, добрый и неизменно веселый человек; его все любили, но тем не менее в нашем доме поднялся страшный переполох. Мое внимание, конечно, сосредоточивалось главным образом на маленьком поповиче, которого я видел в первый раз. Он быстро выскочил из экипажа, подбежал ко мне и проговорил:

— Ну, здравствуй... Тебя как зовут? А меня Леней...

— Вот что, милый друг, — говорил о. Алексей, вылезая из экипажа с большим трудом. — Ты смотри, того...

— Я, папочка, не буду шалить...

— Знаю, знаю... А только я тебе вперед говорю. Понимаешь?

Леня только засмеялся и побежал в комнаты. Его развязность несколько меня удивила, и мне было неприятно, что он так себя ведет. Маленький гость обежал все комнаты, выскочил через окно прямо в сад, по

пути бросил палкой в кошку и исчез в огороде, прыгая по грядам, как козел.

— Леня, Леня! — кричал о. Алексей. — Ах, господи, вот человек навяжется!.. Леня!

Когда я побежал в огород, мальчик уже возвращался, откусывая на ходу только что сорванный в теплице огурец. В другой руке у него была целая охапка всякой зелени: вырванный с корнем куст гороха, несколько реп, пучок бобов, морковь. Мне сделалось даже жутко, когда я увидел, как Леня ел огурец, выплевывая зеленую кожурку, а потом бросил его на крышу. Нужно сказать, что в горах, где засел наш завод, огурцы составляли предмет большой редкости и выводились только в теплице и парниках. В нашей теплице все огурцы были на счету, и сорванный Леней как раз составлял единственный спелый экземпляр, который оставлялся в теплице «на случай гостей».

— Ах, Леня, Леня, разве можно так? — ласково журил о. Алексей своего баловня. — У тебя еще живот разболится...

Но Леня, разбросав свою добычу, уже был на черемухе, и только было слышно, как он безжалостно ломает сучья, чтобы достать еще не поспевшую ягоду. Одним словом, это был настоящий мальчик-озорник, избалованный отцом до последней степени. Пока готовился обед, он успел сбегать к жившему рядом единоверческому священнику и бросил кирпичом в дверь передней, потом забрался на крышу, причем чуть не свалился, побывал на сеновале, в курятнике, на погребе, в бане и везде что-нибудь ломал и портил.

Такого отчаянного шалуна мне приходилось видеть еще в первый раз, и во мне накоплялось по отношению к нему затаенное чувство злобы. В нашей скромной семье ничего подобного еще не было видано. Но главное испытание было еще впереди, что я смутно уже предчувствовал. Обыскав весь дом, Леня не мог найти только заветного уголка, где мы с Костей поместили наши игрушки на летнем положении. В уголке под навесом сарая из досок была устроена «избушка», а в ней помещались все наши сокровища. Сейчас после обеда Леня быстро исчез, и я бросился его отыскивать.

Мои предчувствия оправдались: он был в нашей избушке.

— Ты... ты... ты что здесь делаешь? — спрашивал я, задыхаясь от волнения.

— А это что такое? — спрашивал Леня, рассматривая пильщика.

— Пильщик... Он умеет пилить.

Я показал работу своего любимца, но это не произвело никакого эффекта и вызвало только хохот Лени. Затем он быстро обломал пильщику руки и ноги и бросил. Я совершенно растерялся и, вероятно, имел очень глупый вид, потому что Леня продолжал хохотать. Следующая очередь наступила за нашим пароходом. Сорванец бросил его на пол и принялся топтать ногами, продолжая хохотать.

— Ты... ты!.. — крикнул я, чувствуя, как все у меня потемнело в глазах.

— Я... я... я!.. — ответил Леня, показывая язык.

В тот же момент я бросился на него, и мы молча покатились по полу. Произошла самая отчаянная драка. Леня уже начинал было меня одолевать, как мне под руку попался сломанный пильщик и помог в борьбе. Несколько ударов по лицу, побежавшая из носу кровь — и все было кончено. Я остался в избушке среди дорогих развалин, а Леня, весь окровавленный, бросился в комнаты. Не было сомнения, что он побежал жаловаться и что моя победа обойдется мне дорого.

В полном отчаянии я убежал в сад и решил, что больше не вернусь домой. Леня, конечно, был неправ, но это еще не значило, что нужно было поднять такую отчаянную драку. Из своей засады я видел, что в нашем доме происходит большая суматоха и с замирающим сердцем ждал, что вот-вот раскроется окно в сад, и отец позовет меня на расправу. А в доме происходило следующее. Весь окровавленный, Леня, конечно, произвел эффект, и о. Алексей страшно перепугался. Но шалун и не думал жаловаться на меня, а объяснил все тем, что упал с лестницы. Его вымыли, и тем все дело кончилось. Через полчаса он уже разыскивал меня, и когда нашел, то проговорил самым дружелюбным образом:

— Ну, давай помиримся... Нехорошо сердиться.

— А ты зачем наши игрушки ломаешь?

— Игрушки? Скажите, какой ребеночек... У меня тоже были игрушки, а теперь я совсем большой! В игрушки играют только дети...

Это объяснение огорчило меня не меньше потери любимых игрушек. В душе мелькнул призрак той гнетущей пустоты, которую оставляет после себя потеря любимого человека.

На другой день о. Алексей уехал домой. Леня, сидя уже в экипаже, кричал мне:

— А ты приезжай к нам в гости... У меня есть настоящее ружье, которое стреляет настоящим порохом.

Когда вечером пришел Костя, я, конечно, рассказал ему под секретом о всем случившемся, причем немного приукрасил собственную храбрость и некоторые обстоятельства битвы.

— Что же, мы поправим пароход и сделаем нового пильщика, — думал вслух мой друг.

Но тут я вспомнил роковое объяснение Лени относительно игрушек.

— И все-таки поправим... — упрямо повторил Костя.

Но поправки не последовало. Изувеченного пильщика мы торжественно похоронили в нашем саду, и мне даже сейчас жаль этого скромного и молчаливого труженика, вместе с которым похоронено было и все раннее детство, освещенное и согретое детскими иллюзиями.

О КНИГЕ

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ

Habent sua fata libelli [1].

I

В снах, как принято думать, нет никакой логики; но, как мне кажется, это ошибочно, — логика должна быть, но только мы ее не знаем. Может быть, это логика какого-нибудь иного, высшего порядка.

Сны не только существуют, но и сильно действуют на нашу душу. Область нашей воли здесь кончается, и мы смутно предчувствуем границы какого-то иного, неведомого нам мира.

На меня, например, самое сильное впечатление производят сны, в которых поднимается далекое детство, и в неясном тумане встают уже сейчас несуществующие лица, тем более дорогие, как все безвозвратно утраченное. Я долго не могу проснуться от такого сна и долго вижу живыми тех, кто давно уже в могиле. И какие всё милые, дорогие лица! Кажется, чего бы ни дал, чтобы хоть издали взглянуть на них, услышать знакомый голос, пожать их руки и еще раз вернуться к далекому-далекому прошлому. Мне начинает казаться, что эти молчаливые тени чего-то требуют от

---

[1] И книги имеют свою судьбу *(лат.)*.

меня. Ведь я столько обязан этим бесконечно дорогим для меня людям...

Но в радужной перспективе детских воспоминаний живыми являются не одни люди, а и те неодушевленные предметы, которые так или иначе были связаны с маленькой жизнью начинающего маленького человека. И сейчас я думаю о них, как о живых существах, снова переживая впечатления и ощущения далекого детства.

В этих немых участниках детской жизни на первом плане, конечно, стоит детская книжка с картинками... Это была та живая нить, которая выводила из детской комнаты и соединяла с остальным миром. Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну громадную духовную семью, которая не знает этнографических и географических границ.

Здесь мне приходится сделать небольшое отступление, именно, по поводу современных детей, у которых приходится сплошь и рядом наблюдать полное неуважение к книге. Растрепанные переплеты, следы грязных пальцев, загнутые углы листов, всевозможные каракули на полях, — одним словом, в результате получается книга-калека. Может быть, здесь виноваты большие, которые подают живой пример своим детям. Спросите каждого библиотекаря, как его сердце обливается кровью, когда у него на глазах совершенно новая книга превращается в грязную тряпку. Кто пишет на полях нелепые замечания? Кто и для какой цели вырывает из средины целые страницы? Вообще кому нужно увечить книгу и безобразить ее? Особенно, конечно, страдают рисунки. В лучшем случае, их вырывают «с мясом», а в худшем — портят пером, карандашом и красками. Тут даже не простое неуважение

к книге, а какое-то злобное отношение к ней. Трудно понять причины всего этого, и можно допустить только одно объяснение, именно, что нынче выходит слишком много книг, они значительно дешевле и как будто потеряли настоящую цену среди других предметов домашнего обихода. У нашего поколения, которое помнит дорогую книгу, сохранилось особенное уважение к ней, как к предмету высшего духовного порядка, несущего в себе яркую печать таланта и святого труда.

II

Как сейчас вижу старый деревянный дом, глядевший на площадь пятью большими окнами. Он был замечателен тем, что с одной стороны окна выходили в Европу, а с другой — в Азию. Водораздел Уральских гор находился всего в четырнадцати верстах.

— Вон те горы уже в Азии, — объяснял мне отец, показывая на громоздившиеся к горизонту силуэты далеких гор. — Мы живем на самой границе...

В этой «границе» заключалось для меня что-то особенно таинственное, разделявшее два совершенно несоизмеримых мира. На востоке горы были выше и красивее, но я любил больше запад, который совершенно прозаически заслонялся невысокой горкой Кокурниковой. В детстве я любил подолгу сидеть у окна и смотреть на эту гору. Мне казалось иногда, что она точно сознательно загораживала собой все те чудеса, которые мерещились детскому воображению на таинственном, далеком западе. Ведь все шло оттуда, с запада, начиная с первой детской книжки с картинками... Восток не давал ничего, и в детской душе просыпалась, росла и назревала таинственная тяга именно на запад. Кстати, наша угловая комната, носившая название чайной, хотя в ней и не пили чая, выходила окном на запад и заключала в себе заветный ключ к этому западу и я даже сейчас думаю о ней, как думают о живом человеке, с которым связаны дорогие воспоминания.

Душой этой чайной, если можно так выразиться, являлся книжный шкаф. В нем, как в электрической

батарее, сосредоточилась неиссякаемая, таинственная могучая сила, вызвавшая первое брожение детских мыслей. И этот шкаф мне кажется тоже живым существом. Его появление у нас составляло целое событие.

Мой отец, небогатый заводский священник, страстно любил книги и затрачивал на них последние гроши. Но ведь для книг нужен шкаф, а это вещь слишком дорогая, да, кроме того, в нашем маленьком заводе не было и такого столяра, который сумел бы его сделать. Пришлось шкаф заказать в соседнем Тагильском заводе, составлявшем главный центр округа Демидовских заводов. Когда шкаф был сделан, его нужно было привезти, а это тоже дело нелегкое. Помню, как мы ждали несколько недель, прежде чем подвернулась подходящая оказия. Его привезли зимой, вечером, в порожнем угольном коробе. Это было уже настоящее торжество. В детстве я не знал другой вещи более красивой. Представьте себе две тумбы, на них письменный стол, на нем две маленьких тумбы, а на них уже самый шкаф с стеклянными дверками. Выкрашен он был в коричневую краску и покрыт лаком, который, к общему нашему огорчению, скоро растрескался и облупился благодаря плутовству мастера, пожалевшего масла на краску. Но этот недостаток нисколько не мешал нашему книжному шкафу быть самой замечательной вещью в свете, — особенно когда на его полках разместились переплетенные томики сочинений Гоголя, Карамзина, Некрасова, Кольцова, Пушкина и многих других авторов.

— Это наши лучшие друзья, — любил повторять отец, указывая на книги. — И какие дорогие друзья... Нужно только подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, чтобы написать книгу. Потом ее нужно издать, потом она должна сделать далекий-далекий путь, пока попадет к нам на Урал. Каждая книга пройдет через тысячи рук, прежде чем встанет на полочку нашего шкафа.

Все это происходило в самом конце пятидесятых годов, когда в уральской глуши не было еще и помину о железных дорогах и телеграфах, а почта приходила с оказией. Не было тогда самых простых удобств, ко-

торых мы сейчас даже не замечаем, как, например, самая обыкновенная керосиновая лампа. По вечерам сидели с сальными свечами, которые нужно было постоянно «снимать», то есть снимать нагар со светильни. Счет шел еще на ассигнации, и тридцать копеек считались за рубль пять копеек. Самовары и ситцы составляли привилегию только богатых людей. Газеты назывались ведомостями, иллюстрированные издания почти отсутствовали, за исключением двух-трех, да и то с такими аляповатыми картинками, каких не решатся сейчас поместить в самых дешевых книжонках. Одним словом, книга еще не представляла необходимой части ежедневного обихода, а некоторую редкость и известную роскошь.

III

Как все это было давно и вместе с тем точно все было вчера. Каких-нибудь сорок лет, — и все кругом изменилось. В какую глушь сейчас ни проходят великолепные иллюстрированные издания необыкновенной дешевизны? Где вы ни встретите иллюстрированный журнал, иллюстрированную детскую книжку или детский журнал?

Наша библиотека была составлена из классиков, и в ней, — увы! — не было ни одной детской книжки... В своем раннем детстве я даже не видал такой книжки. Книги добывались длинным путем выписывания из столиц или случайно попадали при посредстве офеней-книгонош. Мне пришлось начать чтение прямо с классиков, как дедушка Крылов, Гоголь, Пушкин, Гончаров и т. д. Первую детскую книжку с картинками я увидел только лет десяти, когда к нам на завод поступил новый заводский управитель из артиллерийских офицеров, очень образованный человек. Как теперь помню эту первую детскую книжку, название которой я, к сожалению, позабыл. Зато отчетливо помню помещенные в ней рисунки, особенно живой мост из обезьян и картины тропической природы. Лучше этой книжки потом я, конечно, не встречал.

В нашей библиотеке первой детской книжкой явился

«Детский мир» Ушинского. Эту книгу пришлось выписывать из Петербурга, и мы ждали ее каждый день в течение чуть не трех месяцев. Наконец, она явилась и была, конечно, с жадностью прочитана от доски до доски. С этой книги началась новая эра. За ней явились рассказы Разина, Чистякова и другие детские книги. Моей любимой книжкой сделались рассказы о завоевании Камчатки. Я прочитал ее десять раз и знал почти наизусть. Нехитрые иллюстрации дополнялись воображением. Мысленно я проделывал все геройские подвиги казаков-завоевателей, плавал в легких алеутских байдарках, питался гнилой рыбой у чукчей, собирал гагачий пух по скалам и умирал от голода, когда умирали алеуты, чукчи и камчадалы. С этой книжки путешествия сделались моим любимым чтением, и любимые классики на время были забыты. К этому времени относится чтение «Фрегат Паллады» Гончарова. Я с нетерпением дожидался вечера, когда мать кончала дневную работу и усаживалась к столу с заветной книгой. Мы путешествовали уже вдвоем, деля поровну опасности и последствия кругосветного путешествия. Где мы ни были, чего ни испытали, и плыли все вперед и вперед, окрыленные жаждой видеть новые страны, новых людей и неизвестные нам формы жизни. Встречалось, конечно, много неизвестных мест и непонятных слов; но эти подводные камни обходились при помощи словаря иностранных слов и распространенных толкований.

КНИЖКА

I

Лет до восьми моя жизнь с братом, который был старше меня года на два, не выходила зимой из границ комнаты, а летом — двора, небольшого садика и огорода. «Улица» для нас еще не существовала, и мы видели ее только из окна или проходили по ней под конвоем няни. Благодаря комнатному воспитанию мы

росли бледненькими и слабенькими господскими детками, которые отличались послушанием и боялись всего, что выходило за пределы нашего дома.

Товарищество, впрочем, нахлынуло разом, когда мы начали ходить в заводскую школу. Мы как-то сразу получили полную детскую свободу и сразу же перестали бояться. Смелости и предприимчивости оказался даже излишний запас, выражаясь в школьных драках и соответствующих возрасту шалостях. Я два раза тонул, приходил домой с синяками, подвергался разным опасностям, уже совсем не по возрасту. Этот боевой период раннего детства совпадает с воспоминанием о первом друге. Это был сын заводского служащего, бледнолицый, с зеленоватыми глазами и вечной улыбкой на губах. Его звали Костей. Я не помню, чтобы этот мой первый друг хотя бы когда-нибудь рассердился, — он вечно был весел и всегда улыбался. Милый Костя! Его давно нет на свете, и я вспоминаю о нем с особенной любовью, как о родном и таком близком человеке, которого не можешь отделить от самого себя.

В детской дружбе заложена какая-то таинственная сила, которая проходит через всю остальную жизнь. Те, кого мы любили в детстве, служат точно путеводными маяками для остального жизненного пути. Моя встреча с Костей окрасила не только мое детство, но и юность дорогими впечатлениями и первым дорогим опытом. С ним вместе мы начали самостоятельную жизнь, именно ту жизнь, которая начиналась за пределами детской комнаты, захватывала все родное селенье и потом увела на зеленый простор родных гор. Вместе с Костей же явилась и новая книга.

— У меня отец всё рòманы читает, — рассказывал Костя, коверкая ударение. — И чем страшнее, тем лучше для него. Хочешь, почитаем вместе? Есть «Черный ящик», «Таинственный монах», «Шапка юродивого, или Трилиственник».

Я, конечно, согласился с величайшим удовольствием. Отец Кости имел привычку перечитывать свои любимые «рòманы» по нескольку раз, и книги имели очень подержанный вид, а некоторые листы были

точно изжеваны теленком. Из всей этой библиотеки на меня произвел самое сильное и неизгладимое впечатление знаменитый «Юрий Милославский» Загоскина. Для него я на время забыл даже Гоголя и других классиков. Увы! Таких романов нынешние авторы уже не пишут...

— Люблю почитать ро̀маны, — говорил отец Кости. — Только я по-своему читаю... Меня, брат, никакой сочинитель не проведет. Я сперва прочитаю конец ро̀мана, если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. Учен я довольно... Прежде, бывало, читаешь-читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либо кого убили, либо кто умер. Нет, покорно благодарю!.. Я и без сочинителя знаю отлично, что все мы помрем. Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитывай...

Его звали Романом Родионычем. Это был человек маленького роста, с большой кудрявой головой. Он тоже вечно улыбался, как и Костя, — это была фамильная черта. Вообще окружавшие мое детство люди отличались великим добродушием, и я не помню ни одного злого человека, за исключением нескольких старух раскольниц, злившихся, так сказать, по обязанности, чтобы не проявить по отношению к нам, ребятам, преступной бабьей слабости. Роман Родионыч всегда находился в прекрасном расположении духа, а когда впадал в отличное, то декламировал удивительнейшие стихи:

Людвиг, говорят,
В один миг, говорят,
Все постиг, говорят,
Пить хотел, говорят,
Не умел, говорят,
И пропал, говорят...

Откуда такие стихи и какой сочинитель их сочинил, — покрыто мраком неизвестности.

Роман Родионыч, как я уже сказал, был заводский служащий и занимал должность запасчика, то есть заведовал амбарами с хлебом, овсом и разными другими материалами, как сальные свечи, веревки, кожи и проч. Наш завод хотя и был небольшой, но служащих было

достаточно. Они все были из крепостных и образование получили в заводской школе. Дальнейшее образование шло «своим умом» и почерпалось главным образом из случайно попадавшихся под руки книг.

Мы сейчас слишком привыкли к книге, чтобы хотя приблизительно оценить ту громадную силу, которую она представляет. Важнее всего то, что эта сила, в форме странствующей книги в коробке офени, сама приходила уже в то далекое время к читателю и, мало того, приводила за собой другие книги, — книги странствуют по свету семьями, и между ними сохраняется своя родовая связь. Я сравнил бы эти странствующие книги с перелетными птицами, которые приносят с собой духовную весну. Можно подумать, что какая-то невидимая рука какого-то невидимого гения разносила эту книгу по необъятному простору Руси, неустанно сея «разумное, доброе, вечное». Да, сейчас легко устроить домашнюю библиотеку из лучших авторов, особенно благодаря иллюстрированным изданиям; но книга уже пробила себе дорогу в самую глухую пору, в доброе старое время ассигнаций, сальных свечей и всякого движения родным «гужом». Здесь нельзя не помянуть добрым словом старинного офеню-книгоношу, который, как вода, проникал в каждую скважину. Для нас, детей, его появление в доме являлось настоящим праздником. Он же руководил и выбором книг и давал, в случае нужды, необходимые объяснения.

Помню, как один старичок офеня разрешил вопрос об ударении над словом роман.

— Рома̀н — это имя, а ро̀ман — книга.

— Вот-вот, это самое, — почему-то торжествовал добрейший Роман Родионыч. — Тогда и не различить бы, который рома̀н — человек, а который роман — книга. И меня бы с книгой стали смешивать...

Один из таких офеней лично мне невольно доставил большое огорчение. Как все дети, я очень любил рисовать, а у него в коробе среди других сокровищ оказался атлас для самообучения рисованию. Вся беда была в том, что он стоил целых два рубля, — сумма, по тогдашнему счету и по нашему бюджету, громад-

ная, — целых шесть рублей, если считать на ассигнации.

— Нет, не могу, — заявил отец. — Если рубль, то еще можно, а двух рублей нет.

Я отлично понимал, что значит слово «нет», и не настаивал. Так атлас и ушел в коробе офени к другому, более счастливому покупателю, а мне его жаль даже сейчас. Уж очень хотелось учиться рисовать, а учиться было не по чему. Мы с Костей принялись копировать плохие гравюры из «Живописного обозрения», возмущаясь их аляповатостью.

II

Нужно сказать, что библиотека Романа Родионыча была очень маленькая, и книги сошлись в ней совершенно случайно, как встречаются незнакомые люди где-нибудь в вагоне. Исчерпав этот запас, мы с Костей начали отыскивать книги в других домах. Конечно, у управителя книг было много, но мы не решались быть назойливыми. Оказалось, что рядом с нашим домом находилось целое книгохранилище.

В раннем детстве всей медициной у нас заведовал худенький старичок, заводский фельдшер Леонтий Ефимыч. С этим именем у меня связаны воспоминания о первом знакомстве с разными порошками от кашля, детскими «микстурками», припарками и целой коллекцией всевозможных мазей. Не было такой болезни, от которой у Леонтия Ефимыча не нашлась бы соответствующая ей «микстурка», мазь или припарки. И, право, дело шло совсем недурно, а главное, как-то добродушно. Уже одно появление в доме Леонтия Ефимыча вносило известное успокоение, точно он являлся живым олицетворением всех целебных сил.

— Горлышко болит? Кашелек легкий? — ласково спрашивал он, щупая пульс. — А ну-ка, покажи язык... Так, так, легонький жарок... А мы его микстуркой прогоним, да малинки выпить на ночь, да маслицем грудку растереть.

В чайной или гостиной в это время появлялась уже домашняя «закусочка». Леонтий Ефимыч выпивал «рю-

мочку водочки», закусывал «ломтиком колбаски», принявшей от времени окаменелый вид (знаменитая углицкая колбаса, или по-сибирски — «сапажу»), потирал руки, улыбался и повторял:

— Ничего, ничего... А мы микстуркой да маслицем, а то можно будет и горчичничек. Да, мы шутить не любим...

У меня осталось относительно заводских фельдшеров самое теплое воспоминание. Право, они лечили недурно, а главное — не запугивали и не говорили страшных ученых слов. Существования бактерий тогда, конечно, никто еще и не подозревал, но кипяченая вода прописывалась при малейшем заболевании немедленно, как это делается и сейчас. Я в эту пору детства не видел ни одного доктора, а только слышал, что есть какой-то доктор в Тагиле, который спит на сене и питается исключительно одними пирогами с морковью.

Добродушного Леонтия Ефимыча сменил не менее добродушный фельдшер Александр Петрович, походивший наружностью на доброго старого немца: лицо всегда гладкое, выбритое, на висках аккуратно завитые букольки, в руках табакерка. Своим появлением на заводе Александр Петрович произвел даже известную сенсацию.

— Александр Петрович был в Петербурге, — объяснил нам с Костей Роман Родионыч. — Да... Его голой рукой не бери.

«Человек, который был в Петербурге», для меня являлся окруженным известным ореолом, и я долго не мог привыкнуть к этой мысли. Мне все казалось, что Александр Петрович непременно сделает что-нибудь такое, чего никогда не могут сделать люди, не бывавшие в Петербурге, или по крайней мере он должен думать что-нибудь такое, о чем не снилось всем нам. Дальше мне казалось, что он даже и свою немецкую наружность тоже вывез из Петербурга, как вывозят оттуда всевозможные чудеса и редкости. Впрочем, метод лечения у Александра Петровича был таким же, как и у не бывавшего никогда в Петербурге Леонтия Ефимыча, с той разницей, что когда Александр Петро-

вич входил в нашу детскую, то с ним вместе появлялась какая-то специальная атмосфера, пропитанная анисовым маслом и еще какими-то мудреными аптекарскими специями. Моему детскому воображению казалось, что это именно настоящий ученый запах, и я проникался еще большим уважением к «человеку, который был в Петербурге».

Вот у этого Александра Петровича мы и открыли целый склад книг, вместилищем для которых служил громадный старинный комод с медными скобками. Мы с Костей накинулись на это сокровище, как мыши на крупу, и на первых же шагах выкопали из праха забвения самого Аммалат-Бека.

В течение нескольких месяцев мы просто бредили этой книгой и при встречах здоровались горской песней:

Аллага-аллагу!
Слава нам, —
Смерть врагу!

Нами овладел особенный воинственный азарт и жажда славных подвигов. Мы сделали деревянные шашки и кинжалы, оклеили их цветной бумагой и делали друг перед другом свирепые лица, стараясь перещеголять друг друга в жестокости настоящих лезгин, чеченцев и кабардинцев. Не довольствуясь декламацией, мы распевали хором предсмертную песню горцев, так что нашим увлечением заразился даже Роман Родионыч и раз заявил самым решительным образом:

— Эх, если бы не жена да не ребятишки, — ушел бы на Кавказ воевать с Шамилем. Ей-богу, ушел бы... Винтовку бы купил, кинжал, шашку и сделался бы абреком.

— Да ведь Шамиль давно взят в плен, а абреками называются горцы, — объясняли мы.

— Э, все равно! Ничего вы не понимаете. Один стихотворец, — только вот фамилию забыл, — так он так сказал:

Гирей сидел, потупив взор,
Янтарь в устах его дымился.

Вот оно как... да! Одного Шамиля взяли, ну, другой остался. Как же Кавказ и без Шамиля?.. Дудки!.. Скажи-ка вот это своими словами, и выйдет чепуха: Гирей покурил табачку. Без Шамиля нельзя!..

«Сочинители» и «стихотворцы» составляли для нас неразрешимую загадку. Кто они такие, где живут, как пишут свои книги? Мне почему-то казалось, что этот таинственный, сочиняющий книги человек должен быть непременно сердитым и гордым. Эта мысль меня огорчала, и я начинал чувствовать себя безнадежно глупым.

— Все книги генералы сочиняют, — уверял Роман Родионыч. — Меньше генеральского чина не бывает, а то всякий будет писать!

Он ссылался в доказательство своих слов на портреты Карамзина и Крылова, — оба сочинителя были в звездах.

Мы с Костей все-таки усомнились в сочинительском генеральстве и обратились за разрешением вопроса к Александру Петровичу, который должен был знать все.

— Бывают и генералы, — ответил он довольно равнодушно, поправляя свои букольки. — Отчего же не быть генералам?

— Все генералы?..

— Ну, где же всем быть... Есть и совсем простые, так, вроде нас.

— Простые совсем, и сочиняют?

— И сочиняют, потому что кушать хотят. Зайдешь в Петербурге в книжный магазин, так глаза разбегутся. До потолка всё книги навалены, как у нас дрова. Ежели бы всё генералы писали, так от них на улице и проходу бы не было. Совсем есть простые сочинители, и даже частенько голодом сидят...

Последнее уже совсем не вязалось с составившимся в наших головах представлением о сочинителе. Выходило даже как будто и стыдно: мы вот читаем его книжку, а сочинитель где-то там в Петербурге голодает. Ведь он для нас старается и сочиняет, — и мы начинали чувствовать себя немного виноватыми.

— Не может этого быть, — решил Костя. — Наверно, тоже свое жалованье получают...

III

Еще более неразрешимым вопросом являлось то, где в книге действительность и где сочинительский вымысел. Роман Родионыч даже впадал по этому поводу в уныние.

— Я недавно даже прослезился над ро̀маном, а если сочинитель-то наврал? Может, этого и в помине не было, а я над его враньем реву... Я бы такого враля взял бы и растерзал. Не обманывай публику, не плутуй... Ежели всякий будет врать, так тогда и на свете нельзя будет жить.

Мы с Костей твердо верили, что в книге не может быть вранья, а описано все, как было в действительности. Ведь это было бы ужасно, если бы и Юрий Милославский, и наш любимый герой Кирша, и Аммалат-Бек оказались только сочинительской фантазией, нет, этого не может быть... Даже в учебниках, и в тех все правда. Нашими любимыми учебниками были география Корнеля и всеобщая история Лямо-Флери. Я и сейчас вспоминаю об этих милых друзьях с величайшей благодарностью.

У себя в кладовой и в комоде Александра Петровича мы разыскали, между прочим, много книг, совершенно недоступных для нашего детского понимания. Это были всё старинные книги, печатанные на толстой синей бумаге с таинственными водяными знаками и переплетенные в кожу. От них веяло несокрушимой силой, как от хорошо сохранившихся стариков. У меня с детства проявилась любовь к такой старинной книге, и воображение рисовало таинственного человека, который сто или двести лет назад написал книгу, чтобы я ее прочитал теперь. Этот загробный голос приводил меня в умиление, а дальше фантазия уже рисовала самостоятельный ряд картин: ведь этот древний сочинитель был в свое время ребенком, играл и шалил, как и мы с Костей, читал книжки сочинителей, которые жили задолго до него, и т. д. Почему же именно вот этот мальчик сделался сочинителем и чере́з сотни лет говорит со мной, как бы говорил живой, а сотни, тысячи и миллионы других детей так и остались в неиз-

вестности, забыты, и никто не интересуется, что они думали, чувствовали и делали.

— Это от бога, — объяснил Роман Родионыч.

— Почему же одному дано от бога, а другим не дано?

— Отвяжитесь... И птица перо в перо не родится.

В числе таинственных старых книг были такие, самое название которых трудно было понять: «Ключ к таинствам науки», «Театр судоведения», «Краткий и легчайший способ молиться, творение г-жи Гион», «Торжествующий Хамелеон, или Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо», «Три первоначальных человеческих свойства, или Изображение хладного, горячего и теплого», «Нравственные письма к Лиде о любви душ благородных», «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (разрозненные книжки первого сибирского журнала) и т. д. Мы пробовали читать эти мудреные таинственные книги и погибали самым постыдным образом на первых страницах. Это убеждало нас только в том, что именно эти старинные книги и есть самые умные, потому что их могут понимать только образованные люди, как наш заводский управитель.

На этих старинных таинственных книгах были неизвестной рукой сделаны предостерегающие надписи, вроде того, что «кто сию книгу возьмет без спросу — останется без носу», а на творении г-жи Гион красовалась целая «сентенция»: *«Только прошу Читать Со вниманием и табак не курить, и если кто покурит, у Того глаза уйдут в нос, в чем и подписуюсь своеручно Аверкий, сын Чемоданов».*

Совершенно особый отдел среди этих старинных книг составляли старинные учебники, по которым выучилось не одно поколение. Они были напечатаны на толстой и твердой, как кожа, бумаге, а для прочности края листов были смазаны маслом. Особенно любопытен был арифметический задачник издания 1806 года: «Собрание шести сот пятидесяти одного избраннейшего примера, в пользу юношества, учащегося арифметике, под смотрением преосвященнейшего Иустина, епископа пермского и екатеринбургского, взятых несколько из

книг, но по большей части новоизобретенных посильными трудами Алексея Вишневского, учителя математики в новоучрежденной пермской семинарии». В числе приведенных «экземплев» находились такие, которые решались по какому-то «слепому» или девичьему правилу, а под № 375 находилась такая задача в стихах:

Нововыезжей в Россию французской Мадаме
Вздумалось ценить свое богатство в чемодане;
Новой выдумки нарядное фуро
И праздничный чепец а ля Фигаро.
Оценщик был Русак.
Сказал Мадаме так:
«Богатства твоего первая вещь фуро
В полчетверти дороже чепца а ля Фигаро;
Вообще же стоит не с половиною четыре алтына,
Но настоящая им цена всего только половина».
Спрашивается всякой вещи цена,
В чем французская Мадам к Россам привезена?

Решение задачи: «цена фуро $5^1/_4$ алтына, чепцу $1^1/_2$ алтына».

Впоследствии я встретил еще один экземпляр этой удивительной книги, составляющей библиографическую редкость.

Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой провинции громадным наплывом новой, популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени. «Натуральные знания» находились даже не в зачаточном состоянии, а прямо их не существовало. Невежество доходило до смешного. Милейший Роман Родионыч любил производить нам с Костей маленький экзамен.

— Коська, из чего делают стекло?

Мы уже знали ответ и в один голос отвечали:

— Из соломы, Роман Родионыч.

— Ишь, выучил у меня. Ну, а какой зверь хвостом пьет?

— Бобер, Роман Родионыч.

И мы и наш экзаминатор верили, что бобр пьет хвостом, и нам не казалось это странным, да и другим

тоже. Курьезов в этом роде было достаточно, и кругом относительно «натуры» царило самое наивное невежество. Книг по естествознанию не существовало, а обрывки знаний переходили от поколения к поколению устным преданием.

Мне было лет пятнадцать, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или, по-заводски, доверенным, поступил туда бывший студент Казанского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент Александр Алексеевич, который, главным образом, и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешот, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, — как взяться «с самого начала», чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе. Имена прежних любимцев, как Загоскин, Марлинский, Лажечников и др., сразу померкли и стушевались. Выступали вперед другие требования, интересы и стремления.

Роман Родионыч не признавал этих новых книг, которые казались ему подозрительными.

— Молешот... что такое Молешот? И имя-то какое-то собачье. Нет, брат, нас не обманешь... Студенты, конечно, очень образованные и обходительные люди, а все-таки занимаются сущими пустяками. Ты мне

подавай настоящее, самую суть, а не мошек да букашек.

И сейчас, когда я случайно встречаю где-нибудь у букиниста какую-нибудь книгу издания шестидесятых годов, у меня является радостное чувство, точно отыщешь хорошего старого знакомого.

Да, у книг своя судьба, как и у людей. «Что ни время, — сказал Гейне, — то и птицы; что ни птицы, — то и песни»...

ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ

I

Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес... Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги.

Сквозь чуткий и тонкий сон самых ранних детских воспоминаний я вижу тощую, сгорбленную фигуру, которая на правом клиросе нашей маленькой деревянной заводской церкви каждое воскресенье читала совершенно непонятным бормотком и пела дребезжавшим старческим голосом. Это был самый ветхозаветный дьячок, Николай Матвеич. Мочального цвета жидень-

кие волосы были заплетены в две тонкие косички и запрятаны за высокий воротник праздничного казинетового подрясника; такого же цвета усы и какая-то чахлая, точно заморенная бородка, русский нос картошкой, маленькие серые глаза с крошечным зрачком, тонкая загорелая шея, точно разграфленная глубокими морщинами, круглые очки в медной оправе, берестяная табакерка в кармане, легкое покашливанье и несоразмерно тяжелые шаги благодаря праздничным новым сапогам — все это составляло одно целое. Заскорузлые руки с узловатыми, скрюченными пальцами умело и ловко держали топор и с трудом перелистывали закапанные воском страницы богослужебных книг, что меня постоянно удивляло.

Это был, так сказать, праздничный портрет Николая Матвеича, как и его праздничное бормотанье на клиросе.

— Точно глухарь бормочет на лиственнице, — говорил охотник Емелька, закадычный друг и приятель Николая Матвеича.

Служба в церкви кончалась. Народ расходился. Я садился к окну и ждал, когда последними из церкви выйдут охотник Емелька, дьячок Матвеич и еще кто-нибудь из стариков. Они выходили степенно и, не торопясь, пересекали площадь, минуя базар. Наш кучер Яков тоже ждал этого момента и с хохлацким юмором говорил:

— Эге, Матвеич втикае до шинка...

Мне было каждый раз обидно за Матвеича, потому что все знали, куда он идет, и подшучивали над стариком. Наверно, и ему совестно идти через площадь, и он делал такой вид, как будто идет куда-нибудь по делу. У нас в заводе был всего один кабак, и это таинственное место мне казалось вместилищем всякой гадости. Дальше я решительно не мог себе представить Матвеича именно в кабаке: сейчас был на клиросе, читал и пел божественное, и сейчас же кабак... Мне делалось жаль старика и хотелось крикнуть: «Николай Матвеич, идите домой чай пить... Никто не будет над вами смеяться». Через некоторое время Матвеич возвращался домой, но уже другой дорогой, задами

огородов. Он шел сгорбившись, слегка колеблющейся походкой, делая неверные жесты одной рукой, а другой поддерживая расходившиеся полы своего подрясника. На ходу он что-то бормотал себе под нос и снимал меховую оленью шапку собственной работы, в которой ходил и зиму и лето. За ним разбитой походкой обыкновенно плелся Емелька, тоже размахивавший руками и бормотавший. Оба неразлучных друга производили впечатление только что отравленных людей, что было уже совсем не смешно.

Другое воспоминание о Николае Матвеиче связано неразрывно с нашими годовыми семейными праздниками, когда он являлся гостем, садился куда-нибудь в дальний угол и молчал. Съедался именинный пирог с рыбой; граненый графин с водкой пустел и наполнялся; в комнате поднимался одушевленный говор, а Николай Матвеич все отсиживался в своем уголке, не вступая в общий разговор. Но стоило кому-нибудь из заводских служащих поднять разговоры об охоте, как вся дьячковская застенчивость исчезала, и Николай Матвеич выступал на сцену, сразу делаясь другим человеком. Он был страстный охотник и прекрасный рассказчик. Конечно, имели свое значение и выпитая водка и именинный пирог.

— Ну-ка, Николай Матвеич, расскажи про своих олешков! — подзадоривал кто-нибудь из гостей.

Олешками Николай Матвеич называл оленей, и охота за ними была его страстью. Рассказывал он разные эпизоды из своей охоты, мастерски изображая все в лицах. Обыкновенно он выходил на средину комнаты и давал настоящее представление. Забитого дьячковской нуждой человека как не бывало, а оставался истинный любитель охоты и артист. Со стороны было смешно смотреть, как он делал прыжки, подбирая полы своего праздничного подрясника, и разными голосами передавал, как кричит олешек-бык или блеет дикая коза. Все хохотали обыкновенно до слез, наслаждаясь даровым представлением, а мне было жаль старика, не замечавшего, что смеются не над его рассказом, а над ним самим, и обидно за него. Так и хотелось сказать ему, как во время его путеше-

ствий из церкви в кабак: «Николай Матвеич, не надо: они смеются над вами. Ведь вы совсем не такой человек».

Впоследствии мне еще много раз приходилось обижаться за Николая Матвеича, когда уже его не было на свете и когда я встречал смехотворное описание русского дьячка где-нибудь у любимого автора. Русская барская литература относилась всегда к дьячку с самым обидным презрением, как к чему-то до последней степени неприличному, жалкому и ненужному, чему не должно быть места на земном шаре. Это литература выводила добродетельных нянюшек, серьезных дворецких, верных старых слуг и добрых мужичков, а дьячок являлся только в роли смехотворного ничтожества. Это был даже не человек, а так, какая-то плесень, прицепившаяся к вые благородного во всех отношениях остального человечества. Дьячок по преимуществу выводился дармоедом, пьяницей и лишенным всякого человеческого достоинства.

Эти мысли о «дьячке» интересовали меня с самого раннего детства, потому что именно здесь чувствовалось поруганное человеческое достоинство. Почему не смеются и не вышучивают самого маленького заводского служителя, который решительно ни в чем не лучше дьячка, за исключением того, что не носит смешных косиц и подрясника? Про рабочих на заводе и говорить нечего. Они являлись рядом с Николаем Матвеичем прямо аристократами. Работа на фабрике, в курене, на промыслах и по перевозке разных заводских материалов оплачивалась гораздо лучше, чем дьячковский труд. За разрешением своих сомнений я обращался к нашему кучеру Якову, типичному хохлу [1], который с хохлацким юмором объяснил:

— А нэхай ему, дьячуге... Вин горилку пье.

Яков и сам был не прочь выпить «горилки», но это не ставилось ему в вину, как дьячку Николаю Матвеичу, да и сам он не стеснялся своей слабости.

---

[1] На Демидовских уральских заводах много хохлов, переведенных из Малороссии. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Мой отец, человек самой строгой жизни, не бравший капли вина в рот, относился к Николаю Матвеичу с известным уважением, и я раз слышал, как он сказал:

— Николай Матвеич — настоящий философ...

Когда я просил отца объяснить это слово, он уклончиво заметил:

— Ты еще мал... Когда будешь больше — поймешь.

II

Рост детского мира ограничен своими географическими пределами. Помню, как до шести лет этот мир заключался по преимуществу в стенах нашего деревенского дома, причем зимой мы сидели в комнатах почти безвыходно, а летом играли в садике, а «на улицу», которая у нас заменялась большою заводскою площадью, нас отпускали погулять только под строгим надзором няни, что уже составляло для нас личное оскорбление. Уличная детвора, проводившая все время под открытым небом, сопровождала нас самыми обидными замечаниями и остроумными кличками. Мы в качестве благовоспитанных детей сами боялись этих уличных сорванцов и сторонились их.

Следующий географический момент наступил тогда, когда нянька была отставлена и в наше распоряжение отданы были двор, сад и огород, что вместе составляло довольно большое пространство, особенно летом, причем каждое время года приносило свои детские удовольствия. С ранней весны у отца начиналась работа в маленькой тепличке; потом шли приготовления парников и приготовление большого огорода. Распускались рябины, черемухи и смородина в нашем садике, где у нас были свои любимцы, как пион, принесенный Николаем Матвеичем с гор. По-уральски пион называется «марьиным корнем». Я особенно любил этот цветок, который мне казался каким-то таинственным гостем, и я не мог себе представить, чтобы в простом лесу росли такие пышные цветы. Николай Матвеич являлся в роли волшебника, похищавшего

таинственную красоту этих зеленых гор, которые отлично были видны из окон нашей детской.

— Их там много, Николай Матвеич, таких цветов? — приставал я к волшебнику.

— Довольно...

Потом Николай Матвеич приносил с гор прекрасные пестрые лилии, которые обыкновенно разводятся в оранжереях. Они на Урале называются «саранками». Их луковицы едят.

— В саду саранка не будет расти, — объяснил Николай Матвеич. — Она свою землю любит...

— И других цветов в горах много?

— Много... Всякие цветы в горах растут.

Благодаря Николаю Матвеичу я выучил название всех гор, которые были видны от нас. Ближайшая гора, тянувшаяся невысокой грядкой, называлась Пугиной горой, за ней зеленой островерхой шапкой поднималась красавица Шульпиха, вправо от нее виднелось Седло, еще правее — Осиновая и т. д. Из-за этих гор чуть-чуть синела вершина самой высокой горы — Белой.

— Ишь как лоб-то высунула, — как-то особенно любовно говорил Николай Матвеич про последнюю.

Белая гора была слабостью Николая Матвеича, потому что под ней он бил своих олешек, а на Осиновой горе он выстроил себе балаган, где зимой жил по целым неделям. Все эти сведения я запоминал с жадностью, потому что в них открывался неведомый, таинственный горный мир. Оттуда Николай Матвеич приносил всякую дичь: глухарей, тетеревов-косачей, рябчиков; там же по зимам в горных быстрых речонках ловил налимов. Налимы особенно занимали нас. Николай Матвеич приносил их обыкновенно в мешке. Они замерзали, свернувшись кольцом. Интерес заключался в том, что стоило высыпать эти черные крендели, ломавшиеся, как сухарь, на стол в кухне и дать согреться, как они начинали шевелиться и оживали. Это был поразительный эффект. В Сибири любят делать пироги, запекая в тесте мороженую рыбу целиком, что придавало пирогу особенную сочность, и мороженые налимы, согревшись в печи, выползали иногда из пирога.

Вообще Николай Матвеич для меня являлся неиссякаемым источником всевозможных знаний, каких нельзя было добыть ни из одной умной книжки. Но было одно обстоятельство, которое просто отравляло нам жизнь. Он жил рядом с нами. Нас разделял только огород. Выйдешь, бывало, в свой садик и вдруг слышишь протяжный, жалобный вой, который просто хватал за душу. Это выла несчастная собака, которая сидела на привязи в подклети; а выла она оттого, что Николай Матвеич не считал нужным ее кормить как следует.

— Чутье потеряет, если ее кормить до отвала, — коротко объяснял он. — На охоте не будет работать...

Подклеть находилась под комнатой, где жил Николай Матвеич, и как он мог выносить этот голодный вой по целым дням, для меня и до сих пор остается неразрешимой загадкой.

Эта вечно вывшая охотничья собака послужила к тому, что я начал потихоньку от хозяина прикармливать ее. Соберешь разные кухонные остатки — кости, корки и разные объедки, укараулишь, когда Николая Матвеича нет дома, и стрелой мчишься к несчастному голодному псу.

Здесь необходимо сказать несколько слов об уральской промысловой собаке, которая является немаловажным действующим лицом в моих детских воспоминаниях. Тип охотничьей промысловой собаки вырабатывался веками, и на Урале славятся так называемые «вогулки». Вогулы — вымирающее племя инородцев, жалкие остатки которого сохранились только в самых глухих дебрях Северного Урала. Они исключительно занимаются звероловным промыслом, и от них перешла к русским промышленникам собака-вогулка. По наружности это — обыкновенная дворняга, с загнутым на спину хвостом, но опытный глаз сразу оценит породистую голову с большими глазами и острой мордой, сильную грудь и породистые, тонкие ноги. «Рубашка», то есть масть, — пестрая, причем черный, белый и желтый цвета перемешаны у каждой по-своему. Благодаря этой масти большинство вогулок носят одну кличку: Лыско. Такие охотники, как Николай Матвеич и

Емелька, особенно ценили тех собак, у которых на бровях были желтые круглые пятна.

— Это вторые глаза, как у нас очки, — авторитетно объяснял Николай Матвеич. — Она ими ночью смотрит...

Раз это говорил Николай Матвеич, то я, конечно, не мог не верить. Главные достоинства такой вогулки на охоте неоценимы: она идет на медведя, ищет неутомимо белку, куницу, соболя, лисицу, облаивает осенью глухаря, когда он садится кормиться на закисшую от первого инея лиственницу, выслеживает диких коз и оленей, — одним словом, охотник без нее, как без рук. Вогулка не умеет делать только одного — стойки, как настоящие охотничьи собаки. Вторым недостатком такой промысловой собаки было то, что она гонялась за зайцами и подъедала иногда раненую птицу; но и этот недостаток легко объясняется жестокой системой воспитания голодом. Да, еще одно замечание: вогулки резко отличаются от дворняги необыкновенной чистотой своей шерсти, точно их мыли каждый день.

У Николая Матвеича перебывало много таких Лысок, и все они походили одна на другую, как монеты одного чекана, и все влачили самое жалкое существование.

Раз я попался Николаю Матвеичу на самом месте преступления. Принес Лыску костей и засиделся, любуясь, с каким аппетитом она ест.

— Пса портишь, малец... — послышался за мной голос хозяина.

Я порядочно растерялся, но все-таки проговорил:

— А если она голодна?

— На то он пес, чтобы голодать...

Благодаря собаке я познакомился с Николаем Матвеичем ближе.

III

Квартира Николая Матвеича помещалась в конце длинного деревянного флигеля, отведенного заводоуправлением для помещения церковного причта. Николай Матвеич занимал дальний конец этого флигеля,

выходивший окнами на восток, то есть к горам. Собственно квартира состояла из одной большой комнаты, разделенной деревянными переборками на три: передняя — она же и кабинет и мастерская хозяина, — из нее вход в небольшую угловую комнатку, заменявшую гостиную, и в кухню, где, собственно, проходила жизнь всей семьи. Обстановка была самая бедная, вернее — никакой обстановки. В кухне около стен шли лавки, как в крестьянских избах, и вся мебель состояла из одного деревянного стола; в кабинете хозяина была тоже лавка, только передвижная, и самодельный стул, в угловой комнате деревянный диванчик и несколько стульев.

В этом помещении ютилась довольно большая семья: жена Николая Матвеича, которую он, выпивши, называл «матерешкой», два сына и две дочери. Были еще двое старших детей, но они уже были пристроены, — старший сын служил дьяконом, а старшая дочь была замужем. Из оставшихся старший сын Митюшка работал на заводе, а младший, которого отец называл «Кулкой», был моего возраста, и мы скоро подружились. Дома Николай Матвеич держал себя почти неприступно и редко с кем разговаривал. Все понимали его с одного взгляда. В случае словесных объяснений он относился ко всем иронически, как к низшим существам. Дома у себя он точно выкупал свое вечное дьячковское унижение. Особенно доставалось в этом случае безответной «матерешке», которая скрывалась и пряталась от грозного супруга, как курица. Я лично как-то по-детски, безучастно относился к этой семейной драме, да и сами действующие лица настолько привыкли к ней, что едва ли могли представить себе что-нибудь более подходящее и более целесообразное. Дьячковская нужда одинаково угнетала всех и приводила всех к одному знаменателю.

А мне даже нравилась эта нужда, и я завидовал многому в обстановке дьячковского ежедневного обихода. Например, что могло быть лучше сиденья по вечерам «с лучиной»? Сальные свечи, которые отпускались заводоуправлением, составляли роскошь, а осенние и зимние вечера так длинны. Свечи заменялись

лучиной, и я был в восторге, когда меня отпускали к Николаю Матвеичу посидеть «с лучиной». Вся обстановка этого сидения была необыкновенно заманчива. Ставился, во-первых, «светец», то есть деревянное корытце на деревянных ножках и с деревянным столбиком, в котором была вбита для держания лучины железная развилашка. В корытце наливалась вода, куда и падали нагоревшие от лучины угли. Зажженная свежая лучина сначала горела ярко, потом появлялись красные, длинные загибавшиеся угли и пускали едкую струю синеватого дыма. По мере сгорания лучины дым увеличивался и наполнял всю комнату удушающей пеленой. Все начинали протирать глаза, чихали, сморкались. Николай Матвеич обыкновенно сидел в сторонке и молча плел рыболовные сети, главным образом — излюбленные свои мережки. Мы, дети, больше всего заняты были лучиной, которую нужно было периодически менять, и я от души завидовал Кулке, который сидел с лучиной каждый вечер, а я мог получать это удовольствие только изредка. В самом деле, что может быть лучше, как сидеть и смотреть на горящую лучину, обламывать тонкие красные угольки, и бросать их в воду, и задыхаться от едкого березового дыма!

— Не нравится моя лучина? — подшучивает, бывало, Николай Матвеич. — А вот у меня в балагане, на Осиновой, еще лучше... Там я, как старый гриб, на сковородке пекусь. Вот там настоящий дым...

Николай Матвеич необыкновенно хорошо улыбался, причем его лицо делалось совершенно другим. При колеблющемся неверном освещении то потухавшей, то ярко вспыхивавшей лучины он казался мне каким-то сказочным человеком, каких художники рисуют в детских книжках. Жаль, что «матерешка» не подходила к роли жены старого волшебника, а то выходило бы совсем как в сказке.

Домашний костюм Николая Матвеича подходил к этому детскому представлению. Парадный подрясник бережно вешался в уголок, а дома старик ходил попросту: пестрядинные штаны, запрятанные за голенища громадных мужицких сапог, рубаха из грубой

китайской выбойки кирпичного цвета, с черными горошинками, а поверх — короткая курточка из толстого крестьянского сукна или из шкурки молодого оленя. В мастерской стоял самодельный верстак, над ним самодельный шкафик с принадлежностями охоты и рыболовства, а над шкафиком ружье, лыжи, обтянутые оленьей кожей, и свернутые сети. Николай Матвеич для домашнего обихода делал решительно все сам, до ружейного ложа включительно, и казался мне гораздо искуснее Робинзона Крузо, почему я его и не сравнивал с этим любимцем всех детей. Свои курточки и шапки Николай Матвеич шил сам, не доверяя «матерешке», и по части выделки меха не имел соперников, — никто не умел так выделывать олений мех, белку, куницу, лисицу и т. п. Одним словом, человек, который все знал, мог и умел. Увидать без дела Николая Матвеича мне не случалось. Старик всегда был чем-нибудь занят, и если не было домашней работы, он на дворе рубил дрова про запас, копал гряды, ухаживал за своею лошадью, сердитой рыжей кобылой, с какими-то необыкновенными белыми глазами, точно сделанными из фарфора, как у кукол.

Я убежден, что Николай Матвеич не променял бы своей передней ни на какие блага мира. Дело в том, что из единственного окна этой комнаты открывался чудный вид на родные зеленые горы.

— О! Кирюшкин пригорок! — показывал старик. — О! Белая, Шульпиха, Седло... Царство!..

Как все охотники, Николай Матвеич отличался суеверием. На охоту или рыбную ловлю он обыкновенно выходил самым ранним утром, на брезгу, то есть когда только начинал брезжить утренний свет. Делалось это с той целью, чтобы, — боже сохрани, — какая-нибудь баба не перешла дороги. В последнем случае ничего не оставалось, как вернуться домой, потому что все равно удачи не будет. «Баба», по мнению Николая Матвеича, была самое вредное существо.

— Уж она все дело испортит, — подтверждал Емелька в качестве опытного человека. — Со мной сколько разов так-то бывало: перейдет дорогу — и

шабаш. Идешь с ружьем, а она, как овца, и перебежит дорогу.

Ружье в глазах Николая Матвеича имело какое-то таинственное значение, и его ничего не стоило испортить одним взглядом, а того больше — неуместным словом. Все хорошо стреляет, а тут и пошло мимо да мимо. Ружье у старика было действительно редкостное, кремневое, из старинных гладкоствольных сибирских винтовок. Из него можно было стрелять одинаково и пулей и дробью, а иногда — тем и другим вместе. Понятно, что я относился к этому таинственному орудию с величайшим уважением и не смел прикасаться руками. Во всем домашнем обиходе Николая Матвеича ружье было самою дорогою вещью, орудием пропитания и предметом удовольствия. У этого ружья был свой собственный характер, которым оно отличалось ото всех остальных ружей на свете. Я был убежден, что другого такого ружья и не могло быть.

IV

Мне минуло уже десять лет. В комнате, во дворе и в огороде сделалось тесно. Я уже ходил в заводскую школу, где завелись свои школьные товарищи. Весной мы играли в бабки и в шарик, удили рыбу, летом ходили за ягодами, позднею осенью катались на коньках, когда «вставал» наш заводский пруд; зимой катались на санках, — вообще каждое время года приносило свои удовольствия. Но все это было не то. Меня тянуло в лес, подальше, где поднимались зеленые горы.

— Ну, малец, когда мы пойдем рыбачить? — несколько раз спрашивал меня Николай Матвеич. — Вот бы каких окуней наловили, а то и щуку...

Мать долго не решалась отпустить меня с Николаем Матвеичем, потому что вода, как известно, вещь очень опасная. Долго ли утонуть!.. Но в одно прекрасное утро разрешение было получено. Это было еще с вечера, а поэтому я почти не спал всю ночь. Ранним летним утром Николай Матвеич зашел за мной. Он

был в рваной сермяжке, в оленьей зимней шапке и весь завешан собранной на веревке мережкой[1] — настоящий Робинзон. Мне ужасно хотелось спать, а в горах даже летнее утро бывает холодное, и над водой бродил волокнистый туман.

— Ничего, солнышко согреет, — ободрял меня Николай Матвеич, зарядив на дорогу свой нос табаком. — Жарко еще вот как будет...

В нашем заводе были два пруда — старый и новый. В старый пруд вливались две реки — Шайтанка и Сисимка, а в новый — Утка и Висим. Эти горные речки принимали в себя разные притоки. Самой большой была Утка, на которую мы и отправились. Сначала мы прошли версты три зимником, то есть зимней дорогой, потом свернули налево и пошли прямо лесом. Да, это был настоящий чудный лес, с преобладанием сосны. Утром здесь так было хорошо: тишина, смолистый воздух, влажная от ночной росы трава, в которой путались ноги.

— Вот и Матвеев луг, — объяснял Николай Матвеич, когда мы вышли из лесу на широкий мыс, огибаемый Уткой. — Тут и наши окуни.

Матвеев луг в моих детских воспоминаниях играет большую роль, потому что на нем мы проводили впоследствии много веселых юных дней. Купались, ловили рыбу и просто сидели около весело горевшего огонька. Для Николая Матвеича это место имело значение благодаря небольшой заводи, затянутой осокой и разной болотной травой. В жаркое время дня рыба входила в траву и здесь отдыхала. Я в первый раз видел, как ее ловят мережкой. Мережка — тройная сеть: в середине мелкая ячейка, а по бокам — крупные петли. Длиной она была сажен двенадцать, шириной — полтора аршина. На нижней веревке мережки укреплялись продырявленные из обожженной глины грузила, кибасья, а на верхней, чтобы сеть не тонула, — поплавки из крученой бересты. Для прочности у Нико-

---

[1] На Урале мережкой называют тройную сеть. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

лая Матвеича мелкая средняя сеть была сплетена из синих ниток.

— Ну, вот мы и дома... — говорил старик, усаживаясь на берегу отдохнуть.

Я забыл сказать, что Николай Матвеич был в лаптях, как всегда выходил рыбачить. Дело в том, что в лаптях вода не держится и не стесняет движений.

Отдохнув, Николай Матвеич разыскал спрятанное в кустах «ботало» — длинный деревянный шест с железной воронкой на одном конце, потом распустил мережку и пошел с ней в воду обметывать траву. На поверхности оставались одни берестяные поплавки. Когда заводь была обметана мережкой, он начал ботать, то есть пошел с берега в траву и бил в воду бо̀талом. Благодаря железной воронке получался от каждого удара такой шум, от которого рыба должна была бросаться в мережку. Эта работа продолжалась с полчаса, пока Николай Матвеич не исходил всей травы. Глубина была выше пояса, и он был весь мокрый.

— Эге, есть!.. — проговорил он, когда средние поплавки мережки начали погружаться в воду.

Он свел концы мережки вместе и потащил мережку на берег. Издали еще можно было видеть блестевшую, как серебряная монета, сорожку (плотва), запутавшуюся в мелкой сети. Но эта добыча не интересовала Николая Матвеича. В крупных ячейках наружных сетей запуталось несколько окуней и отчаянно билась аршинная щука. Это была настоящая рыба, и Николай Матвеич торжествовал.

— Вот тебе и уха из окуней и пирог из щуки, — говорил он, усмиряя бившуюся щуку.

На моей обязанности было тащить сделанную из лыка корзинку с рыбой, что было делом не легким, — рыбы попало около десяти фунтов. Моему восторгу не было границ, и я жалел только об одном, что должен был сидеть на берегу и не мог принимать участия в закидывании мережки и в бо̀танье. Дальше я помогал расстилать мережку на траве, выбирать из нее речную тину и приставшую траву. А когда мережка не-

много просохла, мы отправились дальше, вверх по Утке.

Но дальше повторялось одно и то же, за исключением одного места, где Утка текла в суженном русле и мережку можно было перекинуть с одного берега на другой. Николай Матвеич особенно долго ботал, загоняя рыбу сверху реки и снизу. Вода в реке была светлая, и я все время любовался, как в мережке запутывалась разная рыба. Особенно красивы были окуни с их красными плавниками и пестрой темнозеленой чешуей. Я прыгал от радости, как дикарь.

Все шло отлично; но тут случилось нечто совершенно не предусмотренное. Из дому я не захватил ничего съестного и теперь испытывал муки настоящего голода. Раньше мне не случалось голодать никогда, и я не подозревал, какая это ужасная вещь. А дома чай со сливками, разные вкусные «постряпеньки», наконец, целый обед... Чтобы утолить голод, я пил воду, но это не помогало. Вода в реке была теплая и с каким-то травяным привкусом. Николай Матвеич посматривал на меня и загадочно улыбался.

— Ну, что, малец, не пора ли нам пообедать? — проговорил он после последней закидки. — Проголодался?

— Очень...

— А у меня отличный повар готовит обед... Ты не знаешь, как его зовут?

— Нет...

— Голод, малец.

Мы уселись на опушке леса у самого берега. Николай Матвеич развел огонь и бросил в него несколько картошек. А потом достал из берестяного заплечника (особого устройства коробок с крышкой, который носят за плечами) несколько ломтей хлеба, зеленого лука и завернутую в тряпочке соль. Я смотрел на эти приготовления с такою же жадностью, с какой Лыско смотрел на приносимые ему кости. Повар Николая Матвеича оказался отличным: я еще никогда и ничего вкуснее не едал, как простой ломоть черного хлеба, с солью и луком. Дальше следовало второе открытие: ничего на свете не было вкуснее самого обыкновенного

картофеля, испеченного в горячей золе. Это уже была настоящая роскошь, пища избранников.

— Ну, а теперь чаю напьемся из моего самовара, — говорил Николай Матвеич.

Он ободрал лоскут бересты с молодой березки, вырезал из него круг, сложил один край и защемил его в расщепленную березовую палочку. Получился так называемый «чуман», то есть берестяной ковшик. Пить из него воду было, конечно, удобнее, чем черпать ее горстями. Робинзон оказался великим искусником, хотя я и не был согласен с его самоваром, то есть с рекой Уткой.

Возвращение домой произвело на меня угнетающее впечатление, потому что я страшно устал и думал, что просто умру дорогой от усталости. А Николай Матвеич, не торопясь, шагал своей развалистой походкой и, поглядывая на меня, улыбался своей загадочной улыбкой. Когда мы дошли до первых изб, я решил про себя, что больше ни за что в мире не пойду рыбачить... От усталости мне просто хотелось сесть на землю и заплакать. А Николай Матвеич шагал себе как ни в чем не бывало, и мне делалось совестно.

V

На другой день мои мысли совершенно изменились, и я мечтал о том, как мы опять пойдем рыбачить с Николаем Матвеичем.

В течение двух лет мы исходили с мережкой всю Утку и Шайтанку с переменным счастьем. Иногда приходилось возвращаться чуть не с пустыми руками, и можно было наловить гораздо больше удочкой, хотя последнего способа рыбной ловли Николай Матвеич и не признавал.

— Какая это ловля! — возмущался он. — Так, время убивать напрасно. Ребячья забава.

Главное удовольствие было все-таки впереди, именно — охота. Меня долго не отпускали; но потом состоялось соглашение в такой форме, что я пойду с Николаем Матвеичем, но только без ружья. Да у

меня и не было своего ружья, хотя Николай Матвеич и обещал у кого-то достать.

У меня нет просто слов, чтобы выразить то волнение, которое меня охватило, когда мы в первый раз отправились с Николаем Матвеичем на Шульпиху, до которой от нашего завода считалось верст семь. Он шел со своим ружьем и с заплечником на спине, а я — с кузовком для грибов. Третьим действующим лицом был Лыско, визжавший от радости и выделывавший чудеса акробатического искусства. Утро было превосходное, точно настоящий праздник. Дорога на Шульпиху шла сначала старым заброшенным просеком (на Урале говорят «просек», а не просека), а потом мы свернули влево, где начинались покосы.

— Ужо по островкам пошукаем (поищем), — говорил Николай Матвеич, заряжая ружье. — Птица теперь по ягодникам кормится...

Стояла вторая половина июля, и трава уже поспела для покоса. Ничего красивее нельзя себе представить, как эти чу́дные горные луга, усеянные лесными островками и по всем направлениям изрезанные бойкими горными речками. От травы утром поднимался такой аромат, что кружилась голова. Как только мы вышли из завода, наш Лыско совсем пропал, так что я думал, что он потерялся.

— Он ищет... — объяснил Николай Матвеич, указывая на колыхавшуюся траву, где Лыско «нюхтил» ему одному известные следы.

Главное достоинство промысловой собаки в том, чтобы она «широко ходила», то есть далеко обегала дорогу, по которой идет охотник. Наш Лыско появлялся то справа, то слева, — высунет из травы свою острую морду, посмотрит, куда мы идем, и опять пропал.

— Ищи, ищи, — поощрял его Николай Матвеич.

Около одного островка послышалось страшное фурканье. Это взлетел выводок поляшей (на Урале косачей называют поляшами, а тетерьку — польнюшкой). Николай Матвеич так и замер, подняв руку кверху.

— Видел? — шепотом спрашивал он меня.

Я ничего не видел. Лыско где-то взвизгнул и

несколько раз отрывисто взлаял. Мы осторожно пошли по островку, причем Николай Матвеич часто останавливался, зорко вглядываясь в зеленую чащу смешанного леса. Я не смел дышать, охваченный первым охотничьим волнением. Мы зашли в лес, и Николай Матвеич остановился. Лыско, вспугнувший выводок, подбежал к нам и тревожно смотрел вверх, напрасно отыскивая притаившуюся дичь. Мы простояли совершенно тихо минут десять, как послышалось слабое щекотанье.

— Слышишь? — шепнул мне Николай Матвеич. — Это матка подзывает детей.

В ответ щекотанью послышался с разных сторон писк, а на одной березе шелохнулась ветка.

— Вон он... — шепнул мне Николай Матвеич, показывая на вершину березы. — Смотри на сучок справа.

Сколько я ни старался и ни смотрел, но так и не мог увидеть затаившуюся птицу, которая сейчас была ростом чуть не с курицу. Николай Матвеич прицелился из ружья и дал мне «просмотреть» птицу по прицелу. Я, наконец, ее увидел. Она присела к самому суку, вытянув вперед голову совершенно неподвижно. Только опытный охотничий глаз мог рассмотреть ее.

— Ну, теперь видел, малец?

Лыско, следивший за каждым движением хозяина, слабо взвизгнул, когда Николай Матвеич начал прицеливаться. Грянул выстрел, и мне показалось, что птица полетела с дерева комом раньше выстрела. Лыско рванулся было к ней, но был прогнан с позором. Я в первый раз видел застреленную птицу. Она лежала на траве, закрыв глаза, и слабо вздрагивала крыльями. Это была предсмертная агония. Около трава была забрызгана яркими пятнами свежей крови. Когда я ее взял, она показалась мне такой маленькой. Крылья распались, голова бессильно висела, мои руки были в крови. Пока Николай Матвеич заряжал ружье, я внимательно рассматривал ее и удивлялся, какая она вся чистенькая. Каждое перышко было верхом совершенства — не то что на домашней птице. Потом от нее пахло так хорошо, как пахнет только от сейчас убитой дичи. Говоря откровенно, я не испытывал ни

малейшего чувства жалости к убитому живому существу. Объясняю это отчасти первым охотничьим пылом, а потом — присущею детям бессознательною жестокостью. Мне хотелось, чтобы Николай Матвеич перестрелял весь выводок, что являлось уже совершенно непонятною жадностью. Но нам удалось «взять» только две штуки, а остальные слетели.

— Ну, для начала и этого довольно, — решил Николай Матвеич, вскидывая ружье на плечо; он так носил ружье только в лесу, а в селенье опускал его книзу, точно прятал.

Следующим номером было утиное гнездо, которое Лыско разыскал на речке Мартьяне; но Николай Матвеич сделал промах и больше не стал стрелять.

— Терпеть не могу эту проклятую птицу, — ворчал он, заряжая винтовку. — Хлопот с ней не оберешься, да еще полезай за ней в воду. Как раз утонешь. Да и вкусу настоящего в дикой утке никакого нет. Травой да тиной пахнет...

Самая лучшая часть охоты началась, когда мы стали подниматься на Шульпиху, покрытую светлым сосновым бором. Собственно, настоящей охоты тут не могло быть, но Николай Матвеич, очевидно, хотел показать мне красивое лесное местечко. Действительно, кругом все было красиво. Ровные сосны поднимались желтыми колоннами, под ногами — настоящий ковер из опавшей хвои, а вверху какой-то торжественный шепот, как в громадном храме, где звуки теряются под высокими сводами. Кое-где попадались трава и лесные цветы, а потом грибы.

— Как птица и рыба, так грибы и ягоды разные бывают, — объяснил Николай Матвеич. — Сухой груздь, рыжик, боровик — это настоящий гриб, — потому как его впрок можно готовить... А другие — ничего не стоят. Малина, черника, брусника — тоже сурьезные ягоды, а вот земляника или костяника уж совсем ни к чему.

На одной опушке Лыско поднял зайца и погнал его с жалобным визгом.

— Ну, брат, шалишь, — посмеялся Николай Матвеич. — Косой-то похитрее тебя будет.

Лыско действительно вернулся через полчаса в самом жалком виде: усталый, с высунутым языком и порывистым дыханием.

— Поклон от косого принес? — шутил Николай Матвеич. — То-то, брат, не за свое ремесло принялся.

Мы сделали привал в середине горы, где у Николая Матвеича были спрятаны с весны надраные лыки.

— Ужо в Мартьян надо стащить да в воду спустить, — объяснил он. — К осени успеют вымокнуть... Будет и свое лыко и свое мочало.

Пока мы отдыхали, Лыско исчез, и скоро послышался его мерный, отрывистый лай, точно кто рубил топором.

— Белку облаивает, — заметил Николай Матвеич, поднимаясь. — Она теперь совсем красная и ничего не стоит...

Мы скоро нашли Лыска. Он стоял перед громадной сосной и отчаянно заливался. Белку я скоро разыскал. Она сидела на сучке в средине сосны и смотрела на нас совершенно спокойно.

— Ишь, ничего не боится, — объяснил Николай Матвеич. — Знает, что никому ее сейчас не нужно... А вот как сделается по снегу серой, тогда забьется в самую вершину, и не разыщешь ее.

Чтобы потешить меня, Николай Матвеич убил ее и очень ловко освежевал, то есть снял шкуру, как перчатку. Мясо пошло в пользу Лыска, накинувшегося на него с жадностью.

VI

Мне приходится здесь сказать несколько слов об охоте, как о жестоком удовольствии, которое особенно порицается в таком восприимчивом возрасте, как детство. Защищать охоту, конечно, нельзя, и это не требует доказательств, хоть и есть защитники, которые уверяют, что только охота развивает в мальчиках настоящее мужество и закаляет характер. Это одна сторона. С другой стороны, в большинстве наших удовольствий, допускаемых и поощряемых самой строгой

педагогией, есть известный элемент жестокости. Возьмите уженье рыбы, коллекционирование насекомых, — даже собирание гербария. Не все ли равно, убиваете вы птицу или садите живое насекомое на булавку? В том и в другом случае вы лишаете жизни живое существо...

Лично я смотрю на охоту только как на средство быть в лесу. Идти в лес так, с голыми руками, не приходится и как-то скучно, а охота является прекрасным предлогом. Про свою раннюю юность в этом отношении могу сказать только то, что я слишком много провел прекрасных дней в лесу и в горах именно благодаря охоте, причем синодик загубленных птичьих жизней не превышает нескольких десятков. Да и впоследствии я никогда не мерял охоту количеством убитой птицы, как завзятые специалисты-охотники, а разных са̀док, где расстреливают выпускаемых из клеток голубей, не могу видеть и до сих пор.

Первое свое ружье я получил, когда мне было уже пятнадцать лет, и домой я приезжал только на каникулы. Первой жертвой моего охотничьего искусства была несчастная ворона, убитая для пробы ружья. Но убить самому оказалось совсем другим, чем быть свидетелем того, как убивают другие. Убитая мной ворона отравила мне несколько дней, как совершенно бесцельная жестокость.

Благодаря собственному ружью я теперь уже мог самостоятельно ходить на охоту, а это представлялось таким удовольствием, равного которому нет. К этому времени у меня был уже большой друг, Костя, сын заводского служащего, у которого было тоже свое собственное ружье. Теперь мы делали уже настоящие походы в горы втроем, главным образом, на Осиновую гору, где у Николая Матвеича был устроен собственный балаган. Это было счастливое время, о котором я и сейчас вспоминаю с большим удовольствием.

Обыкновенно каждая охота в горах занимала два дня. Мы уходили в горы ранним летним утром, а возвращались только на другой день, поздно вечером. Дорога на Осиновую гору шла мимо Шульпихи, а потом — через знаменитые платиновые промысла,

расположенные по течению реки Мартьяна. До промыслов мы успевали поохотиться и на Мартьяне делали охотничий привал у кого-нибудь из приисковых знакомых рабочих. Мы стреляли дупелей и бекасов на знаменитой Варламихе, которая дала тысячи пудов платины, а в то время представляла собой цветущие луга. Николай Матвеич не признавал охоты на болотную дичь, называл ее «шальбой» и был уверен, что убить бекаса — навсегда испортить ружье.

В то время работа на промыслах шла только летом, и картина получалась самая оживленная. По берегам Мартьяна — везде избушки и простые землянки старателей, везде курятся приветливо огоньки, а по выработкам и промывкам копошатся сотни рабочих. Эта работа на открытом воздухе носит какой-то особенно бодрый характер, — конечно, в хорошую погоду. Нам не раз случалось и заночевать в одном из таких балаганов. Приисковые рабочие, конечно, смотрели на нас, как на шалопаев, которые от нечего делать шляются по лесу, и на этом основании не упускали случая пошутить.

— Матвеич, ты бы смазал ружье-то тараканьим мозгом, — советует кто-нибудь. — Пользительно, сказывают. Тоже вот сорочья кровь очень способствует.

Мы отшучивались, как умели, а Николай Матвеич вообще не любил напрасно тратить слов, особенно по части охоты: не такое это дело, чтобы лясы точить...

С промыслов наша дорога шла влево, круто забирая в гору. Это был чудный подъем. Извилистая горная тропинка шла зеленым коридором в гуще березняков и осинников. Особенно хороши были последние с своими матово-серыми стволами и трепещущей листвой, с которой точно сыпалась солнечная пыль. По густой, сочной, зеленой траве так красиво бродят жирные солнечные расплывающиеся пятна. Пахнет горьковатым ароматом осиновых губок, обдает каким-то влажным теплом; где-то немолчно долбит пестрый дятел, неистово вскрикивает черная роньжа, мелькает шустрая белка. По-моему, нет красивее леса, как сплошной старый осинник. По крайней мере мне не случалось видеть ничего красивее. Дубовые и липовые

рощи не могут идти в сравнение. Впрочем, может быть, сказывается свой уральский патриотизм или то, что тогда я смотрел на все молодыми глазами.

Подъем вытягивался верст в пять, и идти с ружьем в жаркий день — труд нелегкий. В сплошном лесу и охота плохая, потому что дичь держится на ягодниках, а рано утром и вечером держится около лесных троп и дорожек.

К балагану Николая Матвеича на Осиновой мы приходили обыкновенно к обеду, часа в два, в самый развал летнего зноя, и делали уже настоящий привал. Балаган был срублен из елового леса и совсем врос в землю. Сверху он был покрыт дерном, на котором розовой шапкой рос иван-чай. Окон не полагалось, а их заменяла низенькая дверь, вся засыпанная дробью и дырами от пуль, как мишень. Внутри, в глубине, помещались деревянные нары, а налево от двери — сложенный из камня-дикаря очаг. Дым сначала наполнял весь балаган, а потом уже выходил в дверь и в проделанное в крыше отверстие, заменявшее трубу.

Мы снимали разную охотничью сбрую, разводили огонь и принимались готовить охотничий обед. У Николая Матвеича хранился для этого железный котелок, в котором приготовлялась охотничья похлебка из круп, картофеля и лука, с прибавкой, смотря по обстоятельствам, очень расшибленного выстрелом рябчика, вяленой сибирской рыбы-поземины или грибов. Вкуснее такой похлебки, конечно, ничего не было на свете; а после нее следовал чай с свежими ягодами — тоже не последняя вещь в охотничьем обеде.

— Ну, теперь поснедали, отдохнули и на работу, — говорил Николай Матвеич.

Сама по себе Осиновая гора не отличалась ни высотой, ни красотой, а походила на громадную ковригу хлеба. Николай Матвеич предпочитал ее всем другим горам благодаря своему покосу и зимней охоте на оленей. Мы предпочитали уходить на охоту под Кирюшкин пригорок, стоявший рядом. Он состоял из утесистого шихана (шиханом на Урале называют скалы на вершинах гор), от которого во все стороны рассыпа-

лись каменные россыпи. Около этих россыпей почти всегда растет малина, и птица любит держаться около этой ягоды. Но мы прежде всего забирались на самую вершину шихана, чтобы отсюда досыта налюбоваться широкой горной панорамой. Мы просиживали целые часы, любуясь зеленым морем родных гор, исчерченных бойкими горными речками по всем направлениям и только кой-где тронутых человеческим жильем. Вдали виднелся наш родной завод Висим с его двумя прудами, ближе пряталась за горой деревушка Захарова, потом платиновые промыслы, — и только. В поле нашего зрения находился Черноисточинский громадный пруд-озеро, но он заслонялся каменной глыбой Белой горы.

Ночь мы проводили в балагане на Осиновой, а чем свет отправлялись на охоту. В этих случаях Николай Матвеич был неумолим и не позволял нежиться. После целого дня шатания с ружьем по горам мы возвращались домой к вечеру, усталые до последней степени, и клялись другу другу, что это уже в последний раз.

— Я и ружье изломаю, — уверял Костя.

Но усталость проходила в одну ночь, и мы опять шли в горы, расширяя поле действия. Мы пробрались и на Белую гору, где был устроен на самой вершине отличный балаган, побывали на Седле, на Билимбаихе, на Мохнатенькой, на трех Шайтанах и на Старике-Камне.

VII

Домой я приезжал только летом, на каникулы, и почти все время проводил в горах. Теперь мы с Костей уже без руководительства Николая Матвеича бродили по горам и отлично знали все горные тропы. Но все-таки, по старой привычке, мы любили поохотиться со стариком, который в лесу был совсем другим человеком, вернее сказать, — самим собой он делался только в лесу. Самое главное, что привлекало нас в нем, — было необыкновенно развитое «чувство природы». Такое чувство есть и, к сожалению, им владеют очень немногие. Николай Матвеич и по лесу ходил не так,

как другие, хотя к этому и нужно было присмотреться. Сейчас он идет рядом с вами, вы слышите его шаги, а потом — точно сквозь землю провалился. Это была привычка «скрадывать», то есть идти на всякий случай под прикрытием. По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность, — тут сухáрина (сухое дерево) пала и придавила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина подломала. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У старика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или другим образом жизнь. Он заходил навестить их, как своих воспитанников, и торжествующе любовался.

— Ведь погибла бы, — говорил он, указывая на какую-нибудь молоденькую рябинку. — Снег выпал ранний, мокрый, ну, и пригнул ее головой до самой земли, а я стряхнул снег, — вот она и красуется.

Больше всего старика волновали хищнические порубки на его любимой Осиновой горе, которые делались приисковыми рабочими с чисто русской безжалостностью к дереву. Николай Матвеич в немом отчаянии смотрел на свежие пни, валявшиеся вершины и думал вслух:

— Дерева-то не сумели по-настоящему выбрать и срубили его не по-настоящему... Выхватил одну середку, а остальное будет зря гнить в лесу да другим мешать. Хоть бы хворост да щепы в кучу собрали, а то хламят лес. Ежели бы дерево умело говорить, когда его рубят, — что бы тогда было? Ведь оно не мертвое, а живое...

Еще больше внимания оказывал Николай Матвеич всякой лесной живности, которая у него была на счету. Он наперечет знал на своей Осиновой все гнезда тетеревов, глухарей и рябчиков, тетеревиные и глухариные тока, все привычки и повадку каждой птицы.

— Зря бьют птицу, — возмущался он. — Выбивают маток до Петрова дня, цыплята остаются маленькими, ну, ястреба да лисы их и переедят. Убей матку, — все гнездо пропало. Матка-то тебе на другой год новое гнездо выведет... Вот петух — того можно бить после весенних токов, потому как он ни к чему, а матку не

тронь. Божья птичка, у нее на все свой порядок. Как она весной-то радуется, как гнездышко вьет, как деток вываживает, — одна красота!.. Только вот не скажет, что и она жить хочет. Не троньте, мол, меня, не губите напрасно...

Жизнь природы, в совокупности всех ее проявлений, в глазах Николая Матвеича, была проникнута неиссякаемой красотой. И любой камень, и каждая травка, и маленький горный ключик, и каждое дерево — все красиво по-своему. Какими красивыми лишайниками точно обтянуты камни в горах! А мхи, папоротники, цветы — что может быть красивее? Перемены погоды по временам года нехороши только в селении, а в лесу все и хорошо, и красиво, и полезно. И дождь, и снег, и солнце, и ветер, и холод, все работает свою указанную работу. Осенние ночи и осенние ливни нехороши только в селениях, а в лесу и в них есть своя прелесть и своя глубокая поэзия. Но больше всего Николай Матвеич любил суровую северную зиму, когда вся природа засыпала в таком красиво-торжественном покое. Кажется, все замерло, погибло, исчезло, а между тем где-то там, под саженным слоем снега, таится и теплится жизнь, которая проснется с первым весенним лучом солнца. Горная текучая вода, разносившая кругом жизнь и движение, приводила Николая Матвеича в какое-то сладостное умиление.

— Это уже вековечная работница, — объяснил он. — Она и палый осенний лист стащит, и корешки у травки обмоет, и песок снесет вниз, и зернышки рассадит... Ведь и травка ходит: то вода снесет, то ветром перекинет зернышко.

В горах встречается много бродячих растений, которые точно сознательно идут в известном направлении, делая по дороге остановки для отдыха. Конечно, для таких передвижений нужны десятки и сотни лет.

Но были некоторые пункты, которых Николай Матвеич никак не мог понять. Раз мы пришли к балагану на Осиновой, и старик молча указал на разросшиеся около него репейники, чертополох, крапиву и лебеду.

— О! — проговорил он улыбаясь.

Мы ничего не понимаем.

— Это всё дармоеды... — объяснил он. — В горах нигде не встретишь ни чертополоха, ни репья, ни крапивы, а эти дармоеды идут за человеком. Все равно, как клопы или тараканы... Ведь сюда их никто не тащит, а я же их как-нибудь принес с собой в заплечнике. И для чего они только растут?.. Все равно, как помру, балаган завалится, и они перемрут все до единого. Задушит настоящая лесная трава... Ведь вот тоже и воробья не встретишь в лесу, галки, голубя. Наш домашний голубь и на дерево-то не умеет садиться, потому у него лапки иначе устроены.

— А вяхирь?

— Ну, это уже лесной голубь, совсем другое.

Сидя по вечерам у огонька, о чем, о чем мы ни переговорили. Николай Матвеич рассказывал мастерски, как никто, и все, что он ни говорил, было передумано и перечувствовано. Каждое слово являлось полновесным зерном, как у всех серьезных и вдумчивых людей, которые умеют найти глубокий смысл в самом обыденном явлении и открыть его там, где другие ничего не видят. Это особый дар, дар избранников...

Дети по натуре — эгоисты. Мысль только о себе составляет долго все содержание внутренней детской жизни, и другие люди имеют постольку значения, поскольку они соответствуют удовлетворению этого чувства. Такой эгоизм проходит и через всю юность, как, вероятно, эгоистично прорастает в родной почве каждое зерно. Такими же эгоистами были и мы с Костей. Отлично помню, что мне не приходила в голову самая простая мысль, хорошо ли живется и как живется старику с его неотступной дьячковской нуждой. Достаточно сказать одно, что жалованья он получал всего три рубля в месяц, готовую квартиру, свечи и, кажется, по пуду муки на каждого члена семьи. А ведь нужно одеться, — это одно чего стоило. Приход был маленький и бедный, и едва ли на долю Николая Матвеича доставалось от церковных доходов рублей пятьдесят, шестьдесят в год. И человек ухитрялся прожить всю жизнь и поднять на ноги всех детей. Нико-

лаю Матвеичу предлагали дьяконское место, но он наотрез отказался.

— А «матерешка» умрет? — коротко объяснил он. — Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Конечно, это была шутка, как любил выражаться старик. Дело было не в «матерешке», а в том, что Николай Матвеич не в силах был расстаться с своими возлюбленными зелеными горами и охотой, — дьякон не имел права ходить на охоту, потому что она соединена с пролитием крови. Николай Матвеич так и остался вечным дьячком.

Каким образом могла прожить такая семья на такие ничтожные средства, тем более что были привычки дорогие, как чай? Ответ самый простой: все было свое. Огород давал все необходимые в хозяйстве овощи, корова — молоко, куры — яйца, а дрова и сено Николай Матвеич заготовлял сам. Немалую статью в этом хозяйственном *обиходе* представляли охота и рыбная ловля. Больным местом являлась одежда, а сапоги служили вечным неразрешимым вопросом.

VIII

В начале семидесятых годов я уезжал учиться в Петербург и перед отъездом зашел проститься с Николаем Матвеичем. Это было в начале осени. У Николая Матвеича сидел в гостях его друг Емелька. Старики показались мне как-то особенно грустными. Дело скоро разъяснилось. Емелька взял стоявшее в углу пистонное ружье и, взвешивая на руке, проговорил:

— Веселенькая штучка... Ствол нарезной, а вместо кремня — свистоны. Значит, осечкам шабаш, не как у наших кремневок...

— Ничего не выйдет, — сказал Николай Матвеич с необычным для него азартом. — Из нарезного-то ствола ты и стреляй одной пулей, а дробь разнесет...

— Да ведь я не за рябчиками пойду с ним? — сказал Емелька, тоже ожесточаясь. — Ведь как оно пулю далеко несет и как сильно бьет... А первое дело: свистон. Надел, чик! и готово...

— У тебя это в башке чикает! — ругался Николай Матвеич. — Разве это ружье? Мешалка какая-то, квашню мешать... Да я его и в руки не возьму, только руку как раз испортишь...

Спор о достоинствах кремневых и пистонных ружей велся несколько лет, и каждая сторона оставалась при особом мнении. Николай Матвеич крепко стоял на своем, отчаянно защищая свою кремневку, прослужившую ему верой и правдой всю жизнь. На наши пистонные ружья он смотрел всегда, как на детские игрушки, тем более что из них нельзя было стрелять пулей.

Я так и уехал в Петербург, оставив спор нерешенным. В Петербурге мне пришлось прожить безвыездно лет пять, и в это время Николай Матвеич умер. Из письма Кости я узнал, что события шли в таком порядке. Сначала умерла «матерешка». Оказалось, что старик очень ее любил, несмотря на видимую грубость обращения. Когда она лежала в гробу, он украсил его живыми цветами, что поразило всех. Простой дьячок, и такие нежности... Старик сильно тосковал, потеряв скромную подругу своей многотрудной жизни. Вероятно, Емелька воспользовался этим моментом и убедил его, наконец, в преимуществах пистонного ружья. Но тут и случилась настоящая беда. Николай Матвеич «промазал» по оленю... От огорчения или от простуды он слег и больше не вставал.

Лет через пятнадцать после его смерти я был в последний раз на родных зеленых горах; я опять видел Шульпиху, Осиновую, Кирюшкин пригорок, Белую, Седло, Билимбаиху, трех Шайтанов и Старик-Камень. Я объехал верхом эти глубоко родные горы и часто вспоминал покойного Николая Матвеича. Мне иногда казалось, что между деревьями мелькает его крадущаяся тень... И Кости тоже уже не было на свете. Бедняга умер в самом расцвете сил, простудившись на приисковой разведке. Родные места вызвали целый ряд других дорогих теней; но с милыми зелеными горами неразрывно связывалась тень одного Николая

Матвеича, как с домом — тень его бывшего хозяина. Да, это был настоящий хозяин, а зеленые горы служили ему домом...

Горький опыт жизни научил понимать многое, что было недоступно раньше. Только теперь я понял, почему мой отец называл Николая Матвеича философом. Прежде всего это был созерцатель, живший широкой жизнью всей природы. Она наполняла его существование, заслоняя все остальные интересы, до дьячковской нищеты включительно. Как я отлично теперь понимал Николая Матвеича, когда он в трудные минуты жизни смотрел из своего окошечка на родные зеленые горы. Дома он был только так, временным гостем, как и всякий из нас. Припоминалась мне и одна характерная сцена, происходившая у палаустного (в два ската) балагана Емельки на платиновых промыслах.

Мы запоздали и решили заночевать у Емельки. Спускался темный июльский вечер, и брести десять верст домой не представляло ничего заманчивого, а перед балаганом так приветливо курился веселый огонек, манивший отдохнуть.

— Куды вам торопиться? — приглашал Емелька. — А утром под Шульпихой еще, пожалуй, глухаря убьете...

— Глухаря не глухаря, а рябчиков найдем, — соглашался Николай Матвеич.

— Конечно, останемтесь, — уговаривал я, прельщенный перспективой уснуть именно в палаустном балагане, где дуло со всех сторон, как в форточке.

Мы поели какой-то горячей похлебки, и я прилег в балагане, пока согреется чайник с водой, прилег и сейчас же, конечно, заснул мертвым сном. Вероятно, я так проспал бы до самого утра, если бы меня не разбудил страшный холод. Мои зубы выбивали лихорадочную дробь. К счастью, в чайнике была горячая вода, и я мог согреться.

— Ничего ты не понимаешь, Емелька... — говорил Николай Матвеич, продолжая какой-то бесконечный спор.

— Очень даже могу понимать: одно — богатый, другое — голь перекатная. Вполне понимаю.

— Хорошо. Возьмем богатого... Что он, по-твоему, два обеда съест или две шубы на себя наденет? Ты раскинь мозгами-то, умная голова...

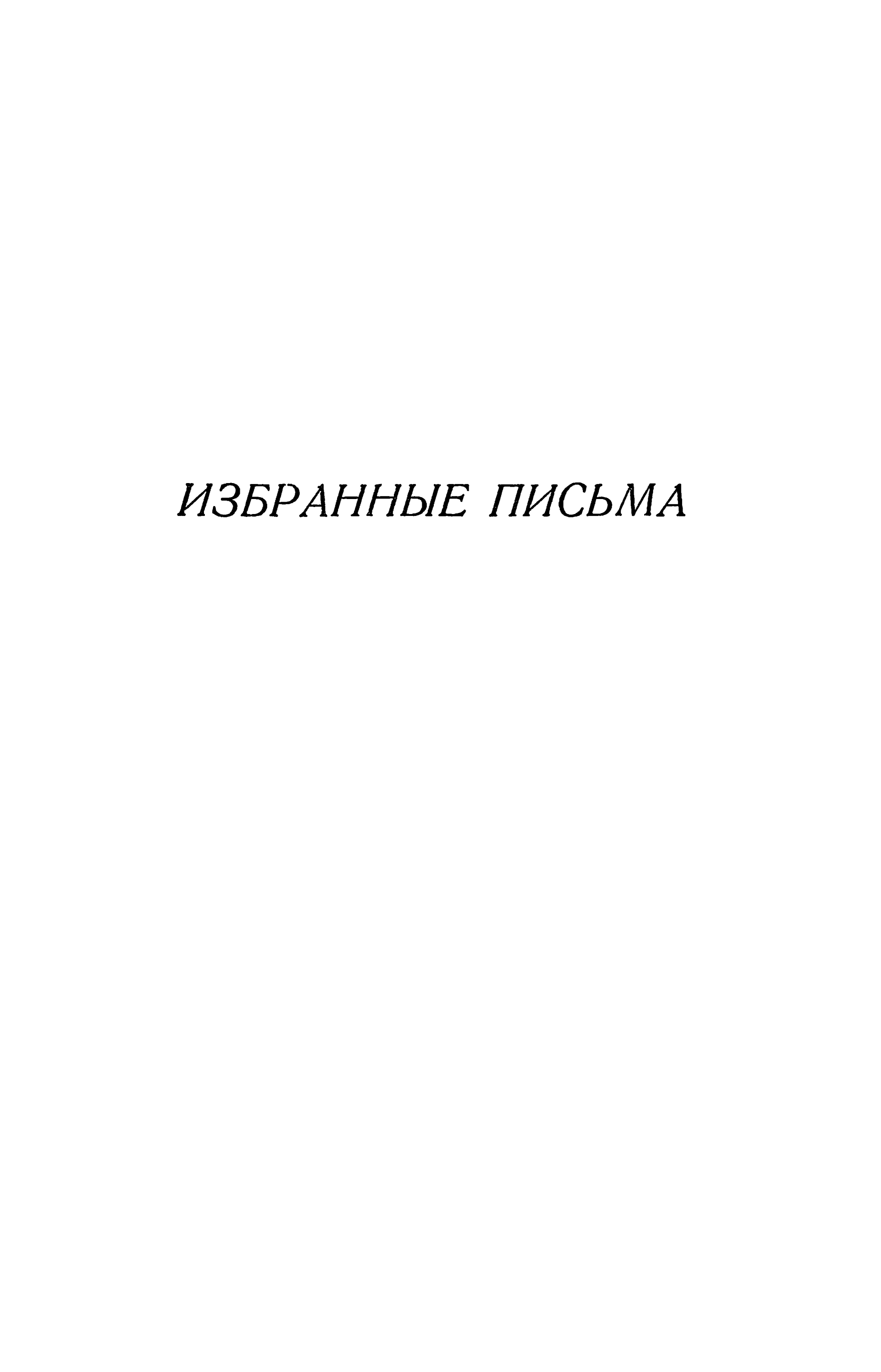
— Два обеда зачем есть, а вот избу новую поставить, лошадь хорошую завести, шубу справить... Небойсь все бы тогда вот как Емельке кланялись.

— Дураки бы кланялись... Зачем я буду кланяться, когда он такой же человек да еще, может, и похуже меня? А потом помрет, с собой ничего не возьмет... Бедному и помирать легче. Ты бы выстроил одну избу, — подавай другую, купил одну лошадь, — надо другую, купил шубу, — куплю другую... Стал бы завидовать другим, которые богаче тебя, и последнего бы ума лишился. Да еще сам стал бы обижать бедного-то человека... Ну-ка, подумай?

Емелька только чесал в затылке. И новая изба, и лошадь, и шуба остались неисполнимой мечтой...

В Николае Матвеиче именно не было той зависти, которая разъедает жизнь других людей. Он никогда не завидовал никому, — по крайней мере я не слыхал ничего подобного. А это великое дело, когда человек чувствует свою жизнь полной, — он истинно счастлив...

Может быть, я идеализирую своего старого друга, может быть, я не знал других сторон его жизни, но это уже общий удел всех воспоминаний детства... Лично я вспоминаю о Николае Матвеиче с чувством глубокой благодарности.



ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

1

Н. М. МАМИНУ

[Март 1870 г. Пермь.]

У меня к Вам есть большая просьба: узнать программу реального тагильского училища всех классов, потом узнать, можно ли поступать из реального училища в технологический институт или в другое высшее заведение. Это Вам легко узнать от служащих наших или тагильских.

Если можно поступать куда, то с экзаменом или без экзамена?

Узнавши все это хорошенько, Вы порассудите, нельзя ли мне тут поступить, и, главное, имейте в виду вот что: чтобы был верный кусок хлеба, а то ведь теперь мы эфирами разными набиваем голову — ну, а как приведется с эфиров в канцелярию спуститься, сквернейшая будет штука. Прежде ладно было: кончил курс и поп, а нынче не то, заранее куда-нибудь надо себя готовить. Рассудите теперь, к чему это нас готовят? Хотя и много шумели о преобразовании семинарий, но в сущности пользы немного. Что, например, я приобрел в 4 года учения? И что впереди мне предстоит, я не знаю и Вы также, а надеяться на авось самая плохая штука. В реальном же училище я, получив основательные знания по заводской части, не пропаду, а если попаду в технологический институт, то во всяком случае выйду никак не хуже какого-ни-

будь университанта, который, вышед из университета, скрипит где-нибудь за те же 15 р. Теперь наше положение в семинарии можно сравнить с положением ребенка, которому говорят, что белое совсем не белое, а черное, потому что святые отцы выкапывают всякую мертвечину, рухлядь никуда негодную и заставляют нас ее заучивать как что-то путное; время самое годное для приобретения знаний почти на всю жизнь, время, которым мы должны бы дорожить, у нас пропадает на заучивание мертвечины, то есть классиков. Куда нам будут годны эти классики? Только ведь обманываем себя и других: никто еще никогда не делал старое новым, годным для употребления.

Сами-то наши наставники не знают классиков, несмотря на то, что иссушили тело свое и ум на них. Неужели Вам хочется лучше получить из меня такого же губителя молодых умов, как наши редипты-наставники, чем честного и трудолюбивого заводского человека?

Право, я не знаю, что Вы ожидаете от меня, если оставляете в семинарии? Ведь она много ли мне дала пользы-то; от труда она всякого отучит, а чему хорошему научит? Если чего ожидать от нее, то это только физики в 4 классе и математики, а то ведь классики, психология, философия и прочая дребедень умного человека с ума сведет. Еще повторяю: пожалуйста, подумайте о том, нельзя ли мне поступить в реальное училище и оттуда в технологический институт, это нисколько не хуже семинарии.

Узнайте, что и в каких классах преподают в реальном училище и можно ли будет из него поступить в технологический институт или в другое какое-нибудь заведение высшее; если никуда нельзя, то я остаюсь в семинарии, если же нужно приготовиться только по новым языкам, то я могу приготовиться почти без учителя. Оставляю Вам решить мою будущность, — я верю тому, что Вы говорите, потому что более и лучше всего научит сама жизнь.

Ответ на это письмо напишите как можно скорее: от этого я могу много потерять.

2

Н. М. и А. С. МАМИНЫМ

[15 января 1871 г. Пермь.]

Любезнейшие родители!

Ваше письмо и посылку — энциклопедию, посланные с Николаем Николаевичем Варушкиным, я получил сегодня, то есть 15 января. С Никоном Терентьевичем об энциклопедии не написал потому, что еще не знал хорошенько в то время, есть ли что-нибудь по химии в этой энциклопедии.

Во время классов от Н. Н. Варушкина я получил ее и тотчас же после классов снес переплетчику, за переплет обеих частей нужно отдать 60 к.; что касается до пользы, которую принесет эта книга мне, кажется, нельзя сомневаться в этом.

Архангельские переехали на другую квартиру, наискосок о. Андрея Будрина, квартира довольно порядочная, только комнаты не совсем хорошо расположены. Никон Терентьевич пока еще не нашел никакой службы, — везде, как и Колю, просят подождать. Ему не очень-то приятно сидеть без дела, а более еще неприятнее это Евгении Тимофеевне. Ваня приехал 2 числа вечером, письмо от него я получил, а также и деньги 6 р. серебром. Николай Тимофеевич служит помаленьку; Владимир Тимофеевич тоже, то есть служит, — он как будто тяготится своими родными и ошибся в своих расчетах, — впрочем, это только я говорю так, и на деле, может быть, дело идет иначе. Ваня пока ничего не делает.

Марья Герасимовна не может удержаться от слез при воспоминаниях о Висиме. Вообще все Архангельские кланяются Вам.

О классицизме я говорить и писать устал, — едва ли будет время, когда я буду иначе совершенно думать о нем, чем теперь; конечно, я знаю, что время много изменяет человека, но чтобы изменить эти убеждения, я считаю почти невозможным. Самый последний результат моего мышления, если только он будет,

тот, что и классицизм с самых лучших своих сторон, которых у него так немного, действовать может благодетельно только тогда, когда его серьезно изучат, а к серьезному его изучению не хватит времени и даровитости несчастных педагогов; вершки же везде не заслуживают внимания и особенно эти вершки нетерпимы в знании классиков; не подумайте, что когда-нибудь придет время господства классиков, — это его усиление, может быть, есть последние, предсмертные агонии. Вообще — нет у меня слов о древности.

Слушанием лекций в классе во всяком случае нельзя пренебрегать: это одна из самых замечательных житейских хитростей-мудростей, а потому и я не пренебрегаю ничем, что можно приобресть в классе. На свою участь роптать я пока еще не намерен, иногда только кое-что прорвется: да ведь не железный же человек-то, имеет же на него какое-нибудь действие окружающая действительность!

Вы говорите, что мы слишком легко относимся к настоящему своему времени — времени приобретения всевозможных знаний, — на это скажу вот что: наши воспитатели, наши руководители гораздо легче смотрят на это, чем мы сами, они не только ничего не дадут, но еще и то, что мы без их помощи приобрели бы, расстроят; спросите у них, много ли они чего дали мне, а набор спряжений и склонений и слов без порядка, без толку не есть еще знание. Если я или мои товарищи что приобретут, то это — плод собственных забот, трудов и ума; а за свое собственное, которое добывается таким трудом, потом и кровью, ни я, ни они не обязаны благодарить других, да подобный поступок был бы положительно ни с чем несообразен; теперь, примерно, я учусь, но если бы я не стал заботиться сам о своей голове да слушал бы своих учителей, то не только знаний, а и здоровый-то рассудок совсем потерял.

В конце имею сообщить Вам неприятную новость: я уже раньше писал, что за октябрь по поведению у меня 3, но помощник, новенький, такой скотина, что за декабрь опять поставил 3, за то, дескать, что не все святки ходил в церковь; право, не знаю, где найти

пример подобной дичи, бессовестности и подлости; ну, положим, если бы я один не ходил, а то половина класса, я стал говорить инспектору, что-де не я один не ходил, да и не объявлено было, мол, обязательно в церковь ходить или нет, притом, мол, в прежние годы никто не ходил, да ничего никому не делали, — на мое красноречие получился такой ответ, что это не оправдания и что начальство вольно все делать и его поступки не должны иметь никакого контроля.

Конечно, последняя новость неприятна для Вас, но тем более неприятна она для меня, но что делать, ошибся маленько, к тому же и ошибка-то поправимая.

Денег пошлите поскорее, рублей 10 или 12.

На святках были 3 литературных вечера, на 2 из них я читал.

Более новостей особенных нет.

Ваш *Дмитрий*.

71 г. Пермь. 15 января.

P. S. С новым годом, с новым счастьем!!.

3

Н. М. и А. С. МАМИНЫМ

[29 февраля 1872 г. Пермь.]

Любезнейшие родители!

Письмо Ваше от 9 февраля с 16 р. я получил 18 февраля. Прочитав письмо, я обрадовался, чему бы Вы думали? Вот чему: Вы, папа, пишете, что не желаете добиваться рекомендаций, добиваться перевода на другое место теми средствами, которые имеет обыкновение употреблять наше духовенство, что эти средства не по вашим убеждениям. Да, я этому обрадовался и радуюсь, потому что мне очень было бы неприятно видеть Вас наряду с теми, которые добиваются цели, не разбирая средств. Письмо Архангельским передал, передал и деньги. Мария Герасимовна благодарит и просит передать Вам поклон.

Странное это семейство — Архангельские, особенно пол мужеский. Владимир Тимофеевич то гонит всех из дому, то не отпускает, то сорит деньгами, то дрожит над ними. Кажется, что гнать от себя родных ему нет никакого основания и выгоды, — никакие прислуги и денщики, даже никакая его будущая супруга, не будут в состоянии так ухаживать за ним, как они. Например, когда ждут его возвращения домой, то Ваню посылают за несколько времени вперед в прихожую, чтобы там он мог отворить дверь по первому звонку, не знаю, что ему лучшего ждать от людей чужих? Николай Тимофеевич относительно родных держится тоже довольно странной политики: жалованье пропивает или проигрывает, и это почти постоянно, живет на счет брата, часто ссорится с мамашей и вообще со всеми. За все и вся в ответе Марья Герасимовна и Зинаида, даже Ваня и тот на них, хотя и сам в настоящем положении своем не более как денщик у брата. Мария Герасимовна очень рада была бы отделиться, но сам Владимир только говорит, делать же этого не делает, да и едва ли когда-нибудь сделает; просто-напросто, должно полагать, купоросится, благо есть над кем.

Это письмо я начал писать с неделю назад, но почему-то все не мог кончить; это для меня редкость, потому что вообще письма я пишу сразу.

Теперь скажу кой-что о себе.

Странное наше положение, то есть то положение, когда нам приближается выход из семинарии. Трудное это время, должно быть, для всякого выходящего из нас, — это я отчасти могу судить по себе. И действительно, что и кто мы? Относительно мнения общественного, мы ни рыба ни мясо; хвалить-то хоть нас и хвалят иногда, но и только, кажется. Этим ограничиваются наши отношения по большей части с теми людьми, с которыми нам приведется, может быть, впоследствии иметь дело, да и не может быть, а положительно приведется. Общество знает только, должно полагать, что мы существуем на свете божьем, и только. Что же сами мы о себе думаем? Что касается до этого вопроса, то он для нас вопрос нерешенный

и нерешимый, потому что решение его возможно только при сравнении с другими представителями средних учебных заведений, а с ними мы личных сношений не имеем, следовательно остается догадываться по слухам, но это самого сомнительного свойства догадки, и мы оставались и остаемся в сомнении насчет своего значения в среде русского учащегося юношества и тем более общества; поживем — доживем и увидим. Но вот это-то и тяжело. Просто иногда чуть не сходишь с ума от неизвестности. Тяжело от сознания бесполезной траты своего прошедшего и отчасти настоящего; тяжело от сознания своей глупости собственной; тяжело, наконец, глядя на других, как они идут да маются по той же дорожке, по которой и сам прошел. Да мало ли, папа, от чего тяжело бывает, не вам мне сказывать, сами знаете!!. Но все еще сносно, когда дело касается только одного умственного развития, — время не ушло — воротим, что нужно. А вот касательно физической стороны да нравственной, так хоть в петлю полезай иной раз. Деньги потерял — говорят — ничего не потерял; время — много потерял; энергию — все потерял. А откуда, спрашивается, нам набраться всего этого? Мало того, что нам не только не дано того, что от нас требует жизнь, жизнь разумная, честная — словом, жизнь, достойная названия человеческой, мы и то, что приобрели бы с этой целью, можем потерять при столкновении с той средой, в которой приходится нам жить. Конечно, достоинство человека, как человека, только и может развертываться в противных обстоятельствах, но ведь нужно же взять во внимание нашу молодость, нашу положительную неопытность, непрактичность, увлечения — мало ли чего наберется в том же роде, чтобы оценить правильно всю силу тяжести, которая на нас лежит, от которой одни гибнут, другие остаются уродами — в физическом, нравственном, умственном отношениях, и только очень даже слишком немногие выходят целыми и невредимыми из этой борьбы.

Ведь слишком мало того, чтобы быть исправным в классе всегда, переходить из класса в класс, даже

хорошо кончить и быть принятым в другое заведение, — мало всего этого, я говорю, потому что это только формальная сторона дела. Не велика важность в том, примут или не примут меня в университет, — я могу поступить вольнослушателем; не беда в том, что у меня мало средств к существованию, — я могу существовать работой. Но предстоит теперь задача более трудная и серьезная для решения, но на которую, не знаю почему, всегда мало обращают внимания. Это — решить свою участь на всю жизнь, избрать специальность. Как мало и поверхностно думает об этом наш брат, это я могу судить по своим товарищам; но ведь подобное решение — решение слишком важное, оно может испортить всю жизнь. Ведь нужно слишком много ума и природной проницательности, чтобы взвесить свои силы, оценить их, угадать их назначение — одним словом, решить, куда и на что способен человек.

Одни при решении своей будущей карьеры главным образом обращают внимание на деньги, другие на общественное положение, третьи на примеры товарищей и знакомых и т. п. Но все это не так, как бы должно быть. Чтобы быть похожим на человека, нужно отыскать свое место, которое более всего способно удовлетворить мои наклонности, но как и где мне его найти? Этот вопрос для меня — неотступный вопрос; день и ночь, всякая свободная минута тратится на его решение, и тратится бесполезно, тратится мучительно, потому что вопрос все остается вопросом, вопросом еще более неотступным и навязчивым. Станешь себя разбирать со стороны физической — результат выходит неудовлетворительный; с умственной — тоже; с нравственной — и с той не лучше. Да на чем же, наконец, успокоиться? Где решение, ведь должно же оно быть? Ничуть не бывало, остаешься попрежнему, с чем был. Не будь в нас, семинаристах, какой-то надежды на будущее, какой-то безотчетной почти смелости, просто пропадай ты в этом случае, как курица.

Не все еще мы потеряли, много еще у нас осталось — это энергия.

Больше писать о себе нечего, — все обстоит благополучно.

Брюки, если не будет случая получить их из Висима, сошью здесь. Недавно купил французский словарь Рейфа, который стоит $2^1/_2$ р. В Екатеринбурге за антирелигиозные мысли исключили из 6 класса гимназии 7 человек без права поступления в другие учебные заведения, — подобные глупости только и возможны у нас, глупо и досадно. За месяц февраль у меня вышло недоимок 3 р. серебром, которые издержаны на словарь, потому прошу у вас денег на март за квартиру и на погашение долга — 3 р. серебром. Вчера был большой пожар. Кланяйтесь знакомым; Коле скажите, что я ему больше писать не буду, так как он сам мне еще ничего не написал.

Марье Бобровской большой поклон. Видел Мишу Гаряева, который исключается из духовного звания и едет служить в Тагил.

Вышли новые постановления обер-прокурора относительно семинарий, — ничего, нам на руку, потому что все больше за нас, а не против.

Остаюсь здоров

Ваш *Дмитрий.*

29 февраля 72 г.
г. Пермь.

P. S. Вы не думайте, чтобы мы возлагали свои надежды на что-нибудь другое, кроме себя самих; и потому не думайте, что мы ничего не делаем или делаем мало, — нет, будьте уверены, что нет: все, что зависит от меня, все, что в силах сделать для поступления в университет, постараюсь сделать, делаю и буду делать. Наша сила — труд; наш капитал — энергия. Еще одно слово: погодите торопиться переезжать из Висима, авось как-нибудь делишки обделаем, а то, пожалуй, как раз из кулька в рогожку можно перевернуться; ведь есть места хуже Висима, да и в хороших-то местах, может быть, жизнь хуже, чем в нем: большой приход, квартира, прихожане, служба и т. п.

4
Н. М. МАМИНУ

Августа 21 числа, 1875 [Петербург].

Ваши письма, папа, от 14 июля и 2 августа я получил, наконец, — говорю: наконец, потому что не получал от Вас писем почти целый месяц.

Начну с того, что волею судеб я остался на ветеринарном отделении, так как по недавно вышедшим правилам более трех лет на первых двух курсах оставаться нельзя, хотя эти правила не существовали еще в прошлом году. Итак, мне даже не привелось сдавать поверочного экзамена по одному латинскому языку... Но вся эта история мне надоела донельзя, а потому и говорить о ней я больше не намерен, а скажу несколько слов о том, что я буду делать с своей головой.

Через два года я кончу ветеринарию, буду иметь за плечами верное ремесло, а в руках диплом кончившего курс в высшем учебном заведении. Ремесло даст мне верный кусок хлеба, диплом откроет возможность *делать карьеру*. Относительно последней я думаю так: на ветеринарном отделении я кончу, но ветеринаром не буду, а буду продолжать далее свое образование, смотря по обстоятельствам, где приведется. Весь вопрос в конце концов сводится на материальное обеспечение, которое откроет двери везде. Поступать в настоящую минуту на медицинское отделение для меня было по меньшей мере великой глупостью, потому что связываться с стипендией я не хочу, а служить двум господам нельзя: то есть кормить свою голову и учиться. Что касается казенных хлебов, — почему я их избегаю, то достаточно указать на Владимира Тимофеевича и тому подобных горемык, испортивших свою жизнь благодаря этим казенным хлебам, потому что не успели они высунуть нос из академии, встать на ноги да пооперится, а их и прихлопнули, да так, что в другой раз и не подняться.

Говорить вперед, сулить горы золота мне не хочется, а скажу о том, что есть, чтобы Вы могли хотя

отчасти судить о некоторых возможностях, существующих вне всяких специальностей и выпадающих, повидимому, только на долю особенных счастливцев, которым судьба всю жизнь покровительствует.

Как вам известно, я не принадлежу к разряду счастливых, потому что небо моего счастья часто заволакивается густыми тучами; но, с другой стороны, я и не несчастный человек, потому что мне многое удается такое, что и счастливцам в добрый час. Значит, особенно бога гневить и не за что, я и не гневлю, а благодарю, хотя и не за все... Словом, нет худа без добра, а добра без худа, говорит пословица, и говорит как раз про меня, не в бровь, а прямо в глаз.

Мои несчастья Вы знаете, папа, и потому распространяться о них нечего, но о моем счастье скажу несколько слов. Начну с того, что хотя плохо, но всетаки я стою на своих ногах, а это для меня первое и самое главное пока. Далее, кроме стоянья на своих ногах, под чем я разумею существование трудами рук своих, я имел случай вкусить кой-каких других благ, но о последнем пока нужно помолчать, до поры, до времени разбалтываться нехорошо.

Итак, отбросив в сторону некоторые неприятности и рассудив, что оные неприятности ни на вершок не убавят меня, я, положа руку на сердце, благодарю свою судьбу за очень многое...

Из всего сказанного Вы, может быть, и не вынесете того, что я сам желал бы, но тем не менее, надеюсь, что через некоторое время самим делом буду иметь случай доказать свои слова.

Теперь поговоримте, папа, о Ваших делах.

Карьера Володи пока определилась в хорошую сторону, остается позаботиться хорошенько о Лизе. С своей стороны, принимая во внимание Ваши соображения относительно Казани и Екатеринбурга, я для Лизы стою за Екатеринбург, потому что ученье одно и то же, а Екатеринбург под руками. Что касается средств, то, вероятно, об этом придется позаботиться Лизину крестному, который хотя и делает большие промахи в своих расчетах и планах будущего, но не

всегда. Теперь же, до осуществления моих ожиданий и планов, для Лизы должны на первом плане стоять живые языки, которые ей всегда пригодятся и везде.

Ваши сожаления, папа, о том, что приходится так долго служить в гиблом Висимишке, имеют свое основание и свою слабую сторону, то и другое Вы знаете, а потому и говорить об этом много не приходится. Скажу только, что не только жизнь более или менее бойких пунктов, но даже и самых столиц держится на таких основаниях, о которых остается пожалеть от всей души и попросить господа бога, чтобы он не посылал их никогда на Висим.

Издали, конечно, интересно смотреть, как шумит и хлопочет вечно суетящаяся разношерстная толпа наших городов, но вмешиваться в эту толпу не стоит, потому что единственный двигатель здесь деньги, деньги и деньги, и неприхотливое сероватое лоно родной провинции покажется в десять раз лучше. Конечно, все это говорится про незлобивых сердцем и чистых, как голуби; повесть о волках, приходящих в мир в овечьей шкуре, повесть о хитрых, как змеи, наводняющих нашу землю, совсем в другом тоне: они — жители теперешних городов, сделавшихся каждый в своем роде Вавилоном в той или другой степени. Итак, папа, не жалейте, что живете в Висиме: меньше грехов, а Володя и Лиза, если захотят, в свое время будут и в Питере и дальше, лишь стало бы охоты.

Таков мой личный взгляд, хотя сам я пока и не желал бы закупориться в провинции, потому что мне еще нужно потолкаться между людьми да поучиться уму-разуму...

Передайте мои поклоны моим знакомым. Передайте Косте, чтобы он написал мне длинное письмо, время теперь у него есть свободное.

Билеты Ваши застрахую и вышлю квитанцию, также и книги Лизе.

Погода все лето стояла у нас хорошая, хотя особенно сильных жаров и не было. В город думаем перебраться с дачи в первых числах сентября. Будете

мне писать, не забудьте переслать поклон моей хозяйке, Настасье Ивановне, которой я много обязан.

Остаюсь здоров

Ваш *Дмитрий.*

Парголово.

Теперь поговоримте, папа, о делах.

Живя так долго в Висиме, Вы, папа, отлично знакомы с настоящим края и его прошедшим. Мне для некоторых целей крайне необходимо знание этого настоящего и прошлого, хотя и я кой-что знаю о них. Я был бы очень обязан Вам, папа, если бы Вы взяли на себя труд сделать три вещи: *кой-что припомнить, кой-что порасспросить и кой-что прочитать.*

Припомнить Вы можете вот что: чрез ваши руки проходили и проходят интереснейшие факты из раскольничьей жизни: жизнь в скитах, сводные браки, взгляды на семейную и общественную жизнь со стороны раскольников, их предания, суеверия, приметы, заговоры, стихи, правила и т. п. Все это мне крайне интересно знать, и Вы бы, папа, хорошо сделали так: подобрали бы к стороне те документы, которые перешли к Вам из раскольничьих рук, и занесли некоторые факты на бумагу, которые Вам известны. Я говорю о фактах и цифрах, которые обрисовывали бы как прошлое, так и настоящее раскольников на Урале. Для этой же цели Вы, папа, могли бы достать много интересных выдержек из заводского архива.

Далее, еще более интересно следующее: это собрать те сведения о доме Демидовых, которые лежат в конторских бумагах или ходят по рукам в виде рассказов и воспоминаний. Особенно важно здесь постоянно иметь в виду резкую разницу, отделяющую энергичных, деятельных представителей первых основателей дома Демидовых и распущенность последних его членов. Здесь интересны два ряда фактов, характеризующих, с одной стороны, энергию первых Демидовых и распущенность и самодурство последних. У Вас, папа, есть книжка о доме Демидовых, хорошо было бы, если Вы на полях ставили цифры и делали к известным лицам собранные примечания. Так я, например, помню,

что жил один Демидов на одном острове Черноисточинского пруда, далее, как он неутомимо основывал один завод за другим, разыскивал руды и проч. Далее, интересно, например, знать подробности таких фактов, как приезды Авроры Карловны на заводы; безумное мотовство и проч.

Кстати, Вы не пройдете мимо интересных фактов, характеризующих жизнь фабричных, рудниковых, беглых, знаменитых разбойников.

Словом, всякий факт, резко выдающийся из ряда других, как характеризующий прошлое и настоящее Урала в низших и высших слоях его населения, будет мне крайне интересен.

Рассказы о Ермаке, Пугачеве, Малороссии и проч.— все это крайне интересно знать. *Также факты встречи малороссов с раскольниками на Урале и первые шаги их взаимной жизни.*

Все это мне крайне интересно и *необходимо знать,* особенно же о Демидовых, о которых Вы, папа, можете собрать много сведений от старых служащих.

5

Н. М. МАМИНУ

[31 декабря 1875 г. Петербург.]

Пишу Вам, папа, накануне нового года и в последний день старого. Обыкновенно в этот день подводятся итоги за целый прошедший год, что и кому он принес. Перенося на себя, я могу сказать, что 75-й год хотя и не сделал многого, чего я ждал от него, но и начало дела велико, а начало положено: я попытал счастья по части беллетристики, рассказов, и могу сказать, что на моей стороне такой выигрыш, какого я не ожидал. Прежде всего и, главным образом, мне и Вам интересны те 200 р., которые я получил за свои произведения (?!), а потом и та уверенность, что я могу писать в этом направлении не хуже других.

Если я упоминаю о моих рассказах, так только потому, что за них получил деньги; что же касается дру-

гой стороны дела, именно, успеха, то это я меньше всего ожидал, да и не рассчитывал, потому что такой успех и на такой почве считаю не особенно лестным. Деньги, деньги и деньги... вот единственный двигатель моей настоящей литературной пачкотни, и она не имеет ничего общего с теми литературными занятиями, о которых я мечтаю и для которых еще необходимо много учиться, а для того, чтобы учиться, нужны деньги. Вам не понравится, папа, это откровенное признание за деньгами такой важности, но если приходится вырывать у судьбы чуть не каждый грош почти зубом, то эта сила денег делается совершенно очевидной.

Говоря о деньгах, я не имею в виду чего-нибудь другого, кроме самого необходимого, — когда последнее будет, тогда и вопрос о деньгах потеряет свою грозность и отступит на задний план. Будем терпеливо ожидать этого времени и будем надеяться, что мы его возьмем своими руками, именно так, как это нам хочется, а остальное все приложится само собой.

Итак, наступающий 76-й год, может быть, скажет свое слово, а может быть, пройдет по той же дороге, как и 75-й, во всяком случае никаких розовых ожиданий вперед не возлагаю, а жду того, что ближе и что под рукою.

Но я уже слишком много распространяюсь о себе в каждом письме, а поэтому делаюсь, вероятно, скучным и даже смешным в Ваших глазах, а посему — о себе довольно говорить.

Пожелаю Вам на новый год прежде всего здоровья, затем душевного спокойствия и исполнения тех надежд, которые Вы возлагаете на наступающий год. В частности, нужно пожелать успеха Лизе, а Володя, кажется, крепкой ногой встал на новую почву, и ему остается пожелать покрепче держаться на ней.

Передайте мои поклоны моим знакомым.

Остаюсь здоров

Ваш *Дмитрий.*

1875 г. Декабря [3] 1 числа,
Петербург.

6

НЕИЗВЕСТНОМУ РЕДАКТОРУ

[21 апреля 1876 г. Петербург.]

Милостивый государь!

16 апреля мной была передана в контору вашей многоуважаемой редакции рукопись «Виноватые». Эта рукопись представляет половину всего труда, и я осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой, нельзя ли просмотреть эту рукопись поскорее, потому что в непродолжительном времени мне приходится оставить Петербург. Вторая половина рукописи будет представлена в самом непродолжительном времени, , причем беру на себя смелость обратить Ваше внимание на то, г. Редактор, что как сюжет «Виноватых», так в особенности его подробности отличаются особенной оригинальностью как отдельных характеров действующих лиц, так и всей обстановки и бытовых особенностей той местности и того времени, во время которого происходит действие рассказа.

Дмитрий Мамин.

1876 г. Апреля 21.

7

А. С. МАМИНОЙ

[6 октября 1881 г. Москва.]

Милая и дорогая моя мама,

Приехав в Москву, я получил письмо от тебя, в котором ты пишешь, что Николай исчез и у Володи один Андреевский урок. Твое письмо совпало с моей неудачной поездкой в Петербург и поэтому очень огорчило, — именно, мне было жаль тебя, моя милая, дорогая мама... Теперь спешу тебя обрадовать: я уже писал тебе из Петербурга, что мой большой рассказ принят в «Слово» и будет печататься в будущем году. Мне дорого то, что он принят, и я смело могу работать дальше. Сегодня, сейчас, другая радость, от которой у меня руки трясутся: я, как приехал в Москву, начал

описывать свое путешествие в виде отдельных писем и первое письмо передал в «Русские ведомости»; прошло около трех недель, и я думал, что его не напечатают, хотел идти сейчас брать рукопись назад, но развертываю сегодняшний номер, и — о, радость! — мое письмо напечатано все целиком, то есть напечатано больше 9 000 строчек, что составит больше 27 р. Всех писем будет больше, чем на 100 р. Вот, милая и дорогая моя мама, мой первый успех, которого я не мог бы достичь, сидя в Екатеринбурге. Мне дороги не деньги — хорошее начало после вынесенных мной испытаний укрепляет мой неунывающий дух. Письмо мое напечатано в фельетоне 269 №, можешь его прочитать, только не смущайся его резким тоном, — это мое достоинство и вместе недостаток. Моя цель — самая честная: бросить искру света в окружающую тьму, окружающую языцы. От радости я заврался и начал писать высоким слогом, но, милая моя мама, я слишком много пережил за эти немногие недели мыслью не о своем будущем, а о вашем... Дорогие мои, мне, то есть нам, немного нужно, и мы с голоду не умрем, — меня заботила ваша участь. С божией помощью, отсюда, то есть из Москвы, я, может быть, буду иметь возможность лучше помогать вам, чем живя в Екатеринбурге. Напечатанное письмо я писал два дня по 6 часов в день и получу почти 30 р.

Будьте здоровы, тверды душой и живите в мире. Целую вас всех. Жалею, что Володя и Лиза ничего мне не пишут.

Ваш *Дмитрий.*

1881 г. октября 6.
Москва.

8

А. С. МАМИНОЙ

26 февраля 1882 г. [Москва].

Милая и дорогая моя мама,

Я уже писал тебе, что мой рассказ «Старатели» принят в «Русской мысли». Вчера, то есть 25 февраля, приходим из кухмистерской домой и находим письмо

Скабичевского, который пишет, что мой очерк под названием «На рубеже Азии» уже набирается в типографии для мартовской книжки «Устоев». Не прошло и двух часов, как получаю заказное письмо из редакции «Дело», которая извещает меня, что мои два рассказа «Все мы хлеб едим...» и «В камнях» приняты и мне назначена редакцией плата по 80 рублей за печатный лист в надежде, что я пришлю еще рассказов; второй рассказ «В камнях» будет напечатан в мартовской книжке «Дела».

Милая мама, ты можешь себе представить мою радость. Десять лет самого настойчивого и упорного труда начинают освещаться первыми лучами успеха, который дорог именно в настоящую минуту по многим причинам. Целый вечер я провел, как в лихорадке, и едва в состоянии был заснуть. Мы долго и много говорили с Марьей Якимовной и жалели только об одном, что нет бедного папы, который порадовался бы нашей общей радостью... Всякая моя радость отравлена отсутствием горячо любимого человека, единственного отца, которому мы всем обязаны, начиная с воспитания, и особенно тем, что это была глубоко честная, гуманная и любящая душа... Я редко говорю о папе, но постоянно думаю о нем, и его образ всегда живым стоит пред моими глазами и навсегда останется лучшим примером для всех нас. Бедный папа так любил всех бедных, несчастных и обделенных судьбой; папа так хорошо, таким чистым сердцем любил науку и людей науки; папа так понимал человеческую душу даже в ее заблуждениях; наконец, папа так был чист и незлобив душой и совершенно чужд стяжательных инстинктов и привычек к ненужной глупой роскоши... Милый, тысячу раз дорогой папа, которому мы обязаны всеми нашими успехами, всегда будет с нами, как наше лучшее, самое дорогое, что только может дать жизнь. Но одних слов, мама, еще недостаточно: будем делом любить так же людей, как любил папа, понимать их страдания и оставаться чуждыми роскоши, этой язвы, которая губит без возврата лучшие силы.

Конечно, мама, есть вещи, с которыми, может быть, и не согласился бы папа, но во всех наших делах и словах мы руководимся собственными убеждениями: мое благоговейное отношение к памяти папы, вся моя любовь к нему никогда не в состоянии изменить того, в чем мы расходимся с ним. Папа относительно некоторых вопросов разделял заблуждения своего времени и непонимание кое-чего многих других очень честных и хороших людей, — в этом не их вина, потому что они платили только дань своему веку, то есть, освободившись от многих предрассудков, не имели сил взглянуть на некоторые вещи настоящими глазами. Повторяю, мама, я не желаю последними словами хоть малейшим намеком оскорбить память папы, а хочу сказать только то, что тебе уже давно известно.

Да, сколько раз еще придется жалеть о том, что нет уже с нами нашего папы, жалеть дотоле, пока мы сами не отойдем в вечность. Мир его праху, нашего дорогого милого папы! Будем жить так, как велит нам наша совесть, наш долг, наша любовь к людям и самое горячее сочувствие к человеческим страданиям.

Итак, милая дорогая мама, с марта я выступлю разом в двух толстых журналах, вероятно, по пословице — не было ни гроша, да вдруг алтын. Моя тяжелая артиллерия пошла в ход, и теперь у меня на текущем счету переваливает за полторы тысячи рублей, но это не суть важное дело, ибо деньги — пустяки, владеющие нами по нашей человеческой слабости, — дело, мама, в работе, в хорошей честной работе, которая должна приносить пользу... Это моя заветная золотая мечта.

В резервах у меня стоит громадный роман, который двинется в поход еще не скоро, да до десятка больших и малых рассказов, которые отчасти лежат в моих старых рукописях, отчасти еще в голове.

При настоящем письме денег не посылаю, потому что еще не получил, — на днях получу и пошлю. Пожалуйста, мама, корми ребятишек молоком и мясом, сколько захотят, и не давай чаев, ибо последнее зловредно. Относительно средств ты теперь можешь быть совершенно спокойна, как спокоен, например, я, когда

пишу эти строки. Теперь я буду зарабатывать по 80 р. в день, хотя и не в каждый.

Хорошо помню, как я приехал в Москву с одними надеждами в карманах и с благочестивым желанием честно трудиться, — всего прошло каких-нибудь пол-года, и декорации переменились, и даже редакция «Дела» выражает скромную надежду иметь меня своим сотрудником и далее. Да, глупая штука счастье: то не имеешь лишнего двугривенного на обед, то валятся сотни рублей.

Передай мой поклон Николаю Николаевичу, Елене Николаевне, Александре Ивановне. Кланяется Марья Якимовна.

Воображаю себе гордость моего брата Николая, который, вероятно, ближе всех примет к сердцу мои успехи и прочитает с таким вкусом мои первые статьи в толстых журналах, как никто другой. Володе и Лизе желаю больше всего здоровья. Целую вас всех.

Ваш *Д. Мамин.*

1882 г. 26 февраля.
Москва.

Марья Якимовна кланяется Володе, Лизе и Николаю. Мое сердцебиение проходит помаленьку.

9

А. С. МАМИНОЙ

[24 апреля 1882 г. Москва.]

Милая мама,

Ты так неравнодушна к литературной критике, поэтому советую тебе прочитать фельетон в «Голосе» от 15 апреля, в нем, между прочим, упоминается о моей первой статье, напечатанной в толстом журнале, именно, о «В камнях». На первый раз погладили по головке, но это еще и не велика честь, да и не за что, собственно говоря. Критик «Голоса» сам-то по части русской грамоты плетется, как слепой подле огорода...

А все-таки для первого раза нам было *не неприятно* прочитать благоприятный отзыв о нашей недостойности: так уж, видно, устроен белый свет и тем он держится, что все любим, когда нам пятки почешут, сиречь воскурят нашему тщеславию...

Последнее время все думаю о тех 200 р., которые у тебя просил, думаю потому, что это, то есть мое прошение, может тебя встревожить, тогда как дело тут проще пареной репы, о чем я уже и писал тебе. Надеялся, что к 25 апреля успею все-таки получить деньги и телеграммой известить тебя, чтобы не высылала мне этих 200 р., но сегодня уже 24 апреля, а я все еще ничего не знаю. В «Деле» моя статья в апрельской книжке не напечатана, значит, пойдет в одной из следующих книжек, а «Устои» замерзли в марте и выйдут за два месяца зараз. Это черт знает что такое... Рассказ, который должен появиться в «Устоях», послан мной в прошлом году в «Слово», там его приняли, и сейчас же «Слово» прикрылось, ждал-ждал целый год «Устоев», назначили выпустить в мартовской книжке, и ее арестовали... Просто скандал в благородном семействе!

Володя пишет, что не рассчитывает на медаль, — и не следует, ибо это одно тщеславие, и второе ибо, что жить не с медалью, а с добрыми людьми... Плевать! Я даже совсем не желаю медали; конечно, если дадут, тогда придется взять, но это только печальная необходимость, а все дело в аттестате зрелости.

Сегодня Лизунькины именины, поздравляю и поздравляю, извини за пальто (осенью за́то будет новое) и будь здрава.

Коли бедна ты —
Так будь ты умна... —

говорит у Некрасова дядюшка Яков.

Брату моему Николаю большое спасибо за его письма: оные доставляют нам большое удовольствие. Статью из «Екатеринбургской недели» я получил, но ее не стоило списывать, ибо это к нам не относится.

Номера с моим фельетоном «От Урала до Москвы» не высылаю потому, что у меня их всего один экземпляр, боюсь, чтобы на почте не потеряли, а когда при-

везу, тогда и прочитаете. Через месяц увидимся. О моем здоровье не беспокойтесь, — хотя и не совсем еще поправился, но здоров. Желудок не скоро поправишь, ибо он зело капризен. Поклон Николаю Николаевичу и сродникам. Марья Якимовна кланяется.

Ваш *Дмитрий.*

Москва,
24 апр. 1882.

У нас настоящее лето и деревья распускаются.

10

М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

[28 июня 1882 г. Екатеринбург.]

Милостивый государь г. Редактор!

Отвечаю на письмо редакции «Вестника Европы», которая извещает меня, что затрудняется поместить мой рассказ «Нимфу» на страницах своего журнала. Это решение редакции мотивируется тем, что мой рассказ написан «в новейшем вкусе» Золя и что самое название рассказа «Нимфа» уже говорит само за себя, так как в переводе обозначает очень некрасивую вещь.

Конечно, «силой милому не быть», но беру на себя смелость сказать редакции, во-первых, то, что в моем рассказе, право, ни старых, ни новых вкусов какого-то ни было писателя не проводилось, а описывалась действительность захолустного русского города. Не вина автора, что люди под всеми широтами и долготами остаются людьми. Что касается названия рассказа, которое особенно смутило редакцию, то ведь его можно изменить, тем более что «нимфа» является в фабуле рассказа только вводным лицом, как химический реактив. Описывалась архиерейская певческая, и по своему сюжету мой рассказ может назваться иначе.

Жалею, что мне уже второй раз приходится брать статью из «Вестника Европы». Два года тому назад я посылал рассказ «Старатели», который, к моему сожа-

лению, не удовлетворил требованиям редакции «Вестника Европы» и нынешней осенью будет напечатан в «Русской мысли». С этой почтой посылаю в редакцию два рассказа: «В худых душах...» и «Сорочья похлебка». Не знаю, насколько удачна будет эта моя третья попытка...

В заключение мне остается попросить уважаемую редакцию «Вестника Европы», если только она найдет это для себя удобным, передать мой рассказ «Нимфа» в редакцию «Отечественных записок».

Позвольте, г. Редактор, остаться в том убеждении, что нас разделяет одно из тех материальных недоразумений, из которых выплетается ткань жизни и мешает людям понимать друг друга.

Готовый к услугам

Дм. Мамин.

Мой адрес: Екатеринбург, Офицерская ул., д. Черепанова, Дмитрию Наркисовичу Мамину.

1882 г. июня 28.
Екатеринбург.

11

В. Н. МАМИНУ

22 декабря 1882 г. Екатеринбург.

Милый Володик, сего 22 декабря в первый раз прочел в № 49 «Огонька» объявление «Дела» на 1883 г., где в первую голову стоит: *«Приваловские миллионы»,* большой роман из жизни сибирских золотопромышленников Д. Сибиряка. Понимаешь: мой роман, значит, принят (ответа редакции до сих пор не получал: или потерялось на почте, или милая небрежность редакции), и я имею получить около 3 000 руб. Это нам года на два хватит, и ты можешь быть спокоен за свою финансовую участь: деньги — сила, а право на труд — еще большая сила. Итак, я ликую, а вперед — увидим, что будет. Мое здоровье почти совсем поправилось; Марья Якимовна кланяется тебе.

Твой брат *Дмитрий.*

24 декабря.

Завтра рождество — великий семейный и в особенности детский праздник, который особенно тяжело проводить вдали от родины, поэтому мы особенно часто вспоминаем тебя и жалеем о твоем одиночестве. Что делать — на людях и смерть красна, потерпи, как терпят тысячи других студентов. Это рождество для меня лично является праздником праздников, потому что труд десяти лет принят и принесет плод; мы гонимся не за большим: не честь, не имя, не известность нам нужны, а частица презренного металла, которая спасла бы нас от голода и холода и дала возможность поработать спокойно года два, не думая о завтрашнем дне. Ведь целых два года, Володя, — это я называю счастьем, о котором мечтал целых пятнадцать лет. Ты можешь давить свою науку с спокойной совестью за завтрашний день, а я буду давить законы и для отдыха пописывать кое-что из приготовленных статей. Я так счастлив, что и высказать тебе не умею, и если о чем думаю, так о тех бедных и несчастных, которые придавлены бедностью и для которых праздник является лишней тяжестью, иронией и насмешкой судьбы. Вот наша знакомая, Александра Ивановна, как бедствует: со старой квартиры ее выдворили через нотариуса, наняла за 19 р. новую в Колоб. ул., квартирантов нет, денег нет, а пить-есть нужно... Что с ними будет — и подумать страшно! Конечно, заботиться о деньгах — буржуазно, но без денег совсем скверно...

Ты жалуешься на свою квартиру, между тем есть мебелированные комнаты напротив Румянцевского музея, из дверей в двери, и в Молчановке (около Поварской), где за 15—17 р. в месяц отдают студентам премиленькие комнатки. Это и ближе и удобнее Кокоревских номеров, и советую тебе посмотреть эти мебелированные комнаты.

Екатеринбург, который так возлюбила душа твоя, стоит на старом месте и особенных новостей к празднику не приготовил.

Мама не пишет тебе потому, что завалена работой; вчера Лиза сама мыла полы вместе с мамой и стирали

белье, ибо прачки и поломойки не могли найти. В театре я не бывал осенью и не знаю, когда буду; вообще из удовольствий допускаю одно: покурить папиросочку (четверка табаку — 15 к.). И все-таки я глубоко счастлив, особенно за тебя, а то эти маленькие посылки тебе денег для нас составляли крупную задачу, а теперь, когда начнут печатать роман, дело будет пустяковое: только учись, а там и стипендию получишь.

Поздравляю тебя с новым 1883 г., который желаю встретить и проводить счастливее прошлого 1882 г.

Все тебе кланяются.

Твой брат *Дмитрий.*

В № «Русских ведомостей» от 14 декабря напечатано мое Колченоговское дело, получай из редакции 8 р.; я писал в редакцию, чтобы тебе выдавали следующий мой гонорар.

Сейчас Никола получил письмо Николая Игнатьевича; благодарим его за поклоны, передай ему наш общий привет.

На Москву ты напрасно жалуешься; ты все пишешь о чуйках, а ничего об университете и своих занятиях, тогда как ты поехал в Москву учиться, а не рассматривать людей, которые тебе не нравятся.

Мама посылает тебе на всякий случай 10 р., сходи в театр, побалуйся сладким, но избегай горького.

12

В. Н. МАМИНУ

30 декабря 1882 г. Екатеринбург.

Володька... ликуй!!. Сейчас только получил письмо от *самого* Салтыкова о том, что мой очерк «Золотуха» «охотно» принят редакцией «Отечественных записок» и будет помещен в одной из ближайших книжек, с платой гонорара по 100 р. за печатный лист... Ликовствуй, прыгай и веселись!!. Я большего никогда не

желал и не желаю... Можешь быть совершенно спокоен за свою финансовую судьбу, только знай учись...

Из редакции «Русских ведомостей» можешь получить за мою корреспонденцию о Колченоговском деле (№ 342), придется рублей 8, да еще справься там же, будут ли помещены мои статьи: «Сторона добрых нравов» и «Уральские дельцы». Последняя — описание 2-го съезда уральских горнозаводчиков — имеет особенную важность, ибо вытянет рублев на 40... Тебе будет пока.

Ну, будь, мой милый, здоров и благоразумен на новый наступающий год. Все тебя поздравляют. Марья Якимовна кланяется тебе и тоже поздравляет. Если получишь из редакции деньги, пожалуйста, добудь записки Ключевского за 1883-й г.

Твой брат *Дмитрий.*

P. S.

Прилагаю письмо в «Детский отдых», только едва ли по нему скоро получишь, ибо когда еще напечатают статью. Только, пожалуйста, не подписывай мою статью «Д. Сибиряк» или моей полной фамилией, а просто: Петров, Сидоров — как угодно.

13

В. Н. МАМИНУ

6 марта 1883 г. Екатеринбург.

Неделю назад я писал тебе, что пишу в последний раз. Но сегодня мама получила «Ниву», и поэтому спешу переменить гнев на милость. Извини за резкий тон последнего письма: это с нами иногда случается, и за сие мы обыкновенно платимся... Без сомнения, я виноват, но и [ты] тоже хорош... своим красноречивым молчанием.

Сегодня 6 марта, ergo тебе остается прожить в ненавистной для тебя Москве всего два месяца, да и те промелькнут, яко сонное видение. Уверен, что ты серьезно готовишься к экзаменам, чтобы загладить предшествовавшую измену истории, оправдать свою золотую медаль и земскую стипендию. Думаю, что универ-

ситетские экзамены не представят для тебя особенных затруднений.

Мой печатающийся в «Деле» роман «Приваловские миллионы» встречен критикой холодно, и, думаю, ему не будет теплее и на конце. Впрочем, я и не рассчитывал на успех этого романа у рецензентов, как на незаслуженные похвалы моим маленьким рассказам. И то и другое одинаково несправедливо, и мне плевать на критику, которая ничего не смыслит.

Февраль для меня был сюрпризом: кроме романа и «Старателей» в «Русской мысли», напечатан в «Отечественных записках» мой очерк «Золотуха» и, кроме того, сюрпризом помещена в «Деле» же первая половина моей повести «Максим Бенелявдов». В августе этого года, когда еще не был написан и принят роман, редакция «Дела», принимая «Максима Бенелявдова», оговорилась, что, за обилием материалов, может напечатать мою повесть не ранее мая 83 г., а в случае принятия романа — повесть пойдет в 84-м году. А между тем пустили в феврале, рядом с романом, хотя и скрыли мой псевдоним под сокращенной моей фамилией: «М-н». Итак, видишь, как человеки мира сего склонны к обману и самообману, и посему доверять им или, другими словами, класть пальца в рот не следует. Для меня лично такая перемена в мыслях редакции «Дела» очень выгодна, ибо я раньше получу деньги за повесть, а 400 р. — не лишние при нашем бюджете. За февральскую книжку «Дело» я получил 542 р., сумма неслыханная в нашей семейной хронике; эти почтенные цифры повергли Николу даже в уныние, и он обругал меня «деревянным чертом».

Все здоровы, будь и ты здоров и лепись на гору мудрости.

Николаю Игнатьичу мой поклон.

Твой брат *Дмитрий.*

Ходил или нет к Лаврову с моим письмом?

Может быть, придется побывать в Москве в начале мая, если Марья Якимовна поедет за Олей.

Если нуждаешься в деньгах — пиши, хотя мы уверены, что ты не должен нуждаться.

14
В. Н. МАМИНУ

30 октября 1883 г. Екатеринбург.

Сегодня, наконец, получил, Володя, твое второе письмо из Москвы, а то мы, по своему обыкновению, начинали серьезно считать тебя погибшим, а Александра Ивановна даже видела приличный такому настроению сон... От печального до смешного всего несколько вершков!..

Сначала о деле: свидетельство о бедности выдается консисторией раз, — по крайней мере так было в наше время, потому что у тебя не может появиться второго отца и т. д. Объясни это инспектору, а также и те трудности и расходы, с какими сопряжено ежегодное добывание такового свидетельства из консистории. Ну, конечно, если нельзя, тогда, по хохлацкой пословице, «скачи, враже, як пан каже»... то есть в переводе: добывай свидетельство из консистории, а я с своей стороны напишу «свату» Бельтюкову в Пермь.

Письма твоего мы ждали с особенным нетерпением целую неделю, а сегодня вместе с твоим я получил письмо от Салтыкова. Пишет, что ему *весьма понравилась* первая часть моего большого очерка «Горное гнездо» и что он ждет с нетерпением продолжения. Конец этой статьи послан мной 20 октября. Я рассчитывал, что Салтыков прямо начнет печатать с октября, но он пишет, что статья велика, — до 15 печатных листов, — в этом году не упечатается, а поэтому предполагает начать печатание ее с января 84 года. И то добре, — как говаривал папа. В постскриптуме дедушка Евграфыч прибавляет: «Позвольте один нескромный вопрос о Вашем возрасте и социальном положении. Впрочем, ежели Вы найдете ненужным отвечать, то не стесняйтесь». Ну, натурально, у меня целый день рот до ушей, и я сейчас же написал свое curriculum vitae [1], которое Марья Якимовна уничтожала два раза и нашла сносным только в третий раз. Меня лично

---

[1] жизнеописание, *(лат.)*

письмо дедушки Евграфыча интересует больше с той стороны, которой оно касается «грошей»...

Теперь пишу большой рассказ для «Вестника Европы», под названием «Жилка», то есть самородок.

Мама здорова, Лиза тоже, Никола пропился и теперь гол, как Иов в дни своего несчастия. Марья Якимовна кланяется тебе и остается в ожидании твоего письма, которое надеется получить... к весне. Передаю ее собственные слова. Музыкальные вечера с «дядюшкой» у нас были только два раза после тебя, и то очень скучно, поелику не хватает нот. В театре еще не были ни разу.

Мои поручения: узнай имя и отчество Лаврова, только не от репортера, а лучше прямо из редакции «Русской мысли»; возьми из «Детского отдыха» мою статью «Наши инородцы»; узнай, какие и где существуют премии на беллетристику.

Будь же здоров душой, телом и мыслью.

Мой поклон Колюте и Васе Знаменскому.

Костя Большаков пошел отлично, так что я за него постоянно радуюсь. Волянскому за три часа занятий — с 9 часов утра до 12 — назначено 40 р. в месяц. Кроме того, я отрекомендовал его к Андреевым, которые просили меня подыскать им репетитора для Пети.

Прощай.

Твой брат *Дмитрий.*

15

В. Н. МАМИНУ

3 марта 1884 г. Екатеринбург.

На твое длинное литературно-критическое письмо, Володя, мне приходится отвечать только теперь, потому что раньше решительно было некогда, — кончил целых три статьи и, кроме того, каждый месяц приходится писать письма десятками. Если тебе трудно написать в месяц три-четыре письма, то можешь представить себе тот гигантский труд, когда приходится писать десятки таких писем...

Ну-с, переходим к делу.

В твоем громадном письме, «отрыгнутом» от чистого сердца, меня приятно порадовало главным образом твое серьезное отношение к литературе, хотя с твоими выводами в некоторых случаях я и не могу согласиться. Замечу еще в скобках одну особенность твоего рукописания — это авторитетность... Конечно, всякая юность самонадеянна, а юность мысли в особенности; но все-таки, хотя Александр Македонский и был великий герой, но зачем же литературные стулья ломать? Это между прочим, в виде вступления, а теперь обратимся к пунктам, именно, весь твой крестовый поход против «новых беллетристов»— одна из тех несправедливостей, которые делаются только в юности. Мы, русские, можем справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов и т. д. Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется. Важно то, что ни в одной европейской литературе ты не найдешь ничего подобного, например, «Власти земли» Успенского. Что вся эта школа слишком серьезно взялась за изучение народа и не хочет преклониться перед порнографически-эстетическими требованиями публики — в этом я полагаю особенную их заслугу. Ты метко выразился, хотя и чужой фразой, что народники «ввели мужика в салон», — совершенно верно и паки верно: время салонной эстетики миновало, да и салонные беллетристы тоже. Салоны теперь являются только для отрицательной стороны жизни — не больше. Итак, сиволапый беспортошный мужик торжествует в литературе к ужасу эстетической надушенной критики... Но это не так ужасно, как кажется на первый раз, потому что этот мужик является подавляющей девятидесятимиллионной массой сравнительно с тоненькой и ничтожной салонной пенкой. Обрати на сие особенное внимание, ибо здесь уже говорит арифметика.

Но вышесказанным я еще не думаю отрицать «художество», конечно за вычетом тех волчьих ям, которые вырыты нашей несчастной критикой. Только я расхожусь с тобой вот в чем: есть такие вопросы, лица и

события, которые, по-моему, должны быть написаны в старохудожественной форме, а есть другой ряд явлений и вопросов, которым должна быть придана беллетристико-публицистическая форма. Именно так я и пишу: Кесарево Кесареви, а богово богови. Прогресс в том и заключается, что мы видим длинный ряд процессов дифференцирования, и литература переживает то же самое — чистое художество и художество прикладное, ибо довлеет дневи злоба его. Таким образом, громы и молнии твои против «Золотухи» разлетаются сами собой, тем более что серьезных статей никто не читает, а беллетристику читают все. Ты, например, глубоко ошибаешься, что «Золотуху» никто не читает, — напротив, ее все читают и все читают с большим удовольствием, чему могу представить десятки свидетелей. Специально в литературе «Золотуха» для меня сделала то, что называется «литературным именем». Посягая на «Золотуху», ты посягаешь на меня и на мое любимое детище. У меня будет ряд таких статей об Урале, и поверь, что мне скажут за них спасибо. Конечно, они имеют временный интерес, интерес минуты, с которой и умрут, но я за вечными истинами и не гонюсь, как не гонюсь и не желаю того, что называется «славой»... Мы — рядовые солдаты, и только.

В укор нашим новым беллетристам ты ставишь западных, в том числе натуральную школу с Золя во главе. Вот поистине детский взгляд... Именно, всякая литература есть создание известного народа и известного времени. Так? На одном конце, примерно, стоит Париж и Золя, а на другом Екатеринбург и Д. Сибиряк... Получается нечто вроде алгебраического уравнения, причем Д. Сибиряк никогда не будет дитей великой Франции, а Золя — екатеринбургским мещанином. Если бы Золя был русским, поверь, что он никогда бы не написал ничего вроде своей эпопеи «Ругон-Маккаров». Один человек стоит в центре европейской цивилизации, где учатся, ходя по улицам и дыша парижским воздухом, а другой — в стране гогов и магогов, где процветает «Екатеринбургская неделя». Естественно ли и справедливо ли требовать от нас того, чего

мы не можем дать уже по условиям нашей жизни. То же самое заметь о Диккенсе и прочем большом европейском брате, причем припомни притчу Щедрина о мальчике в штанах и мальчике без штанов: русская изящная словесность и есть этот именно мальчик без штанов...

Но ничего нет хуже, Володя, наших эстетиков, взявших напрокат свои теории в западных Европах, да и то задним числом. Мы не можем захлебываться и смаковать с эпическим спокойствием разными психологическими эффектами и ювелирным дублением слога. Кругом слишком много зла, несправедливости и просто кромешной тьмы, с которыми мы и воюем по мере наших сил, а для этого выработалось свое литературное оружие.

В конце концов вопрос сводится вот к чему: по-твоему, наш брат, автор, должен писать такие статьи, которые мог бы читать с удовольствием только человек салона или той буржуазии, которая тянется за салоном. Другими словами, мы должны служить золотому тельцу, дворянству, чиновничеству, псевдоинтеллигенции и т. д. Но этим людям уже служат, даже слишком много служат, и ты можешь найти полное удовлетворение своим салонно-литературным требованиям в произведениях Маркевича, Сальяса, Авсеенко, в «Ниве» и т. д. Там мужика еще нет, а мы останемся с своим мужиком...

Впрочем, мы едва ли поймем друг друга. Вопрос слишком велик для такого короткого разъяснения. Твое заблуждение минует само собой по мере того, как ты из головастика превратишься в настоящую лягушку, а к тому времени мы, надеюсь, сойдемся «в мыслях». Пока достаточно и того, что ты серьезно интересуешься делом.

Твой совет изучить французский язык в месяц поимею в виду, тем более что французскую грамматику, которую ты рекомендуешь мне, я два раза прошел всю от доски до доски еще в 73 г. да, кроме того, Марго.

Мы все на старом положении, а вот бедная Паша опять после операции хворает — придется отнять ей

правую руку до самого плеча... Скверно, а все-таки лучше жить без руки, чем умереть с обеими руками.

Марья Якимовна кланяется тебе и каждый день ждет обещанного письма.

Твой брат *Дмитрий.*

16

А. С. МАМИНОЙ

29 сентября [18]85 г. Москва.

Милая мама,

Отвечаю на письмо, в котором ты пишешь о перестраховке дома. Все твои издержки я постараюсь оплатить при первой возможности, а сейчас не могу, потому что сам без денег — за «Новостями» около 100 р., написал им, а они выслали всего 32 р. Вероятно, перепутали счеты, и я написал необходимые объяснения.

Мои дела идут себе. Написал небольшой рассказ в «Русскую мысль» и получил уже ответ, что он принят и пойдет в ноябре, всего листа 1½; просят еще. Теперь поправляю рассказ для «Вестника Европы», который пошлю в Петербург на этой неделе; пиэсу кончил и надеюсь совсем поправить к половине октября. В «Наблюдателе» лежат моих два рассказа без всякого движения вот уже скоро год, и я, кажется, их возьму обратно.

В редакции «Русской мысли» весь сентябрь не бывал, то есть только занес рукопись, а ответ узнал в театре Корша, где видел Бахметьева. У Златовратского был всего раз, да больше и не тянет — очень уж скучный человек, а я, как ты знаешь, переношу все, кроме скуки. Лучше сидеть дома и писать, что я и делаю. Теперь, то есть эту неделю, каждый день у нас бывает Николай Яковлевич Андреев, который уедет на Урал послезавтра, и я пошлю с ним твою сумку, мама. Погода у нас стоит прелестная, ходят в летнем пальто и без калош. Сегодня мы идем слушать Славянского, который дает прощальный концерт пред своим отъез-

дом за границу. Володя тоже идет с нами, он каждый день бывает у нас.

Мой поклон всем знакомым. Будьте здоровы.

Твой *Дмитрий*.

От Андрюши получил письмо из Казани. Мама, ты, кажется, забыла, что я тебе писал относительно Авдотьи Матвеевны?.. Спасибо Николе за письмо.

17

А. С. МАМИНОЙ

30 ноября 1885 г. Москва.

Милая мама,

Письмо твое с деньгами 30 р. мы получили и можем только благодарить за внимание, — Володя все еще не получил земской стипендии, значит, деньги пришли кстати, и я боюсь только того, чтобы подобная посылка не отозвалась на твоем бюджете. Марье Якимовне я выплачиваю аккуратно квартирные деньги, которыми ты пользуешься, и на этот счет можешь быть совершенно спокойна.

Вчера я получил неприятный ответ из «Вестника Европы» — моя статья «Лётные» не будет напечатана, как я рассчитывал. Неприятно, но что будешь делать — значит, статья плоха и необходимо ее еще раз переделать, хотя я писал ее со всем тщанием и поэтому очень рассчитывал на нее. Такова бывает судьба, милая мама, авторских статей: авторы, как и родители, часто ошибаются в своих детищах... Видишь, как я благоразумно философствую и нисколько не горячусь, как это бывало прежде. Собственно говоря, и кровь портить не из чего — не напечатал в «Вестнике Европы», напечатаю в другом журнале, а в самом крайнем случае могу поместить в «Волжском вестнике», где заплатят вдвое меньше «Вестника Европы».

Неудачи нашего брата как-то всегда связаны с денежными расчетами, и это усугубляет неприятность. Но

ты можешь смело не огорчаться моими литературными неудачами: Тургенев по 9 раз переделывал все свои статьи, а я едва успеваю написать черновую и, если переделаю два раза, то прихожу в некоторый ужас от такого барства работы. Собственно говоря, и я буду делать так же, только вот немножко заправиться финансами: напишу статью и положу — пусть вылежится, а потом переделаю ее и т. д. То же сделаю и с «Лётными».

Марья Якимовна здорова совсем и кланяется вам. Будьте здоровы.

Твой *Дмитрий.*

18

А. С. МАМИНОЙ

12 января 1886 г. Москва.

Милая мама,

На днях получил два твоих письма, одно за другим. Пишу, по обыкновению, через три дня. Вас беспокоит критика «Сына отечества», но это просто, мама, смешно и никакого решительно значения не имеет, тем более что и Введенский и Скабичевский хвалят меня. Чтобы тебя успокоить, привожу дословно выписку из годичного обзора русской литературы Скабичевского, напечатанного в первом номере «Русских ведомостей» за нынешний год: «г. Сибиряк в истекшем году уже не отличался такой чрезмерной плодовитостью, как в прежние годы, и это несомненно к лучшему. В течение года он поместил в различных журналах несколько небольших рассказиков, и все они один другого лучше. Видно, что он заботится о развитии своего таланта и делает заметные в этом отношении успехи». И т. д. Введенский тоже не особенно бранится, хотя и не без некоторых горьких истин. Одним словом, мои фонды стоят крепко, и ты, мама, напрасно опасаешься за мою участь. Мне просто смешно читать эти критические глупости, и, право, на них никто не обращает внимания. У меня

есть свое маленькое литературное имя — и совершенно достаточно. Мне всего 33 года. Чего же больше? Я ведь не мечтаю быть Гоголем или Тургеневым... никогда. Что касается моих «собратьев по перу», то мне положительно завидуют, то есть моему быстрому успеху. Всего четыре года, как я пишу, а ведь начинающие «молодые» литераторы пишут более десяти лет, как Гаршин, Альбов, Салов и т. д. Но прежде всего я не тщусь лезть в знаменитости: аллах видит мою великую скромность.

В эти года мне приходилось печатать много несозревших вещей, но ведь не всегда так будет — вот поправлюсь с делишками, и тогда уж заведем настоящий «штиль» в борзописании и будем переделывать каждую вещь раза по три и больше. Еще раз, не беспокойся за меня и обращай столько же внимания на ругань моих критиков, как и на их похвалы: одно другого стоит. Это просто фельетонная собачья грызня, где правды искать все равно, что искать фортепьянных струн в щах, как говорил один профессор в медицинской академии.

Радуюсь, что коробок дома. Надо будет его реставрировать к весне. Жаль, что ты не пишешь, в каком он состоянии получен от Будрина.

Жалею тысячу раз бедного Егора Яковлевича — жить бы, жить нужно было старику. О Паше уж не пишу... Это просто несправедливо. За что так мучится бедная девочка? Умереть, так умереть разом...

Вчера послал вам посылки: тебе, мама, серебряную булавку кавказской работы, Лизе — торжковские передa на туфли (стоят 1 р. 70 к., купил, когда ехал из Петербурга, на месте производства; отдайте сшить Меклеру или кому хотите. Задки туфель выкроятся из этих же шкурок) и обоим коллекцию портретов. Николе вышлю отдельно подарок. Напишите, получаете ли вы «Новости». Справьтесь, застраховал ли Магницкий дом Марьи Якимовны.

Будьте здоровы.

Твой *Дмитрий.*

Марья Якимовна благодарит за поздравление и кланяется всем вам.

19

А. С. МАМИНОЙ

23 февраля, прощеный день [1886 г. Москва].

Милая мама,

Сегодня конец московской масленице, которой мы, собственно, не видали — у меня работа, Марья Якимовна не совсем здорова. Положим, предпраздничная работа плохо клеится, как это ты, вероятно, знаешь по самой себе, но все-таки робим. Вчера написал некролог Чечулина и послал его в «Екатеринбургскую неделю», не знаю, напечатают его или нет. Кетов и никто из екатеринбургских ничего не пишет о болезни Чечулина, а мне интересно было бы знать, отчего он, собственно, умер.

На масленице раз только был у Златовратского, где собрались наши братья писаки — Пругавин, Короленко, Мачтет и еще мелочь разная. Интересное самое — на вечере был известный московский пророк, некто Орлов, преподаватель в каком-то училище. Как рассказывают, этот господин будто бы вдохновляет самого Л. Н. Толстого относительно его последних произведений. Не ручаюсь за верность этого известия, но пророка слушал своими ушами и... ничего не понял. Сначала о наружности — высокий, худой, бородастый, лобастый, с дикими серыми глазами и пламенной речью, одет средственно, кричит хуже меня. Он проповедовал часов пять, и все содержание проповеди сводилось к тому, что не нужно ни науки, ни искусства, ни прогресса, ни цивилизации, ибо все это взятое вместе и порознь ведет ко злу. Единственное спасение человеков в ручном труде и религии — нужно «найти бога», успокоить свою совесть и т. д. Я, признаться сказать, не понимаю этого мракобесия, именно, не понимаю того, что неужели истинная наука, истинное искусство, прогресс и цивилизация мешают работать руками и молиться. Если люди злоупотребляют своим разумом, то виноват тут не этот бедный разум, а наше неуменье воспользоваться этим даром божьим. Вообще очень

грустное и безнадежное направление, хотя я отнюдь не враг ни ручной работы, ни религии, а напротив — защитник.

Володя стипендии не получил все еще, на урок не жалуется. Мария Якимовна кланяется всем.

Твой *Дмитрий.*

20

А. С. МАМИНОЙ

26 марта [18]86 г. Москва.

Милая мама,

В субботу 22 марта 1886 г. я удостоился быть избранным в действительные члены Общества любителей российской словесности, что существует при Московском университете. Мои права: свободный вход на заседания Общества, получение бесплатное всех изданий Общества и получение 4 билетов на каждое публичное заседание Общества, на котором читаются плоды вдохновения членов Общества; мои обязанности: содействовать Обществу в его целях, то есть давать время от времени какую-нибудь статейку для публичного чтения. Между прочим, готовится сборник в память 75-летнего существования Общества, и там я напечатаю что-нибудь маленькое. Интереснее всего то, что теперь я могу восседать за одним столом с профессорами Тихонравовым, Стороженко, Ключевским и иными, яко сопричисленный к лику любителей, и только могу воскликнуть с гоголевским городничим: «Хорошо быть генералом, черт возьми!» Вернее сказать: хорошо быть с генералами... Понятно, что все это я так говорю, шутя, так как все наши общества ничего не стоят.

О напечатанных главах моего романа до сих пор никакой критики еще не появлялось, — будет оная завтра или послезавтра. Сейчас видел Гольцева, он говорит, что московской публике начало романа очень нравится. Указывал на какую-то литературную даму, фамилию которой я забыл.

К пасхе кончу переделку романа и отрясу прах от своего пера, — буду писать художественные бирюльки.

Марье Якимовне лучше. Она выходит, и вчера мы были в Кремле. Она кланяется всем и благодарит тебя, мама, за участие к ее здоровью.

В одном из предыдущих писем я поздравлял Лизу с днем ангела, причем ошибся всего только на месяц — именинницей она будет 24 апреля. Ну, ничего, пусть пойдет мое поздравление вперед — палка на палку не хорошо, а каши маслом не испортишь.

Будьте здоровы. Мой поклон моим знакомым.

Твой *Дмитрий.*

21

А. С. МАМИНОЙ

30 марта 1886 г. Москва.

Милая мама,

У нас в Москве совсем весна, и даже я выхожу уже в летнем пальто, так как осеннее еще красится, — 6 и 10 градусов тепла. Сегодня воскресенье, и мы в одиннадцать часов отправляемся в университет на заседание Общества любителей российской словесности. Будут читать последний рассказ графа Толстого «Смерть Ивана Ильича», читать будут проф. Стороженко и Пругавин. Напишу, что будет.

Третьего дня был смешной случай. Это был день рожденья Марьи Якимовны, и мы отправились в оружейную палату. Без нас приходит Володя, идет в мою комнату и ложится на мой диван, а на диване подушка, а на подушке была оставлена палитра с масляными красками, — Володинька затылком прямо в краску и лег. Главное, лежит и ничего не замечает, а уж ему сказала Поликсена, которая вошла зачем-то в комнату. Уж он мылся-мылся, краска липкая, все лицо и руки зеленые стали — на руках даже кожу стер от усердия.

Как я уже писал раньше, мой роман встречен Скабичевским в «Новостях» очень неприязненно, с той тупой, чисто петербургской злостью, которой не знает провинция. Меня эта критика не задевает, — мы сами по себе, черт с ними со всеми, а будет время, когда я с Скабичевским рассчитаюсь. Подожди, мама, и на нашей улице будет праздник... Могу сказать только одно, что Скабичевский глубоко неправ относительно моего романа, да ему и не понять ничего нового, потому что эта фельетонная критика жует и пережевывает старую жвачку, которую давно пора бросить к черту. Новое время, новые люди, новые слова, а тут шипят и лают газетные лайки...

Марья Якимовна кланяется всем.

Твой *Дмитрий.*

22
А. С. МАМИНОЙ

7 апреля 1886 г. Москва.

Милая мама,

5 апреля я читал в заседании предварительного комитета Общества любителей российской словесности свой рассказ «Маляйко» — и тэма и рассказ понравились членам комитета. Но вышла пренеприятная история на следующий день, когда Нефедов пред 800 слушателей начал читать мой рассказ — то ли он не приготовился, то ли оробел, но прочитал гнусно, чуть не по складам, с остановками, мычаньями и т. д. Я сам не был на заседании, а наши все были, и все возмущены, а Марья Якимовна в особенности, потому что рассказ был хороший, и первую главу она переписывала. Были даже аплодисменты, чему можно только подивиться.

После этого собрания устроен был в Эрмитаже — трактир — профессорский обед, на который и я получил приглашение. Там были А. Н. Плещеев, секретарь «Отечественных записок», а теперь «Северного вестника», которому справляли нынче юбилей, потом д-р Португалов, возвращавшийся из Петербурга, где

он выиграл громкий процесс с присяжным поверенным Ященко, Иван Федорович Горбунов, знаменитый артист-рассказчик, профессора, литераторы и т. д. Больше 30 душ набралось. Говорили спичи и т. д. В сущности раз это посмотреть любопытно, а потом скучно. Меня интересовали Плещеев и Португалов. Плещеев — высокий, сгорбленный, благообразный старец, еле дышит, бедняга, но это не мешает ему быть премилым старцем. С ним я послал поклон Щедрину, а он предложил мне сотрудничество в «Северном вестнике» и все хвалил «Горное гнездо», от которого все в восторге.

Португалов — рыжий, высокий, широкобородый господин с оловянными глазами навыкате и говорит жиденьким дьячковским тенориком.

Когда провозгласили тост за него, Португалов ответил, что провинциальные деятели только благодаря поддержке столичной печати решаются поднимать громкие и хлопотливые общественные дела.

Горбунов рассказывал и всех уморил со смеху.

Марье Якимовне лучше. Она благодарит тебя, мама, за твое внимание к ее здоровью и шлет свой привет.

Будьте здоровы.

Твой *Дмитрий*.

23

Е. Н. УДИНЦЕВОЙ

20 апреля 1886 г. Москва.

Миленькая сестричка
Лизаветушка,

При сем письме прилагаю три автографа — Златовратского, Пругавина и Нефедова, которые, вероятно, тебе интересно будет «повидеть», а также посылаю тебе портрет Толстого, снятый прошлой осенью, — в продаже его не имеется, а я достал его случайно через Пругавина, поэтому не потеряй его. Прилагаю также билет на юбилейное заседание нашего Общества любителей словесности, на котором мы присутство-

вали вчера и на котором я в первый раз увидел Островского... Это — высокий, толстый, седой старик с совершенно татарским лицом, я по крайней мере, когда увидел его, не узнал, что это Островский. Заседание прошло по программе, много аплодировали читавшим профессорам, хотя читали они плохо, то есть свои профессорские глупости читали. Можно было сказать гораздо умнее. Публики было видимо-невидимо: профессора, артисты, предержащие власти, скубенты и «дамы, дамы без конца», московские дамы — жирные «до неистовства», бойкие, нахальные и, говоря между нами, глупые в достаточной мере. Тут же мелькали тощие фигурки курсисток — точно монашенки. Особенно одна — такая худенькая, зеленая, сгорбленная... Много таких, и у меня каждый раз сердце болит за этих бедных девушек, «взыскующих града», среди откормленных, жирных и счастливых своей глупостью свиней. Да, много было поучительного, голубчик, горько-поучительного, — и эта мертвая университетская наука, и это жирное свинство, и эта честная святая бедность...

Содержание говорившихся речей можешь узнать из газет, зри «Русские ведомости» от 20 апреля.

За роман меня еще обругали в «Русском богатстве», а это верный путь к успеху. Публика моим романом очень довольна, и я получаю со всех сторон самые хорошие отзывы, хотя роман, конечно, имеет свои крупные недостатки, как и другие мои статьи.

Марья Якимовна опять поправляется, вид на жительство она получила, и 2 мая мы уезжаем в Крым на три недели. Эта желанная поездка отравлена для меня только тем, что я не могу сейчас послать денег вам, как обещал, — расплачусь летом. Володе дам рублей 50 или 60. Сейчас он усиленно готовится к экзамену и даже нейдет с нами сегодня на юбилейный спектакль «Ревизора» в Малом театре.

Будь здорова. Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

Твой тяжеловес, наконец, отдаю в оправу и вышлю уже брошью. Раньше не было денег.

Посылаю тебе под бандеролью дешевые издания

Сытина — разные рассказы для народа, которые ты и раздай бедным детям.

Саша Алексеев пишет, что жильцы очень скверно держат дом Марьи Якимовны, и я удивляюсь, что вы ни слова не пишете о нем, то есть о доме. Могли бы попросить хоть Калину, чтобы сходил и посмотрел, что делается. Саша пишет, что сломана дождевая труба и водой размывает фундамент, что внизу выломана рама в окне, что во дворе страшная грязь и т. д.

Погода у нас стоит прескверная — сейчас идет снег. Это уж подлость, и у меня насморк. Кончаю на днях роман и повесть для «Волжского вестника».

Марья Якимовна всем кланяется.

24

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

11 марта 1888 г. Екатеринбург.

Многоуважаемый
Виктор Александрович.

Отвечая на Ваше любезное письмо, должен сказать прежде всего, что Вы напрасно сомневаетесь в наших отношениях — они остаются в прежнем виде. Если я не посылал ничего в «Русскую мысль», то это потому, что ничего нет готового и пока печатаю в «Наблюдателе» возвращенные Вашей редакцией статьи.

Осенью было начал «агроматнеющий» роман из горнозаводского быта, но засел на второй части — очень уж велик выходит. Десять печатных листов написал и сам испугался. Теперь и не знаю, что делать: то ли продолжать, то ли расколоть его на мелкие части. Мелкие вещи автору писать выгоднее и легче в десять раз, но бывают тэмы, которых не расколешь, как и настоящая. Дело вот в чем: завод, где я родился и вырос, в этнографическом отношении представляет замечательную картину — половину составляют раскольники-аборигены, одну четверть черниговские хохлы и последнюю четверть — туляки. При крепостном праве они не могли слиться, а на воле это слияние про-

изошло само собой. Словом, картина любопытная во всех отношениях, тем более что о заводах ничего нет в литературе.

Пока эта великая улита едет, буду посылать Вам мелкие вещи, что, кажется, для редакции тоже удобнее.

Мой поклон Митрофану Ниловичу.

С искренним уважением

Ваш *Д. Мамин.*

25

Д. Н. АНУЧИНУ

22 апреля 1888 г. Екатеринбург.

Многоуважаемый
Дмитрий Николаевич.

Спешу немедленно ответить на Ваше любезное письмо и вместе с тем на предыдущее, на которое не успел еще ответить, потому что не видел m-me Нейман. Я с ней встречаюсь только в театре или на улице, поэтому исполнить Ваше поручение быстро я решительно не мог. Надеюсь встретить ее на первых днях пасхи и тогда передам все, что нужно.

На Ваше последнее письмо буду отвечать по пунктам. Относительно коллекций Уральского общества любителей можно быть уверенным, что отказа Вы не получите, а я постараюсь узнать через Миславского, что и как. Воротило в нашем Обществе, конечно, Клер, но он человек до болезненности самолюбивый, и поэтому я посоветовал бы лучше обратиться к нему прямо, а то долго ли до греха: «Почему не ко мне обратились, а к г. Мамину?» и т. д. Говорю это по некоторому опыту. Еще будет лучше, если Ваше Общество прямо обратится к нашему Уральскому с официальным предложением, а я поговорю с Миславским и другими членами. Научный музей приводится в порядок, и поступают все новые предметы.

Перехожу к Вашему любезному предложению записаться в члены археологического общества и т. д. Могу только благодарить и постараюсь оправдать

Ваше доверие, но необходимо предупредить, что я слишком мало знаю в Вашей специальности и могу работать не больше как любитель. Постараюсь, конечно, подготовиться, но для последнего нужно время. Для меня во всяком случае такая работа представляет живой интерес и обыкновенные поездки по Уралу примут уже деловой характер, а это имеет свое значение. Собираюсь летом еще в Чердынь, с археологической целью, которую имел в виду для себя, именно для своей истории Урала, собственно ее новгородского периода — необходимо познакомиться с топографией исторических событий.

Если я чем могу быть полезен, так это своим бесконечным знакомством с уральцами — везде есть свои люди. Открытый лист все-таки будет не лишним, потому что времена нынче не безопасные. Конечно, все, что будет этим путем добыто, поступит в распоряжение Вашего Общества, а дубликаты в Уральское.

Во всяком случае, обо всем этом необходимо переговорить лично, и я надеюсь в непродолжительном времени быть у Вас, в Москве, если что-нибудь непредвиденное не задержит меня.

Новостей у нас, по обыкновению, никаких, кроме необыкновенно ранней весны. Впрочем, во всей России то же самое. Первый пароход из Перми отправился 31 марта, чего еще никогда не бывало. Сейчас уже распустилась зелень, и если не будет холодов, то получится совсем необычная картина. Михаил Алексеевич Веселов шлет Вам свой поклон. Он сейчас должен быть на своих приисках, но болезнь жены задерживает в Екатеринбурге. Веселов говорил мне, что посылает какие-то вещи Вам, как только будет на приисках.

У меня работы, как всегда, по горло: написал исторический очерк Екатеринбурга, около 4 печатных листов, переделываю пиэсу, которая провалилась в Москве, пишу рассказы, очерки, фельетоны и т. д. Приходится гнаться за десятью зайцами, и можно себе представить, что из этого произойдет. А там к осени нужно написать еще две пиэсы, роман и т. д.

Жму Вашу руку и говорю: до свиданья.

Ваш *Д. Мамин.*

26
А. Н. ПЫПИНУ

3 декабря 1888 г. Екатеринбург.

Многоуважаемый
Александр Николаевич!

Решаюсь обратиться к Вам с письмом по поводу посланной на днях в редакцию «Вестника Европы» статьи «Старая Пермь» — это путевые заметки, в которых, между прочим, помещена коротенькая история Пермского края. О новгородском и московском периодах нашей пермской истории я раньше печатал в «Новостях», а в предлагаемой статье эти материалы переработаны заново. Посылая эту статью именно в «Вестник Европы», я мало рассчитываю на возможность ее помещения, но все-таки посылаю, потому что некуда посылать... Раньше я начинал работать в «Северном вестнике» и думал послать эту статью туда, потому что там есть областной отдел, но, кажется, в августовской книжке нынешнего года меня так обругали за вышедшую книжку моих «Уральских рассказов», что продолжать сотрудничество в «Северном вестнике» сделалось невозможным. Вообще негде работать — остаются одни иллюстрированные издания, но туда меня заставит пойти только последняя крайность.

На «Вестник Европы» я не рассчитываю потому, что редакция мне уже возвратила три последних статьи — эта по счету будет четвертая. Кстати, на днях посылаю вам книжку «Уральских рассказов», где помещен рассказ «Лётные», возвращенный мне, как порнографическое произведение, — повторяю Ваши собственные слова. Прочтите его, чтобы убедиться, кто прав — редакция или автор.

Примите уверение в истинном и глубоком уважении.

Д. Мамин.

P. S. Когда я был в Петербурге в конце 1885 года, Вы советовали мне сделать визит Щедрину, и я хотел поступить по Вашему совету, но г. Стасюлевич так меня принял, что я в тот же день уехал из Петербур-

га, — для меня окончательно выяснилась роль литературного кустаря, у которого все отношения с редакциями ограничиваются спросом и предложением. Отсюда прямой вывод: зачем совать нос, куда не следует.

27

В ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

[22 января 1889 г. Екатеринбург.]

Каждое лето мне приходится путешествовать по Уралу, и по пути я не упускаю случая записывать все, что касается этнографии и вообще бытовой обстановки этого обширного и разнообразного края. Между прочим, мне хотелось бы заняться собиранием песен, сказок, поверий и других произведений народного творчества, поэтому решаюсь обратиться к Обществу с просьбой, не найдет ли оно возможным выдать мне открытый лист для указанной выше цели. Значение такого листа хорошо известно всем исследователям глухих углов далекой провинции, где можно натолкнуться на неприятные недоразумения и препятствия.

Действительный член Общества любителей российской словесности

Дмитрий Мамин.

1889 г. 22 января.
Екатеринбург.

Мой адрес:
Екатеринбург, Дмитрию Наркисовичу Мамину.

28

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

5 февраля 1890 г. Екатеринбург.

Многоуважаемый
Виктор Александрович!

На днях посылаю в редакцию «Русской мысли» первую половину своего романа «Три конца», а вто-

рая будет выслана к посту. Всего выйдет около 25 печатных листов, — размер не особенно страшный, хотя все-таки довольно опасный. На Вашу благосклонность не особенно рассчитываю, потому что знаю, как редакция «Русской мысли» относится к моим романам.

Для меня лично писать романы — прямой убыток, но что будешь делать, если у человека такое уж «влеченье — род недуга»... Во всяком случае, интересно будет знать Ваше строгое и беспристрастное мнение, а место роману найдем.

Послал я Вам в ноябре статейку «Самоцветы», и буде она не будет напечатана в февральской книжке, то не будет ли редакция настолько милостива и не вышлет ли мне авансом рублишек 200, чем, конечно, много меня обяжет. Совестно просить эти авансы, но прошлый год я весь прохворал, так что не успел сделать своего романа к январю.

С искренним почтением и уважением остаюсь готовый к услугам.

Д. Мамин.

P. S. Кстати, какой наивный человек г. Шелгунов... Печатает о Юзовских заводах, как об Америке, а того не знает, что они получили при основании двухмиллионную правительственную субсидию да были еще обеспечены до нынешнего года казенными заказами. В статье «Самоцветы» я хотя и привожу данные о Юзовских заводах в духе г. Шелгунова, но с целью кольнуть наших уральских заводчиков, умалчивая о субсидиях и заказах.

Затем, в январской книжке «Русской мысли» тем же г. Шелгуновым пропет дифирамб нашей «Екатеринбургской неделе», от которой напахнуло на г. Шелгунова «горным воздухом»... Эта газета 10 лет издается у меня под носом, и я, работая в десятках других изданий, не могу в ней участвовать именно из чувства порядочности. Сначала под редакцией Штейнфельда она писала в духе горных инженеров, а сейчас на откупу у городского головы Симонова: в ней нельзя

поместить ни одной строки, чтобы не задеть «симоновскую родню», которая захватила и городские и земские дела. Мы хлопочем лет шесть о второй газете, и Симонов нам не дает ходу, через губернскую администрацию конечно. Действительно, горный воздух... Уж писал бы г. Шелгунов о том, что знает, а не совался в чужие дела.

Что касается м-ме Остроумовой, так прельстившей г. Шелгунова своими журнальными обозрениями, то, во-первых, она женщина с высшим образованием, а во-вторых — кто же нынче не пишет таких обозрений, начиная с самого г. Шелгунова с его кисло-сладкой размазней «из русской жизни».

29

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

30 апреля 1890 г. Екатеринбург.

Многоуважаемый
Виктор Александрович.

Ваше желание уничтожить роман Мухина с Катрей — мое собственное, хотя я и не успел его оговорить, посылая рукопись. Действительно, совершенно лишний эпизод, особенно рядом с такими же случаями других действующих лиц. Не забывайте, пожалуйста, одного, именно, что действие происходит в самой развращенной среде, как заводская, и я во всех случаях смягчил щекотливые факты, насколько это было возможно. Другое Ваше желание относительно сокращений я понимаю, как нежелание с Вашей стороны понять всей сжатости моей летописи. Ведь это не тэма, а целая тэмища, и я бегу бегом мимо действующих лиц, выпуская даже описания природы, деятельности фабрики и т. д. Я думал, что Вы мне скажете другое, именно, что написано слишком сжато, офортом, а не «в несколько красок». Право же, пугающий Вас объем не погоня за лишним печатным листом, а только пре-

дел необходимости: выгораживаешь каждую страничку, как место где-нибудь на маленьком пароходе. Я знаю сам, что большие вещи мне удаются меньше, чем маленькие, но пишу протяженно сложенные летописи только потому, чтобы не разбивать на осколки целую тэму. Жаль ломать то, что в жизни связано органически. С точки зрения пятачков нет ничего выгоднее фельетонной газетной работы, а большие вещи пишешь буквально самому себе в убыток.

Во всяком случае, постараюсь сделать все, что от меня будет зависеть. Кстати, нельзя ли будет выпустить «Три конца» тем же набором, каким он печатается в «Русской мысли» — отдельным изданием, как Вы издали «Гардениных»? Что это будет стоить и какие Ваши условия?

Жму Вашу руку.

Д. Мамин.

Не может ли редакция «Русской мысли» выслать мне некоторую часть мзды за роман авансом, — сильно прохарчился я на этой работе и по уши сижу в долгах.

Отчего до сих пор нет рецензий на «Горное гнездо»? Господа рецензенты совсем позабыли меня: послано для отзыва всего три экземпляра: в «Русскую мысль», в «Русские ведомости» и еще не помню куда — в «Северный вестник» или в «Вестник Европы», и нигде ни строчки. Что сей сон означает?

30

А. С. МАМИНОЙ

2 июля 1891 г. Лесной.

Милая дорогая мама,

Посылаю тебе пока 30 р. на твои расходы по домашности, а раньше не высылал потому, что у самого не было. Мои дела, благодаря бога, понемногу налажи-

ваются, — полугодовое молчание разрешилось июльской книжкой «Северного вестника», в которой запечатано начало повести «Верный раб», написанной уже в Петербурге. Другие статьи в других журналах будут напечатаны осенью. О газете «Русская жизнь» я уже тебе писал, что устроился в ней. Сначала я взял в ней один фельетон в среду, а теперь пишу и воскресный, следовательно, два фельетона в неделю, а в месяц восемь. Это порядочно, а по моей арифметике, в переводе на «язык простых копеек», значит следующее: в месяц у меня занято 8 дней обязательной фельетонной работой, за каковую получу от 120 р. до 200 р. Гонорар, вернее прогоны — 5 коп. со строчки. «Новости» платят 6 к., а «Русские ведомости» 10 к. за строчку, но печататься у них приходится редко, а в «Русской жизни» я буду иметь определенный заработок, что особенно ценно. В месяц у меня остается для журнальной работы целых 22 дня — ничего лучшего никогда не желал. «Русскую жизнь» буду тебе высылать. Итак, я устроился, милая моя мама, и теперь буду аккуратен [со] своей стипендией тебе, а то на одних журналах трудненько: то вскачь, то хоть плачь.

Вчера получил твое письмо с приложением костромского письма. Кстати, о карточках — ты ничего не пишешь, получили вы от Терехова или нет мои 4 карточки, за которые деньги мной были заплачены и квитанция передана тебе? Вот письмо из «Вестника Европы» я не получал, — оно потерялось, должно быть, на почте, а между тем для меня самое важное из всех, какие без меня на мое имя получались в Екатеринбурге. Другие письма получил, а это, как на грех, потерялось.

Живу я попрежнему и не вижу, как летит время. Наше лето серенькое, так что настоящего тепла, пожалуй, еще и не видели.

Мой привет братанам, — Володе посылал письмо по своим делам, а ответа не имею. Зятю и сестрице кланяюсь, а крестника Бориса целую.

Твой *Дмитрий*.

31

А. С. МАМИНОЙ

15 сентября [18]91 г. Петербург,
Саперный пер., дом № 8, кв. 14.

Милая мама,

Пишу тебе по заведенному порядку, нарушенному поездкой в Москву, в воскресенье. Прошлая неделя для меня ознаменовалась тем, что я «сел» за большую работу, именно, начал большой роман «Золото». Описываю в нем Березовский завод, конечно с некоторыми изменениями и дополнениями против действительности. Роман будет печататься в «Северном вестнике» с январской книжки. Все это для меня имеет особенную важность, потому что этим «золотом» я рассчитываю заплатить свои долги. Дело помаленьку идет вперед.

Недавно был у Никольских. Они тебе кланяются. У Анны Ивановны родился весной второй сын, и она была очень больна, так что и сейчас еще не поправилась. Худая такая, желтая и лицо осунулось. Скромнейший Дмитрий Петрович все такой же, как всегда и везде.

Погода у нас стоит прескверная: холод, дождь, ветер. Одного только нет — невылазной грязи, и даже как-то странно видеть эту глубокую осень и ходить без галош. В Петербурге сейчас самый бойкий сезон, потому что все съехались, а между прочим, собралась и литература. Мне приходится мало где бывать и то по делу, потому что решительно некогда: каждый месяц должен написать восемь фельетонов, да еще столько, да полстолько, да четверть столько в виде журнальных статей. Мечтаю познакомиться с Стасовым, имя которого тебе должно быть известно по литературе, — он художественный критик и заведовает художественным отделом Императорской публичной библиотеки. Через него я могу добывать книги и издания, которых нигде нет, а таких мне нужно немало, чтобы дополнить лохмотья своего образования.

Мое здоровье в удовлетворительном состоянии. В Москве нашли, что я заметно даже пополнел.

Мои поцелуи родственникам и поклоны знакомым.

Твой *Дмитрий*.

32

А. С. МАМИНОЙ

22 сентября [18]91 г. Петербург,
Саперный пер., д. 8, кв. 14.

Милая мама,

Получил твое письмо, адресованное на «Северный вестник». Ты описываешь надвигающуюся голодовку, — что только и будет... Пермская губерния даже не попала в число голодающих, губернатор не пожелал, и благодаря этому нельзя делать публичные сборы в пользу голодающих, открывать подписки и вообще открыто вызывать помощь голодающим. Мерзавец губернатор о своей шкуре заботится больше всего, чтобы в его губернии было все благополучно... Нет горше глупости, яко глупость, — сказал Кузьма Прутков, точно он писал о Лукошкове.

Прошлая неделя у нас могла назваться «гончаровской», — и газеты и люди были заняты только им одним. Похоронили старичка очень пышно, хотя в сущности никому его и не жаль, — очень уж стар был, да и публика его забыла. Все-таки пресса голосила на все лады целую неделю. Самое замечательное, что я слышал о нем, это то, что он прожил в одной квартире безвыездно тридцать лет. На похоронах и я был. Его хоронили не на Волковом, где покоится русская литература: Добролюбов, Писарев, Салтыков, Шелгунов, Помяловский, Решетников, а в Александро-Невской лавре, где хоронят только генералов и купцов первой гильдии. Публика на похороны набралась тоже аристократическая, даже был великий князь Константин Константинович, которого я не заметил по своей рассеянности, а узнал о сем уже из газет. Вот и все новости, мама, других не имею.

Сегодня отправляюсь с визитом к Ольге Шапир, известной писательнице, с мужем которой я познакомился в Павловске и который был у меня с визитом. Собственно, Шапир он, по профессии доктор, а она некая Кислякова или что-то в этом роде. Живут они в двух шагах от нас.

Мой привет сродникам и присным. Целую тебя, моя дорогая.

Твой *Дмитрий*.

Жду своего пальто на меху из гусиных лапок, выслать которое тебя уже просил.

33

А. Н. ПЫПИНУ

21 октября 1891 [Петербург],
Саперный пер., дом № 8, кв. 14.

Многоуважаемый Александр Николаевич.

Решаюсь беспокоить Вас письмом по следующему поводу. Сейчас я готовлю роман о хлебе и название «Хлеб», но посылать в «Вестник Европы» не решаюсь по многим причинам, из которых первая та, что мне в последний раз редакция вернула такую статью, как «Медвежий угол», напечатанную теперь в августовской книжке «Недели». Г. Стасюлевич решительно имеет что-то против меня...

Теперь о «Хлебе». Сама по себе эта тема сейчас является самой подходящей. Я собирал для нее материалы лет двенадцать. Дело в следующем. В России производитель хлеба от его потребителя разделен слишком сложными операциями и громадными расстояниями, так что проследить этот путь нет возможности; затем, причины голода затеряны слишком далеко, чтобы их можно было вывести наглядно. В моей [*нрзб.*] все эти недостатки устраняются самым местом действия, именно, я беру благословенное Зауралье, где процесс обнищания произошел в последние тридцать — сорок лет. Главным действующим лицом является

р. Исеть, которая на всем своем течении, на расстоянии 350 верст, в буквальном смысле усажена заводами, мельницами, заимками и громадными сибирскими селами, так что вы все время едете в виду селения, — единственная река по густоте населения в целой России, а по работе в особенности: на ней стоит два города, четыре завода, 80 мельниц больших, до десяти фабрик и целый ряд сибирских «заимок». Зауралье представляет собой хлебное золотое дно, и его разорение последовательно шло с водворением в этом крае капиталистической крупной хлебной торговли, пустившей в оборот миллионные капиталы и выдувшей все запасы у крестьян, которые в форме денег ушли на ситцы, самовары и в кабак, — с водворением целой сети винокуренных заводов, производящих выкурку сотен миллионов ведер спирта, — с проведением железной дороги, открывшей сбыт хлеба в Россию, и т. д. Все эти причины действовали совместно и довели золотое дно до периодических голодовок систематически. Интересно проследить, как раньше крестьянин оборачивался всем своим и в деньгах нуждался только для податей; а от этого зависело то, что у него сохранялись хлебные запасы, которыми и покрывались случавшиеся недороды. Когда запасы были распроданы — все хозяйство держится одним годом. Интересно также проследить операции мелкой хлебной торговли и быстрое разорение среднего купца крупными фирмами, поставившими хлебное дело, как своего рода азартную игру. Одним словом, тема интереснейшая и единственная в своем роде. Материалы я собирал для нее самым добросовестным образом и изъездил все Зауралье.

Пишу это Вам, уважаемый Александр Николаевич, для того, чтобы узнать, совать мне нос в «Вестник Европы» с такой темой или нет. В половине ноября будет готов материал для январской и февральской книжки. Условия — 200 р. за лист.

Примите уверение в глубоком уважении и искренней преданности.

Д. Мамин-Сибиряк.

34
А. С. МАМИНОЙ

24 ноября [18]91 г. [Петербург].

Милая мама,

Сегодня нашу петербургскую зиму сгребли в кучи, сложили на возы и вывезли за город... Термометр показывает несколько градусов тепла, так что приходится менять шубу на осеннее пальто. Это называется петербургской зимой, на которую смотреть противно. Воображаю, какие снега у вас там: дорога, как сахар. Бегает ли только по этой дороге мой Карло, да и существует ли верный конь вообще, в чем я сильно сомневаюсь... Жаль коня, а еще больше жаль седоков, которых он мог скушать.

Мои дела идут хорошо. Запечатал для январской книжки «Северный вестник» большой роман «Золото», а из-за него пишу другой большой роман, который стыдно печатать рядом, а напечатаю где-нибудь с марта или апреля. Надо же и совесть знать, тоже и на нас крест есть... А еще пишу, мама, историческую повесть — всего и не упомнишь.

15 ноября был у Михайловского на дне его рождения, где собралась своя литература: Глеб Иваныч Успенский, скромнейший и симпатичнейший мужчина и очень больной, потом Станюкович, бывший редактор «Дела» — крупный и рыжий господин, смахивающий на купца. Был еще Обреимов, бывший учитель екатеринбургской гимназии, из-за которого вышел бунт — дрянной и паршивый старичонко. Была m-me Водовозова, очень важная и очень бонтонная дама. И т. д. Ели пирог и пили. А хозяин похаживал по горнице и бородку поглаживал — очень милый и простой человек, хотя удельный вес у него и под сомнением. Была еще не известная мне безыменная молодежь, заглядывавшая в рот тароватому хозяину. Вообще настоящие купеческие именины: tout comme chez nous, то есть как и у нас грешных. Ко мне Михайловский весьма благоволит, хотя я в этом и не виновен.

Писем от вас не имею уже больше недели, и это меня начинает беспокоить. От Владимира Ивановича Пономарева получил недавно письмо и порванные векселя, — я писал, что, может быть, придется что-нибудь получить с него, но это не оправдалось.

Будьте здоровы. Мой поклон братанам, зятю с женой и крестнику.

Твой *Дмитрий.*

35

О. Е. КЛЕРУ

26 ноября 1891 г. Петербург,
Саперный пер., дом № 8, кв. 14.

Дорогой Онисим Егорович!

Извиняюсь, что давно ничего не писал Вам, но я так был завален своими личными делами, что приходилось бы писать только о себе, а это скучно... Я частенько вспоминаю Вас, и если бы кого из екатеринбуржцев желал видеть, то именно Вас, потому что нас с Вами объединяет деятельная любовь к Уралу. Вчера видел д-ра Никольского, и он сообщил мне, что Вы нынешним летом делали раскопки на Ирбитском озере и что Уральское общество любителей естествознания получило зараз несколько субсидий от заводчиков — и то и другое искренне меня порадовало. Напишите, что и как — каждая весточка с Урала для меня является дорогим гостем. Кстати, имел недавно объяснение по поводу Уральского общества любителей естествознания с редакцией словаря Брокгауза. Дело в том, что у них редактируют и пишут статьи об Урале прохвосты Аленицын и Дружинин, — конечно, берут печатные материалы и портят их. Проф. Воейков предлагал мне взять на свою ответственность Пермскую и Оренбургскую губернии, чтобы редактировать и собирать материалы о них, но я откровенно сознался, что это такой громадный район и с моей стороны было бы бессовестным брать на себя подобную ответственность и что я могу только представить некоторые статейки о

местах, где был и которые знаю. Вместе с тем я указал на то, что редакция словаря сделала громадную ошибку, не обратившись в свое время к Уральскому обществу любителей естествознания, которое могло бы принести громадную пользу. Воейков взял Ваш адрес и хотел написать. Откровенно говоря, эти ученые мужчины обладают обидным легкомыслием и доверяют каким-то Аленицыным... Я вдвойне огорчен — и за Урал и за Уральское общество любителей естествознания. Может быть, дело уладится, а может быть, я и глупость сделал, что отказался от двух губерний... Меня смутило то, что скажут о моем нахальстве (Остроумов и К°) и что я могу повторить компетентность Аленицына.

Что Вам сказать о Петербурге? Я его почти не вижу, да он меня и интересует очень мало... Скучаю об Урале, но не об Екатеринбурге. Пишу статьи все об Урале и затеваю сделать издание своих статей. Вообще, что я делаю — всегда на виду.

Мой сердечный привет Вашей уважаемой супруге, Наталье Николаевне и Марии Егоровне. При случае передайте мой поклон Борису Осиповичу, которому все собираюсь написать.

Целую Вас, дорогой Онисим Егорович, и желаю всего лучшего.

Всегда Ваш

Д. Мамин.

36

А. С. МАМИНОЙ

14 января [18]92 г. Петербург.

Милая мама,

Извини, дорогая, что не писал тебе целых две недели. Поверь, что было действительно некогда: если бы у меня был хвост, то, кажется, писал бы и хвостом. Работа на меня валится со всех сторон, так что едва успеваю повертываться. Печатаю роман «Золото», это само собой, да, кроме того, пишу по пяти статей зараз: для сборника в пользу голодающих, изданного «Рус-

скими ведомостями», написал легенду, потом для двух детских журналов, потом для «Русского богатства», имеющего выходить под новой редакцией, для «Иллюстрации», для «Русских ведомостей», «Новостей» — не упомню всего сам. Столько работы важно в том отношении, чтобы обставить себя на будущее время, а о будущем пора подумать. Пишу ежедневно около 10 000 букв...

Кстати, сообщу новость: Рубинштейн присылал ко мне одного из своих адъютантов за легендой о Кучуме, из которой хочет сделать оперу... Выйдет из этого что-нибудь или не выйдет — трудно сказать. Жаль только, что я поздно напечатал эту легенду, ибо Рубинштейн уезжает на $1^1/_2$ года в Америку, да и стар он. Все-таки будем довольны и вниманием великого человека. В сущности все оперы балаган и очень скверный балаган, и я никогда не хожу смотреть на них. Это не искусство, а черт знает что такое.

Самая главная новость в Петербурге — страшные холода. Вот уже целую неделю стоит около 25 градусов — это как в Екатеринбурге.

Целую тебя, милая мама, и сродников.

Твой *Дмитрий.*

37

Н. В. КАЗАНЦЕВУ

3 апреля [18]93 г. Петербург.

Дорогой Авва,

Собрался написать Вам только сейчас, ибо был завален срочной работой. Достаточно сказать, что сейчас только кончил десятый лист — это в три недели.

Приходится усиленно гнать статьи, так как после пасхи я прохворал целую неделю, а это большой дефицит в моем хозяйстве.

Теперь перехожу к делу, именно, к Вашей пиэсе. Из газет Вы уже знаете, как она прошла, но из газет же Вы знаете, что такое наша театральная рецензия и как она пишется. Для меня это еще больше понятно, потому что я лично знаю этих борзописцев.

Большой ошибкой было ставить пиэсу не в конце сезона, а прямо в хвосте — тут и публики нет и актеры играют через пень колоду. Затем, пиэса поставлена на Михайловском театре, где одни цены убьют какую угодно пиэсу. Первый ряд кресел стоит 6 р., а в восьмом я заплатил 3 р. Виноват во всем дурак Куманин, который не умел выговорить необходимых условий. Из исполнителей хорош был один Ленский, игравший Никитушку, и только отчасти Дунечка — Потоцкая. Вообще пиэсу провели крайне вяло и даже не знали ролей. Мне один рецензент говорил, что актеры нарочно проваливают в это время пиэсы, чтобы избавиться от обязанности играть после пасхи. Это большое свинство, как свинство и рецензентское... Наша императорская сцена стоит ниже всякой критики, и публика не ходит в театр. Александров-Крылов окончательно достукает дело... Пишу то, что хорошо знаю. Отдавать им пиэсу, значит ее погубить, а если уж ставить, так только в Москве.

Я вынес из театра, когда шла Ваша пиэса, самое грустное впечатление и был рад, что Вы не могли видеть происходившего. Не преувеличивая, скажу, что частная антреприза относится к делу гораздо добросовестнее. Все это очень и очень грустно и обидно, особенно по сравнению с постановкой дела у французов, которые играют в том же Михайловском театре.

Я живу, Аввушка, попрежнему. Жду мать и сестру, а лето буду опять в Павловске. Нужно усиленно работать.

Лобызаю в уста сахарные и желаю всего хорошего.

Ваш *Д. Мамин.*

38

А. С. МАМИНОЙ

3 марта [18]94 г. Ц[арское] Село.

Милая, дорогая мама, твое извещение о сумасшествии Казанцева произвело на меня грустное впечатление. Для чего человек целую жизнь грабил и обирал публику? Кому это было нужно и кому достанутся на-

грабленные сокровища? Я видел много богатых наследников, как сын Рубинштейна, сын Щедрина, сын Достоевского (завел скаковую конюшню), сын второй Демидова — все это глубоко несчастные люди, придавленные родительскими капиталами. Мы раз разговорились с Чеховым на эту тему. У него нет ни жены, ни детей, и разговор имел чисто теоретическое значение. Чехов заявил категорически, что, если бы у него были дети, он не оставил бы им буквально ни гроша, потому что не желает их губить. Это глубоко верно, а я прибавлю к этому, что нужно оставить детям столько, сколько необходимо для скромного существования, и не больше того. Я имею в виду, конечно, свою Аленку...

Мы живем по-старому. Аленка здорова. Тетя Оля все интересуется, какое впечатление произвели на Дмитрия Аристарховича посланные драпировки. Все кланяются.

Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

P. S. Скоро вышлю тебе денег.

39

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

16 декабря 1894 г. Ц[арское] Село.

Дорогой друг
Виктор Александрович.

Вчера вечером получил твою телеграмму, а сегодня отправил в «Русскую мысль» рукопись, две первых части, что составит около 9 печ. листов. Будет еще около 12. Надеюсь кончить к 15 января. Передай Вуколу Михайловичу, что мои условия 150 р. за лист. А затем, я его предупреждал, что по предъявлении рукописи деньги вперед. Оговариваю все эти условия вперед во избежание недоразумений впоследствии.

Дальнейшее действие романа заключается в быстром вторжении капитализма, в лице крупной хлеб-

ной торговли, винокуров и банковских операций. Последняя часть состоит в описании голода. Галактион делается банковым воротилой и пароходчиком. Мелкое купечество и крестьяне разорены. В голодный год Галактион привозит дешевый сибирский хлеб на своих пароходах и получает от его продажи голодным до 1000 процентов. Отец, Михей Зотыч, удалившийся в скиты, является, чтобы проклясть любимого сына. Жена Галактиона спивается, он живет с ее сестрой Харитиной, которая кончает самоубийством.

Жму твою руку.

Твой *Д. Мамин.*

Пожалуйста, высылайте корректуры.

40

Я. Л. БАРСКОВУ

20 апреля [18]96 г. Царское Село.

Очень Вам благодарен, Яков Лазаревич, за присланные фотографии — деньги за них поставьте в мой аванс. Кстати, рассматривая фотографии первосвятителей и угодников русской церкви, я постепенно дохожу до понимания той нити, которая связывает их с былинными богатырями. У такого громадного художника, как В. М. Васнецов, не может быть произведений случайных и ничем не связанных между собой. Крупное творчество цельно — это прежде всего, и из него, как из сказки, слова не выкинешь.

Как мне кажется, «Богатыри» служат прекрасным дополнением «святителей». И тут и там представители родной земли, за ними чуется та Русь, на страже которой они стояли. У богатырей преобладающим элементом является физическая мощь, они своей широкой грудью защищали всю родину, и вот почему так хороша эта «застава богатырская», выдвинутая на боевую линию, впереди которой бродили исторические хищники. Чем больше я думаю об этой картине, тем сильнее она мне нравится. «Святители» являют другую

сторону русской истории, — еще более важную, как нравственный оплот и святое святых будущего многомиллионного народа. Эти избранники предчувствовали историю великого народа и верили в нее глубоко, верили даже тогда, когда все кругом рушилось, — богатыри перевелись, княжы продавались оптом и в розницу в Орде, а остатки Руси сбились на севере. И по вере их все сбылось...

Пока только, а дальше подумаем.

Передайте мой привет Виктору Михайловичу.

Жму Вашу руку.

Д. Мамин.

P. S. С Тихомировым говорил — он ничего не имеет против изданий «люкс», если мы их возьмем из изданного им сборника для младшего возраста. Не знаю, на чем остановиться для первого опыта. Прочтите и напишите, что Вам больше нравится. Вышлю Вам «Аленушкины сказки», которые принадлежат мне.

Я Вам говорил относительно условия будущих изданий и считаю нужным, во избежание недоразумений, еще раз повторить их: Вы их издаете на свой счет и покрываете все расходы из продажи первых экземпляров, затем вычитаете комиссионные и накладные расходы, а остальное, то есть чистая прибыль моя. На последнее я имею некоторое право, потому что писал эти рассказы за расколотый грош. Главное, чтобы рисунки были мои, что очень важно для следующих изданий.

41

А. С. МАМИНОЙ

27 октября [18]96 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама, твое письмо я получил как раз в день именин, в три часа, когда начали съезжаться мои гости. Были у меня из известных тебе:

Огарков, Тихоновы, Анна Михайловна, Томашевские, Шелковский, завертывал Дмитрий Иванович Рихтер (он тоже был именинник), Южаков. Из неизвестных — д-р Жихарев, студент Воронов, художник Ельшин, педагог Позняков, m-me Слепцова. За столом сидели тринадцать... Обед состоял из сибирского пирога — соленая осетрина с капустой, ростбиф и судак в 8 фунтов. Одним словом, все как следует.

К моим именинам подошла и статья обо мне Скабичевского в «Новом слове». Старик размахнулся и даже поставил меня превыше облака ходячего, чего уж совсем не следовало делать. Напрасно он сравнивает меня с Золя и еще более напрасно ругает последнего, чтобы вящше превознести меня. Много крови он испортил мне раньше, то есть Скабичевский, а теперь хвалит. Благодарю бога, что я пережил свой критический литературный период без всякой посторонней поддержки и пробил дорогу себе сам, так что сейчас для меня похвала Скабичевского имеет значение только в... торговом смысле, то есть для продажи изданий, хотя честь и лучше бесчестья.

Живем мы попрежнему. Занят изданиями. Завтра кончаю последнюю восьмую сказочку Аленушкину и выпускаю сразу двумя изданиями — одно дешевое, а другое роскошное.

Тетя Оля всем кланяется. Аленка тоже и Лиза. Последняя продолжает учиться и не ослабевает энергией.

Целую всех.

Твой *Дмитрий*.

P. S. Жалею Лизу — что с ее глазами? У меня тоже начинается что-то — не могу работать при лампе. Моя глухота прошла сама собой.

У нас стоит уже зима — 5° холода.

42

А. С. МАМИНОЙ

15 декабря 1896 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама,

Давно я тебе не писал, да и не о чем было писать, ибо у нас все по-старому, за исключением маленьких хозяйственных новостей, как новый платяной шкаф, который я купил для себя, кровать и ширма японская — все вместе заплачено 73 р. Затем, обиваем новой материей маленький диванчик, который стоит в комнате тети Оли. Как видишь, новости самого скромного хозяйственного характера.

Лиза писала, что ты огорчена фельетоном в «Биржевых ведомостях». Не стоит не только огорчаться, но и просто обращать внимание на такие пустяки. Поверь, что никакая критика не прибавила еще никому ни вершка роста и не убавила. Вообще плевать...

Вчера получил только что вышедшую книжку «Аленушкиных сказок», — издание очень милое. Стоит 75 к. Всех сказок восемь. Это моя любимая книжка — ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное.

Тетя Оля и Аленушка кланяются всем.

Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

43

Н. И. ПОЗНЯКОВУ

15 октября 1902 г. Царское Село.

Дорогой мой Николай Иванович, получил номер «Петербургских ведомостей», в котором напечатана твоя статья «Голытьба в золоте» — и порадовался. Это громадный вопрос, и можно только пожалеть, что ты такую большую тэму заколотил в одну статейку. Когда

Д. И. Тихомиров открывал свое «Детское чтение», я особенно указывал на эту тэму, как на дело громадной общественной важности, но мой глас остался гласом вопиющего в пустыне... Радуюсь, что ты, наконец, взялся именно за эту тэму, и сердечно желаю тебе всяческого успеха.

Целую тебя.

Твой *Д. Мамин.*

26 октября имею неосторожность быть именинником — имей сие в виду и предупреди Марью Романовну.

44

А. С. МАМИНОЙ

11 января 1904 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

У нас в петербургской природе делается что-то невероятное. Зимы еще не было, в Петербурге ездят на колесах, снега нет, стоят оттепели, сегодня, например, 4° тепла утром... Приблизительно тоже делается и в средней России. А на юге суровая небывалая зима с снежными заносами, морозами и т. д.

Последняя наша новость: закрытие технического съезда. Съехались со всех концов России техники, чтобы поговорить о своих технических делах, устроили свою выставку, а начальству не понравилось, — оно закрыло съезд в самом начале, да и выставку по пути. «Ступайте, мол, ребята, домой и не балуйтесь». Очень даже трогательно вышло. Съезд врачей пока еще не уничтожен, но ждут уничтожения. В первых числах прикрыли навсегда новую газету «Русская земля», которая просуществовала ровно *четыре* дня... Это называется по-турецки свободой слова...

Заговорив о съезде врачей, должен сообщить печальное известие: очень болен Дмитрий Петрович Никольский. О его болезни я узнал только из газет. Он лежит где-то в больнице. У него было воспаление лег-

ких с каким-то осложнением, потребовавшим серьезной операции. Написал Анне Ивановне, чтобы узнать, могу ли я его навестить.

Мы все здоровы. Все кланяются. Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

P. S. Никола писал, что ты переделала крыльцо. Значит, получилась целая комната. Интересно, тепло ли в ней. Новые железные печки у вас и велики и, вероятно, много истребляют дров, а тепла дают мало.

45

А. С. МАМИНОЙ

25 октября 1904 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

Сегодня мне исполнилось 52 года. Новость не особенно приятная... Если бы мне предложили еще раз появиться на свет, я самым бы вежливым образом отказался. Ну, да не стоит об этом говорить.

Завтра именины, и грустно думать, что не будет Николая Константиновича и Александра Афанасьевича. Давно уже нет Александры Аркадьевны...

Вчера получил поздравительную телеграмму из Харбина, от Лизы. Жива и здорова. Скверно только то, что она заведует перевозкой тифозных больных, а не раненых. Пока еще нет сыпного тифа, но он должен быть и в свое время явится... По моему мнению, Лиза может уцелеть в этом аду только чудом.

Новостей у нас нет. Разговоры о новых веяниях считаю пустяками, ибо никакую свободу даром не дают, а надо ее взять. Я состарился в ожидании этой свободы и теперь смотрю вперед без всякой надежды оную увидеть.

Сейчас работаю над статьями к новому году. Одолевают детские журналы.

Третьего дня выпал первый снежок и держится.
Все кланяются. Всех целую.

Твой *Дмитрий.*

Оля вчера получила твое письмо. Ты пишешь, что Никола преисполнен страха смерти. Это так называемая сердечная тоска, которая является вследствие болезни сердца. Я думаю, что ему придется скоро отказаться от чая, что для него составит громадное лишение.

46

А. С. МАМИНОЙ

22 ноября 1904 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

За неделю новостей никаких не случилось. Все новости на войне, а потом во внутренней политике, которой я не занимаюсь. Верят тому, чему желают верить... Дай бог теляти волка поймати. Газетчики пишут так смело, как никогда. Будем посмотрет, как говорят немцы.

А вот министр Глазов не разрешил открытие высших женских курсов ни в Москве, ни в Киеве. Не согласен — и кончено... Вот тебе и суворинская «весна». Возмущаться всю жизнь просто надоело. Разбойники какие-то, а не министры. Ну, чего преступного в том, что девушки желают учиться?

У нас стоит зима. На днях была оттепель. День убывает, а я не люблю это время, хотя приходится работать особенно много. Вот с августа пишу девятый рассказ, а напишу, еще останется два, которые придется кончить в декабре. Положим, рассказы все небольшие, главным образом для детских журналов, но они требуют особенного внимания, потому что дети — самая строгая публика.

Все здоровы. Кланяются. Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

47
А. С. МАМИНОЙ

12 декабря 1904 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

Сегодня день Спиридона-поворота, когда солнце на весну, а зима на мороз. Никола зимний поддержал свою репутацию и подморозил. Сейчас 10° холода, без ветра. Одним словом, настоящая русская зима.

Дома у нас никаких новостей нет. Все по-старому.

По части внутренней политики говорят очень много, но разобраться в этих разговорах трудно. Как будто что-то такое и будет и как будто ничего не будет. Во всяком случае, несчастная для нас война всколыхнула всю публику. Забывают только одно, что от власти люди отказываются только в крайних случаях, а наши правящие классы еще постоят за себя, тем более что для них власть связана помимо привилегированного положения с деньгами... Ведь по существу дела в выборном начале и в ответственности министров решительно ничего нет, как в свободе личности, в свободе слова, но всего этого боятся наследственные государственные воры. Примеры Англии или Германии для нас пустой звук... Ну, поживем — увидим.

Все здоровы, кланяются.

Целую всех. Твой *Дмитрий.*

Мама, сейчас у меня денег нет, чтобы послать ребятам на елку. Ты возьми из своих 10 р., а я в январе вышлю. Перед праздником слишком уж много расходов, а гонорар все тот же.

48
А. С. МАМИНОЙ

20 апреля 1905 г. Ц[арское] Село.

Милая, дорогая мама.

Нынешнюю пасху я встретил со сломанной рукой, которая все еще не зажила и мешает работать по-настоящему. Что делать, нужно терпеть...

Новостей у нас никаких нет. Думаем, где провести лето. Кажется, уедем в Финляндию, только не в Ганге, а поближе, где-нибудь по Финляндской железной дороге, на берегу моря. Есть проект ехать вместе с Мусей. Бедняжка очень несчастна со своим мужем, с которым никак не может разойтись. Пьяница и т. д.

Думали ехать в Крым, да раздумали: и далеко, и дорого, и много хлопот. Ранняя весна хороша и у нас в Царском, много зелени и воздух отличный.

Новостей никаких нет. Все по-старому. На пасхе ожидали беспорядков, но все обошлось благополучно. Вот на юге России, так там происходит прямо что-то невероятное. Ждем конституции или чего-нибудь подобного, хотя, как я думаю, все это одни мечтания... Я лично не верю в русскую конституцию и ничего от нее не жду. Ведь люди останутся все те же... Одолело нас наше собственное невежество. Не говорю уж про простой народ, и даже наша интеллигенция в гражданском смысле ничего не стоит.

Оля здорова. Аленушка временами дичит, а временами ничего. На Пасхе у нас гостил Люша, которого я очень люблю. В первый день пасхи ездили в Питер, обедали у Владимира Францевича. У Виктора Францевича дети больны, что-то вроде скарлатины. Нынче и болезни пошли какие-то мудреные, ничего не разберешь.

Будьте здоровы. Все кланяются.

Твой *Дмитрий.*

49

А. С. МАМИНОЙ

13 декабря 1905 г. Ц[арское] Село.

Милая, дорогая мама.

Пишу тебе наудачу: может быть, письмо и дойдет... От вас писем не получаю.

Пока мы все живы и здоровы. По нынешним временам говорить о будущем трудно... У нас в Царском все по-старому, исключая некоторого повышения цен на провизию. Наша железная дорога тоже пока действует. Вообще по нынешним временам нужно гово-

рить так: день прошел — и слава богу. Беспорядки в Петербурге есть, но сравнительно с Москвой — ничтожные, главным образом на фабриках и заводах.

По христианскому обычаю поздравляю с наступающими праздниками, но какие могут быть праздники, когда их будут встречать миллионы разоренных и голодных людей... Страшно подумать о будущем, но не будем прежде времени падать духом. Сегодня прочел телеграмму из Москвы об уничтожении печатной фабрики Сытина — это уже прямо касается и меня, то есть моих изданий у Сытина. А фабрика была первая в России и стоила миллион рублей...

Ну, господь вас всех да хранит. Жалею об одном, что приходится встречать надвигающуюся грозу не вместе... Посылаю свое благословение дорогим моим крестницам и крестникам.

Все кланяются. Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

За октябрь и ноябрь тебе переводом по почте отправлено 100 р.

У нас давно санный путь, а сегодня валит густой снег.

50

А. С. МАМИНОЙ

31 августа 1906 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

От тебя писем все нет и нет... На днях получил письмо от Николы, но он, по обыкновению, пишет только об одном себе...

Мы переехали с дачи и перешли на зимнее положение. За лето все поправились, особенно Аленушка. Меня радовало главным образом то, что она без устали могла ходить верст по десяти. Желать лучшего нельзя, и остается только поддерживать существующее. Свои занятия с учителем она начнет с 1 сентября. Учится она с ленцой, но это не мешает ей мечтать о карьере писательницы. Кто знает, может быть, со временем эта детская фантазия и осуществится...

Я тоже с детства мечтал сделаться писателем и помню такой случай из детской жизни. Папа хотел купить вороную лошадь, за которую хозяин просил 30 рублей. Дело разошлось, кажется, из-за пяти рублей. Меня это страшно огорчило. А тут еще мы с тобой по вечерам читали «Фрегат Палладу» и ты как-то между прочим объяснила мне, что «сочинителям» платят очень дорого, что-то около 50 р. за печатный лист в 16 страниц. Эта цифра меня просто поразила. Помилуйте, ведь за 50 р. можно купить пару лошадей...

В детских мечтах есть скрытое пророчество, я сделался писателем, хотя и езжу на чужих лошадях...

Все здоровы и кланяются.

Твой *Дмитрий.*

Целую всех.

Прошу тебя уже в третий раз: напиши, в каком виде наши денежные расчеты. Скоро поеду в Москву и оттуда вышлю тебе денег. Меня кормит попрежнему одна матушка Москва...

51

А. С. МАМИНОЙ

11 марта 1907 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

Сегодня «солноворот», значит — конец календарной зиме. Светит яркое солнце, а снег держится и стоит отличный санный путь. Это у нас большая редкость, чтобы санный путь продержался даже на масленице.

Моя нога почти зажила, хотя еще и не решаюсь съездить в город. Обидно, что не мог съездить к о. Петрову вместе с другими. Когда поправлюсь совсем, поеду один. Интересно посмотреть и провинциальный монастырек и друга — узника...

Другие успели съездить — Немирович, Баранцевич, а я уж потом, когда установится колесный путь. Говорят, очень красивое местечко.

У Аленки свинка почти совсем прошла, хотя на воздух еще не выходит. Весеннее тепло обманчивое, и легко застудить свинку, а тогда с ней не развяжешься.

Володя не бывал давно и Марья Александровна тоже. Да и скучно им у нас, когда столица под боком. Что же, люди не старые, надо и повеселиться.

Вчера умер Победоносцев, который затормозил русскую историю на целую четверть века. Сколько людей пострадало из-за его нелепого упрямства. Я его считаю богом проклятым человеком, который был послан России за наши грехи. Ну, и черт с ним... Не стоит говорить... У всей литературы этот милый человек висел камнем на шее и принес неисчерпаемое зло.

Государственная дума, по-моему, переливает из пустого в порожнее. Конечно, это временно, а потом «все образуется», как говорит старик дворецкий у Толстого в «Анне Карениной». Володя все время что-то молчит. Это не хорошо, а для избирателей и обидно. Его не для молчания избирали, а сказался грибом — полезай в кузов. Конечно, в Думе есть прекрасные ораторы, как сам премьер-министр Столыпин или кавказский князь Церетели. Этим и книга в руки. А мужички слушают и помалкивают до поры до времени. Оторопь берет и животы подводит перед начальством. Веками запугивали, ну, «ён» и молчит, пока господа говорят. Пока, впрочем, говорят больше глупости, но зерна без мякины не бывает. Вот архиереи и попики тоже помалкивают во имя отца, и сына, и св. духа. Видно, всякому овощу свое время... Конечно, на настоящую Думу никто особенных надежд и не возлагал, потому что набрался пуганый народ.

Будем ждать следующей...

Все кланяются. Всех целую.

Твой *Дмитрий.*

52

А. С. МАМИНОЙ

27 декабря 1907 г. Царское Село.

Милая, дорогая мама.

Нынешнее рождество мы встретили насморком и кашлем... Вот уже четвертую неделю стоят холода, каких «старики не запомнят». Даже молоко в коровах

замерзает... Вчера была неделя, как я не выхожу из дому, а в Питере был даже не помню когда. Вообще очень весело... Наше пустынное житие оживляет один Олег. Вечно прыгает, что-то болтает, а иногда и поплачет. Что же, дело житейское...

Я потихоньку работаю, больше для детских журналов. Больших статей не пишу. Их время прошло. Писателю долго писать, а читателю долго читать... Как-то даже странно вспомнить, что я когда-то написал «Приваловские миллионы», «Хлеб» и другие романы... Наступили вообще какие-то короткие времена...

Нужно появление нового Толстого или Достоевского, чтобы заставить публику читать трехэтажные романы.

Вот и все наши новости.

Поздравляю с новым годом и желаю всего лучшего всем.

Все кланяются. Целую всех.

Твой *Дмитрий.*

53

А. Ю. АННЕНСКОМУ

2 марта 1912 г. С.-Петербург.

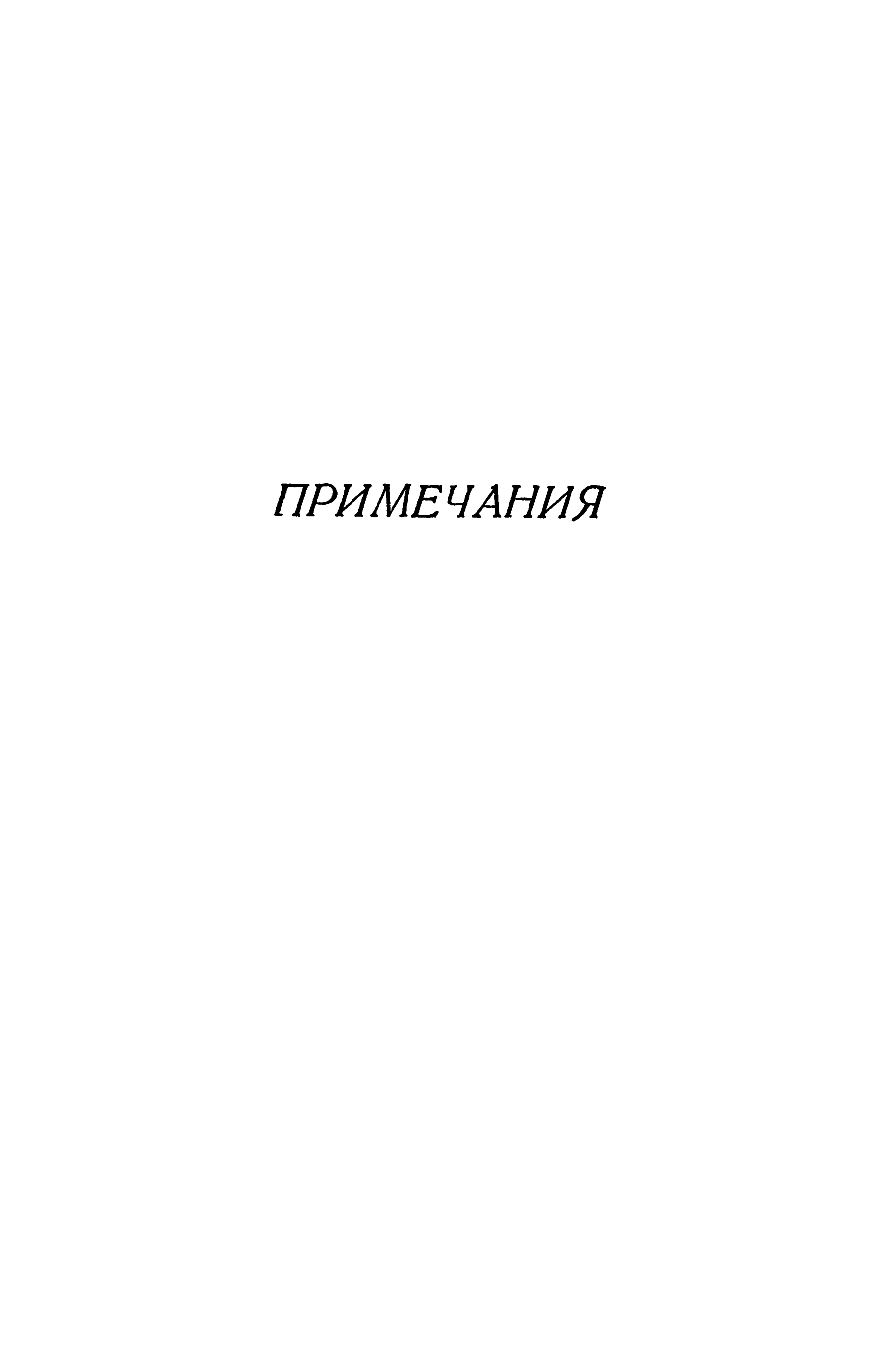
Милостивый государь
Алексей Юльевич.

Пишу Вам лежа в постели. Прошлой осенью меня разбил паралич. Поправляюсь, хотя и медленно. Все, что я умел и мог сказать, мною сказано в моих сочинениях, которых, если собрать все вместе, наберется до 100 томов, а издано около 36. Будущее неизвестно, а потому о будущей работе не загадываю.

Желаю Вам успехов.

Готовый к услугам.

Д. Мамин-Сибиряк.



ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЛЕГЕНДЫ

РАЗБОЙНИКИ

Очерки

Впервые очерки были напечатаны в газете «Русские ведомости», 1895, февраль — апрель, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

Они печатались в следующем порядке: «Аверко» (№ 45), «Савка» (№ 54), «Последние клейма» (№ 67), «Разбойник и преступник» (№ 96).

Пятый очерк «Неизвестный человек», напечатанный в «Русских ведомостях» (№ 106), при подготовке очерков для сборника «Преступники» (1902), был исключен из цикла. Он не восстановлен и во втором издании 1906 года. Из письма к издателю Д. П. Ефимову от 5 июля 1901 года видно, что первоначально писатель предполагал включить очерки в сборник «Преступники» в том составе, в каком они появились в «Русских ведомостях» (Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина — ЛБ).

Образы «разбойников» встречаются уже в ранних рассказах писателя «Красная шапка» (1876) и «В горах» (1876), в первом романе «В водовороте страстей» (1876), а также в произведениях 80-х годов: «На перевале» (1887), «Не у дел» (1888) и др.

В основу очерков положены детские впечатления писателя, устные рассказы очевидцев, а также документальные материалы, собранные автором еще в 80-х годах. Так, очерк «Последние клейма» написан на основе исторических документов, с которыми писатель ознакомился во время пребывания в 1888 году в Успенском заводе (Тобольская губерния).

Очерки явились откликом писателя на рост революционного движения в России. Прибегая для характеристики Савки и Аверки

к историческим аналогиям из времен народных восстаний под руководством Степана Разина и Емельяна Пугачева, писатель тем самым подчеркивал социальный смысл борьбы «разбойников» — проявление стихийного протеста против угнетения и эксплуатации.

В настоящем собрании сочинений текст очерков печатается по сборнику «Преступники», 1906, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 21. *Драгоннада* — так называлось в конце XVII — начале XVIII вв. принудительное размещение французских драгун в домах протестантов-гугенотов, применявшееся в качестве карательной меры и имевшее целью принудить гугенотов перейти в католичество.

ВОР

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости», 1895, № 121, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

Первоначально рассказ предназначался для сборника «Дело», изданного в 1899 году Обществом любителей российской словесности. Так, А. Н. Веселовский, редактировавший этот сборник, писал Мамину-Сибиряку: «В вашем письме была вскользь подана надежда на присылку другого рассказа вместо «Вора» (22 декабря 1894 г. — ЛБ).

Рассказ был включен автором в 1898 году в сборник «В дороге». В рецензии журнала «Мир божий» (1898, № 4) на сборник отмечалось, что многие рассказы, в том числе и «Вор», представляют собой «ряд миниатюр, превосходных по живописи и отделке».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по сборнику «В дороге», 1901, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ЗАБЫТЫЙ АЛЬБОМ

Очерк

Впервые очерк был напечатан в газете «Русские ведомости», 1896, №№ 315 и 318, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

В 1899 году очерк был включен писателем в сборник «Осенние листья». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, с исправлением опечаток по газетной публикации.

Стр. 50. *Шарко Жан Мартен* (1825—1893) — известный французский врач-невропатолог.

Стр. 65. *Волынский Артемий Петрович* (1689—1740) — государственный деятель и видный дипломат, шел вразрез с политикой Анны Ивановны и ее немецкого окружения, казнен в 1740 году.

Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660—1707) — лифляндский дворянин, состоявший на военной службе в шведской армии. Преследуемый Карлом XI за защиту прав лифляндского дворянства, бежал; служил в Саксонии, затем в России, участвовал в войне против Швеции. Был выдан по мирному договору между Саксонией и Швецией шведскому королю Карлу XII и казнен как государственный преступник.

ОЗОРНИК

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Русская мысль», 1896, № 12, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

При первом издании отдельной книжкой в 1899 году (в серии «Новая библиотека», издатель М. Д. Орехов) цензура вычеркнула сцену расправы свекора с Дуней (см. стр. 79—80), от слов: «по плечам и по спине. На ее крик выбежала старуха свекровь» и до слов: «Дунька молчала. У нее болело все тело».

Вычеркнутая сцена была восстановлена лишь в отдельном издании 1907 года.

Многократное переиздание при жизни автора свидетельствует о большом успехе рассказа среди читателей. В 1897 году А. П. Морозов переработал его в драматический этюд (в 3-х действиях) под тем же названием.

Высоко оценил рассказ рецензент журнала «Русская мысль» (1900, № 9), назвав его превосходным. Он писал: «Тип «непутевого» забулдыги Спирьки, бывшего когда-то заправским мужиком, но со смертью жены потерявшего все свое крестьянское хозяйство и попавшего таким образом в деревенские лишние люди, выхвачен из самого сердца нашей крестьянской жизни. Читатель и смеется над несуразным, нескладным Спирькой, и удивляется его удали и смекалке, и зараз же жалеет эту погибающую натуру, в которой под нескладною наружностью бьется горячее сердце, жаждущее и любви и участия».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается

по изданию: «Д. Мамин-Сибиряк. Озорник», 1907, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ХИЩНАЯ ПТИЦА

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в еженедельном журнале «Север», 1897, №№ 8—11, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

Рассказ был включен писателем в сборник «Золотая лихорадка», вышедший двумя изданиями в Екатеринбурге (цензурное разрешение первого издания — 24 марта 1900 года, второго — 30 мая 1901 года).

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по сборнику: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Золотая лихорадка», 1901, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ВОЛЧЬЯ ПЕСНЯ

Очерк

Впервые очерк был напечатан в «Журнале для всех», 1899, № 2, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

При жизни писателя очерк «Волчья песня» не переиздавался. В настоящем собрании сочинений он печатается по «Журналу для всех».

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Впервые очерк был напечатан в журнале «Русское богатство», 1901, №№ 1, 2, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

Очерк «Перекати-поле» был включен автором в цикл очерков «Медовые реки» (печатались в 1900—1901 годах в журнале «Русское богатство»).

Автограф очерка (без даты) хранится в Институте русской литературы Академии наук СССР.

В основу очерка положен реальный факт — приезд в Ялту на заработки большой группы тамбовских крестьян. С. Я. Елпатьевский писал: «Кажется, тотчас же после приезда в Ялту Д. Н. пошел на базар разыскивать «российских» натуральных людей. И нашел. Прежде всего старика квасника, — кажется, Степаном звать, — с которым и вступил в приятельство... С тамбовскими людьми познакомил Мамина тот же квасник, и тамбовские люди объяснили Мамину, что у них слухи пошли, что рус-

ский царь велел строить мост через Черное море к Царьграду и что мост будет длинный, а потому работы будет вдосталь... Великолепно изображал он мне почтеннейшего, с чудесной бородой, седого старика крестьянина, стоявшего во главе артели и державшего всю артель в ежовых рукавицах...» («Русское богатство», 1912, № 11).

В очерке нашли отражение также впечатления поездки писателя в 1894 году по Тамбовской и Воронежской губерниям. В письме из Усмани к матери от 25 июня 1894 года Мамин-Сибиряк писал: «Что тебе сказать о России в собственном смысле?.. бесконечные поля, редкие островки леса и бедные деревушки с жалкими избенками, крытыми соломой. Хорошего немного, кроме мужика, который лучше нашего уральского. Может быть, это происходит оттого, что здешний мужик очень беден» (ЛБ).

В очерке «Перекати-поле» писатель правдиво отразил положение пореформенной деревни, страдавшей от систематических неурожаев и голодовок, закабаленной помещиками и кулаками.

Очерк «Перекати-поле» был положительно оценен современной автору критикой. Так, рецензент журнала «Русская мысль» (1901, № 4) писал: «Читатель видит перед собой фигуры действующих лиц во всех подробностях, причем г. Мамин-Сибиряк обнаруживает тут свое тонкое понимание русской жизни и натуры русского мужика».

При жизни писателя очерк «Перекати-поле» не переиздавался. В настоящем собрании сочинений он печатается по журналу «Русское богатство».

Стр. 153. *Даровой надел* — так назывались нищенские наделы земли, которые получила от помещиков часть крестьян во время реформы 1861 года даром (без выкупа). Даровой надел составлял всего одну четвертую часть так называемого «указного» надела данной местности.

ИЙИ

Святочная фантазия

Впервые рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости», 1902, №№ 48, 59 (февраль, март), за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

Рассказ является откликом писателя на англо-бурскую войну. Он был опубликован еще до ее окончания.

При жизни писателя рассказ не переиздавался. В настоящем собрании сочинений он печатается по газете «Русские ведомости».

Стр. 164. *Кафры* — устаревшее наименование юго-восточных африканских народов, говорящих на языках банту.

Стр. 182. *Пелисье Жан Жак* (1794—1864) — французский маршал, участник захватнических колониальных войн Франции, был губернатором Алжира.

Изида (Исида) — древнеегипетская богиня материнства и плодородия.

Танагра — город в древней Беотии (Греция), где в середине XIX века производились археологические раскопки.

Стр. 183. *Голконда* — древний город Индии, в котором шлифовались драгоценные камни.

Стр. 185. *Китченер Гораций Герберт* (1850—1916) — английский фельдмаршал, колонизатор. Во время войны Англии против буров был начальником штаба, затем главнокомандующим английскими войсками.

МУММА

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Русская мысль», 1907, № 1, за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк».

При жизни писателя рассказ не переиздавался. В настоящем собрании сочинений он печатается по тексту журнала «Русская мысль».

Стр. 187. ...*«человек двадцатого числа»* — так в царской России иронически называли чиновников, которые получали жалованье двадцатого числа каждого месяца.

Стр. 194. *Феминизм* (от латинского femina — женщина) — общее обозначение течений в буржуазном женском движении за уравнение в правах женщин с мужчинами при сохранении основ капиталистического общества.

Стр. 197. *Король Бобеш* — персонаж из оперетты французского композитора Ж. Оффенбаха (1819—1880) «Синяя борода» (1866).

ЛЕГЕНДЫ

БАЙМАГАН

Впервые легенда была напечатана в «Сборнике Общества любителей российской словесности за 1891 год».

На первом листе рукописи легенды, хранящейся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, есть надпись: «Дм. Нарк. Мамин. Екатеринбург»; в конце рукописи — подпись и дата: «Д. Мамин. 1886 г.».

В связи с избранием Мамина-Сибиряка 25 марта 1886 года членом Общества любителей российской словесности писатель в том же году представил легенду «Баймаган» для прочтения в публичном заседании Общества. Прочтение состоялось 7 декабря 1886 года.

В журнале «Русская мысль», 1898, № 5, появилась рецензия на сборник Мамина-Сибиряка «Легенды», в который вошла и легенда «Баймаган». Рецензент писал: «Мамин-Сибиряк передает стародавние сибирские сказания, в которых вымыслы народной фантазии тесно переплетаются с подлинными историческими преданиями, сохранившимися в памяти зауральских инородцев. Г. Мамин собрал пять легенд и придал им изящную литературную форму».

На эту рецензию писатель ответил письмом к редактору «Русской мысли», в котором указывал: «...если что мной заимствовано, то исключительно язык, восточные обороты речи и характерные особенности в конструкции самой темы. Затем, из истории взята только основа легенды о Кучуме, за исключением завязки. Все остальное, то есть содержание всех легенд, характеристики действующих лиц, типы и завязки, всецело принадлежит мне, и никакими посторонними материалами я не пользовался и ничего не собирал» («Архив В. А. Гольцева», т. I, 1914).

В настоящем собрании сочинений текст легенды печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Легенды», 1898, с исправлением опечаток по рукописи и по «Сборнику Общества любителей российской словесности за 1891 год».

ЛЕБЕДЬ ХАНТЫГАЯ

Впервые легенда была напечатана в сборнике «Русские ведомости» в пользу голодающих», 1891.

В 1911 году легенда «Лебедь Хантыгая» вышла отдельной книжкой в издании «Вятского товарищества». В настоящем собрании сочинений текст легенды печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Лебедь Хантыгая», 1911, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

МАЙЯ
Легенда

Впервые легенда была напечатана в «Московской газете», 1892, №№ 352 и 355.

В настоящем собрании сочинений текст легенды печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Легенды», 1898, с исправлением опечаток по газетной публикации.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ОТ УРАЛА ДО МОСКВЫ
Путевые заметки

Впервые путевые заметки были напечатаны в газете «Русские ведомости»: в 1881 году в №№ 269, 276, 283, 284, 312 (октябрь — ноябрь) и в 1882 году в №№ 8, 17, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 40 (январь — февраль), за подписью: «—ъ».

Это было первое значительное произведение, появившееся в печати после возвращения Мамина-Сибиряка в 1877 году из Петербурга на Урал. Оно написано в 1881 году в Москве.

В связи с опубликованием первой главы очерков Мамин-Сибиряк писал матери 6 октября 1881 года: «...я как приехал в Москву, начал описывать свое путешествие в виде отдельных писем и первое письмо передал в «Русские ведомости»; прошло около трех недель, и я думал, что его не напечатают, хотел идти сейчас брать рукопись назад, но развертываю сегодняшний номер, и — о, радость! — мое письмо напечатано все целиком... Вот... мой первый успех, которого я не мог бы достичь, сидя в Екатеринбурге. Мне дороги не деньги — хорошее начало после вынесенных мной испытаний укрепляет мой неунывающий дух» (ЛБ).

Редакция «Русских ведомостей» высоко оценила уже первые главы путевых заметок. Мамин-Сибиряк писал, что они «произвели некоторый фурор, и мне говорят: «Пишите, что хотите, только больше» (письмо к матери от 8 октября 1881 года — ЛБ).

Материал для путевых заметок писатель собирал в течение длительного времени, но особенно интенсивно с 1877 года (после возвращения из Петербурга). В автобиографической заметке

Мамин-Сибиряк писал, что этот период имел «особенно важное значение в жизни» писателя. «Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом... За внешними формами выступило глубокое внутреннее содержание, обусловливавшееся историей Урала, его разнообразными этнографическими элементами и особенно богатыми экономическими условиями».

Много интересных сведений сообщил писателю его знакомый Погадаев (мелкий уральский служащий), что Мамин-Сибиряк сам отмечал в письме к матери от 26 ноября 1881 года.

Путевым заметкам «От Урала до Москвы» писатель придавал большое значение: «...не смущайся... резким тоном, — это мое достоинство и вместе — недостаток, — писал он матери. — Моя цель — самая честная: бросить искру света в окружающую тьму» (письмо от 6 октября 1881 года — ЛБ).

Многие поставленные в путевых заметках проблемы получили дальнейшую разработку в художественных произведениях писателя («Горное гнездо», «Бойцы», «Золотуха» и др.).

Содержащаяся в путевых заметках критика в ряде случаев вызывала полемику. Так, в газете «Екатеринбургская неделя», 1882, № 4, появилась корреспонденция из Нижнего Тагила, за подписью «Г», автор которой, стремясь всячески оправдать администрацию заводов, упрекал Мамина-Сибиряка в «глумлении над человеческой личностью». Возражения корреспондента были настолько неубедительны, что писатель не счел нужным отвечать ему в печати.

При жизни писателя путевые заметки не переиздавались. В настоящем собрании сочинений они печатаются по газете «Русские ведомости».

Стр. 265. *Князь Сан-Донато.* — Этот титул приобрел Анатолий Николаевич Демидов, купив княжество Сан-Донато (недалеко от Флоренции); после его смерти титул перешел к его наследнику Павлу Павловичу Демидову и официально был присвоен последнему русским царем в 1872 году.

Стр. 267. *Верещагин Петр Петрович* (1836—1886) — русский живописец-пейзажист.

Стр. 271. *Коммерц-коллегия* — была создана Петром I в

1718 году, ведала внутренней и внешней торговлей, а с 1731 года также и делами горной промышленности.

Стр. 274. *Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович* (1771—1853) — выдающийся естествоиспытатель, разносторонний ученый. Ему принадлежит четырехтомный труд «Museum Demidoff», содержащий описание естественно-научной коллекции и библиотеки, подаренных в 1803 году П. Г. Демидовым Московскому университету.

Стр. 277. *П. П. Демидов, князь Сан-Донато, даже не подозревает существования всех этих проделок...* — В 1885 году в статье «Один из анекдотических людей» (см. настоящий том) Мамин-Сибиряк опровергает утверждения буржуазных газет о том, что П. П. Демидов был якобы гуманным и добродетельным уральским горнозаводчиком.

Стр. 289. *Бунаков Николай Федорович* (1837—1904) — педагог буржуазно-демократического направления, автор нескольких учебников и методических пособий по первоначальному обучению, за просветительскую деятельность подвергался преследованиям царского правительства.

Стр. 297. *Аврора Карловна Карамзина* — жена Павла Николаевича Демидова, а после его смерти жена Андрея Николаевича Карамзина, сына выдающегося русского писателя и историка Николая Михайловича Карамзина.

Стр. 335. *Погодим, Игнаша...* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Забытая деревня».

Стр. 376. *...с своим «врачующим простором».* — В стихотворении Н. А. Некрасова «Тишина»: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»

...остатками «величавого типа славянки»... — В поэме Н. А. Некрасова «Мороз Красный нос»:

Однакоже речь о крестьянке
Затеяли мы, чтоб сказать,
Что тип величавой славянки
Возможно и ныне сыскать.

Стр. 378. *Оттер (Оттар)* — норвежец, совершивший около 890 года путешествие вдоль западных берегов Норвегии и достигший Белого моря; жителей берегов рек Мезени и Северной Двины он называл биармийцами.

Стр. 385. *...дремучий сибирский лес, который привел в восхищение г. Немировича-Данченко.* — Здесь речь идет об очерках

Вас. И. Немировича-Данченко «Урал», которые печатались в 1881 году (начиная с IX книги) в журнале «Русская речь».

Стр. 393. *...можно сказать словами Расплюева: «Н-да, могу сказать: была игра».* — В комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» Расплюев говорит: «Была игра, — ну, уж могу сказать, была игра!..» (Действие 2-е, явление 2-е.)

Стр. 399. ... *под Горным Дубняком да под Телишем в деле был* — селения в Болгарии, недалеко от Плевны, где во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов были сражения.

Стр. 400. *Башибузуки* — буквальный перевод с турецкого: «сорви голова» — так называли солдат особых турецких отрядов.

ОДИН ИЗ АНЕКДОТИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

Из уральской летописи

Впервые статья была напечатана в казанской газете «Волжский вестник», 1885, №№ 77 и 78, за подписью: «Оник».

При жизни писателя статья не переиздавалась. В настоящем собрании сочинений она печатается по газете «Волжский вестник».

Стр. 405. *...изданием своей собственной газеты.* — На средства П. П. Демидова издавалась в Петербурге вечерняя ежедневная газета «Россия» с 19 февраля по 31 декабря 1880 года. Официальным редактором-издателем ее был Л. Спичаков.

Стр. 412. *...как почтили его память, например, «Новости».* — Речь идет о фельетоне «Вчера и сегодня», напечатанном в газете «Новости и биржевая газета» (№ 20, 1885).

КРИЗИС УРАЛЬСКОЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ

Впервые статья была напечатана в газете «Екатеринбургская неделя», 1886, №№ 29, 30, 31, за подписью: «NN». Она была задумана в начале 1886 года, во время пребывания в Москве, что видно из письма к родным от 16 февраля 1886 года (ЛБ).

Статья вызвала полемику на страницах «Екатеринбургской газеты». В номере от 31 августа 1886 года была напечатана статья «По вопросу о горючем материале на Урале», за подписью: «Хр. Таль», в которой автор, возражая Мамину-Сибиряку, утверждал, что невозможно и нецелесообразно переводить промышленность Урала с древесного на минеральное топливо.

Защищая свою точку зрения, Мамин-Сибиряк ответил статьей «Значение минерального топлива для Урала», за подписью: «NN» («Екатеринбургская неделя», 28 сентября 1886 года).

Статья «Кризис уральской горнопромышленности» при жизни писателя не переиздавалась. В настоящем собрании сочинений она печатается по газете «Екатеринбургская неделя».

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Впервые автобиографическая заметка была опубликована А. С. Пругавиным в журнале «Новая жизнь», 1913, № 1, под заглавием «Д. Н. Мамин-Сибиряк о себе самом», с предисловием, в котором сообщалось: «...я задумал путем издания особой книги возможно подробнее познакомить публику с биографиями молодых писателей и с их литературной деятельностью.

В этих видах я обратился к молодым беллетристам с просьбой доставить мне сведения о себе как биографического, так и библиографического характера, написанные в третьем лице. Просьба моя была исполнена всеми теми писателями, к которым я обратился с нею. Но предполагавшееся мною издание не состоялось.

Сведения, полученные мною от Д. Н. Мамина-Сибиряка, приводятся мной ниже без всяких изменений».

Автобиографическая заметка была, вероятно, написана в 1886 году в Москве, где писатель жил с августа 1885 до мая 1886 года. Вернувшись из Москвы в Екатеринбург, он просил брата Владимира в письме от 29 сентября 1885 года узнать у Пругавина «относительно литературного календаря и наших автобиографий» (ЦГАЛИ).

В настоящем собрании сочинений автобиографическая заметка печатается по журналу «Новая жизнь», 1913, № 1. Заглавие принадлежит редакции.

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Воспоминания

Отдельной книгой воспоминания впервые были напечатаны в 1902 году, в серии «Библиотека детского чтения», издание журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок».

В книгу «Из далекого прошлого» вошли рассказы и очерки, печатавшиеся в течение 1894—1900 годов в разных журналах: «Казнь Фортунки», с подзаголовком «очерк» — в «Русской

школе», 1894, № 1; «О книге» — в «Детском чтении», 1898, № 11; «Зеленые горы» — в «Детском чтении», 1898, № 12; «Отрезанный ломоть» — в «Детском чтении», 1899, №№ 2, 3, 6, 8, 11, 1900, № 10; «История одного пильщика» — в «Юном читателе», 1900, № 8.

В очерки «О книге» вошел в переработанном виде очерк, напечатанный в «Русских ведомостях», 1894, № 292, под названием «Книга. Очерки далекого прошлого».

При подготовке воспоминаний к изданию отдельной книгой писатель вновь отредактировал их, устранил повторения и внес ряд исправлений. Значительному сокращению, а в отдельных случаях переработке, подвергся рассказ «Казнь Фортунки». Это объясняется, очевидно, тем, что в своей первой редакции он не был предназначен для детского чтения.

О возникновении замысла воспоминаний писатель впервые сообщал в письме к матери в сентябре 1891 года: «Нужно будет написать на всякий случай воспоминания о всех... простых и хороших людях, среди которых прошло мое детство» (ЛБ). В другом письме к матери, от 23 мая 1899 года, Мамин-Сибиряк отмечал, что книга воспоминаний его «интересует, как бытовой документ» (ЦГАЛИ).

При жизни писателя книга «Из далекого прошлого» была переиздана дважды — в 1908 и 1911 годах, в серии «Библиотека для семьи и школы», издание редакции журналов «Юная Россия» и «Педагогический листок».

В настоящем собрании сочинений воспоминания печатаются по изданию: «Из далекого прошлого. Воспоминания», 1911, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 446. *Ормузд и Ариман* — греческие наименования древнеперсидских богов Ахурамазды (олицетворявшего доброе начало) и Анхра-Майнью (олицетворявшего злое начало).

Стр. 447. *Еще совсем малюткой, в колыбели...* — Из стихотворения В. Гюго «Моей дочери».

Стр. 499. *...знаменитый «Английский милорд».* — Имеется в виду «Повесть о приключениях аглицкого милорда Георга, сочинение Матвея Комарова», 1782.

«Никласа Медвежью лапу» читал? Нет? А «Битву русских с кабардинцами»? Тоже нет? А «Лесного бродягу»? — Здесь речь идет о лубочных изданиях: Зотов — «Никлас Медвежья лапа, атаман контрабандистов, или Некоторые черты из жизни Фридриха II», 1837; Зряхов — «Битва русских с кабардинцами, или

Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», 1844; Ферри — «Лесной бродяга», перевод с французского, 1852.

Стр. 559. *«Черный ящик», «Таинственный монах», «Шапка юродивого, или Трилиственник».* — Речь идет о лубочных изданиях: Масальский — «Черный ящик», 1853; Зотов — «Таинственный монах», 1857; Зотов — «Шапка юродивого, или Трилиственник», 1860.

Стр. 562. *«Живописное обозрение»* — иллюстрированный еженедельный журнал, издававшийся в 1835—1844 годах.

Стр. 564. *Аммалат-бек* — главный герой одноименной повести (1832) А. А. Бестужева-Марлинского.

Гирей сидел потупив взор... — В поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»:

Гирей сидел потупя взор;
Янтарь в устах его дымился.

Стр. 567. *«Ключ к таинствам науки».* — Имеется, очевидно, в виду «Ключ к таинствам натуры», 1804, перевод А. Ф. Лобзина.

«Театр судоведсния». — Речь идет о книге «Театр судоведения, или Чтение для судей и всех любителей юриспруденции», собрал В. Новиков, 1791—1792.

«Торжествующий Хамелеон, или Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо» — перевод с немецкого, книга вышла в 1792 году.

«Нравственные письма к Лиде о любви душ благородных». — Имеется в виду: «Нравственные письма к Лиде о любви благородных душ, соч. г. Эккартсгаузена», перевод с немецкого, 1800.

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену». — Речь идет об издании: «Иртыш, превращающийся в Ипокрену, ежемесячное сочинение, издаваемое от Тобольского главного народного училища», 1789—1791.

Стр. 570. *«Что ни время, — сказал Гейне, — то и птицы; что ни птицы, то и песни»* — прозаический перевод первых двух строк последней строфы поэмы Г. Гейне «Атта Троль».

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Письма Д. Н. Мамина-Сибиряка мало известны широкому читателю. Из 1700 писем (подсчет приблизительный), находящихся в различных рукописных фондах (см. «Д. Н. Мамин-Си-

биряк. Рукописи и переписка», Гослитмузей, 1949), опубликовано всего лишь 11 писем к В. А. Гольцеву («Архив В. А. Гольцева», т. 1, 1914), одно письмо к А. П. Пятковскому («Русская старина», 1916, № 12) и 9 писем к Д. Н. Анучину («Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», 1939, вып. 2).

В письмах Мамина-Сибиряка освещаются многие вопросы личной и творческой биографии писателя, они помогают полнее и глубже уяснить мировоззрение, определить особенности художественного творчества. Переписка с видными представителями русской литературы, искусства и науки: М. Е. Салтыковым-Щедриным (письма Мамина-Сибиряка к Салтыкову-Щедрину не сохранились), В. Г. Короленко, И. Е. Репиным, Д. Н. Анучиным, М. М. Стасюлевичем, А. Н. Пыпиным и др., свидетельствует о его широких литературных и научных связях.

В настоящее собрание сочинений вошло 53 письма. Они расположены в хронологическом порядке. Публикации каждого письма предшествуют принадлежащие редакции порядковый номер и указание адресата. Заключенные в квадратные скобки слова также принадлежат редакции. Явные описки исправлены, недописанные слова раскрыты без всяких оговорок. В конце примечаний помещен указатель имен, упоминаемых в письмах.

Условные сокращения: ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

1

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые. Датируется на основании письма Мамина-Сибиряка от 7 апреля 1870 года, из которого видно, что публикуемое письмо написано в марте того же года. Начало и конец письма не сохранились.

Реальное тагильское училище — было открыто в 1862 году.

Что, например, я приобрел в 4 года учения? — То есть за два учебных года (1866/1867 и 1867/1868) в Екатеринбургском духовном училище и за два года (1868/1869 и 1869/1870) в Пермской духовной семинарии.

Куда нам будут годны эти классики? — В ряде последующих писем этого периода Мамин-Сибиряк также резко критикует

учебные программы и методику преподавания в духовной семинарии, в том числе формальный подход к изучению древних писателей.

2

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

На первой странице в левом верхнем углу имеется пометка отца Мамина-Сибиряка: «Получено 20 янв. 71 г.».

Николай Николаевич Варушкин — соученик Мамина-Сибиряка.

Никон Терентьевич Сторожев — висимский заводской служащий, переезжал в это время на постоянное жительство в Пермь.

Архангельские — семья висимского дьякона Тимофея Архангельского.

Коля — старший брат писателя.

Евгения Тимофеевна Архангельская-Сторожева — жена Никона Терентьевича Сторожева, дочь висимского дьякона Тимофея Архангельского.

Владимир Тимофеевич Архангельский — сын Тимофея Архангельского, окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, работал в Перми врачом.

Мария Герасимовна Архангельская — жена Тимофея Архангельского, после смерти мужа переехала в Пермь.

...помощник, новенький, такой скотина... — помощник инспектора семинарии.

3

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Архангельские — см. примечания к письму № 2.

...за антирелигиозные мысли исключили... — В неопубликованных воспоминаниях «Худородные» (Свердловский областной архив) о первом годе обучения в Пермской духовной семинарии Мамин-Сибиряк писал: «Я вел себя уже как атеист. Этот атеизм был, конечно, полудетским, неосмысленным, но почва была, и мы с Рязановым (товарищем. — *Ред.*) целые дни проводили в диспутах богословского характера».

Коля — см. примечания к письму № 2.

Мария Бобровская — крестьянка из Висима.

Миша Гаряев — сын священника Николая Гаряева, товарища отца писателя.

...есть места хуже Висима. — Церковный приход в Висиме был очень бедный и малочисленный (в 1852 году было всего 236 дворов, из них 59 старообрядческих); из церковных ведомостей видно, что священник за год получал «от заводовладетеля 142 р. 86 коп. да около 80 рублей «кружечного сбора».

4

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...остался на ветеринарном отделении... — Мамин-Сибиряк стремился поступить на медицинское отделение Петербургской медико-хирургической академии. Не выдержав вступительного экзамена в 1872 году, он в 1873 и 1874 годах снова держал экзамен, но безуспешно. В письме к отцу от 12 июля 1875 года он писал, что терпит «постоянные неудачи при экзаменах на медицинском отделении».

...более трех лет на первых двух курсах... — Мамин-Сибиряк был на втором курсе 2 года.

...кормить свою голову и учиться. — Здесь речь идет о том, что регулярной помощи от отца в студенческие годы Мамин-Сибиряк не получал.

Владимир Тимофеевич Архангельский — см. примечания к письму № 2.

...я стою на своих ногах... — В автобиографической заметке, написанной в третьем лице, Мамин-Сибиряк сообщал: «В Петербурге, когда пришлось перейти на «свой хлеб», он (то есть М.-С. — *Ред.*) три последних года перебивался работой в газетах и мелких журналах — был репортером, печатал мелкие рассказы и повести».

Карьера Володи пока определилась... — Брат Мамина-Сибиряка Владимир успешно учился во втором классе екатеринбургской гимназии.

...придется позаботиться Лизину крестному... — Сестра писателя Елизавета училась в четвертом классе висимской начальной школы; ее крестным отцом был записан в церковных книгах Мамин-Сибиряк.

...знакомы с настоящим края и его прошедшим. — Отец Мамина-Сибиряка много занимался изучением Урала, состоял кор-

респондентом Уральского общества любителей естествознания. В октябре 1875 года ему была присуждена премия за труды по наблюдению над грозами.

...книжка о доме Демидовых... — Речь идет о книге: «Г. Спасский. Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова», СПб. 1833, которая имелась в библиотеке отца писателя.

...жил один Демидов на одном острове Черноисточинского пруда... — Об этом факте Мамин-Сибиряк писал в книге «Из далекого прошлого».

Аврора Карловна — жена П. Н. Демидова, после смерти последнего жена А. Н. Карамзина, сына выдающегося русского писателя и историка Н. М. Карамзина.

5

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...начало положено... — В 1875 году был напечатан рассказ Мамина-Сибиряка «Старцы» («Сын отечества», №№ 15 и след.). Другие, напечатанные в этом году, произведения пока не установлены. В 1875 году велись работы также над романами «В водовороте страстей» и «Приваловские миллионы», над рассказами «Легкая рука» (самая ранняя редакция очерков «Бойцы»), «Мертвая вода» (первоначальное название рассказа «Максим Бенелявдов»).

6

Печатается по подлиннику, хранящемуся в Институте русской литературы Академии наук СССР (архив П. Я. Дашкова).

Адресатом, повидимому, является Александр Евгеньевич Кехрибарджи, редактор-издатель ежемесячного «Журнала русских и переводных романов и путешествий», в апрельской, майской и июньской книжках которого в 1876 году был напечатан роман Мамина-Сибиряка «В водовороте страстей». Фактическим издателем журнала был владелец типографии А. Траншель (выведен в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко» под именем Райского). Мамин-Сибиряк был обманут издателем, о чем он писал отцу 8 сентября 1876 года: «Меня обманул редактор одного журнала, где печатался мой роман, за который я должен был получить около 500 рублей, а пока получил всего 50, так что принужден начинать дело судебным порядком». Несмотря на

решение суда в пользу писателя, ему не удалось получить гонорар, так как издатель скрылся (см. об этом также в романе «Черты из жизни Пепко»).

7

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Николай — старший брат писателя.

...неудачной поездкой в Петербург... — Мамин-Сибиряк приехал в Москву 31 августа 1881 года с намерением поступить в Московский университет, но, узнав, что он пропустил срок подачи заявления (15 августа), в конце сентября поехал с той же целью в Петербург, где ему также было отказано в приеме. Возвратившись в Москву, он жил здесь до мая 1882 года.

...большой рассказ принят в «Слово». — Имеется в виду рассказ «Мудреная наука», который был напечатан под названием «На рубеже Азии» в журнале «Устои» (март, апрель, май, 1882), так как «Слово» было закрыто по распоряжению царского правительства.

...мое письмо напечатано все целиком... — Речь идет о путевых заметках, которые печатались под названием «От Урала до Москвы» в «Русских ведомостях», начиная с № 269.

...меня заботит ваша участь. — После смерти отца (1878) на иждивении Мамина-Сибиряка остались мать, два брата и сестра.

8

Печатается по подлиннику, впервые. Первая часть письма, кончая словами: «разделял заблуждения своего времени», находится в ЛБ, остальная в ЦГАЛИ.

«Старатели» — очерк был напечатан в журнале «Русская мысль» (январь, февраль), впоследствии переименован: «В горах».

«На рубеже Азии» — см. примечания к письму № 7.

«Все мы хлеб едим...» — рассказ напечатан в пятой книжке журнала «Дело», 1882.

«В камнях» — рассказ напечатан в третьей книжке журнала «Дело», 1882.

Мария Якимовна Алексеева — жена Мамина-Сибиряка.

В резервах у меня стоит громадный роман... — Речь идет

о «Приваловских миллионах» (напечатаны в «Деле», 1883, №№ 1—5, 7—11).

Николай Николаевич Пономарев — родственник писателя по матери, военный чиновник в Свеаборге.

Елена Николаевна — дочь Николая Николаевича Пономарева.

Александра Ивановна Пантелеймонова — екатеринбургская знакомая Маминых.

9

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...фельетон в «Голосе»... — Фельетон в газете «Голос» (1882, № 98) принадлежал критику А. И. Введенскому.

«В камнях» — см. примечания к письму № 8.

Рассказ, который должен появиться в «Устоях»... — Речь идет о рассказе «На рубеже Азии» (см. примечания к письму № 7).

«Коли бедна ты»... — из стихотворения Н. А. Некрасова «Дядюшка Яков».

Статью из «Екатеринбургской недели» я получил, но ее не стоило списывать... — Мамин-Сибиряк думал, что «Екатеринбургская неделя» будет отвечать на его корреспонденцию в «Русских ведомостях» (№ 38) — по поводу ухода в отставку главноуправляющего Тагильских заводов И. И. Вольстедта, оставившего у заводского населения, как писал Мамин-Сибиряк, «самую тяжелую по себе память».

...фельетоном «От Урала до Москвы»... — См. примечания к письму № 7.

10

Печатается по подлиннику (ГПБ), впервые. В левом углу вверху первой страницы письма рукой А. Н. Пыпина помета: «Отвечено, что принят рассказ «В худых душах...» и не принята «Сорочья похлебка». Июль».

Рассказ «Нимфа». — Над ним Мамин-Сибиряк работал, начиная с 1875 года (рукопись хранится в Свердловском областном архиве), напечатан под заглавием «Максим Бенелявдов» в журнале «Дело», 1883, №№ 2 и 3.

«Старатели» — см. примечания к письму № 8.

«В худых душах...» — рассказ напечатан в № 12 «Вестника Европы» за 1882 год.

«Сорочья похлебка. Очерки переходного времени бурсы». — Полностью произведение не опубликовано, отдельные фрагменты вошли в книгу воспоминаний «Из далекого прошлого» (1902).

11

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

...а я буду давить законы... — Мамин-Сибиряк думал одно время заняться адвокатурой.

Александра Ивановна Пантелеймонова — см. примечания к письму № 8.

Колченоговское дело. — Речь идет о корреспонденции Мамина-Сибиряка по поводу судебного процесса по делу кушвинских купцов Колченоговых о поджоге своих магазинов с целью получить страховую премию (в ЦГАЛИ хранится обвинительный акт, которым писатель пользовался для своей корреспонденции).

Николай Игнатьевич Ковшевич-Матусевич — товарищ В. Н. Мамина по университету; впоследствии судья в Билимбаевском заводе (Пермская губ.).

12

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

Очерк «Золотуха» — помещен во 2-й книжке «Отечественных записок» за 1883 год. 19 декабря 1882 года М. Е. Салтыков-Щедрин сообщил Мамину-Сибиряку, что «редакция «Отечественных записок» охотно поместит «Золотуху» в одном из ближайших номеров», и предложил гонорар по 100 рублей за лист. В письме к Г. З. Елисееву от 15 декабря 1882 года М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Недавно... Мамин прислал прекраснейшие очерки золотопромышленности на Урале».

Колченоговское дело — см. примечания к письму № 11.

Записки Ключевского. — Имеются в виду студенческие записи университетских лекций Ключевского, которые Мамин-Сибиряк очень ценил, считая их более полными, нежели печатные издания, подвергавшиеся цензурному просмотру.

...ибо когда еще напечатают статью... — О каком произведении идет речь — установить не удалось.

13

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

...роман «Привaловские миллионы» встречен критикой холодно... — Речь идет о том, что в прессе о романе не было отзывов.

Вукол Михайлович Лавров — редактор-издатель журнала «Русская мысль».

Николай Игнатьевич Ковшевич-Матусевич — см. примечания к письму № 11.

14

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые. В конце письма рукой брата писателя Владимира: «Получено 11 ноября».

Александра Ивановна Пантелеймонова — см. примечания к письму № 8.

Рафаил Андреевич Бельтюков — учился с Маминым-Сибиряком в Пермской духовной семинарии, потом там же — помощник инспектора.

«Горное гнездо» — роман напечатан в «Отечественных записках», 1884, №№ 1—4.

Музыкальные вечера с «дядюшкой»... — Речь идет о скрипаче В. И. Мещерском из театрального оркестра; он был также преподавателем музыки в Уральском горном училище.

...узнай имя и отчество Лаврова... — См. примечания к письму № 13.

«Наши инородцы». — При жизни писателя очерк не был напечатан (рукопись хранится в ЛБ).

...поклон Колюте — Ковшевичу-Матусевичу Николаю Игнатьевичу (см. примечания к письму № 11).

Василий Иванович Знаменский — товарищ В. Н. Мамина, студент Московской консерватории.

Волянский — студент-медик Московского университета, товарищ В. Н. Мамина.

15

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

«Золотуха» для меня сделала то, что называется «литературным именем». — См. примечания к письму № 12.

...где процветает «Екатеринбургская неделя». — Газета «Екатеринбургская неделя» защищала интересы горнопромышленников, ее редактором-издателем в 1883—1884 годах был инженер П. К. Штейнфельд, ставленник уральских заводчиков.

...о мальчике в штанах и мальчике без штанов... — Персонажи из книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом».

Паша — Прасковья Александровна Колесникова, двоюродная сестра писателя.

16

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...за «Новостями» около 100 р.... — В «Новостях» в 1884 году печатались «Письма с Урала».

...он принят и пойдет в ноябре... — Речь идет о рассказе «Осип Иванович».

...поправляю рассказ для «Вестника Европы»... — Повидимому, речь идет о рассказе «Лётные».

...пиэсу кончил... — Пьеса «На золотом дне» была написана в Екатеринбурге в 1885 году. В Москве Мамин-Сибиряк подверг ее переработке, после чего она стала называться «Золотопромышленники».

В «Наблюдателе» лежат моих два рассказа... — О каких рассказах идет речь, установить не удалось.

Николай Николаевич Бахметьев — секретарь редакции журнала «Русская мысль».

Николай Яковлевич Андреев — инженер, работал в Екатеринбурге.

От Андрюши получил письмо... — От Колесникова Андрея Александровича, двоюродного брата Мамина-Сибиряка.

Авдотья Матвеевна Луканина — тетка Мамина-Сибиряка.

17

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...моя статья «Лётные» не будет напечатана... — «Лётные» были напечатаны в «Наблюдателе», 1886, №№ 2, 3.

18

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Вас беспокоит критика «Сына отечества»... — Речь идет о рецензии в «Сыне отечества» (1886, № 3) на рассказ «Поправка доктора Осокина».

Арсений Иванович Введенский (псевд. Аристархов) — либеральный критик, неоднократно писал о Мамине-Сибиряке.

Всего четыре года, как я пишу... — Здесь Мамин-Сибиряк имеет в виду начало печатания своих произведений в «больших» журналах (1881).

Коробок — плетеный кузов летнего экипажа.

Егор Яковлевич Погадаев — мелкий служащий, близкий знакомый Мамина-Сибиряка, сообщил писателю много интересных фактов из уральской жизни, которые были использованы им в своих произведениях.

О Паше уж не пишу. — Прасковья Александровна Колесникова, двоюродная сестра Мамина-Сибиряка, умерла в 1886 году.

...коллекцию портретов. — Портреты выдающихся русских писателей Салтыкова-Щедрина, Добролюбова, Толстого и др. (некоторые портреты сохранились, находятся в мемориальном музее Мамина-Сибиряка в Свердловске).

19

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

Леонид Николаевич Чечулин — член Екатеринбургского окружного суда. В связи с его смертью Мамин-Сибиряк писал в письме к матери от 19 февраля 1886 года: «Это был один из редких моих друзей... он не кривил душой и резал всегда правду».

Орлов — повидимому, Владимир Федорович Орлов, учитель железнодорожной школы, некоторое время был учителем детей Л. Н. Толстого (см. Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 758).

20

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...статейку для публичного чтения. — В заседании Общества любителей российской словесности была прочитана 7 декабря 1886 года легенда Мамина-Сибиряка «Баймаган».

...сборник в память 75-летнего существования Общества... — Сборник начал готовиться в 1886 году, вышел в свет в 1891. В нем была напечатана легенда Мамина-Сибиряка «Баймаган».

«Хорошо быть генералом, черт возьми!» — В 5-м действии (явление 1-е) «Ревизора» Н. В. Гоголя городничий говорит: «А, черт возьми, славно быть генералом!»

О напечатанных главах моего романа... — Имеется в виду роман «На улице», который печатался в «Русской мысли», №№ 3—8.

К пасхе кончу переделку романа... — Переделка романа «На улице» была закончена в конце апреля 1886 года.

21

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Будут читать последний рассказ гр. Толстого... — Присутствовал ли Мамин-Сибиряк на чтении повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» — установить не удалось. В 1899 году в журнале «Русская мысль» (кн. I) появился рассказ Мамина-Сибиряка «Суд идет». Буренин в «Новом времени» (1899, 5 февраля), основываясь на некотором сходстве сюжета этого рассказа с повестью «Смерть Ивана Ильича», необоснованно обвинял Мамина-Сибиряка в плагиате. На это писатель отвечал в письме к матери 8 февраля 1899 года: «Я не читал ни «Смерти Ивана Ильича», ни «Крейцеровой сонаты».

...мой роман встречен Скабичевским в «Новостях» очень неприязненно... — Речь идет о рецензии Скабичевского на роман «На улице».

22

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

«Маляйко» — рассказ напечатан в «Северном вестнике», (1887, №№ 10, 11) под названием «Нужно поощрять искусство».

Вениамин Осипович Португалов — врач и публицист. В 1863 году был выслан в Шадринск, а затем в Чердынь. Сотрудничал в «Деле», «Русской мысли», «Русском богатстве», «Русских ведомостях».

23

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

За роман меня еще обругали. — Речь идет о рецензии в «Русском богатстве» (№ 4) на роман «На улице».

...уезжаем в Крым... — В Крыму Мамин-Сибиряк в этом году не был.

Твой тяжеловес... — то есть топаз.

Кончаю на днях роман и повесть... — Роман «На улице» и повесть «Наши».

24

Печатается по подлиннику (ЛБ). Впервые письмо опубликовано в «Архиве В. Гольцева», т. 1, 1914.

...пока печатаю в «Наблюдателе»... — В «Наблюдателе» были напечатаны не принятые редакцией «Русской мысли» пьеса «Золотопромышленники», 1887, № 10, и роман «Именинник», 1888, №№ 1—4.

Осенью было начал «агроматнеющий» роман... — Роман «Три конца».

Митрофан Нилович Ремезов — беллетрист, сотрудник «Русской мысли».

25

Печатается по подлиннику (ЛБ). Впервые письмо напечатано в «Записках отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», 1939, вып. 2.

...не видел m-me Нейман. — О ком идет речь, установить не удалось.

Александр Андреевич Миславский — врач, служил в Верх-Исетском заводе.

Онисим Егорович Клер — в 1870 году огранизовал в Екатеринбурге Уральское общество любителей естествознания; автор ряда работ по ботанике, археологии, краеведению.

...записаться в члены археологического общества... — В 1887—1888 годах Мамин-Сибиряк делал доклады в Московском археологическом обществе. В 1910 году был избран в члены-корреспонденты этого общества.

...для своей истории Урала... — Еще в 1884 году Мамин-Сибиряк поместил в газете «Новости» ряд очерков «История Урала».

Михаил Алексеевич Веселов — археолог, был управляющим приисками на Южном Урале. Известны его археологические работы по Оренбургской губернии. О нем Мамин-Сибиряк писал в очерке «Поездка на г. Иремель» («Новости», 1889).

Очерк «Город Екатеринбург» — напечатан в справочнике на 1889 год: «Город Екатеринбург», издание А. М. Симонова.

...переделываю пиэсу... — «Золотопромышленники» (см. примечания к письму № 24).

26

Печатается по подлиннику (ГПБ), впервые.

«Старая Пермь» — очерки напечатаны в «Вестнике Европы», 1889, № 7.

...обругали за вышедшую книжку «Уральских рассказов». — Речь идет о рецензии в № 9 «Северного вестника» за 1888 год.

...мне уже возвратили три последних статьи... — Редакция «Вестника Европы» не приняла рассказ «Лётные» (напечатан в «Наблюдателе») и роман «На улице» (напечатан в «Русской мысли»), а также «Сорочью похлебку» (очерк остался ненапечатанным).

27

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые. В правом верхнем углу имеется пометка: «№ 10, 25 февр. Выдать издания, какие есть».

...не упускаю случая записывать все, что касается этнографии... — В архиве Мамина-Сибиряка имеются многочисленные фольклорные записи, сделанные собственноручно или полученные от других лиц, например, «Записи рекрутских песен» (ЦГАЛИ).

Открытый лист — был выдан Мамину-Сибиряку 25 февраля 1889 года. Сохранилась в библиотеке писателя «Программа для собирания этнографических сведений, составленная этнографическим отделом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», Москва, 1887.

28

Печатается по подлиннику (ЛБ). Впервые письмо напечатано в «Архиве В. А. Гольцева», т. 1, 1914.

«...влеченье — род недуга...» — В монологе Репетилова («Горе от ума», д. 4, явл. 4): «А у меня к тебе влеченье, род недуга, любовь какая-то и страсть».

«Самоцветы» — очерк был закончен 25 октября 1889 года, печатался в «Русской мысли», 1890, №№ 3—4.

...г. Шелгунов... печатает о Юзовских заводах... — Здесь имеются в виду печатавшиеся в 1889 году Н. В. Шелгуновым в «Русской мысли» «Очерки русской жизни».

Мы хлопочем лет шесть о второй газете... — Кроме попыток получить разрешение на издание в Екатеринбурге второй газеты, Мамин-Сибиряк вместе с некоторыми своими товарищами добивался в 1885 году приобрести «Екатеринбургскую неделю», но она была продана Г. А. Тиме (1885), а в 1886 году купцу А. М. Симонову.

Надежда Васильевна Остроумова — сотрудница «Екатеринбургской недели». Отзыв Н. В. Шелгунова о ней напечатан в «Русской мысли», 1890, № 1.

29

Печатается по подлиннику (ЛБ). Впервые опубликовано в «Архиве В. А. Гольцева», т. 1, 1914.

...уничтожить роман Мухина с Катрей... — В первоначальной редакции романа «Три конца» отношения управляющего Мухина с горничной Катрей были даны более развернуто (см. т. 5, стр. 638 настоящего собрания сочинений).

«Гарденины» — роман А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги».

30

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...написанной уже в Петербурге. — Мамин-Сибиряк переехал в Петербург на постоянное жительство в марте 1891 года.

О газете «Русская жизнь» я уже тебе писал... — Мамин-Сибиряк сотрудничал в «Русской жизни» с июля по октябрь 1891 года. За это время он поместил в ней свыше 20 произведений.

...с приложением костромского письма. — Не установлено, о каком письме идет речь.

31

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

«Золото» — роман был закончен в марте 1892 года, напечатан в том же году в «Северном вестнике», №№ 1—6.

Дмитрий Петрович Никольский — санитарный врач, в 80-е годы служил на Кыштымских заводах, затем в 1888 году переехал в Петербург, где преподавал в высших учебных заведениях профессиональную гигиену (гигиену труда).

32

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Пермская губерния даже не попала в число голодающих, губернатор не пожелал . — Об этом факте Мамин-Сибиряк писал (под псевдонимом «Маленький человек») в одном из фельетонов «Дела и дни», печатавшихся в 1891 году в газете «Русская жизнь».

Похоронили старичка... — О похоронах И. А. Гончарова Мамин-Сибиряк также писал в одном из фельетонов «Дела и дни» («Русская жизнь», 22 сентября 1891).

33

Печатается по подлиннику (ГПБ), впервые.

...готовлю роман о хлебе... — Роман «Хлеб» был закончен в 1895 году и в том же году напечатан в «Русской мысли».

34

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...*пишу другой большой роман...* — повидимому, «Весенние грозы» (напечатан в журнале «Мир божий», 1892).

А еще пишу, мама, историческую повесть... — Речь идет о повести «Охонины брови» (напечатана в «Русской мысли», 1892, №№ 8, 9).

Василий Иванович Обреимов — преподаватель, автор ряда работ по математике и физике.

Елизавета Николаевна Водовозова (Семевская) — детская писательница и издательница.

Владимир Иванович Пономарев — служил управляющим банкирской конторой «Братья Андреевы» (в Екатеринбурге).

35

Печатается по подлиннику (Свердловский областной архив), впервые.

Дмитрий Петрович Никольский — см. примечания к письму № 31.

..*раскопки на Ирбитском озере...* — Озеро на границе бывших Ирбитского и Камышловского уездов Пермской губернии. Здесь была найдена «доисторическая бронза», чем опровергались утверждения некоторых ученых, что на Урале не было «бронзового века».

Александр Иванович Воейков — метеоролог и географ.

Иван Григорьевич Остроумов — уральский краевед, секретарь «Екатеринбургской недели», один из основателей Пермского краеведческого музея.

Мария Егоровна Клер — сестра Онисима Егоровича Клер (см. о нем в примечаниях к письму № 25).

Борис Осипович Котельский — екатеринбургский врач, близкий знакомый Мамина-Сибиряка.

36

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...*написал легенду...* — «Лебедь Хантыгая» напечатана в сборнике «Русские ведомости» в пользу голодающих», 1891.

...для двух детских журналов... — Не установлено, о каких журналах идет речь.

...для «Русского богатства». — В 1892 году в «Русском богатстве» были напечатаны: «Ученое горе» (№ 1), «Аннушка» (№ 11) и «Живая совесть» (№ 12).

...для «Иллюстрации»... — В 1892 году в журнале «Всемирная иллюстрация», № 11, была напечатана быль «Полонянка».

...для «Русских ведомостей», «Новостей»... — Из авторских записей видно, что в «Русских ведомостях» и «Новостях» в этом году Мамин-Сибиряк не печатал своих произведений.

...из которой хочет сделать оперу. — Легенда «Сказание о Сибирском хане старом Кучуме» была напечатана в 11-й книжке «Наблюдателя» за 1891 год. Опера на сюжет этой легенды Рубинштейном не была написана.

37

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Николай Владимирович Казанцев — уральский писатель и драматург, друг Мамина-Сибиряка, жил в Екатеринбурге.

Авва — отец.

...перехожу к делу, именно, к Вашей пьесе — комедии Н. В. Казанцева «Всякому свое» (напечатана в «Артисте», 1890, № 5).

Федор Андреевич Куманин — редактор-издатель журнала «Артист».

38

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Алексей Никитич Казанцев — из купеческой семьи, богатый екатеринбургский адвокат. Мамин-Сибиряк интересовался историей семьи Казанцевых. Так, в записной книжке писателя (собрание Б. Д. Удинцева) имеется подробная их родословная.

Тетя Оля — Ольга Францевна Гувале, воспитательница дочери Мамина-Сибиряка Аленушки. Впоследствии вышла замуж за Мамина-Сибиряка.

Дмитрий Аристархович Удинцев — муж сестры Мамина-Сибиряка.

39

Печатается по подлиннику (ЛБ). Впервые опубликовано в «Архиве В. А. Гольцева», т. 1, 1914.

...отправил в «Русскую мысль» рукопись. — Речь идет о рукописи романа «Хлеб».

Вукол Михайлович Лавров — см. примечания к письму № 13.

...получает от его продажи голодным до 1000 процентов. — В окончательной редакции романа Галактион закупает хлеб по 25 копеек за пуд и продает его по 1 рублю 70 коп.

...которая кончает самоубийством. — В окончательной редакции романа самоубийством кончает Галактион, а не Харитина.

40

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

«Богатыри» служат прекрасным дополнением «святителей». — В мастерской В. М. Васнецова Мамин-Сибиряк видел еще не законченную картину «Богатыри» (окончена в 1898 г.) и ряд вариантов к ней. В том же 1896 году он ознакомился с эскизами росписей В. М. Васнецова для Киевского собора св. Владимира. Особое внимание писателя привлекли изображения великого князя Владимира Киевского, князей Андрея Боголюбского, Михаила Черниговского, Александра Невского и Михаила Тверского.

Княжы — князья.

41

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Василий Васильевич Огарков — горный инженер, литератор, брат жены писателя А. И. Эртеля.

Тихоновы — Алексей Алексеевич Тихонов (псевдоним — Луговой) — беллетрист; Владимир Алексеевич Тихонов — драматург, беллетрист.

Томашевские — Вера Ивановна Томашевская — переводчица, сотрудница журнала «Мир божий»; Бронислав Викторович Томашевский — врач-психиатр; Всеволод Брониславович Томашевский — впоследствии профессор Петербургского университета.

Дмитрий Иванович Рихтер — экономист.

Степан Сергеевич Жихарев — врач-невропатолог, автор ряда научных работ.

Николай Иванович Позняков — детский писатель, переводчик.

Мария Николаевна Слепцова — издательница научно-популярных книг, выпускала серию «Книжка за книжкой».

...статья обо мне Скабичевского... — Упоминаемая в письме статья «Д. Н. Мамин-Сибиряк» была помещена в журнале «Новое слово», 1896, №№ 10, 11.

...имеет значение только в ...торговом смысле... — В ряде писем Мамин-Сибиряк жалуется на издателей, которые назначали ему пониженный гонорар. В письме к матери от 28 июля 1908 года писатель называл Ефимова, Клюкина и Сытина «плутами-издателями».

...последнюю восьмую сказочку... — Сказка «Пора спать!» напечатана в декабрьском номере «Детского чтения». Впоследствии Мамин-Сибиряк дополнил «Аленушкины сказки» еще двумя сказками.

Тетя Оля — см. примечания к письму № 38.

Лиза — Елизавета Морицовна Гейнрих — сестра жены Мамина-Сибиряка.

Жалею Лизу... — Речь идет о сестре писателя Елизавете.

42

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

43

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

...твоя статья «Голытьба в золоте»... — Статья Н. И. Познякова (детского писателя и переводчика) напечатана 1 октября в № 268 «Петербургских ведомостей» за 1902 год. В ней описывалось тяжелое положение подростков, работавших в увеселительных садах.

44

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...закрытие технического съезда. — Третий Всероссийский съезд деятелей по техническому и профессиональному образованию был

открыт 26 декабря 1903 года, на нем присутствовало около двух тысяч человек. 5 января 1904 года правительство объявило, что «все общие и секционные заседания с 4 января закрыты».

Съезд врачей пока еще не уничтожен, но ждут уничтожения. — Девятый съезд врачей был организован Пироговским обществом русских врачей. Он работал с 4 по 11 января, участвовало 2136 делегатов. Съезд высказался за прекращение всяких «ходатайств» по общественным вопросам перед царским правительством, в чем отразилось нарастание революционного движения в стране.

«Русская земля» — ежедневная литературно-политическая газета умеренно-либерального направления, выходила без предварительной цензуры.

Дмитрий Петрович Никольский — см. примечания к письму № 31.

45

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

Николай Константинович — Николай Константинович Михайловский.

Александр Афанасьевич — Клушин, ветеринарный врач, жил в Царском Селе.

Александра Аркадьевна — Давыдова, издательница журнала «Мир божий».

Одолевают детские журналы. — За один 1904 год Мамин-Сибиряк напечатал: в «Детском чтении» — «Сударь Пантелей свет Иванович», «Богач и Еремка», «Дикое поле», «Живая вода»; в «Путеводном огоньке» — «Медведица»; в «Светлячке» — «Лучший друг»; в «Красных зорях» — «Не мое дело». В том же году Мамин-Сибиряк напечатал 9 рассказов для взрослых.

46

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

47

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

День Спиридона-поворота — 25 декабря (12 декабря ст. ст.).

Никола зимний — 19 декабря (6 декабря ст. ст.).

48

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

...пасху я встретил со сломанной рукой... — 4 декабря 1904 года Мамин-Сибиряк упал и переломил лучевую кость левой руки.

Оля — Ольга Францевна Мамина, жена писателя.

Люша — Людвиг Францевич Гувале, брат жены Мамина-Сибиряка.

Владимир Францевич — брат жены Мамина-Сибиряка, коммерческий служащий.

Виктор Францевич — брат жены Мамина-Сибиряка, тоже коммерческий служащий.

49

Печатается по подлиннику (ЛБ), впервые.

...может быть, письмо и дойдет. — В 1905 году велось полицейское наблюдение за Д. А. Удинцевым, зятем писателя, в одной квартире с которым жила А. С. Мамина, и поэтому письма Мамина-Сибиряка нередко задерживались полицией.

50

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

...мечтать о карьере писательницы. — Несколько стихотворений дочери Мамина-Сибиряка Елены было напечатано.

51

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

...нога почти зажила... — В декабре 1906 года Мамин-Сибиряк, выходя из экипажа, сломал себе левую ногу.

Григорий Спиридонович Петров — священник, одно время преследовался синодом, член 2-й Государственной думы, по определению В. И. Ленина (Сочинения, т. 12, стр. 126), «весьма популярный демагог». Эмигрировал в 1921 году.

Володя все время что-то молчит. — Брат Мамина-Сибиряка Владимир был избран в депутаты Думы от кадетов.

52

Печатается по подлиннику (ЦГАЛИ), впервые.

53

Печатается по подлиннику, впервые. Хранится в Институте русской литературы Академии наук СССР (архив А. Е. Бурцева).

Письмо написано на почтовой открытке. Оно представляет собою ответ писателя на просьбу петербургского собирателя автографов А. Ю. Анненского прислать автограф.

...меня разбило параличом. — Это произошло 4 августа 1911 года.

...наберется до 100 томов, а издано около 36. — По приблизительному подсчету общее количество напечатанных произведений Мамина-Сибиряка составляет 514, в том числе 14 романов.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В ПИСЬМАХ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА[1]

1852

Октября 25. Рождение Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в Висимо-Шайтанском заводском поселке (близ Нижнего Тагила) Пермской губернии.

1859

Осень. Домашнее обучение Мамина-Сибиряка грамоте (из записей отца писателя — священника — Наркиса Матвеевича Мамина в висимо-шайтанской церковной летописи).

Начало дружбы с дьячком Николаем Матвеевичем Дюковым, страстным охотником и любителем природы, способствовавшим ознакомлению Мамина-Сибиряка с родным краем.

1860

Осень. Поступление Мамина-Сибиряка в начальную школу. Дружба с детьми из рабочей среды Т. Ерохиным, П. Ткачевым, М. Балакиным, Е. Ляпцевым (воспоминания их о встречах с М.-С. опубликованы в газете «Тагильский рабочий», 1938, № 244).

Начало тесных дружеских отношений с сыном заводского служащего Костей Рябовым, которого Мамин-Сибиряк называл

[1] Составил Б. Д. Удинцев. Все даты приводятся по старому стилю.

своим «первым другом» (см. о нем в воспоминаниях «Из далекого прошлого», в рассказе «Ужасный случай»).

Начало 60-х годов. Чтение в семье Мамина-Сибиряка журнала «Современник» и статей Н. А. Добролюбова (о большом влиянии этих чтений на Мамина-Сибиряка см. в автобиографической заметке и в воспоминаниях «Из далекого прошлого»).

1861—1862

Создание в Пермской духовной семинарии нелегальной ученической библиотеки с произведениями Герцена, Чернышевского, Лаврова и др., активным участником которой впоследствии (1870—1872) был Мамин-Сибиряк.

1862

Начало самостоятельного чтения Маминым-Сибиряком русских классиков — Гоголя, Некрасова, Тургенева, Аксакова.

1863

Лето. Приезд в Висим владельца Тагильских заводов П. П. Демидова, описанный впоследствии Маминым-Сибиряком в романе «Горное гнездо» (1884) и очерке «Один из анекдотических людей» (1885).

1864

Лето. Мамин-Сибиряк, его старший брат Николай и сын висимского дьякона Николай Тимофеевич Архангельский готовятся, под наблюдением отца писателя, к поступлению на высшее отделение Екатеринбургского духовного училища.

Осень. Мамин-Сибиряк принят на высшее отделение Екатеринбургского духовного училища, но «ошеломляющие впечатления» Мамина-Сибиряка от бурсы вынуждают отца взять его из училища.

1865

Мамин-Сибиряк под наблюдением отца повторяет дома курс среднего отделения духовного училища. Увлекается чтением художественной литературы.

1866

Осень. Мамин-Сибиряк поступает на высшее отделение Екатеринбургского духовного училища. Поездка с случайной подводой из Висимо-Шайтанского завода в Екатеринбург, оставившая глубокое впечатление на Мамина-Сибиряка.

Жизнь на ученической квартире; снова тяжелые впечатления от бурсы.

Декабрь. Поездка Мамина-Сибиряка во время зимних каникул домой, знакомство по дороге с глухими уральскими местами, ранние впечатления о быте старообрядцев.

1867

Лето. Первые выходы на охоту в горы. Беседы об уральской природе с дьячком Н. М. Дюковым и охотником Емелей из «туляцкого конца» поселка Висимо-Шайтанского завода. Посещение старообрядческих «молений в лесах» (около Билимбая).

Встречи Мамина-Сибиряка с «бывшими» студентами Казанского университета и увлечение естествознанием (Фогт, Молешотт и др.).

1868

Весна. Мамин-Сибиряк болеет тифом.

Окончание духовного училища.

Осень. Мамин-Сибиряк поступает в 1-й класс Пермской духовной семинарии. Первое плавание на барках от пристани Межевая Утка до Перми, начало знакомства с жизнью чусовских бурлаков.

1869

Весна. Мамин-Сибиряк переходит во 2-й класс семинарии.

Сентябрь. Второе плавание на барках по р. Чусовой от Межевой Утки до Перми.

Осень. Духовная семинария не удовлетворяет Мамина-Сибиряка, в письмах к отцу он резко критикует учебные программы. Начинает заниматься самообразованием, изучает французский язык, пользуется книгами семинарской, а также частной библиотеки, увлекается театром.

1870

Зима — весна. Мамин-Сибиряк намерен перейти в реальное училище или (после окончания четырех общеобразовательных классов семинарии) в технологический институт; в письмах к отцу он заявляет, что не хочет кончать духовную семинарию и превращаться в «губителя молодых умов».

Мамин-Сибиряк пользуется книгами нелегальной ученической библиотеки, читает произведения Герцена, Писарева, Чернышевского. Участвует в конспиративном ученическом журнале. (Воспоминания В. А. Ляпустина.)

Март — апрель. Зарождение атеистических настроений у Мамина-Сибиряка, о чем он писал в очерке «Худородные» (не опубликован, рукопись — в Свердловском областном архиве).

Весна. Мамин-Сибиряк переходит в 3-й класс семинарии.

Август. Третье плавание Мамина-Сибиряка на барке по р. Чусовой из Висимо-Уткинска до Перми, знакомство с деятельностью транспортного акционерного общества «Вулкан» (в очерках «Бойцы» оно переименовано в «Нептун»).

Осень — зима. Мамин-Сибиряк усиленно читает естественно-научную литературу.

Ноябрь — декабрь. Инспекция семинарии за непосещение Маминым-Сибиряком церковных служб снижает ему баллы за поведение до 3-х.

Декабрь. Начало частных лабораторных занятий химией под руководством учителя семинарии Н. П. Бакланова, основателя нелегальной семинарской библиотеки (в 1874 году он привлекался по «делу 193-х»).

1871

Весна. Мамин-Сибиряк переходит в 4-й класс семинарии. Усиленные занятия иностранными языками.

1872

Июнь. Мамин-Сибиряк по окончании 4-го класса уходит из духовной семинарии.

Августа 24. Мамин-Сибиряк подает прошение о приеме на медицинское отделение Петербургской медико-хирургической академии.

Сентябрь 1—15. Неудачные вступительные экзамены на медицинское отделение академии.

Мамин-Сибиряк принят на ветеринарное отделение Медико-хирургической академии.

Осень. Начало работы над романом «Приваловские миллионы».

1873

Октября 3. Мамин-Сибиряк переведен на второй курс ветеринарного отделения.

Осень. Мамин-Сибиряк знакомится с творчеством Золя. Мечтает создать серию романов о «преемственном развитии типов уральских заводчиков».

1874

Май — сентябрь. Стачка нижнетагильских рабочих (в связи с введением расчетных книжек).

Лето. Мамин-Сибиряк «подчинен негласному надзору» полиции («Деятели революционного движения», т. II, вып. 3, 1931, стр. 875).

Сентября 18. Мамин-Сибиряк, как не сдавший экзаменов, оставлен на втором курсе ветеринарного отделения.

Осень. Работа Мамина-Сибиряка над очерком «Легкая рука» (на рукописи, хранящейся в Свердловском областном архиве, имеется авторская помета: «Первоначальная редакция «Бойцы» — писана в 1874 г.»).

Начало репортерской работы в газете «Русский мир» (корреспонденции о заседаниях петербургских научных обществ).

1875

Март. Мамин-Сибиряк работает репортером в газете «Новости» ввиду приостановки по распоряжению правительства на три месяца выпуска газеты «Русский мир».

Апреля 20. В № 15 журнала «Сын отечества» напечатан рассказ Мамина-Сибиряка «Старцы».

Мая 14. Мамин-Сибиряк сообщает отцу, что после 20 апреля им помещены в печати «еще три небольших рассказика» (их названия и место публикации не установлены).

Июнь. Переезд на дачу в Третье Парголово.

Июня 7. Мамин-Сибиряк переведен на третий курс ветеринарного отделения Медико-хирургической академии.

Лето. Мамин-Сибиряк работает над романом «В водовороте страстей».

Сентябрь. Мамин-Сибиряк переезжает с дачи в Петербург.

Осень. Продолжение репортерской работы в газетах.

Конец года. Мамин-Сибиряк предлагает свою повесть (название не установлено) в редакцию «Отечественные записки». М. Е. Салтыков-Щедрин признает ее слабой.

1876

Весна. Серьезное заболевание Мамина-Сибиряка, повидимому, туберкулезом.

Мая 26. Мамин-Сибиряк оставлен на третьем курсе ветеринарного отделения Медико-хирургической академии, как не сдавший экзаменов.

Весна — лето. Появление рассказов Мамина-Сибиряка в «Сыне отечества»: «Старик» — №№ 2 и 3, «В горах» — №№ 18 и 19, «Не задалось» — № 26, и в «Кругозоре»: «Красная шапка» — №№ 31 и 32, «Русалки» — №№ 28 и 29.

Печатание первого романа Мамина-Сибиряка «В водовороте страстей» (под псевдонимом: «Е. Томский») в «Журнале русских и переводных романов и путешествий» (издатель А. Траншель).

Август 5. Мамин-Сибиряк уволен из Петербургской медико-хирургической академии «по прошению».

Сентябрь. Переезд семьи Мамина-Сибиряка из Висимо-Шайтанского завода в Нижнесалдинский завод.

Сентября 1. Мамин-Сибиряк принят на юридический факультет Петербургского университета.

1877

Январь — май. Занятия Мамина-Сибиряка на первом курсе Петербургского университета.

Весна. Выход в свет отдельного издания (издатель А. Траншель), без согласия автора, романа Мамина-Сибиряка «В водовороте страстей», под псевдонимом «Е. Томский».

В №№ 23 и 24 журнала «Кругозор» напечатан рассказ Мамина-Сибиряка «Тайны зеленого леса».

Весна — начало лета. Обострение болезни (повидимому, туберкулеза). Материальные затруднения. Отъезд из Петербурга на Урал к родителям.

Лето. Установление дружеских отношений с семьей инженера К. П. Поленова, впоследствии послужившего прототипом Константина Бахарева («Приваловские миллионы»).

Знакомство с Марией Якимовной Алексеевой.

Лето — осень. Собирание материалов для повести «Сестры». Продолжение работы над романом «Приваловские миллионы».

Начало осени. Ввиду продолжающейся болезни Мамин-Сибиряк решает оставить Петербургский университет.

Октябрь. «Процесс 193-х», по которому привлекается родственник Мамина-Сибиряка Гавриил Алексеевич Мамин.

Ноябрь. Мамин-Сибиряк уволен из университета как не внесший платы за обучение.

1878

Января 24. Смерть отца писателя.

Март. Безуспешные поиски работы в Нижнем Тагиле.

Апрель. Переезд Мамина-Сибиряка в Екатеринбург на постоянное жительство. Гражданский брак с М. Я. Алексеевой.

Апреля 23. Мамин-Сибиряк отправляет свой роман «Семья Бахаревых» (одна из ранних редакций «Приваловских миллионов») в петербургский журнал (не установлено, в какой). Роман не был напечатан.

Август. Семья Мамина-Сибиряка, оставшаяся после смерти отца без всяких средств, переезжает в Екатеринбург, где живет на заработки Мамина-Сибиряка, получаемые им от домашних уроков.

1879

Зима. Возникновение в Екатеринбурге Маминского кружка, в котором участвуют: уральский писатель Н. В. Казанцев, юристы М. К. Кетов, И. Н. Климшин и Н. Ф. Магницкий, податной инспектор А. А. Фолькман и др. На собраниях кружка, по воспоминаниям М. Я. Алексеевой, ведутся беседы на литературные и философские темы.

В течение года. Работа над романами «Каменный пояс» (вторая редакция «Приваловских миллионов») и «Омут» (первая редакция «Горного гнезда»). Возникновение замысла романа «Хлеб», для которого Мамин-Сибиряк начинает собирать материалы.

1880

Продолжение работы над романом «Каменный пояс». Создание второй редакции этого романа. Работа над очерками «Бойцы» и «Старатели».

Ноябрь. Мамин-Сибиряк присутствует на первом съезде уральских горнозаводчиков.

1881

Январь — март. Отказ редакции «Дела», а затем и «Вестника Европы» принять для печатания очерк «Старатели».

Января 29. Редакция газеты «Русские ведомости» предлагает Мамину-Сибиряку быть ее корреспондентом.

Лето. Заканчивается работа над четвертой редакцией «Приваловских миллионов» («Сергей Привалов»).

Мамин-Сибиряк встречается с известным уральским краеведом Н. К. Чупиным.

Август. Мамин-Сибиряк вместе с женой приезжает в Москву и живет здесь до мая 1882 года.

Сентябрь. Неудачная попытка Мамина-Сибиряка поступить на юридический факультет Московского, а затем Петербургского (выезжает на несколько дней в Петербург) университетов, — отказано ввиду поздней подачи прошения.

Октября 6. Напечатан первый очерк путевых заметок «От Урала до Москвы» в № 269 «Русских ведомостей» (до конца 1881 года появилось 5 очерков; печатание окончено в феврале 1882 года).

Ноября 4. Мамин-Сибиряк окончил статью «Покорение Сибири» (напечатана в №№ 2 и 3 «Иллюстрированного журнала для детей» за 1882 г.).

Мамин-Сибиряк работает над последней редакцией романа «Приваловские миллионы».

Ноябрь — декабрь. Работа над очерками «В камнях» и «На золотом прииске», над рассказом «Китайцы и американцы» и сказкой «Греза Востока».

1882

Начало года. Мамин-Сибиряк решает перейти исключительно «на литературный труд» (об этом он впоследствии писал в автобиографической заметке — 1886 г.).

Март — май. В № 3 журнала «Дело» напечатан рассказ Мамина-Сибиряка «В камнях»; в №№ 3, 4, 5 журнала «Устои» — рассказ «На рубеже Азии».

Середина мая. Мамин-Сибиряк возвращается из Москвы в Екатеринбург.

Май. В № 5 журнала «Дело» напечатан рассказ Мамина-Сибиряка «Все мы хлеб едим...»

Декабрь. Мамин-Сибиряк присутствует на втором съезде горнозаводчиков в Екатеринбурге.

Декабря 19. Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина Мамину-Сибиряку о том, что редакция «Отечественных записок» охотно поместит «Золотуху» в одном из ближайших номеров журнала. В письме к Г. З. Елисееву от 15 декабря Салтыков-Щедрин называет «Золотуху» «прекраснейшими очерками».

Декабрь. Напечатан рассказ Мамина-Сибиряка «В худых душах...» в «Вестнике Европы».

1883

Январь. Начало печатания (окончено в ноябрьской книжке) романа «Приваловские миллионы» в журнале «Дело».

Напечатан в № 1 «Русской мысли» рассказ «Старатели».

Февраль. В № 2 «Отечественных записок» помещен рассказ «Золотуха».

Марта 15. Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина Мамину-Сибиряку с просьбой присылать свои произведения для напечатания в «Отечественных записках».

Мая 15. Коронация Александра III. Мамин-Сибиряк пишет в связи с этим сатирическое стихотворение «Праздник коронации в Екатеринбурге» (стихотворение не напечатано, хранится в ЦГАЛИ).

Июль — август. В №№ 7, 8 «Отечественных записок» напечатаны очерки «Бойцы».

Октября 30. Мамин-Сибиряк сообщает брату Владимиру, что Салтыкову-Щедрину начало романа «Горное гнездо» *«весьма понравилось...* ждет с нетерпением продолжения».

Ноябрь. Мамин-Сибиряк изучает материалы (и делает выписки — ЦГАЛИ) Пермского по крестьянским делам присутствия о земельных конфликтах уральских крестьян с горнопромышленниками.

Декабря 11. Мамин-Сибиряк пишет брату Владимиру, что

«Глеб Успенский остался очень доволен «Приваловскими миллионами».

Декабрь. Мамин-Сибиряк изучает материалы 3-го съезда уральских горнозаводчиков.

1884

Январь. Начало печатания в «Отечественных записках» (окончено в апрельской книжке) роман «Горное гнездо». Одновременно в «Вестнике Европы» печатается (также окончен в апрельской книжке) роман «Жилка» («Дикое счастье»).

Апрель. Работа над очерками «История Урала» (напечатаны в газете «Новости и биржевая газета»).

Апреля 20. Закрытие царским правительством журнала «Отечественные записки».

Август — сентябрь. Работа над рассказом «Башка» (напечатан в № 11 «Русской мысли»).

Сентября 1. Окончание Маминым-Сибиряком романа «Бурный поток» («На улице»).

Октябрь. Вступление Мамина-Сибиряка в члены Уральского общества любителей естествознания.

Ноябрь. Вступление Мамина-Сибиряка в члены Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым.

1885

Январь — ноябрь. Мамин-Сибиряк — сотрудник казанской газеты «Волжский вестник» (помещает в ней ряд рецензий и статей).

Февраль — сентябрь. Работа над пьесой «На золотом дне» («Золотопромышленники»).

Март. Покупка дома в Екатеринбурге (Пушкинская улица, 27).

Апрель. В №№ 77 и 78 «Волжского вестника» напечатана статья о П. П. Демидове: «Один из анекдотических людей».

Весна — лето. Маминский кружок пытается купить газету «Екатеринбургская неделя», чему препятствует екатеринбургский городской голова А. М. Симонов.

Август. Поездка Мамина-Сибиряка в Москву. Здесь он живет до мая 1886 года.

Сентябрь. Знакомство в Москве с писателями Златовратским, Короленко, Эртелем.

Окончание второго варианта пьесы «На золотом дне» («Золотопромышленники»).

Октябрь. Работа над рассказом «Лётные» (напечатан в «Наблюдателе», 1886, №№ 2, 3).

Декабрь. Поездка в Петербург по издательским делам.

1886

Марта 22. Мамин-Сибиряк избран в действительные члены Общества любителей российской словесности.

Весна. Начало сотрудничества Мамина-Сибиряка в «Екатеринбургской неделе» по приглашению П. Н. Галина, нового редактора газеты (напечатано несколько статей, в том числе «Кризис уральской горной промышленности», №№ 29—31). Расхождение с редакцией, в частности с секретарем редакции И. Г. Остроумовым, по идеологическим вопросам и прекращение сотрудничества.

Апрель. Мамин-Сибиряк присутствует на юбилейном Гоголевском заседании Общества любителей российской словесности.

Май. Поездка в Киев.

Июнь. Путешествие по Южному Уралу (Качкарь, Михайловка, Касли, Златоуст).

Август. Непродолжительная поездка Мамина-Сибиряка из Екатеринбурга в Москву.

Декабря 7. В Обществе любителей российской словесности публично прочитана легенда Мамина-Сибиряка «Баймаган».

1887

Январь. В № 1 «Северного вестника» напечатан рассказ «Первые студенты».

Январь — октябрь. Работа над романом «Три конца» (напечатан в 1890 году в №№ 5—9 «Русской мысли»). Одновременно Мамин-Сибиряк работает над романом «Именинник» (напечатан в «Наблюдателе», 1888, №№ 1—4).

Лето. Поездка по Пермской губернии. Мамин-Сибиряк производит археологические раскопки «для изыскания Чудских древностей».

Июль. Активное участие Мамина-Сибиряка в работе «Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки» (корреспонденции Мамина-Сибиряка о выставке в «Екатеринбургской

неделе», №№ 39—43). Знакомство с Д. Н. Анучиным. Начало дружбы с актером Андреевым-Бурлаком.

Ноября 10. Первое представление пьесы «Золотопромышленники» («На золотом дне») в Екатеринбургском драматическом театре.

Декабря 18. Первое представление пьесы «Золотопромышленники» («На золотом дне») в Московском театре Корша, с участием В. Н. Давыдова и А. Я. Гламы-Мещерской.

1888

Январь. Работа над пьесой «Общий любимец публики» (в 1889 г. переделана в роман того же названия).

Марта 23. Окончен исторический очерк «Город Екатеринбург» (напечатан в справочнике на 1889 год: «Город Екатеринбург»).

Апрель. Мамин-Сибиряк участвует в сборнике «Красный цветок» (1888), посвященном памяти В. М. Гаршина, в котором печатает рассказ «Жизнь хороша».

Май — июнь. Мамин-Сибиряк организует археологические раскопки около Екатеринбурга.

Июнь. Поездка на Северный Урал (Чердынь, Ныроб).

Июль. Поездка по Южному Уралу, подъем на гору Иремель.

Август — сентябрь. Поездка в Курьи, Обуховку, Мурзинку и на Успенскую писчебумажную фабрику.

Осень. Выход в свет первого тома сборника «Уральские рассказы».

Октябрь. Избрание Мамина-Сибиряка в гласные Екатеринбургской городской думы.

1889

Февраль. Избрание Мамина-Сибиряка присяжным заседателем в февральскую сессию Екатеринбургского окружного суда.

Март — июль. Болезнь Мамина-Сибиряка. Лечение на курорте Курьи.

Лето. Поездка Мамина-Сибиряка по уральским приискам.

Август. Полемика Мамина-Сибиряка с И. Г. Остроумовым («Екатеринбургская неделя», 1889, № 31) о значении губернского города Перми и уездного Екатеринбурга. Мамин-Сибиряк предсказывает быстрое развитие Екатеринбурга как важного промышленного центра Среднего Урала.

Декабрь. Некролог Мамина-Сибиряка об уральском историке В. Н. Шишонко в газете «Деловой корреспондент», № 20.

В течение года. Мамин-Сибиряк участвует в работах комиссий Екатеринбургской думы (по воспитательному дому, по ревизии городской управы и др.).

1890

Апреля 29. Письмо А. П. Чехова (с дороги на остров Сахалин) М. П. Чеховой, в котором он отмечает, что из писателей уральским читателям «больше всех нравится... Мамин-Сибиряк»...

Май. Кратковременная поездка в Москву по издательским делам.

Августа 5. Хлопоты Мамина-Сибиряка по политическому делу ирбитского крестьянина И. И. Черемных, обвиняемого в богохульстве.

Сентябрь. Знакомство Мамина-Сибиряка с драматической актрисой Марией Морицовной Гейнрих-Абрамовой, приехавшей в Екатеринбург с труппой П. П. Медведева.

Ноябрь. Поездка в Широкое, Далматов и Катайское с целью собирания материала для повести «Охонины брови» и романа «Хлеб».

1891

Январь. Разрыв Мамина-Сибиряка с первой женой М. Я. Алексеевой и вступление в гражданский брак с М. М. Гейнрих-Абрамовой.

Февраль. Начало голода в Шадринском уезде и других районах Зауралья.

Марта 8. Отъезд из Екатеринбурга в Петербург с М. М. Гейнрих-Абрамовой на постоянное жительство.

Апрель. Знакомство с И. Е. Репиным.

Апреля 12. Мамин-Сибиряк участвует в похоронах Н. В. Шелгунова, прошедших как политическая демонстрация.

Май. Переезд на дачу в Лесное, где живет до сентября.

Июнь. Работа над романами «Золото» и «Хлеб».

Июль — сентябрь. Мамин-Сибиряк сотрудничает как фельетонист в газете «Русская жизнь». До октября 1891 года в ней помещает до 30 произведений.

Июль. Работа над исторической повестью из времен Пугачевщины — «Охонины брови» (напечатана в №№ 8, 9 «Русской мысли» за 1892 год).

В сборнике «Русские ведомости» в пользу голодающих» опубликована легенда «Лебедь Хантыгая».

Октябрь — декабрь. Сближение с редакцией журнала «Мир божий» (издательницей А. А. Давыдовой, редактором — видным педагогом — В. П. Острогорским).

1892

Марта 21. Рождение дочери Мамина-Сибиряка Елены.

Марта 22. Смерть жены писателя М. М. Гейнрих-Абрамовой.

Апрель. Знакомство в семье Давыдовых с Ольгой Францевной Гувале.

Апреля 20. Петербургский комитет грамотности присуждает Мамину-Сибиряку золотую медаль за рассказ «Зимовье на Студеной».

Лето. Пребывание на даче в Павловске.

Октября 11. В письме к матери Мамин-Сибиряк сообщает, что Г. И. Успенский в одной из бесед высоко отозвался о его таланте.

1893

Января 12. Встреча с А. П. Чеховым на обеде беллетристов в Петербурге.

Март. Начало сотрудничества в «Детском чтении» и начало дружбы с Д. И. Тихомировым, редактором журнала.

Октября 8. В письме к матери Мамин-Сибиряк сообщает, что по рассказам толстовца (фамилия не установлена), «Толстой был в восторге от рассказа «Башка» и сам читал его вслух своей семье».

Октября 27. Начало работы над «Аленушкиными сказками» (сказки печатались в 1894—1896 годах).

Ноябрь. В. Г. Короленко посетил Мамина-Сибиряка.

Зима. Работа над романом «Без названия» (напечатан в «Мире божьем», 1894, №№ 1—10) и продолжение работы над «Хлебом».

1894

Январь. Начало печатания романа «Черты из жизни Пепко» («Русское богатство», №№ 1—10).

Июнь — июль. Поездка с В. В. Огарковым в Липецк, Усмань и Эмпелевку к Эртелям.

Августа 27. Переезд Мамина-Сибиряка в Царское Село на постоянное жительство (живет там до 1900 года).

1895

Январь. Начало печатания романа «Хлеб» в «Русской мысли» (закончено в № 8).

Февраля 15. Начало печатания в «Русских ведомостях» очерков «Разбойники» (опубликованы в №№ 45, 54, 67, 97, 106).

Марта 23. Письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину, в котором он пишет: «Мамин-Сибиряк очень симпатичный малый и прекрасный писатель. Хвалят его последний роман «Хлеб» (в «Русской мысли»), особенно в восторге был Лесков. У него есть положительно прекрасные вещи, а народ в его наиболее удачных рассказах изображается нисколько не хуже, чем в «Хозяине и работнике».

Мая 27. Письмо В. А. Гольцева Мамину-Сибиряку с высокой оценкой романа «Хлеб», который, по мнению В. А. Гольцева, написан «умно и талантливо».

Август. Возникновение замысла написать русскую историю для детей, в форме путешествий.

Сентябрь. Поездка Мамина-Сибиряка в Новгород с целью собирания материала для очерков по русской истории для детей.

Октябрь. Переговоры Мамина-Сибиряка с Денисовым-Уральским об организации кооперативного сбыта драгоценных камней, в целях борьбы с крупными владельцами копей (намерение осталось неосуществленным).

Ноябрь — декабрь. Работа над романом «Ранние всходы» (напечатан в №№ 1—9 журнала «Мир божий», 1895).

1896

Января 8. Обед у Мамина-Сибиряка с участием А. П. Чехова. Мамин-Сибиряк дарит А. П. Чехову книгу «Три конца», с надписью: «Обедавшему у меня 8 янв. 96 г. в Ц. Селе Антону Павловичу Чехову — от Д. Мамина-Сибиряка». 9 января А. П. Чехов, Мамин-Сибиряк и И. Н. Потапенко фотографируются у фотографа Шапиро.

Февраля 24. На вечере в пользу переселенцев Мамин-Сибиряк читает свой рассказ «Он» (из цикла «Детские тени»).

Марта 2. На вечере в пользу семьи Г. И. Успенского Мамин-Сибиряк читает рассказ «Последнее искушение».

Июль — август. Мамин-Сибиряк на даче в Гунгербурге.

Октябрь — ноябрь. Статья А. Скабичевского «Д. Н. Мамин-Сибиряк» в «Новом слове».

Ноябрь. Напечатан рассказ «В глуши» в журнале «Детский отдых» (№ 11), с иллюстрациями А. Васнецова.

1897

Января 25. Избрание Мамина-Сибиряка членом Комитета Союза писателей.

Февраля 20. Встреча с А. П. Чеховым в Москве.

Март. Мамин-Сибиряк задумывает издать сборник своих статей «Урал», с фотографиями Чердыни, Усолья, Перми, Березовского завода, Каслей, Кыштыма и местностей Южного Урала (издание не осуществлено).

Июнь. Мамин-Сибиряк на даче в Гунгербурге. Увлечение фотографией.

Сентябрь. Поездка Мамина-Сибиряка в Крым.

Ноябрь. Тяжелые переживания, вызванные смертью присяжного поверенного А. А. Ольхина, поэта, сотрудника подпольной революционной печати, бывшего в ссылке на Урале, с которым часто встречался Мамин-Сибиряк.

1898

Май. Мать Мамина-Сибиряка, вместе с дочерью Елизаветой, переезжает на постоянное жительство в Чердынь.

Июль. Мамин-Сибиряк на даче в Усть-Нарове.

Ноября 24. В письме к матери брат писателя Владимир сообщает об ухудшении состояния здоровья Мамина-Сибиряка, преждевременном постарении и одряхлении, что резко сказывается на его работоспособности.

Декабрь. Мамин-Сибиряк пишет предисловие к сборнику повестей и рассказов Н. В. Казанцева (сборник вышел в Екатеринбурге).

1899

Вышла в свет книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», изд. М. И. Водовозовой; В. И. Ленин о творчестве Мамина-Сибиряка: «В произведениях этого писателя рельефно

выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 427).

Январь — октябрь. В «Русском богатстве» печатается роман «Падающие звезды».

Март. Участвуя у Д. И. Рихтера в споре с народниками, Мамин-Сибиряк высказывает убеждение, что «русский марксизм... не только не уменьшится в своем влиянии, но получит еще большее распространение» (из собственноручной записи Мамина-Сибиряка, хранится в собрании Г. Д. Рихтера).

Июнь — июль. Мамин-Сибиряк на даче вблизи станции Сиверская.

Ноября 8. В письме к матери Мамин-Сибиряк высказывает недовольство романом «Падающие звезды»; по мнению писателя, «конец у него совсем слаб».

1900

Январь — февраль. Критический очерк В. Альбова «Капиталистический процесс в изображении Мамина-Сибиряка» в журнале «Мир божий».

Февраля 6. Брак Мамина-Сибиряка с Ольгой Францевной Гувале.

Апрель — май. Мамин-Сибиряк в Крыму, встречи с Горьким, Чеховым, Станиславским, Буниным. (См. очерк М. Горького «Чужие люди» в журнале «Беседа», 1923, № 2.)

Июль. Мамин-Сибиряк в гостях у Е. К. Мягковой (сестра Н. К. Михайловского) в имении Селище, около Костромы.

Август. Мамин-Сибиряк в Павловске на даче.

Сентябрь. Переезд на постоянное жительство в Петербург.

Октября 14. А. М. Горький в отзыве, опубликованном в газете «Нижегородский листок», № 282, отмечает, что «Башка» — один из лучших рассказов Мамина... Описана колоритным языком автора кабацкая жизнь, трущобные нравы. Рассказ производит сильное впечатление, еще раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блестеть алмазами духовной красоты».

1901

Февраля 2. Мамин-Сибиряк избран в члены Комитета Литературного фонда.

Февраль. Мамин-Сибиряк участвует в письме-протесте петербургских литераторов по поводу избиения демонстрантов.

1902

Февраля 24. Мамин-Сибиряк тяжело переживает смерть А. А. Давыдовой, с семьей которой он был близок с 1892 года.

Февраль — март. В №№ 48 и 59 «Русских ведомостей» напечатан рассказ «Ийи», явившийся откликом на англо-бурскую войну.

Марта 24. Мамин-Сибиряк участвует в похоронах Г. И. Успенского.

Июль. Поездка Мамина-Сибиряка на Кавказ вместе с Н. К. Михайловским. По дороге он посещает Ялту.

Августа 21. Возвращение с Кавказа в Петербург.

Сентябрь. Переезд Мамина-Сибиряка из Петербурга в Царское Село на постоянное жительство. Наблюдая придворную знать, Мамин-Сибиряк, как вспоминает Варилье («Сибирские огни», 1928, № 5), называл ее «человечьей тлей, полной вырождения, пропившейся, проигравшейся, не знающей ни страны, ни народа».

Октябрь. Мамин-Сибиряк посещает выставку картин А. К. Денисова-Уральского. Он считает ее ценной с точки зрения ознакомления широких масс с Уралом.

В письмах к Пятницкому А. М. Горький рекомендует издательству «Знание» осуществить собрание сочинений Мамина-Сибиряка (см. «А. М. Горький. Письма к Пятницкому», 1954).

1903

Январь. Поездка Мамина-Сибиряка в Москву по издательским делам.

Весна. Жалобы на недомогание и уменьшение работоспособности.

Мая 3. В письме к матери Мамин-Сибиряк выражает возмущение по поводу запрещения правительством отметить 200-летний юбилей русской периодической печати.

Лето. Мамин-Сибиряк усиленно работает для «Русских ведомостей» (здесь в 1903 году напечатаны: «Сон» — №№ 5 и 6, «Букет ландышей» — №№ 74, 77, «Дорогой хлеб науки» — №№ 107, 111, 118, «Старый Шайтан» — №№ 142, 144).

Август. Поездка Мамина-Сибиряка на Урал. Путешествие по Волге и Каме. С 18 по 27 августа он — в Екатеринбурге.

Сентября 5. Возвращение Мамина-Сибиряка с Урала в Царское Село.

1904

Январь. Нападение японцев на Порт-Артур. Начало русско-японской войны. В своих письмах Мамин-Сибиряк высказывает скептическое отношение к официальным известиям о военных «победах», отмечает бездарность высших военных начальников.

Января 28. Мамин-Сибиряк в письме к матери пишет, что он тяжело переживает смерть Н. К. Михайловского, с которым долгое время был лично близок.

Июль. Поездка Мамина-Сибиряка в Финляндию. На курорте в Гангё.

Октября 25. Мамин-Сибиряк пишет матери по поводу «шумихи» либеральной прессы о якобы предстоящих больших реформах, что он не верит в реформы. По его мнению, «никакую свободу даром не дают, а надо ее взять».

Ноября 15. В письме к матери Мамин-Сибиряк резко критикует военную администрацию. Сообщая, что поезда с ранеными солдатами сутками стоят без воды, он саркастически замечает: «Вероятно, и воду господа интенданты украли».

Декабря 12. Мамин-Сибиряк резко осуждает правящие классы. Он пишет матери, что для них «власть связана, помимо привилегированного положения, с деньгами... Именно поэтому наследственные государственные воры боятся свободы слова».

Декабря 13. Мамин-Сибиряк поскользнулся и сломал себе левую руку.

1905

Апрель — июнь. Тяжелое заболевание Мамина-Сибиряка острым суставным ревматизмом.

Конец августа — сентябрь. Поездка в Балаклаву. Мамин-Сибиряк живет вместе с А. И. Куприным (см. воспоминания М. Куприной-Иорданской в сборнике «Д. Н. Мамин-Сибиряк. 100 лет со дня рождения», 1953).

Октябрь. Возвращение из Крыма в Царское Село.

Декабря 13. В письме к матери Мамин-Сибиряк негодует по поводу жестокой расправы царских войск с восставшими трудящимися в Москве и других городах.

Декабрь. Запрещение цензурой для отдельного издания рассказа Мамина-Сибиряка «Сударь Пантелей свет Иванович» (опубликован в «Детском чтении»).

1906

Января 1. Мамин-Сибиряк в письме к матери высмеивает либеральные надежды на Государственную думу и на якобы предстоящие крупные реформы. Он пишет: «Наступающий год даст нам Государственную думу и кое-какие свободишки. Много ожидать не будем, ибо «конституция есть нож, медом помазанный», как писал раскольничий писатель Павел Любопытный».

Июнь. Мамин-Сибиряк на даче в Келломяках.

Июль. Художник Денисов закончил работу над бюстом (не сохранился) Мамина-Сибиряка.

1907

Январь. Напечатан рассказ «Мумма» в «Русской мысли», в котором писатель критикует декадентство.

Марта 11. В связи со смертью Победоносцева Мамин-Сибиряк пишет матери, что Победоносцев «затормозил русскую историю на целую четверть века... У всей литературы висел камнем на шее».

Лето. Мамин-Сибиряк на курорте в Гангё. В результате своих поездок по Финляндии Мамин-Сибиряк написал: «По Варяжскому морю» («Юная Россия», 1906, №№ 7, 8), «Человек, который потерял себя» (там же, 1908, № 12), «Суоми» (там же, 1909, № 12), «Трататон» («Русские ведомости», 1906, № 271).

Июня 20. Мамин-Сибиряк пишет матери: «Хожу с трудом. Это уже не нога болит, а сказывается преждевременная старость. Ничего не поделаешь».

1908

Зима — весна. В письмах к матери Мамин-Сибиряк жалуется на понижение работоспособности, вызванное все более ухудшающимся состоянием здоровья. Не имея возможности выезжать из

Царского Села и Петербурга, он сетует также на недостаток «материалов»: «...приходится перебирать старое или придумывать».

Мая 15. Мамин-Сибиряк переехал из Царского Села в Петербург на постоянное жительство (на Верейскую улицу, дом № 3, кв. 16).

Июнь. На даче в Келломяках Мамин-Сибиряк готовит сборник рассказов для детей «Старинка и новинка», он включает в него описания своих последних поездок на Кавказ («Погибельный Кавказ»), по Финскому заливу («По Варяжскому морю») и др.

Лето. Мамин-Сибиряк занят подготовкой своих произведений для переиздания.

1909

В течение года. Уральские писатели Г. А. Булычев и П. И. Заякин (будущий сотрудник большевистской «Правды») готовят в Петербурге к изданию «Уральский сборник» (из произведений главным образом рабочих авторов), с участием Мамина-Сибиряка (см. воспоминания Г. А. Булычева и П. И. Заякина в сб. «Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке», Свердловск, 1936, а также в газете «Уральская жизнь», 1912, № 238).

Апрель. Художник И. К. Пархоменко закончил портрет Мамина-Сибиряка.

Май — август. Мамин-Сибиряк на даче в Териоках.

Декабря 24. Смерть брата писателя Владимира.

1910

Марта 21. Смерть матери писателя.

Лето. Мамин-Сибиряк живет на даче в Павловске.

Осень. Мамин-Сибиряк принимает активное участие в студенческом вечере в пользу нуждающихся студентов-уральцев.

1911

Августа 4. Кровоизлияние в мозг. Паралич руки и ноги. Мамин-Сибиряк до последних дней своей жизни находится в постели.

1912

Лето. Мамин-Сибиряк заболевает плевритом, что еще больше ухудшает состояние его здоровья.

Октября 26. Литературная общественность широко отмечает юбилей сорокалетней литературной деятельности Мамина-Сибиряка. А. М. Горький пишет ему из Капри: «В день сорокалетия великого труда Вашего люди, которым Ваши книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык, — почтительно и благодарно кланяются Вам, писателю воистину русскому. Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с народом — это дает красоту и силу ему. Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту и прекрасно показали Вашими книгами, открыв нам целую область русской жизни, до Вас незнакомую нам. Земле родной есть за что благодарить Вас, друг и учитель наш». (Письмо А. М. Горького было подписано многими эмигрантами, жившими в Италии.)

Ноябрь, ночь с 1 на 2. Смерть Мамина-Сибиряка.

Ноября 3. Большевистская «Правда» печатает некролог, в котором высоко оценивает творчество Мамина-Сибиряка. «Умер яркий, талантливый сердечный писатель, — говорится в некрологе, — под пером которого оживали страницы прошлого Урала, целая эпоха шествия капитала, хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем».

Ноября 4. Похороны Мамина-Сибиряка на Никольском кладбище Александро-Невской лавры (Петербург).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА, ВОШЕДШИХ В 1—8 ТОМА

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЛЕГЕНДЫ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Дмитрий Наркисович
Мамин-Сибиряк
Собр. соч., т. 8

Редактор *А. Романов*
Оформление
художника *Б. Никифорова*
Худож. редактор *К. Буров*
Техн. редактор *Г. Архангельская*
Корректоры
Л. Бунчукова и *В. Брагина*

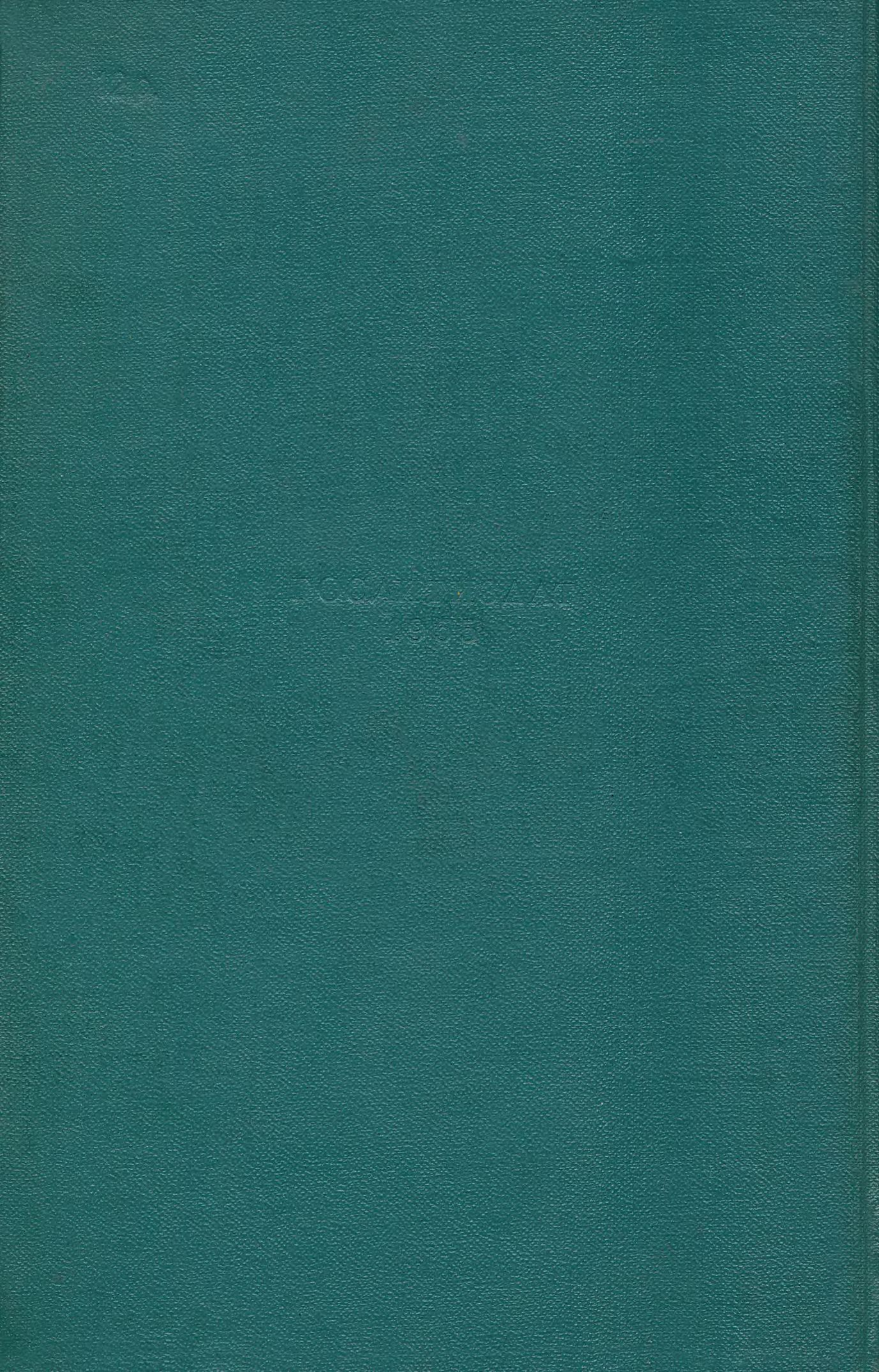
*

Сдано в набор 24/VIII 1955 г.
Подписано в печать 3/XI 1955 г. А-06141.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 47 печ. л. 38,54 усл. печ. л.
35,18 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 364. Цена 12 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография „Печатный Двор“ им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.


ГОСПОЛИТИЗДАТ